

891

11-48

W

23704

W

30.000	хозяйств имеют земли	.	.	от	20
145.000	"	"	"	"	"
175.000	"	"	"	"	50
95.000	"	"	"	"	10

Крупных земельных имений  
000 декаров насчитывается 936.

В социальном отношении первые хозяйства с землей до 50 декаров, обрабатываемыми малоземельными и безземельными, которые главным образом занимают дом, или хотя и обрабатывают свои же принужденны искать, чтобы прокормить себя и своих детей. Это пролетариев и полупролетариев.

Третью группу образуют до 100 декаров обрабатывающих крестьяне.

2127



П-81

2127

891

П-48

ИСТОРИЧЕСКАЯ

# ХРЕСТОМАТІЯ

ПОСОБІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

ВЫПУСКЪ VI.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

БИБЛИОТЕКА

г. ТЮМЕНЬ.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

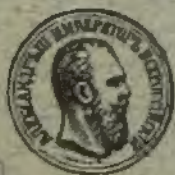
М. Д. НАУМОВА.

МОСКВА.

Типографія Э. Лиснера и Ю. Романа.

Воздвиженка, Крестовоздвиженскій пер., д. Лиснера.

1891.



Цена 2 руб.

23 704

452



**УЧЕБНЫЯ И ДРУГІЯ КНИГИ,**  
ИЗДАННЫЯ  
**МОСКОВСКИМЪ КНИГОПРОДАВЦЕМЪ**  
**М. Д. НАУМОВЫМЪ**  
ВЪ МОСКВѢ,

Мясницкая улица, домъ Духовной Консисторіи.

Тутъ же находится складъ изданій книжныхъ магазиновъ П. В. Луковникова и Н. Фену и К<sup>о</sup> въ С.-Петербургѣ.

*Арефьевъ, А. и Соколовъ, Аѳ.* Повторительный курсъ ариѳметики для начальныхъ народныхъ училищъ. Изданіе 4-е, исправленное. М. 1891 г. Ц. 10 к. Включено въ программу для церковно-приходскихъ школъ.

*Вертоградскій, Г.*, преподаватель реального училища св. Михаила. Практическій курсъ элементарной грамматики, составленный по руководству „Русское правописаніе“ академика Я. Грота. М. 1885 г. Ц. 40 к. Одобрень Ученымъ Комитетомъ М. Н. Пр., какъ руководство.

— Методическія замѣтки для учителей. М. 1885 г. Ц. 40 к.

*Гика, Д.* Зависимость между геометрическими теоремами. Математическо-философское сочиненіе. М. 1890 г. Ц. 1 р. Рекомендовано Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. для фундаментал. библіотекъ сред. учеб. завед. муж. и жен.

— Задачи для начального обученія ариѳметикѣ. Цѣлыя числа. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Одобрено Учен. Комит. М. Н. Пр. и Духовно-Учебн. Комит. при Святѣйшемъ Синодѣ. М. 1885 г. Ц. 45 к.

*Гика, Д. и Муромцевъ, А.* Элементы геометріи. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, расположенный по способамъ доказательствъ. Ц. 1 р. Одобр. Учен. Ком. М. Н. Пр.

— Геометрическія задачи. Часть 1-я. Задачи плоской геометріи (1750 задачъ). Изд. 3-е. М. 1891 г. Ц. 75 к. Одобр. Учен. К. М. Н. Пр.

— Геометрическія задачи. Часть 2-я. Задачи геометріи въ пространствѣ. (Задачи съ 1751 до 2768). Изд. 2-е. М. 1890 г. Ц. 75 к. Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Пр.

*Дубовъ, Д.*, инспекторъ Тверской гимназіи. Сборникъ темъ для письменныхъ и устныхъ упражненій въ переводѣ съ русскаго языка на латинскій. М. 1890 г. Ц. 1 р. 10 к. Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Пр.

*Ивановъ, В.*, преподаватель Смоленскаго реального училища. Учебникъ русской грамматики (курсъ среднихъ учебныхъ заведеній), вып. 2-й. Одобрень Учен. Ком. М. Н. Пр., какъ учебное пособіе при преподаваніи русскаго языка въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ и какъ учебное руководство для учительскихъ семинарій. М. 1882 г. Ц. 40 к.

*Козьминъ, К.*, преподаватель Московскаго Учительскаго Института. Русская хрестоматія для среднихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній, городскихъ и уѣздныхъ училищъ. Курсъ II, изданіе 6-е, исправленное и дополн. Одобрено Учен. Ком. М. Н. Пр. М. 1891 г. Ц. 75 коп.

— Грамматика церковно-славянскаго языка новаго періода. Съ приложеніемъ образцовъ для этимологическаго и синтактическаго разбора текста Евангелія. Пособіе для городскихъ, уѣздныхъ и сельскихъ училищъ. Изданіе 5-е. Одобрено Ученымъ Комит. М. Н. Пр., какъ руководство М. 1890 г. Ц. 50 к.



ИСТОРИЧЕСКАЯ

2127.

# ХРЕСТОМАТІЯ

891. Э

И

б-7.

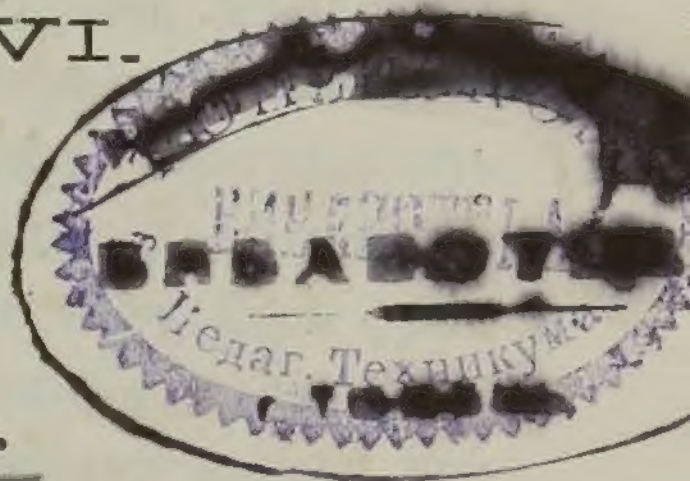
п-48 и.т.д. в

ПОСОБІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

ВЫПУСКЪ VI.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.



50762

4811

м. д. Наумова

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ  
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ  
**М. Д. НАУМОВА.**

МОСКВА.

ТИПОГРАФІЯ Э. ЛИСНЕРА И Ю. РОМАНА.

Воздвиженка, Крестовоздвиженскій пер., д. Лиснера.

1891.





2157

RECEIVED

EXPERIMENTAL

11-18-41  
W. B. 4-11-11



PHOTOGRAPH

W. B. 4-11-11

2157

RECEIVED  
W. B. 4-11-11

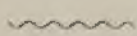
11-18-41  
W. B. 4-11-11

MOORE

W. B. 4-11-11



## ПРЕДИСЛОВІЕ.



Настоящій выпускъ имѣетъ своею задачею представить полную и вѣрную характеристику научнаго и литературнаго движенія Англіи и Франціи въ XVIII ст., характеристику, осмысливающую и опредѣляющую значеніе вѣка просвѣщенія. Сообразно такой задачѣ составитель каждому изъ свѣтилъ, — изъ выдающихся французскихъ философовъ, — (Вольтеру, Руссо, Мопертюи, Монтескьё, Дидро) отдаетъ дань справедливости, — подробно обозрѣваетъ ихъ литературную дѣятельность, указываетъ историческую заслугу и даетъ нравственную характеристику cadaго изъ нихъ. Но такъ какъ французскіе философы были только громкими глашатаями новыхъ идей, блестящими представителями новаго просвѣщенія, то, само собою слѣдуетъ, нужно было остановиться на виновникахъ новаго просвѣтительнаго движенія — Ньютонѣ, Локкѣ и др., обратить вниманіе на ихъ труды и указать ихъ заслуги, какъ и вообще Англіи, въ дѣлѣ европейскаго просвѣщенія. При такомъ только освѣщеніи вѣка французскихъ философовъ будутъ понятны, по взгляду составителя, гуманныя идеи Екатерининскаго времени, преобразовательныя стремленія эпохи, особенности русской литературы 2-ой половины XVIII ст.

**В. Покровскій.**



# ИЗВЕЩАНИЕ

Известие о деятельности и состоянии дел в 1877 году. В 1877 году деятельность общества была направлена на развитие народного просвещения и на улучшение материального положения крестьян. В 1877 году общество издало 100 экземпляров своего журнала, в котором были помещены статьи о состоянии народного просвещения в России и о мерах к его улучшению. В 1877 году общество также издало 100 экземпляров своего сборника, в котором были помещены статьи о состоянии материального положения крестьян в России и о мерах к его улучшению. В 1877 году общество также издало 100 экземпляров своего сборника, в котором были помещены статьи о состоянии материального положения крестьян в России и о мерах к его улучшению.

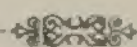


## О Г Л А В Л Е Н І Е.

	<i>Стран.</i>
Предисловіе . . . . .	1
Историческій очеркъ европейскаго образованія и литературы въ XVII и XVIII вв., <i>Галахова</i> . . . . .	1
Культурный и нравственно-историческій характер XVIII ст., <i>Шерра</i> . . . . .	12
Ньютонъ и значеніе его открытія, <i>Вильмена</i> и <i>Любимова</i> . . . . .	29
√ Сущность деизма, <i>Куно-Фишера</i> . . . . .	46
Философское ученіе Локка, <i>Иберверъ-Гейнце</i> . . . . .	49
Значеніе Англіи въ вѣкъ просвѣщенія, <i>Геттнера</i> . . . . .	61
Французская литература освобожденія 17-го и 18-го вѣковъ, <i>Шерра</i> . . . . .	64
Мопертюи, какъ представитель новаго философскаго движенія во Франціи, <i>Геттнера</i> . . . . .	86
Вольтеръ, <i>Каррьера</i> . . . . .	89
Вліяніе Ньютона на Вольтера, <i>Розенкранца</i> . . . . .	102
Философскія идеи Вольтера, <i>Геттнера</i> . . . . .	105
Вольтеръ, какъ писатель, <i>Герца</i> . . . . .	123
Характеристика Вольтера, <i>Карлейля</i> . . . . .	125
Вольтеръ, какъ поэтъ, и его сатирическія повѣсти, <i>Геттнера</i> . . . . .	156
Значеніе Вольтера для XVIII вѣка, <i>Розенкранца</i> . . . . .	164
Руссо, <i>Шлоссера</i> . . . . .	166
Новая Элоиза Руссо, <i>Веселовскаго</i> . . . . .	174
Общественный договоръ Руссо, <i>Чичерина</i> . . . . .	178
Эмиль Руссо, <i>Шмидта</i> . . . . .	202
Руссо и Вольтеръ, <i>Розенкранца</i> . . . . .	235
Монтескьё, <i>Шлоссера</i> . . . . .	237
Содержаніе, характеръ и слогъ „Персидскихъ писемъ“ Монтескьё, <i>Сентъ-Бёва</i> . . . . .	242
„Персидскія письма“ Монтескьё въ отношеніи къ идеямъ и стремленіямъ вѣка, <i>Сореля</i> и <i>Низара</i> . . . . .	248
„Духъ законовъ“ Монтескьё, <i>Чичерина</i> . . . . .	261
Англійскіе деисты XVII столѣтія ( <i>Бэконъ</i> , <i>Гербертъ</i> и <i>Гоббесъ</i> ), <i>Изъ Зап. Новорос. Университета</i> . . . . .	287
Исторія Энциклопедіи, <i>Моренгольца</i> . . . . .	306
Общественное значеніе Энциклопедіи, <i>Морлея</i> . . . . .	312
Энциклопедисты и матеріалисты, <i>Шлоссера</i> . . . . .	321
Характеристика Дидро, <i>Розенкранца</i> . . . . .	329
Дидро съ литературной и нравственной точки зрѣнія, <i>Сентъ-Бёва</i> . . . . .	343
„О духѣ“ Гельвеція, <i>Гогоцкаго</i> . . . . .	358



„Система природы“ Гольбаха, <i>Ланге</i> . . . . .	363
Отрицательное направлѣніе французской литературы въ XVIII столѣтіи, <i>Соловьева</i> . . . . .	369
Вольномысленное просвѣщеніе и салоны во Франціи, <i>Каррьера</i> . . . . .	387
Французскіе философы и Екатерина II, <i>Соловьева</i> . . . . .	391
Мотивы сношеній Екатерины II съ французскими философами, <i>Терновскаго</i> . . . . .	404
Екатерина II въ ея сношеніяхъ съ французскими философами, <i>Билбасова</i> . . . . .	417
Дидро и Екатерина II, <i>Шукурова</i> . . . . .	426
Екатерина II и Жакъ-Жанъ Руссо, <i>Кобеко</i> . . . . .	444
Екатерина II и Д'Аламберъ, <i>Кобеко</i> . . . . .	451
Русское вольнодумство при Екатеринѣ II, <i>Терновскаго</i> . . . . .	459
Вольтеріанство въ вѣкъ Екатерины II, <i>Незеленова</i> . . . . .	470





## Историческій очеркъ европейскаго образованія и литературы въ XVII и XVIII вв.

Со второй половины XVII-го вѣка въ исторіи европейской образованности началось то умственное движеніе, которое должно было частію поколебать, а частію и совершенно упразднить средневѣковыя понятія о католичествѣ, государствѣ, наукѣ и общественномъ бытѣ. Возникнувъ въ Англіи, оно потомъ перешло во Францію и, опираясь на господство французскаго языка и литературы, сдѣлалось въ слѣдующемъ вѣкѣ достояніемъ другихъ народовъ Европы. Сущность, цѣль и дѣйствія началъ, раскрытыхъ независимою мыслию, занимаютъ въ исторіи всемірной культуры такое важное мѣсто, что XVIII вѣкъ, время сильнѣйшаго и повсемѣтнаго ихъ распространенія, называется вѣкомъ просвѣщенія по преимуществу (*das Zeitalter der Aufklärung*).

Во главѣ этого просвѣтительнаго движенія стоятъ Ньютонъ (+1727) и Локкъ (1704): одинъ съ своими астрономическими открытіями, другой съ своею опытною философіей. Законъ тяготѣнія, объясненный Ньютономъ, составляетъ эпоху не только въ исторіи небесной механики, но и въ исторіи образованія вообще. Онъ подорвалъ значеніе астрологій, исполненной чудесъ и вымысловъ. Сувѣрныя космогоническія представленія уступили свое мѣсто точной наукѣ объ устройствѣ вселенной. Зная, что одной и той же силѣ покорны и легчайшее тѣло на землѣ, и огромныя міровыя тѣла, человѣкъ рушилъ таинственныя преграды, которыми единое твореніе единого Зиждителя будто бы дѣлилось на двѣ особыя сферы. Освобожденіе небесныхъ свѣтилъ отъ исключительныхъ силъ и дѣйствій, псевдомыхъ нашей планетѣ, проложило путь болѣе здравымъ воззрѣніямъ философовъ и теологовъ: поэтому Нью-



тоновъ законъ связалъ успѣхи естествознанія съ успѣхами ума въ другихъ областяхъ человѣческаго вѣдѣнія.

Какъ великимъ открытіемъ Ньютона физическая астрономія обратилась въ небесную механику, такъ опытной философіей Локка метафизика обращена въ ученіе о чувственныхъ впечатлѣніяхъ. Что для перваго механизмъ, то для втораго сенсуализмъ. Философское сочиненіе Локка: „Опытъ о познавательной способности человѣка“, показывающее начало и границы нашего разума, не оставалось въ предѣлахъ чистой метафизики, но охватило своимъ вліяніемъ существенные вопросы церкви, государства, нравственности и воспитанія. Въ „Письмахъ о религіозной терпимости“ Локкъ проповѣдуетъ свободу совѣсти и равенство гражданскихъ правъ, несмотря на различіе вѣроисповѣданій. Другая книга его: „Разумность христіанства“, внесла въ ученіе католической церкви раціонализмъ и положила конецъ схоластической догматикѣ, державшейся на философій Аристотеля. Трактатомъ „О гражданскомъ правленіи“ рѣшенъ былъ споръ между двумя ученіями, развившимися въ періодъ долгой борьбы между Стюартами и парламентомъ: одно изъ нихъ, съ своимъ представителемъ Фильмеромъ († 1647), стояло за прерогативы короны; другое, имѣя представителемъ лорда Сиднея († 1683), защищало права парламента. Призваніе Вильгельма Оранскаго на англійскій престолъ дало торжество второму ученію. Локкъ, съ своей стороны, взялся оправдать историческій фактъ, выведя изъ общихъ понятій о государствѣ сущность, условія и выгоды новаго правленія въ Англіи. Наконецъ, въ книгѣ „О воспитаніи“ положены имъ основанія новой педагогической системѣ, которая коренится на свободномъ развитіи всѣхъ элементовъ человѣческой природы, особенно же на развитіи физическихъ силъ и нравственнаго чувства.

Одновременно съ Ньютономъ и Локкомъ дѣйствовали французскіе ученые, оставившіе свою родину во время гоненій на гугенотовъ и, по закрытіи протестантскихъ университетовъ, поселившіеся въ Нидерландахъ, гдѣ безъ стѣсненій могли высказывать свой образъ мыслей. Первенство между ними принадлежитъ скептику Бейлю († 1706). Его „Историческій и критическій словарь“ разоблачаетъ недостатки средневѣковыхъ системъ и понятій, лежавшихъ въ основѣ науки, общественнаго быта, государства и церкви. Главное начало его фило-



софскаго сомнѣнія, противоположнаго догматической философіи, состоитъ въ томъ, что разумъ способенъ только открывать заблужденія, но не въ силахъ познать истину.

Отъ Локковой философіи ведетъ свое начало деизмъ, или религія разума, называемая также начальною, естественною религіею. Впрочемъ, первыя основанія деизма положены еще Гербертомъ-де-Шербюри († 1648), который изъ ученія о врожденныхъ идеяхъ вообще, развитаго въ его книгѣ „Объ истинѣ“, вывелъ, въ другомъ сочиненіи („О религіи“), врожденные человеку, и слѣдовательно общія для всѣхъ народовъ, религіозныя идеи въ частности. Эти идеи и составляютъ основные догматы естественной религіи. Деисты Локковой школы, отъ Шафтсбери († 1713) до Чобба (1747) включительно, не остановились на выводахъ своего учителя, но пошли далѣе, увлекаемые ходомъ независимаго, только самому себѣ отвѣчающаго мышленія. Опредѣляя истинность предмета его согласіемъ съ разумомъ, они отрицали это согласіе въ установленной догматикѣ, тогда какъ Локкъ, напротивъ, признавалъ его. Изъ ряда собственно такъ называемыхъ деистовъ долженъ быть исключенъ Болинброкъ († 1751), хотя онъ и примыкаетъ къ нимъ нѣкоторыми взглядами. Какъ государственный мужъ, онъ смотрѣлъ на религію не столько со стороны ея истины, сколько со стороны ея цѣлесообразности, т.-е. видѣлъ въ ней необходимое орудіе для гражданскихъ и политическихъ успѣховъ народа.

Съ образованіемъ деистическаго образа мыслей тѣсно связано образованіе нравственной философіи. Исходнымъ пунктомъ того и другого служитъ опытная философія. Если нѣтъ врожденныхъ идей, если всѣ познанія человека — плодъ его собственной дѣятельности, то, разумѣется, значеніе человеческой природы настолько же возвысилось, насколько оно прежде было унижено ея подчиненіемъ другимъ силамъ. Изъ началъ современной метафизики возникло стремленіе — утвердить разнообразныя отправленія жизни человеческой на ея прирожденной сущности. Этому начала самостоятельной организаціи должна была держаться и мораль: и здѣсь главною задачею было также основать нравственное ученіе на коренныхъ принадлежностяхъ нашего естества, а не на внѣшнемъ авторитетѣ. Человекъ самъ долженъ быть творцомъ своего достоинства, подобно художнику, творцу художественнаго про-



изведенія. Добродѣтель есть также нравственная красота, и жизнь человѣка есть искусство пріобрѣтать эту красоту облагороженіемъ своей природы. Такимъ взглядомъ, развитымъ Шэфтсбери въ „Исслѣдованіи о добродѣтели“ и въ „Моралистѣ“, этика обращена въ эстетику нравственности. Цѣль правоученія — образовать благого и изящнаго человѣка (*pulchrum et honestum* римлянъ). Тотъ же писатель, а потомъ Болинброкъ представили систему оптимизма, которую Поупъ изложилъ въ стихахъ: поэма „Опытъ о человѣкѣ“ можетъ быть названа поэтической теодиціей.

За Шэфтсбери слѣдуетъ такъ называемая „шотландская школа философій“, потому что основатель ея, Гютчесонъ († 1747), былъ профессоромъ въ Глазговѣ. Заслуга этой школы состояла въ разборѣ началъ правоученія. Деисты, основывая мораль на разумѣ, доказывали, что человѣкъ тогда достигаетъ высшаго счастія, когда своими дѣйствіями осуществляетъ истину, требуемую разумомъ. Но что такое истина въ нравственныхъ предметахъ? Рѣшеніе этого вопроса дано Гютчесономъ: онъ призналъ существованіе въ человѣкѣ особаго, врожденнаго моральнаго чувства, которое судитъ о благомъ такъ же, какъ вкусъ физическій судитъ о вкушаемомъ, и которое служитъ основаніемъ добродѣтели. Воззрѣнія Гютчесона развиты Фергюсономъ († 1816), съ тѣмъ различіемъ, что послѣдній въ нравственномъ чувствѣ открываетъ три основные закона, находящіе свое приложеніе къ правоученію собственно, къ правовѣдѣнію и къ политикѣ. Школа шотландскихъ моралистовъ произвела новое направленіе и въ наукѣ объ изящномъ. Въ книгѣ „О происхожденіи идей блага и красоты“ Гютчесонъ пытался психологически разъяснить сущность и начало художественнаго впечатлѣнія, но у него истинное и благое не отдѣлены точными границами. Надобно было изслѣдовать то „внутреннее чувство“, которое дѣйствуетъ при наслажденіи изящнымъ. Этимъ изслѣдованіемъ занимались: знаменитый государственный мужъ Боркъ († 1797), Герардъ († 1795) и Гомъ († 1782). Боркъ отдѣлилъ художественное чувство отъ всѣхъ прочихъ и опредѣлилъ двѣ стороны изящнаго: возвышенное и прекрасное. изъ основныхъ побужденій нашего духа: Герардъ, въ двухъ опытахъ: „О вкусѣ“ и „О геніи“, подвергнулъ изслѣдованію элементы художественнаго чувства; „Основанія критики“, Гома, имѣютъ цѣлью объяснить чувствующую



способность человека и посредством разбора приятных и неприятных предметов положить прочныя основанія наукъ объ изящныхъ искусствахъ.

Накопецъ, сильное развитіе матеріальнаго благоденствія въ Англіи, безъ котораго и важнѣйшія гражданскія права теряютъ значительную долю своей цѣнности, дало начало новой наукѣ, поставившей своею задачею изслѣдовать законы экономическаго быта народовъ, какъ физиологія изслѣдуетъ отправления человѣческаго организма. Основатель этого ученія о народномъ богатствѣ, ипаче политической экономіи — Адамъ Смитъ († 1790).

Первое знакомство Франціи съ идеями англійскихъ мыслителей относится къ эпохѣ регентства герцога орлеанскаго (1715—1723). Въ это время были переведены на французскій языкъ нѣкоторыя сочиненія Ньютона, Локка, Попа, Свифта и деистовъ; въ это же время Вольтеръ († 1778) написалъ „Эдипа“ и оканчивалъ поэму „Генріада“, главная мысль которой — религіозная терпимость, а Монтескье († 1755) явился съ „Персидскими письмами“ — смѣлой сатирой на политическіе и церковные предрассудки. Спустя нѣсколько лѣтъ, Фонтенель († 1757) въ похвальномъ словѣ Ньютону призналъ заслуги этого великаго математика, хотя и смотрѣлъ на него съ точки зрѣнія Декартовой философіи. Учебное толкованіе Ньютоновыхъ открытій принадлежитъ Мопертюи († 1759), который двумя записками: „О законахъ притяженія“ и „О фигурѣ звѣздъ“, отвергъ картезіанскую гипотезу о движеніи солнечной системы. Затѣмъ, въ „Опытѣ космологіи“, руководствуясь тѣми же открытіями, онъ доказываетъ бытіе Бога не схоластическими аргументами, а движеніемъ міровыхъ тѣлъ, не мыслимымъ безъ двигателя; въ „Опытѣ же нравственной философіи“, слѣдуя Локку, полагаетъ сущность вѣроученія въ нравственномъ его началѣ, т.-е. въ сознательной любви человека къ Богу и ближнимъ. Строго-научные труды Мопертюи доступны были немногимъ; большинство образованныхъ людей нуждалось въ живомъ, ясномъ, общедоступномъ изложеніи новѣйшихъ успѣховъ естествознанія: этой потребности удовлетворилъ Вольтеръ своими „Основаніями Ньютоновой философіи“. Но еще прежде того „Англійскія письма“, Вольтера, познакомили его соотечественниковъ съ литературой,



наукой и политическимъ бытомъ страны, которую онъ изучалъ въ трехлѣтнее свое тамъ пребываніе.

Что при герцогѣ орлеанскомъ Филиппѣ и въ первые годы царствованія Людовика XV развивалось медленно, хотя и постоянно, то вполнѣ заявило свою силу ко второй половинѣ столѣтія. Въ это время французская словесность обогатилась извѣстнѣйшими твореніями Вольтера, Монтескье, Дидро, Руссо, которые уже не ограничивались простою передачею чужого умственного достоянія, но болѣе или менѣе выказывали самодѣятельность. Вѣкъ Людовика XV былъ цвѣтущимъ періодомъ просвѣтительной литературы во Франціи, какъ вѣкъ Людовика XIV былъ цвѣтущимъ періодомъ классицизма. Въ противоположность классицизму, признававшему существующій порядокъ, она становится критическою и обличительною. Характеръ ея — отрицаніе прежнихъ уставовъ, соединенное съ безсиліемъ дать новые уставы обществу, государству и церкви. Французы называли XVIII-ое столѣтіе философскимъ: это названіе удержано за нимъ исторіей не по оригинальности и глубинѣ философій, которыхъ оно не имѣло, а по ея опредѣленному и повсемѣстному дѣйствию на жизнь. Всѣ писатели, сюда относящіеся, могутъ быть сгруппированы вокругъ трехъ видныхъ личностей: Вольтера, Дидро и Руссо, изъ которыхъ каждый открываетъ особую эпоху въ развитіи такъ называемаго философскаго просвѣщенія.

Вольтеръ есть представитель эпохи деизма, заимствованнаго у англичанъ. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ бралъ обильную дань съ Коллинса, Топанда, Шафтсбери и другихъ мыслителей того же направленія. Излагая популярнымъ образомъ открытія Ньютона и философію Локка, онъ пустилъ ихъ въ общій оборотъ, какъ основу для новыхъ воззрѣній. Раціоналистъ по отношенію къ религіи, онъ, въ области политики, стоялъ на сторонѣ свободныхъ учрежденій. Но вопросы политическіе занимали у него второе мѣсто; не ему, а Монтескье предоставлено было разъяснить французамъ сущность, условія и гарантіи государственнаго устройства Англіи. Знаменитая книга Монтескье: „О духѣ законовъ“, связываетъ законодательство съ климатомъ, нравами, образованіемъ и религіей. Народный духъ или, какъ выражались у насъ въ XVIII в., народное умоначертаніе и законъ дѣйствуютъ другъ на друга взаимно. Только при этомъ взаимодействіи



государство выходит не произвольно сдѣланнымъ и произвольно измѣняемымъ тѣломъ, а правильнымъ, естественно развивающимся организмомъ. Съ вопросами о церкви и государствѣ состояли въ связи вопросы политико-экономическіе. Франція представила тоже явленіе, какое мы видѣли въ исторіи англійской науки, говоря объ Адамѣ Смитѣ. Свобода совѣсти, за которую ратовалъ Вольтеръ, законныя гражданскія права, осуществленіе которыхъ Монтескье находилъ у англичанъ, не могли считаться дѣйствительными благами при нуждахъ и бѣдности народнаго большинства. Школа политико-экономовъ, основанная Кене († 1774), смѣнила теорію меркантилизма ученіемъ фیزیократическимъ (отсюда ихъ названіе — фیزیократы), по которому природа вообще и земля въ особенности составляютъ единственный, исключительный источникъ богатства. Въ ученіи же о государственномъ устройствѣ, идеаломъ фیزیократовъ было полновластное, ничѣмъ не стѣняемое дѣйствіе просвѣщеннаго правительства. Они отвергали все, что могло ограничить силу центральной власти, и въ народномъ воспитаніи, которое должно было принять на себя государство, полагали наилучшее средство противъ общественныхъ злоупотребленій.

Вторая эпоха французской философіи XVIII в. есть эпоха матеріализма, во главѣ котораго стоятъ Дидро († 1784) и его послѣдователи, получившіе названіе энциклопедистовъ, такъ какъ органомъ этого направленія мысли была энциклопедія (алфавитный словарь по всеѣмъ предметамъ знанія), которую издавали Дидро и Даламбергъ († 1783). Послѣдній извѣстенъ болѣе какъ математикъ, нежели философъ. Важнѣйшіе предметы пытливаго ума оставлены имъ безъ рѣшеній. Вездѣ у него скептицизмъ, сознаніе незнанія. Единственно разумнымъ началомъ въ философскихъ изслѣдованіяхъ служили, по его мнѣнію, слова Монтеня: „que sais — je?“ (что я знаю?). Баронъ Гольбахъ († 1789) пошелъ далѣе Дидро, уничтоживъ въ его доктринѣ послѣдніе остатки идеальныхъ стремленій и превративъ метафизику въ физику. Труды Бюффона († 1788) восполняютъ одинъ изъ многихъ существенныхъ недостатковъ французскаго матеріализма, который толковалъ о природѣ, не зная природы, и покушался проникать въ тайны естества, когда уровень естествознанія былъ еще низокъ. „Эпохи природы“ и „Общая и частная естественная исторія“ отли-



чаются не открытіями, полагающими новую эру въ наукѣ, а гениальнымъ мастерствомъ обнимать цѣлое въ его жизни, дѣйствіяхъ и отношеніяхъ къ человѣку. Бюффонъ былъ одушевленный біографъ природы, какъ Винкельманъ былъ одушевленный біографъ искусства. Но, при всемъ своемъ философствованіи, ни одинъ изъ указанныхъ послѣдователей Дидро не имѣетъ права на имя философа, въ собственномъ смыслѣ этого слова: оно принадлежитъ единственно Кондильяку (†1780), автору „Опыта о началѣ человѣческихъ познаній“ и „Трактата о чувствованіяхъ“. „Опытъ“ покорно слѣдуетъ за Локкомъ, но „Трактатъ“ отступаетъ отъ англійскаго философа, не различая, подобно ему, чувственныхъ впечатлѣній отъ рефлексіи, возводя всѣ идеи и даже душевныя способности къ одному источнику — чувствамъ, и обращая такимъ образомъ человѣка въ статую, которая постепенно становится живымъ, разумнымъ существомъ отъ соприкосновенія съ вѣшнимъ міромъ. Въ какомъ отношеніи англійскіе моралисты находились къ опытной философіи Локка, въ такомъ же моральное ученіе французовъ находится къ Кондильяку: оно проникнуто матеріализмомъ. Ламетри, Гельвецій, Сень-Ламберъ и Вольпей единственнымъ двигателемъ человѣческой дѣятельности полагали эгоизмъ. Личная польза въ соединеніи съ пользою общественной служить, по ихъ мнѣнію, мѣрой нравственности.

Третья эпоха обнаружила противодѣйствіе второй. Возмущенная ученіемъ матеріалистовъ, мысль должна была искать новой опоры и пошла ея въ идеализмъ сердца, которое заявляетъ свои права наравнѣ съ правами разума и путемъ врожденнаго чувства возвращаетъ человѣка въ лоно вѣры. Представитель этой сердечной религіи — Жанъ-Жакъ Руссо († 1778). Одни изъ его сочиненій выставляютъ губительное вліяніе цивилизаціи, извратившей общество, и единственнымъ средствомъ искоренить зло почитаютъ возвращеніе человѣка къ естественному, первобытному его состоянію (Рѣшеніе вопроса, предложеннаго джонскою академіей: „чему содѣйствовали успѣхи искусствъ и наукъ — улучшенію или порчѣ нравовъ?“ и „О началѣ неравенства между людьми“); другія основываютъ общество на договорѣ между правителемъ и управленіями („Общественный договоръ“); третьи, по слѣдамъ Локка, предлагаютъ новую педагогическую систему, въ ко-



торой главными руководителями должны служить природа, самодѣятельность воспитанника, гармоническое, не стѣсняемое никакимъ механизмомъ, развитіе всѣхъ способностей человѣка („Эмилъ“).

Усвоивъ отъ Англіи великія открытія въ физикѣ, метафизикѣ и государственовѣдѣніи, французская философія XVIII в. сдѣлалась посредницею между этою страной и другими государствами. Изъ положенія зависимаго она перешла къ первенствующей роли въ дѣлѣ европейскаго образованія. Къ ней обращаются за руководствомъ при борьбѣ съ старыми началами; по ея примѣру заявляются новыя условія и требованія и въ наукѣ, и въ жизни. Сама Англія, какъ бы въ возмездіе за начальную услугу, пользуется трудами писателей, стоявшихъ во главѣ той или другой эпохи французскаго просвѣщенія. Въ Италію преимущественно проникли идеи Монтескье и физиократовъ. Небольшой кругъ молодыхъ образованныхъ италянцевъ принялъ намѣреніе изъяснить основы законодательства и правленія, совмѣстныхъ съ любовію къ людямъ. Между членами этого кружка находились Беккарія, двое братьевъ Верри (Петръ и Александръ), Висконтц, Ламбертини. Книга Беккаріи († 1793): „О преступленіяхъ и наказаніяхъ“, произвела переворотъ въ понятіяхъ о судѣ надъ уголовными преступленіями. Петръ Верри († 1797) написалъ „Размышленія о политической экономіи“. Онъ и Беккарія, читавшій лекціи этой науки (въ 1768 г.), справедливо называются предшественниками Адама Смита. „Наука законодательства“, неаполитанскаго публициста Филанжери († 1788), излагаетъ общія начала законовъ и показываетъ ихъ отношеніе къ политикѣ, государственному хозяйству, воспитанію, религіи. Подобное, но менѣе сильное движеніе мысли происходило въ Испаніи при графѣ Кампоманѣ (ум. около 1800), министрѣ Карла IV. Подъ его руководствомъ образовалась школа экономистовъ, старавшихся познакомить своихъ соотечественниковъ съ ученіемъ Кене и его послѣдователей. Кампоману принадлежитъ нѣсколько сочиненій по государственному хозяйству и администраціи. Лардизабаль, въ духѣ Беккаріи, издалъ книгу объ уголовномъ законодательствѣ. Въ англійской наукѣ обнаружилось съ одной стороны вліяніе историческихъ трудовъ Монтескье и Вольтера, а съ другой — вліяніе матеріализма энциклопедистовъ. Первому подчинились



Юмъ († 1776), Робертсонъ († 1793) и Гиббонъ († 1794); второму — Пристлей († 1808). Юмъ, слѣдуя Монтескье, по духу состоя въ ближайшемъ сродствѣ съ Вольтеромъ, отступилъ отъ чисто хронологическаго изложенія событій: въ „Исторіи Англіи“ онъ ищетъ руководительныхъ идей и кромѣ того изображаетъ состояніе нравовъ, общественной жизни и литературы. Повѣствовательному искусству Вольтера подражаетъ также Робертсонъ: введеніе въ „Исторію Карла V“, содержащее взглядъ на сущность и развитіе среднихъ вѣковъ, не только по способу изложенія, но и по основнымъ мыслямъ, непосредственно вытекло изъ Вольтерова „Опыта о правахъ и духѣ народовъ“. Еще ближе къ характеру французской исторіографіи XVIII в. стоитъ Гиббонова „Исторія упадка римской имперіи“. Ученіе Локка, доведенное Дидро и энциклопедистами до матеріализма, нашло себѣ послѣдователя въ Пристлей, который и мысль и чувство человѣка основываетъ единственно на дѣятельности мозга. Въ открытой враждѣ съ Юмомъ и Пристлеемъ дѣйствовали Томасъ Рейдъ († 1796), Джемсъ Беатти († 1803) и Дюгальдъ Стевартъ († 1828), которые, какъ профессора въ Эдинбургѣ и Глазговѣ, обыкновенно назывались шотландскими философами. Ученіе ихъ родственно идеямъ Руссо, почему они и говорятъ о немъ съ великимъ почетомъ.

Во французскомъ просвѣщеніи XVIII-го вѣка надобно различать его научное значеніе отъ значенія образовательнаго. Не всегда эти два предмета состоятъ въ прямомъ другъ къ другу отношеніи: бѣдность научнаго интереса можетъ существовать при сильномъ вліяніи на культуру; и наоборотъ, исторія образованности можетъ отводить неважное мѣсто такимъ явленіямъ мысли, которыя дорого цѣнитъ исторія науки. Философія Вольтера, Дидро, Руссо и ихъ послѣдователей служитъ яснымъ тому примѣромъ. Никто не признаетъ за нею чисто ученаго достоинства. По направленію и содержанію, въ ней нѣтъ ничего или почти ничего оригинальнаго. Главная заслуга философовъ, жившихъ при Людовикѣ XV, заключается въ томъ, что они пустили въ общій оборотъ мнѣнія англійскихъ мыслителей; собственные же труды ихъ были скорѣе попытками расширить кругъ извѣстнаго пріобрѣтеннаго достоянія, чѣмъ дѣйствительно новыя пріобрѣтенія. Этотъ приговоръ относится и къ поэзіи. За исключеніемъ Бомарше, Франція



XVIII-го вѣка не можетъ указать ни одного изъ литераторовъ, который владѣлъ бы оригинальнымъ талантомъ. Освободясь отъ исключительнаго классицизма, литература хотя и приняла болѣе живое и болѣе національное движеніе, но въ массѣ наличнаго ея капитала не встрѣчаются художественныя творенія: она скудна содержаніемъ, которое, при всѣхъ покушеніяхъ на простоту и естественность, не выходитъ изъ круга обыкновенной, насущной дѣйствительности. Однакожъ было бы несправедливо прилагать къ французской философіи единственно научный масштабъ, а къ французской литературѣ того же времени — единственно масштабъ художественный. Цѣль науки и словесности XVIII-го вѣка лежала не въ нихъ самихъ: онѣ служили другимъ цѣлямъ. — распространенію тѣхъ понятій, которыя были выработаны пытливою мыслію, начиная со второй половины XVII-го столѣтія. Серьезныя изслѣдованія англичанъ расходились преимущественно въ ученое мірѣ; немногіе знали языкъ ихъ; географическія условія страны опредѣлили ихъ особое, отдѣльное отъ другихъ народовъ, существованіе: и потому внутренняя важность просвѣтительной науки въ Англіи несравненно превышала ея внѣшнее дѣйствіе. Французскіе писатели находились въ болѣе выгодномъ положеніи: всемірное господство ихъ языка, способность легко и пріятно излагать самыя трудныя предметы знанія, умѣнье облекать мысль въ разнообразно-изящныя формы доставили имъ возможность разнести новое ученіе по всей Европѣ. Они были общедоступными, популярными, непосредственно дѣйствовавшими на жизнь философовъ. Въ этой рѣшительности и опредѣленности дѣйствія заключается ихъ историческое значеніе.

Идеи XVIII-го вѣка, величаемаго вѣкомъ разума, послужили основой государственныхъ и общественныхъ улучшеній. Одна Англія осталась внѣ ихъ практическаго дѣйствія, такъ какъ она уже имѣла все, что для другихъ народовъ было предметомъ желаній. Державныя особы и государственные люди не только усвоивали ученіе французскихъ философовъ, но даже съ нѣкоторыми изъ нихъ состояли въ близкихъ отношеніяхъ: вели съ ними переписку, испрашивали у нихъ совѣтовъ, увѣдомляли ихъ о своихъ намѣреніяхъ. Въ духъ новаго времени зачинались и приводились въ исполненіе реформы, имѣвшія цѣлю положить конецъ противорѣчіямъ между



издавна установленнымъ порядкомъ и законными требованіями ума и чувства. Эти преобразовательныя мѣры исходили отъ правительства и совершались правительствомъ. Не снизу вверхъ, а сверху внизъ распространялось просвѣщеніе, которое должно было съ одной стороны искоренять недостатки, а съ другой—производить положительные улучшения. Къ числу лицъ, которыя по доброй волѣ и силою единовластія старались согласовать свое правленіе съ духомъ новыхъ началъ, принадлежатъ: Фридрихъ Великій, Екатерина II, Іосифъ II, Густавъ III. Тапуччи въ Неаполѣ, Помбаль въ Португаліи. Аранда Кампоманъ въ Испаніи, Шуазель, Тюрго и Малербъ во Франціи, Бернстофъ и Струэпзе въ Даніи.

*Галаховъ.*

## **Культурный и нравственно-историческій характеръ XVIII ст.**

Въ XVII столѣтіи Германія доходитъ не только до политическаго ничтожества, но и до умственного рабства. Въ это жалкое время кальвинизмъ и лютеранство коспѣютъ въ мелочныхъ препирательствахъ, узкости воззрѣній и взаимномъ озлобленіи, отрываясь отъ народной жизни и отличаясь нетерпимостью сверху и невѣріемъ снизу. Съ церковью въ малодушіи, эгоизмъ и рабствъ соперничаетъ кафедра. Вся тогдашняя офиціальная ученость есть не что иное, какъ варварство. Сумасбродная діалектика теологовъ и юристовъ при процессахъ вѣдьмъ служатъ тому страшнымъ доказательствомъ. Педантизмъ достигаетъ ужасающихъ размѣровъ, такъ, напр., одинъ тюбингенскій профессоръ употребляетъ 25 лѣтъ (1624—1649 гг.) на то, чтобы познакомить свою аудиторію съ пророкомъ Исаіею. Литература, въ свою очередь, рабски подражая чужеземному безвкусію, отражаетъ всю сухость ученой премудрости и нравственное одичаніе времени...

Въ XVII столѣтіи совершился окончательный разрывъ литературы съ жизнью. Народъ уже не принимаетъ въ ней никакого участія: даже самыя народныя пѣсни тогдашняго времени суть не что иное, какъ поддѣлка ученыхъ, которые совершенно овладѣваютъ литературою, и она въ ихъ рукахъ



принимаетъ безжизненную форму. Связь съ сокровищами и традиціями древней народной литературы окончательно порвалась: ученые писатели не имѣли понятія о національных древностяхъ, имъ были только знакомы греческіе и римскіе памятники, да и тѣ въ безцвѣтныхъ и невѣрныхъ французскихъ и итальянскихъ переводахъ, отличавшихся рабскимъ и неуклюжимъ подражаніемъ. Но въ началѣ столѣтія новый духъ начинаетъ проникать въ Германію. Принцъ Людвигъ Ангальтъ-Кетенскій, одушевленный патріотизмомъ, основываетъ въ 1617 году орденъ Пальмы или плодотворное общество, которое съ одной стороны верхне-пѣмецкое нарѣчіе дѣлаетъ общеупотребительнымъ письменнымъ языкомъ, съ другой — напоминаетъ высшимъ классамъ общества, отличавшимся страстью ко всему чужеземному, о нѣмецкомъ языкѣ, образованіи и правахъ. Благодаря подобнымъ стремленіямъ, Опицъ придастъ новое содержаніе и форму совершенно заброшенной нѣмецкой поэзіи. Онъ былъ благомыслящій патріотъ, но, къ сожалѣнію, не имѣлъ никакого понятія о поэзіи, положивъ въ основаніе ея въ своей знаменитой „Піпстикъ“ ученость и безусловное подражаніе античнымъ образцамъ. Даже великіе таланты и силы въ это смутное время 30-лѣтней войны не произвели ничего значительнаго. Такъ, напр., эта ужасная эпоха не дала созрѣть гению Флемминга и увлекла высокодаровитаго Андрея Грифійуса на ложный путь чудовищной и напыщенной трагедіи, между тѣмъ какъ при болѣе благопріятныхъ условіяхъ онъ могъ бы сдѣлаться нѣмецкимъ Шекспиромъ. Вслѣдствіе политическаго иностраннаго вліянія, а также вслѣдствіе скопленія чужеземныхъ войскъ въ Германіи, нѣмецкій духъ совершенно исчезъ. Вмѣстѣ съ безпримѣрною нравственною порчею шла обѣ руку неслыханная порча языка, въ особенности языкъ „образованныхъ“ тогдашняго времени былъ такъ же вычуренъ и нелѣпы, какъ шутовской парадъ. Напрасно противъ этого нравственнаго упадка возставали серьезные и честные писатели, какъ Михель Мошерошъ и авторъ превосходнаго романа *Simplicissimus*. Литература, подражая итальянскому сенсуализму, упала на низшую степень неприличія и была культомъ безнравственности. Образцы подобнаго направленія можно встрѣтить въ произведеніяхъ Гоффмансвальдау и Логенштейна. Ихъ напыщенный языкъ, ихъ описаніе сладострастныхъ сценъ пре-



восходить всякое воображеніе. Если бъ у насъ не было печатныхъ памятниковъ того времени, то трудно бы было повѣрить, что во второй половинѣ XVII столѣтія считалось въ Германіи за идеаль благородства, красоты и поэзіи.

Нужно быть хорошо знакомымъ съ этою зачумленною атмосферою, чтобъ понять и оцѣнить въ полномъ объемѣ всѣ славныя усилія нашихъ великихъ умовъ XVIII столѣтія, направленныхъ къ ея очищенію. Никогда еще не начинался трудъ при болѣе неблагопріятныхъ условіяхъ. XVII столѣтіе — позорная эпоха въ исторіи Германіи. Только въ нѣкоторыхъ благородныхъ сердцахъ таился нѣмецкій духъ; распущенность и безправственность заглушали все; модныя привычки, т.-е. слѣпое обезьянство иностраннаго въ одеждѣ, нравахъ и языкѣ, господствовали въ высшихъ кружкахъ. Въ Германіи все принималось и усваивалось, кромѣ отечественнаго. Католическіе дворы получали повелѣнія изъ Рима и Мадрида, протестантскіе передавали нѣмецкіе интересы Франціи.

Въ концѣ XVII столѣтія въ государственной жизни Европы произошла значительная перемѣна. Въмѣсто разрушающагося феодализма, который только въ Англіи, и то съ помощью двухъ революцій, развился въ аристократическо-представительную монархію, появился на европейскомъ континентѣ романскій абсолютизмъ, зародившійся въ Испаніи и получившій полное развитіе во Франціи. Здѣсь, начиная съ Филиппа Августа, идетъ цѣлый рядъ королей и министровъ, способствовавшихъ къ образованію и осуществленію абсолютной государственной идеи. Людовикъ XI, потомъ Ришелье и Мазарини такъ много сдѣлали для созданія абсолютнаго государства, что Людовику XIV оставалось только сказать: „Государство — это я“, чтобы превратить все это въ фактъ. Онъ былъ божественнымъ образцомъ для всѣхъ европейскихъ правителей, даже тѣхъ, которые, вълѣдствіе его безпримѣрныхъ захватовъ, начинали съ нимъ войну. Мода версальскаго абсолютизма соперничала съ другими модами въ Европѣ. При такихъ условіяхъ началось XVIII столѣтіе.

Какъ бы ни судили объ этой великой эпохѣ, все-таки отрицать того нельзя, что она принадлежитъ къ числу самыхъ необыкновенныхъ, разностороннихъ, богатыхъ поэзіею, подвигами, дѣяніями и идеями во всей всемірной исторіи. Какое изобиліе мыслей во всѣхъ областяхъ человѣческаго знанія!



Какой необозримый рядъ оригинальныхъ личностей, благородныхъ, великихъ, загадочныхъ и ужасныхъ характеровъ! Какой наплывъ героевъ, поэтовъ, философовъ, гегіевъ, художниковъ, авантюристовъ и шарлатановъ! Чувствительность и мечтательность чередуются съ прометеевской энергіею и упорствомъ, а титаническая сила воли идетъ обѣ руку съ гегіальной силой выполненія. Скептицизмъ, злая насмѣшка переходятъ въ мистическую восторженность, или, наоборотъ, скорбь о содѣланныхъ грѣхахъ превращается въ богохульный атеизмъ. вмѣстѣ съ хохотомъ и свистомъ разсвирѣпѣвшей толпы, не признающей ничего святого, раздаются клики возвышеннаго энтузіазма. Являются чудные замыслы, неожиданное совершается на этой почвѣ, которая вулканически колеблется подъ ногами человѣка! Тамъ, гдѣ только что герой, законодатель и поэтъ возбуждали нашъ восторгъ, появляется дерзкій шарлатанъ. Удушливая атмосфера пудры, румянъ, распущенности, скептицизма, интригъ и крайняго эгоизма окружаютъ насъ; но и въ этомъ испорченномъ воздухѣ цвѣтутъ высокія идеи и созрѣваютъ дѣянія разума и человѣчности.

Назначеніе XVIII вѣка было — совершить неоконченную миссію XVI столѣтія; вслѣдствіе того мы видимъ, какъ онъ избавилъ, по крайней мѣрѣ, теоретически, европейское общество отъ средневѣкового застоя и замкнутости, осмѣялъ различіе кастъ, создалъ гражданство, даровалъ закръвощонному крестьянину права человѣка; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подкопалъ нравственное основаніе общества и разрушилъ въ одно время какъ хорошія, такъ и добрыя начала. Если бы легко можно было говорить объ исторіи, то это чудное, подвижное время можно было бы назвать карнаваломъ рѣзкихъ контрастовъ. Въ этомъ хаосѣ разочарованія и энтузіазма, сантиментальной мечтательности и грубой чувственности, дерзкаго невѣрія и ребяческой погои за чудеснымъ, сухого материализма и возвышенныхъ идей, утопченнаго разврата и поклоненія природы — рѣзко выдается бурное стремленіе къ свободѣ и надъ нравственнымъ упадкомъ возвышается вѣра въ идеаль.

Двѣ умственные силы, господствующія надъ вѣкомъ, въ особеннсти выдѣляются изъ этихъ контрастовъ. Сначала злая насмѣшка пускаетъ свои острые стрѣлы въ основы общества, чтобы показать, какъ шатки и гнилы онъ; затѣмъ разочаро-



ваніе. порожденное прежнимъ положеніемъ. превращается въ страстное желаніе новаго порядка. и этотъ всемірный историческій паѳосъ. посредствомъ страшнаго переворота. даетъ возможность новѣйшему міровоззрѣнію восторжествовать надъ средневѣковымъ...

Большая борьба между автономіей и авторитетомъ. которая въ теченіе XVIII столѣтія измѣнила воззрѣнія внутренняго и вѣшняго міра. получила свое начало не въ Германіи. Она исходитъ изъ философской системы француза Декарта. который впервые заявилъ о человѣческомъ самосознаніи. Какъ ни смѣлъ былъ этотъ подвигъ. чтобы выставить бытіе. какъ результатъ человѣческаго мышленія. но все-таки онъ не могъ уничтожить различія между духомъ и матеріею. Даже великое ученіе Спинозы. что все индивидуальное. какъ конечное. исчезаетъ въ безконечности божественной субстанціи. не могло измѣнить дуализма идеи и дѣйствительности. и такимъ образомъ мы видимъ. что новѣйшая философія распалась на двѣ вѣтви: идеализмъ. формулированный Лейбницемъ. и реализмъ. которому Локкъ придалъ научную форму. Въ эмпиризмъ Локка коренится вся революціонная литература XVIII столѣтія. и реалистическое направленіе. благодаря Юму и Бэйлю. породило скептицизмъ...

Загадочное явленіе представляетъ намъ Франція XVIII-го столѣтія съ ея утопченнымъ деспотизмомъ и крайне либеральною литературою. Какой переходъ отъ классика Корнеля и Расина. гдѣ псевдо-греки и псевдо-римляне. въ придворныхъ костюмахъ. декламируютъ искусно подобранныя сентенціи. болѣе или менѣе рассчитанныя на прославленіе Людовика „Великаго“. до трагедіи Вольтера. гдѣ драматическая форма служитъ только ловкимъ проводникомъ свободныхъ воззрѣній. Впрочемъ. почва во Франціи уже была приготовлена для воспріятія идей. запесенныхъ изъ Англіи. Скептический эмпиризмъ опирался на сатиры Рабле и Паскаля. направленные противъ духовенства. а мыслители. какъ Монтень. Рошфуко. Лабрюэръ и С. Евремонть. еще въ 17 вѣкѣ указали путь критическаго изслѣдованія. которымъ въ слѣдующемъ столѣтіи долженъ былъ руководиться здравый человѣческій смыслъ относительно церковныхъ. государственныхъ и социальныхъ учрежденій. Слѣды этого направленія мы встречаемъ въ сочиненіяхъ Монтескье. который. подъ влія-



ніємъ англійскихъ постановленій, въ своей книгѣ „Esprit des Lois“, практическому абсолютизму противопоставилъ теорію конституціонной монархіи и тѣмъ сдѣлалъ свое произведеніе бібліею повѣйшаго либерализма и парламентаризма.

Отъ такого положительнаго направленія былъ далекъ Вольтеръ, этотъ великій насмѣшникъ, созданный, чтобы насмѣхаться и насмѣшкою все разрушать. Этотъ геній отрицанія, апостолъ всемогущей остроты, подобно Лукіану, взиравшему на разлагавшійся Римъ, съ злою проницей смотрѣлъ на отжившій романтическій міръ и этою проницей заставлялъ блѣднѣть всѣ средневѣковые предрассудки. Вліяніе этого насмѣшника, посвятившаго намъ свою трагедію „Магометъ“, гдѣ въ образѣ мусульманскаго фанатизма былъ осмѣянъ христіанскій фанатизмъ, — было неизмѣримо. Другъ Фридриха Великаго, корреспондентъ Екатерины II, въ одно время льстецъ и насмѣшникъ, тиранъ и рабъ королей, любимецъ высшаго общества, идолъ остроумныхъ людей во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ, — Вольтеръ цѣлое столѣтіе правилъ умами Европы, и пока стоитъ міръ, ни одинъ писатель не имѣлъ такого громаднаго и неограниченнаго вліянія, какъ авторъ „Кандида“ и „Орлеанской дѣвственницы“.

Посредствомъ своей остроумной политики противъ старинныхъ преданій, является Вольтеръ, если не новаторомъ, то руководителемъ и коноводомъ приверженцевъ той философіи, которая, вслѣдствіе естественно-научной дѣятельности Бюффона, Кондильяка и другихъ, быстро выработалась въ матеріализмъ Ламетри и въ атеизмъ Гольбаха. Сущность этого матеріалистическаго евангелія, т.-е. крайняго эгоизма, Гельвецій проповѣдовалъ въ своей книгѣ „De l'esprit“ и послѣ того, какъ парижское общество — другого не существовало и нѣтъ во Франціи — остроумною болтовнею литературныхъ кружковъ, собиравшихся въ салонахъ Дю-Деффа, Жоффренъ и у др. эмансипированныхъ женщинъ, совершенно подготовилось къ подобнаго рода ученію, — всѣ революціонныя идеи столѣтія нашли себѣ пріютъ въ словарѣ Дидро и Д'Аламбера, который подъ именемъ „Энциклопедіи“ получилъ всемірно-историческое значеніе. Здѣсь ~~былъ~~ старый порядокъ, какъ трупъ въ анатомическомъ театрѣ, былъ подвергнутъ тщательному изслѣдованію, чтобы подъ ножомъ опытныхъ



наго хирурга обнаружить причины болѣзни, подтачивавшей общественный организмъ.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что аристократическіе кружки Франціи много способствовали распространенію свободныхъ идей, просвѣщенію и вѣротерпимости, ибо какимъ образомъ могъ бы существовать во второй половинѣ столѣтія „Просвѣщенный деспотизмъ“, и какимъ образомъ объяснить либеральное поведеніе лучшихъ дворянъ и духовенства во Франціи при началѣ революціи? Но большая часть привилегированнаго сословія смотрѣла на энциклопедическую литературу, какъ на проходящую моду, какъ на предметъ остроумной болтовни, скандала или простого любопытства. Это въ особенности выяснилось, когда Руссо, противопоставляя всю мощь своего генія легкомыслію Вольтера, результаты свободомыслящей критики сдѣлалъ нравственнымъ и политическимъ вопросомъ. Всѣ легкомысленные люди — а ихъ число было легіонъ — обѣты были немалымъ ужасомъ, когда имъ пришлось узнать, что ученіе Жанъ-Жака не есть только личное озлобленіе полоумнаго чудака противъ существующаго порядка, а могучій толчокъ къ громадному перевороту въ политическихъ и педагогическихъ воззрѣніяхъ. Въ томъ-то и заключается всемірно-историческій подвигъ Руссо, что онъ умственное движеніе изъ сферы безотраднaго отрицанія перенесъ въ міръ чувствъ и страстей. Съ появленіемъ Жанъ-Жака исчезаетъ остроумное заигрываніе въ вопросы, занимавшіе столѣтіе, и наступаетъ время серьезнаго отношенія къ общественнымъ требованіямъ. Хотя горячая проповѣдь Руссо, какъ и остроты Вольтера, не лишена была извѣстнаго рода аффектаціи, но что составляетъ его неотъемлемое достоинство и рѣзко отличаетъ его отъ другихъ энциклопедистовъ, такъ это то, что онъ не стремился забавлять праздные умы, а затрогивалъ лучшія чувства человѣка и шевелилъ его умственную дѣятельность.

Понятно, что въ началѣ — мы говоримъ о первой половинѣ XVIII столѣтія — въ умственной германской жизни еще невозможно было предчувствовать періода бурныхъ стремленій. Поэзія, если здѣсь слѣдуетъ употребить это слово, вяло влачила по пути подражанія. Тутъ и тамъ являлось дѣйствительное дарованіе, какъ Гюптеръ, рано похищенный смертію. Брокесъ и Гадлеръ, но всѣ ихъ поэтическія описанія при-



роды напоминаютъ англійскихъ поэтовъ, а для нѣмецкой литературы никакого значенія не имѣютъ. Гагедорнъ своимъ лиризмомъ напоминаетъ только изящные образцы Шюлье и Шапеля, а сатиры Рабенера и Цахаринъ отличаются скорѣе нравственно-историческимъ, чѣмъ эстетическимъ достоинствомъ. Напротивъ, басни Геллерта хотя и не возвышаются надъ уровнемъ узкаго бюргерскаго воззрѣнія, но въ нихъ чувствуется самостоятельность, слышится духъ народности. Главное достоинство ихъ заключается въ томъ, что онѣ популяризовали литературу, возбуждали сочувствіе средняго сословія и посредствомъ своего общедоступнаго изложенія проникли въ массу народа. Въ Геллертѣ мы видимъ поэта, который чувствовалъ, мыслилъ и писалъ по-нѣмецки, — поэта, чисто-народный пошлѣ котораго рѣзко противорѣчилъ исключительному педантизму какого-нибудь Готшеда, съ неслыханнымъ самодовольствомъ, помахивавшимъ французскимъ скипетромъ въ нѣмецкой литературѣ. Считая псевдоклассицизмъ французовъ за неизмѣнный и вѣчный законъ, этотъ трудолюбивый, благонамѣренный и патріотическій, хотя погинути всѣми музами и граціями, писатель старался подражать всему французскому. что въ такой же степени удалось ему, какъ удалось жалкимъ рѣмонплетамъ, окружавшимъ его, подражаніе французскимъ классикамъ.

Но, несмотря на это, Готшеду нужно было отдать справедливость, что онъ честно стремился развить въ обществѣ любовь къ литературѣ и извлечь нѣмецкую сцену изъ варварскаго состоянія. Онъ одновременно объявилъ войну какъ неслѣпому оперному спектаклю, такъ и неприличной комедіи Гансвурста, особенно процвѣтавшей въ Вѣнѣ, и съ помощью даровитой и умной актрисы Каролины Нейберъ — основалъ въ Лейпцигѣ, по французскому образцу, постоянный театр. Но всѣ благонамѣренныя, хотя ложно-попатыя драматическія попытки этого писателя рушились, благодаря его бездарности. Въмѣсто Гансвурста, торжественно сожжелнаго по его настоянію на Лейпцигской сценѣ, онъ могъ только представить своего „Умирающаго Катона“, — пьесу, изготовленную по рецепту Буало, и этому жалкому герою стоило только открыть ротъ, чтобъ заставить публику пожалѣть объ изгнанномъ арлекинѣ. Стоить только представить себѣ этого Катона въ костюмѣ парижскаго петиметра, въ напудренномъ парикѣ, бѣ-



лыхъ чулкахъ и башмакахъ съ красными каблуками, декламирующаго плоскіе стихи Готшеда, и съ нимъ римлянку Порцію въ громаднхъ фижмахъ, съ высочайшей прической и перетянутой таліей, — чтобы понять и оцѣнить тотъ энергическій призывъ Руссо обратиться къ природѣ, какъ источнику всего чистаго и высокаго, — призывъ, на который, благодаря идеальному направленію пѣмецкаго характера, съ горячимъ сочувствіемъ откликнулась вся Германія.

Подъ вліяніемъ реформаціонной литературы, которая изъ Франціи господствовала надъ всѣми цивилизованными кружками Европы, новые принципы въ государственной и церковной области въ продолженіе второй половины XVIII столѣтія получили положительный характеръ. Устарѣлость средневѣковыхъ формъ такъ рѣзко бросалось въ глаза, что дальнѣйшее существованіе ихъ было пемыслимо. Новыя потребности повсюду требовали строгой оцѣнки всего стараго и отжившаго, и самымъ государственнымъ правителямъ была благопріятна оппозиція, проложившая путь къ реформамъ, необходимымъ для ихъ собственной выгоды. Абсолютизмъ долженъ былъ сдѣлаться „просвѣщеннымъ“; онъ долженъ былъ даровать народному прогрессу извѣстную степень самостоятельности, дать направленіе этому прогрессу, чтобы не быть имъ подавленнымъ. Впослѣдствіи революція доказала, что даже королевская власть не въ состояніи удержать низвергающуюся лавину, по вначалѣ только нѣкоторые проицательные умы могли предвидѣть, что переворотъ сверху столкнется съ переворотомъ снизу. Другими словами, возможность революціи предчувствовали только Вольтеръ и Руссо, между тѣмъ какъ въ необходимости реформъ были согласны всѣ мыслящіе и честные люди.

Вслѣдствіе этого „просвѣщенный деспотизмъ“ горячо принялся за дѣло, чтобы средневѣковой феодализмъ замѣнить болѣе современнымъ порядкомъ. Освобожденіе народовъ отъ феодальнаго ига, уничтоженіе крѣпостного права, возраставшія природныя и промышленныя силы странъ обратить въ пользу народнаго хозяйства, смягченіе варварскаго законодательства, уничтоженіе рѣзкаго различія кастъ, необходимость народнаго образованія и учрежденія школъ — вотъ цѣли, къ которымъ стремилось общество въ политическомъ и соціальномъ отношеніи. Въ области религіи взаимная терпимость сдѣлалась



неизбѣжнымъ правиломъ, и даже римская курія, и протестантская церковь подверглись вліянію духа времени. Лютеранская ортодоксія, благодаря нѣмецкому раціонализму, расширившему ученіе англійскихъ свободомыслителей, сдѣлалась предметомъ общественнаго обсужденія, затѣмъ уничтоженіемъ либеральнымъ папою Гангапелли ордена іезуитовъ и реформами императора Іосифа цивилизація достигла высшей степени.

Каждый безпристрастный человѣкъ согласится, что при такихъ условіяхъ всемірно-историческое развитіе сдѣлало громадный шагъ впередъ. Но при эгомъ всякій безпристрастный человѣкъ долженъ подтвердить, что при дѣйствіяхъ даже просвѣщеннаго деспотизма притѣсненія и произволъ царствовали вездѣ и всюду. Коронованные просвѣтителі и ихъ министры были того мнѣнія, что стоитъ только энциклопедическія формы перенести изъ Парижа, чтобы втиснуть въ нихъ народъ, какъ горшечную глину. Но, во-первыхъ, люди не совсѣмъ походятъ на горшечную глину, а во-вторыхъ, неподвижность и лѣнь, господствующія въ массахъ народа, скорѣе симпатизируютъ повелѣвающему обскурантизму, нежели просвѣщенной инициативѣ. Благодаря неограниченному произволу издаются просвѣщенные указы, которые ни на шагъ не подвигаютъ дѣйствительной культуры, а безслѣдно исчезаютъ въ хламъ исторической макулатуры. Великая ошибка утверждать, что во второй половинѣ XVIII столѣтія, вмѣстѣ съ просвѣщенною теоріей, шла рука объ руку соотвѣтствующая ей практика. Въ это-то именно время и являются самыя произвольныя распоряженія, эта-то эпоха и составляетъ самое позорное пятно германской исторіи, когда на подданныхъ смотрѣли какъ на выгодный товаръ.

Просвѣщенный абсолютизмъ, со всѣми своими достоинствами и недостатками, достигаетъ своего апогея при Фридрихѣ Великомъ. Въ одинъ прекрасный день удивленная Европа узнала, что осмѣянные потсдамскіе вахтпарады Фридриха-Вильгельма I на что-нибудь пригодны, а милліоны талеровъ не изъ одной корысти хранятся подъ сводами берлинскаго дворца. Желаніе отца сдѣлать Пруссію могущественнымъ европейскимъ государствомъ — исполнилъ сынъ. Захватъ Силезіи показался педагогическимъ государственнымъ парикамъ, своимъ управленіемъ доведшимъ нѣмецкое государство чуть не до гибели, дерзкою школьною проказою, за которую немедленно послѣ-



дуетъ наказаніе. Но въ дѣйствительности это былъ вызовъ, брошенный судьбѣ гениальною натурою, и когда послѣ нѣкотораго промедленія этотъ вызовъ былъ принятъ, то результатомъ его была семилѣтняя борьба маленькой Пруссіи противъ соединенныхъ силъ цѣлой Европы.

Значеніе этого великаго человѣка для Германіи заключалось въ томъ, что онъ своими геройскими подвигами снова доставилъ ей уваженіе, утраченное ею въ глазахъ Европы, и въ нѣмецкомъ народѣ пробудилъ сознаніе собственнаго достоинства; затѣмъ на ряду съ императорскою Австріей онъ поставилъ Пруссію, обладавшую одинаковыми правами, и изъ контрастовъ обоихъ государствъ образовалъ полюсъ, около котораго впослѣдствіи начало вращаться развитіе нѣмецкой исторіи. Всемирно-историческое значеніе Фридриха заключалось, съ одной стороны, въ томъ, что онъ ввелъ Пруссію въ семью великихъ европейскихъ державъ; съ другой стороны, правилъ ею какъ коронованный просвѣтитель. Съ уничтоженіемъ пытки, онъ стремился придать практическую форму всѣмъ новымъ принципамъ столѣтія. Онъ позволялъ каждому высказывать свое мнѣніе и „каждому спастись какимъ ему угодно способомъ“. Но при этомъ во всю свою жизнь онъ остался неограниченнымъ деспотомъ. Ни въ одномъ изъ его коронованныхъ современниковъ не было развито такъ сильно сознаніе своего „божественнаго права“, какъ въ этомъ человѣкѣ, который любилъ говорить, что онъ первый слуга въ государствѣ. Осторожный нѣмецъ Виландъ, при видѣ слѣпого обожанія, которымъ пользовался великій король, не могъ удержаться, чтобы не воскликнуть: „Король Фридрихъ великій человѣкъ, но отъ счастья жить подъ его палкою (т.-е. скипетромъ) избави насъ Богъ!“ Но какія бы ни были промахи этого замѣчательнаго человѣка и правителя, какія бы ошибки ни сдѣлалъ онъ въ особенностяхъ въ политико-экономическомъ отношеніи, — все-таки онъ останется одною изъ замѣчательнѣйшихъ личностей всемирной исторіи, и каждый изъ его преемниковъ не безъ глубокаго чувства и уваженія прочтетъ то мѣсто завѣщанія великаго короля, гдѣ онъ по долгу справедливости говоритъ, „что онъ располагалъ небольшимъ состояніемъ, потому что на государственные доходы смотрѣлъ какъ на животъ завѣта, къ которому не должна прикасаться ни одна святотатственная рука“.



Что касается отношеній Фридриха къ нѣмецкой цивилизаціи, то патріотъ въ состояніи понять ихъ, но не извинить. Правда, Фридрихъ имѣлъ несчастіе еще въ самомъ раннемъ дѣтствѣ попасть на воспитаніе двухъ офранцузившихся женщинъ, вслѣдствіе чего получилъ предубѣжденіе противъ всего нѣмецкаго. Справедливо и то, что грубый тевтонизмъ, господствовавшій при дворѣ его отцовъ, не въ состояніи былъ уничтожить въ подраставшемъ принцѣ пристрастія къ элегантнымъ парижскимъ модамъ и французскому остроумію. Но не менѣе справедливо и то, что король, познакомившись съ недостатками французовъ на войнѣ и мирѣ, узнавши ихъ пустоту на своихъ обѣдахъ въ Сапъ-Суси, не взялъ на себя труда подвергнуть изслѣдованію, что культура, давшая подобные результаты, дѣйствительно ли имѣла преимущество предъ отечественною. Если бы Фридрихъ, при всей своей изумительной дѣятельности, хотя одну десятую часть времени, истраченного имъ на кропаніе французскихъ стиховъ, посвятилъ бы на знакомство съ благороднымъ стремленіемъ пробуждавшихся вокругъ него нѣмецкихъ умовъ, то Клопштокъ не назвалъ бы его чужеземцемъ на родинѣ. Но что сказать о томъ равнодушіи, съ которымъ вѣнчаный писатель встрѣтилъ первое представленіе „Минны фонъ-Барнгельмъ“, имѣвшей неслыханный успѣхъ на берлинской сценѣ и страдавшей только тѣмъ недостаткомъ, что была написана нѣмцемъ? Чѣмъ объяснить, что еще въ 1780 г., слѣдовательно послѣ появленія Эмили Галоти, Гётца и Вертера, Натана Мудраго и Оберона, онъ выпустилъ свой пасквиль о нѣмецкой литературѣ, гдѣ съ полнѣйшимъ невѣжествомъ глумится надъ Шекспиромъ и Гёте и о своихъ подданныхъ отзывается: „что они до сихъ поръ только и дѣлали, что пили, ѣли и дрались!...“

Ничего не можетъ быть различнѣе вліянія и послѣдствій на культурную жизнь Германіи, какъ 30-лѣтняя война въ XVII и семилѣтняя въ XVIII столѣтіяхъ. Какъ первая грозила уничтожить всѣ зародыши цивилизаціи, такъ послѣдняя все оживила и оплодотворила. При этомъ не нужно упускать того, что до означеннаго кризиса въ Германіи уже совершались нѣкоторыя событія, содѣйствовавшія развитію новыхъ идей; такъ началось великое литературное движеніе, достигшее своего апогея въ лицѣ Шиллера. Но въ цѣломъ нѣмецкая жизнь до такой степени была погружена въ апатію, что необходимъ



былъ значительный переворотъ, чтобы новымъ формамъ придать воздухъ, свѣтъ и просторъ. Какъ герой и руководитель этого переворота, является Фридрихъ Великій, наперекоръ своей галломаніи, сдѣлавшійся національнымъ культурнымъ героемъ. Гёте, на закатѣ дней своихъ, отличавшійся полнѣйшимъ квіэтизмомъ и, такъ сказать, придворнымъ тономъ, говоря въ одномъ мѣстѣ „Поэзіи и правды“ о вліяніи семилѣтней войны на литературу, мѣтко доказываетъ, что, благодаря дѣяніямъ Фридриха, впервые проникли въ нѣмецкую поэзію естественность и оригинальность. При этомъ онъ замѣчаетъ, что нелюбовь Фридриха ко всему нѣмецкому была счастьемъ для развитія литературы, потому что все стремилось къ тому, чтобы быть замѣченнымъ королемъ, по все это дѣлалось на нѣмецкій ладъ, по внутреннему убѣжденію, по праву, и каждому желалось и хотѣлось, чтобы король созналъ это нѣмецкое право.

Такимъ образомъ, вслѣдствіе несправедливой оцѣнки великаго короля, зародилась въ нѣмецкой музѣ сила, которая, какъ выразился Клопштокъ въ своей благородной одѣ, „была бы для него дороже, если бъ онъ ее зналъ“. Антипатію Фридриха ко всему нѣмецкому можно назвать не матерью, а скорѣе кормилицею свободнаго развитія и самостоятельности нашей литературы. Если бы король болѣе обращалъ на нее вниманія, то его вліяніе сдѣлало бы то, что онъ направилъ бы ее на ложный путь, и намъ досталась бы въ удѣлъ, подобно Франціи въ XVIII столѣтіи, — если мы исключимъ Мольеровскія комедіи, — холодная, надутая, лишенная всякой естественности, придворная литература. Благодаря этому высокомерному отвращенію Фридриха, нѣмецкая цивилизація избѣгнула несчастія, утратила вліяніе на развитіе средняго сословія. Но, благодаря реформаторской дѣятельности Фридриха, благодаря благотѣльному кризису семилѣтней войны, въ Германіи появилось образованное среднее сословіе, въ которомъ сгруппировался истинный характеръ нашей національности для новой дѣятельности. Одно изъ самыхъ отрадныхъ явленій въ нашей исторіи составляетъ то, что именно въ то время, когда слава популярнѣйшаго изъ государей заставляла французскую цивилизацію торжествовать надъ отечественною, нѣмецкій геній расправлялъ свои крылья и готовился къ смѣлымъ полетамъ.



Начало этого движенія было довольно скромно. Цѣль его—освобожденіе науки, освобожденіе мыслящаго человѣка изъ оковъ догматизма. Избавленіе нѣмецкаго искусства отъ произвола романской теоріи была вначалѣ поята только немногими избранными умами. Господство „чуждаго насилія“ не вдругъ рушилось съ появленіемъ оригинальныхъ созданій, но шагъ за шагомъ уничтожалось, благодаря энергическимъ усиліямъ критики. Противъ французской диктатуры Готшеда возсталъ на нѣмецкомъ югѣ, въ Швейцаріи, оппозиція, опиравшаяся на знакомство съ англійской литературой. Брейтшгеръ и Бодмеръ отвергли французскую теорію, которая поэзію обратила въ формальную, чтобы не сказать церемоніальную правильность, и рѣшили, что задача поэта заключается въ живомъ воображеніи, въ правдивомъ описаніи природы и неподдѣльномъ чувствѣ; поэзія должна быть проникнута простотою и естественностью; односторонній дидактическій и быющій на правоученія характеръ, господствовавшій у насъ со временъ Опитца, долженъ быть изгнанъ изъ произведений, затѣмъ отъ лирики слѣдуетъ перейти къ эпосу и драмѣ. Но нѣмцы, вслѣдствіе долгой зависимости отъ французскаго вліянія, совершенно утратили вѣру, что они собственными силами могутъ создать что-нибудь, и такимъ образомъ приверженцы Готшеда медленно прокладывали путь къ новымъ принципамъ и только съ появленіемъ первыхъ пѣсень Мессіады Клопштока повѣрили въ возможность оригинальнаго нѣмецкаго стихотворенія. Каждому понятно, что восторгъ, съ которымъ великое произведеніе Клопштока было встрѣчено, нужно судить не съ точки зрѣнія современнаго читателя. Если теперь, зная его эстетическіе недостатки, лирическую напыщенность и отсутствіе пластичности, свойственной эпосу, мы приписываемъ ему только одно историко-литературное значеніе, то въ то время его можно было назвать крупнымъ народнымъ событіемъ. Оно въ своемъ родѣ имѣло такое же сильное вліяніе на народъ, какъ 200 лѣтъ тому назадъ лютеровскій переводъ Библии, а въ средѣ образованныхъ людей вліяніе это еще увеличивали оды Клопштока, въ которыхъ языкомъ, полнымъ первобытной свѣжести, воспѣвалась цѣломудренная любовь, чистая дружба, патріотизмъ и благородное наслажденіе жизнью. Стихотворенія Клопштока были похожи на журчаніе прозрачнаго ручейка въ безводной пустынѣ подражанія.



Такимъ образомъ Германія, въ лицѣ Клопштока, приобрѣла поэта, расширившаго жалкія рамки, въ которыя рутинна втиснула литературу. Черпая свое вдохновеніе изъ благородныхъ и высокихъ чувствъ, волнующихъ сердце человѣка, онъ впервые пробудилъ въ своихъ соотечественникахъ любовь къ родинѣ, а своимъ мѣткимъ языкомъ и выраженіями придалъ литературѣ самостоятельность и значеніе. Паѳосъ его привлекательно дѣйствовалъ на юные умы, пробуждая въ нихъ честную дѣятельность.

Но, несмотря на всѣ эти заслуги, немалымъ счастьемъ для нашей литературы было то, что вращавшійся въ безжизненныхъ отвлеченностяхъ спиритуализмъ Клопштока встрѣтилъ противовѣсъ въ сенсуализмѣ Виланда, который нѣмецкую поэзію, витавшую въ заоблачныхъ пространствахъ, низвелъ на почву дѣйствительности. Ему въ особенности обязаны мы, что съ появленіемъ его начался болѣе широкій обмѣнъ между литературою и жизнью. Не обладая гениемъ, но одаренный гибкимъ и разностороннимъ талантомъ, онъ имѣлъ всѣ данныя, чтобы придать пеловкому и неуклюжему нѣмецкому стиху гармонію и стройность. Его муза была въ дѣйствительности грація, хотя грація, напоминавшая парижскихъ щеголихъ. Творчество его не простиралось до того, чтобы создать что-нибудь новое и оригинальное, но произведенія его служатъ лучшимъ доказательствомъ, что нѣмецкій поэтъ не менѣе французскаго умѣлъ при случаѣ писать изящно и съ тою же вѣтренностью и легкомысліемъ. Поэтому ему удалось въ то время, какъ Клопштокъ воодушевлялъ юношей, заинтересовать нѣмецкой литературой высшее офранцузившееся общество, что имѣло не малое вліяніе на развитіе нашей культурной жизни. Виландъ своимъ добродушіемъ, свѣтской веселостью, безвреднымъ скептицизмомъ и пропіею, блестящимъ даромъ изложенія и тонкою пасмѣшкою достигъ того, что сдѣлался литературнымъ посредникомъ между мѣщанскимъ и аристократическимъ классами. Этимъ путемъ онъ на идеальныя стремленія вѣка наложилъ печать реализма, сдѣлалъ ихъ ходячею монетою и на закатѣ дней своихъ имѣлъ полное право гордиться, что въ продолженіе 50 лѣтъ пустилъ въ ходъ цѣлую массу идей, которыя увеличили сокровище національной культуры.

Просвѣщеніе, имѣя въ виду воспитанное имъ среднее сословіе, сдѣлало его органомъ общественнаго мнѣнія и придало



ему достоинство и значеніе, а представители отечественной интеллигенціи повсюду прокладывали пути гуманизму, высшія соціальныя и художественныя цѣли котораго впоследствии нередко приходили въ столкновеніе съ узкимъ бюргерскимъ воззрѣніемъ. Эти обѣ стороны просвѣщенія мы встрѣчаемъ въ типичной личности берлинскаго писателя и книгопродавца Николаи, извѣстнаго своею дружбою съ Лессингомъ и ненавистью къ Гёте. Изъ кружка Николаи, посредственно или непосредственно, выдвинулась нѣмецкая журналистика, которая „Литературными письмами“, „Всеобщей нѣмецкой библіотекою“ и „Нѣмецкимъ вѣстникомъ“ создала органы, расширившіе знанія. Такъ какъ нѣмецкое образованіе утратило исключительно ученый характеръ и стремилось къ общепопытному изложенію, то было чрезвычайно важно, что просвѣтительное направленіе, при преобладающемъ теологическомъ настроеніи нѣмцевъ, проникло и въ самую теологію. Великая реформа эмпирико-историческихъ наукъ началась съ открытія въ 1783 г. Гёттингенскаго университета, гдѣ Гейне, предвозвѣстникъ Фридриха Августа Вольфа, читалъ филологію, а Кестперъ и Лихтенбергъ математику и физику; Шрёкъ и Планкъ положили новое основаніе церковной. Шпитлеръ всемірной исторіи, т.-е. подвергли ее безпристрастной критикѣ, а геніальный Випкельманъ изученіемъ греческаго искусства подвинулъ впередъ наше классическое образованіе. Не меньшимъ значеніемъ отличались успія просвѣщенныхъ людей освободить нашъ методъ воспитанія отъ средневѣковыхъ схоластическихъ системъ и вмѣсто теологической рутины внести гуманно-реальный принципъ. Хотя опыты педагога Базедова и не лишены извѣстной доли пелѣпости и шарлатанства, но Песталоцци можно назвать педагогическимъ реформаторомъ, который своимъ математическо-аналитическимъ методомъ нагляднаго преподаванія создалъ новую эпоху въ народномъ обученіи. Только съ появленіемъ Песталоцци явилась возможность ввести народъ въ кругъ гуманнаго образованія.

Между тѣмъ на сцену выступаетъ Лессингъ, чтобы придать національно-литературному направленію еще болѣе значенія. Его литературное значеніе для нѣмцевъ было не меньше политическаго значенія Фридриха Великаго. Лессинга можно назвать истиннымъ освободителемъ нашей страны отъ чужеземнаго умственного вліянія. Въ этомъ великомъ человѣкѣ разно-



стороннее знаніе и изумительная дѣятельность соединялись съ свѣтлымъ умомъ и зрѣлымъ мышленіемъ, нравственная чистота характера съ горячимъ патріотизмомъ. Его теологическая и археологическая полемика подняла нашу научную литературу, а его Литературныя письма, его Лаокоонъ и Гамбургская драматургія возвысили нашу эстетическую критику. Онъ понялъ всю ложь псевдо-античныхъ воззрѣній французъ, указалъ на дѣйствительно-античный идеалъ красоты и научилъ, какъ и что слѣдуетъ нѣмецкому искусству заимствовать у него. Онъ впервые помялъ и объяснилъ все величіе Шекспира и что могутъ Германія и міръ извлечь изъ этого генія.

Лессингъ указалъ цѣль нашей классической литературѣ, соединивъ эллинскую красоту и форму съ нѣмецкою задушевностью и умомъ. Эта новѣйшая грекоманія, достигшая высшей степени въ произведеніяхъ Гёте и Шиллера, имѣетъ свои недостатки и промахи, какъ и все человѣческое, но при этомъ не нужно забывать, что эта же самая грекоманія сдѣлала насъ свободными людьми и гражданами. Это стремленіе къ образованію, это живое участіе къ литературѣ, эта воспріимчивость къ прекрасному, которыми преимущественно отличается нѣмецкое общество второй половины 18-го столѣтія, пробудило вмѣстѣ съ поэзіей и другія искусства. Появились богатые собранія искусствъ въ Дюссельдорфѣ, Дрезденѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, открылись художественныя школы, а Менгсъ, Гакертъ и пр. заставили обратить вниманіе и на нѣмецкій талантъ; но въ цѣломъ эти искусства отличались подражаніемъ и создавались подъ вліяніемъ меценатства, такъ что особеннаго значенія они не могли имѣть на развитіе культуры. Сперва нужно было явиться Винкельману съ его изученіемъ антиковъ, сперва поэзіи должна была открыться новая область искусства, чтобы впослѣдствіи дать возможность Карстену, Шилу, Вехтеру, Даниелеру и Шинкелю основать художественную школу въ Германіи, свободную отъ французскаго псевдо-классицизма.

Быстрѣе и блестящѣ живописи было возрожденіе музыки и сценическаго искусства. Умные теоретики, какъ Матесонъ и Марпургъ, сдѣлали для музыки то, что критика Винкельмана и Лессинга сдѣлала для живописи и поэзіи, и съ этимъ яснымъ теоретическимъ ученіемъ шло рука объ руку практическое творчество даровитыхъ и гениальныхъ исполнителей. Бенза



создать мелодраму, Гайднъ познакомилъ насъ съ задушевною прелестью своихъ симфоній и изобразилъ величественную музыкальную картину міроздапія и время года, Глюкъ глубиною чувства одержалъ блестящую побѣду надъ мягкостью и изнѣженностью итальянцевъ и былъ создателемъ благороднаго опернаго стиля. За Глюкомъ слѣдовалъ Моцартъ, этотъ Гёте музыки, а рядомъ съ творцомъ Донъ-Жуана выступилъ Бетховенъ, какъ рядомъ съ создателемъ Фауста выступилъ авторъ Валленштейпа.

Такимъ образомъ, сопоставивъ все вышесказанное, мы находимъ, что вторая половина 18-го столѣтія для нашего отечества была благословеннымъ періодомъ, гдѣ всѣ благородныя побужденія и стремленія человѣка обрѣменились, дали цвѣтъ, и, наконецъ, принесли плодъ.

*Шерръ.*

---

## Ньютонъ и значеніе его открытія.

Въ царствованіе Іакова II, въ эпоху блестящей и работѣпной литературы, Англія воспитала въ себѣ высокую философскую школу, которая вскорѣ должна была могущественно содѣйствовать развитію идеі о конечной причинѣ и свободы. Самый годъ возвращенія Карла II былъ ознаменованъ основаніемъ Королевскаго Лондонскаго Общества, столь прославленнаго Вольтеромъ предъ французскими академіями, но это общество, все-таки, было опять подражаніемъ Франціи. Академіи не родятъ геніевъ: эта истина слишкомъ проста и ясна, чтобы въ ней искать общихъ мѣстъ для эпиграммы, но онѣ распространяютъ просвѣщеніе, сообщаютъ идеі и этимъ самымъ способствуютъ пробужденію и развитію генія. Королевское Общество, задуманное на началахъ, болѣе свободныхъ, чѣмъ наши академіи, безъ пенсій и зависимости отъ двора, въ бурное время реставраціи было открытымъ убѣжищемъ для свободныхъ мыслителей. Любопытный контрастъ представляетъ эта мирная работа англійской философіи съ послѣдними отчаянными воплями побѣжденных партій, съ мщеніемъ властей и заговорами фанатиковъ, ложнымъ обращеніемъ лицемѣровъ и всѣми тѣми бѣдствіями, которыя смутили царствованіе послѣд-



нихъ Стюартовъ. Казалось, свободомысліе, здравый смыслъ, скованные столькими препятствіями, только еще болѣе ими возбуждались къ проложенію себѣ пути вдали отъ толпы. Они искали этотъ путь сначала въ естественныхъ наукахъ, менѣе доступныхъ пониманію и менѣе возбуждающихъ подозрѣніе. Лондонское Королевское Общество соединяло въ себѣ, правда, математиковъ съ поэтами; оно считало между первыми своими членами Драйдена, но, несмотря на это, оно сохранило свой особенный характеръ, достойный страны Бэкона — посвящать свои изысканія изслѣдованіямъ и опытамъ натуральной философіи, по прекрасному выраженію того времени. Въ своихъ засѣданіяхъ читали очень мало стиховъ, по много ученыхъ изслѣдованій. Въ этомъ обществѣ Робертъ Бойль познакомилъ съ своими открытіями, Гарвей доказывалъ кровообращеніе, Ваддисъ излагалъ свои ученыя вычисленія, Галлей докладывалъ о своихъ астрономическихъ открытіяхъ; наконецъ тамъ Ньютонъ нашелъ слушателей и свидѣтелей своего генія. Дворъ, разрѣшившій открытіе Королевскаго Лондонскаго Общества, очень мало о немъ заботился, публика не понимала, его роялисть Бутлеръ издѣвался надъ нимъ въ своей сатирической поэмѣ, почти наравнѣ съ пуританами. Но это новое учрежденіе отъ этого ничего не потеряло въ своемъ могуществѣ: изъ него истекало любознательное отношеніе къ наукѣ, равно какъ и чувство народной гордости. Оба эти чувства удачно выражены въ посланіи Драйдена къ знаменитому доктору-автору „Трактата о каменной болѣзни“. Это движеніе не ослабѣло и въ самые тяжелые дни. *Книга началъ* Ньютона помѣчена 1686-мъ годомъ; это было то самое время, когда деспотизмъ дѣлалъ послѣднія успія, отнималъ грамоты у городовъ и такъ жестокосердно обагралъ Шотландію. Среди этого неистовства человѣческихъ страстей Ньютонъ кончилъ свое великое произведеніе, повятое очень не многими, но составляющее славу страны.

Впечатлѣніе этого произведенія выражено въ прекрасныхъ стихахъ астронома Галлея, напечатавшаго ихъ въ началѣ книги Ньютона.

Intima panduntur victi penetralia coeli,  
Nec latet extremos quae vis circumrotat orbes.  
Sol solio residens ad se jubet omnia pronо



Tendere descensu, nec recto tramite currus  
Sidereos patitur vastum per inane moveri;  
Sed rapit immotis, se centro, singula gyris.  
Jam patet horrificis quae sit via flexa cometis:  
Jam non miramur barbati phaenomena astri.  
Discimus hinc tandem qua causa argentea Phoebe  
Passibus haud aequis graditur; cur subdita nulli  
Hactenus astronomo numerorum fraena recuset;  
Cur remeent nodi, curque auge progrediantur.  
Discimus et quantis refluxum vaga Cynthia pontum  
Viribus impellit, dum fractis fluctibus ulvam  
Deserit, ac nautis suspectas nudat arenas,  
Alternis vicibus suprema ad littora pulsans:  
Quae toties animos veterum torsere sophorum.  
Omnia conspiciamus, nubem pellente Mathesi,  
Surgite, mortales, terrenas mittite curas  
Atque hinc coeligenae vires dignoscite mentis;  
Talia monstrantem mecum celebrate Camoenis  
Newtonum clausi reserantem scrinia veri,  
Newtonum Musis carum . . . . .  
Ne fas est propius mortali attingere divos\*).

Несмотря на мнѳологию, которая, по обыкновѳенію того времени, примѳшивается къ этимъ стихамъ, въ нихъ видна первая попытка великаго искусства поэтически описывать открыте

---

\*) Предъ нами открываются самыя далекія глубины неба; передъ нами уже не скрывается сила, приводящая въ движеніе самыя отдаленныя круги; спокойно стоятъ солнце, повелѳвая всѳмъ мірамъ обращаться къ нему, потому что оно не можетъ никогда допустить, чтобы блуждающія звѳзды покинули свою правильную колею; оно опредѳляетъ ихъ бѳгъ, становясь въ серединѳ вселенной. Предъ нами уже раскрываются грозящіе пути кометъ, мы не удивляемся больше появленію братаго созвѳздія; мы съ точностью знаемъ причину, почему серебряная Феба странствуетъ колеблющимися шагами, почему астрономія не обуздала ее прежде, почему возвращаются ея зглы, почему исполняется и ширится ея кругъ. Да, мы знаемъ, какой силой перемѳнчивая Феба гонять море назадъ, вырывая съ корнемъ волнующуюся морскую траву, и почему приливъ снова тѳсняется къ берегу, показывая морякамъ грозящія опасностью мели. Это всегда занимало умы величайшихъ изслѳдователей. Теперь мы узнаемъ это: покрывало снято навсегда.

Смертныя, воспряньте и оставьте земныя заботы, научайте и узнавайте силу вѳчнаго небеснаго духа; отдайте хвалу великому Ньютону, открывшему божественную истину, Ньютону, любимцу музъ, украшенію людей. Больше (этого) приблизиться къ богамъ не дано смертнымъ.



науки, — того искусства, которое Вольтеръ довелъ такъ далеко въ своемъ посланіи о Ньютонѣ къ г-жѣ дю-Шателэ.

*Вильменъ.*

Открытія, обезсмертившія имя Ньютона, принадлежатъ области естествовѣдѣнія. Чтобы понять эти открытія и оцѣнить значеніе способа изученія явленій природы, внесеннаго въ науку Ньютономъ, мы должны обратить вниманіе на состояніе знаній о природѣ въ эпоху трудовъ англійскаго ученаго.

Тогда уже были совершены великія астрономическія открытія Коперника и Кеплера; законы движенія были изслѣдованы Галилеемъ въ приложеніи къ вопросу о паденіи тѣлъ; центробѣжная сила, рождающаяся вслѣдствіе вращательнаго движенія, была изучена Гюйгенсомъ; Декартъ уже внесъ въ науки о природѣ ясныя механическія понятія. Такъ какъ ученіе Декарта находится въ ближайшей связи съ возрѣніемъ Ньютона на природу, такъ какъ борьба между картезіанскимъ и ньютоніанскимъ направленіями, въ продолженіе цѣлаго вѣка, раздѣляла между собою ученыхъ, то предметъ, на который мы должны обратить вниманіе, есть характеристика Декартова способа изученія явленій природы. Декартъ положилъ безграничную пропасть между двумя областями: природою и духомъ. Природа представляла для него свою цѣльную область, опредѣляемую идеями пространства и движенія. Для объясненія явленій природы не должно переносить понятій изъ другой области, а, напротивъ, искать законовъ, выраженныхъ ее собственными словами; неопредѣленность качественныхъ представленій замѣнить опредѣленными понятіями числа и мѣры. Теорія явленій природы должна быть механическою, законы природы законами математическими, физика геометриєю и механикою. Отсюда объясненіе всѣхъ явленій природы механическими причинами: толчкомъ, давленіемъ; отсюда вихри тонкаго вещества, кружащіеся въ пространствѣ и увлекающіе тѣла съ собою. Вѣрный своему принципу, Декартъ самыя явленія въ живомъ тѣлѣ объяснилъ механически; животныя были для него чистыми машинами; онъ отрицалъ въ нихъ самую способность чувствовать пріятное или непріятное, испытывать удовольствія, ощущать боль. Спиноза, раздѣлявшій въ этомъ отношеніи идеи Декарта, всегда особенно любовался, давая науку мухъ и наблюдая любопытныя движенія, казавшіяся ему автоматическими.



Фонтенель въ своихъ остроумныхъ „Разговорахъ о множествахъ міровъ“ слѣдующимъ образомъ приводитъ воззрѣніе на природу, внесенное Декартомъ, и противоположность, въ какой оно находилось съ воззрѣніями, господствовавшими тогда въ школахъ и основанными на невсегда понятыхъ мѣстахъ древнихъ писателей. „Я сравниваю природу съ большимъ спектаклемъ. Съ того мѣста, гдѣ вы находитесь въ театрѣ, вы не видите сцены такъ, какъ она на самомъ дѣлѣ: машины и декорации расположены такъ, чтобы сдѣлать зрѣлище эффектнымъ; отъ вашихъ глазъ скрыты колеса и блоки, которыми производятся движенія. Вы не заботитесь узнать, какъ все это происходитъ. Но можетъ быть въ числѣ зрителей есть машинистъ, который съ любопытствомъ слѣдитъ за полетомъ, кажущимся ему необыкновеннымъ, и во что бы ни стало хочетъ узнать, какъ онъ произведенъ. Этотъ машинистъ соотвѣтствуетъ философу. Но относительно философа трудность увеличивается, потому что въ машинахъ, представляемыхъ природою, веревки скрыты, такъ скрыты, что долго пельзя было угадать, что производитъ движеніе въ природѣ. Представьте же себѣ, что въ театрѣ собраны мудрецы: Пифагоры, Платоны, Аристотели и другіе, которыхъ имена такъ звучно раздаются въ нашихъ ушахъ; предположимъ, что они глядятъ на полетъ Фаетона, упосимаго вѣтрами, не могутъ открыть веревочъ и не знаютъ внутренняго расположенія сцены. Одинъ говоритъ: Фаетонъ подымается вслѣдствіе особаго тайнаго свойства; другой: Фаетонъ представляетъ собою опредѣленные числа, которыя заставляютъ его подниматься; третій: Фаетонъ имѣетъ опредѣленное стремленіе къ верху театра. ему не ловко, если онъ не тамъ; иной: Фаетонъ собственно не назначенъ для того, чтобы летать, но онъ подымается, чтобы не оставить пустоты на верху театра. Наконецъ, приходитъ Декартъ и съ нимъ нѣкоторые другіе изъ новыхъ ученыхъ и говорятъ: Фаетонъ подымается потому, что его тянутъ веревки, вслѣдствіе того, что болѣе тяжелое тѣло опускается внизъ. Такимъ образомъ теперь уже не думаютъ, чтобы тѣло могло двигаться, если его не тянетъ или не толкаетъ другое тѣло. Видѣть природу такъ, какъ она есть, то же самое, что видѣть внутреннее устройство сцены. Въ этомъ отношеніи философія сдѣлалась механическою“.

Но Фонтенель уже сказалъ, что веревки, помощію которыхъ

237041



приводится движеніе въ природѣ, совершенно скрыты отъ нашихъ глазъ. А такъ какъ одно и то же движеніе можетъ быть произведено различными механическими средствами, то, понятно, что много произвола оставалось въ дѣлѣ объясненія явленій природы помощію механическихъ причинъ. Для объясненія движенія планетъ около солнца, луны около земли и проч., Декартъ допустилъ, что пространство наполнено жидкимъ, тонкимъ веществомъ, эфиромъ, что это вещество образуетъ вихри или круговороты около центральнаго тѣла, эти вихри увлекаютъ съ собою планеты около солнца, подобный же вихрь, имѣющій землю своимъ центромъ, несетъ луну около нашей планеты. Такимъ образомъ создалась эта замѣчательная, не лишенная физическихъ основаній, операція вихрей Декарта. Но мысль о кружащемся тонкомъ веществѣ еще долго оставалась въ наукѣ. Эйлеръ объяснялъ дѣйствіе магнита на желѣзо потоками тонкаго вещества, кружащагося около магнита и свободно проникающаго чрезъ всѣ другія тѣла, кромѣ желѣза, которое по внутреннему своему устройству представляетъ препятствіе движенію тонкой жидкости. Эрстедъ электрическими кружащимися потоками объяснялъ замѣченное имъ удивительное дѣйствіе металлической проволоки, соединяющей полюсы гальваническаго снаряда на магнитную стрѣлку.

Мы видимъ слѣдовательно, что сильная сторона ученія Декарта состояла въ ясности механическихъ представлений, характеризующей его воззрѣніе на явленія природы; слабая — въ произволѣ, который онъ внесъ въ присканіе ближайшихъ механическихъ причинъ явленій, произволѣ, породившемъ безчисленное множество недоказанныхъ физическихъ гипотезъ, наводившихъ науку въ эпоху трудовъ Ньютона. Внутренніе частичные процессы, служащіе причиною наблюдаемыхъ явленій, скрыты отъ нашихъ чувствъ: мы можемъ дѣлать о нихъ только болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія; давъ волю воображенію, легко построить цѣлый рядъ гипотезъ, которыя разлетятся при болѣе строгомъ изученіи фактовъ.

Противъ этого произвола гипотезъ возставалъ Ньютонъ. Онъ положилъ своей цѣлью изучать законы явленій, избѣгая всякихъ предположеній объ ихъ непосредственныхъ физическихъ причинахъ. Законъ тяготѣнія, открытый Ньютономъ, останется всегда вѣрнымъ, ибо онъ выражаетъ законъ явленія, независимо отъ тѣхъ причинъ, которыя его производятъ и о



которыхъ можно дѣлать болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія. Всѣ явленія въ природѣ обнаруживаются движеніемъ. Движеніе, его законъ и причины, главный предметъ изысканій; во взглядѣ на него обнаруживается противоположность воззрѣній Декарта и Ньютона. Тѣла неорганическія косны: сама по себѣ, безъ виѣшней причины, они не могутъ ни прійти въ движеніе, ни остановиться. Если тѣло движется, это значитъ, что на него дѣйствовала однажды или постоянно дѣйствуетъ какая-нибудь причина. Декартъ, рассуждая объ этой причинѣ, допускаетъ, что, вѣроятно, какое-нибудь другое тѣло толкаетъ рассматриваемое нами; отсюда одинъ шагъ къ потокамъ тонкаго вещества, производящимъ различныя движенія въ природѣ. Ньютонъ оставляетъ въ сторонѣ вопросъ о физическихъ свойствахъ причины, производящей движеніе; онъ рассуждаетъ только, что если тѣло приведено въ движеніе, или если движеніе его измѣняется, то значитъ есть причина или сила, на него дѣйствующая и имѣющая въ каждый моментъ определенное направленіе и величину. Изслѣдовать измѣненія въ направленіи и величинѣ, найти математическую величину силъ, то-есть формулу, которая ихъ представляетъ и этимъ способомъ достигнуть знанія истинныхъ законовъ природы — вотъ цѣль изслѣдованій Ньютона. Идя такимъ путемъ, открылъ онъ свой великій законъ тяготѣнія, составляющій важнѣйшее пріобрѣтеніе ума человѣческаго въ дѣлѣ изученія природы. Не должно однако думать, что вопросы о физическихъ причинахъ явленій не имѣютъ важности въ наукѣ: напротивъ, это главная цѣль изученія природы, но къ рѣшенію его можно подойти только медленнымъ путемъ строгаго изученія фактовъ, и въ этомъ отношеніи открытіе строгихъ законовъ природы есть первый вѣрный шагъ ума человѣческаго, стремящагося проникнуть въ тайны природы.

Желаніе избѣгнуть гипотезъ и представить свои изслѣдованія какъ прямое выраженіе наблюдаемыхъ явленій замѣтно у Ньютона на каждомъ шагѣ. „Я не придумываю гипотезъ“ (*hypotheses non fingo*) было одно изъ любимыхъ его изреченій. Боясь, чтобы его изысканія не были смѣшаны съ произвольными предположеніями, наводнявшими тогда науку. Ньютонъ въ своихъ твореніяхъ даже нигдѣ не высказываетъ ясно, что же, по его мнѣнію, есть тяготѣніе, свѣтъ, тепло. Только по нѣкоторымъ страницамъ его сочиненій, по вопросамъ (*quae-*



stiones), помещеннымъ въ концѣ „Оптики“ и по немногимъ отдѣльнымъ трактатамъ можно составить понятіе о томъ, какого рода предположенія онъ считалъ, по крайней мѣрѣ, возможными и вѣроятными. Безъ сомнѣнія, во многомъ руководилъ Ньютономъ предположенія, но онъ скрылъ ихъ, какъ скрылъ тотъ аналитическій путь, которымъ производилъ открытія, изложенныя имъ въ синтетической формѣ доказательства. Много можно найти свидѣтельствъ, какъ Ньютонъ при всякой новой обработкѣ своихъ трудовъ старался ихъ дѣлать болѣе и болѣе независимыми отъ гипотезъ. Такъ въ 1713 году онъ пишетъ къ профессору Котсу (Kotes), занимавшемуся редакціею второго изданія „Principia mathematica“, что вначалѣ хотѣлъ помѣстить три четверти листа о притяженіи малыхъ частицъ, но потомъ раздумалъ и оставилъ только двѣнадцать строкъ. Ньютонъ былъ склоненъ считать тяготѣніе основнымъ и первоначальнымъ свойствомъ матеріи не менѣе какъ и непроницаемость. Такую мысль онъ и выразилъ въ первомъ изданіи „Principia“. Но въ послѣдствіи, защищаясь отъ обвиненій, которыя ввели на его систему ученые, видѣвшіе въ ней возобновленіе потаенныхъ качествъ (*qualitates occultae*) схоластиковъ, Ньютонъ ввелъ въ Оптику (1717) мысль, что тяготѣніе можетъ быть имѣть физическую причину въ давленіи тонкаго и весьма упругаго вещества, разлитаго въ пространство. Потомъ въ третьемъ изданіи „Principia“ въ томъ мѣстѣ, гдѣ уподобляетъ тяготѣніе непроницаемости, прибавилъ: „однакоже я вовсе не утверждаю, что тяготѣніе присуще тѣламъ; подъ именемъ силы, прирожденной матеріи, понимаю силу операціи. Послѣдняя неизмѣнима, а тяжесть уменьшается по мѣрѣ удаленія отъ земли“. Основная черта способа Ньютона особенно ясно можно видѣть въ его изслѣдованіяхъ о цвѣтахъ тонкихъ пластинокъ. Есть два изложенія этого предмета у Ньютона: одно, позднѣйшее, въ „Оптикѣ“; другое въ отдѣльномъ трактатѣ, представленномъ (1675) лондонскому обществу. Въ этомъ трактатѣ, посвященъ направлению тогдашней науки, Ньютонъ подробно излагаетъ, какое, по его мнѣнію, вѣроятнѣйшее предположеніе о свѣтѣ, какое участіе въ его явленіяхъ играетъ колебаніе эѳира, и составляетъ гипотезу для объясненія цвѣтовъ тонкихъ пластинокъ. Въ „Оптикѣ“ едва нѣсколько строкъ посвящено этой гипотезѣ: притомъ Ньютонъ оговорился, что это для тѣхъ ученыхъ, которые, при



всякомъ новомъ открытіи, требуютъ непременно гипотезы, его объясняющей. Впрочемъ, въ настоящее время нельзя не сожалѣть, что Ньютонъ мало развилъ для читателей тѣ мысли, которыя вели его отъ открытія къ открытію, тѣмъ болѣе, что многія изъ самыхъ смѣлыхъ его предположеній (какъ, напримѣръ, о необходимости допустить въ водѣ присутствіе горячаго вещества) были впоследствии оправданы опытомъ. Но Ньютонъ, по выраженію Валлиса, сломалъ мостъ, перейдя рѣку.

Знаменитое сочиненіе Ньютона „*Principia mathematica philosophiae naturalis*“, въ которомъ изложены результаты его изслѣдованій о тяготѣніи, появилось въ 1687 году; но мысль о всеобщемъ тяготѣніи давно была въ его головѣ. Въ 1666 году, по случаю свирѣпствовавшей въ то время эпидеміи, Ньютонъ удалился изъ Лондона въ деревню и въ уединеніи предался ученымъ занятіямъ. Тогда представился ему вопросъ: не простирается ли дѣйствіе тяжести далеко за предѣлы нашей атмосферы, напримѣръ, до луны? Наблюденія доказываютъ, что луна движется. Всякое тѣло, если на него не дѣйствуетъ никакая сила и оно движется только вслѣдствіе прежде пріобрѣтенной скорости, должно двигаться по прямой линіи съ равномерною скоростью. Это основной законъ механики. Но луна движется не по прямой линіи (иначе она удалилась бы отъ земли), а почти по кругу. Значитъ, во все время движенія луны на нее постоянно дѣйствуетъ сила, не позволяющая ей удалиться отъ нашей планеты. Не есть ли эта сила — земная тяжесть, обнаруживающая свое дѣйствіе на луну и удерживающая ее на ея орбитѣ? Если бы на такомъ разстояніи, какъ луна, помѣстили мы тяжелое тѣло, не сообщивъ ему никакой первоначальной скорости, то оно, вслѣдствіе земного притяженія, стало бы постепенно съ возрастающею скоростью приближаться къ землѣ и, наконецъ, упало бы на нее. Но если бы тяжелое тѣло получило въ какомъ-нибудь направленіи первоначальную скорость, если бы это было, напримѣръ, пущенное ядро, то оно двигалось бы не по прямому направленію, а описало бы кривую линію. Ядро, пущенное изъ пушки, находящейся на поверхности земли, описавъ въ воздухѣ кривую линію, опять упадетъ на землю. Но предположимъ, что оно пущено гдѣ-нибудь далеко отъ земли, напримѣръ, на томъ разстояніи, гдѣ находится луна: въ такомъ случаѣ описываемая кривая будетъ такихъ размѣровъ, что ядро не упадетъ



уже на землю, а будетъ обращаться около нея какъ спутникъ. Такимъ образомъ луну можно сравнивать съ каменною массой, имѣющею первоначальную скорость и подверженною дѣйствію земного притяженія. Состояніе механики во время Ньютона позволяло рѣшить задачу о движущемся камнѣ и ядрѣ, находящемся на такомъ разстояніи отъ земли, какъ луна, и подверженномъ дѣйствію тяжести. Но представляется еще вопросъ: не ослабляется ли дѣйствіе тяжести по мѣрѣ удаленія отъ земли особенно на такомъ большомъ разстояніи, какъ разстояніе луны? Наблюденія на высокихъ горахъ не обнаружили никакого уменьшенія въ энергій, съ какою земное притяженіе дѣйствуетъ на падающія тѣла. Но размѣры земныхъ горъ такъ незначительны, что наблюденіями, произведенными на нихъ, невозможно рѣшить вопросъ объ ослабленіи тяжести въ зависимости отъ разстоянія. Между тѣмъ если допустить это дѣйствіе одинакимъ на всякомъ разстояніи, то при такомъ предположеніи движеніе луны не объяснится.

Но если луна движется, повинаясь земному притяженію, то подобное же притягательное дѣйствіе должно существовать между солнцемъ и планетами, которыя обращаются вокругъ него, какъ луна около земли. Кеплеровы законы движенія планетъ дозволили Ньютону угадать, что допущенное имъ притягательное дѣйствіе солнца на планеты уменьшается обратно пропорціоально квадрату разстоянія. Этотъ законъ, принятый Ньютономъ вначалѣ, какъ должно думать, безъ строгаго доказательства, былъ имъ приложенъ къ вопросу о дѣйствіи земли на луну. Сравнивая числа, полученные по теоріи, съ тѣми, которыя даетъ непосредственное наблюденіе, онъ нашелъ небольшое несогласіе (на  $\frac{1}{6}$  долю). Такъ какъ Ньютонъ желалъ составить строгую теорію, то онъ не удовлетворился только приблизительнымъ согласіемъ теоріи съ фактами и отложилъ вычисленіе, думая что одного дѣйствія земной тяжести недостаточно для объясненія движенія луны.

Но ошибка Ньютонова вычисленія происходила не отъ не точности теоріи, а оттого, что величина одной изъ линій, входящихъ въ рѣшенія, именно земного радіуса, не была въ то время точно опредѣлена. Когда въ 1682 году Ньютонъ узналъ о болѣе точномъ опредѣленіи радіуса земли, сдѣланномъ Пикаромъ, то онъ опять предпринялъ оставленное вычисленіе и доказалъ, что сила, удерживающая луну на ея орбитѣ, есть

та самая сила тяжести, повинаясь которой камень падаетъ на землю, маятникъ совершаетъ свои качанія и т. д. Тогда Ньютонъ приступилъ къ изслѣдованію безчисленныхъ слѣдствій, вытекающихъ изъ открытаго имъ закона всеобщаго тяготѣнія, этого великаго закона природы, лежащаго въ основаніи безконечнаго ряда явленій отъ пылинки, кружимой вѣтромъ, до правильнаго движенія тѣлъ небесныхъ; но только въ 1687 году, по настоянію друзей, рѣшился выдать въ свѣтъ свои великіе труды.

Такимъ образомъ мы видимъ, что Ньютонъ въ теченіе двадцати лѣтъ носилъ въ умѣ своемъ идею о всеобщемъ тяготѣніи, но не сообщалъ своихъ ученыхъ изслѣдованій, пока не облекъ ихъ въ форму неопровержимыхъ доказательствъ. Ньютонъ никогда не рѣшался въ своихъ сочиненіяхъ выражать мысли, справедливость которыхъ не могъ еще доказать. Этимъ объясняется отчасти самая форма, какую онъ далъ своему знаменитому сочиненію. Ньютонъ не знакомитъ читателя съ ходомъ своихъ открытій, нигдѣ не сообщаетъ ни о тѣхъ догадкахъ и предположеніяхъ, которыя вели его отъ одной идеи къ другой, ни о томъ аналитическомъ пути, который, безъ сомнѣнія, онъ употреблялъ при открытіи многихъ изъ своихъ теоремъ. Одинъ изъ знаменитыхъ математиковъ XVIII столѣтія говорилъ, что чтеніе Ньютоновыхъ „Principia“ особенно затруднительно, потому что читатель не можетъ уловить послѣдовательнаго перехода отъ одной истины къ другой. Синтетическая форма дѣлаетъ твореніе Ньютона однимъ изъ труднѣйшихъ для чтенія.

Чрезмѣрная воздержность въ изложеніи мыслей, которыя Ньютонъ желалъ представить не какъ личные размышленія, а какъ чистую научную истину, объясняется направленіемъ, которому онъ слѣдовалъ вопреки господствующему духу времени. Ученые изысканія того времени наполнялись произвольными бездоказательными физическими гипотезами. Эти гипотезы отличались, по крайней мѣрѣ, легкостью механическихъ представленій. Тяготѣніе вводило новую мысль о какомъ-то таинственномъ дѣйствіи на разстояніяхъ. Если бы та мысль о взаимномъ дѣйствіи вещественныхъ частицъ была выражена Ньютономъ, какъ одно предположеніе, то не велика бы была его заслуга. Тогда бы справедливы были тѣ ученые, которые видѣли въ теоріи Ньютона движеніе науки назадъ, — гипотезу,



замѣняющую ясныя механическія воззрѣнія Декарта какимъ-то таинственнымъ дѣйствіемъ на разстояніяхъ. Тогда они въ правѣ были бы сказать, какъ сказалъ ученый физикъ того времени, Соренъ: „если мы оставимъ ясныя основанія механики, то погаснетъ весь свѣтъ, который мы можемъ имѣть, и мы погрузимся въ древній мракъ перипатетизма, отъ котораго да избавить насъ небо. Эти ясныя основанія суть тождество, давленіе; и слѣдовательно помощію ихъ надо объяснить явленія“. Если бы Ньютонъ представилъ свою мысль о притяженіи, какъ гипотетическое объясненіе явленій, то она имѣла бы значеніе не болѣе древняго правила: природа боится пустоты, и не представляла бы даже достоинства новизны, ибо многократно была высказана до Ньютона, а въ эпоху его дѣятельности принадлежала къ идеямъ довольно распространеннымъ, но по причинѣ ихъ неопредѣленности оставленнымъ многими учеными.

Чтобы это мнѣніе не показалось рѣзкимъ, приведемъ слѣдующія доказательства.

Кеплеръ въ своемъ сочиненіи „De Stella Martis“ выражаетъ весьма замѣчательныя мысли о всеобщемъ тяготѣніи. „Притяженіе, говоритъ онъ, есть не что иное, какъ тѣлесное и взаимное дѣйствіе тѣлъ, по которому они стремятся соединиться между собою.

„Тяжесть тѣлъ направляется къ центру вселенной, къ центру того круглаго тѣла, котораго они составляютъ часть; если бы земля не была сферической формы, то тѣла, на ней находящіяся, не направлялись бы въ своемъ паденіи къ одному центру.

„Два отдѣльныя тѣла стремятся одно къ другому, пробѣгая, чтобы соединиться, пространства, обратно пропорціональныя массамъ. Если бы земля и луна не были удержаны на томъ разстояніи, на которомъ ихъ держитъ нѣкоторая жизненная или другая какая сила, то онѣ упали бы одна на другую, при чемъ луна прошла бы  $\frac{53}{100}$  пути, а земля остальное, предполагая ихъ плотности равными. Если бы земля перестала притягивать воды океана, то онѣ понеслись бы къ лунѣ, повинаясь притягательной силѣ этого небеснаго тѣла. Эта сила, простирающаяся до земли, производитъ на ней приливъ и отливъ моря“.

Беконъ, пробѣгая мысленно вопросы, которые должна рѣшить будущая наука, говоритъ о тяжести: „Два рода пред-

положений возможны объ этомъ предметѣ: или что тяжелыя тѣла стремятся естественнымъ образомъ къ центру земли вельдствіе ихъ состава и устройства, или, что они притягиваются, будучи увлекаемы вещественною массою земного шара, который есть какъ бы собраніе и мѣсто соединенія частей имъ подобныхъ и однородныхъ; и что тяжелыя тѣла стремятся къ ней вельдствіе этой аналогіи или сродства. Если послѣдняя причина есть истинная, то отсюда слѣдуетъ, что сила и скорость, съ которою тѣла стремятся къ землѣ, должны паходится въ обратномъ отношеніи ихъ разстояній отъ этой планеты: законъ подобный тому, который имѣетъ мѣсто при магнитномъ притяженіи; отношеніе, сохраняющееся, впрочемъ, только до опредѣленнаго разстоянія, такъ что если бы тѣло было помѣщено на такомъ разстояніи отъ нашего шара, что притягательная сила этого послѣдняго прекратила бы свое дѣйствіе, то тѣло остановилось бы повѣшеннымъ въ пространствѣ, какъ сама земля, и не стремилась бы упасть на нее. — Возьмемъ двое часовъ, изъ которыхъ одни пусть приводятся въ движеніе тяжестью свинцовой гири, другіе упругостью пружины; свѣримъ ихъ между собою. Помѣстимъ потомъ часы съ гирею на высокомъ зданіи, и замѣтимъ, не станетъ ли ихъ ходъ медленнѣе, что будетъ знакомъ уменьшенія дѣйствія тяжести. Сдѣлаемъ подобный опытъ въ глубокомъ рудникѣ, съ цѣлью, не идутъ ли тамъ часы скорѣе обыкновеннаго. Если обнаружится, что сила тяжести уменьшается на высотѣ и увеличивается въ глубинѣ, то за истинную причину тяжести должно считать притяженіе, оказываемое вещественною массою земли.

Въ письмѣ Паскаля и Роберваля къ Фермà, писанномъ въ 1636 году, подробно разбирается мысль о притяженіи. „Общепринятое мнѣніе, сказано въ этомъ письмѣ, состоитъ въ томъ, что тяжесть есть качество, пребывающее въ самомъ падающемъ тѣлѣ. Другіе держатся мнѣнія, что тѣло падаетъ вельдствіе притяженія другого тѣла, его притягивающаго: такимъ образомъ земля представляется притягивающею камень. Есть еще третье мнѣніе, не лишенное вѣроятности, что паденіе зависитъ отъ взаимнаго притяженія между тѣлами, причиняемаго естественнымъ стремленіемъ ихъ соединиться между собою. Подобное взаимное стремленіе можно ясно усмотрѣть между магнитомъ и желѣзомъ, которые такого свойства, что если магнитъ укрѣпленъ неподвижно, то желѣзо приближается



къ нему; если же желѣзо остановлено, а магнитъ свободенъ, то послѣдній стремится къ первому; если же оба свободны, то сближаются взаимно“. Далѣе разбираются слѣдствія, выводимыя изъ каждаго изъ этихъ возможныхъ предположеній.

Во время Ньютона многіе ученые (особенно въ Англіи) не только принимали притяженіе между тѣлами небесными, но даже догадывались о самомъ законѣ этого притяженія. Въ письмѣ къ Галлею (весьма замѣчательномъ и заключающемъ въ себѣ опроверженіе притязаній доктора Гука на открытіе всеобщаго тяготѣнія), Ньютонъ говоритъ, что еще до него учевый Борелли (Borelli) объяснялъ эллиптическое движеніе планетъ притяженіемъ къ солнцу, а Бульйо (Boulliau) писалъ, что всѣ центральныя силы, дѣйствующія на планеты, направлены къ солнцу и должны слѣдовать закону квадратовъ разстояній. Изъ этого же письма видно, что современникъ и товарищъ Ньютона по Королевскому Обществу, кавалеръ Ринъ (Wren), допускалъ законъ квадратовъ разстояній и долго думалъ, какъ бы объяснить движеніе планетъ помощью двухъ силъ: первоначальнаго толчка и притяженія къ солнцу. Наконецъ докторъ Гукъ (Hook), которому удалось высказать много гениальныхъ замѣтокъ о тяготѣніи (подобно какъ о всѣхъ почти главнѣйшихъ явленіяхъ природы, но только замѣтокъ), хотѣлъ даже оспаривать у Ньютона честь открытія закона тяготѣнія.

Но великая заслуга Ньютона не въ томъ, что онъ выразилъ мысль о тяготѣніи и его законахъ, а въ томъ, что рядомъ точныхъ заключеній доказалъ истину этой мысли. Изслѣдованіе движенія планетъ привело Ньютона къ заключенію о силѣ, направленной къ солнцу. Но это еще первый шагъ къ открытію взаимнаго притяженія тѣлъ. Надо было доказать, что свойство притяженія принадлежитъ не только всему тѣлу, но и всякой частицѣ его порознь. Пропорціональность притяженія массѣ тѣла: точное объясненіе приливовъ и отливовъ моря, если допустить существованіе притяженія между всѣми частицами тѣлъ; фигура земли и вліяніе ея на движеніе луны; возмущеніе пути небесныхъ тѣлъ — вотъ цѣлый рядъ явленій, утверждающихъ мысль, что всѣ частицы вещества притягиваются взаимно. Такимъ образомъ было утверждено всеобщее тяготѣніе, какъ одно изъ величайшихъ явленій природы, котораго причина остается неизвѣстною. Впослѣдствіи притяженіе,

оказываемое горами, и прямые опыты Кавендиша, оправдали существованіе взаимнаго притяженія тѣлъ, какъ физическаго явленія.

Чтобы оцѣнить великое значеніе открытія Ньютона, должно принять въ соображеніе, что здѣсь силою теоретическихъ соображеній доказывается существованіе въ природѣ одного изъ основныхъ и самыхъ общихъ явленій (притяженіе вещественныхъ частицъ между собою), которое не замѣтно для непосредственнаго наблюденія, но отъ котораго зависитъ движеніе небесныхъ тѣлъ въ пространствѣ и безконечный рядъ явленій на нашей планетѣ: движеніе водъ, паденіе камня, качаніе маятника, движеніе брошеннаго тѣла, самая фигура нашей планеты и т. д. Всякія два тѣла, два камня, лежащіе на дорогѣ, стремятся сблизиться между собою; но притяженіе, въ случаѣ незначительности массъ, взаимно притягивающихся тѣлъ, ускользаетъ отъ непосредственнаго наблюденія, и его можно обнаружить только помощью самыхъ чувствительныхъ снарядовъ и самыхъ точныхъ опытовъ, каковы, напримѣръ, трудные опыты Кавендиша надъ притяженіемъ, которое оказывается большимъ свинцовымъ шаромъ на другой маленькій. Массы горныхъ хребтовъ уже достаточно велики, чтобы оказать замѣтное дѣйствіе на спокойно повѣшенный маятникъ и отклонить его немного въ свою сторону. Наконецъ всеобщее тяготѣніе въ своей силѣ обнаруживается во взаимномъ притяженіи солнца на планеты, планетъ на солнце, планетъ между собою и на своихъ спутниковъ. Ученіе о всеобщемъ тяготѣніи является у Ньютона, не какъ предположеніе, но въ видѣ полной законченной системы, состоящей изъ ряда положеній, доказанныхъ математически-строго. А между тѣмъ дѣло идетъ не объ отвлеченной формѣ мысли, какую представляетъ идея пространства, изучаемаго въ геометріи, но о дѣйствительныхъ явленіяхъ природы, о тѣлахъ, которыхъ движеніе мы наблюдаемъ, о законѣ природы, отъ котораго зависитъ столь значительная часть явленій, ежеминутно около насъ совершающихся. Открытіе Ньютона есть торжество математическаго изученія природы, блистательное доказательство способности ума человѣческаго раскрывать тайны природы и составлять о ея законахъ познанія точныя, а не гадательныя.

Законы Кеплера относительно движенія планетъ доставили



Ньютону возможность доказать, что сила, дѣйствующая на планеты и землю, истекаетъ изъ солнца, какъ центра, и дѣйствуетъ обратно-пропорціоально квадратамъ разстояній. Дѣйствию одного солнца еще не можетъ быть объяснено вполнѣ точное движеніе какой-нибудь планеты, напримѣръ, земли: но оно объясняется, если принять въ соображеніе притяженіе, оказываемое на нее другими планетами. Отсюда великая задача о возмущеніяхъ, претерпѣваемыхъ планетою отъ правильнаго эллиптическаго пути, какой она имѣла бы, если бы на нее дѣйствовало одно солнце. Объясненіе приливовъ и отливовъ, фигуры земли, послужило Ньютону главнымъ оправданіемъ положенія, что притяженіе не есть свойство только цѣлаго тѣла, но принадлежитъ въ отдѣльности каждой изъ его частицъ.

Показавъ, что мы можемъ разсматривать солнечную систему, какъ сумму тяжелыхъ тѣлъ или каменныхъ массъ, пущенныхъ въ пространство съ нѣкоторою первоначальною скоростью и подверженныхъ взаимному притяженію, что безчисленное множество подобныхъ системъ раскинуто въ пространствѣ, Ньютонъ изъ науки о строеніи вселенной сдѣлалъ одну обширную задачу механики. Эта задача въ главныхъ чертахъ разрѣшена Ньютономъ: онъ указалъ важнѣйшія слѣдствія, истекающія изъ ученія о тяготѣніи. Его великіе подражатели Клеро, Лагранжъ, Лапласъ и другіе славные ученые, употребившіе въ дѣло могущественное орудіе математическаго анализа, развили все богатство слѣдствій, заключающихся въ великомъ законѣ природы, открытомъ Ньютономъ. И въ настоящее время основанное на этомъ законѣ рѣшеніе задачи о механическомъ строеніи вселенной доведено до такого совершенства, что, какъ говоритъ Араго, геометръ-наблюдатель, который бы никогда не выходилъ изъ своего кабинета, который бы видѣлъ небо только въ узкое отверстіе въ стѣнѣ его комнаты, сдѣланное по направленію вертикальной плоскости, въ которой движутся главнѣйшіе астрономическіе инструменты, и зналъ бы относительно свѣтилъ, катящихся надъ его головою, только то, что они притягиваются по Ньютонovu закону, такой наблюдатель могъ бы силою науки открыть, что его бѣдное и узкое жилище принадлежитъ шару эллипсоидальной формы, сжатому подъ полюсами и котораго полярная ось менѣе экваторіальной одною триста шестою; онъ узналъ бы также, оста-

ваясь въ уединеніи и не сходя съ мѣста, свое истинное разстояніе отъ солнца<sup>4</sup>. Открытіе Леверрье, который, не глядя на небо, доказалъ, что за Ураномъ находится еще планета (Нептунъ), есть одно изъ блистательнѣйшихъ доказательствъ силы теоріи, основанной на законѣ тяготѣнія.

Но какая причина сообщала первоначальную скорость каменнымъ массамъ, составляющимъ солнечную систему, которая является для наблюденія, какъ сумма брошенныхъ тѣлъ, подверженныхъ взаимному притяженію по закону квадратовъ разстояній? Отчего происходитъ, что двѣ частицы вещества стремятся сблизиться взаимно? Не находится ли кругъ явленій тяжести, представляющій доселѣ отдѣльную изолированную область, въ связи съ другими областями явленій природы, каковы тепло, свѣтъ, электричество? Все это великія загадки, на которыя наука еще, вѣроятно, долго не дастъ разрѣшенія.

Современники не поняли всего значенія способа Ньютона и смѣшали его открытія съ произвольными гипотезами, такъ часто встрѣчавшимися въ наукѣ того времени. Ученые, возражавшіе Ньютону, судили его открытія не потому, насколько они согласны съ заявленіями природы, а потому, не противорѣчатъ ли они господствующимъ гипотезамъ. Величайшіе ученые материка Европы не отдали Ньютону достойной чести. Такъ Лейбницъ, черезъ два года по выходѣ „Principia mathematica“, въ статьѣ, въ которой онъ желалъ вывести изъ движенія эфира необходимость Кеплеровыхъ законовъ и закона квадратовъ разстояній, едва упоминаетъ о Ньютонѣ, говоря, что изъ лейпцигскаго журнала „Acta eruditorum“ онъ узналъ о трудахъ Ньютона, также принимающаго законъ квадратовъ разстояній. А въ послѣдствіи въ письмѣ къ Клерку Лейбницъ такъ отзывается о тяготѣніи: „такимъ образомъ разрушаются такъ-называемыя притяженія и другія неизъяснимыя дѣйствія, которыя приходится объяснить помощію чудесъ, либо прибѣгать къ неѣностямъ, потаеннымъ качествамъ перипатетиковъ. Ихъ-то выдаютъ намъ теперь подъ именемъ силъ и хотятъ погрузить насъ въ область мрака. При Бойлѣ (Boyle) и другихъ замѣчательныхъ людяхъ, процвѣтавшихъ въ Англіи при началѣ царствованія Карла II, вѣрно никто не осмѣлился бы выступить со столь пустыми идеями“.

Гюгенсъ въ 1690 году (черезъ три года по выходѣ Ньютонова сочиненія) писалъ къ Лейбницу: „что касается до при-



чины приливовъ и отливовъ, приводимой Ньютономъ, я рѣшительно не доволенъ ею, какъ и другими теоріями, которыя онъ строитъ на своемъ началѣ притяженія, — началѣ, которое мнѣ кажется нелѣпымъ. Я удивляюсь, какъ можно осудить себя на столь трудныя изысканія и вычисленія, не имѣя другаго основанія, кромѣ этого начала притяженія<sup>4</sup>.

Трудъ цѣлаго вѣка потребель былъ, чтобы оцѣнить вполнѣ значеніе способа изученія природы, введеннаго Ньютономъ, и показать всю безграничную разницу между нимъ и произвольными гипотезами.

Этимъ мы ограничимся въ изложеніи ученыхъ трудовъ Ньютона. Не желая входить въ спеціальныя подробности, мы ограничились только главнымъ его открытіемъ, оставивъ въ сторонѣ какъ его математическія изслѣдованія, такъ и разнообразныя труды по различнымъ частямъ физики.

Любимовъ.

---

## Сущность деизма.

Мы должны установить обыкновенно шаткое понятіе деизма. Деизмъ есть нѣкоторый опредѣленный теизмъ. Это — теизмъ естественной теологіи и въ такомъ смыслѣ его должно отличать какъ отъ пантеизма, такъ и отъ теизма откровенныхъ и положительныхъ религій. Деизмъ есть естественное познаніе Бога, т.-е. онъ учитъ о Богѣ, котораго откровеніе составляетъ природа и міръ вообще. Слѣдовательно, въ понятіи о мірѣ, какъ устроенномъ Богомъ, — другими словами, въ понятіи мірового порядка, деизмъ согласуется съ пантеизмомъ. И въ томъ, и въ другомъ Богъ есть *ordo ordinans*. Но между тѣмъ, какъ пантеизмъ полагаетъ міровой порядокъ равнымъ божественной сущности, деизмъ признаетъ между ними то различіе, что Богъ остается внѣ міра и надъ міромъ, какъ высочайшее существо, какъ личный творецъ міра, какъ причина міра, превосходящая міръ. Между Богомъ и міромъ въ деизмѣ нѣтъ существеннаго единства, а есть *отношеніе*, подобное отношенію художника къ своему созданію. Художникъ есть эманептная причина художественнаго произведенія, т.-е. онъ содержитъ въ себѣ больше, чѣмъ сколько обнаруживается въ произведеніи. Такъ точно Богъ содержитъ въ себѣ

больше, чѣмъ сколько обнаруживаетъ міръ, и онъ могъ бы, если бы дѣло шло только о его могуществѣ или о его метафизической сущности, создать и другой міръ, не такой, какъ нашъ. Могущество Божіе превосходитъ всякую природу и всякое естественное познание; вотъ почему деизмъ долженъ признавать въ Богѣ нѣчто ирраціонное, до чего ему, впрочемъ, нѣтъ дѣла, но отъ чего раціонализмъ неизбежно получаетъ склонность къ супранатурализму. То, чѣмъ деизмъ отличается отъ пантеизма, это самое дѣлаетъ изъ него *теизмъ*: именно — раздѣленіе между Богомъ и міромъ и необходимое его слѣдствіе — ограниченіе раціональнаго познанія и принятіе, что есть нѣчто *ирраціональное*. Но способъ откровенія внѣмірнаго Бога иначе является въ *чистомъ деизмѣ*, иначе въ теистическихъ представленіяхъ положительныхъ религій. И это различіе такъ сильно и глубоко, что въ этомъ случаѣ чистый деизмъ не такъ относится къ положительнымъ религіямъ, въ особенности къ христіанской, какъ это требуетъ даже мало развитой пантеизмъ. По твердымъ понятіямъ чистаго деизма внѣмірный, сверхприродный Богъ открывается въ *мірозданіи*, а никакъ не исключительно въ какомъ-нибудь *единичномъ существѣ*. По деистическимъ понятіямъ невозможно, чтобы совершеннѣйшее существо когда-нибудь стало ограниченнымъ и несовершеннымъ, или чтобы ограниченное и несовершенное существо когда-нибудь равнялось совершеннѣйшему. Человѣкъ никогда не можетъ стать Богомъ, и Богъ стать человѣкомъ; *апотеиза* точно такъ же невозможна, какъ и *воплощеніе*. Если теперь положимъ, что обоготвореніе естественныхъ недѣлимыхъ есть сущность *миѳологіи*, а вочеловѣченіе Бога составляетъ средоточіе *христіанскаго откровенія*, то ясно, что деизмъ составляетъ въ самой сущности дѣла крайнюю противоположность какъ язычеству, какъ и христіанству, какъ миѳологіи, такъ и высшей откровенной вѣрѣ. Спиноза говорить, что вочеловѣченіе Бога ему кажется тѣмъ же, что квадратура круга. Богъ сталъ человѣкомъ, по его понятію, это то же, что — субстанція стала модусомъ, а это такъ невозможно, какъ невозможно кругу получить природу квадрата. Подобнымъ образомъ долженъ судить и деизмъ. Богъ сталъ человѣкомъ — по его понятіямъ это значитъ: высшая монада стала низшею, совершенное существо стало несовершеннымъ; Богъ, который по своей сущности невещественъ и, слѣдо-



вательно, вовсе не есть недѣлимое, стать ограничепною, вещественною, индивидуальною субстанціей... Богъ деизма проявляетъ себя не какъ чудотворецъ, а какъ законодатель міра, не въ порушеніи, а въ вѣчномъ равномерномъ ходѣ законовъ природы.

Религія деизма есть *чистый монотеизмъ*, ни въ какомъ случаѣ не обоготворяющій естественныхъ недѣлимыхъ, еще менѣе воплощеній своего Бога. Поэтому деизмъ имѣетъ и чувствуетъ гораздо большее сродство съ идеальнымъ *іудействомъ* и съ идеальнымъ магометанствомъ, чѣмъ съ языческою мифологіею и съ христіанствомъ. Отсюда объясняется то предпочтеніе, съ которымъ нѣмецкое просвѣщеніе относилось къ іудейству и исламу, съ которымъ и Лессингъ своего Натана и Саладина поставилъ въ ближайшее сродство съ естественною религіею, и потому сдѣлалъ ихъ зрѣлѣе и мудрѣе тампліера, добрѣе и правственнѣе патріарха. Только въ одной точкѣ деизмъ мыслить не согласно съ этими монотеистическими религіями. Въмѣсто *неограниченнаго произвола* въ Богѣ, онъ признаетъ *правственную необходимость*, т.-е. признаетъ міровой порядокъ, опирающійся на вѣчныя основанія и устроенный по божественному правосудію. Разъ будучи созданъ, міръ движется и развивается по своимъ врожденнымъ законамъ, и твореніе міра состоитъ уже только въ сохраненіи міра, которое можно разсматривать какъ продолжаемое непрерывное твореніе (*création continuelle*). На этомъ основаніи деизмъ отрицаетъ всякое сверхъестественное вмѣшательство Бога въ однажды установленный ходъ вещей: къ чему было бы это вмѣшательство, къ чему было бы внезапное *чудо* въ закономерно созданномъ мірѣ? Должно ли оно улучшить міръ? Нѣтъ, это значило бы поправить твореніе, значило бы признать, что міръ хуже, чѣмъ онъ долженъ бы быть, — другими словами, что созданный міръ не есть наилучшій, и это несогласно съ божественнымъ правосудіемъ, и, слѣдовательно, съ самымъ понятіемъ объ истинномъ Богѣ. Если же сверхъестественное вмѣшательство Бога въ ходъ вещей не имѣетъ мѣста, то и невозможно, чтобы Богъ прямымъ и исключительнымъ образомъ открывался единичному человѣку; слѣдовательно, по деистическимъ понятіямъ необходимо должно отвергнуть такого рода откровеніе, какое предполагаютъ у своихъ основателей іудейство и магометанство — эти положительныя религіи

чистаго монотеизма. Такъ какъ по деистическимъ понятіямъ Богъ открывается въ міровомъ порядкѣ, т.-е. естественнымъ образомъ, то чистому деизму кажется невозможнымъ всякое противосъестественное или сверхъестественное откровеніе Бога, и ему становятся подозрительны всѣ, кто выдастъ себя за избранныхъ носителей такого откровенія. Съ этой точки зрѣнія были направлены противъ Библии и противъ религіи, основанной на Библии, Вольфенбюттенскіе фрагменты, опиравшіеся на чистый деизмъ.

Куно-Фишеръ.

### Философское ученіе Локка.

Какъ предметъ и цѣль своего Essay Локкъ обозначаетъ (I. 1. 2. 3) „ислѣдованіе о началѣ, достовѣрности и объемѣ человѣческаго познанія, объ основахъ и степеняхъ вѣры, мнѣнія и согласія“. Онъ хочетъ „объяснить способъ, какъ разумокъ доходить до своихъ понятій объ объектахъ, опредѣлить степень достовѣрности нашего познанія, разслѣдовать границы между мнѣніемъ и знаніемъ и выяснить основоположенія, по которымъ намъ слѣдовало бы опредѣлять наше согласіе и наше убѣжденіе въ вещахъ, гдѣ нѣтъ никакого достовѣрнаго познанія“. Въ предисловіи онъ рассказываетъ, что такъ какъ нѣкоторые изъ его друзей при философскомъ спорѣ не могли дойти ни до какого результата, то онъ пришелъ къ мысли, что всѣмъ другимъ философскимъ разысканіямъ должно предшествовать исслѣдованіе, какъ далеко хватаетъ способность разсудка, какіе предметы лежатъ въ ея сферѣ и какіе внѣ ея горизонта.

Въ *первой книгѣ* исслѣдованія о человѣческомъ разсудкѣ Локкъ стремится доказать, что *нѣтъ прирожденныхъ познаній*, очевидно, сознательно полемизируя противъ нѣсколько неяснаго ученія Декарта объ *ideae innatae*.

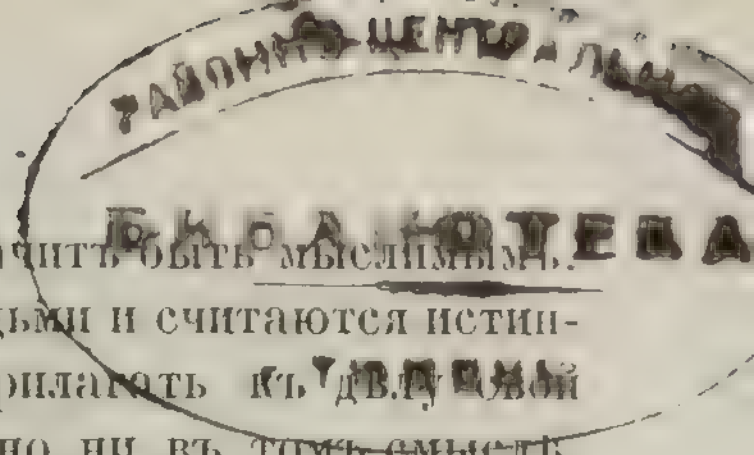
Въ нашемъ разсудкѣ есть *идеи*. Это выраженіе, по собственному объясненію Локка, все равно, что представленіе, *notio*. Каждый человѣкъ находитъ въ собственномъ сознаніи представленія, а слова и дѣйствія другихъ людей доказываютъ, что такія представленія находятся и въ ихъ способности представленія. Какъ же эти идеи приходятъ въ разумокъ?



Есть мнѣніе, по которому въ разсудкѣ обрѣтаются извѣстныя *прирожденныя основоположенія, первоначальныя понятія*: въ немъ напечатлѣны извѣстныя черты (characters), которыя душа приносить съ собою въ міръ. Это мнѣніе для безпристрастнаго читателя можно бы въ достаточной степени опровергнуть, просто показавъ, какъ всѣ роды нашихъ представлений происходятъ въ дѣйствительности черезъ употребленіе нашихъ естественныхъ силъ. Однако, такъ какъ это мнѣніе очень распространено, надо разслѣдовать основанія, на которыя опираются его защитники и указать противооснованія.

Самый важный аргументъ защитниковъ этого мнѣнія заключается въ томъ, что извѣстныя теоретическія и практическія основоположенія всѣми принимаются за истинныя. Локкъ не признаетъ ни истинности, ни доказательной силы этого аргумента. Мнимаго согласія въ такого рода основоположеніяхъ нѣтъ, и будь оно, то оно не доказывало бы природженности, коль скоро можно показать другой способъ, какъ осуществляется это согласіе.

*Къ теоретическимъ основоположеніямъ*, которыя выдають за природженныя, принадлежатъ знаменитыя начала доказательствъ: что есть, то есть (положеніе тождества); невозможно, чтобы одна и та же вещь была и не была (положеніе противорѣчія). Но эти положенія неизвѣстны дѣтямъ и всѣмъ, кто не имѣетъ научнаго образованія, да кромѣ того едва ли не противорѣчіе — допускать, что въ душѣ напечатлѣны истины, которыхъ она знать не знаетъ и вѣдать не вѣдаетъ. Говорить, что понятіе напечатлѣно въ душѣ, и въ то же самое время утверждать, что она совсѣмъ не знаетъ о немъ, значитъ обращать это впечатлѣніе въ химеру. Если ужъ есть въ душѣ нѣчто, чего она до сихъ поръ не познала, то оно должно находиться въ душѣ въ томъ смыслѣ, что она имѣетъ способность познать его. Но это можно сказать о всѣхъ познаваемыхъ истинахъ, даже и о такихъ, которыхъ иной никогда въ дѣйствительности не познаетъ въ теченіе всей своей жизни. Способность природжена, а познаніе приобрѣтено. Это можно сказать не объ отдѣльныхъ, а обо всѣхъ познаніяхъ. Но если принимаются природженныя идеи, то ихъ хотять отличить отъ другихъ идей, которыя не природжены. Значить, природженность хотять относить не къ простой способности. Но тогда надо также приять, что природженныя познанія съ самаго начала



сознательны. Ибо быть въ разсудкѣ, значитъ быть мыслимымъ. Скажутъ: эти положенія познаются людьми и считаются истинными тогда, когда люди начинаютъ прилагать къ дѣлу разумъ. Это не вѣрно и не доказательно ни въ томъ ~~смыслѣ~~, что мы познаемъ такія положенія дедукціей, прилагая къ дѣлу разумъ, ни въ томъ, что мы мыслимъ ихъ, коль скоро доходимъ до употребленія нашего разума. Многое другое мы познаемъ ранѣе. Что горькое не сладко, что розга не вишня — это дитя познаетъ гораздо ранѣе, чѣмъ оно понимаетъ и считаетъ истиннымъ общее положеніе: невозможно, чтобы одна и та же вещь могла быть и въ то же время не быть. Будь немедленное принятіе положенія за истину надежнымъ признакомъ прирожденности, то и положеніе: одинъ да два — три вмѣстѣ съ безчисленными другими слѣдовало бы отнести къ прирожденнымъ.

43704

Также мало есть прирожденныхъ *практическихъ* основоположеній, какъ и теоретическихъ. Ни одно нравственное основоположеніе не имѣетъ такой ясности и всеобщности, какъ вышеназванныя теоретическія. Нравственное начало: каждый долженъ дѣйствовать такъ, какъ онъ можетъ желать, чтобы и другіе дѣйствовали по отношенію къ нему, и всѣ другія нравственныя правила нуждаются въ обосновкѣ и потому не прирождены. На вопросъ: почему надо соблюдать договоры? — христіанинъ сошлетъ на волю Бога, приверженецъ Гоббеса — на волю общества, языческій философъ — на достоинство человека. Но было бы нелѣпо, если бы такія положенія въ качествѣ прирожденныхъ еще нуждались въ обосновкѣ, да къ тому же она выходила бы столь различной. Правда, прирождены желаніе счастья и отвращеніе къ бѣдствію. Но эти мотивы всѣхъ нашихъ дѣйствій являются направленіями стремленія, а не впечатлѣніями на разсудокъ. Только эти мотивы дѣйствуютъ всеобщимъ образомъ. Практическія основоположенія отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ націй различны, даже противоположны другъ другу. А если тутъ есть согласіе, то оно основано на томъ, что исполненіе извѣстныхъ нравственныхъ правилъ познается, какъ необходимый путь къ устойчивости общества и всеобщему счастью, и что воспитаніе, обхожденіе и нравы производятъ равенство въ нравственныхъ убожденіяхъ. Это можетъ произойти тѣмъ легче, что разсудокъ дѣтей, ни чѣмъ еще не занятый и ни на чемъ не остано-



вливающей вниманія, принимаетъ за истину всѣ положенія, которыя напечатлѣваютъ ему, такъ же какъ неисписанная бумага — всѣ любыя черты, а позже эти положенія, происхожденія которыхъ не знаютъ, обыкновенно считаются священными и совсѣмъ не подвергаются критикѣ. Невозможно, чтобы основоположенія были прирождены, если *понятія*, входящія въ нихъ, не прирождены: въ самыя общія положенія входятъ самыя отвлеченныя понятія, а они для дѣтей дальше и непонятнѣе всего: ихъ можно правильно образовать только посредствомъ высокой степени размышленія и вниманія. Понятія, каковы тожество и различіе, возможность и невозможность, вовсе не приносятся при рожденіи на свѣтъ, напротивъ — они дальше всего лежатъ отъ ощущеній голода и жажды, тепла и холода, удовольствія и боли, которыя фактически бываютъ раньше всего. И представленіе Бога не прирождено. Не всѣ народы имѣютъ его. Не только представленія политеистовъ и монотеистовъ, но и представленія о Богѣ различныхъ лицъ, которыя принадлежатъ одной и той же религіи и одной и той же странѣ, очень отличны другъ отъ друга. Слѣды мудрости и могущества такъ ясно открываются въ дѣлахъ творенія, что никакое разумное существо, если оно внимательно разсматриваетъ ихъ, не можетъ не признать Бога, а послѣ того, какъ разъ отдѣльныя лица дошли до этого понятія черезъ размышленіе о причинахъ вещей, оно должно было уясниться всѣмъ въ такой степени, что не могло уже потеряться. Впрочемъ, о бытіи Бога мы знаемъ вѣрнѣе, чѣмъ о чемъ бы то ни было, чего не открыли наши чувства непосредственно.

Во второй книгѣ Локкъ пытается положительно доказать, откуда разсудокъ получаетъ свои представленія. Локкъ принимаетъ, что душа первоначально подобна бѣлой неисписанной бумагѣ, безъ всякихъ представленій (*white paper*). Въ латинскомъ переводѣ это было передано посредствомъ *tabula rasa*, — выраженіе, употреблявшееся (по Prantl, *Geschichte der Logik*, III. 261.) уже въ средневѣковьяхъ, прежде всего у Эгидія Романа для *ὑπερμαχτεῖον ὃ μὴ ἐν ὑπάρχῃ ἐντελεχείᾳ γεγραμμένον*, какъ обозначается Аристотелемъ *νοῦς*, прежде чѣмъ опъ мыслить. Душа получаетъ представленія посредствомъ *опыта*. Все наше познаніе основывается на опытѣ и происходитъ изъ него. А опытъ бываетъ двоякаго рода — внѣшній и вну-

твенный, *sensation* и *reflexion*, смотря по тому, имѣетъ ли онъ своимъ предметомъ внѣшніе объекты, доступные воспріятію, или внутреннія дѣйствія нашего духа. Чувства отъ внѣшнихъ предметовъ вводятъ въ душу то, что въ ней вызываетъ представленія о желтомъ, бѣломъ, о жарѣ, холодѣ, о мягкости, жесткости, сладости, горечи и вообще о такъ называемыхъ чувственныхъ качествахъ. Надъ наличными представленіями производятся въ насъ самихъ дѣйствія (*operations*) духа, которыя бывають отчасти дѣятельностями, отчасти пассивными состояніями. Когда душа обращаетъ вниманіе на эти дѣятельности и состоянія и рефлектируетъ ихъ, то разумъ получаетъ другой рядъ представленій, которыя не могутъ происходить отъ внѣшнихъ вещей. Такими дѣятельностями духа, между прочимъ, являются воспріятіе, мышленіе, сомнѣніе, вѣра, умозаключеніе, познаваніе, хотѣніе. (Отъ одного изъ этихъ двухъ источниковъ ведутъ начало всѣ наши понятія. Вотъ почему совсѣмъ не вѣрно называть Локка отцомъ послѣдовательнаго сенсуализма новѣйшаго времени. Положеніе: *nil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*, чтобы имѣть значеніе для Локка, должно получить по крайней мѣрѣ прибавку: *externo et interno*. Но Локкъ является представителемъ полнаго эмпиризма, говоря, что намъ невозможно выйти за предѣлы представленій, которыя доставлены нашему размышленію чувственностью и рефлексіей.

Человѣкъ начинаетъ имѣть представленія, когда получаетъ первое чувственное впечатлѣніе. Еще до рожденія онъ, вѣроятно, ощущаетъ голодъ и теплоту. А до перваго чувственного впечатлѣнія душа мыслить такъ же мало, какъ она позже мыслить во снѣ безъ сповидѣній. Утвержденіе, будто душа постоянно мыслить, такъ же произвольно, какъ и то, что всякое тѣло въ безпрестанномъ движеніи.

Наши представленія частью *просты*, частью *сложны*. Изъ *простыхъ* представленій нѣкоторыя входятъ въ душу посредствомъ одного чувства, другія — посредствомъ нѣсколькихъ, иныя она получаетъ одной только рефлексіей, наконецъ, есть и такія, которыя, въ свою очередь, представляются ей всякимъ путемъ — посредствомъ чувствъ и посредствомъ рефлексіи. Посредствомъ общаго чувства мы получаемъ представленіе жары, холода, плотности, далѣе — гладкости и шероховатости, твердости и мягкости и другія; посредствомъ чувства зрѣнія —



представленія свѣта. цвѣтовъ и проч. Представленія, получаемыя нами болѣе чѣмъ однимъ чувствомъ, именно чувствомъ зрѣнія и общимъ, — суть представленія пространства или протяженія, образа, покоя и движенія. Въ себѣ самомъ духъ воспринимаетъ посредствомъ рефлексіи представленіе (*perception*) или мышленіе, и хотѣніе. Локкъ не одобряетъ картезіанскаго подведенія мышленія и хотѣнія подъ *cogitatio*. Способность мыслить называется разсудкомъ, способность хотѣть — волей. Какъ чувствами, такъ и рефлексіей приводятся въ душу представленія удовольствія или веселья, боли или неудовольствія, бытія, единства, силы и послѣдовательности во времени.

Большая часть *чувственныхъ представленій* такъ же мало похожа на вещь, существующую внѣ насъ, какъ слова на обозначаемыя ими представленія, хотя эти послѣднія и вызываются первыми. Въ самихъ тѣлахъ дѣйствительно находятся и во всякомъ состояніи неотдѣлимы отъ нихъ слѣдующія свойства: величина, образъ, число, положеніе, движеніе или покой ихъ плотныхъ (наполняющихъ пространство) частицъ. Ихъ Локкъ называетъ *первичными качествами* (*original qualities* или *primary qualities*), а также реальными качествами. Въ той степени, въ какой мы воспринимаемъ первичныя качества, наши представленія ихъ — копіи самыхъ этихъ качествъ, ими мы представляемъ вещь такъ, какъ она есть въ себѣ. Но тѣла, далѣе, имѣютъ силу, вслѣдствіе извѣстныхъ первичныхъ качествъ, которыя воспринимаются не какъ такія, дѣйствовать на наши чувства такимъ образомъ, что они производятъ этимъ въ насъ представленія цвѣтовъ, тоновъ, запаховъ, ощущеній теплоты и т. п. Цвѣта, тоны и т. п. находятся не въ самыхъ тѣлахъ, а только въ душахъ. Если отдѣлить отъ нихъ представляемость, если глаза не видятъ свѣта или цвѣтовъ, уши не слышатъ тоновъ, нѣбо не вкушаетъ, носъ не обоняетъ, то исчезнутъ всѣ цвѣта, тоны, ощущенія вкуса, запаха, ощущенія теплоты и не останется ничего другого, кромѣ того, что ихъ причинило, именно — величина, образъ и движеніе частицъ. Теплота есть очень живое движеніе малѣйшихъ невоспринимаемыхъ частицъ предмета. Оно вызываетъ въ насъ то ощущеніе, ради котораго мы обозначаемъ предметъ теплымъ. Что въ нашемъ ощущеніи является тепломъ, то въ самомъ предметѣ только движеніе. Локкъ называетъ цвѣта, тоны

и т. п. производными или вторичными качествами (secondary qualities). Всѣ представленія этого класса такъ же мало копѣи съ однородныхъ качествъ въ реальныхъ предметахъ, какъ мало ощущеніе боли имѣетъ сходства съ движеніемъ куска стали по чувствительнымъ частямъ животнаго тѣла. Эти представленія рождаются въ насъ посредствомъ толчка, который распространяется отъ тѣла черезъ нервы до мозга, какъ сѣдалища сознанія, какъ бы пріемной комнаты душъ. Какъ тамъ рождаются представленія, этого Локкъ не изслѣдуетъ, а только говоритъ: можно мыслить безъ противорѣчія, что Богъ связалъ съ движеніями и такія представленія, которыя съ ними не имѣютъ никакого сходства. Наконецъ, Локкъ выставляетъ еще третій классъ качествъ въ тѣлахъ. Это силы тѣлъ, производящія вслѣдствіе особаго свойства ихъ первоначальныхъ качествъ такія измѣненія въ величинѣ, образѣ, сложеніи и движеніи другихъ тѣлъ, что эти тѣла дѣйствуютъ на наши чувства иначе, чѣмъ прежде. Онъ причисляетъ сюда, напр., силу солнца бѣлить воскъ, огня — расплавлять свинецъ. Эти качества называются *силами* въ тѣсномъ смыслѣ.

При разъясненіи простыхъ представленій, получаемыхъ черезъ *рефлексію*, Локкъ дѣлаетъ не одно плодотворное психологическое замѣчаніе. Онъ изслѣдуетъ въ особенности способность представленій (*perception*), способность удержанія (*retention*) и способность различенія, связыванія и отдѣленія и т. п. Въ способности представленій Локкъ видитъ признакъ, которымъ животное и человѣкъ отличается отъ растенія. Способность удержанія выражается въ сохраненіи представленій частью при помощи продолжительнаго разсматриванія ихъ, частью при помощи возобновленія послѣ ихъ временнаго исчезновенія изъ человѣческаго разсудка, слишкомъ ограниченнаго для одновременнаго удерживанія слишкомъ многихъ представленій. Она присуща уже животнымъ, и отчасти въ такой же степени, какъ и человѣку. Локкъ считаетъ вѣроятнымъ, что свойство тѣла имѣетъ большое вліяніе на память, такъ какъ часто лихорадочный жаръ изглаживаетъ съ виду прочныя образы памяти. Но сравненіе представленій между собой продѣлывается животными не такимъ совершеннымъ способомъ, какъ людьми. Способность связывать представленія другъ съ другомъ у животныхъ есть только въ незначительной степени. Особенность человѣка — способность отвлеченія. Посредствомъ



ея представленія единичныхъ предметовъ, отдѣленные отъ всѣхъ случайныхъ свойствъ реального существованія, какъ время и пространство, и всѣхъ сопутствующихъ представленій, становятся общими понятіями цѣлаго вида, и ихъ словесные знаки получаютъ всеобщую приложимость ко всему, что согласно съ этими отвлеченными понятіями.

Простыя представленія — составныя части сложныхъ. Относясь къ принятію простыхъ страдательно, душа при образованіи сложныхъ, а также при отвлеченіи, сравненіи, припоминаніи, бываетъ самодѣятельной, болѣе того — она поступаетъ при этихъ процессахъ даже произвольно. *Сложныя* представленія Локкъ сводитъ къ тремъ классамъ: ими представляются или *modi*, или субстанціи, или отношенія. *Modi* — сложные понятія, не содержащія ничего устойчиваго. Они бываютъ чистые *modi* (*simple modes*) или видоизмѣненія простыхъ представленій, если ихъ составныя части однородны, и смѣшанные *modi* (*mixed modes*), если ихъ составныя части не однородны. Понятія *субстанцій* — это такія соединенія простыхъ представленій, которыя употребляются, чтобы представить вещи, пребывающія сами по себѣ. Представленія *отношеній* состоятъ въ сравненіи одного представленія съ другимъ. Къ чистымъ модальнымъ понятіямъ принадлежатъ видоизмѣненія пространства, времени, мышленія, и т. п.; сюда же принадлежитъ и понятіе способности. Ежедневный опытъ показываетъ измѣненіе предметовъ простыхъ представленій во внѣшнихъ вещахъ; мы замѣчаемъ, что здѣсь вещь перестаетъ быть, а тамъ другая вступаетъ на ея мѣсто, и наблюдаемъ въ духѣ постоянную смѣну представленій, которая зависитъ частью отъ впечатлѣній внѣшнихъ предметовъ, частью отъ нашего собственнаго выбора, — все это ведетъ человѣческій разумъ къ заключенію, что какъ разъ тѣ же самыя измѣненія, наблюдавшіяся до сихъ поръ, будутъ имѣть мѣсто и въ будущемъ на тѣхъ же самыхъ предметахъ, по тѣмъ же самымъ причинамъ и такимъ же самымъ образомъ. Посему онъ мыслитъ себѣ въ одномъ существѣ возможность, чтобы простые признаки его смѣнялись, и въ другомъ — возможность произвести эту смѣну, и такимъ образомъ приходитъ къ понятію способности. Способность является страдательною способностью какъ возможность принять измѣненіе, дѣятельною способностью, или силою (*power*), какъ возможность вызвать измѣненіе. Самое ясное

понятіе дѣятельной способности мы получаемъ, обращая вниманіе на дѣятельность нашего духа. Внутренній опытъ учитъ насъ, что простымъ хотѣніемъ мы въ состояніи привести въ движеніе покоящіеся члены нашего тѣла. Если субстанція, обладающая силой, проявляетъ ее дѣйствіемъ, то она называется причиной. То, что она производитъ, называется дѣйствіемъ. Причина это — то, что дѣлаетъ такъ, чтобы другое начало быть, дѣйствіе — то, что произошло черезъ другое.

Въ разсудокъ вводится большое число простыхъ представленій посредствомъ ощущенія и рефлексіи. Такимъ образомъ онъ также замѣчаетъ, что извѣстное число простыхъ представленій всегда является въ одномъ обществѣ. А такъ какъ мы не можемъ мыслить самобытнымъ то, что представляется имп., то мы приучаемся предполагать субстратъ, въ которомъ оно находится и откуда происходитъ. Этотъ субстратъ мы называемъ *субстанціей*. Общее представленіе субстанціи не содержитъ въ себѣ ничего, кромѣ предположенія неизвѣстнаго нѣчто, которое лежитъ въ основѣ свойствъ. Свойства вещи составляютъ затѣмъ истинное представленіе данной единичной субстанціи. Но сложное представленіе опредѣленной субстанціи на ряду съ этими простыми представленіями, ее образующими, всякій разъ имѣетъ и смутное представленіе о чемъ-то, чему они принадлежатъ, въ чемъ они, какъ неизвѣстной причинѣ ихъ единства, вмѣстѣ состоятъ. Такимъ образомъ *тѣло* есть протяженная, расчлененная и подвижная вещь, но подъ субстанціей вмѣстѣ съ этими свойствами всегда представляютъ еще нѣчто особенное, о чемъ, правда, не знаютъ, что оно такое. Такъ же мало, какъ о матеріальной, есть ясное понятіе и о духовной субстанціи. Дѣятельности души, какъ мышленіе, боязнь и т. п., считаются несамостоятельными. Но нельзя допустить, что онѣ присущи тѣлу. Вотъ почему ихъ приписываютъ другой субстанціи, которую называютъ духомъ. У насъ нѣтъ никакого основанія считать духовныя субстанціи невозможными. Отвергаи мы ихъ, мы должны были бы отвергать на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ и тѣлесныя субстанціи. Первые представленія, получаемыя о тѣлѣ, суть связь плотныхъ и вмѣстѣ дѣлимыхъ частей и способность сообщать движеніе посредствомъ толчка; наши представленія о духѣ, принадлежащія ему въ особенности, суть мышленіе и хотѣніе, или способность двигать тѣла посредствомъ мышленія, а также



свобода. Но связь плотных частей въ тѣлѣ такъ же мало можно понять, какъ мышленіе души. сообщеніе движенія — такъ же мало, какъ и движеніе посредствомъ мышленія. Наряду съ этими двумя родами субстанцій, тѣлесной и духовной, у насъ есть еще представленіе третьей, именно — Бога. Сила, продолжительность, разумъ и воля преувеличиваются въ безконечности, и такимъ образомъ мы доходимъ до представленія Бога. А такъ какъ у насъ нѣтъ отчетливаго познанія субстанцій, то Локкъ отвергаетъ возможность метафизики, будь то психологія, космологія или теологія, и такимъ образомъ упреждаетъ Канта, хотя и даетъ полное право спекулятивной обработкѣ матеріала, добытаго опытомъ. Помимо сложныхъ понятій единичныхъ субстанцій въ разумѣ попадаются еще сложные собирательныя понятія, какъ войско, флотъ, городъ, міръ. Эти собирательныя понятія душа образуетъ при помощи своей способности связывать. Изъ сравненія нѣсколькихъ вещей одна съ другой происходятъ понятія *отношеній*. Къ нимъ принадлежатъ понятія причины и дѣйствія, отношеніе времени и мѣста, тождества и различія, степеней, нравственныхъ отношеній и т. п.

Въ *третьей книгѣ* Опыта о человѣческомъ разумѣ Локкъ говоритъ о языкѣ, въ *четвертой* — о познаніи и мнѣніи. Слова — знаки, общія имена — общіе знаки для представляемыхъ предметовъ. Истинность и ложность, строго говоря, есть только въ сужденіяхъ, а не въ единичныхъ представленіяхъ. Положенія, какъ законъ противорѣчія, служатъ искусству спорить, а не познанію. Положенія, которыя совсѣмъ или только отчасти тождественны, ничему не научаютъ. Самихъ себя мы познаемъ съ полной очевидностью посредствомъ внутренняго воспріятія, а Бога — посредствомъ заключенія отъ существующаго къ первой причинѣ, отъ мыслящихъ существъ (и по меньшей мѣрѣ наше собственное мышленіе для насъ достовѣрно безъ всякаго сомнѣнія) къ первому и вѣчному мыслящему существу. Но внѣшній міръ познается нами съ меньшей очевидностью. По ту сторону разумаго познанія лежитъ вѣра въ божественное откровеніе.

Добро и зло — только удовольствіе и страданіе или то, что ихъ доставляетъ. *Нравственно* хорошее и дурное есть согласіе или несогласіе нашихъ свободныхъ дѣйствій съ закономъ, при чемъ мы по волѣ законодателя навлекаемъ на себя

хорошее или дурное, т.-е. удовольствіе или страданіе. Они называются въ такомъ случаѣ наградой или наказаніемъ. Такимъ образомъ нравственность основывается на удовольствіи и страданіи, т.-е. на слѣдствіяхъ нашихъ дѣйствій. Законы, по которымъ люди отличаютъ право отъ безправія, — божескій, гражданскій и законъ общественнаго мнѣнія, уваженія или презрѣнія. Первый законъ — мѣрило для грѣха и долга. Отъ него такимъ образомъ выводится обязательство, все равно, сообщенъ ли намъ этотъ законъ свѣтомъ природы, или глаголомъ откровенія. Второй — мѣрило для преступленія и невинности, третій, называемый Локкомъ также философскимъ или закономъ моды, — мѣрило для добродѣтели и порока. Этимъ закономъ главнымъ образомъ, если не исключительно, опредѣляется большинство людей: люди не особенно обращаютъ вниманіе на наказанія за нарушеніе божественнаго закона, а также и на тѣ, которыми грозятъ гражданскіе законы. Но уваженіемъ пользуется то, на что всякій смотритъ, какъ на полезное для себя. А такъ какъ ничто на свѣтѣ такъ не содѣйствуетъ благу людей, какъ послушаніе данному Богомъ закону, то уваженіе и презрѣніе, вообще говоря, должно согласоваться съ положеніями права и безправія, которыя даны Богомъ въ откровеніи. Конечно, въ отдѣльныхъ случаяхъ бываютъ отступленія. Оттого происходятъ различныя нравы у разныхъ народовъ въ различныя времена.

Выраженія Локка по *религіознымъ, политическимъ и педагогическимъ* вопросамъ свидѣтельствуютъ о благородномъ и гуманномъ чувствѣ и существенно способствовали смягченію не одной традиціонной суровости. Совсѣмъ непоследовательно Локкъ не признаетъ свободы совѣсти за атеистами и тѣмъ самымъ нарушаетъ силу своихъ философскихъ аргументовъ за терпимость.

Философское значеніе Локка связано прежде всего съ изслѣдованіемъ человѣческаго разсудка, которое стало исходнымъ пунктомъ эмпирическаго направленія философіи XVIII в. въ Англіи, Франціи и Германіи, одолѣло схоластицизмъ и картезіанство, но въ Германіи было ограничено больше всего Лейбницемъ. Ученіе Спинозы о единствѣ, непосредственно приравнивающее порядокъ въ мысляхъ порядку въ вещахъ, безспорно получило дополненіе въ изслѣдованіи Локка, направленномъ на границы познанія субъекта. Лейбницъ, написавшій про-



тивъ Локка, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, все-таки призналъ важность его изслѣдованія. Правда, Лейбницъ не считалъ испытаніе нашей познавательной силы первой задачей философіи, обуславливающей всѣ другія философскія изслѣдованія. Напротивъ, онъ былъ того мнѣнія, что за нее успѣшно можно браться только тогда, когда раньше уже установлено кое-что другое. Подобнаго же мнѣнія былъ въ послѣ-кантовское время и Гербартъ. А Кантъ, напротивъ, какъ основатель критицизма, вернулся къ убѣжденію Локка, что изслѣдованіе начала и границъ нашего познанія для философіи имѣетъ основное значеніе, по вѣдь это изслѣдованіе хотя и въ смыслѣ, во многомъ обусловленномъ примѣромъ Локка, однако существенно различномъ какъ по ходу, такъ и по результату. Гегель придаетъ изслѣдованію о началѣ познанія только подчиненное значеніе; принципиально не признаетъ границы философскаго познанія, считая человѣческій разумъ по существу тождественнымъ съ разумомъ, присущимъ всей дѣйствительности, и хочетъ выяснитъ не психологически начало понятій, и діалектически—ихъ значеніе и систему. Гегель очень доволенъ, что дѣло не остановилось на простомъ опредѣленіи отдѣльных понятій, а разслѣдуется связь ихъ, но онъ считаетъ психологическое изслѣдованіе генезиса понятій въ мыслящемъ субъектѣ за простое отчужденіе философской задачи, которая заключается въ діалектическомъ развитіи понятій. Сужденіе Гегеля было бы правильнымъ, если бы между (объективнымъ) бытіемъ и (субъективнымъ) сознаніемъ было бы только согласіе, а не разрывъ въ существенныхъ отношеніяхъ. Если согласіе является задачей, достижимой посредствомъ постепеннаго приближенія, то и критика познавательной силы человѣка имѣетъ существенное философское значеніе, и Локкъ не заслуживаетъ упрека, будто онъ не философское или мало философское разсужденіе поставилъ на мѣстѣ такого разсужденія, которое одно только является истинно философскимъ. Но не безъ основанія, можно думать, Локкъ взялся разрѣшить не всю философскую задачу, а только часть ея.

*Ибервегъ-Гейнцъ.*

---

## Значеніе Англіи въ вѣкъ просвѣщенія.

Гёте сравниваетъ исторію науки съ обширной фугой; голоса народовъ выступаютъ въ ней только одинъ за другимъ.

Это сравненіе въ высшей степени мѣтко именно относительно литературы послѣднихъ столѣтій. Три великіе культурные народа подаютъ свои голоса одинъ за другимъ; одинъ народъ продолжаетъ тему, гдѣ ее оставляетъ другой, и всѣ три проникнуты до такой степени согласнымъ и общимъ основнымъ тономъ, что истинно жизненная мысль нигдѣ не выказывалась безъ того, чтобы не сдѣлаться тотчасъ же общимъ достояніемъ всего образованнаго міра.

Англія шла впереди въ этой великой борьбѣ образованія, которую называютъ обыкновенно вѣкомъ *просвѣщенія* (Aufklärung).

Правда, сильныя пачатки обнаруживались вездѣ, во Франціи, въ Голландіи, въ Германіи; но они были задержаны неблагоприятными обстоятельствами или, по крайней мѣрѣ, потеряли свое полное дѣйствіе. Лабрюйеръ прекрасно рисуетъ стѣсненное положеніе Франціи, когда въ своихъ тонкихъ характеристикахъ, въ концѣ разсужденія о произведеніяхъ ума, выражаетъ глубоко прочувствованную жалобу, что человѣкъ (какъ онъ), французъ и христіанинъ вмѣстѣ, чувствуетъ себя очень стѣсненнымъ въ сатирѣ, потому что для него закрыты всѣ обширные сюжеты. Голландія, которая была въ одно время безопаснымъ убѣжищемъ Декарта, Спинозы и Бэйля, впала въ безеніе и зависимость; и въ Германіи Лейбницъ и Томазіусъ стояли также слишкомъ уединенно, чтобы имѣть широкое вліяніе. Но въ Англіи эти медленныя сѣмена созрѣли. Великими открытіями Ньютона и всѣмъ доступной опытной философіей Локка она дала новой жизни твердую опору и свѣжую производительную силу; изложеніемъ Стюартовъ она завоевала общественную и церковную свободу; здоровое государственное устройство и та простая разумная религія, которая проникла во всѣ круги общества, подъ именемъ деизма, сдѣлались свѣтлымъ образцомъ.

За ней слѣдовала Франція. Какъ ни многозначительно было это движеніе Англіи, оно едва ли бы имѣло ту побѣдоносную силу, какая была у него въ самомъ дѣлѣ, — если бы Франція не взяла на себя при этомъ посредствующей роли. Можно



было справедливо жаловаться на постыдное подражаніе, которое при Людовикѣ XIV подчинило цѣлую Европу всемогуществу французскихъ обычаевъ и языка. Но теперь то обстоятельство, что французскій языкъ и образованіе были языкомъ и образованіемъ цѣлаго свѣта, стало въ высшей степени важно. Новыя идеи начали живо распространяться только изъ Франціи. Маколей прекрасно говоритъ въ своей статьѣ о Вальполѣ: „Французская литература стала для англійской тѣмъ, чѣмъ былъ Ааронъ для Моисея; великія открытія въ физикѣ, метафизикѣ и наукѣ о государствѣ принадлежатъ англичанамъ; но ни одинъ народъ, кромѣ Франціи, не принялъ ихъ непосредственно отъ англичанъ; для этого Англія была слишкомъ уединена своимъ положеніемъ и обычаями; Франція была посредникомъ между Англіей и человѣчествомъ“.

Вольтеръ и Монтескьё приходили въ самую Англію и съ самымъ пылкимъ одушевленіемъ приняли англійскія идеи и учрежденія. Вольтеръ образуетъ и обогащается сочиненіями Ньютона и Локка; Монтескьё изображаетъ и превозноситъ духъ англійскихъ государственныхъ учреждений. Франція охотно сочувствуетъ ихъ отвагѣ. Является Руссо, потомъ Дидро, а съ нимъ и черезъ него — кружокъ энциклопедистовъ. Рѣдко бывало такъ сильно вліяніе литературы на жизнь. Не было, конечно, недостатка въ дерзости и мелкости, въ преувеличеніяхъ и внутреннихъ противорѣчіяхъ; но эти писатели безпощадно открываютъ язвы своего времени; весь свѣтъ слушаетъ ихъ съ участіемъ и стремится сдѣлать изъ ихъ словъ дѣло. Духъ обыкновенія пробуждается повсюду, не только въ обществѣ буйвуазномъ, но особенно въ дворянствѣ и духовенствѣ; никто, кромѣ развѣ фанатика Кристофа Бомона, парижскаго архіепископа, не рѣшается защищать старое время и старые порядки. Правительство преслѣдуетъ этихъ писателей и сжигаетъ ихъ книги; но, несмотря ни на что, они остаются какъ прежде прославленными героями.

Извѣстно, какимъ образомъ нѣкоторые благородные и умные правители и государственные люди пытались преобразовать управленіе своихъ странъ въ смыслѣ этихъ новыхъ идей. Фридрихъ Великій съ своимъ творческимъ умомъ первый подалъ возвышенный примѣръ, затѣмъ Помбаль, Іосифъ II, Струэнзе, Петръ Леопольдъ въ Тосканѣ и Паскаль Паоли въ Корсикѣ; и кто не вспомнитъ еще о Беккаріа, Филанд-

жъери и Тануччи въ Италіи, о Кампоманесѣ въ Испаніи? Мы переживаемъ въ высшей степени замѣчательное зрѣлище насильственнаго, выходящаго сверху переворота, который Плоссеръ тѣмъ болѣе справедливо назвалъ монархической революціей, что самые народы, тупо держась преданій старины, въ самомъ дѣлѣ порядка оказывали открытое или тайное сопротивленіе самымъ лучшимъ мѣрамъ. Въ особенности южные народы скоро опять погрязли въ своей прежней неподвижности; подъ гнетомъ, продолжавшимся цѣлыя вѣка, они потеряли свое достоинство и силу упругости; говоря сравненіемъ Нибура, рука индѣйскаго факира, протянутая сначала добровольно, коченѣетъ, наконецъ, въ самомъ дѣлѣ.

Между тѣмъ Германія также очнулася послѣ долгаго усыпленія. Вскорѣ она становится даже впереди движенія. Съ истинно-изумительной быстротой она перегоняетъ Англію и Францію, если не внѣшнимъ могуществомъ и свободой, то, по крайней мѣрѣ, своимъ внутреннимъ образованіемъ, искусствомъ и наукой. Изъ ученика она становится учителемъ.

Готшедъ, столько разъ осмѣянный и оказавшій однако громадныя услуги образованію своего времени, своими указаніями на строгость французскаго классицизма, снова приучилъ одичалый вкусъ къ порядку и правильности. Клопштокъ опирается на Мильтона, Впландъ — на веселую мягкость англійскихъ и французскихъ популярныхъ философовъ. Свѣжая жизнь играетъ уже снова во всѣхъ отрасляхъ. Являются Винкельманъ, Лессингъ и Гердеръ и вѣрными шагами возвращаются къ первоначальному источнику всей поэзіи и образованія, къ древнимъ, къ Шекспиру и къ пайвной и полной чувства народной фантазіи; и изъ этихъ основъ тотчасъ встаютъ Гёте и Шиллеръ, съ такой глубокой, чисто-человѣчной и такой высокой поэзіей, какой еще не бывало послѣ золотыхъ временъ Шекспира.

Точно такъ же въ философін. Богословскій раціонализмъ, первые начатки котораго утверждались въ Германіи на Лейбницѣ и Вольфѣ, обогатился теперь великими пріобрѣтеніями англійскихъ деистовъ и моралистовъ. Традиціонныя ученія вѣры, которыя для французскихъ поборниковъ просвѣщенія были почти только предметомъ остроумія и насмѣшекъ, — эти ученія нѣмецкая наука изслѣдовала, оспаривала и приводила къ заключеннымъ въ нихъ основнымъ истинамъ съ самой основа-



тельной ученостью и съ почтительнымъ сознаніемъ важности предмета. Фридрихъ Великій нашелъ достойныхъ современниковъ. Простое и понятное нравственное ученіе, которое проповѣдывали раціоналисты и близкіе къ нимъ нравственныя философы, распространило нравственные понятія, прямоту и религіозную терпимость. И наконецъ поднялся высокій умъ Канта: послѣ самаго глубокаго изученія англичанъ и французовъ онъ создалъ систему, которая обняла, возвысила, разъяснила все передовое созданіе эпохи и останется основнымъ и краеугольнымъ камнемъ философіи, пока философія останется наукой науки.

Возвышеніе нѣмецкаго образованія и великая французская революція современны. Непосредственные участники ихъ уже чувствовали, что оба движенія въ своемъ послѣднемъ основаніи были руководимы однимъ и тѣмъ же побужденіемъ, къ познанію и осуществленію чистой и свободной человѣчности. Французская республика послала грамоту на гражданство Шиллеру и Клопштоку, и лучшіе умы Германіи почти единогласно привѣтствовали революцію, — по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока она была еще свободна отъ ужасовъ террора.

*Геттнеръ.*

---

## Французская литература освобожденія 17-го и 18-го вѣковъ.

Гнетъ „старого режима“, давившій духовную жизнь французскаго народа, необходимо долженъ былъ, наконецъ, встрѣтить противодѣйствіе. Чѣмъ сильнѣе была тиранія, долго угнетавшая народный духъ, тѣмъ мятежнѣе было и его пробужденіе. Точно также и органъ его — литература, чѣмъ больше была прежде опозорена на службѣ двора, тѣмъ жаднѣе стремилась теперь къ освобожденію, чтобы революціонною дѣятельностью заставить позабыть свое униженіе и придворное рабство; она также не знала мѣры въ свободѣ, какъ и въ рабствѣ, что совершенно соотвѣтствуетъ національному характеру француза, который, еще вчера богомольный, сегодня впадаетъ въ безбожіе, чтобы завтра опять идти къ исповѣди и каяться: который въ религіозномъ безуміи совершаетъ

убійства Варѳоломеевской ночи и въ безуміи политическомъ становится санкюлотомъ; который сегодня дѣлаетъ революцію, чтобы завтра пресмыкаться передъ новымъ тираномъ, сегодня гонить съ престола Карла X, чтобы завтра посадить на него Луи-Филиппа, сегодня какъ сумасшедшій кричитъ о республикѣ, чтобы завтра успокоиться съ декабрьской имперіей. Не малымъ несчастіемъ для человѣчества было то, что Франція такъ долго шла во главѣ цивилизаціи, какъ выражается обыкновенно французское тщеславіе. Впрочемъ оно выражается такъ не безъ основанія, потому что не только политическая исторія, но и исторія литературы доказываютъ положительно, что такъ и было на дѣлѣ. До 19-го вѣка французская литература, безъ сомнѣнія, была барометромъ общественнаго настроенія Европы. Въ средніе вѣка Франція наложила на образованный міръ отпечатокъ своего романтизма, въ послѣдствіи ея придворная поэзія и классицизмъ давали тонъ цѣлой Европѣ, и какъ это было дѣломъ королей, такъ точно ея певѣрующая революціонная литература 18-го столѣтія была дѣломъ народовъ, и пропія всемірной исторіи сказалась здѣсь въ томъ, что привилегированныя сословія услужливѣе и ревностнѣе всѣхъ распространяли и утверждали эту разрушительную литературу.

Реформація фактически не была совершенно заглушена во Франціи въ крови Варѳоломеевской ночи; съ того времени она только играла второстепенную роль въ народной жизни. Между тѣмъ идея реформы вовсе не погибла; она дѣйствовала, начиная съ Рабелэ, въ лицѣ многихъ даровитыхъ людей, являясь ими какъ скептическая философія житейскаго знанія въ сочиненіяхъ *Мишеля-де-Монтэня* (1533—1592, „Essais“), которая становится скептически-правдивою въ „*Traité de la sagesse*“, *Шаррона* (1541—1603), друга и подражателя Монтэня, или какъ новое построеніе міра мысли въ системѣ *Рене Декарта* (1596—1650), или заимствуя изъ арсенала самой церковной вѣры оружіе противъ фанатизма и іезуитизма, какъ въ сочиненіяхъ *Блеза Паскаля* (1623—1662, „*Lettres à un Provincial*“, „*Pensées sur la religion*“), или какъ въ сочиненіяхъ *Франсуа-де-ла-Рошфуко* (1613—1680, „*Réflexions et Maximes*“), *Лабрюйера* (1639—1696, „*Les caractères ou les mœurs de ce siècle*“) и *Шарля-де-Сентъ-Эвремана* (1613—1703), приготавливая ту практическую философію, которая утвержда-



лась на остроумномъ наблюденіи жизни и людей и послужила ближайшимъ основаніемъ революціоннаго направленія духа въ 18-мъ столѣтіи. Литературная дѣятельность названныхъ нами людей, — изъ которыхъ Монтэнь отличается силой своей наблюдательности, Декартъ или Картезій — энергіею мысли, преобразовавшей весь интеллектуальный міръ, Паскаль — силою души, — произошла изъ этого великаго начала скептицизма, которое, начиная съ 16-го столѣтія, непрерывно подвигало впередъ ходъ европейскаго образованія. Этотъ принципъ сомнѣнія былъ душою изслѣдованія, которое въ послѣдніе три вѣка овладѣло мало-по-малу всѣми проблемами, преобразовало всѣ отрасли умозрительнаго и практическаго знанія и которое, говоря словами прощательнаго англичанина Бокля, „ослабивъ значеніе привилегированныхъ кастъ общества, положило твердое основаніе свободѣ, наказало деспотизмъ королей, обуздао притязанія дворянства и даже уменьшило предрасудки духовенства“: — это начало было душою того изслѣдованія, которое сдѣлало народы менѣе довѣрчивыми въ политикѣ, менѣе легковѣрными въ наукѣ и менѣе нетерпимыми въ религіи.

Въ 18-мъ столѣтіи скептицизмъ уже чувствовалъ себя довольно сильнымъ, чтобы взяться за проблему коренного преобразованія общества. Къ неумолимой критикѣ существовавшихъ отношеній церкви, государства и общества присоединились, подъ прямымъ вліяніемъ свободы мысли и политическихъ учреждений Англіи, и положительныя стремленія къ преобразованію. Такимъ образомъ, французская литература освобожденія получила тогда умнаго представителя въ Монтескье. Шарль де-Секонда баронъ ла-Бредъ и де-Монтескье (la Brède et de Montesquieu) родился въ 1689 году и умеръ въ 1755 г. Въ 1721 году издалъ онъ свои *Персидскія письма* (Lettres Persanes), одно изъ самыхъ замѣчательныхъ оппозиціонныхъ произведеній 18-го столѣтія. Это сочиненіе, въ формѣ легкомысленнаго, иногда почти соблазнительнаго романа, подвергло критикѣ церковныя, политическія и общественныя учрежденія въ Европѣ, и особенно во Франціи. Эта критика была столько же основательная и остроумная, сколько богата послѣдствіями. Тринадцать лѣтъ спустя онъ издалъ свои *Размышленія о причинахъ величія и паденія римлянъ* (Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des

Romains), историческое произведение, написанное съ государственной и философской точки зрѣнія и значительно содѣйствовавшее преобразованію исторической литературы. Наконецъ въ 1749 году появился его *Духъ Законовъ* (Esprit des lois), который собственно и сдѣлалъ Монтескье историческимъ и политическимъ оракуломъ либераловъ. „Духъ Законовъ“, опредѣлившій три основныя политическія формы, т.-е. республику, конституціонную (умѣренную) монархію и деспотизмъ, — изъ которыхъ Монтескье, увлекавшійся англійскими учрежденіями, подаетъ свой голосъ за вторую форму, — сдѣлался кодексомъ либерализма, евангеліемъ владѣющаго класса, которое ставить принципомъ политическую безправность бѣдняка и изъ котораго необходимо выводится затѣмъ денежное господство буржуазіи. Лучшая критика обольщеній конституціонализма, основное положеніе котораго, какъ извѣстно, состоитъ въ раздѣленіи трехъ властей — законодательной, административной и судебной, находится въ одномъ изъ прежнихъ сочиненій Монтескье (въ „Персидскихъ письмахъ“). По этой книгѣ конституціонная монархія представляется искусственнымъ и потому непрочнымъ состояніемъ, которое должно перейти потомъ или въ деспотизмъ, или въ республику, потому что власть никогда не можетъ быть равномерно раздѣлена между народомъ и правителемъ, и такъ какъ сохраненіе равновѣсія между ними представляетъ непреодолимая трудности, то это равновѣсіе всегда остается одной мечтой. Мечтательность политической системы Монтескье, съ точки зрѣнія того времени, имѣющей впрочемъ необыкновенныя достоинства, указывалъ уже тогда Клодъ Адриенъ *Гельвецій* (1715—1771), авторъ знаменитой книги „О духѣ“ (De l'esprit, 1758), гдѣ выведены были нравственные слѣдствія матеріалистической философіи того времени, состоящія въ томъ, что эгоизмъ есть двигатель всей человѣческой дѣятельности, — выводъ, давшій одной умной французенкѣ того времени поводъ сказать: „c'est un homme qui a dit le secret de tout le monde“ (этотъ человѣкъ открылъ тайну всѣхъ): это выраженіе очень хорошо обрисовываетъ нравы того времени.

Главнымъ корифеемъ модной французской философіи того времени былъ *Дени-Дидро* (1712—1784). Поддерживаемая результатами изслѣдованій о природѣ людей какъ *Бюффонъ* и *Кондильякъ*, эта философія изъ вольнодумной болтовни лите-



ратурныхъ кружковъ, собиравшихся около умныхъ женщинъ (Дю-Деффапъ, Жоффренъ и др.), скоро развилась въ безотрадныя положенія атеизма и матеріализма сочиненій *Ла-Метри* (l'homme machine и проч.) и въ высшей степени скучной „Системы природы“ (Système de la nature ou des lois du monde phisique et morale) барона *Гольбаха* и его друзей. Дидро писалъ также романы соблазнительнаго содержанія (Les bijoux indiscrets, La religieuse) и пробовалъ себя въ теоріи драмы (Poétique du drame) и въ драматической поэзіи (Le fils naturel, Le père de famille). Какъ драматическій поэтъ онъ ввелъ въ употребленіе такъ называвшую мѣщанскую драму, что какъ разъ соотвѣтствовало тогдашнему смѣлому поднятію „третьяго сословія“ въ государствѣ. Но своей славой онъ преимущественно обязанъ съ одной стороны, той смѣлой и блестящей манерѣ, съ которой онъ, начиная съ „Философскихъ мыслей“ (Pensées philosophiques, 1746) и потомъ въ безчисленныхъ памфлетахъ распространить во всѣхъ свѣтскихъ кругахъ Европы модную софистику своего времени, которая стала тогда ихъ любимой философіей; съ другой стороны, эту славу доставило ему основаніе знаменитой „Энциклопедіи“ (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres, 1751—1766). Для изданія этого произведенія, котораго сотрудниками были лучшіе умы того столѣтія, и въ которомъ господствовавшія идеи времени должны были быть примѣнены ко всѣмъ областямъ дѣятельности человѣческаго духа, *Дидро* соединился съ знаменитымъ математикомъ *Д'Аламберомъ* (Jean le Rond d'Alembert, 1717—1783). Д'Аламберъ открылъ энциклопедію введеніемъ, которое излагало и собственныя его убѣжденія и руководящія принципы предпріятія. „Источникъ всякаго знанія, — говоритъ онъ въ этомъ введеніи, составляющемъ образецъ стилистическаго искусства, — есть опытъ; источникъ всякаго общественнаго порядка — потребность пользоваться другими людьми для нашей выгоды. Поэтому, у кого больше силы, тотъ пріобрѣтаетъ и большія выгоды. Отсюда является притѣсненіе, а изъ негодованія на него — понятіе о справедливости и несправедливости; наконецъ, отсюда чувство добродѣтели и потребность закона. Высшее, что развивается въ человѣкѣ на этомъ пути, вызываетъ вѣру, что душа не состоитъ, какъ все прочее, изъ матеріи, но что она без-

смертна и что есть божество“. Всемирно-историческое значеніе, которое получила Энциклопедія, ясно уже изъ того, что въ исторіи періодъ появленія и распространенія этого произведенія обыкновенно называется просто вѣкомъ *энциклопедистовъ*. Это знаменательное предпріятіе имѣетъ свою исторію. Изданіе этого многотомнаго образцоваго энциклопедическаго словаря было сопряжено съ необычайными трудностями. Въ 1751 году появился первый томъ, и только въ 1766 году могли выйти въ свѣтъ послѣдніе десять томовъ. Изданіе часто останавливалось, иногда совершенно запрещалось, но потомъ опять молчаливо допускалось, такъ какъ разные министры и вліятельные придворные живо сочувствовали продолженію этого труда. Но враждебное противодѣйствіе духовенства и его приверженцевъ было весьма сильно. Чтобы одолѣть при дворѣ этихъ враговъ, такіе люди и министры какъ Шуазель и Мальзербъ должны были иногда прибѣгать къ удивительнымъ средствамъ. Такъ, напримѣръ, когда однажды Энциклопедія опять была запрещена, они устроили такъ, что жалкаго Людовика XV павели за столомъ на разговоръ о приготовленіи пороха, а „вавилонскую женщину“, г-жу Помпадуръ — о приготовленіи помады, вслѣдствіе чего былъ припесенъ соотвѣтственный томъ Энциклопедіи, и обѣ статьи были прочитаны. Король и первая фаворитка были удовлетворены поучительной книгой, и дальнѣйшее появленіе ея было терпимо. Дѣловой успѣхъ изданія былъ необычайный. Первое изданіе имѣло 30.000 экземпляровъ и было быстро распродано. Издатели получили 2.630.000 ливровъ чистаго барыша. Главный же редакторъ, Дидро, долженъ былъ за всѣ свои труды, хлопоты и опасности довольствоваться 2.500 ливровъ за томъ, и только подъ конецъ съ трудомъ получилъ еще 20.000 ливровъ въ вознагражденіе за разныя затраты свои. Вліяніе труда энциклопедистовъ, которыхъ одинъ изъ младшихъ ихъ современниковъ, Кабанисъ, основательно называлъ „la sainte confédération contre le fanatisme et la tyrannie“, было неизмѣримо велико. Геттнеръ хорошо формулировалъ его въ немногихъ словахъ: „Прочное знамя было воздвигнуто, лозунгъ былъ данъ. Медленно, но прочно пропикалъ образъ мыслей новой школы въ воззрѣнія и убѣжденія людей. Благодаря энциклопедіи явилось на свѣтъ много безразсудной опрометчивости, поверхностное рѣшеніе такихъ вопросовъ и загадокъ,



которые требуют не блестящаго краснорѣчія, а трудныхъ наблюденій и тщательнаго, глубокаго изслѣдованія. Но, несмотря на это, внутреннее ядро было здорово и дало благотворные плоды“.

Говоря объ этихъ людяхъ борьбы, выставившихъ въ 18-мъ столѣтіи знамя разума, мы всегда будемъ несправедливы къ нимъ, если будемъ намѣренно или безъ намѣренія отрывать ихъ отъ ихъ времени. Никогда не должно забывать ту почву, на которой они стояли. Королевское достоинство, доведенное до высшаго блеска Людовикомъ XIV, упало до общаго презрѣнія послѣ регентства Филиппа Орлеанскаго, напоминавшаго времена папы Александра VI, и послѣ Людовика XV. правленіе котораго было длинной трагикомедіей грѣха и позора; своимъ гніеніемъ оно заразило весь аристократическій міръ, изъ котораго этотъ ядъ, проходя по всѣмъ слоямъ общества, проникъ и въ домъ горожанина и въ хижину поселянина. Истинно-религіозное чувство, при всеобщей непорочности и пресыщеніи, совершенно погасло, и его мѣсто заняло грязное суевѣріе сердець, которое составляло страшное противорѣчіе съ невѣріемъ головъ. Законы превратились въ паутину, которую пагло обрывалъ богачъ и въ которую попадались только бѣдняки; право, честь, нравственность считались у людей хорошаго тона пелѣностью, семейная и домашняя жизнь, этотъ якорь общественной нравственности, уступили мѣсто безпутному препровожденію времени; подъ управленіемъ понималось только искусство доставлять деньги на мотовство двору, аристократіи и духовенству; Франція, покрытая въ другихъ странахъ стыдомъ отъ послѣдствій семилѣтней войны, а внутри близкая къ банкротству, старалась забыть въ шумъ утопченныхъ наслажденій предстоявшее ей явное политическое и нравственное разрушеніе. Но и въ этомъ шумѣ она не могла избѣжать сознанія о необходимости всеобщаго переворота, которое давало себя чувствовать все слышѣе и слышѣе. Въмѣсто того, чтобы уяснить себѣ это сознаніе, вмѣсто того, чтобы помочь этой необходимости законными путями, французское общество затѣяло съ грозящими задачами времени замысловатую и остроумную игру. Люди привилегированные танцовали падеъ вулканомъ и шутили съ огнемъ, который тотчасъ долженъ былъ поглотить ихъ. Съ мыслью о революціи, извѣстіе о которой.

какъ рычаніе льва, пронеслось по Европѣ, въ аристократическихъ салонахъ играли и шутили сначала какъ съ балованной собачкой. Если и возвышались иногда серьезные голоса, ихъ или не слушали, или смѣялись надъ ними какъ надъ курьезомъ. Кто хотѣлъ дѣйствовать и пріобрѣсти значеніе, долженъ былъ войти въ господствующій тонъ, и только такой все преодолевающій геній какъ Руссо могъ пріобрѣсти значеніе наперекоръ обществу и моды. Фридрихъ Мельхіоръ Гримъ (1723—1807), совершенно офранцузившійся пѣмецъ, какъ близкій наблюдатель, описалъ ходъ великой литературной революціи, предшествовавшей во Франціи революціи политической, въ весьма важномъ для исторіи литературы и культуры сочиненіи подъ заглавіемъ „Correspondance littéraire“, впервые напечатанномъ въ Парижѣ въ 1712 г. и потомъ неоднократно перепечатанномъ, въ 16 томахъ. Страшное зрѣлище вакханальной пляски отрицанія, шутки и насмѣшки представляло французское общество XVIII столѣтія. Разумъ, связанный оковами цѣлыя столѣтія, сбросилъ ихъ и съ радостью освобожденія соединилъ демоическую жажду мщенія; онъ предалъ злобному осмѣянію небо и землю, государство и церковь, и разлилъ по всей Европѣ отвратительный смрадъ. Этотъ разумъ, независимый въ своей насмѣлкѣ, полный злой радости въ своемъ мщеніи, но неустрашимый и неустоимый въ борьбѣ съ тиранией, глупостью и предразсудкомъ, проявляется въ Вольтерѣ, который представляетъ собою отрицательную сторону его дѣятельности. между тѣмъ какъ въ Руссо онъ принимаетъ, какъ мы увидимъ, болѣе положительныя стремленія.

*Франсуа Мари Аруэ* (François-Marie Arouet), получившій всемірно-историческое значеніе подъ именемъ *Вольтера* (Voltaire), родился 21 ноябрю 1694 года въ Парижѣ. Онъ учился въ школахъ іезуитовъ, которыхъ часто ставилъ въ такое затрудненіе своими невѣрующими вопросами и возраженіями, что однажды одинъ изъ этихъ отцовъ соскочилъ съ кафедры и сказалъ мальчику, которому уже и тогда казались нелѣпыми разныя догматическія топкости: „Несчастный, когда-нибудь ты поднимешь во Франціи знамя деизма!“ Предсказаніе это исполнилось во всей силѣ. По выходѣ изъ школы онъ сдѣлалъ нѣсколько неудачныхъ попытокъ найти себѣ карьеру; его крестный отецъ Шатонетъ ввелъ его въ кружки знатныхъ



весельчаковъ и развратниковъ. Семнадцати лѣтъ Вольтеръ написалъ трагедію *Эдипъ*; въ *Эдипѣ*, во многихъ колкихъ эпитаграммахъ, а еще рѣшительнѣе въ одѣ *На современныя бѣдствія* (*Sur les malheurs du temps*), онъ высказалъ уже свое оппозиціонное направленіе. Онъ попалъ потомъ въ Бастилію, не за эту оду, какъ прежде думали, а за другое ложно ему приписанное стихотвореніе. Но это заключеніе послужило только къ тому, что съ одной стороны положило основаніе его популярности, а съ другой — сосредоточило его ненависть къ деспотизму. Славнымъ свидѣтельствомъ этой усиленной ненависти была другая, вышедшая въ то же время, ода „*La chambre de la justice*“, быть можетъ, самое пылкое произведеніе его, въ которомъ онъ представляетъ страшную картину тяготѣвшей тогда падъ Франціей тиранніи и кончаетъ пророческимъ указаніемъ на приближающуюся революцію. Молодой поэтъ принялъ уже тогда имя Вольтера, потому что, по его словамъ, прежняя его фамилія Аруэ принесла ему только несчастіе и преслѣдованіе. Какъ это стихотвореніе обозначаетъ начало его неумолимой оппозиціи противъ государства, такъ его „*Посланіе къ Ураніи*“ (*Le pour et le Contre*), написанное, вѣроятно, въ 1722 г., открываетъ его ожесточенную борьбу противъ церкви и догматическаго христіанства, противъ котораго онъ сильно вооружился въ этомъ посланіи. Заключеніе этого посланія содержитъ въ себѣ то, что можно было бы назвать положительнымъ религіознымъ воззрѣніемъ Вольтера. Въ Бастиліи онъ составилъ и планъ своей героической поэмы *Генриады* (*la Henriade*), въ которой воспѣвается Генрихъ IV; какъ эпическое произведеніе, она не имѣетъ никакого значенія, хотя французы долгое время восхищались ею. Это реторическое произведеніе, котораго сухость, холодность и недостатокъ жизни совершенно оправдываютъ остроту Деліля, что въ этой героической поэмѣ, наполненной войнами и боевыми лошадьми, нѣтъ даже травы, чтобы покормить лошадей, и воды, чтобы напоить ихъ. Но совершенно въ другомъ свѣтѣ является „*Генриада*“, если смотрѣть на нее, — какъ это и слѣдуетъ, — какъ на проявленіе религіозной вѣротерпимости, обращенной противъ обскурантовъ и фанатиковъ. Вольтеръ издалъ это произведеніе въ Англіи, гдѣ онъ, убѣжавъ отъ преслѣдованій грубой аристократіи и произвола французской юстиціи, прожилъ отъ 1726 до 1729 года. Доходами

отъ Генріады онъ положилъ основаніе своему богатству, которое онъ пріобрѣлъ честно и употреблялъ совершенно благородно, въ чемъ должны согласиться даже заклятые противники его. Вообще при всѣхъ его безчисленныхъ слабостяхъ, — между которыми главной было безпредѣльное тщеславіе, унижавшее его часто до придворнаго льстеца, — онъ въ общественной и частной жизни всегда былъ защитникомъ бѣдняка; и этотъ спальный противникъ христіанства, искорененіе котораго онъ считалъ своимъ призваніемъ, фактически всюду, гдѣ только не слишкомъ мѣшало ему его тщеславіе, доказалъ, что безсмертные стихи въ „Альзирѣ“, въ которыхъ онъ высказываетъ нравственное содержаніе христіанства, вытекали изъ глубины его сердца. Плодомъ его пребыванія въ Англіи были „Lettres sur les Anglais“, въ которыхъ, подъ предлогомъ ознакомить французовъ съ философіей и литературой Великобританіи, скрывается самая безпощадная критика тогдашняго состоянія Франціи, и доказательствомъ ея правдивости служить то, что властители велѣли сжечь эту книгу рукою палача. Въ это же время Вольтеръ излилъ свою желчь на сухихъ филологовъ, школьных и вообще на всѣхъ литературныхъ педантовъ въ своей сатирѣ „Le temple du goût“, а въ стихотвореніи *Чадъ свѣта* (*Le mondain*), испытавшемъ сильныя гоненія, онъ представилъ эгонстическое спбаритство, которому служили тогда (какъ и теперь) „люди свѣта“. Затѣмъ Вольтеръ открылъ рядъ своихъ историческихъ сочиненій *Исторіей Карла XII*, за которою слѣдовали: *Вѣкъ Людовика XIV* (*Siècle de Louis XIV*), *Опытъ о нравахъ и духъ народовъ современъ Карла Великаго* (*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations depuis Charlemagne*), *Исторія Россіи при Петрѣ I* (*Histoire de Russie sous Pierre I*), *Лѣтописи Имперіи* (*Annales de l'Empire*) и *Исторія Парижскаго Парламента* (*Histoire du Parlement de Paris*) Историческіе труды Вольтера, какъ и всѣ его сочиненія, были приняты съ величайшимъ сочувствіемъ; и если современная критика считаетъ ихъ незначительными, то она совершенно забываетъ въ какомъ положеніи находилась исторіографія въ то время, какъ за нее принялся Вольтеръ. Неподкупный и конечно строгій нѣмецкій изслѣдователь, Ф. К. Шлоссеръ, открыто защищаетъ его отъ несправедливыхъ нападокъ и особенно высоко ставитъ его *Опытъ о нравахъ и духъ народовъ*, какъ первую философскую



всемирную исторію: онъ указываетъ на то, что Вольтеръ съ свѣточемъ смѣлой критики въ рукѣ открываетъ дорогу всѣмъ послѣдующимъ историкамъ своею здравою, прямою и свободною мыслью, что онъ уничтожаетъ рутину безсмысленнаго компилированія и очищаетъ исторію отъ бездны легендъ и всякой другой благочестивой лжи. Шлоссеръ указываетъ также настоящую точку зрѣнія, съ которой слѣдуетъ смотрѣть на философскія сочиненія Вольтера: *Основанія философіи Ньютона* (Elements de la philosophie de Newton), *Философскій словарь* (Dictionnaire philosophique), *Философія исторіи* (Philosophie de l'histoire), *Объясненіе Библіи* (Bible commentée), *Исторія утвержденія христіанства* (Histoire de l'établissement du Christianisme); онъ указываетъ, что эти сочиненія написаны Вольтеромъ вовсе не для школьных учениковъ, и что всю ихъ пользу въ отношеніи къ освобожденію человечества отъ средневѣковыхъ цѣлей должно видѣть единственно въ томъ, „что обыкновенные люди, просвѣщенные глубокимъ жизненнымъ взглядомъ великаго и даровитаго человека, узнаютъ отъ него, что въ плодахъ, собранныхъ мудрецами, есть столько же плевелъ, сколько и зерна“. — Романы Вольтера: „Zadig“, „Candide“, „Memnon“, „Babouc“, „Micromégas“, „Voyages de Scarmontado“, „la Princesse de Babylone“, „L'ingénu“ и др., тоже проводятъ практическія философскія задачи, и если они незначительны какъ романы, то имѣютъ свое значеніе въ томъ, что каждый изъ нихъ опровергаетъ очень ясно какое-нибудь изъ господствующихъ суевѣрій. Прекраснѣйшій изъ этихъ романовъ съ тенденціей есть *Zadig*, но лучшимъ произведеніемъ здраваго человеческого смысла должно признать: *Candida или лучший изъ міровъ*, гдѣ и осмѣяны тѣ философы, которые хотятъ найти не только необходимый или неизмѣнный законъ всего дѣйствительнаго, но даже стремятся опредѣлить безграничную область возможнаго. По возвращеніи своемъ изъ Англіи, Вольтеръ поставилъ на сцену свою новую пьесу „Brutus“, судя по которой Фонтенель думалъ, что авторъ не имѣетъ драматическаго таланта. Но Вольтеръ доказалъ противное въ *Заирѣ*; потомъ, по случаю своей слишкомъ республиканской трагедіи *Смерть Цезаря*, Вольтеръ долженъ былъ снова оставить Парижъ, чтобы избѣжаться отъ вторичнаго заключенія, и онъ нашелъ надолго убѣжище у своей возлюбленной, маркизѣ дю-Шатле, въ замкѣ

Сирей, въ Шампаньи. Здѣсь онъ между прочимъ написалъ драмы: *Альзира*, *Зюлина*, *Магометъ*, *Меропи* и *Чудесное дитя* и продолжалъ начатую еще въ 1730 г. комическую эпопею *Дѣвственница* (*La Pucelle*, 21 пѣсня). Это сочиненіе еще до изданія своего разошлось въ рукописи отдѣльными пѣснями и съ восторгомъ принято было въ аристократическихъ кругахъ всей Европы; но оно было значительно искажено, и Вольтеръ издалъ его въ цѣлости только въ 1762 г. „*La Pucelle*“, безъ сомнѣнія, есть самое гениальное произведеніе Вольтера и вмѣстѣ съ тѣмъ одно изъ важнѣйшихъ литературныхъ созданій 18-го столѣтія, какъ полнѣйшее выраженіе образа мыслей и нравовъ тогдашняго „общества“. Чтобы безпристрастно оцѣнить „*Дѣвственницу*“, должно совершенно отказаться отъ того идеализированія сюжета, къ которому мы привыкли благодаря прекрасной трагедіи Шиллера, и стать на циническую точку зрѣнія, которую самъ Вольтеръ — съ обыкновенною ему откровенностью — признаетъ въ началѣ поэмы исходной точкой своего сочиненія. При такомъ взглядѣ на *Pucelle* нельзя не признать ея самымъ блистательнымъ фейерверкомъ остроумія и насмѣшки; это — вѣрнѣйшее отраженіе 18-го столѣтія, воплощеніе этой эпохи легкомыслія, разложенія и разрушенія; но если хотъ на шагъ отступить отъ этого воззрѣнія. *La Pucelle* должна возбудить во всякомъ неиспорченномъ сердцѣ только отвращеніе и сознаніе, что духъ еще никогда такъ не осмѣялъ самого себя, какъ въ этомъ произведеніи. Восшествіе на престолъ Фридриха II (1740) еще тѣснѣе связало узы, уже прежде существовавшія между этимъ просвѣщеннымъ деспотомъ и Вольтеромъ. Вольтеръ написалъ по этому случаю оду къ королю, въ которой онъ высказываетъ ему свои ожиданія о распространеніи просвѣщенія. Возвратившись въ Парижъ, Вольтеръ своей драмой „*Магометъ*“, посвященной папѣ Бенедикту XIV, навлекъ на себя новыя преслѣдованія со стороны духовенства, которое очень хорошо понимало, что авторъ, изображая магометанскій фанатизмъ, мѣтилъ на религіозный фанатизмъ вообще и на католическій въ особенности. Его старанія сдѣлаться членомъ французской академіи, подкрѣпляемые удачнымъ въ высшей степени представленіемъ „*Меропы*“, были разрушены его врагами, и только въ 1746 году онъ успѣлъ осуществить это завѣтное желаніе. Вскорѣ послѣ того онъ съ маркизой Шатле



опять оставилъ Парижъ и пробылъ два года въ Люневилѣ и Нанси, при дворѣ бывшаго короля польскаго, Станислава. Возвратившись въ Парижъ, по смерти своей возлюбленной, Вольтеръ принялъ наконецъ приглашеніе Фридриха II и въ 1750 году поѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ ему сдѣланъ былъ самый лестный пріемъ. Но Вольтеру скоро пришлось убѣдиться въ справедливости изреченія греческаго трагика: „горе тому, кто приближается къ воротамъ царей!“, потому что дружеское согласіе между монархомъ литературы и монархомъ пруссаковъ было не прочно. Пребываніе при дворѣ „просвѣщеннаго деспота“ Фридриха II сдѣлалось Вольтеру такъ невыносимо, что онъ рѣшился въ 1753 году тайкомъ воротиться во Францію. Послѣ двухлѣтняго, непостояннаго пребыванія въ Кольмарѣ, Люневилѣ и Лионѣ, онъ купилъ себѣ помѣстье на Женевскомъ озерѣ, названное имъ Délices. Стихотвореніе, начинающееся словами: „O maison d'Aristippe!“, въ которомъ онъ воспѣлъ свое новое жилище, принадлежитъ къ самымъ блистательнымъ и глубоко прочувствованнымъ изъ его Poésies fugitives, и Вильменъ справедливо назвалъ его безсмертнымъ гимномъ свободы. Во время пребыванія въ Délices начался несогласіа между нимъ и Руссо, строгій республиканизмъ котораго не могъ согласиться со свѣтскимъ эпикуренствомъ Вольтера. Вольтеръ былъ однако такъ добродушенъ, что предложилъ голимому философу свой домъ, какъ вѣрное убѣжище; но Руссо отвергъ его предложеніе, отвѣтивъ на него слѣдующими словами: „я не люблю васъ, потому что ваши комедіи портятъ мою республику!“ Этотъ отвѣтъ подалъ поводъ Вольтеру отозваться объ Руссо слѣдующимъ образомъ: „нашъ другъ Жакъ-Жакъ боленъ еще сильнѣе, чѣмъ я полагалъ: онъ не нуждается ни въ совѣтѣ, ни въ пріятельской услугѣ: ему нуженъ бульонъ“. Въ 1758 году онъ перемѣнилъ Délices на Ферней, нѣсколько дальше отъ Женевы. Здѣсь устроилъ онъ свой литературный дворъ, и все, что во Франціи и за границей было прекраснаго, умнаго и знатнаго, окружало его здѣсь; съ королемъ Фридрихомъ II и императрицею Екатериною онъ велъ постоянную переписку. Старѣющій писатель съ удовольствіемъ наслаждался блескомъ своего двора, какъ онъ самъ рассказываетъ въ *Посланіи къ Горацию* отъ 1771 года; по этому нельзя ставить ему въ упрекъ, потому что все это не мѣшало ни

его литературнымъ занятіямъ („la Tolérance“, „Tancrède“, „Catechisme de l'honnête homme“ etc.), ии его гуманнымъ стремленіямъ къ благу ближнихъ (устройство колоній для бѣдныхъ, усыновленіе безпомощной вѣчки Корнеля, спасеніе чести Каласа, Сирвена, де-ла-Барра, Лалли-Толендаля и т. п.). 84-лѣтнимъ старикомъ Вольтеръ снова собрался въ Парижъ, гдѣ, несмотря на неудовольствіе правительства и духовенства, его приняли какъ триумфатора. Этотъ триумфъ такъ сильно возбудилъ его, что онъ умеръ послѣ непродолжительной болѣзни 30 мая 1778 г., съ послѣднимъ выраженіемъ своей непримиримой вражды къ историческому христіанству. Въ сочиненіяхъ Вольтера есть два стиха, которые очень ясно характеризуютъ его; въ первомъ изъ нихъ писатель, много разъ преданный проклятіямъ, выступаетъ съ сознаніемъ собственнаго достоинства: „J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage!“; второй прекрасно характеризуетъ его историческое значеніе: „Il ôte aux nation le bandeau de l'erreur!“.

Отношеніе Вольтера и Руссо къ ихъ вѣку опредѣляли очень хорошо, называя одного — *головой*, а другого — *сердцемъ* своего времени. Вдохновеніе Вольтера имѣло свой источникъ въ головѣ, и потому оно всегда оставалось на ступени остроумія; энтузіазмъ Руссо происходилъ изъ сердца самаго пылкаго, какое только когда-либо было любовью къ человѣчеству. Оружіе Вольтера — насмѣшка, оружіе Руссо — чувство. Можно бы также назвать Вольтера отрицательной, а Руссо положительной силой своего вѣка. Одинъ разрушаетъ, чтобы разрушить и на развалинахъ кумировъ и храмовъ заблужденія дать просторъ своей презрительной насмѣшкѣ, въ которой онъ находитъ свое величайшее удовольствіе; другой хочетъ устранить соціальную, политическую и нравственную неурядицу, чтобы очистить мѣсто для разумнаго общественнаго устройства, о чемъ Вольтеръ никогда не думалъ. Противоположность этихъ великихъ людей, изъ которыхъ однако каждый могущественно поддерживалъ другого своею дѣятельностью, отразилась и во вѣвшей ихъ жизни. Вольтеръ живетъ господиномъ между аристократами, но не оставляетъ безъ помощи бѣдныхъ и угнетенныхъ, гдѣ только представлялся къ тому случай; Руссо съ демократической гордостью презираетъ выгоды и блескъ свѣтской карьеры, увлекавшей многихъ изъ передовыхъ людей того времени, живетъ и умираетъ въ бѣдности. противо-



ставляетъ легкомыслию и страсти къ наслажденіямъ спартанскую простоту и добродѣтель, но, возбуждая въ тысячахъ сердець стремленіе къ лучшей общественной жизни вообще, въ особенности къ улучшенію воспитанія. онъ самъ въ то же самое время забываетъ свои ближайшія обязанности и отдаетъ дѣтей своихъ въ воспитательный домъ. Вольтеръ реалистъ, т.-е. онъ смотритъ на людей и міръ такъ, какъ они есть; поэтому онъ сживается съ обществомъ, любя людей просвѣщенныхъ и надѣлая глупыхъ насмѣшкою. Руссо, напротивъ, идеалистъ, т.-е. смотритъ на людей и міръ такъ, какими бы они должны были быть, и поэтому, несмотря на свою чувствительность, онъ становится въ тягость себѣ и другимъ и кончаетъ жизнь въ уединеніи, недовѣрѣи и озлобленіи противъ людей. Сходна же ихъ судьба въ двухъ пунктахъ: въ преслѣдованіяхъ со стороны глупцовъ, фанатиковъ и ханжей и въ безсмертной славѣ.

*Жанъ-Жакъ Руссо* родился въ Женевѣ 28 іюня 1712 г. Слова Гёте: „никто не можетъ изгладить изъ своей памяти первыя впечатлѣнія дѣтства“ вполне оправдались на Руссо. Воспоминаніе о скромной домашней жизни его отца, который былъ часовымъ мастеромъ, о республиканской простотѣ жителей его родного города, съ ихъ трудолюбивымъ, честнымъ и мирнымъ образомъ жизни, наложили печать на всѣ его реформаторскія стремленія; въ то же время чтеніе древнихъ писателей (въ особенности Плутарха), которыхъ, впрочемъ, онъ зналъ только въ переводахъ, сильно подѣйствовало на молодую душу и очевидно послужило основою его строгаго республиканизма, которому онъ оставался вѣренъ во всю свою жизнь. Не говоря о заблужденіяхъ, приключеніяхъ и несчастіяхъ юности Руссо, извѣстныхъ всѣмъ по трогательному разсказу его „Исповѣди“, мы начнемъ краткій обзоръ его литературной дѣятельности съ 1745 года, когда онъ прибылъ въ Парижъ съ намѣреніемъ выступить на литературное поприще. Съ этою цѣлью онъ познакомился съ тогдашними модными философами, энциклопедистами, и взялся было за обработку музыкальных статей для Энциклопедіи: по темѣ, заданной на премію Дижонской академіи о томъ: „способствовало ли возстановленіе наукъ и искусствъ къ исправленію нравовъ?“ навсегда брошенная его въ совершенно иную сферу и такъ сказать указала ему его настоящее призваніе. Руссо далъ вопросу другой

оборота и поставилъ его въ слѣдующемъ видѣ: „становится ли человекъ праведнѣе, благодаря научному и артистическому образованію?“ — на что онъ отвѣчалъ рѣшительно: нѣтъ. Этотъ отвѣтъ былъ такъ оригинально доказанъ и проведенъ съ такимъ блистательнымъ краснорѣчіемъ, что академія присудила ему премію, не подозревая, конечно, что надѣваетъ этимъ вѣнецъ на пророка и апостола радикальнаго общественнаго переворота. Конечно Руссо употреблялъ въ этой диссертациі доказательства болѣе софистическія, нежели научныя; его ненависть къ цивилизаціи высказывалась слишкомъ односторонне, такъ что острота Вольтера, что онъ, прочитавъ диссертацию Руссо, возымѣлъ сильное желаніе ползати на четверенькахъ, была совсѣмъ не дурною рецензіей этого труда. Но вліяніе парадоксальной оппозиціи Руссо противъ науки и искусства было и справедливо и огромно, потому что среди пустоты, испорченности и безпомощности той эпохи она указывала людямъ возвращеніе къ природѣ, къ простымъ и естественнымъ принципамъ первоначальныхъ человѣческихъ обществъ, какъ единственное средство положить конецъ испорченности правовъ однихъ, и дать правильное и благотворное направленіе революціонному духу другихъ. Этимъ сочиненіемъ Руссо приобрѣлъ сразу громадную извѣстность, но вмѣстѣ съ ней въ немъ зародилась неутомимая жажда славы, которая и держала его всю жизнь въ лихорадочномъ настроеніи. Онъ не хотѣлъ купить своего счастья посредствомъ своей славы, презрительно отвергъ расположеніе двора, которое онъ привлекъ было своею опереткой „Le devin du village“ (1752), прельщавшей всѣхъ деревенскою простотою и естественностью, — и вѣрный своему девизу: *vitam impendere vero*, онъ своимъ сочиненіемъ „Lettres sur la musique française“ нанесъ французскому тщеславію чувствительный ударъ. Чтобы избѣгнуть преслѣдованій за такой образъ дѣйствій, Руссо отправился въ Женеву, гдѣ снова припалъ калвинизмъ, который онъ еще въ молодости перемѣнилъ было на католичество. Съ тѣхъ поръ онъ подписывался на своихъ произведеніяхъ *Citoyen de Genève*, что было республиканскимъ контрастомъ къ придворнымъ должностямъ многихъ тогдашнихъ писателей, и съ удивительнымъ краснорѣчіемъ посвятилъ свою диссертацию на новую тему, заданную Дижонской академіей — *О причинахъ неравенства между людьми* (*Discours sur l'origine et les fon-*



demens de l'inégalité parmi les hommes) — женеvскому магистрату. Въ этомъ посвященіи, которое по своему стилю составляетъ можетъ быть самую лучшую прозу, какая когда либо писана была на французскомъ языкѣ, очень ясно видно вліяніе юношескихъ воспоминаній Руссо на его политическія и соціальныя теоріи. Что касается до самой диссертациі, то она, развивая полнѣе идеи первой диссертациі, содержитъ въ себѣ въ основныхъ чертахъ всѣ дальнѣйшія ученія Руссо. Неравенство между людьми, по его мнѣнію, произошло оттого, что первый человекъ, вздумавшій отдѣлить кусокъ земли и сказать: это мое, — нашелъ довольно глупыхъ людей, которые повѣрили ему въ этомъ. Люди наиболѣе сильные или наиболѣе бѣдные выводили изъ своей силы или изъ своихъ потребностей право на собственность другихъ, и такимъ образомъ исчезло первоначальное (предполагаемое) равенство людей. За уничтоженіемъ первоначальнаго равенства послѣдовалъ страшный безпорядокъ, борьба между сильнѣйшими и прежними владѣльцами; всеобщія бѣдствія, возникшія вслѣдствіе этой борьбы, навели человека на мысль о необходимости договора, которымъ и начинается образованіе общества или государства. Такимъ образомъ, этотъ-то общественный или государственный строй, по мнѣнію Руссо, есть не что иное, какъ несправедливость и неравенство, возведенныя на степень закона; слѣдовательно — форма негодная по своему основанію, которая должна быть разрушена, чтобъ дать мѣсто обществу, основанному на равенствѣ и справедливости, и государству естественному и разумному. Возвратившись въ 1756 г. во Францію, онъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ деревенскомъ уединеніи, въ долинѣ Монморанси, гдѣ его радушно приняла его пріятельница, г-жа Эпине; здѣсь онъ написалъ свои лучшія произведенія. Въ 1759 году онъ издалъ знаменитый романъ: „Julie ou la nouvelle Heloïse“, въ формѣ писемъ. Этотъ романъ, хотя не есть художественное произведеніе, а скорѣе реформаторскій трактатъ въ поэтической формѣ, имѣлъ однако огромное значеніе и для французской поэзіи тѣмъ, что перенесъ ее изъ условной сферы салоновъ въ область природы, представляя дѣйствительно замѣчательныя красоты въ описаніи природы и естественнаго человека, Женеvскаго озера, Ваадтландскаго кантона и пр. *Новая Элоиза* имѣетъ всемірно-историческое значеніе по вліянію, которое она произвела

своимъ горячимъ призывомъ къ человѣческому чувству на людей, оставшихся чуждыми революціонному движенію 18-го столѣтія, влѣдствіе цинической тактики и насмѣшекъ Вольтера и его друзей. Эти люди съ восторгомъ приняли искренній, глубоко-прочувствованный манифестъ Руссо противъ неестественности и искусственности общественной жизни и такимъ образомъ, благодаря привлекательной формѣ романа, успѣли разсмотрѣть все уродство общества, и поэтому стали раздѣлять вмѣстѣ съ неотразимо-увлекательнымъ рассказчикомъ. — возведшимъ исторію любви Сень-Пре и Юліи въ пѣсню-пѣсней страсти, — страстное стремленіе къ лучшему и болѣе благородному, его стремленіе къ радикальному преобразованію общественной жизни. Три года спустя, въ 1762 г., Руссо издалъ свой *Общественный договоръ* (*Contrat social*) и *Эмилъ* (*Emile ou de l'éducation*). Въ „Общественномъ договорѣ“ — этой библии повѣйшей демократіи — отдѣльныя идеи, высказанныя Руссо въ двухъ его прежнихъ диссертацияхъ, соединены въ цѣлую политическую систему; это — система отвлеченнаго радикализма, который тщетно старались примѣнить на практикѣ люди Конвента, особенно Сень-Жюсть и Робеспьеръ. По „Общественному договору“ верховная власть принадлежитъ исключительно народу, но всему народу... Она не можетъ быть представляема кѣмъ-нибудь, потому что она есть общая воля народа; эта воля можетъ быть или дѣйствительно народная, или какая-нибудь другая, — ничего средняго тутъ быть не можетъ. Поэтому народные депутаты не представители, а только комиссары народа, не имѣющіе права поставить никакого рѣшенія. Всякій законъ, не утвержденный самимъ народомъ, не обязателенъ, не есть даже законъ. Идея представительнаго устройства государства — идея новая: она проистекаетъ изъ феодальнаго устройства, слѣдовательно она — плодъ цѣлпаго и несправедливаго образа правленія, который до того унижилъ родъ человѣческій, что одно названіе человѣкъ, безъ прибавленія какихъ-нибудь титуловъ, сдѣлалось позоромъ, униженіемъ. Въ древнихъ республикахъ и даже монархіяхъ народъ никогда не имѣлъ представителей, и даже слово это было имъ совершенно незнакомо. Какъ только народъ избираетъ себѣ представителей, онъ лишается своей верховной власти, лишается свободы и перестаетъ жить. Периодическія собранія всего народа постановляютъ законы



и пересматриваютъ учрежденія. Эти собранія открываются двумя вопросами: „оставить ли настоящую форму правленія“ и „оставляетъ ли народъ исполнительную власть въ рукахъ тѣхъ, которымъ она въ настоящее время поручена, или нѣтъ“? и т. д. Очевидно, что идеаль чистый демократіи Руссо применимъ только для самыхъ малыхъ государствъ. Онъ самъ видитъ это, но указываетъ средство противъ этого неудобства въ федераціи. *Эмилъ* носитъ тоже названіе романа, но въ немъ еще яснѣе, чѣмъ въ „Элоизѣ“, замѣтно, что рассказъ есть только средство, а не цѣль. Руссо въ этой книгѣ хотѣлъ соединить въ одно систематическое цѣлое все, что онъ говорилъ вообще о соціальномъ устройствѣ общества и въ особенности о религіи и воспитаніи, и для большей доступности избралъ для своего сочиненія форму рассказа. Основная идея этого сочиненія есть тоже постоянное мнѣніе Руссо, что все, слѣдовательно и человѣкъ, по природѣ своей хорошо, и что человѣку, испорченному цивилизаціей, должно возвратиться къ природному состоянію, чтобы сдѣлаться благороднымъ и счастливымъ. Этотъ принципъ уже самъ по себѣ заключаетъ отрицаніе существующаго общественнаго порядка и борьбу противъ церкви и государства. Въ этой борьбѣ Руссо представляетъ сначала рѣзкую и вѣрную критику ложнаго образа воспитанія и обученія своей эпохи, затѣмъ, излагая своему воспитаннику религію сердца и нравственность чувства, онъ разсматриваетъ существующую религію и officialную нравственность, и доказываетъ ихъ несостоятельность. Положительную религію онъ въ особенности сильно поражаетъ въ 3-й части этого сочиненія, содержащей въ себѣ знаменитое Credo Савойскаго викарія (Profession de foi du vicaire savoyard). Не мудрено, что „Эмилъ“ произвелъ огромное впечатлѣніе и возбудилъ сильное волненіе, негодованіе и гоненіе на автора. Не только цѣлая толпа правовѣрныхъ католиковъ и протестантовъ, не только іезуиты и яansenисты, не только священники, юристы и ханжи, но и свободномыслящіе софисты хоромъ возстали противъ Руссо за то, что онъ съ плѣнительнымъ краспорѣчіемъ защищалъ чувство благородныхъ и чистыхъ душъ противъ всеоскверняющей шутки безотраднaго отрицанія. По приговору парижскаго парламента *Эмилъ* былъ сожженъ рукою палача, тотчасъ послѣ своего появленія (1762), и Руссо припужденъ былъ бѣжать. Онъ ушелъ

въ Женеву; но женевскій протестантизмъ нисколько не уступалъ въ фанатизмъ парижскому католицизму. Въ Женевѣ Эмиль также былъ сожженъ, и Руссо, не находя убѣжища ни въ одномъ городѣ. ни въ бернскомъ кантонѣ, удалился въ горную деревню Мотье (Motiers), въ кантонъ Невшательскомъ. Здѣсь онъ издалъ два сочиненія: „Jean-Jaques Rousseau à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris“ и „Lettres écrites de la Montagne“, въ которыхъ защищаетъ идеи, изложенныя въ Эмилѣ, и нѣкоторыя изъ нихъ развиваетъ еще подробнѣе. Фанатическій священникъ деревни принудилъ его снова бѣжать (1765), и онъ удалился на островъ Петра на Билерскомъ озерѣ, который и прославился его пребываніемъ; но бернская аристократія и здѣсь не долго оставила его въ покоѣ. Тогда онъ поѣхалъ въ Страсбургъ, гдѣ тамошній губернаторъ маршалъ де-Контадъ обѣщалъ ему свою защиту. Въ слѣдующемъ году, по приглашенію англійскаго философа Юма, Руссо отправился въ Англію, но въ 1767 снова возвратился во Францію, гдѣ обѣщали оставить его въ покоѣ, подѣ условіемъ ничего не писать противъ религіи и правительства. Много лѣтъ онъ добывалъ себѣ скудные средства къ жизни переписываніемъ нотъ, и для развлеченія занимался ботаникою. Въ 1769 г. онъ женился на своей прежней ключницѣ Терезѣ Левассеръ, отъ которой имѣлъ нѣсколькихъ дѣтей. Въ 1778 г., въ маѣ мѣсяцѣ, онъ — всегда рѣшительно отвергавшій покровительство своихъ знатныхъ почитателей — согласился на приглашеніе маркиза де-Жирарденъ и поѣхалъ въ его помѣстье Эрменонвиль, недалеко отъ Парижа. Но ему не долго суждено было наслаждаться деревенскимъ спокойствіемъ: 3 іюня 1778 года онъ скончался вслѣдствіе удара (или самоубійства?). Жирарденъ поставилъ ему надгробный камень съ надписью: *Sei repose l'homme de la nature et de la vérité*. Надпись эта вѣрно характеризуетъ Руссо. Между оставленными имъ бумагами нашли его знаменитую *Исповѣдь* (Confessions). — автобіографію, доведенную до конца 1765 г. Этотъ смѣлый взглядъ на самого себя, хотя и не лишенный чисто французскаго тщеславія, открываетъ намъ глубину души Руссо, и онъ имѣлъ полное право замѣтить въ предисловіи къ книгѣ, что она представляетъ нѣчто совершенно единственное въ своемъ родѣ. Это трактатъ о человѣческой душѣ, оставляющій за собою сотни психологическихъ системъ.



Я озаглавилъ этотъ отдѣлъ словами: *французская литература освобожденія 18-го столѣтїя*, — и все, до сихъ поръ упомянутое, надѣюсь, совершенно оправдывало это заглавіе, потому что нѣкоторыя отдѣльные заблужденія, неизбѣжный спутникъ всѣхъ великихъ явленій, не измѣняютъ общаго характера дѣла. Теперь я долженъ, хотя вкратцѣ, коснуться другой отрасли французской литературы этого періода — періода теоретическаго освобожденія человѣчества отъ феодальнаго и религіознаго рабства и соціальнаго возрожденія, — отрасли, которая какъ будто именно явилась, чтобы занять только-что возродившійся образъ свободы самой отвратительной грязью цинизма. Я говорю о романѣ, точнѣе говоря, о томъ безнравственномъ романѣ, который, выходя изъ Франціи, заражалъ фантазію читающей публики всей Европы, — потому что извѣстно, что и теперь еще ведется очень прибыльная торговля этимъ запрещеннымъ товаромъ. Картины сладострастія уже давно были знакомы французской литературѣ, — стоитъ только указать на многочисленныя средневѣковыя повѣсти (*fabliaux*); но только въ 18-мъ вѣкѣ вмѣсто здоровой простоты и чистоты этихъ фривольныхъ произведеній старицы начинали появляться картины чувственности, которыхъ преднамѣренная утонченность служила ядовитымъ возбуждающимъ средствомъ разслабленному обществу. *Кребильонъ* младшій (*Claude Prosper Jolyot de Crébillon, 1707—1777*) первый ввелъ въ моду этотъ скандальный родъ романа (*L'écumeire. — Ah, quel conte. — Le sofa* и др.), и его успѣхъ соблазнилъ даже умѣйшихъ людей, какъ *Дидро* и *Мирабо* (*Ma conversion ou la libertin de qualité*), идти по тому же грязному пути, который нашелъ наконецъ себѣ предѣлъ въ неистощаемой грязи романовъ маркиза *de Sade*. Наполеонъ приказалъ посадить этого извѣстнаго распутника, сочиненія котораго были язвою общества, въ домъ умалишенныхъ, гдѣ онъ и умеръ въ 1814 году. Его два романа: „*Justine ou les malheurs de la vertu*“ и *Juliette ou le bonheur du vice*“ превосходятъ мерзостью все, что было когда-либо написано; это настоящий кодексъ животности, страшная смѣсь неестественнаго сладострастія съ сумасбродною жестокостью. Безчисленные романы *Ретифа де-ла-Бретонъ* (1734—1805), между которыми лучшіе: „*La vie du mon père*“, „*Le paysan perverti*“ и собраніе повѣлей „*Les contemporaines*“, по сво-

ему содержанію также принадлежатъ конечно къ скандальной литературѣ, но это все-таки не подслащенный ядъ, не вредный соблазнъ, а честное, правда часто возмутительно вѣрное, даже отвратительное, но зато мѣстами гениальное изображеніе нравовъ. что и составляетъ моральную задачу автора. *Шодерло де-Лакло* (Choderlos de Laclos, 1741—1803) въ своемъ знаменитомъ романѣ „*Les liaisons dangereuses*“ безпощадно изображаетъ всю испорченность „хорошаго общества“ того времени. Напротивъ того всѣмъ извѣстный романъ *Лувэ де-Куврэ* (Louvét de Couvray, 1760—1797) „*Les amours du Chevalier de Faublas*“ вовсе не похожъ на сатиру: это просто легкомысленное оправданіе вѣтренности прошедшаго вѣка и живое сочувствіе ему. Въ немъ, наканунѣ кроваваго дня революціи, выразилось отживавшее легкомысліе французскаго общества, и сотни комическихъ и скандальныхъ исторій изъ будуара и спальни сгруппированы рукою автора въ одну мозаическую картину. Фоблазъ представляетъ „идеаль любезнаго распутства“ для всѣхъ временъ, и эта книга, написанная человѣкомъ съ сильною фантазіей и драматическимъ талантомъ и притомъ блистательнымъ слогомъ, тѣмъ болѣе привлекательна, что чрезъ все легкомысліе содержанія проглядываетъ въ основаніи здоровая и хорошая натура автора, который, какъ извѣстно, былъ украшеніемъ партіи жирондистовъ въ Конвентѣ. Зато вовсе не видно никакой здоровой и хорошей натуры за липкимъ моральнымъ клеемъ, которымъ смазывала пошлость своихъ романовъ знаменитая педагогическая болтунья *Жанлисъ* (Stéphanie Félicité de Genlis, 1754—1831), о смерти которой одинъ журналъ остроумно объявилъ: „Г-жа Жанлисъ перестала писать, — это равносильно извѣщенію о ея смерти“. *Гильомъ-Шарль-Антуанъ Пиго-Лебрэнъ* (Pigault-Lebrun, 1753—1835) отвергаетъ и этотъ нравственный клей и самымъ откровеннымъ и веселымъ образомъ пускается въ скандальности въ своихъ романахъ, такъ долго читавшихся гризетками и лавочниками.

Но въ то самое время, когда романъ былъ зеркаломъ распущенныхъ нравовъ и общественной порчи, въ этомъ родѣ литературы произошла реформа, имѣвшая рѣшительное вліяніе на послѣдующее время. Сперва романъ англичанина *Ричардсона*, основанный на естественныхъ принципахъ, нашелъ даровитаго послѣдователя въ *Превост д'Экзилъ* (Prevost d'Exiles,



1697—1763, „Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut“); затѣмъ воззваніе Руссо — въ его Элоизѣ — воротиться къ природѣ, нашло себѣ благозвучное эхо въ груди *Bernardina de-Senъ Пьера* (Bernardin de Saint-Pierre, 1737—1814): „Paul et Virginie“ и „La chaumière indienne“ составляютъ переходъ отъ Руссо къ Шатобриану и такимъ образомъ содѣйствовали преобразованію французской литературы, совершившемуся въ наше время. Съ С.-Пьеромъ французская поэзія окончательно перестаетъ быть условной, чтобы перейти къ естественности. Всякій съ живою радостью вспомнитъ о томъ освѣжительномъ и очаровывающемъ впечатлѣніи, которое производили на него сочиненія Сенъ-Пьера. Пульсъ природы дѣйствительно бьется въ этихъ картинахъ тропическихъ странъ, вѣрность и точность которыхъ засвидѣтельствована такимъ знатокомъ природы, какъ Гумбольдтъ.

*Шерръ.*

## **Мопертюн, какъ представитель новаго философскаго движенія во Франціи.**

Въ Англіи религіозная свобода мысли главнымъ образомъ имѣла свое начало въ Ньютонѣ и Локкѣ.

Во Франціи движенія свободной мысли, которыя начинаются уже при Людовикѣ XIV и поразительно развиваются при регентствѣ и при министерствѣ Флери, заимствуютъ свою научную основу и доказательность также отъ Ньютона и Локка.

Первые переводы Ньютона и Локка относятся ко временамъ регентства. Новыя идеи возбуждали всеобщее вниманіе. Лемонтъ рассказываетъ въ исторіи регентства (ч. 2, стр. 476), что уже въ 1723 году воззрѣнія Ньютона на природу были защищаемы и поддержаны въ публичной диспутации въ Collège Louis le Grand. Въ 1727 г. вышло „Eloge de Newton“ Фонтенеля; оно хотя и все еще вполнѣ стоитъ на точкѣ зрѣнія картезіанской философіи, которой Фонтенель былъ счастливымъ представителемъ, но, несмотря на то, исполнено уваженія къ великому противнику. Но, собственно говоря, рѣшительный поворотъ въ пользу Ньютона сдѣланъ былъ Мопертюнъ, и этимъ подвигомъ Мопертюнъ навсегда обезпечилъ себѣ имя

перваго предшественника новаго философскаго движенія во Фраціи.

Пьеръ-Луи де-Мопертюи родился 28 сентябрю 1699 г. въ Сень-Мало. Сначала онъ посвятилъ себя важной службѣ, но потомъ исключительно занялся математикой и уже въ 1723 году принять былъ въ академію наукъ. Наклонность къ воззрѣніямъ Ньютона привела его 1728 г. въ Англію, гдѣ онъ также принять былъ тотчасъ въ члены Королевскаго общества наукъ. Всѣ его первыя сочиненія посвящены научному объясненію и защитѣ Ньютона. Всего важнѣе между ними его мемуары, представленные академіи въ 1732 году, „*Sur les Lois de l'attraction*“ и *Discours sur la figure des astres*; въ особенности это послѣднее сочиненіе приобрѣло тѣмъ большее значеніе, что оно рѣшительно возстало на ошибки картезіанскаго ученія о природѣ, которое, опредѣляя сущность тѣлъ единственно протяженіемъ, не умѣло иначе объяснить движенія земли и всей планетной системы, какъ предположеніемъ, что все пространство неба, наполненное планетами, вертится въ кругъ, центръ котораго есть солнце, на подобіе водоворотовъ, случающихся иногда въ рѣкахъ. Споръ возбудилъ самое живое участіе, и всѣ тотчасъ почувствовали, что доказать систему Ньютона было бы дѣломъ огромной важности не только для разъясненія понятій, но и для торговли и мореплаванія. Поэтому кардиналъ Флери рѣшился, для изслѣдованія одного изъ удивительнѣйшихъ положеній Ньютона, именно для изслѣдованія утверждаемаго имъ сплюсненія земного шара на обоихъ полюсахъ, снарядить двѣ ученныя экспедиціи. Въ 1736 году Лакандаминъ съ нѣсколькими надежными естествоиспытателями посланъ былъ въ Перу, Мопертюи съ другими въ то же время въ Лапландію. Справедливость ученія Ньютона была подтверждена самымъ точнымъ измѣреніемъ градусовъ. Побѣда Ньютона была рѣшительная, — потому что наглядные факты дѣйствуютъ на умы людей сильнѣе и убѣдительнѣе всякихъ остроумныхъ заключеній и выводовъ мысли.

Съ тѣхъ поръ Мопертюи приобрѣлъ всеобщую славу. Знаменитый авторъ Векфильдскаго священника, Гольдсмитъ, писалъ тогда (*Miscellaneous Works* 4, стр. 130): „Мопертюи первый доставилъ англійскимъ философамъ удивленіе Европы. Появилось ученіе Ньютона и метафизика Локка; въ Англіи ихъ усвоили, попяли, удивлялись имъ, но на материкѣ было



иначе. Фонтенель, дававший тогда тонъ въ наукѣ, не хотѣлъ признать ихъ, потому что всю свою жизнь потратилъ на ошибочную философію; такъ какъ и онъ присоединялъ свой голосъ ко всеобщему невниманію, новыя англійскія ученія оставались почти совершенно неизвѣстны. Но Мопертюи изучалъ ихъ. Онъ полагалъ, что можно опровергать естественно-историческія мифы и, несмотря на то, остаться хорошимъ гражданиномъ. Онъ защищалъ англичанъ, онъ писалъ въ ихъ пользу и, наконецъ, обнаружилъ истину. Сочиненія Мопертюи распространили вездѣ славу его учителя Ньютона, и отъ учителя часть этой славы упала на ученика. Фридрихъ Великій слѣдовалъ только общему голосу, когда въ 1740 году призвалъ Мопертюи въ Берлинъ въ президенты академіи. какъ перваго изъ жившихъ тогда ученыхъ,

Мопертюи сознавалъ, какія неизбѣжныя слѣдствія выросли изъ этого основанія для религіозныхъ воззрѣній. Онъ написалъ „*Essai de cosmologie*“. Отвергая доказательства бытія Божія, основанныя на чудотвореніи Бога и также на познаніи божественныхъ конечныхъ цѣлей, эта книга основываетъ доказательство бытія Божія исключительно на томъ, что движеніе міра матеріи должно имѣть причину въ двигателѣ и притомъ въ двигателѣ всемогущемъ и мудромъ, такъ какъ изъ ученаго наблюденія природы сказывается неопровержимо, что въ экономіи природы для каждой цѣли всегда употребляются только самыя малыя средства, — законъ, который Мопертюи называлъ „*la loi de la moindre quantité*“. Онъ написалъ также и „*Essai de philosophie morale*“; здѣсь онъ полагаетъ мудрость жизни въ достиженіи счастья, а это счастье въ ощущеніи и исполненіи всеобщей любви къ Богу и ближнему, которой учитъ христіанство. Какъ прежде онъ шелъ по слѣдамъ Ньютона, такъ теперь идетъ по слѣдамъ Локка.

Но слава Мопертюи завяла рано. Рядомъ съ нимъ всталъ болѣе могучій боецъ, защищавшій тѣ же идеи. Вольтеръ уже въ 1732 году показалъ себя въ своихъ „Англійскихъ письмахъ“ ревностнымъ приверженцемъ Ньютона, и хотя потомъ онъ снова обращался къ поэзіи, но, несмотря на то, никогда не забывалъ этого изученія. Въ 1738 году Вольтеръ издалъ свои „*Elémens de la philosophie de Newton*“; они ясно, живо и остроумно развивали то, что Мопертюи развивалъ сухо и строго-научно.

Толчокъ былъ данъ. Все ученое равнѣе вертится съ тѣхъ поръ на Ньютонѣ и Локкѣ.

Понятно, какая задача поставлена мышленію и изслѣдованію на этой основѣ. Когда вѣчное и законно дѣйствующее движеніе признано неизмѣннымъ свойствомъ самого тѣлеснаго міра матеріи, то представляется вопросъ: происходитъ ли это движеніе отъ высшей силы, стоящей надъ этимъ міромъ матеріи и вѣ въ его, или оно заключено въ самой матеріи вѣчнымъ и собственнымъ свободнымъ могуществомъ. Послѣдователь перваго мнѣнія есть деистъ, послѣдователь втораго — матеріалистъ.

Оба направленія находятъ во Франціи самыхъ ревностныхъ приверженцевъ. Оба, хотя и горячо спорили одно противъ другаго, имѣютъ свой общій корень въ Ньютонѣ.

*Геттнеръ.*

---

### Вольтеръ \*).

Въ ряду писателей Вольтеръ, конечно, одинъ изъ величайшихъ и вліятельнѣйшихъ, какіе когда-либо существовали на землѣ; Карлейль не преувеличилъ ни на волосъ, сказавъ, что его менѣе всякаго другаго человѣка можно мысленно устранить изъ исторіи 18-го столѣтія; но онъ не принадлежитъ ни къ первокласснымъ поэтамъ, ни къ первокласснымъ мыслителямъ; у него нѣтъ творчества для новыхъ идей и идеаловъ, которые освѣщаютъ и счастливятъ человѣчество; какъ въ философѣ, въ ученомъ, въ немъ недостаетъ основательности и глубины, какъ въ поэтѣ въ немъ нѣтъ чувственной полноты созерцанія и пугроживительной характерной обрисовки. Но многосторонность и подвижность его духа изумительны, онъ гений въ изложеніи, ясенъ, заманчивъ, остеръ, мастерски владѣетъ всякою литературною формою и готовъ всякую допустить, кромѣ только одной скучной, которой онъ не поддается ни въ какомъ случаѣ. Французскій языкъ вполне выработался, французская литература стала верховодною въ литературѣ всего міра; тогда приспѣлъ Вольтеръ и сдѣлался ораторомъ, словомолвцемъ вѣка; въ теченіе двухъ сряду по-

---

\*) О драмахъ Вольтера, см. вып. IV. Историч. Хрест.



колѣннй сумѣлъ онъ занимать общество, въ то же время постоянно его поучая, сумѣлъ забавлять его, неустанно подстрекая; остротами и шутками сумѣлъ онъ просвѣщать его и освободить изъ-подъ гнета произвола и предразсудковъ, „дразня нынче какого-нибудь дурака, а завтра потрясая тропы“ (слова Байрона); и чѣмъ менѣе удавалось ему произвести эффектъ въ пользу своей личности, тѣмъ настойчивѣе духъ его просачивался во всѣ поры европейскихъ обществъ. Въ сферѣ философіи, естествознанія, исторіи тяжелые золотые слитки мудрости онъ перечекаиваетъ въ ходячую и красивую монету, стихами и прозою, въ шутку и въ забыль, съ энтузіазмомъ и съ крайнимъ легкоязычіемъ проповѣдуетъ благовѣстіе терпимости того вольномысленнаго просвѣщенія, котораго онъ теперь патріархъ; за это онъ чествуется одними, а въ другихъ возбуждаетъ страшную ненависть, какъ самый ядовитый врагъ господствующаго преданья; онъ слыветъ у нихъ прямо безбожникомъ, а между тѣмъ подъ вечеръ своей долгой, многодѣльной жизни онъ кладетъ благословляющую руку на голову внука Франклина и произноситъ только: Богъ и свобода! — Критика романтической школы отзывалась о Вольтерѣ свысока, но историки Шлоссеръ и Бокль признали великія его заслуги; норму эстетической ему оцѣнки установили во Франціи Вильменъ (Willemain), а въ Германіи Геттнеръ: особенно послѣдній умѣлъ хорошо подѣлать въ немъ свѣтовую и тѣневую стороны.

Вольтеръ былъ болѣе великъ на подрывѣ, чѣмъ на созиданіи; у него вовсе не было новыхъ идей, но для того, чтобъ расчищать просторъ идеямъ и распространять ихъ, онъ былъ краснорѣчивѣйшимъ борцомъ противъ суевѣрія и нетерпимости; „онъ съ глазъ народовъ снялъ повязку заблужденія“. У него, какъ и у литературы вольномысленнаго просвѣщенія вообще, не было историческаго чутія и смысла; да, впрочемъ, той порѣ приходилось устранять слишкомъ много хлама и гнета; только уже послѣ этой черной, можно сказать, работы нашелся досугъ спокойно возникнуть въ то, какъ и этотъ устраненный хламъ и гнетъ тоже нѣкогда имѣли свое право существованія. Раздражительный, ѣдкій нравъ, честолюбіе и страсть къ скандалу, практическая зоркость и быстролетная острота, демоническій, бѣсовскій элементъ въ душѣ Вольтера, сослужили вѣрную службу великой задачѣ его времени, и сколько

бы характеръ его ни былъ скуденъ достоинствомъ и чистотою, а талантъ — глубиной и сердечностью, именно въ своебытныхъ своихъ чертахъ онъ вѣрно отражаетъ намъ народъ свой, который, на первыхъ порахъ, легкомысленно возсталъ противъ деспотизма и поповства, но тѣмъ не менѣе первый поднялъ и несъ для всей Европы знамя свободнаго и освобождающаго ума.

На поприщѣ исторіи Вольтеръ еще юношей заявилъ повѣствовательный талантъ своею жизнью Карла XII-го; его особенно привлекалъ тогда элементъ отважныхъ походовъ, и въ такую пору, когда исторіи писалась со всею тяжеловѣсною пустою и сушою запыленной учености, онъ далъ вдругъ интересную, удобочитаемую книгу, хотя, конечно, болѣе съ романтическимъ, нежели съ строго-историческимъ характеромъ. Въ противоположность къ ней явилась потомъ его исторія Великаго Петра, для которой русскій дворъ доставилъ ему матеріалъ, уже подготовленный въ извѣстномъ смыслѣ; а Вольтеръ, съ своей стороны, умалчивая объ одномъ и прикрашивая отъ себя другое, обратилъ все сплошь чуть не въ чистый панегирикъ. Стремленіе прикрасить видно и въ гораздо значительнѣйшемъ его трудѣ, „Вѣкъ Людовика XIV-го“. Сооруженное этимъ королемъ пышное зданіе славы и роскоши, его покровительство искусству, очаровали Вольтера; достойными сравниться съ его временемъ находилъ онъ только эры Перикла, Августа и Медичей; что Франція затмеваетъ своимъ блескомъ все другія націи, что она идетъ во главѣ человѣческаго образованія, это впервые формулировалъ Вольтеръ и умѣлъ внушить не только своимъ соотечамъ, но и всему остальному міру. Настоящая заслуга его въ томъ, что съ исторіею двора, войнъ, политики, онъ искусно связалъ картину нравственнаго быта, торговли, промышленности, художествъ. „Зачѣмъ писать всегда одну исторію царей? надо наконецъ писать и исторію народовъ! Неужели намъ ставить ни во что наши нравы, наши законы, нашъ духъ?“ Такъ спрашивалъ онъ самъ себя, и блистательно начатое въ Вѣкѣ Людовика XIV-го“ продолжалъ въ главномъ историческомъ трудѣ своемъ, въ „Опытѣ о нравахъ и духѣ народовъ“. Это — картина всемірной исторіи со временъ Карла Великаго, написанная съ культурно-исторической точки зрѣнія; введеніемъ къ ней служатъ философскія мысли о человѣчествѣ и обзоръ его развитія



съ древнѣйшихъ эпохъ. „Окруженное хламомъ выдуманныхъ пошлостей и анекдотовъ, только ядро великихъ событій составляетъ истинную и достовѣрную исторію“. Опираясь на это изреченіе Фридриха Великаго, Вольтеръ написалъ свою. Трудъ, начатый въ Сиреѣ для маркизы дю-Шателё и довершонный только уже въ Фернеѣ, явился медленно созрѣвшимъ плодомъ тщательнаго прилежанія и вмѣстѣ остроумной обработки. Боссюэтъ написалъ риторски-блистательную книгу объ исторіи до Карла Великаго, но для древности онъ поставилъ средоточіемъ іудеевъ, а все послѣдующее отнесъ къ христіанской церкви исключительно, и съ богословскимъ помазаніемъ проповѣдывалъ кстати и некстати вмѣшательство Промысла вездѣ и на каждомъ шагу. Вольтеръ хочетъ изобразить тѣ неразлучныя заблужденія съ развитіемъ борьбы, путемъ которыхъ человѣчество многотрудно переходило отъ варварства къ образованію. Въ противоположность Боссюэту онъ особенно налегаетъ на индивидуальную свободу людей, на благоразуміе или страстность дѣйствующихъ характеровъ, и часто изъ мелкихъ, повидимому, причинъ выводитъ очень крупныя послѣдствія. Въ исторіи онъ различаетъ постоянный факторъ или присный дѣятель отъ переменнаго; первый, это — человѣческая природа, второй, это — мнѣнія и привычки людскія; что послѣднія вытекаютъ изъ природы, до этого онъ не дошелъ; но его мысли, все, что относится къ природѣ человѣка, всегда и вездѣ одинаково, тогда какъ помыслы и обычаи какъ единичныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ племенъ переменчивы и разнообразны. Господствующими мнѣніями обусловлены духъ той или другой эпохи, политическія событія, искусство и нравы той поры. Такъ Вольтеръ, можно сказать, возвысился до исторіи человѣческаго духа, и хотя правда, что дорогу ему проложилъ Монтескье, однакожь при появленіи въ свѣтъ труда Вольтера, даже и такой глубокій критикъ какъ Лессингъ отзывался, что Вольтеръ идетъ новою совсѣмъ дорогой и что онъ въ нравѣ похвалиться какъ одинъ изъ древнихъ: *libera per vacuum posui vestigia princeps* (то-есть: я первый проложилъ смѣлый слѣдъ по воздушной пустынѣ). Онъ устраняетъ изъ исторіи все несбыточное и непостижимое, онъ напускается съ своимъ остроумнымъ сомнѣніемъ на басни и на чудеса, и хотя ровно ничего не понимаетъ въ былино-сложеніи, надо тѣмъ не менѣе сказать, что его скептицизмъ

собственно и повелъ къ той исторической критикѣ, которая различаетъ факты отъ способа воспріятія ихъ фантазіей. Вольтеръ находитъ, что коренныя основы нравственности у всѣхъ народовъ одинаковы, но что вѣроположенія нелѣпы, а богослужебныя обряды очень странны. Онъ превозноситъ разсудочно-просвѣщенный бытъ китайцевъ, а къ романтикѣ крестовыхъ походовъ пѣтъ у него ни на волосъ чутья. Благодаря своей ревности противъ іерархіи, онъ становится несправедливымъ къ самому христіанству. Безъ всякаго предубѣжденія признаетъ онъ истину въ исламѣ: вѣру въ единого духовнаго Бога, преданность его волѣ, упованіе безсмертія. Законодатель мусульманъ, говоритъ онъ, человѣкъ грозной, устрашающей силы, распространялъ свое ученіе мечомъ, и, несмотря на то, религія его вышла полною терпимости и милосердія; Божественный основатель христіанства жилъ, напротивъ, въ миролюбивой и неизменной долѣ, проповѣдуя всѣмъ прощеніе, а между тѣмъ христіанская вѣра повела къ жесточайшимъ гоненіямъ и преслѣдованьямъ. Въ реформаціи онъ видитъ только ссору изъ-за догматовъ, то-есть въ числѣ душевныхъ болѣзней человѣчества насчитываетъ еще одною больше; ослѣпленные враждою лютеранскіе попы не въ силахъ были указать дорогу къ истинѣ, они только внесли смуту въ расцвѣтающую образованность возрожденія. Представитель ея, Левъ Х, болѣе по душѣ Вольтеру, нежели реформаторъ Лютеръ. Онъ превозноситъ итальянскую живопись и поэзію; освобожденный Іерусалимъ правится ему больше Іліады, непстовый Орландъ — больше Одиссеи, поэма Тасса — по кроткой граціозности, на которой, какъ на общемъ фонѣ, тѣмъ ярче рисуется высокое, а романтика Аріоста — по своимъ веселымъ шуткамъ, по тонкой сатирѣ и тѣмъ истиннымъ правдивымъ аллегоріямъ, которыя выступаютъ здѣсь на ряду съ неслыханными чудесами воображенія. Прямо противъ Жакъ-Жака-Руссо направлены заключительныя слова Вольтера. „Вѣкъ возрожденія также, конечно, не безъ опасностей и злодѣйствъ, но онъ тѣмъ не менѣе выситъ надъ другими вѣками благодаря тому блеску, какой придали ему его великіе и изящные умы. подобно тому какъ остались навсегда славны эпохи Софокла и Демосѳена, Цицерона и Виргилія. Эти люди, явившіеся учителями всѣхъ временъ, не помѣшали однакожь ни Александру убить Клите, ни Августу въ его кровавыхъ



гоненіяхъ на республиканцевъ; такъ же точно какъ Распигъ и Лафонтенъ не удержали Людовика XIV-го отъ великихъ заблужденій и ошибокъ. Несчастія и преступленія бывають вѣдь всегда, а эпохъ, прославленныхъ искусствомъ и наукой, было всего лишь четыре. Надо быть отъявленнымъ глупцомъ, чтобы сказать, будто онѣ-то именно и повредили правамъ; онѣ, напротивъ того, возникли, несмотря на прочность и развратъ людей, и смягчали какъ самихъ тирановъ, такъ и ихъ поступки“.

Часто превозносятъ ловкость, съ какою Вольтеръ пользовался всѣми поэтическими формами для изложешя своихъ мыслей и для своихъ цѣлей вообще; но это именно и доказываетъ, что онъ не былъ поэтъ въ высшемъ смыслѣ слова — такой, у котораго душевный порывъ необходимо выливается въ ту или другую форму, или для котораго она обуславливается пластической силой содержанія; онъ, напротивъ, такъ же произвольно владѣеть языкомъ, какъ ипой виртуозъ своимъ музыкальнымъ инструментомъ. онъ при этомъ щеголяетъ умѣньемъ искусно подладиться ко всему, но отнюдь не увлекается вдохновеніемъ. не открываетъ безсознательно и безотчетно красоты; у него нѣтъ естественнаго звука, пѣжной плавности той пѣсни, которая бьетъ самородною струей изъ пѣдръ души, нѣтъ той глубины идеи, для которой ясно вѣчное во временномъ, явленъ божественный Промыслъ въ судьбахъ человѣческаго рода. Изумительное разнообразіе вышедшихъ его формъ признавалъ и Шплеръ свидѣтельствомъ противъ поэтичности Вольтера; иначе, какъ бы ему не найти одной такой завѣтной формы, въ которой бы онъ преимущественно изливалъ порывъ своей души. Все у него тотчасъ переходитъ въ поученіе или въ полемикъ, комическое становится сатирой, серьезное — демонстраціей или доводомъ. Но въ этихъ собственно предѣлахъ онъ всегда останется однимъ изъ величайшихъ писателей, употреблявшихъ поэтическія формы. А въ нѣкоторыхъ веселыхъ и бѣглыхъ стихотвореніяхъ, гдѣ овладѣвають имъ внезапная гениальная затѣя или какое-нибудь мгновенное ощущеніе, гдѣ мысль съ игривой легкостью будто сама собой заостряется въ эпиграмму, — онъ тутъ поистинѣ достоинъ удивленія.

Всю жизнь свою Вольтеръ писалъ драмы, и французы ставятъ его, вѣдь за Корнелемъ и Распиномъ, третьимъ изъ

великихъ своихъ трагиковъ; можно бы скорѣе ожидать въ немъ новаго Мольера, но онъ какъ парочно слабъ именно въ комедіи, гдѣ главное не столько остроумный разговоръ, сколько комичность положеній и характеровъ; а онъ, какъ человекъ разсудка по преимуществу, вездѣ гонится за смѣшнымъ во миѣніяхъ и мысляхъ, да притомъ у него нѣтъ ни тѣни того добродушнаго юмора, который въ самыхъ даже людскихъ слабостяхъ и недостаткахъ все-таки видитъ еще доброе зерно, хочеть своими шутками исправить осмѣиваемыхъ отъ этихъ недостатковъ, часто порождаемыхъ преувеличеніемъ хорошаго иногда свойства и тѣмъ самымъ развлечь и развеселить насъ. Объ многихъ своихъ трагедіяхъ Вольтеръ говоритъ самъ, что онъ писалъ ихъ съ особеннымъ умысломъ; такъ въ „Олимпіи“ искалъ онъ повода къ размышленіямъ о таинствахъ, объ обязанностяхъ жрецовъ, объ единствѣ Бога; такъ изъ Магомета дѣлаетъ онъ Тартюфа съ мечомъ въ рукѣ, имѣя въ виду показать, до какого чудовищнаго разврата доводитъ слабыя души фанатизмъ, когда овладѣваетъ ими безсовѣстный мошенникъ. При всемъ умѣнии расчленивъ сюжетъ и сгрозодить дѣйствіе въ пирамиду, при всей течучести рѣчи, доходящей иногда до неотрицаемо-сильной декламации, у Вольтера нѣтъ глубины въ міросозерцаніи, ему чуждо искусство создавать своебытно крупныя характеры, языкъ его лишенъ свѣжей образности. Благодаря страстной любви, нѣкоторыя драмы его примыкаютъ къ Расиновскимъ; разработкою на сценѣ политическихъ и религіозныхъ вопросовъ въ общественной жизни онъ какъ бы подходитъ иногда къ Корнелю; но ему далеко до лучшихъ произведеній обоихъ этихъ мастеровъ. Онъ плохо зналъ грековъ, но все-таки научился отъ нихъ сдерживать слишкомъ выдающуюся галантерейность и не прилетать къ театральной пьесѣ во что бы то ни стало любовную канитель; гдѣ любовь не душа дѣйствія, думалъ онъ, туда не слѣдуетъ ее и втискивать. Онъ расширилъ кругъ сценическихъ сюжетовъ и бралъ ихъ отчасти изъ среднихъ вѣковъ, отчасти изъ новаго даже времени. Однако все еще держался условной формы трехъ единствъ и александрійскаго стихоразмѣра, даже и послѣ того сильнаго впечатлѣнія, какое произвели на него въ Англіи полнота дѣйствія и свободная энергія изложенія у Шекспира; впрочемъ, надобно сказать, что ему и тамъ больше нравились пьесы Аддисона и Драй-



дена простотою своею постройки и реторичностью языка. Онъ первый открылъ французамъ Шекспира, хотя непривѣтно отзывался объ немъ впослѣдствіи, когда Шекспира вздумали противопоставлять ему; тутъ великому трагику пришлось отъ него плохо: онъ ругалъ его шуткомъ въ лохмотьяхъ, неуклюжимъ акробатомъ, пьянымъ дикаремъ. Корнель въ сравненіи съ британскимъ поэтомъ казался ему чѣмъ-то въ родѣ образованнаго барина передъ первобытнымъ мужикомъ; тѣмъ не менѣе потокъ истиннаго чувства и смѣлость дѣйствія въ Шекспирѣ увлекали Вольтера до того, что разсужденія французскаго трагика находилъ онъ противъ нихъ ужъ черезчуръ холодными. Въ лицѣ Шекспира, писалъ онъ, природа хотѣла соединить все, что способна она произвести высокаго и великаго, съ тѣмъ что ни есть въ ней грубаго и отвратительнаго. Воротясь во Францію, онъ опять вышелъ изъ-подъ вліяній англійской сцены. хотя полученныя отъ нея возбужденія еще дѣйствовали въ немъ, отчасти и теперь, такъ что онъ взялъ нѣсколько мотпвовъ и написалъ нѣсколько отдѣльныхъ сценъ прямо въ подражаніе англійскимъ и какъ бы въ соперничество съ ними; но вмѣсто того, чтобы выступить реформаторомъ театра во Франціи, онъ самъ подчинился парижскому вкусу: „искусство мыслить, кажется, принадлежитъ англичанамъ, а искусство правиться — французамъ; они должны покориться правиламъ нашего театра, а мы, съ своей стороны, примемъ ихъ философію“.

Изъ римскихъ драмъ „Смерть Цезаря“ написана подъ шекспировскимъ вліяніемъ; Вольтеръ отваживается изобразить здѣсь народъ, но центръ тяжести всемірно-историческаго элемента все-таки перепесенъ у него на личность: онъ дѣлаетъ Брута роднымъ сыномъ Цезарю и заставляетъ его бороться съ невольною боязнью передъ отцеубійствомъ; само собою разумѣется, что онъ не доводитъ свою драму до сраженія при Филиппи; для него всего важнѣе закончить ее бойкимъ словомъ, что рабство не должно преодолѣть свободы. Такимъ образомъ и въ „Спасенномъ Римѣ“ главное для Вольтера патріотическій пафосъ Цицероновой рѣчи, а въ старшемъ „Брутѣ“ строго-римское его настроеніе: къ сожалѣнію, въ послѣдней этой драмѣ онъ не сумѣлъ взять за основной мотивъ привязанность молодыхъ аристократовъ къ только что низвергнутому царскому трону, а также у сыновей Брута гордость

и страсть весело пожить; у него является тутъ, напротивъ, любвишка къ дочери Тарквиня первой движущей пружиной. Для своей „Эрифилы“ Вольтеръ беретъ изъ Гамлета явленіе тѣни умершаго отца; только сынъ видитъ послѣднюю не среди страховъ и не измученный заранѣе зловѣщимъ предчувствіемъ, а внезапно средь бѣла дня, въ то время какъ птти къ брачному алтарю съ невѣдомою ему матерью, и тѣнь требуетъ не пощады этой матери, но, напротивъ, ея смерти. До чего такимъ же образомъ пелѣпо выступаетъ на сцену тѣнь Нипа въ „Семирамидѣ“, это порпцалъ въ то время Лессингъ, при чемъ онъ указалъ и на тѣ черты, какія въ своей „Запрѣ“ Вольтеръ также позаимствовалъ у Шекспира; но ревность Оросмипа. замѣчаетъ онъ, развѣ лишь курящаяся головня изъ смертнаго костра Оттелло, да притовъ Вольтеру знакомъ только канцелярскій слогъ любви, языкъ тонкой галантерейности, а вовсе ужъ не языкъ сердца. Надо тѣмъ не менѣе сказать, что благодатный огонь внутренняго чувства господствуетъ въ этой трагедіи, какъ ни лишена она сроднаго Востоку богатства образовъ и особеннаго благоуханія; прекрасная фигура рыцаря Люзиньяна и весь вносимый ею въ пьесу эпизодъ неотъемлемо принадлежать Вольтеру; а при видѣ ихъ нельзя не пожалѣть, что поэтическая его жила обыкновенно такъ крѣпко была подтянута прозаическимъ направленіемъ времени и стѣснительными преданіями французской сцены. Въ „Альзирѣ“ онъ противопоставилъ другъ другу перуанцевъ съ испанцами; и борьба любви къ родинѣ и первыхъ влеченій сердца съ узами долга и чести выставлена здѣсь эффектнымъ образомъ. Въ „Танкредѣ“ начало и конецъ напоминаютъ Ромео и Юлію: любовь связываетъ два сердца наперекоръ взаимной ненависти партій, и послѣ вынужденной разлуки соединяетъ ихъ опять только уже когда было поздно, передъ самою кончиной; но пеловкостью со стороны автора является здѣсь недоразумѣніе между влюбленными, тогда какъ рыцарское чувство и благородство души обрисованы имъ нѣжно и ясно. Въ этимъ романтическихъ трагедіяхъ Вольтеръ дѣйствительно трогаетъ до глубины души. Но до какой степени бѣдна реальными созерцаніями его фантазія, до чего общъ и безцвѣтенъ способъ его выраженій, это вполне обнаружилось только тогда, когда Гёте обработалъ нѣсколько его пьесъ для веймарскаго театра и долженъ былъ поджиглять сухость



Вольтерова изложенія болѣе опредѣленными пластическими чертами.

Во Франціи, какъ и у насъ (германцевъ), была забыта средневѣковая поэзія; оттого не существовало и эпоса; но эпосъ считался принадлежностью народной славы, и вотъ молодой Вольтеръ напалъ на мысль стяжать эту славу и для самого себя, и для своего народа. И надо сказать правду, выборъ имъ сюжета былъ удаченъ; онъ остановился на героѣ, избавившемъ отечество отъ междоусобицъ войнъ и соединившемъ его подъ одну державу. — героѣ, который рыцарственностью и веселымъ, обходительнымъ побытомъ и правомъ пришелся народу по душѣ, а какъ основатель вѣротерпимости давалъ достаточный поводъ привязать къ его именно лицу требованія этой терпимости и для новѣйшей эпохи. Вольтеръ не смогъ однакожъ равномерно удовлетворить и условіямъ историческаго эпоса, и тому, что тутъ выросло изъ народныхъ сказаній; онъ не мастеръ былъ рисовать характеры, изложенію его недоставало чувственной созерцательности, онъ не въ силахъ былъ оживить передъ взоромъ читателя ни духа, ни нравовъ, ни домашняго и военнаго быта реформаціонной эпохи: напротивъ, вездѣ у него сквозитъ начало 18-го столѣтія, вплоть до Ньютоновой системы міра и до англійскаго парламента, гдѣ члены государства представляютъ собою силу и свободу цѣлаго; онъ не сумѣлъ пропитать свое созданіе реальностью, у него и тутъ перевѣшиваетъ поучающая разсудочность; уже Делиль замѣтилъ объ этомъ героическомъ эпосѣ, что, какъ ни богатъ онъ сраженіями и боевыми конями, въ немъ не найдешь даже и травы, чтобы покормить послѣднихъ, или воды, чтобы ихъ напоить. Вольтеру прежде всего нужно было написать что-нибудь рѣзкое противъ фанатизма и въ пользу вольномысленнаго просвѣщенія. Раздоръ отправляется у него прямо къ папѣ въ Римъ, тамъ точится кинжалъ для царубійства; въ противоположность фанатизму выставлена истинная религія. Онъ хотѣлъ создать французамъ искусственный національный эпосъ въ родѣ тѣхъ, какими Тассо подарилъ итальянцевъ, а Комозенсъ — португальцевъ; но онъ далеко отсталъ отъ обоихъ, — отъ перваго — въ романтической прелести, отъ второго — въ историческомъ содержаніи и колоритѣ. При этомъ, передъ нимъ было два римскихъ образца — Энеида Virgilія и Фарсалия Лукана.

Общій планъ напоминаетъ собою Освобожденный Іерусалимъ. а Эпиду особенно морская буря, картина преисподней, предсказаніе будущихъ судебъ отечества, и подобно тому какъ Эней повѣствуетъ о разрушеніи Трои, такъ точно и разсказъ Генриха IV-го о Варроломеевской ночи едва ли не лучшая изъ всѣхъ часть Генріады. Фарсалию напоминаетъ историческое содержаніе, любовь къ свободѣ, философскій взглядъ на міръ. — взглядъ, высказывающійся больше въ размышленіяхъ, нежели въ дѣйствіи; какъ тамъ противопоставлены Цезарь и Помпей, такъ точно здѣсь Гизъ и Генрихъ III. Вольтеръ яснѣе, строгаѣе Лукана въ изложеніи, да и не напыщенъ какъ послѣдній; но зато у него нѣтъ ни Виргиліева наренія, ни его патріотическаго паѳоса. Въмѣсто того, чтобы въ судьбѣ народа и въ душахъ отдѣльныхъ лицъ раскрывать господство нравственнаго міропорядка, онъ замѣняетъ чувственно-здорный міръ древнихъ боговъ цѣлою механикой такихъ аллегорій, какъ Раздоръ, Фанатизмъ, Любовь, которыя онъ ставитъ о бокъ съ дѣйствіемъ и описываетъ какъ нельзя холоднѣе, тогда какъ имъ слѣдовало бы наглядно проступать въ характерахъ и поступкахъ выводимыхъ на сцену лицъ. Какъ бы то ни было, Генріада отвѣчала душевной суши того времени и явилась первымъ опытомъ въ такой области, гдѣ настоящихъ поэтовъ ждуть и теперь еще лавровые вѣнки; Фридрихъ II видѣлъ въ ней выраженіе своей вѣры и завѣтныхъ своихъ помысловъ.

Въ поэтическомъ отношеніи несравненно выше стоитъ комическій эпосъ Вольтера, самое оригинальное изъ всѣхъ его созданій, гдѣ онъ даетъ полный разгулъ своему генію, смотря по временамъ гриво перебираетъ всевозможные напѣвы и пестрою смѣсью граціозной болтовни и ядовито-гнѣвнаго остроумія вмѣстѣ и бичуетъ и потѣшаетъ знатное общество своей эпохи: я говорю объ его „Орлеанской дѣвственницѣ“, знаменитой *Rucelle*. У Вольтера не было ни малѣйшаго понятія о дѣйствительномъ вдохновеніи свыше, онъ не могъ себѣ психологически объяснить ни небесныхъ голосовъ, ни какихъ-либо вообще сверхъестественныхъ явленій; все казалось ему обманомъ или достойною осмѣянія мечтой, да притомъ и поселянка-дѣвушка, по понятіямъ все еще дворскаго тогда французскаго вкуса, считалась предметомъ отнюдь ужъ не для высокой или серьезной поэзіи, а развѣ для какой-ни-



будь поэтической шутки. Въ Іоаниѣ д'Аркѣ онъ видѣлъ только орудіе знати и поповъ, но все-таки противопоставилъ ее, какъ дюжюю крестьянскую дѣвку, утонченному разврату высшаго общества. Историческое ядро поэмы, выручку осажденнаго Орлеана, обстановилъ онъ, по примѣру Тасса, любовными эпизодами, а въ тонѣ изложенія видимо подражалъ Аріосту, но далеко отсталъ отъ него въ чарахъ повеллестичной изобрѣтательности; онъ явился предтечей Байрона, но послѣдній въ своемъ *Донъ-Жуанѣ*, конечно, превзошелъ его какъ поэтъ, юмористъ и живописецъ характеровъ. Въ 1656-мъ году Шапельенъ воспѣлъ Орлеанскую дѣвственницу въ правовѣрномъ старофранкскомъ эпосѣ, гдѣ на ея сторонѣ ратуютъ вои небесные, а за англичанъ бьются демонскія силы. Его-то собственно и пародируетъ Вольтеръ.

Несмотря на всю грязь этой поэмы, Плоссеръ называетъ ее безподобнымъ произведеніемъ, мастерскою картиною образа мыслей и умышленныхъ забавъ того круга, для котораго она была предназначена и среди котораго долго обращалась въ рукописи, прежде нежели попала, наконецъ, въ печать; безбожная эта вещь, говоритъ онъ, чрезвычайно важна для ознакомленія съ тономъ и бытомъ европейской аристократіи: тутъ, какъ на подборъ, сосредоточены дерзновеннѣйшія остроты и самые злостные вымыслы, придуманные противъ всего того, что прежде благоговѣнно чествовалось народомъ. Поэтому я и счелъ необходимымъ бросить взглядъ на содержаніе; чистая душа не запятнается, а развѣ только возмутится этимъ. Наглѣйшія изъ выходокъ переходили еще изъ рукъ въ руки въ качествѣ варіантовъ: самъ Вольтеръ отступался отъ нихъ, но никто ему не вѣрилъ, да онѣ и включены потомъ въ собраніе его сочиненій. Знатные баре и барыни не могли себѣ въ то время представить, какъ скоро новой мудрости доведется визойти въ простой народъ. „Можно смѣло утверждать, что стихи этой поэмы подѣйствовали на европейское человѣчество гораздо вредоноснѣе кратковременнаго неистовства демократовъ во дни террора“.

Вольтеръ написалъ еще много веселыхъ рассказовъ и стихами, и прозою: даже научные вопросы умѣлъ онъ облекать въ форму повѣстей: его остроумная шутка, его беззастѣнливая болтовня часто напоминаютъ *Лузіана*. По примѣру Свифта, въ своемъ „*Микрометасѣ*“ (то-есть мало-великомъ) онъ сво-

дять на землю съ Сиріуса и Сатурна великановъ, которымъ земныя наши вещи и дѣла представляются во всей ихъ ничтожной мелкости. Часто возникаетъ и обсуждается вопросъ о томъ, что такое собственно житейская наша доля и какъ объяснить себѣ происходящее на свѣтѣ зло. Въ „Царевнѣ Вавилонской“ опъ старается, напротивъ, показать, какъ легко бросаются намъ въ глаза многочисленные злоупотребленія, тогда какъ мы часто не замѣчаемъ того добра, какое отъ нихъ происходитъ, или которое существуетъ помимо ихъ. Въ „Мемнонѣ“ опъ указываетъ на различныя міры, какъ на разныя ступени бѣдствія и глупости, восходящія понемногу до мудрости и счастья; нашъ маленькій земной шаръ, думаетъ опъ, хотя и нельзя прямо назвать сумасшедшимъ домомъ вселенной, но почти. Въ „Простодушномъ“ (L'Ingénu) является противоположность нашей вѣры, нашихъ правовъ и обычаевъ съ понятіями и бытомъ дикаря, Гурона, все это въ самомъ вольномъ и беззатѣйливомъ изложеніи. Любимую свою тему о добрѣ и злѣ Вольтеръ всего подробнѣе обработалъ въ „Кандидѣ“. Это сатира на оптимизмъ. Одному пстому горемыкѣ, выгнанному изъ замка въ Вестфалии, доводится попасть на землетрясеніе въ Лиссабонѣ, въ тюрьмы инквизиціи, къ американскимъ людоедамъ, въ войну съ турками и въ чумный лазаретъ; а подъ конецъ опъ опять соединяется съ своей возлюбленной, съ своими друзьями, пессимистомъ и оптимистомъ, и предпочитаетъ всему жизнь въ сельскомъ затишьи. Пессимистъ изъ похощеній его выводитъ то назидательное заключеніе, что человекъ то тербитъ безпокойство, то одолеваетъ смертельная скука, оттого и бросаетъ его изъ стороны въ сторону какъ какой-нибудь мячъ; а оптимистъ во всякомъ случаѣ утѣшаетъ себя тѣмъ, что мы все-таки живемъ въ наилучшемъ изъ возможныхъ міровъ, и какія бы ни встрѣчали насъ напасти и препятствія, мы все-таки достигаемъ наконецъ отрадной цѣли. „Пойдемте же обрабатывать свой садъ!“ говоритъ Кандидъ; трудиться, не муча тебя лишнимъ раздумьемъ, — вотъ лучшее средство дѣлать себѣ жизнь терпимою. Вольтеръ часто возвращается къ этой мысли въ своихъ письмахъ: станемъ обрабатывать свой садъ; все прочее пустяки, да правду сказать, и это не большое дѣло.

Въ собственно дидактическихъ стихотвореніяхъ о человекѣ, о законѣ природы, о естественной философіи Ньютона, образ-



цомъ Вольтеру служилъ Поппъ; въ нихъ иѣтъ и тѣни поэтического вдохновенія. Несравненно лучше тѣ обращенныя къ извѣстнымъ лицамъ и полныя индивидуальности письма или посланія въ стихахъ (èpîtres), гдѣ, пользуясь минутой благопріятнаго настроенія, Вольтеръ граціозно высказывалъ лучшія свои идеи; въ его время всѣ образованные люди повторяли ихъ наизусть. Чѣмъ вообще ближе узнаешь этого человека, тѣмъ несомнѣннѣе открываешь въ немъ орудіе судьбы; природа, какъ нарочно, создала его такимъ, каковъ онъ былъ: иначе онъ не сдѣлался бы самымъ вліятельнымъ писателемъ своего времени. И данный ему талантъ не зарылъ онъ въ землю, а пустилъ напропастъ въ оборотъ, и ярче выступаютъ теперь свѣтлыя стороны его свойствъ, тогда какъ спервоначала въ глаза болѣе кидались тѣни: его слава заслужена имъ вполне.

*Каррьеръ.*

---

## Вліяніе Ньютона на Вольтера.

Что матерія во вселенной не можетъ быть ни уменьшена, ни увеличена, это была признанная всею школьною метафизикою аксіома. Для устойчивости равновѣсія это положеніе было достаточно. Но какъ движется матерія въ отдѣльныхъ тѣлахъ? Ньютонъ доказалъ, что это движеніе должно совершаться во всѣхъ тѣлахъ одинаковымъ образомъ, просто пропорціонально количеству ихъ массы. Такимъ образомъ большее тѣло притягиваетъ меньшее пропорціонально ихъ массамъ. Къ этому сводилось все механическое движеніе во вселенной. Но картезіанская философія, какъ извѣстно, объясняла его вихрями. Мопертюи написалъ противъ этого мнѣнія свой знаменитый трактатъ „О законѣ притяженія“ и въ 1729 г. самъ отправился въ Англію. Споръ могъ быть рѣшенъ только опредѣленіемъ фигуры земли. Съ этою цѣлью кардиналъ Флери устроилъ извѣстную экспедицію Лакондамина къ экватору и Мопертюи — къ сѣверному полюсу; справедливость Ньютоновской теоріи подтвердилась въ Перу и въ Лапландіи; въ первой — большею выпуклостью земли, во второй — ея сплюснутостью. Съ этой минуты ея авторитетъ въ образованномъ мірѣ утвердился на прочномъ основаніи. Англичане

вышли изъ борьбы побѣдителями, но французамъ льстило то, что окончательнымъ рѣшеніемъ вопроса наука была обязана именно ихъ содѣйствію.

Къ механикѣ Ньютона присоединилась въ этомъ спорѣ и его оптика, которая также была принята не безъ сопротивленія. Вольтеръ былъ ревностнымъ приверженцемъ ея, и все сочувствіе высказалъ главнымъ образомъ въ вышеупомянутомъ „Посланіи къ Урагнѣ“, снова навлекшемъ на него преслѣдованіе вслѣдствіе своего деистическаго направленія. Изложеніе механики и оптики Ньютона Вольтеръ соединилъ въ сочиненіи подъ заглавіемъ: „Элементы Ньютоновой философіи“ (1739 г.). Изложеніе вообще ясно, а въ отдѣльныхъ подробностяхъ, какъ выражается Гёте въ своей исторіи ученія о цвѣтахъ, иногда для паглядности забавно. Если своими философскими письмами противъ картезіанскаго ученія о врожденныхъ идеяхъ Вольтеръ сдѣлалъ доступнымъ для французовъ ученіе Локка о постепенномъ приобрѣтеніи нашихъ представленій на основаніи впечатлѣній чувствъ, эмпиризмъ этого сочиненія онъ дополнилъ ученіемъ о законахъ природы, внутренно присущихъ ей по волѣ Бога, какъ ея Создателя. Посредствомъ гипотезы сотворенія природа остается неразрывно связанною съ Богомъ. Въ этомъ смыслѣ Вольтеръ не былъ натуралистомъ, но онъ признавалъ, что внутри природы должна господствовать только необходимость присущаго матеріи закона. Поэтому задача науки состоитъ въ томъ, чтобы узнавать природу изъ нея самой, посредствомъ эмпирическаго нахожденія ея законовъ. Бѣдствія и скорбь неизбѣжны въ мірѣ. Если оставаться въ предѣлахъ природы, то со стороны чловѣка возможна только безотвѣтная покорность судьбѣ. А разъ это такъ, — онъ долженъ подчинить себя міровому порядку. Но если изъ границъ природы подняться къ ея предположенному Создателю, то возникаетъ теологическій вопросъ: какимъ образомъ Богъ, котораго мы представляемъ себѣ мудрымъ, добрымъ, всемогущимъ, могъ сотворить міръ съ возможностью существованія въ немъ зла и бѣдствія? Оптимизмъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: когда Богъ захотѣлъ создать міръ, то этотъ міръ не могъ быть такимъ же совершеннымъ, какъ онъ самъ; но онъ устроилъ его такъ, что физическое и моральное зло разрѣшается въ развитіи цѣлаго, т.-е. что оно само-по-себѣ также добро, хотя представляется намъ



какъ отрицаніе добра. Пессимизмъ находитъ такое объясненіе неудовлетворительнымъ, говоря, что если міръ не могъ быть созданъ безъ придачи такого множества бѣдствій и мученій, то лучше было бы не создавать его: милліоны несчастныхъ твореній не жаловались бы на Творца за то, что онъ вызвалъ ихъ къ бытію. Атеизмъ не жалуется на Бога, такъ какъ Онъ для него не существуетъ. Мистицизмъ вваливаетъ всю вину зла на человѣка, который своимъ грѣхомъ превратилъ первоначально совершенный міръ въ несовершенный и раздвоенный. Эти четыре различныхъ взгляда на міровую загадку вели между собою въ XVIII ст. оживленную борьбу въ устахъ людей и серьезно занимали Вольтера во все продолженіе его жизни. Онъ былъ рѣзкимъ противникомъ теозофическаго мистицизма, не допуская, чтобы грѣхъ или зло конечнаго духа, т.-е. фактъ, имѣющій духовный характеръ, могъ произвести переворотъ во всей физической природѣ. Вольтеръ согласился съ пессимизмомъ въ томъ, что бѣдствія, живущія въ этомъ мірѣ, ужасны; но онъ находилъ неправильнымъ мнѣніе пессимистовъ, что бѣдствія и зло составляютъ всю сущность міра, что кромѣ нихъ не существуетъ ничего. Быть на сторонѣ оптимизма онъ тоже не могъ, потому что утѣшеніе этой теоріи, что нельзя знать, для чего то или другое зло нужно въ общей связи міровыхъ явленій, казалось ему слишкомъ слабымъ сравнительно съ дѣйствительностью земныхъ страданій; въ виду отдѣльныхъ проявленій зла, Вольтеръ съ негодованіемъ возстаетъ противъ наклонности находить все необходимымъ, все полезнымъ. Но на какой же точкѣ зрѣнія остановился онъ самъ? Обыкновенно говорятъ, что до лиссабонскаго землетрясенія въ 1755 г. онъ былъ оптимистомъ, но потомъ сдѣлался пессимистомъ. Такое мнѣніе несправедливо. Напротивъ того, онъ постоянно держался убѣжденія, что люди, при обсужденіи отдѣльныхъ явленій должны безропотно сознаваться, что ихъ умъ не въ состояніи понять полное значеніе этихъ послѣднихъ; но относительно міровой цѣли онъ твердо держался вѣры, что существуетъ праведный Богъ, который за злоупотребленіе свободы, какъ обыкновенно выражался въ этомъ случаѣ Вольтеръ, наказываетъ неминуемо возникающими, вслѣдствіе этого злоупотребленія, бѣдствіями. Что земной міръ не рай — это правда, но для человѣка съ чистою совѣстью въ немъ жить весьма можно. Воль-

теръ предполагалъ существованіе „Бога-мстителя“ (Dieu-vengeur).

Эти мысли очень ясно высказаны имъ въ предисловіи къ „Элементарамъ Ньютоновой философіи“. Далѣе Вольтеръ въ этомъ вопросѣ никогда не заходилъ, хотя свое мнѣніе высказывалъ въ тысячѣ формъ, то съ той, то съ другой стороны, каждый разъ на новый манеръ.

*Розенкранцъ.*

### Философскія идеи Вольтера.

Нѣмецкіе историки философіи обыкновенно съ крайнимъ пренебреженіемъ говорятъ о философскомъ значеніи Вольтера. Этотъ странный взглядъ на вещи чрезвычайно несправедливъ. Вольтеръ не былъ, конечно, творческимъ мыслителемъ, который бы положилъ неизгладимую межу въ исторіи самой науки какими-нибудь великими открытіями и завоеваніями. Болѣе скромное знаніе Вольтера состояло въ томъ, чтобы доставить самое всеобщее распространеніе тому, что было добыто другими. Но ясностью, легкостью, разнообразіемъ и постоянствомъ своего мышленія и дѣятельности онъ почти исключительно властвовалъ надъ двумя поколѣніями. Не неизбѣженъ ли поэтому вопросъ, къ какому особенному направленію изъ перемѣшавшихся партій того времени онъ принадлежалъ?

Въ Германіи слишкомъ господствуетъ дурная привычка смотрѣть на философію, какъ на нѣчто заключенное только въ самомъ себѣ, развивающееся какъ бы въ безвоздушномъ пространствѣ, односторонне отдѣленное отъ естественной почвы общаго состоянія образованности. Или, быть можетъ, эта странная небрежность имѣетъ, относительно Вольтера, еще какое-нибудь особенное основаніе? Быть можетъ, не происходитъ ли она отъ того, что Вольтеръ никогда не излагалъ своихъ мыслей въ видѣ твердой и связной системы, а всегда только отрывочно и разбросанно, въ самыхъ разнообразныхъ брошюрахъ, стихотвореніяхъ, романахъ и разсужденіяхъ, часто слишкомъ скрывая серьезную мысль подъ легкомысленной оболочкой? Быть можетъ, даже отъ того, что нужно прочесть очень много толстыхъ томовъ, чтобы получить полный и наглядный образъ? Но крайней мѣрѣ болѣе чѣмъ странно,



что тѣ же самые писатели, которые почти совершенно обходятъ Вольтера, обыкновенно весьма пространно говорятъ о далеко менѣе замѣчательномъ Гельвеціусѣ. Конечно, этотъ послѣдній представляетъ ту безконечную выгоду, что его легко узнать изъ двухъ-трехъ томовъ.

Со стороны французовъ никогда не было такого неумѣнья цѣнить значеніе Вольтера. Но большая часть изъ нихъ смотрятъ на него только глазами партіи.

Страстная борьба противъ церкви и откровеннаго ученія составляетъ цѣль и исходную точку почти всѣхъ сочиненій Вольтера. Онъ самъ всегда смотрѣлъ на эту борьбу какъ на главнѣйшую задачу своей жизни.

Христіанство и церковь, въ особенности католицизмъ, казались ему основаніемъ и вершиной самаго непозволительнаго суевѣрія. Изъ откровенныхъ писемъ Вольтера къ его друзьямъ еще яснѣе можно видѣть, чѣмъ изъ его издаваемыхъ тогда сочиненій, что низверженіе и уничтоженіе христіанства были для него совершенно равнозначительны со счастьемъ и успѣхами человѣчества.

Замѣчательнѣйшія сочиненія, въ которыхъ пахотятся эти страстныя нападенія были: *Examen important de Mylord Bolingbroke* 1736. Вольтеръ не успокоивается и не отдыхаетъ до тѣхъ поръ, пока подъ ударами его молота, повторяющимися все сильнѣе, должно, наконецъ, коваться жесткое желѣзо. „На меня жалуются, — говоритъ онъ однажды, — что я повторяюсь: я буду повторяться до тѣхъ поръ, пока міръ не исправится“. Оружіе этихъ воинственныхъ вылазокъ заимствовано имъ у англійскихъ свободныхъ мыслителей. Все направлено къ тому, чтобы доказать внутреннія противорѣчія и историческія невѣрности Библии и родственную связь библейскихъ преданій съ языческими сказапіями и представленіями. Многое съ намѣреніемъ испорчено, многое высказано съ возмутительною дерзостью, съ злорадной и мифистофелевской страстью отрицанія, съ явной радостью отъ соблазна. Глубокая поэзія Библии понятна Вольтеру такъ же мало, какъ англійскимъ писателямъ, съ которыми онъ сходится во мнѣніяхъ. Но вездѣ пылкая страсть, уничтожающее остроуміе, неумолимая прощательность. Отсюда его всеобщее дѣйствіе во всѣхъ странахъ и во всѣхъ сословіяхъ.

Такимъ образомъ съ именемъ Вольтера стали связывать

все, что только говорится между людьми враждебнаго религіи и атеистическаго. Но это несправедливо. По своимъ основнымъ воззрѣніямъ, Вольтеръ — деистъ, — въ смыслѣ тѣхъ англійскихъ свободныхъ мыслителей, которые хотя и разорвали съ вѣрой въ откровеніе, но, на основаніи своей, такъ называемой разумной религіи, происходящей изъ человѣческой мысли, твердо держались личности Бога, какъ сущности и начала всѣхъ вещей.

Не только „Англійскія письма“, но и нѣкоторыя разсужденія въ „*Essai sur les Moeurs et l'Esprit des Nations*“ высказываютъ это собственно деистическое воззрѣніе въ одушевленной похвалѣ англійскимъ свободнымъ мыслителямъ. „Эту далеко распространившуюся секту англійскихъ деистовъ упрекаютъ, — говоритъ Вольтеръ въ послѣднемъ указанномъ мѣстѣ, — что она слушается только разума и свергаетъ нго вѣры; но во всякомъ случаѣ это единственная изъ всѣхъ сектъ, которая никогда не нарушала спокойствія и мира человѣческаго общества безплодными спорами. Эти люди согласны со всѣми другими въ общемъ почитаніи единого Бога; они отличаются только тѣмъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ твердыхъ положеній ученія и никакихъ храмовъ, и что они, вѣря въ Божію справедливость, одушевлены величайшею терпимостью. Они говорятъ, что ихъ религія — религія чистая и такая же старая, какъ свѣтъ, у нихъ нѣтъ никакого тайнаго культа и потому они безъ угрызеній совѣсти могутъ подчиниться и публичнымъ религіознымъ обычаямъ“.

Съ этой точки зрѣнія Вольтеръ справедливо могъ сказать въ одномъ письмѣ къ Дамплавиллю 8 февраля 1768 года, что ему одинаково ненавистны и положенія церковныя и атеистическія стремленія его младшихъ современниковъ. Вольтеръ испыталъ то, что всегда испытываютъ среднія положенія; и на него стали нападать съ обѣихъ сторонъ. Клерикалы подвергали его опалѣ и осуждали за невѣріе; люди, ушедшіе дальше въ отрицаніи, срамили и осмѣивали его, какъ чловѣка отсталаго. Когда Вольтеръ написалъ небольшое сочиненіе противъ знаменитой *Systeme de la Nature*. Гриммъ въ своей Литературной Перепискѣ насмѣхался надъ Вольтеромъ, что онъ думаетъ о Богѣ какъ ребенокъ, хотя и чрезвычайно милый.

Вѣра въ Бога была у Вольтера не внутренней потреб-



ностью сердца, какъ у людей благочестивыхъ, или даже какъ у Ж. Ж. Руссо, но только необходимымъ, по его мнѣнію, результатомъ его мышленія. Оттого эта вѣра была, конечно, весьма обща и неопредѣленна. Въ Вольтеръ живетъ непоколебимое убѣжденіе, что ни природа не могла бы создаться и сохраняться безъ творца и хранителя, ни человѣческая нравственность и образованіе безъ послѣдняго судьи добродѣтели и порока: но Вольтеръ отказывается отъ всякаго ближайшаго вниканія въ сущность и свойства Божества.

Уже въ 1738 г. Вольтеръ говоритъ въ *Elements de philosophie de Newton*: „Нужно потерять всякій здравый человѣческій смыслъ, чтобы полагать, что одного движенія матеріи достаточно для произведенія чувствующихъ и мыслящихъ существъ. Но хотѣть знать свойства этого высшаго существа, значитъ уподобиться безумцу, который только потому, что знаетъ, что домъ построенъ архитекторомъ, думаетъ, что можетъ лично знать и самого архитектора“.

„Легко сказать, что Богъ безкопеченъ, что онъ начало и конецъ, во все времена и во всехъ мѣстахъ. Но сотни объясненій этого рода не могутъ все-таки дать никакого настоящаго истолкованія! Для такого познанія у насъ нѣтъ основанія и почвы, нѣтъ твердой точки опоры. Мы чувствуемъ, что стоимъ подъ покровительствомъ невидимаго существа, но это и все; этой границы мы перейти не въ состояніи. Безумно — хотѣть угадать это существо, угадать, находится ли оно въ извѣстномъ мѣстѣ и какъ оно дѣйствуетъ и поступаетъ“.

Единственное свойство, которое Вольтеръ осмѣливается высказать о Богѣ, есть его правосудіе. Въ его *Axiomes* говорится: „Никакое общество не можетъ существовать безъ правосудія, такимъ образомъ нашъ Богъ правосуденъ. Если государство караетъ преступленія обнаруженныя, то Богъ наказываетъ также скрытыя и тайныя. Неразумно вѣрить въ Бога, который странствуетъ, говоритъ, дѣлается человѣкомъ, какъ человѣкъ умираетъ на крестѣ; но въ высшей степени мудро вѣрить въ Бога, который наказываетъ и награждаетъ“.

По сущности деистическаго образа мыслей, такъ называемыя доказательства бытія Божія занимаютъ въ немъ весьма значительное мѣсто. Деизмъ поставленъ не такъ благопріятно, какъ откровеніе, которое непосредственно предполагаетъ открываю-

щаго Бога, и не такъ благопріятно, какъ матеріализмъ, который просто удовлетворяется фактомъ существующаго матеріальнаго міра и отвергаетъ сознательнаго личнаго виновника. Вольтеръ также посвящаетъ этимъ доказательствамъ самое обстоятельное разсужденіе. Конечно, большею частью, онъ при этомъ весьма отрывоченъ и не имѣетъ методической послѣдовательности; но вездѣ отличается самымъ яснымъ пониманіемъ объема и значенія отдѣльныхъ родовъ доказательствъ.

Такъ называемому *argumentum a consensu gentium*, т.-е. доказательству бытія Божія посредствомъ общаго согласія въ этомъ всѣхъ, онъ не придаетъ никакой цѣны. Вольтеръ отвергаетъ это мнимое общее согласіе. „Есть варварскіе народы, — говоритъ онъ въ *Traité de Métaphysique*, — у которыхъ нѣтъ понятія о Богѣ; ни одинъ ребенокъ, даже и у образованныхъ народовъ, и не подозрѣваетъ того“.

Зато тѣмъ чаще повторяются у Вольтера три остальныхъ обыкновенныя доказательства.

Во первыхъ, такъ называемое космологическое, т.-е. то доказательство, которое выводится изъ факта, что все существующее и движущееся въ мірѣ получаетъ бытіе и движеніе не отъ самого себя, а отъ чего-нибудь другого, что это другое опять указываетъ на другое и т. д., пока, наконецъ, мы находимъ первую движущую конечную причину. Это доказательство было выработано уже Платономъ, Аристотелемъ и схоластиками; въ новѣйшее время оно приобрѣло большую важность черезъ Лейбница, какъ ученіе о достаточномъ основаніи, т.-е. какъ ученіе о томъ, что основаніемъ міра можетъ быть только существо, стоящее внѣ міра и въ самомъ себѣ носящее основу своего бытія. Вольтеръ подробно изложилъ это доказательство во второй главѣ своего *Traité de Métaphysique*. Онъ говоритъ: „Я существую, слѣдовательно есть вообще бытіе. Нѣчто можетъ существовать или само собой или получить свое бытіе отъ чего-нибудь другого. Если оно существуетъ само собой, то оно необходимо, и какъ необходимое оно было всегда. Это есть Богъ. Но если нѣчто имѣетъ свое бытіе отъ чего-нибудь другого, а это другое имѣетъ свое бытіе отъ третьяго, то тѣмъ, отъ чего имѣетъ свое бытіе послѣднее, необходимо долженъ быть Богъ; потому что безъ этого предположенія мы имѣли бы вить безъ конца, т.-е. нелѣпость. Такимъ образомъ мы должны признать, что есть



существо, которое необходимо существуетъ отъ вѣчности само собою и. какъ таковое, есть начало всѣхъ вещей. Но Вольтеръ не обманывается относительно ограниченнаго значенія этого доказательства. Онъ видѣлъ. — какъ это еще опредѣленнѣе объяснила позднѣйшая философская критика, — что это доказательство. хотя и доказываетъ необходимое основное существо. не доказываетъ однако его живой и вѣснмїровой личности. Потому Вольтеръ старался дополнить это доказательство, въ особенности противъ нападеній матеріалистовъ. Въ упомянутомъ мѣстѣ онъ продолжаетъ: „Сама матерія не можетъ быть этимъ творческимъ основнымъ существомъ; въ матеріи нѣтъ разума, сознательной мысли. пониманія: скала не мыслитъ. Такимъ образомъ тѣ части матеріи, которыя мыслятъ и чувствуютъ. не могутъ получить этого мышленія и чувства сами собою. а только отъ руки высшаго. сознательнаго, безконечнаго существа“. Совершенно такъ же Вольтеръ повторяетъ это доказательство въ 1767 г. въ *Homélie sur l'athéisme*. „Я существую: слѣдовательно должно существовать нѣчто отъ вѣчности. Если бы этого не было, то вселенная произошла бы изъ ничего; наше бытіе было бы. слѣдовательно, безъ производящей причины. — это предположеніе само по себѣ есть противорѣчіе. Но мы сознательны и разумны: слѣдовательно должно быть вѣчное разумное существо. Если простой домъ. корабль. плывущій по морю, даютъ неопровержимое свидѣтельство о существованіи ихъ виновника и создателя, то теченіе созвѣздій и вся природа также должны свидѣтельствовать о такомъ виновникѣ и создателѣ. Быть можетъ возможно, что одна матерія. ограниченная сама собою, движется. соединяется между собою; производитъ явленія: но кто можетъ сказать, что это слѣпо дѣйствующее движеніе въ состояніи произвести существо съ органами. которыхъ качества и устройства столько артистичны, сколько непонятны? Нѣтъ никакого перехода отъ движенія матеріи къ ощущенію, и еще менѣе къ мысли. Надобно потерять здравый смыслъ. чтобы сказать, что достаточно одного движенія матеріи. чтобы создать чувствующія и мыслящія существа“. Атеистовъ. по мнѣнію Вольтера. можно опровергнуть однимъ словомъ: *Vous existez, donc il y a un Dieu*.

Затѣмъ доказательство телеологическое. Оно состоитъ въ томъ. что отъ цѣлесообразности въ порядкѣ и устройствѣ міра дѣлается заключеніе о мудромъ строителѣ. Анаксагоръ

и Сократъ не менѣ ревностно, чѣмъ Библия и христіанскіе отцы церкви, возстаютъ противъ безумія невѣрующихъ, которые изъ красоты созданія не хотятъ познать величія и славы Создателя.

Всего подробнѣе это доказательство излагается Вольтеромъ въ Философскомъ Словарѣ, въ статьѣ объ атеизмѣ. Тамъ говорится: „Если мы видимъ прекрасную машину, мы дѣлаемъ заключеніе о разумномъ и искусномъ строителѣ ея. Неужели при видѣ удивительнаго міра мы будемъ противиться предположенію о творящемъ художникѣ? Теченіе звѣздъ, обращеніе земли около солнца — все устроено по глубочайшимъ математическимъ законамъ; Платонъ, который, впрочемъ, такъ охотно предается безграничной мечтательности, называетъ Бога вѣчнымъ геометромъ и этимъ выраженіемъ прекрасно обозначаетъ высокую творящую мудрость Бога“. Этимъ словамъ совершенно соотвѣтствуетъ одно письмо, направленное противъ Гольбаха, гдѣ онъ говоритъ, что онъ можетъ считать атеизмъ только развратомъ разума; потому что такъ же точно смѣшно отъ устройства міра не заключать о мудромъ основателѣ, какъ было бы безстыдно, говоря о часахъ, отрицать существованіе часовщика. Но и здѣсь Вольтеръ весьма опредѣленно указываетъ границы этого доказательства. Въ *Traité de Métaphisique* положительно объясняется, что хотя изъ цѣлесообразности міра должно заключать о высшемъ мудромъ существѣ, искусно приготовившемъ и устроившемъ міровую матерію, но что нельзя прибавлять, что это существо произвело изъ ничего и самую міровую матерію. Поэтому прекрасная статья „*Le Philosophe ignorant*“ говоритъ: „Строгій порядокъ и цѣлесообразность міра есть вмѣстѣ съ тѣмъ и самое положительное доказательство бытія Божія: ничто не поколеблетъ во мнѣ этого убѣжденія. Каждое дѣло свидѣтельствуется о своемъ виновникѣ. И эта высшая мудрость вѣчна; потому что, буду ли я признавать или отвергать вѣчность матеріи, я не могу подвергать сомнѣнію вѣчнаго бытія высочайшаго творца. Но различается ли этотъ творецъ отъ міра, какъ художникъ отъ статуи, или онъ составляетъ одно съ міромъ и проникаетъ его? Объ этомъ вопросѣ разсуждали многіе философы; но кто же можетъ утверждать, чтобы кто-нибудь вѣрно рѣшилъ его?“



Наконецъ, такъ называемое, нравственное доказательство. Безъ Бога нѣтъ нравственности.

Пятый отдѣлъ статьи „Dieu“ въ Философскомъ Словарѣ говоритъ: „Настоящая главная причина, почему вѣра въ Бога необходима, заключается, по моему мнѣнію, не въ метафизическихъ основаніяхъ, но въ томъ уваженіи, что для общаго блага необходимъ Богъ вознаграждающій и наказующій. Безъ такого Бога мы оставались бы въ бѣдствіяхъ безъ надежды, въ порокахъ безъ угрызенія совѣсти. Кто признаетъ, что вѣра въ Бога удерживаетъ хоть нѣсколькихъ людей отъ преступленія, тотъ признаетъ, что эта вѣра должна быть принята всѣмъ человѣчествомъ. Вы боитесь, что вѣра въ Бога приводитъ къ суевѣрію и духу преслѣдованія; но не должно ли бояться еще болѣе того, что человѣкъ, отрицающій Бога, дѣлается жертвой еще болѣе дикихъ страстей и болѣе ужасныхъ преступленій? Заботьтесь о томъ, чтобы вѣра не упадала до суевѣрія и до религіознаго преслѣдованія. Избави насъ Богъ отъ служителя религіи, который умерщвляетъ своего короля священнымъ книжалою; но избави насъ и отъ гнѣвнаго и жестокаго деспота, который, не вѣря въ Бога, есть самъ для себя Богъ. Если мысль о Богѣ произвела Титовъ, Трояновъ, Антоніновъ, Марковъ Авреліевъ, то этихъ примѣровъ совершенно достаточно для защиты моего дѣла, а мое дѣло есть дѣло всего человѣчества“. Поэтому, на знаменитый вопросъ Бэйля, можетъ ли существовать государство атеистовъ, Вольтеръ отвѣчаетъ насмѣшливо, что если бы Бэйлю пришлось управлять только пятью или шестьюстами поселятъ, онъ непременно началъ бы проповѣдывать ученіе о воздающемъ Богѣ. Когда Вольтеръ писалъ Генриху, принцу прусскому, столь извѣстныя слова: *Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer; mais toute la nature nous crie, qu'il existe*, — въ устахъ Вольтера они не были пустымъ остроуміемъ, но выраженіемъ самаго глубокаго убѣжденія.

Кто возьметъ на себя трудъ сравнить различныя выраженія Вольтера, тотъ легко увидитъ, что въ разное время Вольтеръ давалъ различную цѣну одному и тому же доказательству. Нельзя не увидѣть также, что въ концѣ концовъ Вольтеръ охотнѣе всего опирается на телеологическомъ доказательствѣ.

Вольтеръ былъ весьма краснорѣчивый и ревностный защитникъ *causes finales*, т.-е. твердыхъ и сознательныхъ цѣлей

Бога въ созданіи и устройствѣ вещей. Если матеріалисты и атеисты, отрицая всякую сознательную цѣлесообразность въ природѣ, объявляютъ каждый образъ и явленіе только слѣдствіемъ и осадкомъ движенія матеріи, то для Вольтера весь міръ, напротивъ, есть только твердая связь и живое олицетвореніе такихъ сознательныхъ и тонко рассчитанныхъ цѣлей.

Вольтеръ, правда, очень далекъ отъ того ограниченнаго примѣненія понятій о цѣли, вслѣдствіе котораго разсужденія этого рода такъ часто подвергались насмѣшкамъ. Никто остроумнѣе Вольтера не смѣется надъ тщеславіемъ людей, думающихъ, что міръ созданъ единственно и исключительно для нихъ. Въ пятой пѣснѣ его поэмы о человѣкѣ мыши прославляютъ Бога за то, что земля имѣетъ такія превосходныя мышиныя норы: съ такой же исключительной точки зрѣнія разсматриваютъ твореніе утки, индѣйскіе пѣтухи и бараны; и наконецъ приходитъ осель и хвалится, что такъ какъ міръ созданъ единственно для него, то и человѣкъ — его рабъ, который долженъ ему прислуживать, подковыывать его, чистить, купать. И не меньше трунитъ Вольтеръ надъ тѣми естествоиспытателями, которымъ воображалось, что приливъ и отливъ предназначены только для того, чтобы корабли легче могли входить въ гавань и чтобы морская вода предохранялась движеніемъ отъ гнилости. Но тѣмъ рѣзче Вольтеръ настаиваетъ на томъ, чтобы за ложными опредѣленіями цѣлесообразности не терять изъ виду истинныхъ. Но истинными и необходимыми онъ считаетъ только тѣ, которыя всеобщы, всегда и вездѣ одинаковы и совершенно неизмѣнны. Статья *Causes finales* въ Филосовскомъ Словарѣ говоритъ: „Если только часы сдѣланы не для того, чтобы показывать время, я соглашусь, что сознательныя конечныя цѣли — чистый вздоръ. Есть люди, которые смѣются надъ этими цѣлями, такъ какъ они уже давно опровергнуты Эпикуромъ и Лукреціемъ; имъ слѣдовало бы скорѣе смѣяться надъ Эпикуромъ и Лукреціемъ. Глазъ, говорятъ они, сдѣланъ не для того, чтобы видѣть; имъ только воспользовались для этого употребленія, потому что замѣтили, что имъ отлично можно воспользоваться для этой цѣли. По этому мнѣнію ротъ созданъ вовсе не для припятія пищи, желудокъ не для перевариванія, сердце не для кровообращенія, ноги не для ходьбы, уши не для слуханія; но эти же люди сознаютъ, что портной сдѣлалъ имъ платье для надѣванія, каменщикъ сдѣлалъ домъ для житія. Они



осмѣливаются отказывать природѣ, высшему существу. всеобщему разуму — въ томъ, что они охотно признають за самымъ ничтожнымъ работникомъ. Конечно, было бы преувеличеніемъ утверждать, что ноги существуютъ для того, чтобы носить сапоги, носъ — для очковъ. Только то можетъ считаться дѣйствительной копечной цѣлью, гдѣ одно и то же дѣйствіе во все время во всехъ мѣстахъ связано съ той же причиной. Корабли были не во все время и не во всехъ моряхъ; следовательно нельзя сказать, что море создано для кораблей. Руки существуютъ не для перчаточниковъ. Но все существа имѣють глаза и видятъ, все имѣють ротъ и ѣдятъ, все имѣють желудокъ и перевариваютъ. Мы извращаемъ свое мышленіе, когда не хотимъ принимать такихъ всеобщихъ истинъ”.

Вольтеръ такъ глубоко проникнуть этимъ взглядомъ, что въ статьѣ „Nature” въ Филосовскомъ Словарѣ онъ заставляетъ природу жаловаться, что ее называли природой, тогда какъ она вполне — искусство. Точно такъ же въ „Histoire de Jenni” одно изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ: „Въ насъ и кругомъ насъ нигдѣ нѣтъ природы; все безъ исключенія есть искусство”. И статья „Amour de Dieu” объясняетъ даже, что наша любовь къ Богу существенно походитъ на ту любовь, какую мы питаемъ къ художнику, превосходное произведеніе котораго потрясаетъ и восхищаетъ насъ. Этотъ взглядъ на природу, какъ на художественное произведеніе, казался Вольтеру такъ важенъ, что въ „Разговорахъ Эвгемера” онъ въ особенности указываетъ на то, что это положеніе есть совершенно новая истина и что открытіе ея есть его главнѣйшій философскій подвигъ. Если знатокъ исторіи не согласится съ этой радостью изобрѣтателя, это въ сущности все равно. Неоплатоникъ Филонъ уже высказалъ эту мысль съ тѣмъ же понятіемъ о Богѣ, какъ о высшемъ художникѣ.

Въ тѣснѣйшей связи съ этимъ основнымъ воззрѣніемъ стоитъ то, что Вольтеръ съ особеннымъ предпочтеніемъ отдавался размышленіямъ и изслѣдованіямъ о сущности и происхожденіи существующаго въ мірѣ зла. Чѣмъ больше мыслитель считаетъ важнымъ доказать бытіе Бога изъ цѣлесообразности міра, тѣмъ больше онъ будетъ чувствовать потребность поставить въ всякихъ сомнѣній эту предполагаемую имъ цѣлесообразность мірового порядка. Оттого и деисты древности и деисты новаго времени такъ согласно стремились разрѣшить

загадку о фактѣ и оправданіи зла; и оттого же, когда эти традиціонныя доказательства потеряли свое вліяніе черезъ критику Юма и Канта и должны были уступить передъ болѣе глубокими воззрѣніями, и этотъ вопросъ, возбуждавшій столько споровъ, тотчасъ же отступилъ съ поля битвы.

Мы послѣдуемъ за Вольтеромъ и въ этихъ разсужденіяхъ о происхожденіи и сущности зла. Они существенно помогутъ объяснить со всѣхъ сторонъ его понятіе о божествѣ.

І. Б. Мейеръ въ небольшомъ сочиненіи о Вольтерѣ и Руссо. какъ прежде Низаръ, раздѣлилъ исторію этихъ воззрѣній на двѣ эпохи. Первую, по обычному выраженію, онъ называетъ оптимизмомъ, т.-е. преувеличеннымъ прикрашиваніемъ; другую — эпохой пессимизма, т.-е. столько же преувеличеннаго мрачнаго взгляда. Говоря правильнѣе, въ первую эпоху Вольтеръ, какъ ученикъ Болингброка, Шафтсбери и Попа, старался по примѣру Лейбница отрицать зло; во вторую онъ довольствовался объяснять и оправдывать безпорно существующее зло.

Первая эпоха продолжается до 1755. Тѣ сочиненія, которыя преимущественно сюда относятся, *Pensées sur Pascal* 1732, *Discours sur l' Homme* 1734, *Philosophie de Newton* 1734, всѣ согласны въ томъ, что сомнѣваться объ устройствѣ міра есть пустое безуміе и раздраженіе. „Зачѣмъ, — говоритъ онъ въ „Мысляхъ о Паскалѣ“. — дѣлать изъ нашего существованія цѣпь горя и бѣдствій? Представить себѣ свѣтъ тюрьмой и всѣхъ людей осужденными преступниками, это мысль мизантропа: думать, что міръ есть мѣсто вѣчнаго веселья, есть заблужденіе мечтателя; знать, что земля, люди, звѣри таковы, каковы они должны быть по порядку провидѣнія, — есть признакъ мудреца“.

Иначе говоритъ онъ съ 1755 г. Гёте, въ свой „Поэзіи и правдѣ“ рассказываетъ, что лиссабонское землетрясеніе, происходившее перваго ноября этого года, распространило чрезвычайный ужасъ въ свѣтѣ, привыкшемъ къ миру и спокойствію, и одинаково настроило людей благочестивыхъ и философовъ къ самымъ печальнымъ размышленіямъ; весьма замѣчательное подтвержденіе этого потрясающаго впечатлѣнія мы видимъ и на Вольтерѣ. Немного дней спустя послѣ этого ужаснаго событія, 24 ноября 1755. Вольтеръ писалъ къ Троншену: „какъ жестока природа! Трудно будетъ сказать, почему законы движенія должны производить такіа страшныя опустошенія dans



le meilleur des mondes possibles. Что за печальная игра случая — игра человеческой жизни! Это должно бы научить человека — не преслѣдовать человека. Когда одинъ собирается сжигать другого, земля поглощаетъ обоихъ“. Къ этому времени относится „Кандидъ“, эта уничтожающая своимъ остроуміемъ сатира противъ оптимизма, представляющая исторію того кроткаго и благоправнаго юноши, котораго безъ всякой мѣры толкаетъ, мучитъ и угнетаетъ судьба, и который такъ однако твердо убѣжденъ въ ученіи о лучшемъ изъ міровъ, что при каждомъ новомъ ударѣ судьбы только восклицаетъ съ самымъ забавнымъ умиленіемъ: „Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles“. Но за этой легкой шуткой скрывается самая серьезная мысль. Боязливые сомнѣнія о Богѣ и мірѣ боролись изъ-за утѣшенія и разрѣшенія. Всѣ разсужденія, которыя представляетъ съ тѣхъ поръ Вольтеръ о свойствахъ и существованіи зла, состоятъ изъ двухъ составныхъ частей. Во-первыхъ, онѣ опровергаютъ тѣхъ, кто, подчинившись ложному философскому ученію, хотѣлъ обманываться въ рѣзкой дѣйствительности существующаго зла; и во-вторыхъ, они оправдываютъ божественный міровой порядокъ, производя большую часть зла не непосредственно отъ Бога, но отъ человеческой необузданности, а для остальныхъ запутанностей жизни, обусловленныхъ естественными событіями, указывая на примиреніе въ будущемъ.

Это направленіе его мысли выражается въ высшей степени характеристично именно въ той поэмѣ, которая написана непосредственно послѣ перваго извѣстія объ этомъ необыкновенномъ событіи, le Poëme sur le Désastre de Lisbonne. Онъ съ глубоко-прочувствованной жалобой возстаетъ противъ положенія: „все есть добро“, которое проповѣдывали англійскіе свободные мыслители и также Лейбницъ. Ничто не поможетъ, говорится тамъ, — пужно рѣшиться на признаніе, что на землѣ есть и зло, какъ и добро, и что въ нынѣшнихъ страданіяхъ насъ можетъ утѣшить только надежда на то, что въ новомъ порядкѣ вещей развитіе нашего бытія будетъ встрѣчать меньше препятствій. Увѣренность въ благости Провидѣнія есть единственное прибѣжище для человека въ сумракѣ его мышления и въ несчастіи его трудовъ и терпѣній:

„Un jour tout sera bien, voilà notre espérance,  
Tout est bien aujourd'hui voilà l'illusion“.

Этотъ взглядъ Вольтера легко было бы подтвердить большимъ количествомъ самыхъ недвусмысленныхъ мѣстъ изъ его сочиненій. *Homélie sur l'Athéisme* изъ 1767 года; *Histoire de Jenni*, особенно девятая глава, изъ 1769 года; философскій разговоръ „*Les Adorateurs ou les Louanges de Dieu*“ изъ того же года; статья въ *Философскомъ Словарѣ Du Bien et du Mal physique et moral*, проникнуты тѣмъ же признаніемъ зла и той же вѣрующей покорностью тайнамъ божественнаго мірового порядка. Мы укажемъ здѣсь только на двѣ статьи, которыя особенно наглядно раскрываютъ эти сомнѣнія и вѣрующій отказъ — рѣшать ихъ.

Первая статья находится въ *Философскомъ Словарѣ* подъ заглавіемъ: „*Tout est bien*“. Тамъ говорится: „Волингброкъ, Шафтсбери и Попъ защищаютъ взглядъ, что все устроено наилучшимъ образомъ. Если это значить, что все происходитъ изъ вѣчнаго неизмѣннаго закона, — кто этого не знаетъ? Порядокъ есть, конечно, вездѣ. Если у меня образуется каменная болѣзнь, то это образованіе происходитъ совершенно согласно съ природой, и также согласно съ природой и съ искусствомъ дѣйствуетъ врачъ при своемъ лѣченіи; но если я умираю подъ этимъ болѣзненнымъ лѣченіемъ, какая мнѣ польза изъ сознанія, что я подчиняюсь неизмѣннымъ естественнымъ законамъ? Зла никакого нѣтъ, — говоритъ Попъ; всѣ частные роды зла составляютъ только общее благо. Славное общее благо, составленное изъ каменной болѣзни, ревматизмовъ, преступленій и страданій всякаго рода, изъ смерти и осужденія; и мнѣ кажется плохимъ утѣшеніемъ, когда Попъ говоритъ, что Богъ одинаково смотритъ на гибель героя и воробья, тысячи планетъ или атома, или когда Шафтсбери спрашиваетъ, почему бы долженъ былъ Богъ мѣнять свои вѣчные законы въ пользу такого жалкаго творенія, какъ человѣкъ. Надобно, по крайней мѣрѣ, согласиться, что человѣкъ имѣетъ право жаловаться, что частное благосостояніе не примиряется съ вѣчными законами. Это ученіе представляетъ божество могущественнымъ, но насильственнымъ властителемъ, которому нѣтъ дѣла до тысячъ человѣческихъ жизней, когда ихъ требуютъ его произвольныя цѣли. Это ученіе не утѣшительно, оно тягостно. Вопросъ о происхожденіи зла остается неразрѣшимой путаницей, отъ которой нѣтъ другого спасенія, какъ довѣріе къ Провидѣнію“.



Вторая статья озаглавлена „*Tout en Dieu*“: „Есть высшее вѣчное разумное существо, отъ котораго происходитъ все, что живетъ и существуетъ. Но происходитъ ли отъ этой основной причины всѣхъ вещей и зло, физическое и моральное? Что касается до зла физическаго, то всѣ религіи и всѣ философскія ученія относили его къ Богу; только безвкусіе Манихеевъ хотѣло освободить Бога отъ созданія и допущенія зла, но безвкусіе вовсе не есть доказательство. Эта основная причина произвела ядъ и пищу, болѣзнь и наслажденіе; въ этомъ сомнѣваться нельзя. Зло необходимо, потому что оно есть; все, что есть, необходимо, — какую бы иначе оно имѣло причину своего существованія? Но зло нравственное, преступленіе, Неронъ, Александръ VI? Весь свѣтъ говоритъ: какъ можетъ быть Богъ причиной столькихъ страданій? Но если нашъ разумъ есть только часть всеобщаго разума, только истеченіе высшаго существа, какъ можемъ мы думать и желать проникнуть всѣ намѣренія и копечныя дѣла самого этого высшаго существа? Что три есть половина шести, что діагональ дѣлитъ квадратъ на два равные треугольника, это мы знаемъ такъ же вѣрно, какъ это знаетъ Богъ; но мы остаемся только частью и можетъ понять только часть міра. Высшее существо сильно, мы слабы; мы также необходимо ограничены, какъ высшее существо необходимо безконечно. Зная, что одинъ лучъ ничего не значитъ противъ солнца, я покорно подчиняюсь высшему свѣту, который долженъ просвѣтить меня во мракѣ міра“.

Какъ ни различно, слѣдовательно, судить Вольтеръ въ разное время о размѣрахъ и свойствахъ фактически существующаго въ мірѣ зла, это зло никогда не могло поколебать Вольтера ни въ его понятіяхъ о цѣлесообразности міра, ни въ вѣрѣ Бога, основанной на этомъ понятіи. „Никакой предлогъ, — говоритъ Вольтеръ, въ разборѣ одной атеистической книги, — не можетъ оправдать атеизма. И если бы всѣ хрістіане передумали другъ друга, и на землѣ остался только одинъ хрістіанинъ, онъ при видѣ солнца долженъ былъ бы признать и почитать высшее существо, онъ долженъ былъ бы съ горестію воскликнуть: мои отцы и братья были чудовища; но Богъ есть Богъ!“

Самъ Вольтеръ коротко и мѣтко высказываетъ сущность своихъ религіозныхъ воззрѣній, когда въ *Profession de Foi*

de Théistes говорить: „мы осуждаемъ атеизмъ, мы гнушаемся суевѣріемъ, мы любимъ Бога и человечество — вотъ въ немногихъ словахъ изложеніе нашихъ религіозныхъ понятій...“

Какъ ни сильно возставалъ Вольтеръ противъ матеріализма въ идеѣ о божествѣ, онъ сильнымъ, рѣшительнымъ образомъ наклоненъ къ нему въ разсмотрѣніи душевной жизни. Во всякомъ случаѣ Вольтеръ ясно сознавалъ глубочайшую зависимость человѣческой души отъ тѣлесныхъ состояній и качествъ, хотя онъ и никогда не могъ рѣшиться на то, чтобы вполнѣ поставить душу подъ верховной властью тѣла.

Отсюда происходитъ безпомощность Вольтера относительно продолженія личности. Чѣмъ больше давалъ онъ вѣса своему матеріалистическому пониманію души, тѣмъ сомнительнѣе должно было ему — какъ и слѣдуетъ — казаться вѣчное существованіе личности. Но когда Вольтеръ вспоминаетъ свое убѣжденіе о Божіемъ правосудіи и необходимости вѣчнаго воздаянія, — убѣжденіе ставшее для него неоспоримымъ по другимъ основаніямъ, — всѣ его матеріалистическія возраженія исчезаютъ и безсмертіе души является передъ нимъ не менѣе положительно, чѣмъ его живая мысль о божествѣ. Вольтеръ не выходилъ изъ этихъ противорѣчій, которыя часто вызывались минутными и случайными впечатлѣніями. Это колебаніе мнѣній Вольтера характеристически выразилось въ Философскомъ Словарѣ, гдѣ онъ восклицаетъ утѣшающимъ образомъ, что хотя и нѣтъ въ пользу безсмертія никакихъ неотразимыхъ доказательствъ, но нѣтъ также неотразимыхъ основаній отвергать его возможность. Въ этомъ вопросѣ, — прибавляетъ Вольтеръ, — мы находимся въ томъ же положеніи, какъ и во всѣхъ метафизическихъ вопросахъ: мы движемся только въ царствѣ неопредѣленныхъ вѣроятностей, мы плаваемъ въ морѣ, берега котораго убѣгаютъ отъ глазъ. „Горе тѣмъ, которые плывя борются другъ съ другомъ; приставай, кто можетъ, но кто говоритъ — вы плывете напрасно, твердой земли нѣтъ, — тотъ приводитъ меня въ уныніе и отнимаетъ у меня всѣ мои силы“. Кондорсе въ своей біографіи Вольтера вѣрно обсуждаетъ и объясняетъ эти переменчивыя мнѣнія, говоря, что хотя Вольтеръ никогда не могъ побѣдить сомнѣнія, но что онъ охотнѣе держится основаній утвердительныхъ, чѣмъ ихъ опроверженія, потому что утвержденіе казалось ему нужно для нравственной жизни людей.



На болѣе твердую почву Вольтеръ становится только тамъ, гдѣ онъ вступаетъ въ открытую дѣйствительность и объясняетъ фактическія обнаруженія жизни души, т.-е. природу человѣческаго мышленія и дѣятельности.

Въ ученіи о познаніи Вольтеръ былъ строгимъ приверженцемъ Локка. Огромной заслугой Локка было то, что онъ господствующему ученію о врожденныхъ идеяхъ противопоставилъ простой фактъ, что начало и основа всякаго познанія есть только чувственный опытъ. Чувства даютъ разуму впечатлѣнія внѣшнихъ предметовъ; разумокъ находитъ нѣкоторыя изъ этихъ впечатлѣній сходными, другія противорѣчащими, и изъ этого наблюденія единства и противоположности онъ образуетъ себѣ общія понятія. Вольтеръ усвоилъ себѣ это ученіе во время пребыванія въ Англіи и остался вѣренъ ему, вполне и безъ всякихъ ограниченій, всю свою жизнь...

Понятіе о безусловномъ могуществѣ внѣшнихъ чувственныхъ впечатлѣній у Вольтера имѣло весьма рѣшительное вліяніе на сужденія о свободѣ человѣческой воли.

Болѣе раннія сочиненія характеризуютъ свободу воли какъ способность думать или не думать о чемъ-нибудь, двигаться или не двигаться, совершенно по желанію. Свобода воли — по словамъ его — есть здоровье души; есть, конечно, препятствія и ограниченія этой свободы, какъ есть препятствія и ограниченія здоровья; но тотъ, кто отвергаетъ свободу воли только потому, что она ограничена, долженъ также отвергать и здоровье, только потому, что тѣло иногда бываетъ нездорово.

Совершенно иначе рассуждаетъ онъ въ позднѣйшее время. Вольтеръ понялъ теперь, что отрицаніе врожденныхъ идей необходимо влечетъ за собой и отрицаніе человѣческой свободной воли, по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, если воля понимается какъ доброе желаніе и произволъ. Эту логическую необходимость коротко и ясно высказываетъ 29-я глава въ *Philosophie ignorant*, указывая на то, что человѣкъ можетъ хотѣть только вслѣдствіе идей, которыя явились въ мозгъ отъ внѣшнихъ впечатлѣній; при отсутствіи этихъ идей человѣкъ сталъ бы опредѣляться (желать чего-нибудь) безъ всякаго основанія, онъ имѣлъ бы дѣйствіе безъ причины.

Отсюда тотчасъ возникаетъ дальнѣйшій, глубоко вѣрный вопросъ: Что же будетъ добродѣтель и нравственность при

этомъ отсутствіи способности свободнаго рѣшенія? Какъ можетъ человѣкъ быть отвѣтственнымъ за свои дѣйствія?

Вольтера никогда не озабочивало то, что при такихъ основаніяхъ потрясается все зданіе человѣческой нравственности и уничтожается всякое различіе между добродѣтелью и порокомъ. Напротивъ. Особенной заслугой Вольтера было то, что онъ, наперекоръ колеблющимся положеніямъ Локка, чрезвычайно убѣдительно и пропнцательно выставилъ и защищалъ неизмѣнную твердость и вѣчность добродѣтели и нравственности. „Порокъ, — говоритъ Вольтеръ въ 13 главѣ статьи „Il faut prendre parti“, — остается порокомъ, какъ болѣзнь болѣзью: преступникъ долженъ нести слѣдствія своего преступленія, какъ больной слѣдствія своей болѣзни“.

Локкъ основалъ часть своего доказательства неврожденности человѣческихъ идей на томъ мнѣніи, что понятія о добродѣтели и приличіи различны по различію времени и народовъ; люди одного мѣста и времени чувствуютъ угрызения совѣсти за такія дѣйствія, которыя считаются весьма почтенными въ другое время и въ другихъ тѣстахъ. За исключеніемъ Шафтсберн и позднѣйшихъ шотландскихъ моралистовъ, большая часть англійскихъ свободныхъ мыслителей прнняли, не излѣдуя, эти мнѣнія Локка; на той же точкѣ зрѣнія остались также Дидро и французскіе матеріалисты. Вольтеръ въ своей Метафизикѣ былъ однимъ изъ вѣриѣйшихъ учениковъ Локка; но въ нравственномъ ученіи онъ всегда прямо опровергалъ его. Здѣсь Вольтеръ былъ скорѣе ученикомъ Ньютона и Шафтсберн.

Уже въ октябрѣ 1737 г. Вольтеръ писалъ къ Фридриху: „Локкъ, мудрѣйшій метафизикъ, какого я знаю, вмѣстѣ съ опроверженіемъ врожденныхъ идей подвергаетъ кажется сомнѣнію и твердый, всеобщій нравственный принципъ. Въ этомъ пунктѣ я рѣшаюсь возстать на мысли великаго человѣка или, вѣрнѣе, вести ихъ дальше“. „Конечно, какъ нѣтъ вовсе врожденныхъ идей, такъ нѣтъ и врожденныхъ нравственныхъ законовъ; но если мы родились безъ боръбы, слѣдуетъ ли изъ этого, что мы въ извѣстномъ возрастѣ и не пріобрѣтемъ боръбы? Мы не родимся съ умѣньемъ ходить; но каждыи, кто родится съ двумя ногами, получаетъ потомъ и способность ходить. Подобнымъ образомъ никто, конечно, не приноситъ съ собой въ свѣтъ готовыхъ понятій о правѣ и



несправедливости; но человѣческая природа устроена такъ, что въ извѣстномъ возрастѣ эта истина естественнымъ образомъ вырабатывается. Понятіе о добродѣтели есть понятіе всеобщее и неизмѣнное. не потому, что оно врожденное, а потому, что человѣческая природа и ея развитіе въ сущности одинаковы.

Вольтеръ съ явнымъ пристрастіемъ останавливался на этомъ согласіи всѣхъ народовъ въ томъ, что справедливо и хорошо. Дидактическое стихотвореніе *Sur la loi naturelle*, написанное въ 1751 году, имѣетъ главнѣйшей цѣлью показать, что „какъ золото имѣетъ одну природу и одно происхожденіе и въ Перу и въ Китаѣ, такъ и принципы и движенія сердца вездѣ имѣютъ одинаковыя свойства: человѣкъ не можетъ перемѣнить добродѣтели: судья царитъ въ его душѣ“. И здѣсь самымъ яснымъ и обильнымъ источникомъ служить опять *Le Philosophe ignorant*. Главы 31—32 объясняютъ, что всѣ народы, даже самые грубые, имѣютъ понятіе о справедливости: вездѣ есть заповѣдь, что должно уважать отца и мать, отвергать нарушеніе слова, клевету и убійство; понятіе о справедливости имѣетъ такое всеобщее господство, что даже преступленіе старается извинять себя предлогомъ справедливости. Ничего нѣтъ несправедливѣе войны, но ни одинъ завоеватель не беретъ за мечъ, не выставляя своего насилія требованіемъ справедливости; даже разбойники и воры грабятъ и воруютъ только потому, что считаютъ распредѣленіе богатствъ несправедливымъ: ни одинъ заговорщикъ не говоритъ, что онъ хочетъ совершить преступленіе.—онъ говоритъ только, что хочетъ освободить отечество отъ несправедливыхъ тирановъ. На основаніи этихъ положеній Вольтеръ и въ этомъ сочиненіи вступаетъ въ открытую борьбу противъ Локка.

Едва ли есть какое-нибудь значительное сочиненіе Вольтера, которое бы не проповѣдывало преимущества морали надъ вѣрованіемъ. Мораль, какъ выражается Вольтеръ, есть единственная истинная религія и философія: „потому что, — говоритъ онъ въ *Философскомъ Словарѣ*, — мораль одна у всѣхъ людей, поэтому она идетъ отъ Бога; культъ различенъ, следовательно онъ есть дѣло человѣка“. Ср. разсужденія въ *Философскомъ Словарѣ*: *Religion* (т. 43. стр. 60—83). *Vertu* (ib. стр. 424 слѣд.). *Théisme et Théiste* (ib. стр. 323 слѣд.). *Tolérance* (ib. стр. 341.).

Прекрасные разговоры между *Cu-su* и *Kou*, написанные въ 1764 г., высказываютъ сумму всѣхъ нравственныхъ истинъ, живущихъ въ человѣческой груди, въ двухъ предложеніяхъ: „живи такъ, какъ бы по смерти ты желалъ прожить“ и дѣлай своему ближнему то, что желаешь, чтобы онъ дѣлалъ тебѣ“.

Какъ Лессингъ послѣднимъ завѣщаніемъ своихъ глубочайшихъ убѣжденій поставилъ слова Іоанна: „дѣти, любите другъ друга“. такъ и Вольтеръ, котораго и до сихъ поръ все еще обвиняютъ въ самомъ пустомъ легкомысліи и себялюбіи, въ седьмой пѣснѣ своего дидактическаго стихотворенія о человѣкѣ, указываетъ на слова І. Христа: „*Aimez Dieu, mais aimez aussi les mortels*“, восхваляя благороднаго Сень-Пьера, который изобрѣлъ слово *Bienfaisance*. — потому что это слово обнимаетъ все, что есть добродѣтель и нравственность.

*Геттнеръ.*

---

### Вольтеръ, какъ писатель.

Въ Германіи не всегда достаточно оцѣнивается неизмѣримое вліяніе, произведенное Вольтеромъ. Можетъ быть это потому, что, по словамъ *Bois-Beumond*, мы всѣ вольтеріанцы, и по этой причинѣ, обладаніе, впервые достигнутыми Вольтеромъ, благами, кажется намъ такимъ обыкновеннымъ дѣломъ, что мы потеряли настоящій масштабъ для измѣренія той исполненной силы, которая была приложена въ борьбѣ за ихъ пріобрѣтеніе. Во всякомъ случаѣ Вольтеру вредитъ его многосторонность въ наше время, въ которое такъ велико раздѣленіе труда въ области наукъ. Едва ли есть какая либо отрасль знанія, въ которой Вольтеръ не выступилъ бы какъ писатель; всѣ его ученые труды встрѣчаются съ недовѣріемъ и упрекомъ за ихъ поверхность. Если не смотреть на Вольтера какъ на историческаго писателя, въ чемъ онъ дѣйствительно прокладываетъ новый путь и даетъ исходную точку для новѣйшаго историческаго изложенія, то въ области естественныхъ наукъ онъ никакъ не можетъ быть причисленъ къ ученымъ, сдѣлавшимъ открытія; какъ философъ, онъ не имѣетъ самостоятельной системы и не развилъ бывшаго до него круга идей. Но едва ли какой-либо писатель оказалъ, подобно Вольтеру, такія большія услуги наукамъ, въ кото-



рыхъ онъ не выступалъ творцомъ. Болѣе глубокіе мыслители умножили существовавшіе до нихъ предметы изученія и вслѣдствіе новаго міровоззрѣнія разрушили глубоко укоренившіяся системы, а массы народа и не подозрѣвали о совершающемся переворотѣ на высотахъ наукъ. Вольтеръ сообщилъ идеи Ньютона и Локка всѣмъ не посвященнымъ любителямъ просвѣщенія и до крайнихъ границъ довелъ новое міровоззрѣніе.

Чтобы такъ дѣйствовать, у него былъ необыкновенный даръ проникать въ незнакомый ему предметъ и разобратъ въ самыхъ запутанныхъ вопросахъ, съ геніальною способностью передачи усвоеннаго изъ рукъ въ руки. Сила, какою владѣетъ Вольтеръ, не имѣютъ ни Монтескье, ни даже Руссо. Монтескье, со своимъ спокойствіемъ и безстрастіемъ, есть писатель для великихъ умовъ. Часто онъ намѣренно темнѣетъ и просто хочетъ быть разгаданнымъ; уже одно напряженіе, котораго онъ требуетъ отъ своихъ читателей, дѣлаетъ ихъ кругъ ограниченнымъ. Руссо, относительно слога и изложенія, прямая противоположность Вольтеру. Онъ врагъ всякаго конкретнаго способа выраженія. Множество неопредѣленныхъ и отвлеченныхъ выраженій принуждаетъ его читателя къ постоянной провѣркѣ, правильно ли онъ понялъ смыслъ и отъѣнки. Лирическій языкъ Руссо можетъ привести въ упоеніе. Если кто-либо неосмотрительно поддастся его очарованію, у того за упоеніемъ неминуемо слѣдуетъ утомленіе. Вольтеръ съ неподражаемымъ умѣньемъ выставляетъ впередъ сущность вопроса. Его изложеніе ведетъ прямо къ цѣли. Онъ, по возможности, избѣгаетъ всего не идущаго къ дѣлу и всякаго излишняго представленія, отвлекающаго отъ преслѣдуемой мысли. Направляя вниманіе на самое необходимое, онъ умѣетъ шутя знакомить своихъ читателей съ труднѣйшими научными проблемами. Короткія, ясныя, какъ кристаллъ, предложенія слѣдуютъ одинъ за другимъ, а мысль, которую они хотятъ сообщить, ясно выражается въ каждомъ изъ нихъ единственнымъ словомъ. Вольтеръ съ такимъ совершенствомъ владѣетъ искусствомъ не все сказать, что онъ заставляетъ читателя думать, будто онъ самъ дополняетъ необходимое. Его ослѣпительно блестящій умъ и веселость изложенія, всегда перебитого тонкимъ остроуміемъ, ироніей и ѣдкою насмѣшкою, въ равной мѣрѣ увлекаютъ и учащагося, и знающаго. Потому и сказали о слогѣ Вольтера, что онъ созданъ для

вѣчности. Разсмотрите только тѣ мелкія произведенія Вольтера, въ которыхъ въ настоящее время, когда исчезъ уже всякій интересъ къ ихъ содержанію, можно только удивляться искусству въ ихъ изложеніи. Они прямо указываютъ на художника, котораго мастерская рука сумѣла найти непреходящую форму для просто случайнаго. Говорили, что Вольтеръ не богатъ былъ мыслями, и что онъ развивалъ только опредѣленное число повторявшихся мыслей. „Какъ искусный генералъ, утверждаетъ Мерсье, Вольтеръ возбуждаетъ подозрѣніе, что его военныя силы больше, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, потому что онъ проводитъ все одни и тѣ же войска“. При этомъ, несмотря на частыя повторенія, Вольтеръ не говоритъ ничего безполезнаго. И никто не знаетъ лучше его самого, что его сочиненія такъ часто выражаютъ однѣ и тѣ же мысли. Но такъ какъ онъ хочетъ подчинить весь народъ своимъ идеямъ, и знаетъ его лѣность и неповоротливость, то онъ и старается привести его къ цѣли постояннымъ повтореніемъ. „Я буду такъ часто и такъ долго повторять одно и то же“, восклицаетъ онъ, „пока не устранять тѣхъ злоупотребленій, противъ которыхъ я встаю“.

*Герицъ.*

### Характеристика Вольтера.

Это было частное лицо, не отличавшееся высокимъ происхожденіемъ, а между тѣмъ, можно сказать, насколько позволяютъ судить настоящія изслѣдованія, что если устранить Вольтера и его дѣятельность изъ XVIII столѣтія, то это произведетъ большую разницу въ порядкѣ вещей. Можетъ быть, за единственнымъ исключеніемъ Лютера, не найдется ни одного человѣка съ такою умственною дѣятельностью, вліяніе и слава котораго сдѣлалась бы такъ популярна въ Европѣ, какъ слава и вліяніе Вольтера. Подобно великому нѣмецкому реформатору, его ученіе съ самаго начала производило вліяніе не только на вѣрованія мыслящаго человѣка и, молча, распространялось на всѣ умы, но въ высшей степени вліяло и на дѣйствія политическаго міра и способствовало къ страшнымъ гражданскимъ переворотамъ, о которыхъ рассказываетъ европейская исторія.



Безъ сомнѣнія. Вольтеръ казался уже своимъ современникамъ, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, которые имѣли уже нѣкоторое понятіе о тогдашнемъ настроеніи умовъ, замѣчательною и вполне историческою личностью, но, можетъ быть, самые горячіе его поклонники не смѣли пророчить ему того величія, которымъ, онъ окруженъ теперь въ глазахъ даже своихъ противниковъ и хулителей. Онъ пріобрѣталъ все болѣе и болѣе значенія по мѣрѣ того, какъ время отдаляло его отъ насъ, и по мѣрѣ того, какъ его дѣятельность начала обнаруживать явные результаты. Наперекоръ многимъ великимъ агитаторамъ, Вольтеръ всюду является человѣкомъ своего вѣка, соединяя въ себѣ всѣ умственные преимущества, наиболѣе цѣнимыя въ то время. Но при этомъ у него недоставало остроумія понять дальнѣйшія стремленія этого вѣка, у него не было благородства бороться съ ними и тѣмъ производить на нихъ непосредственное вліяніе. Онъ велъ толпу, куда увлекалъ ея собственный слѣпой инстинктъ, и держался во главѣ движенія, умѣя не только отдавать приказанія, но заставлять и повиноваться себѣ. Въ настоящее время, когда на это дѣло смотримъ мы издали, всѣ дѣйствія его послѣдователей и учениковъ, даже цѣлый рядъ могучихъ политическихъ переворотовъ, въ которыхъ эти дѣйствія, впрочемъ, принимали довольно пассивное участіе, кажутся намъ какъ бы исключительно его дѣломъ, такъ что онъ представляется намъ воплощеніемъ и квинтъ-эссенціею цѣлаго умственного періода, теперь почти исчезнуваго, но все-таки замѣчательнаго и любопытнаго для насъ, стоящихъ, повидимому, на порогѣ новаго и болѣе лучшаго.

Если бъ мы даже забыли, что нашъ вѣкъ есть „вѣкъ прессы“ гдѣ всякій не только можетъ читать, но и снабжать насъ чтеніемъ, и если бъ мы только пересчитали тѣ книги и брошюры, разсѣяныя, какъ осенніе листья, которыя были напечатаны объ этомъ человѣкѣ, то мы могли бы смотрѣть на него, какъ на замѣчательную личность не только XVIII столѣтія, но и всѣхъ столѣтій, начиная съ самаго всемірнаго потопа. У насъ есть біографіи Вольтера, написанныя его друзьями и врагами—Ковдорсе, Дюверне и Лепаномъ. Частныя замѣтки, документы и разнаго рода достовѣрныя или сомнительныя свѣдѣнія были составлены безчисленнымъ количествомъ рукъ, изъ которыхъ мы упоминаемъ только о

трудахъ его секретарей: Коллини, появившихся двадцать лѣтъ тому назадъ, и двухъ объемистыхъ томовъ Лопшана и Ванъ-ѣра. Кромѣ того, существуетъ замѣчательное во многихъ отношеніяхъ собраніе барона Гримма; затѣмъ 36 томовъ сплетенъ и болговни, явившихся подъ заглавіемъ *Mémoires de Bachaumont*; памфлеты и панагерики, выходившіе отдѣльно при его жизни, и цѣлая масса критическихъ статей, написанныхъ въ формѣ апоѳеоза или проклятій, отпечатанныхъ послѣ его смерти, и множество бѣглыхъ замѣтокъ, которыя могли бы наполнить цѣлыя библіотеки. Оригинальный талантъ французовъ къ повѣствованіямъ, анекдотическимъ рассказамъ придаетъ этимъ произведеніямъ удобо-читаемый характеръ, а вслѣдствіе этого качества они легко распространились не только во Франціи, но и за границей, такъ что о Вольтерѣ читала большая часть странъ, и его имя и жизнь сдѣлались такъ же извѣстны, какъ жизнь какого-нибудь деревенскаго сосѣда.

Въ Англіи, по крайней мѣрѣ, гдѣ въ продолженіе цѣлаго столѣтія изученіе иностранной литературы ограничивалось только французскими писателями и старинными италіанскими классиками, въ читателяхъ произведеній Вольтера и сочиненій, касавшихся его, недостатка не было. Мы полагаемъ, что нѣтъ литературной эпохи, даже отечественной, относительно которой англичане были бы такъ свѣдуши или, по крайней мѣрѣ, собирали бы столько анекдотовъ и мѣвній, какъ относительно эпохи Вольтера. Также не было недостатка и въ отечественныхъ произведеніяхъ по этому предмету, отличавшихся разнообразіемъ формы и содержанія. Проклятія, хулы и страшныя угрозы, напоминавшія мрачныя изображенія на испанскихъ „*Sanbenitos*“, выходившія изъ головы ограниченныхъ, но благомыслящихъ людей враждебнаго класса: громкія похвалы явныхъ или тайныхъ друзей, — все это издавна и въ обширныхъ размѣрахъ совершилось у насъ. Существуетъ даже англійская „біографія Вольтера“, изданная въ 1821 г. Голлемъ Стэндишемъ (Gall Standisch); кромѣ того, мы припоминаемъ, какъ въ брошюрѣ одного „деревенскаго джентльмена“ нѣкоторыя мѣста изъ его сочиненій цитировались съ „ужасомъ“, — въ брошюрѣ, трактовавшей, трудно сказать, о народномъ ли образованіи, или о сохраненіи дичи...

Замѣчательнъ фактъ, что въ послѣдніе пятьдесятъ лѣтъ



жизни Вольтера его хулители рѣдко или даже вовсе не упоминали объ немъ безъ того, чтобъ не назвать его „великимъ“, такъ что если соединить слоги такъ же удачно, какъ это сдѣлано съ именемъ „*Charle Magne*“, то можно бы было надѣяться, что его имя перейдетъ въ потомство не просто Вольтеръ, а „*Voltaire-se-grand-homme*“. Но потомство гораздо сдержаннѣе въ этомъ дѣлѣ; ему предстоитъ еще объяснить много вещей и сомнительныхъ вопросовъ, пока оно будетъ въ состояніи наградить человѣка подобнымъ титуломъ. Чтобъ выяснитъ истинное значеніе Вольтера относительно его самого и міра, его спеціальный характеръ и человѣческое достоинство, опредѣлитъ его вліяніе на общество, какъ дѣятельное орудіе въ европейской культурѣ, — намъ необходимо углубиться въ изслѣдованія, на рѣшеніи которыхъ вертится все дѣло.

Мы сознаемся, что при взглядѣ на жизнь Вольтера главное качество ея составляетъ такъ называемая „ловкость“. Величіе заключаетъ въ себѣ многія условія, существованіе которыхъ въ его жизни трудно доказать, но притязанія его на это величіе неоспоримы. Были ли у него высокія или пошлыя, справедливыя или ложныя цѣли, — онъ все-таки всегда умѣетъ найти средства приложить и употребить ихъ въ дѣло. При этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что цѣль его вообще не простого свойства, достигнуть ея не легко, потому что немногіе писатели вели такую превратную жизнь и отличались такою разнообразною дѣятельностью, какъ Вольтеръ. Онъ проводитъ свою жизнь не въ углу, какъ ученый затворникъ, но на открытой сценѣ міра, въ подвижномъ вѣкѣ, когда общество начинаетъ разлагаться, суевѣріе вступаетъ въ смертельную борьбу съ невѣріемъ, въ борьбу, въ которой онъ самъ играетъ выдающуюся роль. Съ раннихъ лѣтъ онъ находится въ постоянныхъ сношеніяхъ съ высокопоставленными лицами того времени, живетъ въ авторитетныхъ кружкахъ, вращается въ избранномъ и людномъ обществѣ. Нинона де-Ланкло оставляетъ мальчику наслѣдство для покупки книгъ, — онъ еще молодъ, но говоритъ о своихъ собесѣдникахъ: „мы или принцы, или поэты“. Въ послѣдующій періодъ жизни мы находимъ его въ обществѣ или въ перепискѣ со всѣми короновавшими особами, начиная съ англійской королевы Каролины и Екатерины II и кончая папой Бенедик-

томъ и Фридрихомъ Великимъ. Между тѣмъ какъ онъ, такимъ образомъ, пишетъ свои письма изъ одного конца Европы въ другой, укрывается въ деревнѣ или роскошно живетъ въ столицахъ, онъ все-таки не покидаетъ своего пера, которымъ, какъ волшебнымъ жезломъ, управляетъ и руководить громадною машиною европейскаго мнѣнія. Онъ дѣлается, какъ ему уже предсказалъ его учитель, „корифеемъ деизма“ и, не довольствуясь этимъ званіемъ, старается, и довольно успѣшно, соединить съ нимъ званіе поэта, историка и философа. При этомъ мы должны замѣтить, что онъ отлично устраиваетъ свои денежные дѣла, спекулируетъ фондами, домогается пенсій и повышеній, ведетъ торговлю съ Америкой, состоитъ долгое время поставщикомъ провіанта для армій и увеличиваетъ этими и другими средствами, кромѣ литературы, не приносящей никогда много, свой крайне скудный доходъ болѣе, чѣмъ во сто разъ. И затѣмъ, вмѣстѣ съ коммерческими дѣлами, написавъ до тридцати популярнѣйшихъ томовъ in 4<sup>o</sup>, онъ, послѣ долгаго изгнанія, возвращается въ свой родной городъ, гдѣ его встрѣчаютъ, какъ бога, и заканчиваетъ жизнь приличною смертію, именно захлебывается въ океанѣ похвалъ, такъ что можно сказать, что если онъ жилъ для славы, то и умеръ отъ нея.

Такой разнообразный, полный успѣхъ, выпадавшій, въ какомъ бы то ни было вѣкѣ, только на долю немногихъ людей, заставляетъ предполагать если не счастливую судьбу, то, по крайней мѣрѣ, безпримѣрную ловкость въ употребленіи средствъ. Тутъ необходимъ былъ великій талантъ, причина, соотвѣтствующая дѣйствию. И въ самомъ дѣлѣ, любопытно взглянуть, съ какимъ замѣчательнымъ искусствомъ Вольтеръ держитъ свой курсъ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. какъ ловко объѣзжаетъ, несмотря на бури, мысъ Доброй надежды; тамъ набираетъ свѣжей воды, вступаетъ въ торговую сдѣлку съ дикаремъ, укрывается въ надежной бухтѣ, пока минуетъ буря, и такимъ образомъ, наперекоръ волнамъ, морскимъ чудовищамъ и вражескимъ кораблямъ, кончаетъ свое долгое путешествіе съ гордо развѣвающимся флагомъ и съ палубою, покрытою золотомъ и серебромъ. Не говоря ничего о его литературномъ характерѣ, главною чертою котораго была та же самая неподражаемая ловкость, мы взглянемъ только на его общій образъ дѣствий, выразившійся какъ



въ его сочиненіяхъ, такъ и въ поступкахъ. Поочередно и какъ нельзя кстати онъ то повелѣваетъ и прислуживаетъ, то, подобно Гиперіону, метаетъ съ вершины горъ свои острые стрѣлы, или, чуя приближающуюся опасность, забивается куда-нибудь въ темный уголъ, или, захваченный на мѣстѣ преступленія, клянется, что онъ сдѣлалъ это изъ шутки и что онъ благонамѣреннѣйшій человѣкъ въ мірѣ. Онъ дѣйствуетъ, смотря по обстоятельствамъ; можетъ до известной степени обдавать холодомъ или жаромъ и никогда не прибѣгаетъ къ силѣ тамъ, гдѣ есть возможность обойти хитростью. Іерархическія ищейки, надѣленные тонкимъ чутьемъ и острыми зубами, спускаются на него. но онъ хитеръ, какъ лиса, и его не скоро поймашь. Ловкими маневрами сумѣетъ онъ обмануть преслѣдователей, укрыться подъ землею, такъ что и слѣдовъ его не пайдешь. При этомъ онъ окружаетъ себя странной системой анонимовъ и мистификаціями всевозможнаго рода. Для собственной защиты у него нѣтъ постоянной арміи, но все-таки онъ „европейская сила“, не лишенная защиты, — невидимая, неприступная, до сихъ поръ не признанная крѣпость общественнаго мнѣнія охраняетъ его. Съ большимъ искусствомъ поддерживаетъ онъ эту крѣпость, перѣдко дѣлая изъ нея вылазки далеко за назначенные ему предѣлы. Но у него, какъ у сказочныхъ героевъ, есть шапка-невидимка и свои сапоги-скороходы.

Въ Вольтерѣ мы видимъ то ловкаго царедворца, то ядовитого сатирика; онъ можетъ богохульствовать и вмѣстѣ съ тѣмъ созидать храмы, смотря по признакамъ времени. Фридрихъ Великій не слишкомъ высокъ для его дипломатіи, а бѣдный типографщикъ, печатавшій его „Задига“, не слишкомъ низокъ; онъ сумѣетъ поддѣлаться къ кардиналу Флѣри и священнику церкви St. Sulpice и смѣется себѣ въ кулакъ надъ всѣмъ міромъ. Мы можемъ назвать его лучшимъ политикомъ, о какомъ только рассказываетъ исторія; по крайней мѣрѣ. можно сказать, что онъ былъ самымъ ловкимъ писателемъ.

При этомъ самые злѣйшіе враги его, повидимому, не будутъ отрицать, что онъ владѣлъ врожденнымъ чувствомъ прямоты, какъ вообще всякой добродѣтели. Внѣшняя живость темперамента характеризуетъ его, а его теплое чувство ко всякой формѣ красоты не только разумно, но и нравственно. Его практическая жизнь не мало представляетъ тому дока-

зательствъ, дѣлающихъ ему честь. Для немущихъ онъ былъ во всякое время благодѣтелемъ, многіе голодные авантюристы пользовались его добротою и нерѣдко кусали руку, кормившую ихъ. Если мы перечислимъ его благородныя поступки, начиная съ дѣла аббата Дефонтена и кончая вдовой Калласъ, то увидимъ, что немногіе изъ частныхъ людей такъ далеко простирали свое благодѣяніе и такъ дорожили имъ. Если замѣтить, что честолюбіе принимало не малое участіе въ этихъ поступкахъ, то и тогда мы должны сказать, что Вольтеру нечего было гоняться за славой, а если бездушные люди будутъ утверждать, что все-таки слава была главнымъ мотивомъ этихъ поступковъ, — мы напомнимъ имъ, что любовь къ подобной славѣ уже сама по себѣ есть проявленіе гуманнаго общительнаго сердца, и мы желали бы, чтобъ она, какъ признакъ громаднаго прогресса, одушевляла всѣхъ людей. Вольтеру на опытъ была знакома человѣческая низость, поэтому-то онъ всегда и сочувствовалъ человѣческимъ страданіямъ и находилъ удовольствіе облегчать ихъ, если даже онъ этимъ вмѣсто всякой награды доставлялъ себѣ только одно благородное наслажденіе. Его дружескія отношенія, повидимому, были постоянны и продолжительны; даже на такихъ глупцовъ, какъ Тирьо, которыхъ терпѣлъ только по привычкѣ, онъ, послѣ неоднократныхъ оскорбленій, продолжаетъ смотрѣть, какъ на друзей. Относительно людей, равныхъ ему, онъ не питалъ зависти, по крайней мѣрѣ, явной, что, во всякомъ случаѣ, было удивительно встрѣтить въ человѣкѣ, пользовавшемся такою всеобщею популярностью. Противъ Монтескье и, можетъ быть, его одного онъ не можетъ скрыть злобы, но при этомъ публично отдаетъ ему полную справедливость. Даже относительно своихъ враговъ и людей, обманувшихъ его довѣріе, Вольтеръ не является непримиримымъ или мстительнымъ человѣкомъ. Минута ихъ раскаянія вмѣстѣ съ тѣмъ и минута его прощенія; самая враждебность ихъ иногда раздражаетъ его и вызываетъ на нападки. Его сердце слишкомъ добро, слишкомъ легкомысленно, чтобъ онъ могъ долго питать злобу или мщеніе. Если у него не достаетъ способности прощать, то у него нѣтъ недостатка въ умѣ — забывать. Если онъ при своихъ продолжительныхъ, длившихся всю его жизнь спорахъ, не могъ великодушно поступать съ своими противниками, то все-таки онъ не обходился



съ ними неблагогородно и не прибѣгалъ къ абсолютной подлости, которая по закону возмездія такъ нерѣдко оправдывается.

Если мы не можемъ назвать его героемъ, то все-таки онъ въ нашихъ глазахъ вполне образованный, воспитанный человекъ, — обстоятельство поразительное, когда мы вспомнимъ, что ему приходилось вести войну съ озлобленными теологами, войну „на ножахъ“ съ ихъ стороны. Онъ выказываетъ много второстепенныхъ добродѣтелей, по которымъ уже можно судить его высшія качества; при этомъ онъ не такъ обилень недостатками, которыхъ слѣдовало бы ожидать при его положеніи, и которые, во всякомъ случаѣ, можно бы было и извинить.

Все это хорошо и доказываетъ, что при всѣхъ этихъ качествахъ можетъ образоваться достойный уваженія дѣловой человекъ, въ обширномъ смыслѣ этого слова, по всѣ эти качества еще не достаточны, чтобъ сдѣлать изъ него великій характеръ. И дѣйствительно, въ натурѣ Вольтера заключается большой недостатокъ, который роковымъ образомъ препятствуетъ ему достигнуть этого. Мы говоримъ о его врожденномъ легкомысліи, объ отсутствіи въ немъ всякой серьезности. Вольтеръ родился насмѣшникомъ, и эта природная склонность, вслѣдствіе образа жизни, перешла въ преобладающую, всепроникающую привычку. Мы далеки отъ того, чтобъ утверждать, что невозмутимая серьезность должна быть существеннымъ условіемъ величія, что великому человеку слѣдуетъ имѣть натянутую, кислую физіономію, которую бы никогда не оживляла и не согрѣвала веселость. Въ мірѣ много вещей, достойныхъ осмѣянія, но не мало и вещей, достойныхъ уваженія, и тотъ не можетъ похвалиться всеобъемлющимъ умомъ, кто не въ состояніи воздать должное каждой вещи. Тѣмъ не менѣе презрѣніе — опасная стихія, чтобъ ею играть, — смертельная, если мы привыкнемъ жить въ ней. И дѣйствительно, какимъ образомъ можетъ человекъ совершать великія предпріятія, переносить трудъ и противиться соблазну, если онъ не любитъ горячо того, что преслѣдуетъ? Способность любви, уваженія — вотъ признакъ и мѣрило великихъ душъ. Неразумно направленная, она ведетъ къ великимъ бѣдствіямъ, но безъ нея не можетъ быть ничего добраго.

Насмѣшка, напротивъ, есть способность, на которую ея обладатели возлагаютъ многое, но въ сущности эта способ-

ность не велика, — мы можемъ сказать, что она мѣньшая изъ всѣхъ способностей, а между тѣмъ многіе люди относятся къ ней съ нѣкоторымъ уваженіемъ. Она прямо противорѣчитъ мысли, знанію, — ея пища и сущность заключается въ отрицаніи, скользящемъ по поверхности, между тѣмъ какъ знаніе нѣдрится глубоко. Кромѣ того, насмѣшка уже по своей природѣ эгоистична и въ нравственномъ отношеніи тривіальна. Она только льститъ нашему тщеславію, питаетъ его, между тѣмъ какъ было бы гораздо лучше представить ее вполне самой себѣ.

Мы не одинъ разъ старались найти дѣйствительный смыслъ въ афоризмѣ, обыкновенно приписываемомъ Шефтсберп, — по котораго, впрочемъ, мы не могли отыскать въ его сочиненіяхъ, — афоризмѣ, гласящемъ, что „насмѣшка есть пробный камень истины“. Изъ всѣхъ химеръ, когда-либо встрѣчавшихся намъ въ формѣ философскаго ученія, подобная химера кажется намъ самою нелѣпою и непонятною. Развѣ человѣческій умъ когда-нибудь понималъ ее и вѣрилъ ей? Насколько обыкновенный человѣческій умъ можетъ понять, смѣхъ не менѣе зависитъ отъ смѣющагося, какъ и отъ осмѣяннаго, и мы теперь спрашиваемъ, кто далъ насмѣшникамъ патентъ, что они всегда правы и всезнающіе? Если философамъ залива Нутка пришлось смѣяться надъ маневрами матросовъ Кука, были ли эти маневры отъ этого безполезны, и слѣдовало ли морякамъ стоять сложа руки, или воспользоваться кожаными лодками, пока пройдетъ этотъ смѣхъ?

Но, оставивъ этотъ вопросъ, мы замѣтимъ только, что всѣ великіе люди старались ограничить этотъ талантъ или эту склонность къ насмѣшкамъ; такъ, въ вѣкахъ, на которые мы смотримъ, какъ на величайшіе, большинство искусствъ, содѣйствовавшихъ этому величію, считались занятіемъ, не достойнымъ свободныхъ людей и предоставлены были однимъ рабамъ.

Въ Вольтерѣ, по природѣ или по привычкѣ, не замѣтно подобнаго ограниченія. Насмѣшка сдѣлалась непреодолимымъ влеченіемъ его ума, такъ что для него во всѣхъ вещахъ первымъ вопросомъ было не то, что истинно, а что ложно, не то, что слѣдуетъ любить, а что нужно презирать, осмѣивать и насмѣшкою выбрасывать за дверь. Онъ собираетъ обильное торжество, какъ разрушитель идеаловъ, но при этомъ



пользуется небогатою добычею. Тщеславіе находитъ достаточное удовлетвореніе, но относительно лучшей награды здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Благоговѣніе, на которое только способна человѣческая природа, вѣнецъ его нравственной силы и драгоцѣнное, какъ массивное золото, будь оно даже въ грубѣйшей формѣ, повидимому, ему непонятно и только знакомо по преданіямъ.

Слава знанія и вѣры чужда ему, онъ только знакомъ съ сомнѣніемъ и порицаніемъ. Поэтому онъ не вглядывается въ природу; вселенная, во всей ея красотѣ, и таинственномъ величій, передъ которою маленькое „я“ повергается въ прахъ, ему не открывается ни на минуту; только тотъ или другой атомъ, разницу и противорѣчіе этихъ атомовъ подмѣтилъ онъ и изслѣдовалъ. Его теорія міра, его взглядъ на человѣка и человѣческую жизнь узки и даже бѣдны для философа и поэта. Если разсмотрѣть его высшія идеи, то онѣ покажутся слишкомъ скудны, — это не что иное, какъ слабый рефлексъ собственнаго „я“ и жалкихъ интересовъ этого „я“. „Божественная идея“ была для него чужда. Онъ читаетъ исторію не глазами провидца или критика, но сквозь антикатолическіе очки. Она для него не драма, поставленная на сценѣ безконечнаго, съ солнцемъ вмѣсто лампъ и вѣчностью вмѣсто декорацій, творецъ которой Богъ и содержаніе которой и тысячеобразная мораль ведетъ чрезъ мракъ и свѣтъ къ престолу Божію, по жалкій, утомительный, десятки лѣтъ продолжающійся споръ между энциклопедіею и Сорбонною. Разумъ или глупость, благородство или низость полны для него суевѣрія или невѣрія. Божій міръ для него только намѣстничество св. Петра, изъ котораго было бы недурно выгнать папу.

На этомъ основаніи натура Вольтера, въ которой вначалѣ было болѣе силы, чѣмъ глубины, достигнувъ зрѣлости, оказалась мелкою и слабою, несмотря даже на изумительныя дарованія. Въ продолженіе всей его жизни мы не подмѣчаемъ въ немъ героизма, и всѣ его тридцать шесть томовъ, по нашему мнѣнію, не заключаютъ въ себѣ ни одной великой идеи.

Большое дарованіе, которымъ надѣлила его природа и которое перѣдко обнаруживается со всею силою въ его произведеніяхъ, является тутъ не свѣтомъ, а скорѣе блудящимъ огнемъ. Свойственный такому уму энтузіазмъ также посѣщаетъ его, но у него нѣтъ продолжительной силы въ мысляхъ,

нѣтъ твердой опоры. Въ немъ заключается энергія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и мелочность, произволь, капризь, которые лишаютъ его всякаго достоинства. Объ его „*emportemens*“ и трагикомическихъ взрывахъ рассказываютъ тысячи анекдотовъ, но и при этихъ обстоятельствахъ онъ представляется не страшнымъ вулканомъ, а скорѣе уподобляется трескучей ракетѣ. Онъ чуть не убилъ франкфуртскаго полицейскаго, выстрѣливъ въ него изъ пистолета, и чрезъ три дня послѣ этого происшествія все дѣло уладило „*Oeuvre de poésie du roi mon maître*“. Книгопродавецъ, вслѣдствіе естественнаго инстинкта грѣшнаго человѣка, запросившій съ него дорого, вмѣсто уплаты получаетъ отъ философа оплеуху. Бѣдный Лоншанъ, обладая тактомъ и сохраняя приличіе, рассказываетъ нѣсколько случаевъ подобнаго рода. Такъ, напр.. Вольтеръ швырнулъ свой гребень, скомкалъ парикъ, однимъ словомъ — пришелъ въ совершенную ярость, когда однажды, проголодавшись отъ долгой прогулки и жидкаго чая, захотѣлъ поужинать, а Клеро и *madame* дю-Шатле, погруженные въ алгебраическія исчисленія, медлили сойти внизъ, вслѣдствіе чего поданныя блюда остыли, и Вольтеръ, выведенный изъ терпѣнія, ударомъ ноги отворилъ дверь ихъ комнаты и вскричалъ: „*Vous êtes donc de concert pour me faire mourir?*“ А между тѣмъ онъ имѣлъ доброе сердце, прислуга любила его и подолгу жила у него. Въ немъ заключалось много элементовъ добра, но они исчезаютъ и не образуютъ прочной и продолжительной связи. Правда, онъ представляетъ собою гладкую, тщательно обработанную поверхность, но подъ ней мы не находимъ крѣпкаго, надежнаго грунта, а видимъ только дикій хаосъ, пробивающійся сквозь нее. Онъ человѣкъ силы, но не всегда употребляетъ эту силу на благое дѣло; мы боимся его, но не уважаемъ, чувствуемъ его силу, но не находимъ въ ней возвышеннаго характера.

Большею частью этихъ духовныхъ извращеній онъ обязанъ природнымъ недостаткамъ, но многимъ обязанъ и вѣку, въ которомъ ему пришлось жить. Это былъ вѣкъ несогласія и разрыва, въ немъ чувствовалось приближеніе великаго кризиса въ человѣческихъ дѣлахъ. Мы замѣчаемъ уже въ немъ всѣ элементы французской революціи и удивляемся, — такъ легко забываемъ мы, какъ запутано и скрыто отъ насъ вообще значеніе настоящаго, — что не всѣ люди предвидѣли прибли-



женіе этого страшнаго переворота. Съ одной стороны, встрѣчаемъ мы высокую, все испытующую дѣятельность интеллигенціи; духъ изслѣдованія затрогиваетъ каждый предметъ; божественное и человѣческое безъ страха привлекается на судъ такъ называемаго разума, означающаго здѣсь не что иное, какъ логику; сильные умомъ устранены отъ правильного вліянія на государственныя дѣла и глубоко сознаютъ эту несправедливость. Съ другой стороны, мы видимъ немногихъ привилегированныхъ людей, сильныхъ покорностью большинства, но въ сущности слабыхъ; пестрый, неспособный баталіонъ клерикаловъ, близорукихъ дворянъ или, скорѣе, придворныхъ, потому что дворянство еще держится въ сторонѣ. Они не могутъ вести борьбу съ логикою, а время преслѣдованій уже миновало. Главная сила закона находится еще въ ихъ рукахъ. но глубже лежащая сила, одна придающая дѣйствительность закону, ускользаетъ отъ нихъ съ каждою минутою. Надежда одушевляетъ одну партію, страхъ другую, борьба дѣлается упорною и ожесточенною. На сторонѣ такъ называемыхъ философовъ — острота безъ мудрости, на сторонѣ ихъ противниковъ — слабость и озлобленіе; повсюду не мало гордости, но мало великодушія, нигдѣ не видно любви къ истинѣ, но вездѣ выступаетъ явное. пламенное обожаніе собственнаго я.

Въ подобномъ положеніи вещей таились зародыши разрыва. Оба приведенныя вліянія висѣли на горизонтѣ, подобно электрическимъ облакамъ, но предвѣщали не доброе; если они столкнутся, то зажгутъ небо, разрушатъ своими молніями землю и, можетъ быть, на время сотрутъ съ лица неба солнце и звѣзды. Руководящаго средства примирить эти враждебные элементы — нѣтъ; ни въ одной изъ партій не замѣтно ни истинной добродѣтели, ни настоящей мудрости. Можетъ быть, никогда во всей всемірной исторіи не встрѣчалась эпоха, гдѣ бы всеобщая испорченность такъ громко требовала реформы, а между тѣмъ люди, взявшіеся за этотъ трудъ, были лишены всякаго внутренняго достоинства. Не Гракхи, а Катилины, не Лютеръ, а Аретины должны были возродить Европу. Трудъ былъ долгій и кровавый и до сихъ поръ еще не кончившійся.

При подобныхъ условіяхъ не трудно было угадать, къ какой партіи примкнетъ такой человѣкъ, какъ Вольтеръ. Бу-

детъ ли онъ держаться обѣихъ партій, вступить ли въ центръ ихъ, не будучи приверженцемъ ни одной, можетъ быть, ненавидимый обѣими; будетъ ли поощрять и проповѣдовать истину, искаженную его вѣкомъ, по которую признаютъ будущія столѣтія, — все это составляло другой вопросъ. Ни отъ одного человѣка, какими бы дарами ни надѣлила его природа, мы не можемъ требовать того, чего онъ не въ состояніи дать, но Вольтеръ самъ называлъ себя философомъ. И такова перѣдко, почти всегда, была судьба великихъ людей и горячихъ друзей мудрости, что ихъ собственный вѣкъ и отечество смотрѣли на нихъ, какъ на людей, не имѣвшихъ значенія; на великомъ всемірномъ рынкѣ жемчугъ ихъ принимали за испорченный ячмень и отвергали съ презрѣніемъ. Не имѣя приверженцевъ, сильные только своею вѣрою, неодолимымъ сознаніемъ своего достоинства и права, они на словахъ или на дѣлѣ вzywали къ будущимъ вѣкамъ, когда ихъ собственный слухъ уже будетъ закрытъ для любви и ненависти, но когда истина, жившая въ нихъ, заговоритъ во всеуслышаніе. Бэконъ завѣщалъ свои произведенія будущимъ поколѣніямъ, долженствующимъ явиться послѣ нѣсколькихъ столѣтій.

„Развѣ мнѣ не тяжело“, говоритъ Кеплеръ въ своемъ уединеніи, подъ гнетомъ крайней пужды, „что люди ничего не хотятъ знать о моемъ открытіи? Если Всемогуцій шесть тысячъ лѣтъ ждалъ человѣка, который бы могъ видѣть, что Онъ создалъ, то я, вѣроятно, буду ждать двѣсти лѣтъ такого человѣка, который пойметъ, что я видѣлъ“. Все это доказываетъ любовь къ знанію, настойчивость въ отысканіи истины, что составляетъ самую благородную цѣль человѣка, но для достиженія этой цѣли требуется высокое благородство, котораго у Вольтера нѣтъ и слѣда; можетъ быть, онъ даже не имѣлъ и понятія о немъ. Его умъ, при тогдашнемъ порядкѣ вещей, не признавалъ его; а сердце не въ состояніи было слѣдовать ему, и поэтому онъ избираетъ себѣ болѣе простой и удобный путь. Не заботясь о конечномъ исходѣ, онъ посвящаетъ себя дѣлу собственной партіи, тому классу людей, съ которыми живетъ и съ которыми желалъ бы жить въ ладахъ. Онъ вступаетъ въ ихъ ряды не безъ надежды сдѣлаться когда-нибудь ихъ главою. Это рѣшеніе вполне согласуется съ его прежними привычками и умственнымъ направленіемъ,



изъ котораго уже вытекають всѣ его позднѣйшія дѣйствія и нравственный складъ. Мы этимъ не хотимъ сказать, что Вольтеръ былъ простымъ бойцомъ, состоявшимъ на жалованьи. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ любилъ истину и былъ убѣжденъ, что защищаетъ ее, потому что въ его жизни мы не встрѣчаемъ обстоятельствъ, при которомъ онъ бы отрицалъ свое вѣрованіе или высказывалъ преднамѣренную ложь. Такая отрицательная заслуга имѣетъ свое значеніе, и желалось бы, чтобъ даже лучшимъ изъ его противниковъ она не была чужда. Но тѣмъ не менѣе его любовь къ истинѣ не та глубокая, безконечная любовь, свойственная философу, которой почти каждый вѣкъ былъ свидѣтелемъ и которой его собственная эпоха могла представить не мало примѣровъ. Его любовь, мы должны замѣтить, была гораздо ниже любви бѣднаго Жанъ-Жака, этого полупомѣшаннаго мудреца, — она скорѣе походила на умный расчетъ, чѣмъ на страсть.

Вольтеръ любилъ истину, но, преимущественно, торжествующаго свойства; мы не знаемъ примѣра, чтобъ онъ боролся за какую-нибудь развѣнчанную, преслѣдуемую истину, — но если она, хотя и въ несчастіи, является съ царскимъ достоинствомъ, надѣясь въ битвѣ добыть себѣ славу и отличіе, то онъ усердно защищаетъ ее. Даже самая вѣра у него не продуктъ душевныхъ побужденій, а скорѣе разсудка. Его первый, можетъ быть, главный вопросъ относительно какого-либо ученія касался его достоинства и пригодности. Онъ спрашивалъ: могутъ ли другіе быть увѣрены въ немъ? Могу ли я на рынкѣ промѣнять его на власть? На такіе вопросы непродажная и непокупная истина не даетъ отвѣта и проходитъ мимо.

И дѣйствительно, если мы рассмотримъ преобладающій мотивъ въ дѣятельности Вольтера, то замѣтимъ, что въ основѣ онъ былъ довольно вульгаренъ, — честолюбіе, желаніе господствовать надъ людьми, вотъ средства, которыя были въ его распоряженіи. Онъ признаетъ только одно божество — это общественное мнѣніе, потому что всѣ его дѣйствія, ихъ сила и достоинство измѣряются числомъ голосовъ. Но при этомъ нужно отдать ему справедливость, что въ пѣкоторой степени онъ не только считаетъ, но и цѣнитъ ихъ. Если любовь къ славѣ, которую мы въ такомъ человѣкѣ можемъ назвать только тщеславіемъ, составляетъ его господствующую страсть,

то все-таки при удовлетвореніи ся онъ выказываетъ нѣкоторый вкусъ. Никогда не покидающее его тщеславіе всегда искусно замаскировано. Даже свои справедливыя требованія онъ проводить тихо, безъ шума, и въ теченіе всей своей жизни не выказалъ и тѣни шарлатанства. Но, несмотря на это, онъ былъ чувствителенъ къ сужденіямъ міра даже на высотѣ славы...

Слава для Вольтера была высочайшею цѣлью, которой онъ домогался. Иногда онъ гоняется даже за популярностью. и въ этомъ случаѣ путь ему указываетъ не полярная звѣзда, а ненадежный вѣтеръ, извѣстный уже по пословицѣ своею ненадежностью. Вольтеръ упрекаетъ Людовика IX, что „ему слѣдовало бы быть выше своего вѣка“, а между тѣмъ въ немъ самомъ мы не находимъ и слѣдовъ этого героическаго превосходства. Вѣчныя воззванія къ современникамъ, вѣчныя заботы о славѣ, какъ онъ ее понималъ, указываютъ ему путь къ предпріятіямъ и способъ выполнить ихъ. Его цѣль угодить просвѣщенному или, по крайнѣй мѣрѣ, образованному классу, и онъ предлагаетъ ему, смотря по желанію, театральную пьесу для развлеченія, или скептическій трактатъ для назиданія. Для послѣдней цѣли онъ выбираетъ своимъ орудіемъ насмѣшку, и она какъ нельзя болѣе подходитъ къ этой цѣли. Тогдашній вѣкъ не былъ вѣкомъ глубокихъ идей, — никакой герцогъ Ришелье, ни принцъ Конти, ни даже Фридрихъ Великій не стали бы слушать ихъ. Только игривое, насмѣшливое презрѣніе ко всему и бесѣда, основанная на жиденькой логикѣ, могли имѣть въ то время успѣхъ. Это былъ также вѣкъ не высокихъ добродѣтелей; потребности въ героизмѣ, въ какой бы то ни было формѣ, не чувствовалось, — всѣ добивались только одной „bienséance“. Къ этимъ условіямъ Вольтеръ отлично припоровился и даже находилъ въ нихъ немалую выгоду. Общественная распущенность дозволяетъ ему снисходительно относиться къ нѣкоторымъ частнымъ порокамъ и даже, во многихъ опасныхъ случаяхъ, открываетъ ему готовое убѣжище.

Изъ всѣхъ людей Вольтеръ имѣетъ наименьшее расположеніе увеличить число мучениковъ. Ни одного поступка не запечатлѣваетъ онъ своею кровью, даже изрѣдка скрѣпляетъ его и чернилами. Свои вредныя ученія обнародываетъ онъ подъ разными анонимами и притомъ такъ искусно скры-



вается, такъ ловко прячется за всѣмъ этимъ сложнымъ механизмомъ, что всѣ его дѣйствія и поступки окружены мракомъ, одни только его произведенія видятъ свѣтъ. Ни одинъ Протей не обладаетъ такимъ проворствомъ и не принимаетъ столько образовъ. Если и случается когда-нибудь захватить его врасплохъ, онъ ухитряется пролѣзть въ щель и пропадаетъ изъ глазъ въ ту минуту, когда ему уже готова западня. Если судьи притянуть его къ допросу, онъ сумѣетъ вывернуться и не поцеремонится солгать.

Подобные принципы и привычки, такъ легко усвоенные Вольтеромъ, дѣйствуютъ, повидимому, враждебно на его нравственную природу, которая уже съ самаго начала не отличалась особымъ благородствомъ, но которая при другомъ вліяніи могла бы достигъ большаго благородства. Такъ, въ немъ мы видимъ только свѣтскаго человѣка, порожденнаго Парижемъ и XVIII столѣтіемъ: изящнаго, привлекательнаго, образованнаго въ высшей степени, но крайне самолюбиваго, не чуждаго пріятныхъ качествъ, надѣленнаго склонностями весьма обыкновенными въ свѣтскомъ человѣкѣ, но недостаточными и неумѣстными въ поэтѣ и философѣ.

Правда, что при оцѣнкѣ Вольтера мы примѣняемъ къ нему слишкомъ высокій масштабъ, сравнивая его съ идеаломъ, къ которому онъ никогда не стремился и котораго никогда не домогался. Онъ не великій человѣкъ, а великій „*Persifleur*“, человѣкъ, для котораго жизнь и все присущее ей имѣетъ, даже въ лучшемъ случаѣ, только презрѣнное значеніе, и который встрѣчаетъ опасность не серьезною силою, а самодовольною ловкостью, и не искусствомъ, а легкостью тѣла, и постоянно держится на поверхности воды. Разсмотримъ собственно его характеръ, забудемъ, что нѣкогда ему приписывался другой, и мы увидимъ, что роль свою онъ игралъ въ совершенствѣ. Ни одинъ человѣкъ не понималъ такъ всей тайны насмѣшки, подъ которою мы не только подразумеваемъ вѣншую способность вѣжливаго презрѣнія, но и то искусство общаго внутренняго презрѣнія, которымъ человѣкъ подобнаго сорта старается подчинить условія своей судьбы условіямъ силы воли, — что составляетъ природное стремленіе всѣхъ людей. — чтобъ среди матеріальной необходимости быть нравственно-свободнымъ. Скрытая насмѣшка Вольтера также легка, разностороння и всепроникающа, какъ и насмѣшка,

высказываемая имъ явно. Эта способность, впрочемъ, не такъ проста, какъ мы думаемъ. Извѣстная степень стоицизма также необходима для совершеннаго насмѣшника, какъ необходима она для нравственнаго или практическаго дополненія въ какомъ бы то ни было отношеніи. Самый равнодушный человѣкъ по природѣ неравнодушенъ къ своимъ собственнымъ страданіямъ и радостямъ. Это равнодушіе онъ старается пріобрѣсти какимъ-нибудь особымъ способомъ, или, пріобрѣтая его, выставить напоказъ, что Вольтеръ и обнаруживаетъ въ значительной степени.

Безъ всякаго ропота онъ мирится со многими вещами. Человѣческая жизнь въ этомъ мірѣ кажется страннымъ явленіемъ, но въ глазахъ его она скорѣе походитъ на фарсъ, чѣмъ на трагедію. Онъ не страдаетъ отъ того, что наша планета, подобно жалкому, пелѣному и безцѣльному кораблю, плыветъ черезъ безкопечное пространство, неся вмѣстѣ съ другими глупцами и его, нѣсколько болѣе умнаго глупца. Но во всякомъ случаѣ онъ явно не возстаетъ противъ судьбы, зная, что время, потраченное на неистовыя проклятія, можетъ быть употреблено иначе и съ бόльшею пользою. Ему совершенно чужда мечтательность, въ хорошемъ или дурномъ значеніи. Если онъ не замѣчаетъ величія ни на небѣ, ни на землѣ, то не замѣчаетъ тамъ и особыхъ ужасовъ. Его взглядъ на міръ холоденъ, презрительно-спокоенъ и крайне прозаиченъ. Его возвышенное откровеніе природы заключается въ телескопѣ и микроскопѣ. Земля для него — производительница хлѣба, звѣздное небо — морской хронометръ. Какъ умный человѣкъ, онъ вполне приурочился къ своему положенію, — не поетъ „Miserere“ человѣческой жизни, ибо знаетъ, что ему не отвѣтятъ сочувственно на это пѣніе, а наградятъ смѣхомъ подобное предпріятіе. Онъ не вѣспитъ и не топится, потому что знаетъ, что смерть въ скоромъ времени избавитъ его отъ этого труда. Страданіе не представляется ему дорогою жемчужиною, но, напротивъ, причиняетъ ему постоянное безпокойство, на которое, впрочемъ, не слѣдуетъ роптать, если успѣешь его устранить съ дороги. Если страданіе не научаетъ его покорности, то оно и не черствитъ его сердца, не развиваетъ въ немъ болѣзненнаго недовольства, онъ весело сбрасываетъ съ себя неудобное бремя или держитъ его въ почтительномъ отдаленіи.



Но все-таки жизнь Вольтера была слишком богата превратностями и невзгодами, чтобъ можно было постоянно руководствоваться этимъ принципомъ и пытаться узнать: дѣйствительно ли въ жизни, какъ и въ литературѣ, смѣшное лучше ѣдкой правды. И эта попытка нерѣдко удавалось ему. Повидимому, ничто не приводило его втупикъ, и не было такого сквернаго происшествія, надъ которымъ бы онъ не посмѣялся, и котораго бы не могъ забыть. Стоить только вспомнить его послѣдній визитъ Фридриху Великому. Это было самое унизительное событіе во всей жизни Вольтера, экспериментъ, совершенный передъ лицомъ цѣлой Европы, чтобъ доказать, найдется ли во французской философiи достаточно благородства, чтобъ можно было заключить дружескій союзъ между ея великимъ учителемъ и его знаменитымъ ученикомъ, — и экспериментъ отвѣтилъ отрицательно. И это было совершенно естественно, потому что тщеславіе уже по своей природѣ ищетъ одиночества и соединиться не можетъ, а между королемъ литературы и королемъ арміи не было другого союза. Они издали мѣнялись лестью и, подобно небеснымъ свѣтиламъ, — если они на себя такъ смотрѣли, — согласно силѣ тяготѣнія, приближались другъ къ другу, но всегда съ соразмѣрною центробѣжною силою, потому что если случалось одному, въ припадкѣ бѣшенства, оставлять свою сферу, то неминуемымъ слѣдствіемъ было взаимное столкновение,

Мы съ сожалѣніемъ смотримъ на Фридриха, окруженнаго цѣлою толпою философовъ. По всему вѣроятію, это ему нравилось, но все-таки французы при Росбахѣ, съ ружьями въ рукахъ, были ничто въ сравненіи съ французами въ Сасуси. Мопертюи сидитъ молча и угрюмо, какъ сѣверный медвѣдь, а Вольтеръ заставляетъ его плясать для потѣхи народа. Дворъ, наполненный паразитами, кишитъ завистью, ненавистью и интригами...

А между тѣмъ Вольтеръ на все это прискорбное дѣло набрасываетъ покровъ веселости; франкфуртскій арестъ — горькое блюдо, поднесенное ему королемъ, но онъ съѣдаетъ его, хотя насильно, а все-таки съѣдаетъ. Фридрихъ, насколько мы знаемъ, любилъ подобныя шутки, онъ былъ удачный отпрыскъ знаменитаго племени, — старикъ Фридрихъ-Вильгельмъ, его отецъ, нашелъ въ немъ усерднаго наследователя своей скупости, злости, вспыльчивости и брюзгливости.

Спустя нѣкоторое время послѣ размолвки Вольтеръ снова начинаетъ переписку съ „королемъ-философомъ“ и спокойно продолжаетъ исполнять должность „прачки“, т.-е. корректора стиховъ его величества, какъ будто между ними ничего и не было...

Нѣтъ сомнѣнія, что его дарованіе, какъ насмѣшника, въ обширномъ смыслѣ, было наиболѣе цѣнимо, наиболѣе возбуждало удивленія въ его вѣкъ и на его родинѣ, — впрочемъ, и въ наше время и въ нашемъ отечествѣ не мало встрѣчается поклонниковъ этого дарованія. Но тѣмъ не менѣе мы полагаемъ, что его обаяніе миновало; здравый смыслъ нашего поколѣнія взвѣсилъ его значеніе и нашелъ его недостаточнымъ. Да и самъ Вольтеръ, если бъ жилъ теперь, вѣроятно, избралъ бы себѣ другое занятіе, а не насмѣшку. Не осмѣяніемъ и отрицаніемъ, но болѣе глубокимъ, серьезнымъ и божественнымъ средствомъ создается что-нибудь великое для человѣчества, и нужно было много вѣковъ, чтобъ возвести зданіе человѣческой жизни до его теперешней высоты. Если допустить, что этотъ царь насмѣшки имѣлъ твердую, сознательную цѣль въ жизни, то возникаетъ другой вопросъ: была ли справедлива и благородна его цѣль? А этотъ фактъ можно признать только съ большими ограниченіями и даже, въ силу нѣкоторыхъ вѣроятныхъ основаній, отрицать его.

Но при этомъ мы не должны забывать, что среди вредныхъ вліяній Вольтеръ постоянно сохраняетъ гуманность, постоянно отзывается на крикъ скорби, сочувствуетъ истинѣ, красотѣ и добру. Въ нѣкоторой степени даже поэтически-любопытно изучать въ немъ всѣ эти противорѣчія. Сердце у него дѣйствуетъ, не спрашиваясь головы, а можетъ быть даже противъ ея воли, и онъ дѣлается добродѣтельнымъ наперекоръ себѣ. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ согласиться, что жизнь его, какъ частнаго человѣка, была благотворна, а не вредна для его собрата. Калласы, Сирвены, сироты и покинутые, которымъ онъ помогалъ и покровительствовалъ, могутъ заглаживать не мало его грѣховъ. Это было его собственное и, повидимому, искреннее чувство, когда онъ сказалъ:

*J'ai fait un peu de bien; c'est mon meilleur ouvrage.*

Можетъ быть, найдется не много людей, которые при его принципахъ и искушеніяхъ могли бы вести подобную жизнь, заниматься его дѣломъ и выйти изъ него съ чистыми руками.



Если мы и называемъ его величайшимъ насмѣшникомъ, то при этомъ считаемъ нужнымъ прибавить, что въ нравственномъ отношеніи онъ все-таки былъ лучшимъ изъ насмѣшниковъ. Если по универсальности, откровенности, изяществу насмѣшки онъ превосходитъ всѣхъ людей, то вмѣстѣ съ тѣмъ онъ соединяетъ такую сердечную доброту, которою едва ли когда-нибудь владѣлъ другой насмѣшникъ...

Теперь намъ остается разсмотрѣть спеціально интеллектуальныя качества этого человѣка, что составляетъ въ каждомъ писателѣ самую рельефную и въ практическомъ отношеніи важную принадлежность. Умственные дарованія Вольтера, его литературный талантъ или геній лежатъ передъ нами открытыми въ цѣлой серіи сочиненій безпримѣрныхъ, какъ мы полагаемъ, въ двойномъ отношеніи — по объему и разнообразію. Можетъ быть, нѣтъ писателя, — понятно, что мы говоримъ не о простомъ компиляторѣ, а о самобытномъ авторѣ, — который бы оставилъ по себѣ такъ много томовъ, а если мы къ арифметической оцѣнкѣ присоединимъ еще критическую оцѣнку, то оригинальность ихъ выступитъ еще рельефнѣе, потому что всѣ эти тому написаны съ видимою тщательностью и подготовкою. Въ нихъ трудно найти какую-нибудь слабую или запутанную статью, въ нихъ нѣтъ даже слабой и непонятной страницы. Относительно же разнообразія слѣдуетъ сказать, что они обнимаютъ всѣ отрасли человѣческихъ знаній, начиная съ богословія и кончая домашнимъ хозяйствомъ; тутъ вы найдете и дружескія письма, и политическую исторію, пастырь и эпическую поэму. Здѣсь необходимъ былъ рѣдкій талантъ или, скорѣе, сліяніе рѣдкихъ талантовъ, потому что результатъ въ высшей степени необыкновененъ, которому невольно подивишься.

Если во всемъ этомъ разнообразіи мы уяснимъ себѣ существенныя черты ума Вольтера, то намъ покажется, какъ будто бы мы встрѣтили здѣсь аналогію съ нашей теоріей объ его нравственномъ характерѣ, какъ это необходимо и должно случиться, если эта теорія справедлива. Ибо мыслящія и нравственныя натуры, отличающіяся только необходимостью языка другъ отъ друга, въ сущности не имѣютъ различія, но скорѣе доказываютъ, если хорошенько вникнуть въ нихъ, строгую взаимную симпатію и согласіе и представляютъ только различные фазы одного и того же неразрѣшимого единства —

живого духа. При жизни Вольтеръ не могъ имѣть права на званіе философа, и въ настоящее время въ его литературныхъ произведеніяхъ чувствуется тотъ же недостатокъ, вытекающій изъ тѣхъ же самыхъ мотивовъ. И здѣсь является онъ не величиною, а обнаруживаетъ только необходимую степень ловкости, знакомой уже намъ, — представляетъ не столько силы, сколько проворства, не столько глубины, сколько поверхностной эластичности. Эта поистинѣ поражающая способность кажется скорѣе безпримѣрнымъ сліяніемъ нѣсколькихъ обыкновенныхъ талантовъ, чѣмъ однимъ прекраснымъ и высокимъ, потому что и здѣсь встрѣчается недостатокъ серьезности и упорнаго труда. У него глазъ рыси; по первому его взгляду кажется, что онъ у него глубже, чѣмъ у другого человѣка, но ему не дано другого взгляда. На этомъ основаніи истина, живущая для философа, по старой пословицѣ, въ колодезѣ, для него, большею частью, скрыта, можно даже сказать, — навсегда скрыта, если взять во вниманіе высшій и философскій родъ истины, не открывающейся смертному безъ особаго глубокаго мышленія, которымъ Вольтеръ, повидимому, никогда не обладалъ. Его дедукція въ сущности однообразна и, такъ сказать, юридическаго, аргументальнаго и непосредственно-практическаго свойства; нерѣдко — въ чемъ мы должны согласиться — она справедлива, но не составляетъ еще совершенной истины, а взятая въ цѣломъ — ошибочна. Относительно чувства приходится сказать то же самое. Онъ вообще гуманенъ, кротокъ, любвеобиленъ, не чуждъ благородства, но легкомысленъ, капризенъ и непостояненъ, — „ловкій свободомыслитель, и все это въ одинъ часъ“. Онъ не поэтъ и философъ, но популярный, занятый пѣвецъ и разказчикъ, — въ своемъ родѣ народный ораторъ, что, въ концѣ концовъ, составляетъ совсѣмъ другой характеръ. И дѣйствительно, на послѣднемъ поприщѣ онъ не имѣетъ соперниковъ, для своей аудиторіи онъ былъ лучшимъ и краснорѣчивѣйшимъ проповѣдникомъ. Но зато въ другой, болѣе высшей сферѣ ему далеко до совершенства, и многіе писатели его же вѣка превосходятъ его. Относительно убѣдительной, такъ сказать, идущей на проломъ гигантской силы мысли онъ замѣтно уступаетъ Дидро. При всей его живости, у него нѣтъ изящества и мудрости Фонтенеля, хотя онъ и остроумнѣе его. По глубинѣ чувства,



по силѣ изображенія его, по пафосу и проникающему краснорѣчію онъ не можетъ сравниться съ Руссо.

Нѣтъ сомнѣнія, что вмѣстѣ съ универсальною воспріимчивостію ума онъ обладалъ еще удивительною плодovitостію, быстротою и ловкостію. Кромѣ того, нельзя отрицать, что, при такомъ легкомысленномъ умѣ, онъ отличается настойчивостію, способностію къ продолжительному труду и искусствомъ распорядиться своими силами. Самыя знанія его, — если даже допустить, что они были поверхностны и основывались собственно на памяти, — могли бы сдѣлать изъ него замѣчательнаго комментатора. Начиная съ открытіемъ Ньютона до ученія Брамэ, ничто не ускользнуло отъ него: онъ проникалъ во всѣ науки и литературы, даже изучалъ ихъ, потому что о всякомъ затронутомъ предметѣ можетъ сказать умное слово. Такъ напр., извѣстно, что онъ понимаетъ Ньютона еще въ то время, когда ни одинъ человекъ во Франціи не имѣлъ и понятія о немъ, и французы приписываютъ ему честь открытія для нихъ интеллектуальной Англіи, правда, открытія, напоминающаго скорѣе открытіе Куртиса, чѣмъ Колумба, по все-таки въ то время не входившаго никому въ голову. Онъ отовсюду старается привлечь свѣтъ въ свое отечество, такъ что изумленные французы въ первый разъ начинаютъ сознавать, что мысль живетъ и въ другихъ государствахъ, а цивилизація существовала прежде „вѣка Людовика XIV“. О знакомствѣ Вольтера съ исторіею или, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, что онъ называлъ исторіею, — была ли она гражданскою, церковною или литературною, — объ его громадномъ собраніи фактовъ, добытыхъ изъ всевозможныхъ источниковъ: изъ европейскихъ хроникъ и государственныхъ архивовъ, восточнаго „Зендъ-Авеста“ и „іудейскаго Талмуда“, — мы не считаемъ нужнымъ напоминать читателю. Было замѣчено, что свѣдѣнія свои онъ нерѣдко заимствовалъ изъ вторыхъ рукъ, что у него были свои сотрудники и помощники, къ которымъ онъ, въ случаѣ надобности, прибѣгалъ, какъ къ живымъ словарямъ. Повидимому, въ этомъ есть своя доля правды, но, во всякомъ случаѣ, это обстоятельство не имѣетъ вліянія на наше мнѣніе, потому что искусство такимъ образомъ заимствовать свѣдѣнія встрѣчается еще рѣже, чѣмъ способность сужать ими. Знанія Вольтера — не только простая выставка любопытныхъ вещей, но настоящій музей, имѣющій научную цѣль, гдѣ каждому

предмету отведено соотвѣтствующее мѣсто и гдѣ всякій можетъ пользоваться имъ. Нигдѣ нѣтъ путаницы, ни тщеславнаго желанія блеснуть, но всюду ясная цѣль и научный порядокъ. Можетъ быть, эта способность къ порядку, къ быстрому, обдуманному размѣщенію предметовъ и составляла корень лучшихъ дарованій Вольтера, или, скорѣе, изъ этого тонкаго, всеобъемлющаго, интеллектуальнаго взгляда развивался порядокъ для сильнаго, въ нѣкоторомъ родѣ, ума. Этотъ быстрый, ясный взглядъ на вещи и вытекавшій отсюда порядокъ представляются чисто французскими качествами, и Вольтеръ отличается ими во всякое время и даже болѣе, чѣмъ во французской степени. Ему стоитъ только бросить взглядъ на какой-нибудь предметъ, и онъ немедленно, инстинктивно пойметъ, гдѣ заключается главная идея, что составляетъ ея логическую связь, какъ соединяется причина съ дѣйствіемъ, какъ обнять цѣлое и въ ясной послѣдовательности представить его своему или другому уму. Положимъ, взглядъ его не проникаетъ глубоко, но въ томъ — то и заключается его счастье, что уже при этой незначительной глубинѣ его зрѣніе не только меркнетъ, но даже утрачивается, такъ что все лежащее ниже уже не наводитъ на него сомнѣнія, — потому что развѣ онъ не нашелъ основаніе непрогляднаго мрака, на которомъ покоятся всѣ вещи? Все лежащее ниже, по его мнѣнію, составляетъ обманъ, мечту, суевѣріе или нелѣпость, однимъ словомъ — тѣ вещи, которыя онъ отвергаетъ. Поэтому-то его и можно назвать разумнѣйшимъ изъ писателей; онъ понятенъ и ясенъ съ перваго взгляда; весь объемъ и цѣль его изысканій видны сразу, все точно и вѣрно взвѣшено, строгій порядокъ замѣтенъ какъ въ цѣломъ, такъ и въ каждой строкѣ цѣлаго.

Если мы скажемъ, что эта способность къ порядку какъ относительно пріобрѣтенія, такъ и передачи идей составляетъ лучшее качество всѣхъ предпріятій Вольтера, то этимъ мы не скажемъ ничего необыкновеннаго, потому что эта способность въ обширномъ значеніи обнимаетъ всю задачу разума. Этимъ средствомъ совершаетъ человѣкъ все для него возможное относительно виѣшней силы, преодолеваетъ всѣ препятствія и возвышается до „царя этого міра“. Эта способность есть органъ всѣхъ тѣхъ знаній, которыя по праву могутъ быть приравнены къ власти, потому что человѣкъ съ мудрою цѣлью проникаетъ въ безконечныя силы природы и умно-



жаеть свою собственную, небольшую силу до безграничнаго. Мы сказали, что человѣкъ можетъ возвыситься до бога этого міра, — но это болѣе высшій пунктъ, его нельзя достигнуть силою знанія, а слѣдуетъ избрать другой способъ, для котораго Вольтеръ едва ли обладалъ достаточнымъ дарованіемъ.

Хотя мы и познакомились съ духомъ его метода и его разнообразной пользой, но мы все-таки далеки отъ того, чтобъ признать его за методъ великаго мыслителя или поэта, въ особенности послѣдняго. Методъ поэта долженъ быть продуктомъ глубокаго чувства, свѣтлыхъ идей, продуктомъ генія или таланта, и всѣ эти качества легче найти въ произведеніяхъ Гукера или Шекспира, чѣмъ у Вольтера.

Присущій Вольтеру методъ — относительно всѣхъ предметовъ безъ исключенія — есть чисто-дѣловой методъ. Порядокъ, вытекающій изъ этого метода, не красота, но, въ лучшемъ случаѣ, правильность. Предметы его сгруппированы не живописно и даже не научно, но размѣщены удобно и искусно, какъ товаръ въ порядочномъ магазинѣ. Мы можемъ сказать, что здѣсь преобладаетъ не естественная симметрія дубоваго лѣса, а однообразная искусственная симметрія канделябра. Сравните, напр., планъ „Генріады“ съ планомъ нашего варварскаго „Гамлета“. Планъ первой напоминаетъ геометрическую діаграмму, планъ послѣдняго — картонъ Рафаэля. „Генріада“ представляется намъ красивымъ, правильно-выстроеннымъ тюльерійскимъ дворцомъ, „Гамлетъ“, напротивъ, таинственною звѣздою Валгаллою и жилищемъ боговъ.

Но тѣмъ не менѣе, какъ мы уже замѣтили, методъ Вольтера дѣловой и для его цѣлей болѣе полезный, чѣмъ какой-либо другой. Онъ руководитъ всѣмъ его трудомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ руководствомъ и для читателя; является взаимное пониманіе, такъ какъ идея передается ясно и усваивается безъ труда. Благодаря этому обстоятельству, Вольтеръ болѣе нравится юношамъ, чѣмъ старцамъ, а первое чтеніе его сочиненій производитъ болѣе благопріятное впечатлѣніе, чѣмъ второе, если только его считаютъ необходимымъ. Способность доставлять удовольствіе и пользу — заслуга немаловажная и вполнѣ принадлежитъ ему. И эта способность, по нашему мнѣнію, составляетъ главную заслугу всей его дѣятельности. Его историческія произведенія, несмотря на ихъ блестящее изложеніе и нѣкоторый яко бы философскій взглядъ, принадлежатъ къ числу

слабѣйшихъ изъ всѣхъ историческихъ сочиненій. Это — не что иное, какъ списки внѣшнихъ событій, битвъ, зданій, узаконеній и другихъ поверхностныхъ явленій. Но такъ какъ эти отчетливые списки весьма удобны для памяти и читаются легко, то мы слушаемъ ихъ не безъ удовольствія и кой-чему научаемся, даже научаемся многому, если мы прежде ничего не знали. Въ цѣломъ его искусное, хотя и сжатое изложеніе, блестящія картины скорѣе отличаются поэтическимъ, чѣмъ дидактическимъ характеромъ. Его „Карлъ XII“ можетъ служить еще и теперь образцомъ біографическаго очерка. Мельчайшія подробности переданы въ немногихъ словахъ; описанія чуждыхъ намъ людей и странъ, битвъ, приключеній и т. п. изображены слогомъ, который, относительно сжатости, соперничаетъ съ слогомъ Саллюстія. Эта миниатюрная картина, представляющая намъ шведскаго короля и его нелѣпую жизнь, написана безъ красокъ, но съ соблюденіемъ перспективы, и отличается единствомъ и гармоніею, свойственнымъ удачно выполненнымъ картинамъ, такъ что ее безусловно можно назвать лучшимъ историческимъ произведеніемъ Вольтера.

Въ другихъ его прозаическихъ сочиненіяхъ, въ его романахъ, безчисленныхъ статьяхъ и очеркахъ преимущественно выдается тотъ же самый порядокъ и ясность, то же быстрое соображеніе и остроумный взглядъ. Его „Задигъ“, „Бабукъ“ и „Кандидъ“, разсматриваемые, какъ продуктъ фантазіи, стоятъ въ глазахъ иностранцевъ выше его такъ называемыхъ поэтическихъ произведеній, полны ума и живости и, кромѣ того, отличаются, хотя и съ неправильной точки зрѣнія, остроумнымъ взглядомъ на человѣческую жизнь, на старый, хорошо знакомый дѣловой міръ, который, по причинѣ неправильной точки зрѣнія, имѣетъ и видъ неправильный и представляетъ цѣлую массу забавныхъ комбинацій. Острота, обнаруживающаяся въ этихъ и подобныхъ произведеніяхъ и нерѣдко черезчуръ обильно изливающаяся изъ ума Вольтера, была не разъ и справедливо восхваляема. Она пустила глубокіе корни въ его натуру, была неизбѣжнымъ продуктомъ подобнаго ума и подобнаго характера и общала уже съ самаго начала, какъ это и дѣйствительно случилось въ послѣдній періодъ его жизни, сдѣлаться господствующимъ языкомъ, на которомъ онъ говорилъ и даже думалъ. Но, отдавая полную справедливость неистощимому запасу, силѣ и ѣдкости остроты Вольтера, мы должны въ то



же время замѣтить, что она не была подходящимъ предметомъ такого ума, а по своей сущности должна быть причислена къ низшему разряду насмѣшки. Острота Вольтера — не что иное, какъ логическая шутка, забава головы, а не сердца: во всѣхъ его остроумныхъ выходкахъ едва можно подмѣтить искорку юмора. Въ остротѣ подобнаго рода нѣтъ скромности, нѣтъ истинной веселости, согрѣвающей душу. Въ ней даже нѣтъ способности смѣяться; она только хихикаетъ и лукаво улыбается. Она не проникнута игривою, теплою симпатіею, но отзывается презрѣніемъ или, въ лучшемъ случаѣ, равнодушіемъ. Она находится въ такомъ же отношеніи къ юмору, какъ проза къ поэзіи, которой у Вольтера нѣтъ и слѣда. Его забавное произведеніе „Rucelle“, которое по другимъ причинамъ не можетъ быть рекомендовано ни одному читателю, имѣетъ единственное достоинство — достоинство наглой и дерзкой карикатуры. Но въ немъ нѣтъ плоскихъ шутокъ паяца; оно рѣдко или почти никогда не оскорбляетъ, мы не говоримъ — чувства приличія, но хорошаго тона; этимъ отрицательнымъ достоинствомъ оно можетъ вполне похвалиться. Положительныхъ же достоинствъ въ немъ нѣтъ. Напрасно будемъ мы искать въ его произведеніяхъ тѣхъ строкъ, которыя привыкли находить въ „Донъ-Кихотъ“, „Шенди“, „Гудибрасъ“ или „Битвъ книгъ“. Вообще нужно замѣтить, что въ послѣднее время юморъ не составляетъ національнаго дарованія французовъ и со временъ Монтэня, повидимому, совершенно покинулъ ихъ. На поэтическихъ достоинствахъ Вольтера мы долго останавливаться не будемъ. Поэзія его также отличается интеллектуальнымъ характеромъ и дѣловымъ методомъ. Все рассчитано на извѣстную цѣль, всюду видна логическая соразмѣрность чувствъ, завязки и вымысла. У него нѣтъ недостатка въ энтузіазмѣ, напоминающемъ нерѣдко вдохновеніе. Онъ симпатизируетъ героямъ своихъ произведеній, съ способностью хамелеона усваиваетъ себѣ цвѣтъ каждаго предмета и если не можетъ быть этимъ предметомъ, то старается разыграть его роль самымъ правдоподобнымъ образомъ, такъ что въ результатѣ передъ нами является произведеніе, искусно и блестяще выполненное, доставляющее намъ то старинное удовольствіе, которое доставляютъ „побѣжденные трудности“ и видимая взаимная связь средствъ съ цѣлью. Что при этомъ наша душа остается безмолвна, не затронута и видитъ не всеобщую, вѣчную красоту,

но только элегантную моду, не поэтическое творчество, а скорее туалетный процессъ, — тому удивляться нечего. Это означаетъ только, что Вольтеръ былъ французскимъ поэтомъ и писалъ такъ, какъ того требовалъ и какъ тому сочувствовалъ французскій народъ тогдашняго времени. Намъ давно извѣстно, что французская поэзія стремилась къ другой цѣли, нежели наша, что ея блескъ былъ блескомъ безжизненнымъ и искусственнымъ; она походила не на обаятельную роскошь лѣтней природы, а на холодный блескъ стали...

Вольтеръ не въ качествѣ поэта, историка или романиста занимаетъ такое высокое мѣсто въ Европѣ, но преимущественно въ качествѣ религіознаго полемика, энергическаго противника христіанской религіи. Въ послѣднемъ отношеніи онъ можетъ служить матеріаломъ для серьезныхъ размышленій, изъ коихъ только на нѣкоторыя мы имѣемъ возможность обратить наше вниманіе. Вообще нужно сказать, что слогъ, которымъ написаны всѣ его нападки, вполне соотвѣтствуетъ его природѣ: его, сверхъ ожиданія, нельзя назвать ни высокимъ, ни даже низкимъ.

Какъ въ нравственномъ отношеніи у Вольтера не было недостатка въ любви къ истинѣ, хотя онъ питалъ болѣе глубокую любовь къ собственнымъ интересамъ и, вслѣдствіе этого, въ сущности не былъ философомъ, а только высокообразованнымъ человѣкомъ, такъ и въ умственномъ отношеніи онъ скорее является остроумнымъ и ловкимъ, чѣмъ благороднымъ и всеобъемлющимъ писателемъ. Онъ борется за истину, отстаиваетъ побѣду не продолжительнымъ мышленіемъ, но легкомысленнымъ сарказмомъ, вслѣдствіе чего и достигаетъ временнаго успѣха, — самая же истина, при такихъ непрочныхъ условіяхъ, все-таки ускользаетъ отъ него.

Никто, мы полагаемъ, не придавалъ оригинальнаго, самобытнаго характера этимъ спорамъ; и дѣйствительно, во всѣхъ его произведеніяхъ нѣтъ ни одной мало-мальски значительной идеи относительно христіанской религіи, которая задолго до его почина не была бы высказана нѣсколько разъ. Труды ученыхъ, начиная съ Порфирія, до Шефтсбери, со включеніемъ Гоббеса, Тиндаля, Толланда и др., изъ коихъ нѣкоторые принадлежали къ болѣе благородному разряду скептиковъ, не много оставили мѣста для дѣятельности на этомъ поприщѣ; даже Бель (Baile), его соотечественникъ, покончилъ только жизнь,



въ теченіе которой проповѣдовалъ тотъ же самый и въ томъ же духѣ скептицизмъ, когда Вольтеръ появился на аренѣ. Вообще скептицизмъ, какъ мы уже замѣтили прежде, въ то время господствовалъ въ высшемъ французскомъ обществѣ, въ которомъ Вольтеръ преимущественно вращался. И вся его заслуга или, скорѣе, ошибка заключается только въ томъ, что онъ смололъ въ муку выросшее на этой почвѣ зерно, поднесъ ее народу и многихъ заставилъ ее ѣсть. За этотъ оригинальный поступокъ мы не упрекнемъ его уже на томъ основаніи, что встрѣчаются случаи, гдѣ оригинальность можетъ составлять даже нравственную заслугу. Но болѣе серьезнаго порицанія заслуживаетъ онъ тѣмъ, что, не будучи самъ религіознымъ человѣкомъ, постоянно вмѣшивался въ религіозныя дѣла, входилъ въ храмъ и велъ себя тамъ легкомысленно, что не подобаетъ дѣлать въ храмѣ, гдѣ молятся его собратья-люди, — однимъ словомъ, упорно и настойчиво боролся съ христіанствомъ, имѣя самое поверхностное понятіе о томъ, что такое собственно христіанство.

Его полемическіе приемы въ этомъ дѣлѣ, какъ намъ кажется, слишкомъ мелочны; при всѣхъ его разнообразныхъ формахъ, оборотахъ и повтореніяхъ, онъ, по нашему мнѣнію, вертится около одного пункта, именно убѣжденія теологовъ, что св. книги написаны по вдохновенію. Это — единственная твердыня, которую онъ неутомимо громилъ цѣлые годы своими безчисленными разрушительными орудіями. Уступите ему эту твердыню, и его ядра будутъ летать въ пустое пространство, потому что другой цѣли у него нѣтъ...

Мы не рѣшаемся ни на какія доказательства, но просто повторяемъ, что составляетъ также убѣжденіе великихъ умовъ нашего столѣтія, что, несмотря на всѣ доводы Вольтера и другихъ, христіанская религія, разъ установившись, никогда не исчезаетъ и будетъ продолжаться въ той или другой формѣ во всѣ времена, и слова св. Писанія: „Врата адовы не одолѣютъ ее“ — будутъ неизгладимо жить въ сердцахъ людей. Если бы понятіе о христіанской религіи еще настолько искажилось, насколько исказили его грубыя человѣческія страсти и воззрѣнія, то и тогда встрѣтитъ она въ каждой чистой душѣ, въ каждомъ поэтѣ и мудрецѣ новаго миссіонера, новаго мученика, и это будетъ длиться до тѣхъ поръ, пока книга всемірной исторіи не закроется на вѣки и не испол-

вится, наконецъ, назначеніе человѣка на этой землѣ. Вотъ высшая цѣль, которой предопредѣлено достигнуть человѣческому роду, и отъ которой онъ, разъ утвердившись, никогда не уклонится.

Всѣ эти соображенія, для полнаго выясненія которыхъ здѣсь нѣтъ мѣста, не должны быть упущены изъ виду, если мы вполнѣ хотимъ оцѣнить полемическія достоинства Вольтера. Въ его произведеніяхъ мы не видимъ, чтобъ подобная идея относительно христіанской религіи была присуща ему, да, впрочемъ, она не могла бы сродниться съ его общими дѣйствіями. Чуждый религіознаго благоговѣнія, даже обыкновенной практической серьезности, не имѣя, по природѣ или по привычкѣ, благочестія въ сердцѣ, обладая вѣрою только въ матеріальномъ отношеніи, но безъ возможности усвоить ее себѣ, онъ не можетъ при изслѣдованіи подобнаго предмета служить надежнымъ и полезнымъ вожакомъ.

На него можно смотрѣть, какъ на человѣка, проложившаго путь будущимъ честнымъ изслѣдователямъ, — самъ же онъ задался предпріятіемъ, чуждымъ его собственной природѣ и давшимъ результатъ, который и слѣдовало ожидать въ подобномъ случаѣ, ибо результатъ этотъ еще болѣе запуталъ и затемнилъ вопросъ, такъ что къ доброму дѣлу, совершенному Вольтеромъ, присоединилась въ настоящее время значительная доля зла, отъ котораго, нужно полагать, никогда не удастся отрѣшиться вполнѣ.

Также въ большую ошибку впадаемъ мы, если, изслѣдуя, какое количество — не говоря о качествѣ — ума заявилъ Вольтеръ при этомъ дѣлѣ, будемъ смотрѣть на полученный отъ этого результатъ, какъ на мѣрило потраченной имъ силы. Его задача была не убѣжденіемъ, а отрицаніемъ, онъ не хотѣлъ созидать и творить, — такъ какъ это утомительно и трудно, — но разрушать и уничтожать, что въ большинствѣ случаевъ гораздо легче. Необходимая ему сила была ни велика, ни благородна, но ничтожна, во многихъ отношеніяхъ тривіальна, которою слѣдовало пользоваться немедленно и вовремя.

Заблужденія, недостатки и положительныя ошибки Вольтера, по нашему мнѣнію, принадлежать суду критики, и она должна произнести надъ ними свой строгій приговоръ. Но въ то же время не слѣдуетъ вторить проклятіямъ, которыми многіе достойные люди, можетъ быть, съ лучшими намѣреніями, осы-



пають его и по сіе время. Его характеръ, повидимому, былъ вполне открытъ и обыкновененъ и казался бы намъ такимъ, еслибъ вѣшнія вліянія не извратили нашъ взглядъ. Также въ нравственномъ отношеніи его нельзя назвать дурнымъ человекомъ, — въ огромной массѣ людей онъ все-таки былъ однимъ изъ лучшихъ. Цѣль Вольтера при его борьбѣ съ христіанскою религіею, къ несчастью, была смѣшаннаго рода, но въ сущности приблизительно та же самая, которую мы встрѣчали не только въ противникахъ, но и въ защитникахъ ея.

У него не было достаточной любви къ истинѣ, но онъ обнаруживалъ любовь къ прозелитизму — чувство естественное и всеобщее, и если оно руководится честными побужденіями, то заслуживаетъ скорѣе состраданія, чѣмъ ненависти. Какъ вѣтреный, беззаботный, свѣтскій человекъ, онъ чуждъ ненависти, въ немъ преобладаютъ симпатичность, веселость и любезность. Наступило время, когда и его слѣдуетъ судить по его внутреннимъ, а не случайнымъ качествамъ, и ему нужно отдать справедливость, потому что несправедливость не приноситъ пользы ни человеку, ни вещи.

Въ дѣйствительности же заслуги Вольтера принадлежатъ природѣ и ему самому, главные же его ошибки — времени и его родниѣ. Въ знаменитую эпоху Помпадуръ и Энциклопедіи онъ играетъ главную роль, и это происходитъ отъ того, что онъ больше походитъ на преобладающую массу людей, чѣмъ отличается отъ нихъ. Время Людовика XV было время странное, оно въ нѣкоторомъ отношеніи составляло какой-то романъ въ исторіи человечества. Относительно роскоши и нравственной распущенности, практической и матеріальной культуры, полнѣйшаго застоя всѣхъ умственныхъ силъ, эта эпоха напоминаетъ эпоху римскихъ императоровъ, гдѣ также преобладалъ вѣшній блескъ и внутреннее гніеніе, утонченность чувственныхъ искусствъ, въ которыя входило не только поваренное искусство, но и эффектная живопись и эффектная литература, — одно только искусство добродѣтельной жизни было забыто. Въмѣсто любви къ поэзіи господствовалъ „вкусъ“ къ ней; изящныя манеры прикрывали нравственную распущенность, — однимъ словомъ, этотъ міръ представлялъ странное зрѣлище соціальной системы, которой держалось большинство образованнаго класса, разѣдаемаго атеизмомъ. У римлянъ вещи шли своимъ естественнымъ порядкомъ: свобода,

общественный духъ постепенно утрачивали свое значеніе; эгоизмъ, матеріализмъ, низость деспотически заявляли свои права, пока, наконецъ, политическое тѣло, лишившееся оживляющей крови, не сдѣлалось смердящимъ трупомъ и не досталось въ добычу хищнымъ волкамъ. Тогда, подъ руководствомъ Аттилы и Алариха, началось всемірное зрѣлище разрушенія и отчаянія, въ сравненіи съ которымъ все „ужасы французской революціи“ и все наполеоновскія войны представляются веселымъ турниромъ. Наша европейская община избѣгла подобнаго страшнаго суда и именно вслѣдствіе тѣхъ причинъ, которыя, надѣмся, и впослѣдствіи будутъ охранять ее. Если бы не было другой причины, то можно полагать, что въ государствѣ, гдѣ существуетъ христіанская религія, гдѣ она разъ существовала, общественная и частная добродѣтель — основаніе всякой силы — никогда не исчезнетъ, но въ каждомъ новомъ вѣкѣ и даже при полнѣйшемъ нравственномъ упадкѣ будетъ жить надежда, которая, въ теченіе вѣковъ, превратится въ увѣренность, что эта добродѣтель возобновится...

Вѣкъ Людовика XV хвалился, что былъ вѣкомъ просвѣщенія, и просвѣщеніе было дѣйствительно на лицо, но только внѣ освѣщенныхъ оконъ ничего не было видно. Этому вѣку мы не обязаны ни великими теоріями или учрежденіями, дѣлающими человека человекомъ, ни тѣми открытіями, которыя внѣшняя природа предоставляетъ его цѣлямъ. Какой плугъ или печатную машину, какой паровикъ, судъ присяжныхъ изобрѣли эти философы для человечества? Они въ сущности ничего не изобрѣли. Мы не обязаны имъ ни одною добродѣтелью, ни одною человеческою силою, такъ что вѣкъ Людовика XV во всехъ отношеніяхъ принадлежитъ къ безплоднѣйшимъ эпохамъ въ исторіи. И дѣйствительно, вся дѣятельность нашихъ „философовъ“ явно противорѣчила изобрѣтеніямъ. Они жили не для того, чтобы производить, но чтобы критиковать созданное, хулить и рвать его на части, — ремесло незавидное, иногда полезное, но въ цѣломъ пошлое, нерѣдко продуктъ и причина пошлаго образа мыслей человека, занимающагося долгое время этимъ ремесломъ.

Если смотрѣть на тогдашнее положеніе дѣлъ, то не удивительно, что вѣкъ Людовика XV былъ тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ былъ быть: вѣкомъ чуждымъ благородства, добродѣтели



и высокаго проявленія таланта; вѣкомъ скуднаго свѣта, скептицизма, обильнаго насмѣшкою во всѣхъ формахъ и видахъ. Поэтому и не поразительно и даже не заслуживаетъ порицанія, что Вольтеръ, вожакъ этого вѣка, обладалъ въ высшей степени всѣми его качествами. Но, во всякомъ случаѣ, его неутомимая дѣятельность оказала серьезныя дѣйствія; искры, которыя онъ такъ легкомысленно разбрасывалъ вокругъ себя, причинили страшные пожары и вмѣстѣ съ тѣмъ породили столько же добра, сколько и зла. Но несправедливо взваливать на него, какъ на „ограниченнаго смертнаго“, болѣе той отвѣтственности, которая подобаешь каждому смертному. Впрочемъ, эта безплодная эпоха, какъ эпоха землетрясеній и бурь, слѣдовавшихъ за ней, теперь миновала, — она принадлежитъ прошедшему. она не бесполезна и не лишена историческаго значенія какъ для насъ, такъ и для нашихъ потомковъ...

*Карлейль.*

---

### Вольтеръ, какъ поэтъ, и его сатирическія повѣсти.

Вольтеръ открылъ свое блестящее поприще поэтическими произведеніями и прославился прежде всего какъ поэтъ. Но при всемъ томъ поэзія никогда не была для него внутренней потребностью, никогда не была врожденнымъ и необходимымъ выраженіемъ его личной природы. Рима, рассказъ и сценическое представленіе, если они не были просто дѣломъ тщеславія и страсти къ вѣшнему блеску, стали его оружіемъ въ особенности потому, что это была самая доступная и самая вліятельная форма, которой онъ могъ воспользоваться для распространенія во всѣхъ кругахъ общества своихъ религіозныхъ и политическихъ мнѣній. Его стихотворенія были памфлетами. Объ одной изъ своихъ пьесъ, Олимпія, Вольтеръ говоритъ совершенно прямо въ письмѣ къ Д'Аламберу, что онъ выбралъ этотъ сюжетъ не столько для того, чтобы написать трагедію, сколько для того, чтобы въ концѣ пьесы найти поводъ къ разсужденію о мистеріяхъ, о сходствѣ древнихъ и новыхъ жертвоприношеній, объ обязанности жрецовъ и единствѣ Бога. Если новая теорія искусства называетъ такую поэзію, направленную исключительно на вѣшнія цѣли и обстоятельства, — поэзіей

тенденціи, то Вольтеръ былъ преимущественно такимъ тенденціознымъ поэтомъ.

Поэтому у него нигдѣ нѣтъ свѣжаго и оживляющаго дыханія чисто поэтическаго настроенія. Его образы и положенія — только искусно придуманные примѣры и олицетворенія общихъ понятій. Все въ этой поэзіи поучительно; все сводится къ эпитиграмматической выходкѣ, къ минутному примѣненію: Вольтеръ пробовалъ себя во всѣхъ родахъ поэзіи; его смѣлой предприимчивости казались доступны самые высокіе роды драмы, эпоса и лирики. Но живое, полное чувство ему не удается: его гимны и оды большею частью напыщенны; его эпосъ бѣденъ образами и жизнью; его драмы исполнены благородныхъ и прекрасныхъ мыслей, часто поразительны въ подробностяхъ, но лишены драматическаго дѣйствія и интереса. Вольтеръ гораздо лучше владѣетъ серединымъ родомъ дидактическаго стихотворенія, а всего лучше удаются ему небольшія эпитиграмматическія стихотворенія, такъ называемыя *poésies fugitives*, и сатирическія повѣсти. Вольтеръ — мастеръ тамъ, гдѣ достаточно ума; это геній французскаго *esprit*...

Всего полнѣе остроуміе Вольтера блещитъ въ его небольшихъ сатирическихъ повѣстяхъ.

Самая значительная изъ нихъ *l'Ingénu*. Основная мысль его есть изумленіе здраваго и простаго человѣческаго смысла и его критика искусственности и произвола вѣрованій и господствующихъ обычаевъ. *L'Ingénu* — занесенный въ Европу гуронъ. Здѣсь хотятъ его крестить. Гуронъ читаетъ Библію и непременно хочетъ быть обрѣзаннымъ, потому что въ Библии нѣтъ ни одного необрѣзаннаго человѣка. Пріоръ только съ трудомъ успѣваетъ убѣдить его, что эта церемонія теперь вышла изъ употребленія. Наконецъ гуронъ обѣщаетъ креститься; но сначала онъ долженъ исповѣдаться и дѣлаетъ это. Но затѣмъ онъ требуетъ, чтобы и его духовный отецъ исповѣдался передъ нимъ, потому что въ посланіи Іакова написано, что люди должны исповѣдаться другъ передъ другомъ. Въ день крещенія онъ исчезаетъ; послѣ долгихъ поисковъ его нашли въ рѣкѣ, со сложенными на груди руками. Его стараются убѣдить, что обычаи уже перемѣнились; но онъ упрямо стоитъ на своемъ, потому что въ Библии всѣ крестятся въ рѣкѣ. Только *m-le Сентъ-Пвъ*, къ которой онъ питаетъ тайную склонность, можетъ убѣдить его принять крещеніе по употребительному



теперь способу. Нѣсколько времени спустя, гуронъ признается дѣвушкѣ въ любви. Она краснѣетъ и посылаетъ его къ своимъ роднымъ. L'Ingénu никакъ не можетъ понять, къ чему тутъ требуется еще участіе третьяго лица. Но онъ уступаетъ и на этотъ разъ. Его дядя дѣлаетъ ему предложеніе вступить въ духовное званіе, — онъ навѣрно получитъ пріоратъ. L'Ingénu свидѣтельствуетъ ему самую горячую благодарность за его доброту, но говоритъ, что можетъ рѣшиться на это только въ томъ случаѣ, если это не помѣшаетъ ему жениться на выбранной имъ дѣвушкѣ. Дядя объясняетъ ему, что его любовь противорѣчитъ законамъ божескимъ и человѣческимъ, потому что дѣвушка была его крестною матерью. Гуронъ опять приводитъ простой фактъ, что Библія вовсе не представляетъ такого запрещенія. Тетка придумываетъ выходъ изъ этого положенія — просить о разрѣшеніи папу. L'Ingénu обнимаетъ тетку. „Кто же этотъ отличный человѣкъ, который съ такой добротой покровительствуетъ любви молодыхъ людей? я хочу сейчасъ же говорить съ нимъ“. Ему объясняютъ, кто папа, и L'Ingénu удивляется еще больше, чѣмъ прежде. „Объ этомъ опять нѣтъ ни слова въ вашей книгѣ, любезный дядя; я нахожусь теперь въ Бретани и долженъ итти къ человѣку, который живетъ на Средиземномъ морѣ и не понимаетъ даже моего языка, и я долженъ просить этого человѣка позволить мнѣ любить m-lle де Сентъ-Пвѣ?“. L'Ingénu хочетъ овладѣть своей возлюбленной; онъ ссылагается на права и требованія природы, дядя старается ему объяснить, что слѣдуетъ предпочесть законы, установленные государствомъ, что безъ нихъ жизнь сдѣлалась бы постояннымъ разбоемъ, что для поддержанія нравственности нужны судьи, священники, договоры. L'Ingénu отвѣчалъ ему тѣмъ разсужденіемъ, которое всегда готово на подобный случай у дикарей: „Что за безчестные люди вы должны быть, если вы не можете обойтись безъ такихъ укрѣпленій и мѣръ предосторожности?“. M-lle Сентъ-Пвѣ посылаютъ въ монастырь. L'Ingénu совѣтуютъ отправиться ко двору, такъ какъ онъ совершилъ нѣкогда прекрасные военные подвиги; тамъ можетъ онъ надѣяться на заступничество, чтобы освободить m-lle изъ монастыря. Онъ отправляется въ путь. Въ гостиницѣ онъ наталкивается на гугенотовъ, которые изображаютъ ему бѣдствія, павшія на Францію отъ уничтоженія нантскаго эдикта; при этомъ онъ узнаетъ, что виной

всей бѣды были іезуиты. L'Ingénu высказываетъ мысль, что онъ хочетъ говорить при дворѣ и объ этомъ дѣлѣ. Одни приняли его за важнаго господина, другіе за придворнаго шута. Этотъ разговоръ подслушалъ шпионъ іезуитовъ и тотчасъ посылаетъ объ этомъ извѣстіе въ Версаль. Когда L'Ingénu приѣзжаетъ, его сажаютъ въ Бастилію. Тамъ пришлось ему раздѣлить одну келью съ янсенистомъ, и два несчастливца заключаютъ между собою дружбу. Янсенистъ спрашиваетъ его, что онъ думаетъ о душѣ, о происхожденіе идей, о благодати и о свободной волѣ? „Ничего, — отвѣчалъ L'Ingénu; — мы, и звѣзды и стихіи стоимъ подъ властью Высшаго Существа, которое одно я знаю, все остальное для меня покрыто мракомъ“. Янсенистъ: „Однако, сынъ мой, это значить дѣлать Бога виновникомъ зла“. L'Ingénu: „Однако, отецъ мой, ваша grace efficace дѣлаетъ то же самое; вѣдь извѣстно, что всѣ, лишеныя этой дѣйствительной благодати, тѣмъ самымъ осуждаются на грѣхи; но тотъ, кто насъ предоставляетъ злему, развѣ онъ не есть виновникъ зла?“ Янсенистъ не могъ его опровергнуть. L'Ingénu много рассказывалъ ему о своей любви, и янсенистъ утѣшалъ его, хотя до тѣхъ поръ считалъ любовь за смертный грѣхъ. Между тѣмъ m-lle Сентъ-Ивъ ускользнула изъ монастыря. Она прибыла въ Версаль, чтобы выхлопотать освобожденіе L'Ingénu. Она не можетъ добиться этого, пока, наконецъ, не уступаетъ притѣснителямъ и не покупаетъ его свободы своей честью. L'Ingénu свободенъ, но m-lle Сентъ-Ивъ умираетъ съ горя о потерянной чести. L'Ingénu становится офицеромъ, дѣлаетъ чудеса храбрости и съ любовью хранитъ воспоминаніе о дѣвушкѣ до самой смерти.

Не меньше знаменитъ и „Кандидъ“. Это исторія доврчиваго бѣдняги, съ которымъ случаются на свѣтѣ самыя скверныя вещи, но которому его наставникъ передалъ Лейбницево ученіе о лучшемъ изъ міровъ. Кандидъ выросъ въ Вестфалии, въ замкѣ господина барона Тундертентронка. У него былъ такой мягкій нравъ, и его лицо отражало въ себѣ такую чистую душу, что именно поэтому его и называли Кандидомъ. Старые слуги дома полагали, что онъ былъ незаконный сынъ сестры барона. Въ замкѣ жили самъ баронъ, его толстая супруга, прекрасная семнадцатилѣтняя Кунигунда, сынъ барона и гофмейстеръ Панглось, оракулъ дома. Панглось съ удивительнымъ остроуміемъ доказывалъ своимъ ученикамъ



что нѣтъ дѣйствія безъ причины и что въ этомъ лучшемъ изъ возможныхъ лучшихъ міровъ замокъ господина барона есть прекраснѣйшій изъ всѣхъ замковъ и баронесса — лучшая изъ всѣхъ возможныхъ баронессъ. Кандидъ извлекъ изъ этого ученія естественное слѣдствіе, что послѣ счастья быть барономъ Тундертентронкомъ, вторая ступень счастья есть, конечно, быть дѣвицей Кунигундой, третья — видѣть ее каждый день, четвертая — слушать доктора Панглоса. Однажды Кунигунда прогуливалась въ паркѣ, и тамъ она увидѣла, какъ господинъ Панглосъ въ тѣни кустарника цѣловалъ горничную дѣвушку, безъ сомнѣнія только для того, чтобы обучить ее экспериментальной физикѣ. Она видѣла повторяющіеся опыты, которые дѣлалъ докторъ, она ясно видѣла достаточное основаніе доктора, причины и слѣдствія: пораженная и задумчивая она вернулась въ замокъ; почему бы она не могла служить достаточнымъ основаніемъ Кандиду и Кандидъ ей? Кунигунда встрѣтилась съ Кандидомъ. Она уронила платокъ, Кандидъ поднялъ его; Кунигунда дала ему невинно руку, Кандидъ невинно поцѣловалъ ее. Ихъ губы встрѣтились, глаза воспламенились, колѣна задрожали, руки заблудились. Въ эту роковую минуту проходилъ баронъ. Онъ прогналъ Кандида изъ дому; Кунигунда была наказана; все въ этомъ лучшемъ изъ замковъ было въ величайшемъ смущеніи. Кандидъ долго блуждалъ, не зная, что начать. Онъ попадаетъ въ руки болгарскимъ вербовщикамъ и дѣлается солдатомъ. Ему приходится попробовать палочныхъ ударовъ, и онъ бѣжитъ. Едва успѣлъ онъ сдѣлать двѣ мили, какъ попался. Ему предоставляютъ на выборъ — получить тридцать шесть палочныхъ ударовъ отъ cadaго полка или двѣнадцать свинцовыхъ пуль въ лобъ. Сколько онъ не утверждалъ, что посредствомъ своей свободной воли онъ ни желаетъ ни того, ни другого; но наконецъ, вслѣдствіе своей врожденной свободы, онъ рѣшился на палочные удары. Онъ выдержалъ еще очень небольшую часть своего наказанія, какъ предпочелъ двѣнадцать пуль. Къ счастью проходилъ въ это время болгарскій царь; онъ понялъ, что Кандидъ есть только метафизическій мечтатель, и помиловалъ его. Черезъ три недѣли разбитое тѣло выздоровѣло. Король болгаровъ и король аваровъ вели войну. Произошло кровавое сраженіе; оно было достаточнымъ основаніемъ для смерти, по крайней мѣрѣ, тридцати тысячъ чело-

вѣкъ. Кандидъ дрожалъ, какъ философъ, и спрятался какъ только умѣлъ, лучше. Когда оба короля велѣли пѣть *Te Deum*, за побѣду, онъ нашелъ случай къ бѣгству. Онъ бѣжалъ дальше и дальше черезъ разрушенные города, нося въ своемъ сердцѣ прекрасную Кунигунду. Наконецъ онъ прибылъ въ Голландію. Онъ стучится въ двери богатыхъ людей, прося милостыни; двери передъ нимъ затворяются, и ему грозятъ тюрьмой. Тогда онъ обращается къ человѣку, который только недавно назидательно проповѣдовалъ въ одномъ многочисленномъ собраніи о добродѣтели благотворительности. „Но вѣруешь ли ты, спросилъ его проповѣдникъ, что папа есть антихристъ?“ — „Я еще не думалъ объ этомъ, отвѣчалъ Кандидъ, — я знаю только, что я голоденъ.“ — „Ты не стоишь кушавья, несчастный“, возразилъ проповѣдникъ, и жена его, слышавшая этотъ разговоръ, вылила на Кандида ведро воды; поэтому онъ усомнился, чтобы папа былъ антихристъ.“ Его беретъ къ себѣ перекрещенецъ, раздраженный нетерпимостью врага своей секты, и даетъ ему хлѣба, пива, денегъ и работы. На другое утро Кандидъ встрѣчается съ нищимъ. Это — его старый учитель Панглось. Прекраснѣйшій изъ вестфальскихъ замковъ во время войны былъ разрушенъ, лучшій изъ бароновъ, толстѣйшая изъ баронессъ, молодой ихъ наслѣдникъ, прекраснѣйшая Кунигунда, всѣ были убиты; — таково было печальное извѣстіе, сообщенное Панглосомъ. „Но, заключилъ бѣдный докторъ, все это было необходимо; несчастье отдѣльнаго человѣка служить къ счастью цѣлаго; все прекрасно“. Благотворительный перекрещенецъ ѣдетъ съ ними вмѣстѣ по дѣламъ въ Лиссабонъ. Всѣ трое заняты были самой глубокомысленной бесѣдой, какъ вдругъ началась буря и корабль потонулъ. Добрый анабаптистъ старается спасти бездѣльника матроса; но онъ первый утонулъ. Спаслись только матросъ, докторъ и Кандидъ. Они были выброшены на берегъ и отправляются къ Лиссабону. Едва сдѣлали они шагъ въ городъ, какъ земля затряслась подъ ними. Произошло лиссабонское землетрясеніе. Вездѣ происходитъ страшное бѣдствіе, но Панглось утѣшаетъ себя и другихъ. Такія землетрясенія — вещь вовсе не новая, потому что всегда же одинаковыя причины производили одинакое дѣйствіе; притомъ же несчастье отдѣльнаго лица служить ко благу цѣлаго, все устроено наилучшимъ образомъ; если бываетъ землетрясеніе въ Лиссабонѣ, то значить его нѣтъ



въ другомъ мѣстѣ. Это объясненіе услышалъ маленькій черный человѣкъ, который скоро убѣдился изъ этого, что Панглось не вѣритъ въ первородный грѣхъ; если все устроено наилучшимъ образомъ, то нѣтъ грѣхопаденія и нѣтъ также и суда. Панглось и Кандидъ очутились въ тюрьмѣ инквизиціи. Землетрясеніе должно было быть укрощено кровью еретиковъ. Нѣсколько несчастныхъ было сожжено; Панглосу грозила висѣлица, Кандидъ былъ помилованъ ради своей юности, и наказаніе должно было ограничиться палочными ударами. Кандидъ со слезами стоялъ передъ висѣлицей своего учителя. Тогда подошла къ нему старая женщина и попросила его слѣдовать за ней. За нимъ ухаживаютъ и одѣваютъ его въ бѣлое платье. Одна прекрасная дама узнала Кандида и послала къ нему свою служанку. И эта прекрасная дама была некто иная, какъ прекрасная Кунигунда, которая вовсе не была убита при разрушеніи замка ея отцовъ, какъ несправедливо думалъ Панглось, но продана была въ невольницы и послѣ разныхъ приключеній попала въ домъ великаго инквизитора. Кандидъ убиваетъ инквизитора. Отягощенные богатствами, любовники убѣгаютъ на андалузскихъ лошадяхъ въ Кадицъ. На дорогѣ ихъ обкрадываютъ. Они рѣшились отправиться въ Новый Свѣтъ; быть можетъ тамъ находится тотъ лучший міръ, который Панглось хотѣлъ найти въ Европѣ. Но Кандидъ не былъ счастливѣе и въ Новомъ Свѣтѣ. Губернатору Буэносъ-Айреса. Донъ Фернандо д'Ибароа, и Фигера, и — Мавармесь, и — Лампурдось, и — Суза, гордый, какъ его гордое имя, былъ очарованъ красотой Кунигунды. Кандидъ долженъ какъ можно поспѣшнѣе бѣжать отъ преслѣдованія кораблей инквизиціи. Съ слугой Какамбо онъ отправляется въ Парагвай. Въ начальникѣ іезуитовъ онъ узнаетъ своего стараго друга дѣтства, молодого барона Тундертентронка, брата Кунигунды. Кандидъ признается ему въ своей пламенной любви. „Какъ, безсовѣстный, ты имѣешь наглость просить руки моей сестры, имѣющей семьдесятъ два предка“? Онъ вынимаетъ противъ Кандида шпагу; Кандидъ, раздраженный, также хватается за шпагу и глубоко вонзаетъ ее въ тѣло оскорбителя. Это лучший молодой человѣкъ на свѣтѣ, и между тѣмъ онъ имѣлъ несчастье убить уже нѣсколько человѣкъ и въ томъ числѣ даже и своего господина, друга и шурина! Но къ чему эти сожалѣнія? Единственное дѣло его теперь — подумать о

своемъ спасеніи. Онъ убѣгаетъ, приходитъ въ сторону дикарей и имѣетъ достаточный случай удивляться восхваляемому естественному состоянію; онъ попадаетъ даже, случайно и чисто по счастью, въ обѣтованное Эльдорадо, жители котораго осыпаютъ его почестями и богатствами. Но однообразіе счастья утомляетъ его. Богато одаренный, онъ оставляетъ страну и рѣшается возвратиться въ Европу и выкупить Кунигунду. Но очень скоро онъ увидѣлъ себя обманутымъ изъ-за своихъ богатствъ. Его путешествія во Францію, Англію и Италію дѣлаютъ жизнь его еще тяжелѣе; вездѣ видитъ онъ только порокъ и несчастье. Послѣ долгихъ странствованій онъ находитъ всѣхъ своихъ въ рабствѣ у турокъ, даже Панглоса и молодого барона, который былъ имъ только сильно раненъ. Прекрасная Кунигунда сдѣлалась весьма дурна. Онъ едва ли бы женился на ней, если бы братъ, хотя и освобожденный Кандидомъ отъ галеры, даже и не продолжалъ изъ аристократической гордости своихъ возраженій. Кандидъ купилъ для всѣхъ ихъ маленькое имѣніе на берегу Чернаго моря. Они видѣли кругомъ жестокости и беспорядочность турокъ, и еще спорили объ лучшемъ изъ міровъ; но споръ оканчивался обыкновенно очень скоро. Панглось сожалѣлъ, что онъ не блисталъ въ какомъ-нибудь изъ нѣмецкихъ университетовъ. „Если бы, — говорилъ онъ Кандиду, — вы не были изгнаны изъ замка барона за свою любовь къ Кунигундѣ, если бы вы не попали въ руки инквизиціи, если бы вы не прошли всей Америки и даже Эльдорадо, то вы не были бы теперь здѣсь; Лейбницъ не могъ ошибиться, представленная гармонія оправдывается“. — „Это справедливо, — отвѣчалъ Кандидъ, — но отправимся же заняться своимъ садомъ“. Работать не предаваясь умствованіямъ — единственное средство сдѣлать жизнь сною, думалъ онъ. Вольтеръ высказалъ въ немногихъ словахъ основную идею повѣсти, когда писалъ д'Аржансону въ 1763: *J'en reviens toujours à Candide; il faut finir par cultiver son jardin: tout le reste, excepté l'amitié, est bien peu de chose: et encore cultiver son jardin n'est pas grande chose*“.

Эти повѣсти можно раздѣлить на два разряда, которые достаточно опредѣляются основной мыслью *L'Ingénu* и *Кандида*. Одни стремятся къ вѣрѣ въ неразрушимость человѣческой природы, другія сомнѣваются въ ней. Къ первому разряду принадлежатъ исторія Задига и принцессы Вавилонской и нѣко-



торые небольшие очерки, какъ напр. *Les deux Consolés*; ко второму *Memnon ou la Sagesse humaine*, *Histoires des Voyages de Scarmantado* и *Histoire d'un bon Bramin*. Любопытно, что и этотъ послѣдній рассказъ сводится на заключительную мысль Кандида. „Одинъ, много думавшій и изучавшій браминъ несчастливъ, потому что на всѣ загадки бытія онъ знаетъ только вопросы и никакихъ отвѣтовъ; добрая старушка, его сосѣдка, счастлива, потому что ей никогда не приходитъ въ голову умствовать о подобныхъ вещахъ. И между тѣмъ никто не захочетъ предпочесть положеніе этой женщины положенію брамина. Мы высоко цѣнимъ наше счастье, но еще выше нашъ разумъ. Какимъ же образомъ разрѣшить это противорѣчіе? Такимъ же, какъ и всякія другія противорѣчія; il y a là de quoi parler beaucoup“.

Изъ за этихъ сатирическихъ повѣстей, въ особенности, Вольтера часто сравнивали съ Лукіаномъ. Неистощимость его формъ, проницательность и быстрота его взгляда, шаловливость его юмора, граціозность и пріятная досужливость его рассказа, искусство одѣвать научные вопросы въ легкую одежду новеллы, въ самомъ дѣлѣ могутъ равняться только съ остроумными насмѣшками этого древняго сатирика. Но Вольтеръ даже въ лучшихъ изъ этихъ рассказовъ не достигаетъ высоты истиннаго комизма, которая, однако, иногда превосходно удается Лукіану. Здѣсь отмщаютъ за себя недостатки характера Вольтера. Образованіе можетъ смягчать и прикрывать наши врожденные недостатки, но не уничтожаетъ ихъ совершенно. Вольтеру недостаетъ теплаго свѣта любви, недостаетъ жизненности истиннаго юмора.

Къ Вольтеру, какъ и къ Свифту и Генриху Гейне, прилагаются прекрасные слова апостола: „Если бы я говорилъ языкомъ людей и ангеловъ и не имѣлъ любви, то я былъ бы только мѣдью звенящей и бряцающимъ тимпаномъ“.

*Геттнеръ.*

### Значеніе Вольтера для XVIII вѣка.

Если бы мы попытались опредѣлить общее значеніе Вольтера для XVIII ст., то сказали бы, что это былъ универсальный умъ, литературный агитаторъ и писатель, сумѣвшій пріобрѣсти себѣ истинно царскую независимость. Вольтеръ не

былъ ни въ какой спеціальности геніемъ перваго разряда, но онъ соединялъ въ себѣ множество самыхъ разнообразныхъ дарованій. Беконъ у англичанъ, Лейбницъ у нѣмцевъ, Фонтенель у французовъ предшествовали ему какъ блестящіе примѣры разносторонности; первымъ двумъ онъ уступалъ въ глубинѣ, послѣднему — въ основательности, но разнообразіемъ способностей, разнохарактерностью дѣятельности онъ превзошелъ ихъ всѣхъ. Онъ былъ поэтъ, историкъ, философъ, критикъ. „Вольтеръ, — говорилъ Фридрихъ, — не только академикъ, онъ цѣлая академія“. Но всѣ его способности служили у него одной цѣли — просвѣщать людей, т.-е. развивать въ нихъ сознаніе ихъ права быть свободными. Слабость его поэтическихъ произведеній заключается часто въ силѣ, съ которою они проводятъ обще-человѣческія начала. Это-то стремленіе отличаетъ его трагедіи отъ рыцарей и мучениковъ Корнеля, отъ влюбленныхъ Расина, отъ государственныхъ людей Кребийльона; въ этомъ-то стремленіи заключается причина такой незамысловатости фабулы въ его разсказахъ; оно-то такъ часто побуждаетъ его подавлять конкретный пафосъ дѣйствующихъ лицъ дидактическими отступленіями. Въ неустойчивости труда, въ богатствѣ формъ изложенія, въ неистощимой изобрѣтательности постоянно новыхъ темъ, съ которыми можно было связывать великіе современные вопросы, Вольтеръ не имѣетъ соперниковъ. Тщеславіе побуждало его иногда дѣлать уступки то дворамъ, то іезуптамъ, то направленію данной минуты, но это продолжалось каждый разъ недолго, и онъ спѣшилъ возвратиться къ сути дѣла, къ правдѣ. Онъ ясно понималъ ту точку зрѣнія, на которую сталъ, и высказалъ это въ статьѣ: „Il faut prendre parti ou le principe d'action“. Слѣдя за его борьбой съ рабствомъ и невѣжествомъ, никогда не слѣдуетъ забывать, что онъ жилъ въ то время, когда на материкѣ еще не существовала свобода печати, и сожженіе постигало не только такъ называемыя еретическія сочиненія, но и самихъ еретиковъ. Съ цѣлью возбудить въ человѣчествѣ сознаніе необходимости гуманнаго чувства, т.-е. справедливости и кротости въ отношеніи ко всѣмъ людямъ, Вольтеръ старался составить себѣ большое состояніе. Правда, что и такой бѣдный писатель, какъ Руссо, могъ производить громадное вліяніе на современниковъ, но Сарбонна и парламентъ, полиція и тюремныя заключенія могли каждую минуту останавливать его



дѣятельность. Вольтеръ тоже посидѣлъ въ Бастиліи, онъ тоже подвергнулся изгнанію изъ Парижа, даже изъ Франціи, ему тоже не разъ приходилось спасаться бѣгствомъ отъ преслѣдованій, или присутствовать при сожженіи своихъ сочиненій. Но именно эти обстоятельства заставили его стремиться къ созданію себѣ положенія, въ которомъ его личность была бы независима настолько, насколько это было возможно при тогдашнихъ обстоятельствахъ. И этого положенія онъ добился тѣмъ, что сдѣлался свободнымъ землевладѣльцемъ. Теперь уже онъ не нуждался ни въ должности, ни въ пенсіи отъ казны, ни въ литературномъ гонорарѣ; онъ былъ самостоятеленъ въ экономическомъ отношеніи и располагалъ всѣми средствами для сосредоточенія результатовъ культуры своего времени въ своемъ Фернэйскомъ замкѣ, — точно такъ же какъ это дѣлалъ Фридрихъ въ Сан-Суси. Богатые писатели существовали и до него и въ одно время съ нимъ, но ни одинъ изъ нихъ не пріобрѣлъ себѣ богатства для того, чтобы подобно Вольтеру обратить его въ фундаментъ для своей литературной дѣятельности. По благородному употребленію, которое дѣлалъ изъ своего богатства Вольтеръ, съ нимъ можно было бы сравнить барона Гольбаха, еслибъ этотъ послѣдній часть своего состоянія не получилъ по наслѣдству, а часть не взялъ за женой.

Подводя итогъ всей жизни и дѣятельности Вольтера, мы можемъ примѣнить къ нему то, что сказалъ Периклъ въ своей рѣчи объ аѳинянахъ: „Счастливъ тотъ, кто свободенъ; свободенъ тотъ, кто мужественъ“.

*Розенкранцъ.*

## Р у с с о.

Главное значеніе Руссо въ томъ, что онъ хотѣлъ преобразовать религію, воспитаніе, домашнюю жизнь, то есть, самыя коренныя вещи въ обществѣ. Руссо стоялъ къ своей эпохѣ совершенно въ иномъ отношеніи, чѣмъ знаменитѣйшіе изъ парижскихъ ученыхъ. Чтобы вѣрно судить о его дѣятельности, надобно, оставляя въ сторонѣ его характеръ, какъ частнаго человѣка, замѣтить два обстоятельства: онъ былъ французъ только по языку, а не по происхожденію, и не

хотѣлъ составлять себѣ въ Парижѣ карьеры, какой добивались академическіе софисты. Онъ родился въ Женевѣ, получилъ первое воспитаніе и образованіе среди протестантовъ, въ республикѣ, гдѣ тогда еще была строгая церковная дисциплина, хорошая нравственность, простота, скромная семейная жизнь, — словомъ сказать, была жизнь съ природою и по природѣ. Извѣстно, что впечатлѣнія дѣтства въ каждомъ человѣкѣ отражаются потомъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ рѣзче контрастъ, который составляютъ съ ними хорошія или дурныя впечатлѣнія позднѣйшей жизни. А на Руссо идеализированныя впечатлѣнія дѣтства должны были дѣйствовать сильнѣе, чѣмъ на всякаго другого, потому что онъ по своей природѣ пошелъ совершенно не тѣмъ путемъ, какъ лизоблюды и болтуны большого свѣта, составлявшіе большинство новыхъ философовъ. Онъ также входилъ въ кружки знатныхъ, богатыхъ и остроумцевъ. Но онъ не могъ, подобно Дидро и Мармонтелю, обратить литературную дѣятельность въ ремесло, которое давало слишкомъ много благородной гордости, чтобы играть роль человѣка, заискивающего у богатыхъ и знатныхъ, платящаго за обѣды разговорчивостью и остроуми. Такимъ образомъ Руссо избѣжалъ скалы, о которую разбивались тогда благороднѣйшіе умы: онъ узналъ такъ-называемый высшій свѣтъ по прямому знакомству съ нимъ, но самъ не сдѣлался свѣтскимъ человѣкомъ.

Надобно также сказать, что Руссо не получилъ правильнаго школьнаго образованія, какъ другіе тогдашніе философы и беллетристы, которые всѣ учились и воспитывались по старой методѣ. Онъ былъ самоучка; историческія свѣдѣнія почерпнулъ изъ Плутарха, поэтическое образованіе изъ романовъ, потомъ съ упорнымъ прилежаніемъ изучалъ разнороднѣйшіе предметы. Это обстоятельство имѣетъ тѣсную связь съ направленіемъ его таланта и съ его отвращеніемъ къ офиціальнымъ и факультетскимъ ученымъ. Кромѣ того, и внѣшнія обстоятельства и врожденные особенности характера впутывали его въ самыя странныя положенія и приключенія. Въ ранней молодости онъ перешелъ изъ протестанства въ католичество, потомъ изъ католичества опять въ протестанство, былъ нѣсколько времени слугою, потомъ жилъ переписываніемъ нотъ, потомъ былъ секретаремъ у посланника и т. д. Въ этой смѣнѣ положеній и круговъ общества онъ очень рано потерялъ простоту нра-



вовъ и нравственную чистоту, но въ пожилыхъ лѣтахъ сдѣлался пламеннѣйшимъ защитникомъ ихъ.

Пріѣхавъ въ Парижъ около 1745 г., Руссо, какъ и всѣ начинающіе писатели того времени, искалъ покровительства Вольтера. Онъ получилъ его. Дидро и другіе писатели, издававшіе тогда огромную „Энциклопедію“, увидѣли въ немъ хорошаго сотрудника. Они ввели его въ салоны. Чтобы пріобрѣсти право на такое отлічіе и упрочить себѣ мѣсто въ салонахъ, онъ въ 1750 г. написалъ свое извѣстное сочиненіе на премію, назначенную Дижонской академіею за отвѣтъ на вопросъ: содѣйствовало ли улучшенію нравовъ возстановленіе классическихъ наукъ въ три послѣднія столѣтія. Съ этимъ своимъ сочиненіемъ Руссо вдругъ измѣнилъ свой образъ мыслей и свой образъ жизни. Онъ взялъ вопросъ съ философской стороны и обратилъ его въ общій вопросъ о томъ, улучшается ли нравственная сторона человѣка отъ образованности. Онъ отвѣчалъ: „нѣтъ“, и хотя Академія была противнаго мнѣнія о сущности дѣла, но тѣмъ не менѣе дала ему премію за оригинальность, энергію и краснорѣчіе, съ которыми онъ развилъ свой взглядъ. Тутъ Руссо въ первый разъ высказалъ свою основную идею, которою потомъ руководился и въ жизни, и во всѣхъ слѣдующихъ своихъ произведеніяхъ. — идею, что естественное состояніе человѣка служитъ кореннымъ условіемъ его нравственности и счастья. что выходъ изъ этого положенія, стало быть, и научное развитіе, служитъ причиною всей порчи и всѣхъ бѣдствій между людьми. Руссо всю свою жизнь развивалъ этотъ принципъ съ энтузіазмомъ, какой можетъ происходить только изъ самобытнаго искренняго убѣжденія, и самъ старался слѣдовать ему въ жизни, жертвуя для этого всѣмъ до безумія. Такимъ образомъ сочиненіе Руссо на Дижонскую премію было событіе очень важное и для всемірной исторіи. Важность его для всемірной исторіи состоитъ въ томъ, что направленіе, принятое Руссо, совершенно совпадаетъ съ всеобщей потребностью радикальнаго улучшенія, и потому онъ необходимо долженъ былъ сдѣлаться пророкомъ новаго міра и новаго времени. Надобно сказать, что и въ этомъ и въ послѣдующихъ сочиненіяхъ Руссо ставитъ вопросъ и развиваетъ свою систему не какъ историческій критикъ, а какъ діалектикъ и ораторъ. Онъ начинаетъ съ принципа, изъ котораго уже будутъ логически вытекать всѣ слѣдующія мысли, если

разъ допустить самый принципъ. Свои историческіе доводы онъ беретъ безъ критики изъ историческихъ басенъ, излагая ихъ ораторски; напримѣръ, онъ воображаетъ, что нашелъ остатки своего идеальнаго человѣческаго быта у спартанцевъ, у римлянъ первыхъ временъ республики, у готентотовъ, у жителей Разбойничьихъ острововъ и у другихъ дикарей. Онъ излагаетъ свою гипотезу съ увлекательнымъ краснорѣчіемъ искренняго убѣжденія. Эта занимательность изложенія, заманчивость, какую имѣетъ всякая совершенно новая идея, и то свойство массы образованнаго общества, что она способна быть убѣждаема только энергіею выраженія, а не внутренней основанностью доказательствъ, — вотъ причины, доставившія успѣхъ ученію Руссо.

Вскорѣ послѣ этого отвѣта на Дижонскую премію Руссо написалъ сочиненіе о французской музыкѣ, которымъ приобрѣлъ себѣ очень много враговъ, но и очень много славы. Теперь ему была открыта дорога обыкновенной хорошей карьеры. Но онъ не пошелъ по ней и выбралъ совершенно иной путь, путь лишений. Онъ удалился отъ парижской жизни. Если тутъ и участвовало тщеславіе, то подобное тщеславіе все-таки гораздо ближе къ нравственному достоинству мудреца, чѣмъ честолюбіе знатныхъ рабовъ и паразитство знаменитыхъ тогдашнихъ академиковъ.

Въ 1753 г. Дижонская академія, вызвавшая первое сочиненіе, прославившее Руссо, дала ему поводъ подробнѣе развить свою главную мысль или свое главное заблужденіе и представить демократическую систему государственнаго устройства, о какой до него никто не смѣлъ и думать. Онъ сдѣлалъ это въ отвѣтъ на ея вопросъ „о причинахъ неравенства между людьми“. Этотъ отвѣтъ, также получившій отъ Дижонской академіи премію, Руссо посвятилъ магистрату своего родного города, ставшаго для него идеаломъ республики по живымъ воспоминаніямъ молодости и наслажденія природою; посвященіе написано очень благородно. Въ самомъ сочиненіи онъ объявляетъ всякое неравенство слѣдствіемъ порчи чело-вѣка отъ общества, и всякое общественное устройство производитъ изъ злоупотребленія силы одною стороною, изъ слабости другой стороны. Онъ предполагаетъ, что неравенство, развившееся отъ порчи чело-вѣка въ обществѣ и отъ злоупотребленія силы, произвело самую ужасную безпорядицу,



и продолжаетъ, совершенно противорѣча всему, что мы знаемъ о первобытныхъ государствахъ, что эта безпорядочная борьба привела къ сознанію о необходимости договора, на которомъ основано возникновеніе первобытнаго государства. Мы видимъ, что Руссо идетъ тутъ путемъ теоріи, а не путемъ изученія фактовъ, которое одно можетъ разъяснить намъ, что такое государство и государственное устройство. Онъ ищетъ лишь всеобщаго, котораго нигдѣ нѣтъ и не было, а не конкретныхъ явленій. Это второе сочиненіе Руссо было также написано съ увлекательнымъ краснорѣчіемъ, и поколѣніе, недовольное своимъ бытомъ, необходимо должно было вывести изъ него слѣдующія заключенія: жизнь человѣка въ обществѣ ненатуральна, вредна развитію высшихъ сторонъ человѣческой природы; нормальное состояніе человѣка — состояніе физическаго благополучія. А такія мысли необходимо должны были вести къ понятію о государственномъ устройствѣ, нимало непохожему на то, какимъ восхищался тогдашній свѣтъ въ сочиненіяхъ Монтескье; идеи Руссо должны были тѣмъ болѣе восторжествовать надъ идеями оракула аристократіи, что Руссо, какъ мыслитель и писатель, гораздо выше Монтескье. Сочиненіе Руссо о причинахъ неравенства, небольшое по объему, было пламеннымъ манифестомъ, приглашавшимъ образованныхъ людей отвергнуть все тогдашнее общественное устройство.

Самъ Руссо, упоенный славою и увлеченный живостью воображенія, думалъ, что отъ безусловнаго примѣненія его идей къ жизни надобно ждать философскаго искупленія человѣческаго рода. Поэтому онъ задумалъ два сочиненія для всесторонняго разъясненія и приложенія своихъ идей къ жизни. То были „Новая Элоиза“ и „Общественный договоръ“. Въ „Общественномъ договорѣ“ Руссо по своему діалектическому методу излагалъ новую теорію государственнаго устройства, которая относилась къ теоріи Монтескье точно такъ же, какъ парижское хорошее общество къ человѣку, воспитанному по системѣ Руссо. „Новая Элоиза“, явившаяся нѣсколько раньше, „Общественнаго договора“, излагала весь взглядъ Руссо на жизнь, его оригинальную мораль, его сантиментальныя мысли о семейной жизни и о наслажденіи природою, о страсти и о добродѣтели безъ предразсудковъ, о парижскихъ философахъ, о религіи и церковномъ ученіи...

Собственно романическая часть — наименѣе важная часть

этого романа; главное въ немъ — письма, вставленныя въ романтическую завязку; тутъ Руссо высказываетъ свои мнѣнія, выражаетъ ту страсть и тѣ чувства, которыя зналъ по опыту; составляя часть романа, эти разсужденія пріобрѣтали больше читателей и больше вліянія, чѣмъ имѣли бы, будучи написаны отдѣльною книгою. Вліяніе „Новой Элоизы“ было тѣмъ сильнѣе, что въ тогдашнее время еще не смѣнялись быстро, какъ нынѣ, одинъ романъ другимъ, одно впечатлѣніе другимъ. Отъ романовъ Ричардсона и Фильдинга „Новая Элоиза“ отличается тѣмъ, что Фильдингъ, изображающій самую грубую дѣйствительность, мало вдается въ моральныя разсужденія, а Ричардсонъ морализируетъ на обычный ладъ своей церкви и своей націи; напротивъ того, Руссо создаетъ свою самобытную систему нравственности и представляетъ читателю лишь то, что самъ прочувствовалъ и пережилъ.

„Новая Элоиза“ Руссо имѣла такое сильное вліяніе на человечество, какого никогда не имѣлъ ни одинъ романъ. Главная причина была та, что Руссо не является тутъ софистомъ или ораторомъ, а говоритъ отъ полноты искренняго убѣжденія. Съ силою вліянія „Новой Элоизы“ можно сравнить только то дѣйствіе, какое имѣлъ нѣкогда на Германію „Вертеръ“ Гете. Противъ романа Руссо вооружились не одни защитники старины, но и софисты новыхъ идей; многочисленные приверженцы великосвѣтской, блестящей цивилизаціи также всѣ возстали на энтузіаста, проповѣдывавшаго ученіе, столь противоположное ихъ интересамъ. Зато эта книга стала догматическою книгою своего времени для лучшихъ людей всѣхъ сословій, для всѣхъ, кто чувствовалъ потребность реформы въ правахъ, въ жизни, въ правительствѣ. Этимъ опредѣляется значеніе „Новой Элоизы“. Лица, которыхъ Руссо выводитъ въ „Новой Элоизѣ“, не простолюдины, а благородные люди большого свѣта; такимъ образомъ онъ изображаетъ въ своемъ романѣ лучшую сторону тогдашней модной цивилизаціи. Она рисуется у него искусственною, противоестественною, и въ контрастъ ей онъ выставляетъ идиллическую прелесть простой жизни и искренняго чувства. Чтобы яснѣе показать цѣль и манеру Руссо, мы укажемъ на нѣкоторыя подробности романа и на ихъ значеніе для жизни.

Въ одномъ мѣстѣ романа, для приведенія контраста между искусственностью и естественностью, Руссо изображаетъ чо-



порную натянутость жизни, въ которой всѣ отношенія опредѣлены этикетомъ и безчисленными формами. Онъ представляетъ всю пустоту и неестественность того изящнаго образованія, которое господствуетъ въ такъ называемомъ хорошемъ обществѣ, и выводитъ идеалъ практическаго философа, землевладѣльца и знатнаго домохозяина, — все это обрисовано такъ живо, что его картина принесла больше пользы, чѣмъ цѣлая библіотека проповѣдей. Вслѣдъ за тѣмъ онъ показываетъ натянутость и испорченность жизни своихъ современниковъ въ стяннутости, жесткости и безвкусицѣ ихъ платья, въ искусственности устройства ихъ домовъ, въ вычурности модной стрижки тогдашнихъ садовъ, уродующей природу, и тутъ же очаровательными описаніями пробуждаетъ любовь къ природѣ и ея красотамъ. Эти немногія подробности достаточно доказываютъ, какъ сильно должна была вліять книга Руссо. Послѣ „Новой Элоизы“ все это измѣнилось. Всѣ, хотѣвшіе быть людьми новаго міра, сблизились съ природою. Этотъ романъ содѣйствовалъ побѣдѣ классической архитектуры надъ хитрымъ, изукрашеннымъ стилемъ придворныхъ архитекторовъ; сады сбросили съ себя мертвенность, ножницы садовника перестали уродовать деревья подрѣзываніемъ ихъ въ странныя фигуры; исчезли гряды тюльпановъ и раковины; — сады стали разводить въ англійскомъ вкусѣ, близкомъ къ природѣ. Только дворъ со всѣмъ принадлежавшимъ къ нему остался вѣренъ старому этикету, натянутому церемоніалу, нелѣпымъ формамъ комнатнаго убранства и одежды, садамъ въ старомъ французскомъ вкусѣ и голландскимъ тюльпанамъ; отъ этого стала еще шире пропасть, раздѣлявшая сословія, и еще смѣшнѣе стали казаться претензіи аристократовъ.

Другая сторона „Новой Элоизы“ особенно важна для Швейцаріи и для Германіи, гдѣ вліяніе сентиментальности Руссо не такъ скоро исчезло изъ условной свѣтской жизни, какъ во Франціи. Прежняя система воспитанія, деспотизмъ въ отношеніяхъ родителей къ дѣтямъ, суровая строгость, съ которою преслѣдовался въ дѣтяхъ первородный Адамовъ грѣхъ, отдаленіе, въ какомъ держали ихъ, наружное благоговѣніе, котораго требовали отъ нихъ родители къ себѣ, — все это поставлено у Руссо въ невыгодный контрастъ съ идиллическою семейною жизнью, и оказалось передъ нею такимъ тяжелымъ и неудобнымъ, что и эта сторона жизни совершенно измѣнилась.

Въ Германіи перемѣнѣ помогали Базедовъ, Кампе и другіе педагоги, примѣнявшіе идеи Руссо къ условіямъ нѣмецкой жизни; ей содѣйствовали также Клаудіусъ, Фоссъ, Гельти и другіе поэты, настраивавшіе свои лиры на тонъ, заданный Руссо. Вслѣдствіе этого въ Германіи домашняя жизнь стала свѣтлѣе и мягче, а наслажденіе природою стало сначала модою, потомъ и дѣйствительною потребностью.

За „Новою Элоизою“ скоро явилось другое произведеніе Руссо — „Эмиль или о воспитаніи“; тутъ систематически излагалось все, что въ „Новой Элоизѣ“ было отрывочно говорено о жизни и житейскихъ дѣлахъ, особенно о религіи и воспитаніи. Эта теорія также была облечена въ форму романа, и отъ этого всѣми читалась. Форма романа заохочивала отцовъ и матерей знакомиться съ книгою, въ которой съ очевиднѣйшею убѣдительною доказывалась совершенная нелѣпость тогдашняго воспитанія и преподаванія; книга была тѣмъ привлекательнѣе, что, повидимому, удаляла изъ жизни всякія хлопоты и заботы, — дѣло дѣлалось шутя. Ребенка надобно было воспитывать безъ принужденія, безъ битья, не муча его книгами, и онъ, даже безъ особенныхъ способностей, все понималъ и все усваивалъ себѣ легко и притомъ усваивалъ только то, что было прямо полезно для жизни. Вліяніе этой книги было особенно сильно въ Германіи: тамъ недалекіе люди, энтузіасты и спекуляторы хотѣли цѣликомъ примѣнить къ частной дѣйствительности теорію, которая должна была служить только идеаломъ, какъ Платонова республика; они выдергивали куски изъ романа Руссо, сшивали ихъ въ систему и старались ввести ее въ жизнь, какъ евангеліе воспитанія. Во Франціи нельзя было дѣлать этого при старомъ правительствѣ и при іерархіи.

Эмиль начинается словами: „Все хорошо. при выходѣ изъ рукъ Творца: все портится въ рукахъ человѣка“ Итакъ, Руссо первыми же словами своей книги говоритъ, что видитъ перстъ Божества только во вѣшней природѣ и ея законахъ, но не видитъ его въ развитіи человѣчества и въ прогрессѣ цивилизаціи. Выходя изъ этого принципа, онъ, то въ формѣ разсказа, то въ формѣ разговоровъ, излагаетъ свой идеаль воспитанія и преподаванія; Базедовъ, Зальцманъ и Кампе старались потомъ осуществить этотъ идеаль въ Германіи.

*Шлоссеръ.*



## Новая Элоиза Руссо.

Руссо изумилъ современную публику, выпустивъ романъ „Новая Элоиза“ (1761). Такъ мало ожидали отъ него подобнаго произведенія, такъ хорошо помнили его взглядъ на безнравственное вліяніе романовъ, что иные, находя, что суровому обличителю не пристало такъ привлекательно рисовать страсти, допускали появленіе новаго писателя, „соименника съ женеvскимъ гражданиномъ“. Но эта непослѣдовательность вызвана была фактами личной жизни и испытаніями Руссо; „Новая Элоиза“ написана въ пылу несчастной любви къ г-жѣ Удето, и многія страницы выстраданы; оттого ихъ задушевный тонъ сильно дѣйствовалъ на всѣхъ, потерпѣвшихъ поражение въ битвѣ жизни, исторгалъ у неудачниковъ, утомленныхъ пустотою существованія, обильныя слезы, и даже на массу сытыхъ и счастливыхъ людей дѣйствовалъ искренностью исповѣди. Этому впечатлѣнію содѣйствовалъ удивительный слогъ, составившій эпоху въ исторіи французскаго языка; живая и образная рѣчь, философскія отступленія, описанія природы, лирическій безпорядокъ, переносили въ романъ всю нестроту и разнохарактерность жизни, а изліянія тоскующей души облекались въ форму страстныхъ монологовъ. Немало также помогло успѣху романа быстро укоренившееся убѣжденіе, что все въ немъ — точная автобіографія; какъ въ послѣдствіи Байрону, Руссо приходилось бороться съ этимъ мнѣніемъ. Но никакія возраженія не дѣйствовали, и массу чрезвычайно интересовало узнать исторію любви мизантропа-отшельника.

Но если успѣхъ дѣйствительно былъ колоссаленъ, и даже такіе люди, какъ д'Аламберъ, врагъ мечтательности и поклонникъ трезвой науки, были растроганы, то рѣзко обозначились и признаки недовольства. Вольтеръ выпустилъ злой разбор Элоизы въ формѣ писемъ; въ Женевѣ кальвинисты-друзья Руссо негодовали на его измѣну и готовы были отречься отъ него; съ этого разлада началось глубокое разъединеніе мыслителя съ его согражданами, — а во Франціи церковная партія, возмущаясь слишкомъ свободными, по ея мнѣнію, взглядами на вѣру и нравственность, проводимыми въ романѣ, вторила этому недовольству.

„Новая Элоиза“ задумана была еще въ 1758 г., въ Эрмитажѣ; мысль Руссо унеслась въ прошлое, къ порѣ жизни

у г-жи Варенсъ, и вызвала воспоминаніе о счастливомъ днѣ, проведенномъ въ обществѣ двухъ дѣвушекъ; одною изъ нихъ онъ увлекался, многое порывался ей сказать, но едва осмѣлился поцѣловать ей руку. Это — Юлія романа, а блаженный день растянуть въ немъ на нѣсколько главъ. Любовь къ г-жѣ Удето внесла новыя черты въ задуманный характеръ; мучительное положеніе Руссо въ виду чужого счастья отразилось въ терзаніяхъ Сень-Прё; Вольтеръ срисованъ съ одного испанца, съ которымъ авторъ встрѣчался въ Парижѣ — по другому мнѣнію, съ Гольбаха. Къ даннымъ, взятымъ изъ жизни, присоединилось вліяніе исторіи Элоизы и Абеяра, сказавшееся въ завязкѣ любви героевъ романа, учителя и ученицы. Повліяла и „Кларисса“ Ричардсона, указавшая форму писемъ и симпатичная Руссо по искренности нравственного воодушевленія. Но, слагая свое твореніе изъ этихъ элементовъ и связывая ихъ своими завѣтными идеями, Руссо далъ въ „Новой Элоизѣ“ болѣе, чѣмъ романъ. Современныя намъ требованія отъ подобнаго произведенія нашли бы его растянутымъ, изобилующимъ отступленіями. Иная точка зрѣнія необходима, чтобъ понять его значеніе. Романъ несомнѣнно распадался на двѣ части. Первая написана въ первомъ возбужденіи страсти; это апоэозъ увлеченія, рвущагося на просторъ и въ виду преградъ переходящаго въ отчаяніе. Во второй части является какъ бы поправка возвеличенія чувственной любви, пытающаяся загладить произведенное впечатлѣніе, доказывая, что любовь ведетъ не къ изнѣженности, а къ добродѣтели. Сень-Прё овладѣлъ собою и прился за практическій трудъ. Помимо этого дѣленія на части, помогающаго выяснить мысль автора, та же цѣль достигается посредствомъ множества эпизодовъ, излагаемыхъ отъ лица автора или его героевъ. Юлія д'Этанжъ хорошо воспитана, но все же странно видѣть въ ея письмѣ къ подругѣ оцѣнку платоновой республики и положенія женщинъ по Платону. Далѣе идутъ мастерскія характеристики великихъ мужей Греціи и Рима. Казалось бы, зачѣмъ онъ въ романъ? Авторъ, очевидно, имѣетъ слабость къ такимъ отступленіямъ и не можетъ воздержаться отъ нихъ. Зато они, вмѣстѣ съ подробностями фабулы, помогаютъ опредѣлить основныя взгляды Руссо. Первый вопросъ, затронутый романомъ, касается неравенства людей. Не будь его, не было бы и романа. Сень-Прё по воспитанію и нравственнымъ качествамъ



былъ бы достойнымъ мужемъ Юліи, но онъ плебей, а она аристократка. И самъ герой, и его другъ лордъ Эдвордъ не разъ горячо заступаются за низшія сословія. Но ничто не въ состояніи сломить упорства старика д'Этанжа, аристократа до мозга костей. Юлія горько жалуется на это ослѣпленіе: „почетѣе быть женою угольщика, чѣмъ любовницею короля“, пишетъ она пріятельницѣ, а, впадая въ ея тонъ, самъ авторъ заявляетъ, что „на двадцать случаевъ можно привести развѣ только одно исключеніе изъ того правила, что каждый дворянинъ ведетъ свой родъ отъ бездѣльника“. Съ подобными укоризнами естественно находится въ связи привлекательное изображеніе жизни народа. Одно изъ главныхъ чертъ романа является восхваленіе естественнаго состоянія человѣчества, и въ особенності стоящаго всѣхъ ближе къ природѣ быта земледѣльцевъ. Руссо, признавшійся въ „Исповѣди“ что онъ самъ рѣшительно не созданъ для городской жизни, что деревня всегда освѣжала его, съ увлеченіемъ много разъ изображалъ (не безъ идеализаціи) жизнь деревенскую. Все нравилось ему въ ней: и бодрость душевная, и физическое здоровье, и свѣжая народная поэзія. „Большею частью это старые романсы: въ напѣвахъ нѣтъ ничего блестящаго, но въ нихъ привлекательно обаяніе старины и чувствуется неизъяснимая нѣжность“. Въ этой оцѣнкѣ народной нѣсни легко отгадать одинъ изъ элементовъ того движенія, которое у нѣмецкихъ послѣдователей Руссо, особенно у Гердера, привело къ провозглашенію народности единственнымъ спасеніемъ поэтического творчества.

Читатель нашего времени, подѣ впечатлѣніемъ гетевского „Вертера“ (также созданнаго подѣ сильнымъ вліяніемъ „Новой Элоизы“), ожидаетъ, что неразрѣшимый трагическій узелъ будетъ и у Руссо оборванъ самоубійствомъ. Авторъ, повидимому, сознавалъ возможность такой развязки; одно лишь самообладаніе героя удерживаетъ его въ роковую минуту. Если въ романѣ послѣ пламеннаго изображенія страсти слѣдуютъ мудрые и остерегающіе совѣты, то и вопросъ о самоубійствѣ дѣлается предметомъ длинныхъ обсужденій за и противъ между Сень-Прё и лордомъ Эдвардомъ, выясняющихъ незаконность самоуничтоженія. И это опять не праздное словопреніе: личныя и общія причины побудили Руссо остановиться на этомъ вопросѣ. Впослѣдствіи, настойчивые толки по поводу его

смерти, считаемою многими насильственною, поставили разсужденія эти въ связь съ бродившими у него по временамъ крайне ипохондрическими мыслями. Но въ ту пору и въ обществѣ, на ряду съ чествованіемъ начинающагося царства разума, заявлялись не разъ пессимистическія воззрѣнія, изучалось напр. ученіе защитника самоубійства, Гегезія киренскаго, появлялись возраженія противъ него (стихотворный французскій діалогъ) и защитительные трактаты въ родѣ примѣчательной книги шведа Робека, о которой не разъ упоминаетъ и Сень-Прё, и самъ авторъ. Противъ этого наплыва меланхоліи стоило бороться, и, разсмотрѣвъ вопросъ по существу. Руссо заставляетъ своего героя превозмочь блеснувшую во время прогулки въ лодкѣ съ Юліей безумную мысль схватить ее и обоимъ броситься въ озеро. Несчастные любовники вскорѣ говорятъ уже другимъ языкомъ, заявляя, что ихъ страсть не возродится болѣе.

Сближеніе съ природою, горячо проповѣдуемое въ романѣ, выдвигаетъ одну изъ важныхъ его чертъ, — художественныя описанія природы, узаконенныя съ тѣхъ поръ въ новой литературѣ; кромѣ того, оно опредѣляетъ сущность изложенныхъ тутъ мимоходомъ, зато развитыхъ подробнѣе въ *Эмилъ* мыслей о здоровомъ нормальномъ воспитаніи. И тогда, когда Сень-Прё обучаетъ Юлію, и когда у нея самой есть дѣти, авторъ не пропускаетъ случая, чтобы указать на строгій выборъ чтенія. Философія названа здѣсь лживымъ измышленіемъ, искусственная французская словесность отодвинута на задній планъ; итальянская поэзія (особенно Тассъ) выставлена образцомъ естественности и простоты, въ библіи и Плу-тархѣ указаны лучшія пособія питанію; искусству предназначено изученіе природы и жизни народной, которое развило бы вкусъ будущихъ поколѣній въ здоровомъ и облагораживающемъ направленіи. Такіе взгляды на значеніе разумной педагогіи облегчаютъ переходъ отъ „Элонзы“ къ „Эмилю“, также изложенному въ романической формѣ, вѣроятно, для того, чтобы пріохотить читателя къ размышленію о вопросахъ серьезныхъ.

*Веселовскій.*



## Общественный договор Руссо.

Руссо выступилъ на литературное поприще, какъ противникъ господствовавшаго во Франціи матеріализма. Выводамъ сенсуалистической школы онъ противопоставлялъ внутреннія требованія человѣка, проповѣди личнаго интереса нравственныя начала жизни. Подвергая мѣткой критикѣ основныя положенія матеріалистической философіи, онъ доказывалъ, что матерія, по самому своему понятію, есть нѣчто мертвое и косное, что говорить о живой матеріи значитъ изрекать слова, не имѣющія смысла. Опираясь на то, что человѣкъ чувствуетъ въ себѣ самомъ, онъ утверждалъ, что источникомъ силы можетъ быть только воля, источникомъ закона только разумъ. Поэтому онъ въ мірѣ видѣлъ правленіе единого Божества, а въ человѣкѣ соединеніе двухъ элементовъ — тѣла и души. Во имя духовной природы человѣка онъ отвергалъ фатализмъ, вытекавшій изъ матеріалистической системы, и ссылался на внутреннее сознаніе въ доказательство, что человѣкъ есть существо свободное, само управляющее своими дѣйствіями, а потому и отвѣтственное за нихъ. Черезъ это начало личной свободы, которое у матеріалистовъ лишено было настоящаго основанія, получало новое значеніе.

Но Руссо не останавливался на чистомъ индивидуализмѣ. Такъ же, какъ шотландскіе философы, онъ эгоистическимъ стремленіямъ человѣка противопоставлялъ симпатическія наклонности и внутренній голосъ совѣсти, отличающей добро отъ зла. Съ другой стороны, однако, онъ придавалъ личной свободѣ гораздо болѣе значенія, нежели шотландцы. Для него, такъ же какъ и для чистыхъ индивидуалистовъ, это было абсолютное начало, котораго не позволено касаться, начало, составляющее источникъ всего общественнаго быта. Такимъ образомъ, въ Руссо соединяются оба противоположныя направленія, вытекшія изъ ученія Локка. Онъ старался сочетать абсолютныя требованія личности съ началами нравственности и общежитія. Но такъ какъ и онъ стоялъ на почвѣ индивидуализма, то настоящаго соглашенія произойти не могло, а выказывалась только несовмѣстность однихъ съ другими. Одаренный неуклонною силою логики, Руссо не отступалъ ни передъ какими выводами. Поэтому скрывающіяся въ этомъ ученіи противорѣчія выступали у него особенно ярко и обна-

руживались на каждомъ шагѣ. Такой именно характеръ носить на себѣ его политическая теорія, которая представляетъ высшій идеалъ индивидуальной школы, но которая вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ обличаетъ всю односторонность принятыхъ ею началъ.

Первое сочиненіе Руссо, которое появилось въ печати, была *Речь о наукахъ и искусствахъ*. Она была писана въ 1750 году, на тему, заданную Дижонской академіей: „содѣйствовало ли возстановленіе наукъ и искусствъ очищенію нравовъ?“ Руссо отвѣчалъ отрицательно. Онъ утверждалъ, что просвѣщеніе портитъ нравы, что умственное развитіе ведетъ къ умноженію мелочныхъ потребностей, прихотливыхъ вкусовъ, личныхъ стремленій, къ господству эстетическихъ цѣлей и утонченныхъ формъ, въ ущербъ простотѣ жизни, правдѣ и нравственности. Ссылаясь на примѣръ древнихъ, онъ доказывалъ, что только тѣ народы играютъ историческую роль и совершаютъ великія дѣла, которые сохраняютъ въ себѣ первобытную простоту, и что, напротивъ, государства падаютъ, какъ скоро они усваиваютъ себѣ плоды цивилизаціи. Эта рѣчь была увѣнчана премією.

Ту же тему, но еще съ большимъ искусствомъ и съ большею послѣдовательностью, Руссо развивалъ въ другомъ сочиненіи, писанномъ въ 1754 году, тоже на вопросъ, поставленный Дижонскою академіею, именно, въ *Речи о происхожденіи и основаніяхъ неравенства между людьми*. Онъ выставялъ здѣсь дикаго человѣка, въ его первобытной свободѣ и простотѣ жизни, идеаломъ для современныхъ обществъ. Въ этомъ сочиненіи заключаются и зачатки политическихъ воззрѣній Руссо. Поэтому, въ изложеніи его ученія необходимо бросить взглядъ на содержаніе этого трактата.

Руссо отправляется отъ того положенія, что, по общему признанію, люди по природѣ равны между собою. Если и существуетъ естественное неравенство, состоящее въ различіи возраста, здоровья, физическихъ и умственныхъ силъ, то оно никакъ не можетъ объяснить неравенства нравственного или политическаго, установленнаго въ человѣческихъ обществахъ, ибо послѣднее отнюдь не основано на первомъ. Какимъ же сцепленіемъ чудесъ можно было заставить сильнаго повиноваться слабому и побудить народъ отказаться отъ дѣйствительнаго счастья во имя воображаемаго спокойствія? Очевидно, что это могло произойти только отъ искусственнаго развитія.



Человѣкъ удалился отъ своего первообраза такъ, что едва можно узнать въ немъ первобытныя черты. Предаваясь страстямъ и слѣдуя внушеніямъ безумствующаго разума, онъ искалъ въ себѣ данную ему Богомъ природу. Чтобы познать истинное естество человѣка, надобно, слѣдовательно, откинуть всѣ искусственные наросы и представить себѣ людей въ первобытномъ состояніи, въ томъ видѣ, какъ они вышли изъ рукъ Творца. Этимъ только способомъ можно изслѣдовать законы человѣческой природы, которые философами понимаются совершенно превратно. Каждый толкуетъ ихъ по своему, хотя всѣ сходятся въ одномъ, именно въ томъ, что они естественный законъ основываютъ на метафизическихъ началахъ; какъ будто нужно быть глубокимъ метафизикомъ, чтобы слѣдовать законамъ своего естества. Естественный законъ тотъ, который говоритъ непосредственно голосомъ самой природы. Слѣдовательно, его надобно искать въ началахъ, предшествующихъ разуму. Мы можемъ усмотрѣть два такихъ начала: одно, которое побуждаетъ насъ стремиться къ самосохраненію и къ личному счастью, другое, которое возбуждаетъ въ насъ неотразимую жалость при видѣ чужихъ страданій. Изъ сочетанія этихъ двухъ началъ можно объяснить всѣ правила естественнаго закона, не прибѣгая къ общежитію. Такимъ образомъ, человѣку не нужно быть философомъ, прежде нежели онъ сдѣлался человѣкомъ; его обязанности къ другимъ опредѣляются не поздними уроками мудрости, а прирожденнымъ ему чувствомъ. Этимъ разрѣшается и споръ на счетъ распространенія на животныхъ предписаній естественнаго закона. Человѣкъ не дѣлаетъ зла другому, не столько потому, что признаетъ въ немъ разумное существо, сколько потому, что видитъ въ немъ существо *чувствительное*, а такъ какъ это свойство общее людямъ и животнымъ, то послѣднія имѣютъ, по крайней мѣрѣ, право не подвергаться бесполезнымъ мученіямъ.

Этотъ выводъ Руссо ясно указываетъ на характеръ принятыхъ имъ началъ. Несмотря на его полемику противъ матеріалистовъ и на глубокое сознаніе нравственныхъ требованій, онъ все же остается на той же, чисто индивидуалистической почвѣ. Основнымъ свойствомъ человѣка признается не разумъ, а чувство, не общій элементъ, а личный. Вслѣдствіе этого человѣкъ приравнивается къ животнымъ и послѣднимъ приписываются такія же права, какъ и первому.

Требуя обращенія мысли къ первобытному состоянію чело-  
вѣка, Руссо не думаетъ однако утверждать, что это состояніе  
дѣйствительно существуетъ или нѣкогда существовало въ че-  
ловѣчествѣ. Напротивъ, онъ прямо говоритъ, что это — чи-  
стый вымыселъ и что подобныя изслѣдованія надобно прини-  
мать не за историческія истины, а за гипотетическія рассу-  
жденія, которыя способствуютъ только лучшему выясненію  
предмета. Такимъ образомъ, факты совершенно устраняются,  
какъ не идущіе къ дѣлу. Берется отвлеченное понятіе о че-  
ловѣкѣ и изъ этого понятія логическимъ путемъ выводится  
вся послѣдовательная нить его развитія. „Человѣкъ! воскли-  
каетъ Руссо, вотъ твоя исторія, какъ я могъ ее прочесть, не  
въ книгахъ, писанныхъ тебѣ подобными, которыя лживы, а  
въ природѣ, которая никогда не лжетъ“. Эта метода лучше всего  
характеризуетъ способъ изслѣдованія мыслителей XVIII вѣка.

Руссо представляетъ себѣ людей первоначально разсѣянными  
и живущими на подобіе животныхъ. Отъ послѣднихъ человѣкъ  
отличается не столько разумомъ, сколько свободою волею,  
признакъ духовнаго его естества. Онъ отличается и способ-  
ностью къ совершенствованію, которая составляетъ источникъ  
всѣхъ его бѣдствій. Въ первобытномъ состояніи эта способ-  
ность остается пока еще безъ дѣйствія. Слѣдуя внушеніямъ  
природы, человѣкъ дѣлаетъ добровольно, по собственному  
выбору, то, что животныя совершаютъ по безсознательному  
влеченію инстинкта. Уступая животнымъ въ силѣ, онъ прево-  
сходитъ ихъ физической организаціей и умѣньемъ пользоваться  
средствами для достиженія своихъ цѣлей. Самыя силы его,  
вслѣдствіе постояннаго упражненія, изощряются гораздо болѣе,  
нежели въ состояніи общежитія. Потребностей у него почти  
нѣтъ, а потому нѣтъ и страстей, а съ тѣмъ вмѣстѣ и пово-  
довъ къ распрямъ. Если желаніе удовлетворить своимъ нуж-  
дамъ побуждаетъ его иногда къ нападенію на другихъ, то эти  
стремленія смягчаются прирожденнымъ ему состраданіемъ.  
Мужчины случайно сходятся съ женщинами, и ребенокъ по-  
кидаетъ свою мать, какъ скоро она ему не нужна. Такимъ  
образомъ, въ первобытномъ состояніи мы не можемъ назвать че-  
ловѣка ни добрымъ, ни злымъ, ибо между людьми вовсе нѣтъ  
еще нравственныхъ отношеній и признанныхъ обязанностей.  
Съ полною свободою соединяется здѣсь и совершенное равенство,  
ибо физическія силы, при одинакомъ образѣ жизни, разви-



ваются почти одинаково у всѣхъ, а умственные способности. при малочисленности нуждъ, остаются безъ развитія. Однако людей въ этомъ состояніи мы отнюдь не должны представлять себѣ несчастными. Несчастіе есть лишеніе и страданіе, а какое можетъ быть страданіе у свободнаго существа, котораго сердце въ мирѣ и тѣло здорово? Несчастье есть плодъ искусственнаго просвѣщенія: оно неизвѣстно тамъ, гдѣ нѣтъ ни страстей, ни потребностей.

Человѣкъ могъ бы вѣчно остаться въ этомъ состояніи, если бы не разныя случайныя обстоятельства, которыя, усовершенствовавши его разумъ, исказили его природу и сдѣлали его злымъ, превративъ его въ существо общежительное.

Препятствія, которыя человѣкъ встрѣчалъ въ удовлетвореніи своихъ потребностей, возбудили въ немъ дѣятельность мысли. Онъ сталъ изобрѣтать орудія, и это обратило его вниманіе на взаимныя отношенія вещей. Онъ сталъ наблюдать себѣ подобныхъ, и это сблизило его съ людьми. Мало-по-малу основались семейства; люди построили себѣ постоянныя жилища. Таково состояніе, въ которомъ находятся дикіе народы. Можно полагать, что это — самая блаженная эпоха въ жизни человѣчества. Имѣя мало потребностей, не нуждаясь другъ въ другѣ, люди жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько это для нихъ возможно. Къ сожалѣнію, это состояніе не продлилось. Изобрѣтательность человѣческаго ума повела къ открытію способовъ выдѣлки металловъ и къ воздѣлыванію земли. Для этого недостаточно уже было одинокаго труда; нужно было содѣйствіе нѣсколькихъ. Земледѣліе повлекло за собою установленіе собственности, а съ тѣмъ вмѣстѣ исчезло равенство и начались всѣ бѣдствія человѣческаго рода. „Первый, говоритъ Руссо, кто, оградивши участокъ земли, вздумалъ сказать: *это мое*, и нашелъ людей довольно глупыхъ, чтобы ему повѣрить, былъ истиннымъ основателемъ гражданского общества. Отъ сколькихъ преступленій, войнъ, убійствъ, отъ сколькихъ бѣдствій и ужасовъ избавилъ бы человечество тотъ, кто, выдернувъ колья и закопавши ровъ, кликнулъ бы себѣ подобнымъ: смотрите, не слушайтесь этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земные принадлежать всѣмъ, а земля никому!“ Но едва ли уже въ то время, продолжаетъ Руссо, можно было остановить неудержимый ходъ вещей.

Съ установленіемъ собственности должно было выказаться и развиться естественное неравенство способностей, а вмѣстѣ съ тѣмъ родились и всѣ пороки, сопровождающіе стремленіе человѣка къ превосходству надъ другими. Между людьми явилось различіе богатыхъ и бѣдныхъ. Умноженіе потребностей повело и къ тому, что свободный прежде человѣкъ сдѣлался рабомъ своихъ нуждъ, а потому зависимымъ отъ другихъ. Каждый старался воспользоваться плодами чужого труда: богатый хотѣлъ властвовать надъ бѣднымъ; послѣдній хотѣлъ присвоить имущество богатыхъ. Отсюда постоянные раздоры и бѣдствія, которые повели, наконецъ, къ новому перевороту.

Подвергаясь непрерывнымъ нападеніямъ и изыскивая средства защиты, богатые изобрѣли способъ обратить въ свою пользу самыя силы противниковъ. Они убѣдили послѣднихъ соединиться всѣмъ вмѣстѣ для водворенія мира и для охраненія правъ всѣхъ и cadaго. „Таково было или должно было быть происхожденіе общества и законовъ, которые наложили новыя оковы на слабыхъ и дали новыя силы богатымъ, которые безвозвратно уничтожили естественную свободу, упрочили навсегда законъ собственности и неравенства, которые изъ ловкаго присвоенія сдѣлали неприкосновенное право и, для пользы немногихъ честолюбцевъ, на вѣки обрекли человѣчество труду, рабству и нищитѣ“. Установленіе одного общества повлекло за собою и другія. Человѣческій родъ распался на отдѣльныя государства, которыя, находясь между собою въ естественномъ состояніи, приходили въ непрерывныя столкновенія другъ съ другомъ. Отсюда страшныя войны и тѣ предразсудки, которые возвели пролитіе крови на степень общественной добродѣтели. Люди стали уничтожать другъ друга тысячами, сами не зная за что. Въ одинъ день совершалось болѣе убійствъ, нежели въ теченіе вѣковъ естественнаго состоянія.

Руссо опровергаетъ всѣ другіе способы установленія политическихъ обществъ, признаваемые писателями. Гражданскій порядокъ не можетъ имѣть источникомъ завоеваніе, ибо сила не рождаетъ права. Только добровольное признаніе побѣжденныхъ дѣлаетъ правительство законнымъ; иначе продолжается состояніе войны. Гражданскія общества не могли также возникнуть изъ отеческой власти, ибо въ естественномъ состояніи отецъ не имѣетъ власти надъ взрослыми дѣтьми. Скорѣе



можно сказать наоборотъ, что отеческая власть получаетъ главную свою силу отъ власти гражданской. Наконецъ, образованіе обществъ не можетъ быть приписано соединенію слабыхъ, ибо бѣднымъ, не имѣющимъ ничего, кромѣ свободы, нѣтъ никакой выгоды отказываться отъ послѣдняго своего блага. Изобрѣтеніе обыкновенно принадлежитъ тѣмъ, кому оно выгодно, а не тѣмъ, кому оно вредитъ.

Съ водвореніемъ гражданского порядка народы признали надъ собой власть, но еще не подчинились деспотизму. Не входя въ настоящее время, говоритъ Руссо, въ изслѣдованіе свойствъ основного общественнаго договора, можно, держась общаго мнѣнія, разсматривать первоначальное установленіе правительствъ, какъ договоръ между ними и народомъ. Послѣдній утвердилъ основные законы и выбралъ начальниковъ; правители же обязались дѣйствовать на основаніи законовъ. Образы правленія могли быть различны, смотря по обстоятельствамъ, но вообще первоначально власти были выборныя. Скоро однако возникшія неурядицы повели къ новымъ переменамъ. Начались козни и раздоры; водворилась анархія. Этимъ воспользовались начальники, чтобы упрочить свою власть и сдѣлать ее наследственною. Народъ, привыкшій уже къ зависимости, согласился на это, чтобы избавиться отъ волненій. Такимъ образомъ установилась произвольная власть: правители стали смотрѣть на государство, какъ на свою собственность, а на гражданъ, какъ на своихъ рабовъ.

Эта послѣдняя переменна представляетъ высшее и крайнее развитіе неравенства между людьми. Въ первую эпоху, съ установленіемъ собственности, является различіе богатыхъ и бѣдныхъ, во вторую эпоху, съ установленіемъ правительствъ, различіе сильныхъ и слабыхъ, наконецъ въ третью, съ замѣной законной власти произвольно, различіе господъ и рабовъ. Политическое неравенство влечетъ за собою и неравенство гражданское: каждый, подчиняясь высшему, старается получить преимущество надъ низшими. Но съ водвореніемъ деспотизма, всѣ опять дѣлаются равны, ибо всѣ одинаково становятся рабами. Это — возвращеніе къ первобытному состоянію, гдѣ господствуетъ право силы, съ тѣмъ различіемъ, что одно представляетъ человѣческую природу въ ея чистотѣ, а другое является плодомъ совершеннаго ея искаженія. Между этими двумя крайностями лежитъ весь путь постепеннаго извращенія

человѣчества. Естественный человѣкъ исчезаетъ, и вмѣсто его являются собранія людей съ искусственными наклонностями, страстями и отношеніями. Все, что составляло счастье для перваго, невыносимо для послѣднихъ. Дикій находитъ блаженство въ свободѣ и покоѣ; гражданинъ, вѣчно дѣятельный, живетъ въ непрерывной тревогѣ и постоянно ищетъ новыхъ, еще болѣе мучительныхъ работъ. Онъ прислуживаетъ сильнымъ, которыхъ ненавидитъ, и богатымъ, которыхъ презираетъ; онъ хвастается своею низостью и ихъ покровительствомъ. Гордясь своимъ рабствомъ, онъ съ презрѣніемъ говоритъ о тѣхъ, которые не имѣютъ чести раздѣлять ту же участь. Дикій живетъ въ себѣ самомъ; гражданинъ, обрѣтаясь вѣчно внѣ себя, живетъ только чужимъ мнѣніемъ. Такимъ образомъ, все у него превращается въ пустую внѣшность, лишенную содержанія: у него честь безъ добродѣтели, умъ безъ мудрости, удовольствіе безъ счастья. Отъ первоначальной его природы не осталось ничего; все въ немъ происхожденіе искусственнаго быта и господствующаго въ обществѣ неравенства.

Эти выводы и разсужденія Руссо очевидно имѣютъ чисто отрицательный характеръ. Не разъ въ исторіи человѣчества мы видимъ мыслителей, которые, отвращаясь отъ современнаго имъ общества, негодуя на его пороки, ищутъ идеала въ дикомъ состояніи и представляютъ неиспорченнаго еще человѣка, какъ образецъ своимъ согражданамъ. Руссо также искалъ идеала, къ которому неудержимо стремилась его пламенная душа. Онъ не вѣрилъ, что человѣкъ созданъ былъ природою такимъ, какимъ онъ видѣлъ его передъ собою. Онъ мечталъ о свободѣ и равенствѣ, а замѣчалъ вокругъ себя только подчиненіе и іерархію; онъ требовалъ мужественныхъ добродѣтелей, а встрѣчалъ только утонченный эгоизмъ, мелочное тщеславіе и сложныя человѣческія отношенія, въ которыхъ ложь прикрывается наружностью истины. Поэтому онъ естественно обращался къ дикому состоянію, гдѣ онъ находилъ свободу, равенство, простоту жизни и чувствъ, которыя онъ тщетно искалъ среди современниковъ. Обратная сторона картины передъ нимъ исчезла. При всемъ томъ, онъ самъ не могъ остановиться на этомъ воззрѣніи. Оно заключало въ себѣ коренное противорѣчіе съ такими требованіями, которыя, по собственному его ученію, необходимо связаны съ человѣческой природой. Индивидуализмъ доводился здѣсь



до тѣхъ крайнихъ предѣловъ, при которыхъ, отрицая все остальное, это начало должно было, наконецъ, отрицать и само себя. Всѣ общественныя связи отвергались, какъ плодъ искусственнаго развитія; идеаломъ выставлялся человѣкъ, не имѣющій никакого отношенія къ себѣ подобнымъ. Но этимъ самымъ отвергалось все, что даетъ цѣну и значеніе человѣческой личности, что способно возвысить человѣческую душу. Отвѣчая на возраженія, которыя сыпались на него со всѣхъ сторонъ за его нападки на образованіе, Руссо говорилъ, что онъ постоянно будетъ повторять только два слова: *истина! добродѣтель!* Между тѣмъ, въ одинокомъ состояніи нѣтъ ни познанія истины, ни приложенія добродѣтели. Описывая первобытнаго человѣка идеальными красками, Руссо признавался, что люди въ то время, не имѣя другъ съ другомъ никакихъ нравственныхъ отношеній, не могли быть ни добрыми, ни злыми, не имѣли ни добродѣтелей, ни пороковъ. Еще менѣе было тутъ мѣста для дѣятельности разума, для познанія. „Состояніе мышленія“, говоритъ Руссо, „есть состояніе противоестественное; человѣкъ, который размышляетъ, есть животное развращенное“. Остается, слѣдовательно чисто животная жизнь. Сами матеріалисты, противъ которыхъ такъ сильно вооружался Руссо, не могли придумать ничего болѣе крайняго. Съ своею неуклонною логикою, Руссо доводилъ принятое имъ начало до конца, но этимъ самымъ обнаруживалась вся внутренняя пустота этого начала. Оказывалось, что послѣдовательно проведенный, односторонній индивидуализмъ противорѣчитъ существу человѣка, и что поэтому необходимо повернуть въ другую сторону, связать его съ высшими элементами человѣческой природы.

Ратуя во имя правды, нравственности, добродѣтели, Руссо рано или поздно долженъ былъ обратить свои взоры въ другую сторону, искать идеала не назадъ, а впередъ, въ состояніи общежитія, ибо здѣсь только высшія требованія человѣка могутъ найти полное приложеніе. Но надобно было придумать такое общественное устройство, которое, связывая человѣка съ себѣ подобными, вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняло бы неприкосновеннымъ первобытную его свободу и данныя ему природою права. Плодомъ его размышленій было сочиненіе *Объ общественномъ договорѣ* (*Du Contrat Social*), вышедше въ 1762 году, восемь лѣтъ послѣ *Речи о происхожденіи неравенства*. „Найти

форму союза, посредствомъ которой каждый, соединяясь со всѣми, повиновался бы однакоже единственно себѣ самому и оставался бы столь же свободнымъ, какъ и прежде: такова была, въ сущности неразрѣшимая задача, которую Руссо предложилъ себѣ въ этомъ трактатѣ.

„Человѣкъ рождается свободнымъ, а вездѣ онъ въ оковахъ“: такъ начинается Руссо свое разсужденіе. Какъ произошла эта переменѣна? Неизвѣстно. Что можетъ сдѣлать ее законной? Для разрѣшенія этого вопроса надобно разобрать, на чемъ основано человѣческое общежитіе.

Руссо устраняетъ мнѣніе о происхожденіи гражданскихъ обществъ изъ семейства. Такъ какъ всѣ люди по природѣ свободны и равны, то дѣти, по достиженіи совершеннолѣтія, выходятъ изъ-подъ родительской власти. Если они остаются подчиненными отцу, то это совершается не иначе, какъ въ силу договора; они отчуждаютъ свою свободу единственно для собственной пользы. Съ другой стороны, государства не могутъ быть основаны и на силѣ. Сила не рождаетъ права; это — матеріальная способность, которая не можетъ имѣть нравственныхъ послѣдствій. Если принять это начало, то слѣдуетъ признать, что тотъ правъ, кто сильнѣе другихъ, а потому, кто можетъ безнаказанно не повиноваться закону, тотъ дѣйствуетъ по своему праву.

Остается, слѣдовательно, договоръ, какъ единственное основаніе всякой законной власти между людьми. Но этотъ договоръ не можетъ состоять въ отчужденіи однимъ лицомъ своей свободы въ пользу другого. Отреченіе отъ свободы несовмѣстно съ человѣческою природою: это значитъ отказаться отъ качества человѣка, отъ человѣческихъ правъ и обязанностей. Этимъ уничтожается нравственный характеръ дѣйствія, а потому подобный договоръ не имѣетъ силы. Только безумный можетъ отдать себя всецѣло, ничего не истребовавъ обратно; но безуміе не рождаетъ права. Еще менѣе возможно предположить подобное дѣйствіе со стороны цѣлаго народа. Если бы даже человѣкъ имѣлъ право отчуждать свою свободу, то онъ не въ правѣ располагать свободою дѣтей. Нѣкоторые выводятъ рабство изъ войны: утверждаютъ, что побѣдитель властенъ сдѣлать рабами тѣхъ, кому онъ даровалъ жизнь. Но война не есть отношеніе между частными лицами; это — отношеніе государствъ. Отдѣльные лица участвуютъ въ ней только



какъ граждане, а не въ качествѣ людей. Ихъ можно убивать, пока у нихъ оружіе въ рукахъ; но какъ скоро они сдались, такъ право жизни и смерти надъ ними прекращается, и наступаютъ отношенія добровольныя. Поэтому, если они обращаются въ рабство, то это опять не что иное, какъ право силы, то-есть, продолженіе войны. Отсюда могутъ возникнуть отношенія господскія, а отнюдь не гражданскія. Необходимо, слѣдовательно, прійти къ договору обоюдному, основанному на свободной волѣ лицъ, вступающихъ въ обязательство относительно другъ друга. Въ чемъ же состоитъ существо этого договора?

Прежде нежели народъ устанавливаетъ надъ собой правительство, нужно, чтобы отдѣльныя, разрозненные лица совокупились въ единый народъ. Актъ, въ силу котораго совершается это соединеніе, и есть *общественный договоръ*, основаніе всякаго общежитія. Условія его опредѣлены самой природой, такъ что малѣйшее ихъ измѣненіе уничтожило бы самое обязательство. Эти условія вездѣ одни и тѣ же, хотя они нигдѣ формально не высказываются. Сущность ихъ заключается въ томъ, что каждый отдаетъ всецѣло себя и все свои права въ пользу всего общества. Этимъ только способомъ возможно сочетать сохраненіе свободы съ требованіями общежитія. Ибо, если бы отдѣльныя лица сохраняли за собой часть своихъ правъ, то они сами оставались бы судьями этихъ правъ; между ними и обществомъ не было бы высшаго судьи, которому предоставлялось бы рѣшеніе споровъ, а это — состояніе анархіи. Но когда каждый отчуждаетъ все свои права въ пользу цѣлаго общества, оставаясь самъ нераздѣльнымъ членомъ этого цѣлаго, то этимъ достигается двоякая цѣль: съ одной стороны исполнѣе удовлетворяются требованія общежитія; съ другой стороны, человѣкъ не лишается своей свободы, ибо, подчиняясь общей волѣ, которой онъ самъ состоитъ участникомъ, онъ въ сущности подчиняется только себѣ самому. Вмѣстѣ съ тѣмъ, этимъ способомъ сохраняется полнѣйшее равенство членовъ, ибо условія для всехъ одинаковы: давая другимъ право надъ собою, каждый пріобрѣтаетъ совершенно такое же право надъ всеми другими. Наконецъ, устанавливается совершеннѣйшее единство союза. Общество становится нравственнымъ лицомъ, имѣющимъ свое я, свою жизнь и свою волю. Это лицо называется городомъ, республикой, политическимъ тѣломъ, госу-

дарствомъ. самодержцемъ, державою; члены же получаютъ названіе народа, гражданъ или подданныхъ, смотря по тому, въ какомъ отношеніи они разсматриваются.

Въ этомъ ученіи, которое замѣняетъ личную свободу народнымъ полновластіемъ, мы видимъ выходъ изъ началъ чистаго индивидуализма. Руссо понялъ, что отдѣльные лица не могутъ сохранить за собою часть своихъ правъ, ибо это не что иное, какъ продолженіе анархіи. Въ обществѣ необходимъ высшій судья, котораго приговоры имѣли бы абсолютную обязательную силу для всѣхъ, а такимъ можетъ быть только цѣлое или его законные органы. Подчиненіе должно, слѣдовательно, быть полное, безусловное, по крайней мѣрѣ въ области юридическихъ отношеній. Но, оставаясь на почвѣ индивидуализма, Руссо хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить неприкосновенно личную свободу человѣка, такъ чтобы лицо, подчиняясь обществу, въ сущности повиновалось только самому себѣ. Онъ думалъ сдѣлать это, давши каждому члену общества неотъемлемое право участвовать во всѣхъ общихъ рѣшеніяхъ, то-есть, онъ замѣнялъ личное право политическимъ. Этимъ онъ существенно отличается отъ всѣхъ своихъ предшественниковъ. Народное полновластіе является у него не только какъ верховный источникъ всѣхъ общественныхъ властей, но какъ постоянная, необходимая и исключительная форма всякаго политическаго союза, какъ идеальное устройство, въ которомъ неразрывно сочетаются оба противоположные элемента человеческого общежитія: личный и общій.

Очевидно, однако, что этотъ оборотъ не спасаетъ индивидуальнаго начала. Личная свобода черезъ это не остается неприкосновенною, ибо, подчиняясь общему рѣшенію, человѣкъ все-таки повинуется не себѣ, а другимъ. Въ этомъ отреченіи отъ собственной воли заключается первое и необходимое условіе всякаго общежитія. Вопросъ состоитъ только въ томъ, кому выгоднѣе подчиняться: приговорамъ ли большинства, или правительству, основанному на иныхъ началахъ? вопросъ, который можетъ быть рѣшенъ различно, смотря по обстоятельствамъ. Во всякомъ случаѣ, то устройство, которое предлагаетъ Руссо, менѣе всего соотвѣтствуетъ своей цѣли. Послѣдовательно проведенное требованіе непремѣннаго личнаго участія каждаго въ общихъ рѣшеніяхъ приводитъ къ такимъ положеніямъ, которыя явно обнаруживаютъ его несостоятель-



ность. Самъ Руссо не довелъ этого начала до конца: онъ ничего не говоритъ объ участіи женщинъ и дѣтей въ приговорахъ общества. Между тѣмъ, этотъ вопросъ составляетъ камень преткновенія для его системы. Ибо, съ одной стороны, если признать политическое право неотъемлемою принадлежностью всякаго члена общества, потому только, что онъ рожденъ свободнымъ, то оно несомнѣнно должно принадлежать и женщинамъ, и дѣтямъ. Съ другой стороны, не говоря уже о другихъ возраженіяхъ, ни женщины, ни дѣти не въ состояніи нести, наравнѣ съ другими, всѣхъ гражданскихъ обязанностей, которыя необходимо соотвѣтствуютъ правамъ. Военная служба къ нимъ неприменима. Слѣдовательно, волею или неволею, приходится признать въ членахъ общества различіе способности, а не ограничиваться отвлеченнымъ качествомъ гражданина. Дальнѣйшее изложеніе ученія Руссо покажетъ намъ всѣ другія несообразности, вытекающія изъ принятаго имъ начала.

Въ отличіе отъ прежняго своего мнѣнія, Руссо ставитъ гражданское состояніе, устроенное на основаніи общественнаго договора, выше естественнаго. Первобытный инстинктъ замѣняется здѣсь правдою; дѣйствія лица получаютъ нравственный характеръ. Хотя человѣкъ лишается нѣкоторыхъ естественныхъ преимуществъ, но взамѣнъ ихъ онъ пріобрѣтаетъ несравненно большія: способности его развиваются, мысль получаетъ большую ширину, чувства облагораживаются, и еслибы не злоупотребленія гражданского быта, онъ безпрестанно долженъ былъ бы благословлять ту минуту, которая вывела его изъ состоянія природы и изъ тупого и ограниченнаго животнаго сдѣлала его разумнымъ существомъ и человѣкомъ.

Выгоды, которыя пріобрѣтаетъ здѣсь человѣкъ, заключаются въ слѣдующемъ: онъ теряетъ естественную свою свободу, но получаетъ свободу гражданскую, ограниченную общею волею, но гораздо болѣе 'безопасную, нежели первая. Онъ впервые пріобрѣтаетъ и свободу нравственную, которая одна даетъ человѣку власть надъ самимъ собою, ибо подчиненіе инстинктивнымъ желаніямъ есть рабство, а повиновеніе разумно принятому закону есть свобода. Отрекаясь отъ неограниченнаго права захватывать все, что можетъ, гражданинъ получаетъ взамѣнъ обезпеченную государствомъ собственность. Въ гра-

жданскомъ состояніи, владѣльцы, передавши всѣ свои права государству, становятся какъ бы хранителями общаго достоянія, которое ограждается отъ нападеній совокупною силою всѣхъ. Члены общества отказываются, наконецъ, и отъ естественнаго равенства, но пріобрѣтаютъ равенство нравственное и законное, которое уравниваетъ физическое различіе способностей. Такимъ образомъ, отдавши все государству, человѣкъ все получаетъ отъ него обратно, умноженное и упроченное. Самая жизнь гражданина перестаетъ быть исключительно благодѣяніемъ природы; она становится условнымъ даяніемъ государства. На этомъ, между прочимъ, Руссо основываетъ законность смертной казни.

Общественная связь, совокупляющая всѣ лица въ одно цѣлое, есть общее благо, которое составляетъ цѣль всего государственнаго союза. Это именно и есть общій элементъ въ разнородныхъ стремленіяхъ, движущихъ отдѣльными лицами. Оно одно даетъ возможность соединить разрозненные воли въ одну общую волю, извлекая изъ нихъ то, что въ нихъ есть согласнаго. Поэтому всякій человѣческій союзъ управляется единственно этимъ началомъ.

Соединенная такимъ образомъ воля членовъ составляетъ верховную власть въ государствѣ. По существу своему эта власть неотчуждаема и нераздѣльна. Она неотчуждаема, потому что всякое отчужденіе есть замѣна общей воли частною, слѣдовательно, нарушеніе первоначальнаго договора, въ силу котораго существуетъ самое общество. Верховная власть можетъ состоять только изъ совокупной воли всѣхъ; какъ скоро она передается въ частныя руки, такъ она тѣмъ самымъ уничтожается, а вмѣстѣ съ нею уничтожается и политическое тѣло. Это имѣетъ мѣсто даже и при передачѣ верховной власти народнымъ представителямъ. Если общественная воля, по существу своему, неотчуждаема, то она не можетъ быть и представлена: это опять замѣна общей воли частною, слѣдовательно, нарушеніе первоначальнаго договора. Народъ, выбирающій представителей, свободенъ только въ моментъ избранія; какъ скоро выборы кончены, онъ становится рабомъ, слѣдовательно, онъ превращается въ ничто.

Та же причина дѣлаетъ верховную власть нераздѣльною. Общая воля можетъ быть только одна; воля какой бы то ни было части не имѣетъ никакого значенія. Политики, раздѣ-



ляющіе верховную власть на отдѣльные элементы, создаютъ изъ нея фантастическое существо, составленное изъ разныхъ частей, связанныхъ искусственнымъ образомъ. Это то же самое, что если бы они человѣка составляли изъ нѣсколькихъ тѣлъ, изъ которыхъ одно имѣло бы глаза, другое руки, третье ноги, и болѣе ничего. Заблужденіе ихъ проистекаетъ изъ того, что они различныя проявленія власти принимаютъ за отдѣльныя ея отрасли. Отсюда множество неясностей у писателей по государственному праву.

Будучи выраженіемъ общихъ интересовъ, общая воля всегда стремится къ общему благу; слѣдовательно она, по существу своему, всегда права. Въ дѣйствительности однако народъ нерѣдко ошибается въ своихъ сужденіяхъ; его можно обмануть, и тогда онъ, повидимому, хочетъ не того, что слѣдуетъ. Чтобы разрѣшить это противорѣчіе, Руссо отличаетъ общую волю (*la volonté générale*) отъ воли всѣхъ (*la volonté de tous*). Первая есть то, на чемъ сходятся всѣ частныя воли; вторая же, не что иное, какъ совокупность частныхъ волей, изъ которыхъ каждая стремится къ своему особому интересу. Чтобы получить общую волю изъ воли всѣхъ, нужно откинуть разногласія; тогда останется среднее мнѣніе, которое и будетъ общею волею. О послѣдней только и можно сказать, что она всегда права.

Отсюда ясно, что общею волею не можетъ считаться воля большинства, когда это большинство составляется изъ голосовъ извѣстной партіи, превозмогающей другія. Воля всякой партіи есть частная воля, которая не можетъ имѣть притязанія на владычество. Поэтому, какъ скоро въ государствѣ допускаются частныя товарищества и борьба партій, такъ общая воля исчезаетъ. Надобно, слѣдовательно, чтобы при совокупныхъ рѣшеніяхъ граждане подавали голосъ каждый за себя, безъ всякаго соглашенія съ другими. Тогда только можетъ получиться истинное выраженіе общей воли. Этимъ достигается и то, что народъ никогда не будетъ обманутъ.

Эти положенія ясно указываютъ на слабыя стороны разбираемаго ученія. Руссо, очевидно, усматривалъ необходимость отличить государственную волю, по существу своему направленную на общее благо, отъ воли демократической массы, движимой разнородными частными интересами. Но такъ какъ его собственныя начала не допускали подобнаго различенія,

пбо, по его теоріи, каждый гражданинъ непременно долженъ быть участникомъ общаго рѣшенія на одинакихъ правахъ со всѣми остальными, то приходилось механическимъ способомъ выдѣлять общую волю изъ воли всѣхъ, а это вело къ совершенно несостоятельнымъ выводамъ и требованіямъ. Въ дѣйствительности, при рѣшеніи дѣлъ народнымъ собраціемъ, неизбѣжны борьба партій и преобладаніе большинства надъ меньшинствомъ, то-есть, замѣна общей воли частною, и притомъ, далеко не лучшею, ибо здѣсь дается перевѣсъ количеству надъ качествомъ. Устранить эти послѣдствія нѣтъ никакой возможности, и самое то средство, которое предлагаетъ Руссо, устанавливая невыносимую и безразсудную тиранию, все-таки не достигаетъ цѣли. Какъ скоро человѣкъ принужденъ рѣшать дѣла совокупно съ другими, такъ онъ не можетъ уже повиноваться единственно себѣ. По всѣмъ вопросамъ, въ которыхъ его мнѣніе расходится съ мнѣніемъ большинства, онъ неизбежно долженъ подчинить свою волю чужой.

Руссо не могъ этого не видѣть; поэтому онъ старается устранить и это возраженіе, но тутъ онъ прибѣгаетъ къ такому софизму, который лучше всего обличаетъ несостоятельность принятаго имъ начала. При общей подачѣ голосовъ, говоритъ онъ, у гражданъ не спрашивается: одобряютъ ли они извѣстное предложеніе или нѣтъ? а спрашивается только: какова общая воля? Поэтому, когда я подаю свой голосъ, я вовсе не хочу этимъ сказать, что мое мнѣніе должно быть принято, а выражаю только убѣжденіе, что общая воля такова. Если же перевѣсъ оказывается на другой сторонѣ, то я вижу, что я ошибался, а потому соглашаюсь съ противниками, слѣдовательно, моя свобода сохраняется. Напротивъ, если бы въ этомъ случаѣ было принято мое собственное мнѣніе, то вышло бы противоположное тому, что я хочу, то есть, это было бы рѣшеніе не общей воли, а частной, и тогда я не былъ бы свободенъ. Очевидно, что при этомъ объясненіи нѣтъ уже рѣчи о томъ, что человѣкъ долженъ повиноваться единственно себѣ: если я хочу, чтобы торжествовало чужое мнѣніе, а не мое, значить, я отрекаюсь отъ собственнаго сужденія и хочу повиноваться не себѣ, а другимъ. Этимъ способомъ можно доказать, что рѣшеніе самодержавнаго монарха есть воля всѣхъ и cadaго. Нечего говорить о томъ, что въ дѣйствительности никогда не бываетъ того, что требуетъ Руссо: въ свободныхъ



государствахъ, побитыя партіи не только не отказываются отъ своихъ убѣжденій, но, напротивъ, продолжаютъ настаивать на нихъ, нападая на противниковъ и стараясь всѣми средствами доставить побѣду своей сторонѣ.

Стремленіе оградить личную волю каждого гражданина отъ чужого посягательства ведетъ Руссо и къ другимъ несообразностямъ. Общественный договоръ даетъ государству абсолютную власть надъ членами; государство одно является судьей того, что оно требуетъ отъ гражданъ. Но, съ другой стороны, непремѣнное условіе соединенія лицъ въ политическій союзъ есть полнѣйшая взаимность. Общая воля потому только можетъ дѣйствовать правильно, что каждый самъ подчиняется тому рѣшенію, въ которомъ онъ участвуетъ. Поэтому верховная власть можетъ дѣлать только такія постановленія, которыя одинаково распространяются на всѣхъ. Всякія частныя рѣшенія, касающіяся тѣхъ или другихъ лицъ, напримѣръ, производство выборовъ или наложеніе наказаній, выходятъ изъ границъ ея права. Въ этомъ случаѣ она перестаетъ уже быть общею волею, а становится частною волею однихъ по отношенію къ другимъ. Слѣдовательно, какъ бы верховная власть ни была абсолютна, священна и неприкосновенна, она, по существу своему, не можетъ выступать изъ предѣловъ общихъ постановленій, одинаково распространяющихся на всѣхъ. Истинная, неотъемлемая ея принадлежность есть законодательство. Законъ есть выраженіе общей воли насчетъ общаго предмета.

Очевидно, что и здѣсь полагаются совершенно невозможные предѣлы верховной власти. Постановляя правила для разнообразныхъ общественныхъ интересовъ, законодательство не можетъ не имѣть въ виду тѣхъ лицъ, которыя имъ причастны. Въ обществѣ нѣтъ интересовъ, совершенно одинаковыхъ для всѣхъ: различіе занятій, имущества, положенія создаетъ совершенно различныя отношенія. Выгоды земледѣльцевъ не совпадаютъ съ выгодами промышленниковъ; выгоды рабочихъ противоположны интересамъ фабрикантовъ. Поэтому, какъ скоро является необходимость законодательныхъ мѣръ для какой бы то ни было отрасли общественной дѣятельности, такъ неизбѣжно возгорается борьба интересовъ, и всякое рѣшеніе будетъ побѣдою однихъ надъ другими, то-есть, по ученію Руссо, частнымъ постановленіемъ, а не общимъ. Требо-

вать же, чтобы закономъ опредѣлялось только то, что совершенно одинаково касается всѣхъ и cadaго, значить сдѣлать законодательство невозможнымъ. Самъ Руссо непослѣдовательно допускаетъ, что законъ можетъ установить привилегіи и даже наслѣдственное правленіе, лишь бы не назначались лица. Въ обоихъ случаяхъ вводится неравенство правъ, слѣдовательно, по его теоріи, нарушается общественный договоръ.

Нечего говорить о томъ, что всѣ постановляемыя теоріею ограниченія верховной воли всегда должны оставаться пустымъ словомъ. Ибо, если верховная власть сама является судьей своихъ дѣйствій, какъ требуетъ Руссо, если ей одной предоставлено рѣшить, выступила ли она изъ предѣловъ своего права, или нѣтъ, то напрасно полагать ей какія бы то ни было границы. Тутъ можетъ быть рѣчь о пользѣ, а никакъ не о правѣ. Если же сами граждане, которыхъ права нарушены, могутъ объявить общественный договоръ расторгнутымъ, то этимъ способомъ возвращается то состояніе анархіи, которое Руссо хотѣлъ устранить. Тогда абсолютный характеръ верховной власти теряетъ всякое значеніе.

Этимъ не ограничиваются затрудненія. Даже въ означенныхъ предѣлахъ законодательная дѣятельность общества встрѣчаетъ препятствія, которыя Руссо, съ свойственною ему логикою, выставляетъ во всей ихъ рѣзкости. Законодательство — дѣло сложное, требующее значительной тонкости ума; какъ же ввѣрить его слѣпой толпѣ, которая часто сама не знаетъ, чего хочетъ? Народъ, правда, всегда желаетъ добра, но онъ не всегда его видитъ. Съ другой стороны, частныя лица видятъ добро и его отвергаютъ. Такимъ образомъ, всѣ нуждаются въ руководителѣ. Надобно заставить однихъ подчинить свою волю разуму и привести другихъ къ познанію того, что имъ потребно. Однимъ словомъ, въ государствѣ необходимъ законодатель. Кто же будетъ такимъ законодателемъ?

„Чтобы найти наилучшія правила общежитія для народовъ, говоритъ Руссо, нуженъ былъ бы высшій разумъ, который видѣлъ бы человѣческія страсти и самъ бы ихъ не испытывалъ; который не имѣлъ бы никакого отношенія къ человѣческой природѣ, а между тѣмъ зналъ бы ее вполнѣ; котораго счастье было бы независимо отъ насъ, и который, однако, захотѣлъ бы заниматься нашимъ счастіемъ; который, наконецъ, въ теченіе временъ, приготавливая себѣ отдаленную славу, могъ



бы родиться въ одномъ вѣкѣ и наслаждаться въ другомъ. Нужны боги, чтобы дать законы людямъ“. Такія требованія объясняются громадностью задачи. „Кто беретъ на себя дать учрежденія извѣстному народу“, продолжаетъ Руссо, „тотъ долженъ чувствовать себѣ способнымъ измѣнить, такъ сказать, природу человѣка, превратить каждое лицо, составляющее совершенное и самобытное цѣлое, въ часть болѣе обширнаго цѣлаго, отъ котораго это лицо должно получить въ нѣкоторомъ смыслѣ свою жизнь и свое бытіе; онъ долженъ передѣлать человѣческую организацію, чтобы дать ей болѣе силы, замѣнить зависимымъ и нравственнымъ существованіемъ то физическое и самобытное существованіе, которое мы получили отъ природы. Однимъ словомъ, надобно отнять у человѣка собственныя его силы и дать ему силы чуждыя, которыми бы онъ не могъ пользоваться безъ помощи другихъ. Чѣмъ болѣе эти естественныя силы умираютъ и уничтожаются, чѣмъ больше и прочнѣе силы пріобрѣтенныя, тѣмъ учрежденія крѣпче и совершеннѣе: такъ что если каждый гражданинъ превращается въ ничто и ничего не можетъ сдѣлать иначе, какъ чрезъ посредство другихъ, сила же, пріобрѣтенная цѣлымъ, равняется или превышаетъ совокупность естественныхъ силъ, принадлежащихъ отдѣльнымъ лицамъ, можно сказать, что законодательство находится тогда на высшей степени совершенства, какой оно можетъ достигнуть“.

Между тѣмъ, имѣя предъ собой задачу, которая выше человѣческихъ силъ, законодатель лишенъ всякой власти; ибо законодательная власть неотъемлемо принадлежитъ народу. Слѣдовательно, онъ долженъ дѣйствовать однимъ убѣжденіемъ. Но съ другой стороны, для того чтобы народъ могъ убѣдиться его доводами, надобно, чтобы онъ былъ уже пересозданъ законодательствомъ, чтобы онъ научился понимать отдаленныя цѣли и предпочитать общее благо частному. Надобно, слѣдовательно, чтобы дѣйствіе было прежде причины, то-есть, чтобы люди, принимающіе законъ, были уже такими, какими должны сдѣлать ихъ законъ. Изъ всѣхъ этихъ противорѣчій, говоритъ Руссо, можно выйти только однимъ путемъ: законодатель долженъ выдать себя за провозвѣстника воли Божества и посредствомъ религіи подчинить народъ своему авторитету.

Не меньшія затрудненія представляются и при разсмотрѣніи тѣхъ условій, при которыхъ народъ можетъ быть способенъ

воспринять хорошее законодательство. Народы, какъ и отдѣльные лица, бываютъ податливы только въ молодости; укоренившіяся привычки и предрасудки поставляютъ неодолимые препятствія всякому улучшенію. Но, съ другой стороны, общество должно быть достаточно зрѣло, чтобы понимать и исполнять законы. Какъ скоро эта средняя пора развитія пропущена, такъ дѣло испорчено навѣки. Важенъ и объемъ государства. Оно должно быть не слишкомъ велико и не слишкомъ мало. Съ одной стороны требуется, чтобы управленіе было у всѣхъ на виду, и чтобы каждый гражданинъ имѣлъ возможность знать всѣхъ другихъ: общественная связь слабѣетъ, какъ скоро она распространяется на слишкомъ большое пространство, а управленіе, осложняясь, ложится тяжелымъ бременемъ на народъ. Съ другой стороны, необходимо имѣть достаточно силы, чтобъ не бояться сосѣдей и сохранять свою независимость. Далѣе, самое народонаселеніе должно быть соразмѣрно съ величиною территоріи, ибо избытокъ земли, производя излишекъ средствъ, ведетъ къ оборонительнымъ войнамъ, недостатокъ, возбуждая потребности, къ наступательнымъ. Однимъ словомъ, для успѣшнаго законодательства требуется соединеніе самыхъ разнородныхъ условій. Тотъ народъ, говоритъ Руссо, способенъ къ законодательству, „который, будучи уже связанъ какимъ-нибудь единствомъ происхожденія, интересовъ или взаимныхъ обязательствъ, не носилъ еще настоящаго ига законовъ; у котораго нѣтъ ни обычаевъ, ни предрасудковъ, глубоко вкорененныхъ; который не боится быть раздавленнымъ внезапнымъ нападеніемъ извнѣ; который, не выѣшиваясь въ ссоры сосѣдей, можетъ одинъ противостоятъ каждому изъ нихъ, или съ помощью одного сопротивляться другому; въ которомъ каждый членъ можетъ быть извѣстенъ всѣмъ и нѣтъ нужды взыскать на человѣка тяжести, превышающія человѣческія силы; который можетъ обойтись безъ другихъ народовъ, и безъ котораго всякій другой народъ можетъ обойтись; который ни богатъ, ни бѣденъ, но можетъ самъ себя удовлетворить; который, наконецъ, соединяетъ въ себѣ крѣпость стараго народа съ податливостью новаго“. А такъ какъ всѣ эти условія встрѣчаются весьма рѣдко, то хорошее законодательство — вещь почти неизвѣстная на землѣ.

Такова неразрѣшимая сѣть противорѣчій, въ которую впу-



тывается Руссо вслѣдствіе односторонней точки исхода. Какъ скоро признается, что природа человѣка чисто личная, сама себя удовлетворяющая, независимая отъ другихъ, такъ всѣ общественныя отношенія представляются плодомъ искусственнаго развитія. Чтобы сдѣлать человѣка членомъ общества, нужно превратить его въ нѣчто совершенно другое, нежели то, къ чему его предназначила природа; нужно внушить ему инныя чувства, понятія, стремленія, нежели тѣ, съ которыми онъ рожденъ, а это, безъ сомнѣнія, задача превышающая человѣческія силы. Только божество способно совершить подобное превращеніе. Поэтому и законодательство представляется не плодомъ естественнаго развитія общественныхъ потребностей, а какимъ-то чудеснымъ событіемъ, для котораго не находится условій на землѣ. Индивидуалистическая точка зрѣнія обнаруживаетъ здѣсь всѣ свои послѣдствія. У Руссо противорѣчіе началъ тѣмъ болѣе кидается въ глаза, что онъ самъ признаетъ общежитіе высшей сферой, въ которой развиваются человѣческія способности; а между тѣмъ, индивидуалистическая точка исхода не позволяетъ ему видѣть въ немъ прирожденную потребность человѣка, какъ духовнаго существа.

Цѣлью законодательства Руссо, согласно съ требованіями индивидуализма, полагаетъ двѣ вещи: свободу и равенство; свободу, — потому что всякая частная зависимость есть сила, отнятая у государства, гдѣ каждый гражданинъ долженъ быть совершенно независимъ отъ другихъ и вполне зависимъ отъ цѣлаго; — равенство, потому что безъ него свобода невозможна. Но подъ именемъ равенства, говоритъ Руссо, не слѣдуетъ разумѣть совершенно одинакую для всѣхъ степень могущества и богатства. Требуется только, чтобы могущество лица никогда не доходило до насилія и всегда подчинялось закону, а мѣра богатства была бы такова, чтобы никто не въ состояніи былъ закупить другого, и никому не было бы нужды себя продавать. Для этого нужна, со стороны сильныхъ, умѣренность имущества и кредита, со стороны слабыхъ, умѣренность корысти. Утверждаютъ, что подобное уравниеніе есть химера; но если сила вещей всегда ведетъ къ уничтоженію равенства, то именно поэтому законодательство всегда должно стараться его сохранить.

Такимъ образомъ, Руссо ставитъ равенство въ зависимость отъ свободы и отличаетъ равенство юридическое отъ равенства

фактического. Первое онъ признаетъ вполне: въ силу общественнаго договора, всѣ граждане, подчиняясь одинакимъ условіямъ, должны имѣть одинакія права. Второе же устанавливается въ извѣстныхъ предѣлахъ, насколько это нужно для огражденія свободы. Давая первенство послѣднему началу, Руссо не доводитъ всеобщаго уравниенія до коммунистическихъ утопій, а требовалъ только умѣренія крайностей. Однако и это требованіе, уничтожая свободу экономическихъ отношеній, въ дѣйствительности не осуществимо.

Руссо признаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что эти общіе предметы законодательства должны видоизмѣняться въ каждой странѣ, вслѣдствіе отношеній, возникающихъ изъ мѣстнаго положенія и изъ характера жителей. Отсюда необходимость дать каждому народу особенную систему учрежденій, не ту, которая наилучшая сама по себѣ, а ту, которая всего болѣе приходится государству, гдѣ она должна дѣйствовать. Эта уступка разнообразію жизненныхъ условій остается у него, впрочемъ, безъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Отъ законодательной власти Руссо переходитъ къ правительственной, которую онъ строго отличаетъ отъ первой. Законодателю принадлежитъ верховная власть въ государствѣ; правительство же является только исполнителемъ закона. Поэтому и носители власти въ обоихъ случаяхъ совершенно разные. Самодержцемъ всегда остается самъ народъ; напротивъ, правителемъ народъ никогда быть не можетъ, ибо исполненіе состоитъ въ частныхъ дѣйствіяхъ, которыя не могутъ исходить изъ общей воли. Такимъ образомъ, правительство есть тѣло посредствующее между верховною властью и подданными. Оно получаетъ отъ первой предписанія, которыя передаетъ послѣднимъ.

Отсюда ясно, что между этими тремя факторами устанавливается извѣстное отношеніе силы, которое должно измѣняться, какъ скоро происходитъ перемѣна въ которомъ-нибудь изъ нихъ. Такъ напримѣръ, съ увеличеніемъ народонаселенія очевидно уменьшается доля каждаго гражданина въ верховной власти; слѣдовательно, личная воля получаетъ здѣсь перевѣсъ надъ общей, а потому правительство, которому поручено исполненіе законовъ и обузданіе личной воли, должно быть сильнѣе. Но, съ другой стороны, чѣмъ сильнѣе правительство, тѣмъ сильнѣе, въ свою очередь, должна быть и державная



власть, его воздерживающая. Изъ этого слѣдуетъ, что при данныхъ условіяхъ можетъ быть только одно хорошее правительство, и что съ измѣненіемъ условій должно измѣняться и самое устройство правительственной власти.

Руссо не объясняетъ, какимъ способомъ возможно дать болѣе силы самодержцу, когда воля его естественно слабѣетъ вслѣдствіе увеличенія народонаселенія. Если ему дается большее вліяніе на правительство, то послѣднее, въ свою очередь, черезъ это становится слабѣе. Тутъ, повидимому, образуется безвыходный логическій кругъ. Непонятно также, какимъ образомъ верховная власть можетъ воздерживать правительство, когда исключительная ея задача состоитъ въ изданіи законовъ, и она не въ правѣ обсуждать или предпринимать какія бы то ни было частныя дѣйствія. Мы увидимъ ниже, къ какимъ ухищреніямъ Руссо прибѣгаетъ, чтобы выйти изъ этого затрудненія.

Сила правительства, продолжаетъ Руссо, зависитъ прежде всего отъ его состава. Чѣмъ оно многочисленнѣе, тѣмъ большее преобладаніе получаетъ въ немъ личная воля членовъ, а потому тѣмъ болѣе силы должно истрачиваться на воздержаніе послѣднихъ, и тѣмъ менѣе ея остается на исполненіе другихъ задачъ. Слѣдовательно, чѣмъ многочисленнѣе правительство, тѣмъ оно слабѣе, и наоборотъ, чѣмъ оно сосредоточеннѣе, тѣмъ оно сильнѣе и дѣятельнѣе. Но съ другой стороны, чѣмъ многочисленнѣе правительство, тѣмъ болѣе оно приближается къ общей волѣ, а чѣмъ оно сосредоточеннѣе, тѣмъ болѣе оно получаетъ характеръ частной воли отдѣльнаго лица. Искусство законодателя состоитъ въ томъ, чтобы въ каждомъ данномъ случаѣ найти надлежащую пропорцію.

Составомъ правительства опредѣляется различіе образовъ правленія. Самодержецъ всегда одинъ, именно, народъ; правительство же можетъ имѣть разнообразное устройство. Отсюда различныя политическія формы, какъ-то: демократія, аристократія, монархія и, наконецъ, смѣшанныя. Если сила правительства должна быть обратно-пропорціональна количеству населенія, то ясно, что демократическое устройство прилично малымъ государствамъ, аристократическое среднимъ, монархическое большимъ. Но здѣсь можетъ быть множество обстоятельствъ, видоизмѣняющихъ эти отношенія.

Для насъ несостоятельность всѣхъ выводовъ Руссо совершенно очевидна. Но чтобы понять всю односторонность этого

ученія и несовмѣстимость кроющихся въ немъ началъ, надобно было возвыситься надъ индивидуалистическою точкою зрѣнія. Для тѣхъ же, которые стояли на той же почвѣ, эта смѣлость логики имѣла обаятельную силу. Теоріями Руссо увлекались не одни революціонеры, но великіе мыслители, какъ Кантъ и Фихте, которые, усвоивъ себѣ нѣкоторыя изъ этихъ началъ, дѣлали изъ нихъ столь же несостоятельные выводы. Кромѣ того, Руссо дѣйствовалъ на современниковъ и другою стороною, которая имѣла гораздо высшее значеніе. Онъ явился какъ противодѣйствіе матеріализму и вытекавшему изъ него крайнему индивидуализму, которые указывали человѣку на личное удовлетвореніе, какъ на единственную цѣль его бытія, и тѣмъ возмущали лучшія человѣческія чувства. Руссо, напротивъ, требовалъ, чтобы гражданинъ жертвовалъ собою общему дѣлу: любовь къ отечеству была для него высшею добродѣтелью человѣка; онъ ставилъ мужественныя и великодушныя качества древнихъ въ образецъ изнѣженнымъ и измельчавшимъ современникамъ, которые, живя среди утонченной цивилизаціи, искали въ ней преимущественно средствъ для личнаго наслажденія. Руссо проклиналъ образованіе, которое портило нравы, развивая умъ, и съ умноженіемъ жизненныхъ удобствъ умножало и пороки. Никто, какъ онъ, не содѣйствовалъ возбужденію въ обществѣ страстной энергіи въ исканіи свободы, которая готова была жертвовать всѣмъ для достиженія высшаго общественнаго идеала. Все это, конечно, не совсѣмъ клеплось съ основными началами ученія, которое отправлялось отъ удовлетворенія личности, какъ отъ абсолютнаго требованія и мѣрила. Чтобы создать такое общество, о которомъ мечталъ Руссо, надобно было идти наперскоръ природѣ; надобно было, по собственному его выраженію, превратить естественнаго человѣка, составляющаго самобытное цѣлое, въ искусственное существо, сознающее себя членомъ другого, высшаго цѣлаго. Въ сущности, это былъ выходъ изъ индивидуализма и переходъ къ идеализму; но этотъ выходъ лежитъ въ самомъ развитіи индивидуалистическихъ воззрѣній: онъ являлся, какъ необходимое требованіе логики, а вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ отвѣчалъ и высшимъ свойствамъ человѣка. Отсюда громадное значеніе Руссо въ исторіи политической мысли.

*Чичеринъ.*



## Эмиль Руссо.

✓ Книга „Эмиль“ — наполовину романъ, наполовину руководство, которую Руссо написалъ въ 1757 году въ Монморанси, а въ 1760 г. прочелъ маршалъшѣ де-Люксамбургъ и напечаталъ въ 1762 г., — постановляя новыя начала воспитанія, подсѣкаетъ подъ самый корень и стремится очистить и возвысить растлѣнное, по воззрѣніямъ Руссо, состояніе цивилизаціи. Вопреки стародавней системѣ воспитанія она не добивается уже въ ребенкѣ зрѣлаго мужа, не подумавъ напередъ о томъ, что такое само дитя, прежде чѣмъ оно достигло зрѣлаго возраста. Она стремится *быть системою естественнаго развитія*. Она знать не хочетъ извѣстныя взаимныя отношенія людей въ разныхъ краяхъ и званіяхъ, а рассуждаетъ лишь *о воспитаніи человека самого по себѣ*. Эмиль олицетворяетъ собою *человѣчество въ его естественномъ состояніи*, а наставникъ Эмиля — *обязанъ естественно воспитать дитя природы*. Но для этого Эмилю вовсе не слѣдуетъ и не нужно быть дикаремъ. „Большая разница между человѣкомъ природы въ естественномъ состояніи и такимъ же человѣкомъ въ состояніи общественности; Эмиль — не изгнанный въ пустыню дикарь, напротивъ — этотъ дикарь обязанъ жить въ городахъ, онъ умѣетъ добиться необходимаго и блюсти свою выгоду; онъ да поддерживаетъ сношенія съ своими ближними, хотя бы и не во всемъ походилъ на нихъ“. „Дѣло не въ томъ, чтобы создать дикаря и отправить его въ уединеніе лѣсовъ; достаточно напротивъ, чтобы Эмиль въ вихрь свѣта не увлекся страстью и людской наживой. Пусть смотритъ онъ на все собственными глазами, чувствуетъ собственнымъ сердцемъ, и помимо его разума да не руководятъ имъ никакія земныя власти“. Вотъ основная мысль „Эмиля“, по которой воспитывается дитя отъ колыбели и до зрѣлаго возраста.

*Все хорошо, что выходитъ изъ рукъ Творца всѣхъ вещей; все извращается подъ руками человека. Онъ заставляетъ одну почву производить продукты другой, одно дерево давать плоды другого; онъ смѣшиваетъ и перетасовываетъ между собою климаты. стихіи и времена года; онъ уродуетъ свою собаку, свою лошадь, своего раба, все извращаетъ онъ, все искажаетъ; онъ любитъ уродство, чудовища; ему не нравится ничто такъ, какъ оно создано природой, ни даже самъ человѣкъ; для него*

нужно вымуштровать послѣдняго, какъ верховую лошадь или подстричь по модѣ, какъ дерево въ его саду. Но не будь этого, все выходило бы еще гораздо хуже, оттого что наше племя не выносить полуобразованія. При настоящемъ положеніи дѣлъ человѣкъ, предоставленный съ самаго рожденія самому себѣ, но оставаясь среди другихъ людей, былъ бы изъ всѣхъ самый извращенный. Предразсудки, авторитетъ, необходимость, примѣръ, всякія обрушающіяся на нашу голову общественныя учрежденія заглушили бы въ немъ природу и не дали бы ничего взамѣнъ. Онъ былъ бы подобенъ выросшему случайно на дорогѣ деревцу, которое неминуемо должно погибнуть отъ проходящихъ, толкающихъ со всѣхъ сторонъ и нагибающихъ его, какъ кому вздумается. Растенія развиваются посредствомъ ухода, а людей посредствомъ воспитанія. Если бѣ человѣкъ родился на свѣтъ даже большимъ и сильнымъ, то и тогда его величина и сила были бы для него все-таки безполезны, пока онъ не научится пользоваться ими: онѣ служили бы даже во вредъ, оттого что мѣшали бы другимъ людямъ помочь ему, и предоставленный самому себѣ онъ погибъ бы отъ нужды, прежде чѣмъ успѣлъ узнать свои потребности. Обыкновенно жалуются, что намъ приходится переживать состояніе дѣтства; забывая при этомъ, что человѣческій родъ давно погибъ бы, если бѣ человѣкъ не былъ сначала младенцемъ. Мы родимся слабыми и нуждаемся въ силахъ, — лишены всего, мы нуждаемся въ помощи. Все, чего у насъ нѣтъ при нашемъ рожденіи и въ чемъ мы нуждаемся, подрастая, дается намъ воспитаніемъ. *Это воспитаніе получаемъ мы или отъ природы, или отъ людей, или отъ предметовъ.* Внутреннее развитіе нашихъ силъ и органовъ — вотъ воспитаніе природы; пользоваться этимъ развитіемъ научаемся мы воспитаніемъ отъ людей; а все, что изучимъ собственнымъ опытомъ вслѣдствіе вліянія на насъ окружающихъ вещей, — это воспитаніе отъ предметовъ. Воспитаніе отъ природы не въ нашей власти; а потому остальные виды его должны сообразоваться съ первымъ. По настоящему слѣдовало бы все относить къ природѣ, такъ чтобы всѣ три воспитателя дѣйствовали согласно между собою. Но природѣ противорѣчатъ гражданскія условія. А потому, если хотятъ правильно воспитать дитя, необходимо въ воспитаніи устранить его отъ гражданскихъ условій, — образовать изъ него не гражданина, но человѣка. *Дитя да воспи-*



тывается для общаго человѣческаго призванія, а не для особаго сословія. Сообразуйте ваше воспитаніе съ тѣмъ, что человѣкъ есть самъ по себѣ, а не съ чѣмъ-либо наружнымъ. Образую дитя только для одного извѣстнаго сословія, вы дѣлаете его негоднымъ для всякаго другого и несчастнымъ, если положеніе его измѣнится. Какъ смѣшонъ знатный баринъ, который, сдѣлавшись нищимъ, въ нищетѣ своей удерживаетъ врожденные предразсудки; какъ презрителенъ обѣднявшій богачъ, чувствующій себя совсѣмъ приниженымъ. *Счастливы тотъ, кто сумѣетъ разстаться съ сословіемъ его отвергшимъ и остаться человекомъ наперекоръ сильной судьбы!*

Вся наша мудрость состоитъ въ рабодѣпныхъ предразсудкахъ; весь нашъ образъ жизни заключается въ подчиненіи, уступчивости и сдержанности. Общественный человѣкъ родится, живетъ и умираетъ въ рабствѣ; съ самаго дня рожденія его втискиваютъ въ пеленки, а по смерти заколачиваютъ въ гробъ; пока носить онъ человѣческій образъ, его стѣсняютъ нашими учрежденіями. Повивальныя бабки на свой ладъ обдѣлываютъ голову ребенка снаружи, а философы изнутри; караибы чуть ли не счастливые насъ. Какъ только дитя появилось изъ утробы матери, на него тотчасъ же налагаются узы. Пеленаніе самая неестественная мука, имъ задерживается всякое необходимое движеніе членовъ и крови. Няньки придумали его для своего удобства. Матери не кормятъ болѣе дѣтей своею грудью; кормилица участвуетъ въ любви ребенка съ матерью, предающейя своимъ удовольствіямъ. Вотъ главная причина распадаенія всякихъ семейныхъ отношеній, всякой взаимной любви между членами семьи; каждый думаетъ только о себѣ и гоняется за своими прихотями. А вѣдь прелесть семейной жизни была бы лучшимъ противоядіемъ противъ дурныхъ нравовъ. *Нѣтъ матери, нѣтъ и дѣтей!* Обязанности той и другихъ обоюдны, и если онѣ небрежно исполняются съ одной стороны, то пренебрегаются и съ другой. Дитя должно полюбить свою мать (по привычкѣ), прежде чѣмъ узнаетъ, что это его долгъ. *Если же голосъ кровнаго родства не поддерживается ни обращеніемъ, ни уходомъ, то онъ умолкаетъ съ раннихъ лѣтъ, и сердце, такъ сказать, вымираетъ, даже еще не родившись.* Вотъ мы съ первыхъ шаговъ уже и отдалились отъ природы. — Но противоположнымъ путемъ мы также доходимъ до неестественной цѣли, а именно,

если женщина, не пренебрегая материнскими обязанностями, доводитъ ихъ до высшей крайности; *если она изъ своего ребенка дѣлаетъ идола*; если она поддерживаетъ и увеличиваетъ его недовѣсть, когда, вмѣсто того, чтобы дать ему почувствовать, бережетъ его и устраняетъ отъ него всякія случайныя невзгоды, въ надеждѣ избавить его такимъ образомъ отъ требованій природы, не сообразивъ при этомъ, что вмѣсто нѣкоторыхъ мгновенно устраняемыхъ отъ него неудобствъ, она въ будущемъ обрушиваетъ на его голову бездну непріятностей и напастей. Наблюдайте природу и слѣдуйте по указанному ею пути. Она заставляетъ дѣтей постоянно упражняться; она закаляетъ ихъ чувствительность разными испытательными средствами; заблаговременно приучаетъ ихъ къ страданію и боли. Прорѣзаніемъ зубовъ и пр. она причиняетъ имъ много мукъ. Отчего вы не подражаете въ этомъ природѣ? — Не понимаете развѣ, что, умничая надъ нею, вы только разрушаете ея дѣло? — Съ младенцами вообще обращаются, большею частью, безтолково. То мы дѣлаемъ все, что имъ угодно, то требуемъ отъ нихъ, что намъ вздумается; то подчиняемъ ихъ нашимъ, то сами подчиняемся ихъ прихотямъ. Такимъ образомъ ребенокъ приказываетъ, не умѣя еще говорить, повинуется, не умѣя еще дѣйствовать; изъ ребенка выходятъ человѣкъ по нашей фантазіи, но ни дитя природы. Если хотятъ сохранить въ немъ коренную своеобразность и природу, то надо умѣть охранять ихъ со дня рожденія. Овладейте человѣкомъ съ первой его минуты и не упускайте его изъ рукъ до зрѣлаго возраста. — *Какъ мать настоящая кормилица дитяти, такъ и отецъ настоящій наставникъ его.* Дитя изъ рукъ первой переходитъ въ руки послѣдняго. Хотя бы и научно ограниченнымъ, но разсудительнымъ отцомъ оно воспитывается гораздо лучше, нежели самымъ искуснымъ на свѣтѣ учителемъ, потому что искусство скорѣе наверстается рвеніемъ, нежели рвеніе искусствомъ. Но дѣла, хлопоты, обязанности! — Мы не удивимся, если мужъ, жена котораго не удостоиваетъ кормить грудью плодъ ихъ брачнаго союза, не сочтетъ также достойнымъ воспитать его. Если мать не такъ здорова, чтобы самой кормить, то и отецъ такъ заваленъ дѣлами, что не сможетъ самъ воспитать. Дѣтей удаляютъ въ пансіоны, монастыри, распредѣляютъ по школамъ, и они туда переносятъ любовь къ отчому дому, или возвращаются къ род-



ному очагу съ навыкомъ ни къ чему не прилѣпляться. Разсѣянные братья и сестры едва знаютъ другъ друга. Упущеніе отцовской обязанности запечатлѣно тяжкимъ проклятіемъ. Но что же дѣлаетъ богачъ, этотъ крайне занятой отецъ семейства, вынужденный, по мнѣнію его, отказать, отъ воспитанія своихъ дѣтей? Онъ нанимаетъ другого человѣка, чтобы тотъ взялъ на себя тяготящія его трудныя занятія. О, продажная душа! Ужъ не думаешь ли ты за деньги купить своему сыну другого отца? Не обманывай себя на этотъ счетъ, вѣдь ты даешь ему даже не учителя; вѣдь это не что иное, какъ слуга въ домѣ. Онъ изъ твоего сына скоро сдѣлаетъ такого же слугу.

Много толкуютъ о качествахъ хорошаго домашняго учителя. Я потребовалъ бы прежде всего: чтобы онъ былъ хорошо воспитанъ и молодъ; но чтобы отнюдь не льстился на деньги, не былъ наемникомъ. Пускай онъ сдѣлается почти ровнею воспитаннику, пусть будетъ ему товарищемъ и остается при немъ со дня рожденія до 25-лѣтняго возраста; онъ да будетъ ему учителемъ и воспитателемъ, точно такъ же какъ воспитанникъ въ то же время и ученикъ наставника. Нѣтъ необходимости, чтобы этотъ воспитанникъ — *Эмиль* — обладалъ чрезвычайнымъ дарованіемъ, пусть онъ будетъ знатнаго происхожденія, богачъ и сирота. Онъ изъ страны умѣреннаго пояса и здоровъ; тѣло его крѣпкое, послушное душѣ; чѣмъ онъ слабѣе, тѣмъ больше повелѣваетъ, а чѣмъ сильнѣе, тѣмъ лучше повинуется. — Если мать не кормитъ его сама, то пусть наставникъ выберетъ *кормилицу*, здоровую какъ душою, такъ и тѣломъ; добрый нравъ такое же существенное качество, какъ и здоровое тѣлосложеніе; молоко можетъ быть и хорошо, а кормилица все-таки дурна. Какъ бы то ни было, но дурной нравъ ни на что хорошее не годенъ. Потомъ воспитатель съ кормилицей и ребенкомъ отправляется въ деревню, не оставаясь въ нездоровомъ вслѣдствіе скученнаго населенія городѣ. — Не позволяйте, чтобы дитя, высвободившись изъ своей оболочки и начиная дышать, вновь закутывалось въ еще болѣе стѣсняющія его простынки. Не нужно ни шапочекъ, ни свивальниковъ, ни пеленокъ! Пускай ребенокъ, окрѣпши, ползетъ по комнатамъ, пускай развивается, расправляетъ свои крохотные члены; вы увидите, какъ будетъ онъ крѣпнуть изо дня въ день. — Воспитаніе человѣка начинается со дня его

рожденія; когда онъ еще не говоритъ, не понимаетъ, онъ уже поучается. Опытъ предшествуетъ обученію. Человѣкъ въ раннемъ возрастѣ до невѣроятности многому научается просто путемъ опыта, безъ всякаго преподаванія. Сильныя впечатлѣнія, воспринимаемая дѣтьми, дѣйствуютъ только на чувство; дѣти постигаютъ лишь пріятное и боль. Такъ какъ они не могутъ еще ни бѣгать, ни хватать, то имъ нужно много времени, чтобы мало-по-малу составить себѣ представленія, которыя наводятъ ихъ на предметы внѣшняго міра; но коль скоро дитя начинаетъ постигать, что предметы группируются, какъ бы отступаютъ отъ глазъ его, получаютъ для наблюдателя протяженіе и образъ, то начинается возвратъ получаемыхъ впечатлѣній, такъ что предметы поступаютъ въ рядъ обыденныхъ явленій. При этомъ ни къ чему не приучайте ребенка, ни къ установленному времени ѣды, сна и пр., приучайте его только не имѣть никакихъ привычекъ, воспитывайте его для свободы. Не порождайте въ немъ боязни къ гадкимъ животнымъ, къ маскамъ, выстрѣламъ и пр. Чувственные ощущенія даютъ первый матеріалъ для его познаній; потому полезно было бы сообщать ему эти впечатлѣнія въ надлежащемъ порядкѣ. Пускай сравниваетъ онъ особенно зрѣніе съ осязаніемъ. При посредствѣ движенія онъ знакомится съ протяженіемъ, такъ что не ловитъ болѣе руками слишкомъ отдаленныхъ предметовъ. — Свое неудовольствіе по поводу потребностей дитя выражаетъ знаками, если для устраненія перваго оно нуждается въ помощи постороннихъ. Отсюда и крикъ дѣтей. Всѣ ихъ ощущенія оказываютъ дѣйствительное вліяніе; поэтому если они пріятны, — дѣти наслаждаются ими втихомолку; а если непріятны, то выражаютъ это на своемъ языкѣ и требуютъ помощи. Дѣти сначала говорятъ общимъ языкомъ природы, который хотя и не состоитъ изъ члено-раздѣльныхъ звуковъ, но выразителенъ и понятенъ. Кормилицы понимаютъ ихъ лучше насъ и разговариваютъ съ дѣтьми на этомъ языкѣ. Сюда присоединяются еще жесты и быстро смѣняющаяся мимика. Плачемъ дѣти выражаютъ чувство голода, жара, холода и т. п. *Изъ этихъ слезъ, которымъ придаютъ такъ мало значенія, возникаютъ первичныя отношенія человека къ его окружающимъ; тутъ-то и образуется первое звено длинной цѣпи, изъ которой слагается общественный строй. Первые слезы младенца — это просьбы. Если на нихъ не обра-*



щаютъ вниманія, — онѣ скоро переходятъ въ приказы. Онѣ начинаютъ съ просьбы о помощи, а кончаютъ требованьемъ послуги. Но такое понятіе о приказаніяхъ возбуждается не столько его потребностями, сколько нашими послугами, и потому здѣсь начинаютъ обнаруживаться нравственныя дѣйствія, съ цѣлью обратить на себя вниманіе, непосредственныя причины которыхъ коренятся не въ природѣ, и слѣдовательно, теперь уже можно убѣдиться, какъ важно съ этого ранняго возраста выяснить себѣ сокровенныя побужденія жестовъ и крика. Пока человѣкъ не достигъ еще разсудка, до тѣхъ поръ въ немъ нѣтъ и нравственности, хотя послѣдняя иногда обнаруживается и въ ощущеніяхъ дѣтей относительно того, что совершается посторонними. *Всякая злоба дѣтей происходитъ отъ слабости; укрѣпите ребенка и онъ будетъ добрѣ.* Кто могъ бы дѣлать все на свѣтѣ, тотъ никогда не дѣлалъ бы зла. *Страсть къ разрушенію въ дѣтяхъ происходитъ не отъ злобы, а отъ живой жажды дѣятельности.* Дѣти хотятъ пользоваться взрослыми какъ орудіями; послѣдніе должны восполнить недостатки ихъ слабости; вотъ такимъ-то путемъ они и дѣлаются злобными тиранами, и въ нихъ развивается властолюбіе, отнюдь не врожденное имъ, но остающееся при нихъ на всю жизнь. Потому ребенокъ и требуетъ съ самаго начала особаго рода обращенія. 1) Дѣти далеко не обладаютъ избыткомъ силъ, напротивъ, послѣднихъ у нихъ не хватаетъ даже на то, что требуется отъ нихъ природою; поэтому надо предоставить имъ пользоваться всѣмъ, что имъ дано и чѣмъ они не могутъ злоупотреблять. 2) Необходимо помочь имъ, восполнить ихъ недостатки, какъ относительно ума, такъ и относительно силы и всего, что касается физической потребности. 3) Подавая имъ помощь, ограничивайтесь только дѣйствительно полезнымъ и не потакайте ни ихъ воображенію, фантазіи, ни безразсудной прихоти; воображеніе не будетъ мучить дѣтей, если ему не дали возникнуть, потому что оно вовсе не естественно. 4) Изучайте тщательно языкъ дѣтей и ихъ жесты, чтобы въ возрастѣ, когда они еще не умѣютъ притворяться, угадывать, насколько ихъ желанія проистекаютъ непосредственно отъ природы и насколько отъ воображенія. Суть этихъ предписаній состоитъ въ томъ, чтобы дѣтямъ предоставить болѣе истинной свободы и менѣе власти, заставляя ихъ самихъ дѣлать по возможности болѣе и менѣе требовать отъ

другихъ. Такимъ образомъ они заблаговременно привыкнуть ограничивать свои желанія своими силами; для нихъ будетъ менѣе ощутительно лишеніе того, что не въ ихъ власти. Помогайте дѣтямъ въ случаѣ необходимости, но не обращайтесь вниманія на ихъ причуды, и пусть они, по возможности, болѣе помогаютъ самимъ себѣ. *Напрасный плачъ дѣтей лучше всего задерживается, если не обращаютъ на него никакого вниманія*; вѣдь и ребенокъ также не любитъ попусту напрягаться: Можно унять плачъ, обративъ вниманіе дитяти на пріятный или бросающійся въ глаза предметъ, не давая притомъ замѣтить, что беспокоятся изъ-за плача. — Дѣтей обыкновенно слишкомъ рано отнимаютъ отъ груди. Отнимайте ихъ, когда прорѣзались зубы. Ни въ чемъ не умѣютъ поступать попросту, ни даже въ даваемыхъ ребенку вещахъ. *Драгоценныя игрушки — излишняя роскошь*; дешевыя и простыя оказываютъ такое же дѣйствіе. — *Вредно понуждать дѣтей говорить слишкомъ рано*: вслѣдствіе этого они только и научаются говорить позже и притомъ сбивчиво. Пусть кормилицы поютъ имъ пѣсни, но не започутъ то и дѣло непонятныя для нихъ слова. Напротивъ, повторяйте ребенку немногія, удобопроизносимыя слова, означая ими вещи, которыя имъ тутъ же показываютъ. Словарь дѣтей да будетъ по возможности малъ; словъ у нихъ должно быть не болѣе идей (т.-е. ясныхъ представленій). У дѣтей своя собственная грамматика, въ которой правила словосочиненія опираются на болѣе общія начала, нежели въ вашей, и которая съ удивительною точностью слѣдуетъ извѣстныхъ аналогіямъ, хотя и правильнымъ, но не признаваемымъ нами. Дѣти, которыхъ черезчуръ рано приучаютъ говорить, не успѣваютъ даже понять то, что ихъ заставляютъ повторять съ голоса; они понимаютъ все превратно. Но самый большой вредъ, истекающій отъ торопливости, вслѣдствіе которой дѣтей преждевременно учатъ говорить, не въ томъ, что первые разговоры, которые съ ними ведутъ, и первыя слова, которыя они произносятъ, не имѣютъ для нихъ никакого смысла, а въ томъ, что они придаютъ имъ совсѣмъ иной смыслъ, нежели мы, и намъ даже не вдомекъ это обстоятельство. Такое невниманіе съ нашей стороны къ настоящему смыслу, какой слова имѣютъ для пользующихся ими дѣтей, кажется мнѣ, и есть причина ихъ коренныхъ заблужденій, и эти заблужденія, даже и послѣ того какъ они избавились отъ



нихъ, имѣютъ вліяніе на направленіе ума во всю остальную жизнь. А потому, пусть дитя говоритъ лишь настолько, насколько оно въ состояніи мыслить. — Первоначальныя развитія въ дѣтскомъ мірѣ совершаются почти все разомъ. *Дитя почти въ одно и то же время учится говорить, ѣсть и ходить.* Это и есть собственно первая эпоха его жизни.

Съ умѣньемъ говорить наступаетъ новый періодъ жизни, плачь замѣняется часто словами. На мѣсто прежняго языка вступаетъ другой. Я не только не сталъ бы предохранять Эмиля, чтобы онъ никогда не ушибся, а напротивъ, мнѣ было бы даже непріятно, если бы этого никогда не случилось и онъ подросъ бы, не извѣдавъ боли. *Терпѣть — вотъ первое, чему онъ долженъ научиться;* это необходимѣе всего будетъ узнать ему. — Наша мелочная страсть учить другихъ то и дѣло побуждаетъ насъ сообщать дѣтямъ то, чему они научились бы гораздо лучше сами по себѣ, и упускать изъ виду то, что только мы и могли бы сообщить имъ. Можетъ ли быть что-нибудь нелѣпѣе нашихъ поползновеній учить ихъ *ходьбѣ? Помочи, ходульки, мягкія шапочки и другія пособія* никуда не годятся; пускай дѣти на мягкой муравѣ хоть по сту разъ падаютъ и опять встаютъ. Заодно съ силами въ дѣтяхъ развивается также способность владѣть этими силами, а вслѣдствіе того и самосознательное индивидуальное бытіе. *Безтолковые воспитатели дѣлаютъ дѣтей несчастными, ни во что не ставя настоящаго времени дѣтства и имѣя въ виду одну только будущность ребенка, до которой иной, можетъ быть, и не доживетъ.* Въ эпоху дѣтства, говорятъ, легче всего исправляются злыя наклонности. Но можете ли вы поручиться, что ваши прекрасныя наставленія дѣйствительно составятъ нѣкогда счастье ребенка? И что такое счастье? Вѣдь счастливѣе всего тотъ, кто меньше страдаетъ; несчастнѣе тотъ, у кого меньше радостей. А злыя наклонности не скорѣе ли проистекаютъ отъ вашихъ же неумѣлыхъ попеченій, нежели отъ природы? *Въ дѣтяхъ имѣйте въ виду только дѣтей!* Человѣчество занимаетъ свое мѣсто въ урядѣ вещей, а дѣтство свое въ урядѣ человѣческой жизни. Указать каждому свое мѣсто и сдѣлать его на немъ самостоятельнымъ, привести наклонности человѣка въ согласіе съ его естественными свойствами, — вотъ все, въ чемъ мы можемъ содѣйствовать его благосостоянію. Все остальное зависитъ отъ причинъ внѣ насъ, ко-

торья не въ нашей власти. — *Истинно свободный человекъ хочетъ только того, что онъ можетъ, и потому дѣлаетъ, что ему угодно.* Вотъ это и примѣняйте къ дѣтямъ. Дитя должно чувствовать свою слабость, но не страдать отъ нея; оно должно зависѣть отъ другихъ, повиноваться; оно должно просить, но не приказывать. Оно пользуется еще не полною свободой. *Держите ребенка въ предметной зависимости, противопоставляйте притязаніямъ его физическія препятствія или наказанія, вытекающія изъ его собственныхъ поступковъ.* Опытъ и безсиліе да будутъ ему замѣной закона. Въ томъ, что природой требуется для тѣлеснаго развитія, предоставьте дѣтямъ, по возможности, полную свободу, — въ бѣготѣ, прыганьи и пр. Но если они потребуютъ чего-нибудь, что за нихъ должны сдѣлать другіе, то будьте осторожны и разбирайте съ толкомъ, побуждаются ли они къ этому дѣйствительной потребностью, или прихотью. *Изъ-за упрямую плача дѣтей не дѣлайте для нихъ ничего, но и не приучайте ихъ также приказывать учтивыми словами.* Вѣдь въ богатыхъ домахъ слова: „не угодно ли вамъ“ въ устахъ дѣтей значать то же что „мнѣ угодно“, а „прошу васъ“ то же что „приказываю вамъ“. Пусть ужъ лучше ребенокъ просто говоритъ: сдѣлайте мнѣ это, не жели повелительно: „прошу“! Дѣло не въ словахъ, имъ употребляемыхъ, а въ значеніи, какое придается словамъ. Не дѣлайте, чего бы ни потребовалъ ребенокъ; такимъ требованьямъ нѣтъ предѣла, и будьте вы хоть самимъ Богомъ, то и тогда не удовлетворите его. Удовлетворяя дѣтямъ во всемъ, вы питаете въ нихъ лишь алчность и властолюбіе и дѣлаете ихъ крайне несчастными, когда въ послѣдствіи придется и даже необходимо будетъ отказать имъ. *Какъ дѣтямъ не подобаетъ приказывать, такъ точно и взрослымъ не слѣдуетъ тиранить и тѣмъ запугивать ихъ.* Ребенокъ долженъ получать что-нибудь не потому, что онъ того требуетъ, а потому, что нуждается въ томъ. Онъ долженъ исполнять свое дѣло не изъ повиновенія, а по необходимости; слова „повиноваться и приказывать“ исключаются изъ его словаря, тѣмъ болѣе еще выраженіе „долгъ и обязанность“; но слова „сила, необходимость, безсиліе и неволя“ занимаютъ главное мѣсто въ этомъ словарѣ. Пока ребенокъ не сталъ разсудителенъ, до тѣхъ поръ онъ ничего не понимаетъ о нравственности и общественныхъ условіяхъ; а потому необходимо избѣгать относящихся сюда словъ, —



дѣтей надлежитъ вполнѣ предоставить физическому міру. Поэтому и не пускайтесь съ ними слишкомъ рано въ разсужденія. *Путь ничего нѣтъ дѣтей, съ которыми много разсуждали.* Вѣдь изъ всѣхъ способностей послѣ всего развивается разсудокъ; а его-то именно и напрягаютъ, съ цѣлью развить остальные. Вѣдь это значитъ начинать съ конца. Если бѣ дѣти понимали разумные доводы, то нечего было бы и воспитывать ихъ; но говоря съ ними съизмала языкомъ, котораго они не понимаютъ, мы приучаемъ ихъ довольствоваться пустыми словами, пересуживать все, что бы ни говорили имъ; они дѣлаются сварливыми и упрямыми, и то, чего добиваемся отъ нихъ путемъ разумныхъ доводовъ, они исполняютъ лишь изъ алчности, изъ страха, или изъ тщеславія, чѣмъ поневолѣ должны мы подкрѣпить наши доводы. — *Дѣти да будутъ дѣтьми. Дѣтямъ представьте силу, а взрослымъ доводы.* Уздою для первыхъ да будетъ желѣзная необходимость, а не людской авторитетъ. *Не запрещайте имъ того, отъ чего имъ слѣдуетъ воздержаться, но препятствуйте дѣлать это, безъ разсужденій, безъ пустыхъ доводовъ; разрѣшайте имъ съ перваго слова все, что позволено вамъ, безъ всякихъ просьбъ и домогательствъ съ ихъ стороны, и лучше всего безъ всякихъ условій.* Разрѣшайте охотно, отказывайте нехотя. Но разъ отказавши, будьте непреклонны; никакая навязчивость да не побудитъ васъ отмѣнить свое „нѣтъ“. Тутъ не должно быть середины: либо ничего не требуйте отъ дитяти, либо безъ оцѣнокъ склоняйте его къ безусловному повиновенію. Хуже всего если заставляете ребенка колебаться между его и вашею волею и если то и дѣло препираетесь съ нимъ о томъ, кто изъ васъ набольшій. Во сто кратъ лучше, если дитя хоть навсегда будетъ набольшимъ! — Съ тѣхъ поръ какъ воспитываютъ дѣтей, не придумали иныхъ средствъ руководить ими, какъ соперничество, зависть, ревность, алчность, унижающій страхъ, все легко возбуждаемая, самая опасная, самая душегубная страсти. Въстѣ съ каждымъ опрометчивымъ правиломъ, какое внушается ихъ уму, вы внедряете въ ихъ сердце порокъ. Дитя можетъ причинить зло, отнюдь не злобствуя, т.-е. безъ умысла нанести вредъ. *Въ человеческомъ сердцѣ нѣтъ коренной порчи; въ немъ нѣтъ ни одного порока, про который нельзя бы было сказать, какъ и какимъ путемъ онъ проникъ туда.* Единственная прирожденная страсть, это —

себялюбіе, которое отъ природы хорошо и полезно; но вслѣдствіе примѣненія, какое изъ него дѣлается, и вслѣдствіе отношеній, какія ему придаются, изъ него и выходитъ либо добро, либо зло. А потому *первоначальное воспитаніе можетъ быть только чисто отрицательнымъ. Оно состоитъ не въ томъ, чтобы научили уличать добродѣтель и пороки, но въ томъ, чтобы предохранить сердце отъ пороковъ и умъ отъ заблужденій.* Если бъ вы могли ничего не дѣлать и заставлятъ вашего питомца не дѣлать ничего, если бъ вы до двѣнадцати-лѣтняго возраста сохранили его здоровымъ и сильнымъ, и онъ не сумѣлъ бы отличить правой руки отъ лѣвой, пока ваше первое преподаваніе не открыло очей его разсудка, т.-е. разума, то онъ былъ бы безъ предубѣжденій, безъ привычекъ, и въ немъ ничто не препятствовало бы успѣху его трудовъ. Онъ подъ вашимъ руководствомъ скоро сталъ бы самымъ разсудительнымъ человѣкомъ, и благодаря тому, что сначала онъ былъ предоставленъ самому себѣ, вы совершили бы чудо воспитанія. *Дѣлайте только обратное обиходному и вы почти всегда будете поступать правильно.* Изъ ребенка хотятъ сдѣлать не ребенка, а ученаго, и оттого постоянныя порицанія, ласки, угрозы и пересуды отцовъ и учителей. А вы поступайте иначе! *Будьте сами разумны, но не толкуйте съ вашимъ питомцемъ о разумъ, а лучше всего не заставляйте его хвалить то, что ему не нравится, потому что впутывать разумъ постоянно только въ непріятныя дѣла значитъ докучать имъ и заранѣе возбудить къ нему недовѣріе въ душѣ неспособной еще постичь его.* Упражняйте тѣло, члены, чувства и силы питомца, но оставьте духъ его неприкосновеннымъ до тѣхъ поръ, пока онъ способенъ воздержаться. Избѣгайте всякихъ мыслей, превышающихъ разсудокъ, потому что вѣдь послѣдній только и способенъ оцѣнить ихъ. Сдерживайте впечатлѣнія извнѣ, предохраните отъ нихъ ребенка и, чтобы *помысламъ зародиться злу, не торопитесь сдѣлать его добрымъ,* потому что онъ никогда имъ не будетъ, пока не освѣтитъ его разумъ. Словомъ, хотя бы извѣстное наставленіе и было необходимо для дѣтей, все-таки избѣгайте сообщать его сегодня, если, не опасаясь, можете отложить до завтра. Такою медлительною осторожностью вы выгадаете время и успѣете ознакомиться съ выступающею исподволь своеобразностью



вашего воспитанника, прежде чѣмъ приметесь руководить его и второпяхъ надѣлаете промаховъ. У каждой души своеобразный складъ, согласно съ которымъ и слѣдуетъ обращаться съ нею; и если будемъ обращаться съ нею именно въ этомъ извѣстномъ видѣ, а не въ другомъ, то можно надѣяться, что потраченные труды наши увѣнчаются успѣхомъ. Если хочешь поступить умно, то приглядывайся побольше къ природѣ: наблюдай тщательно за твоимъ воспитанникомъ, прежде чѣмъ вздумаешь сказать ему первое слово; пусть зародышъ права его обнаружится сперва на полной свободѣ. Наши первыя обязанности касаются насъ самихъ; средоточіемъ нашихъ первыхъ чувствованій служитъ наше собственное я; всѣ наши естественныя побужденія съ самаго начала относятся къ самосохраненію и нашему здоровью. Точно такъ первое понятіе о правѣ состоитъ не въ томъ, чѣмъ мы обязаны другимъ, а въ томъ, на что сами имѣемъ притязаніе. Безразсудно бы было поэтому говорить дѣтямъ о ихъ долгѣ, а не о правахъ ихъ, такъ какъ у ребенка первое понятіе о правѣ истекаетъ не изъ того, къ чему онъ обязанъ, но изъ того, чѣмъ другіе ему обязаны. Прежде всего необходимо сообщить ему идею не о свободѣ, но скорѣе о собственности; для того, чтобы онъ имѣлъ понятіе о ней, ему слѣдуетъ обладать чѣмъ-нибудь. Всякому возрасту, а особенно дѣтскому, хочется творить, подражать, производить: пусть же онъ и добываетъ себѣ собственность! — но заодно съ собственностью, съ договорами и обязанностями порождаются также обманъ и ложь. Во всякой лжи дѣтей повинны учителя. Зачѣмъ они вынуждаютъ такъ много обѣщаній? зачѣмъ, когда что-нибудь случилось, допрашиваютъ такъ строго? Возбуждая нашимъ обученіемъ только способности нашихъ воспитанниковъ, мы, напротивъ того, не требуемъ отъ нихъ истины, изъ опасенія, какъ бы они не исказили ее; мы не заставляемъ ихъ также обѣщать что-нибудь, чего они впоследствии могли бы и не исполнить. То же относится и къ другимъ нравственнымъ требованіямъ, предписываемымъ имъ въ такомъ видѣ, что они для нихъ не только ненавистны, но даже неисполнимы, — Для того чтобы вынудить дѣтямъ состраданіе, заставляютъ ихъ раздавать милостыню, какъ будто сами гнушаются этимъ: раздавать ее слѣдуетъ не ребенку, а учителю. И что въ самомъ дѣлѣ даетъ дитя?

Деньги, не имѣющія для него никакой цѣны, или что-нибудь такое, что ему навѣрное опять вознаградится. *Единственное нравственное правило для дѣтей слѣдующее: не дѣлай никому зла.* Даже заповѣдь творить добро опасна, лжива и полна противорѣчій. Кому бы не хотѣлось дѣлать добра? Всѣ дѣлаютъ его, злодѣй точно такъ же, какъ и другіе люди; онъ осчастливитъ одного въ ущербъ сотни несчастныхъ, отчего и происходятъ всѣ наши бѣдствія. Самыя выпреннѣя добродѣтели бываютъ отрицательнаго свойства: онѣ же и самыя трудныя, оттого что превыше всякаго хвастовства и превыше даже сладостной утѣхи человѣческаго сердца оставить кого-нибудь счастливымъ по себѣ.

*Обращайтесь съ ребенкомъ, сообразуясь съ его возрастомъ, и остерегитесь истощить его силы, черезчуръ напрягая ихъ.* Если молодой умъ горячится, если вы замѣтите, что онъ начинаетъ волноваться, то пусть его сначала перебродитъ на свободѣ; но никогда не возбуждайте его, изъ опасенія, какъ бы не испарилось все окончательно. И когда разлетятся первые порывы, то сдерживайте другіе, осадите ихъ, пока съ годами не обратятся они въ животворящую теплоту и въ дѣйствительную силу. Пока дитя не достигло разсудка, до тѣхъ поръ оно воспринимаетъ и усваиваетъ себѣ лишь картины, звуки, образы, впечатлѣнія, рѣдко идеи, а еще рѣже — сочетанія послѣднихъ; неспособное еще разсуждать, оно и не обладаетъ настоящею памятью, оттого что память и разсудокъ, хотя и отличаются другъ отъ друга, но развиваются все-таки вмѣстѣ. Представленія не что иное какъ образовавшіеся въ насъ оттиски чувственныхъ предметовъ; идеи же суть понятія о предметахъ, опредѣляемые отношеніями. *А потому всякое преподаваніе должно начаться съ реальныхъ знаній.* Какъ бы то ни было, но я не вѣрю, что кто-нибудь изъ дѣтей, за исключеніемъ развѣ чудо-ребенка, дѣйствительно изучилъ два языка до наступленія двѣнадцати или пятнадцати-лѣтняго возраста. Вѣдь всякій языкъ отличается своеобразнымъ духомъ, а мысли принимаютъ оттѣнки, нарѣчій. Пока ребенокъ не достигъ разсудка, до тѣхъ поръ онъ владѣетъ единственно своимъ роднымъ языкомъ. Для того, чтобы владѣть двумя языками, онъ долженъ быть въ состояніи сравнивать между собою идеи. — *Во всякой наукѣ знаніе знаковъ безъ знанія означаемыхъ ими*



*предметовъ ничтожно.* А при всемъ томъ дѣтей постоянно ограничиваютъ этими знаками, не давая имъ никакого понятія объ изображаемыхъ ими предметахъ. Иные воображаютъ будто преподаютъ имъ описаніе земли, показывая *карты* и сообщая означенныя тамъ имена странъ, мѣстностей и пр., существующія для ребенка, конечно, только на бумагѣ, на которой ихъ показываютъ. Преподаютъ *историческія событія*, смыслъ и взаимная связь которыхъ непонятны ученику. Неужели думаютъ, что истинное пониманіе событій можно отдѣлить отъ ихъ причинъ и слѣдствій, и историкъ нѣтъ никакого дѣла до нравственнаго начала, какъ будто можно одно безъ другого понять? — *Чтеніе* такое же зловерное занятіе для дѣтей. Эмилю до 12-лѣтняго возраста почти вовсе и знать не слѣдуетъ, что такое книга. Самое важное средство облегчить обученіе грамотѣ состоитъ въ томъ, чтобы учитель возбудилъ въ воспитанникѣ интересъ къ чтенію. Чѣмъ менѣе дѣтей подгоняютъ и повуждаютъ къ какому-нибудь дѣлу, тѣмъ вѣрнѣе оно достигается. Именно потому, что я такъ мало забочусь о томъ, умѣетъ ли отрокъ до 15-лѣтняго возраста читать, онъ, можетъ быть, и на 10 году уже выучится чтенію и письму. Обыкновенно достигается навѣрняка и очень скоро то, чего добиваются не торопясь.

Соблюдайте правила, прямо противорѣчающія обиходнымъ; старайтесь всегда поддерживать въ вашемъ воспитанникѣ сосредоточенность и вниманіе къ тому, что касается непосредственно его самого, вмѣсто того, чтобы заставлятъ его то и дѣло блуждать по инымъ климатамъ, по инымъ эпохамъ и до предѣловъ земли, даже до небесъ: тогда впослѣдствіи онъ окажется способнымъ все понимать и удерживать въ памяти, даже дѣлать умозаключенія. Таковъ урядъ природы. По мѣрѣ того, какъ одаренное чувствомъ существо начинаемъ дѣйствовать, онъ пріобрѣтаетъ также и соразмѣрный съ своими силами разсудокъ; но только тогда, когда окажется необходимый для его сохраненія избытокъ силы, разовьется въ немъ также и умозрѣніе, способное употребить этотъ избытокъ силы на другое полезное дѣло. Итакъ, если хотите развить умъ вашего воспитанника, то развивайте силы, надъ которыми предстоитъ господствовать уму. Развивайте постоянно его тѣло, добивайтесь, чтобы онъ былъ сильнымъ и здоровымъ,

для того чтобы онъ сталъ мудрымъ и разумнымъ. Пусть онъ работаетъ, возится, бѣгаетъ, кричитъ, пусть находится въ постоянномъ движеніи: *лишь бы онъ сдѣлался сперва дюжимъ, тогда скоро будетъ также и разумнымъ человекомъ.*

Ужасное заблужденіе воображать, будто это наноситъ ущербъ духовному развитію. Дайте только подрасти воспитаннику безъ побоевъ и назиданій на каждомъ шагу, такъ чтобы онъ вынужденъ былъ самъ заботиться и думать о себѣ, то онъ навѣрное разовьется вмѣстѣ и тѣло и душу. Такъ развиваютъ тѣло вольные дикари, но не раболовные мужики. Воспитанникъ да совмѣститъ въ себѣ со временемъ умъ мудреца съ силою атлета! А потому прежде всего — *гимнастическія упражненія*. Чтобы укрѣпить его духъ, надо укрѣпить мышцы; приучая воспитанника къ труду, мы приучаемъ его къ боли; пусть его испытаетъ тягости тѣлесныхъ упражненій, чтобы привыкнуть къ болямъ могущихъ случиться вывиховъ и т. п. Потомъ: *Всѣ члены подрастающаго тѣла должны пользоваться полнымъ просторомъ въ своей одеждѣ; ничто да не мѣшаетъ ихъ движенію, ихъ росту, ничто не должно быть только что впору ребенку, ни прилегать плотно къ его тѣлу, ни связывать его. Голову покрывать лишь слегка или даже вовсе обнажать ее во всѣ времена года. Но вредно, вспотѣвши, пить холодную воду. Дѣтей слѣдовало бы приучать скорѣе къ холоду, нежели къ теплу. Они нуждаются въ долгомъ снѣ, оттого что совершаютъ чрезвычайно много движеній. Но мягкая постель, гдѣ утопаютъ въ перьяхъ и пухѣ, ослабляетъ тѣло, какъ бы разлагая его. Въ водѣ они должны двигаться также же надежно, какъ и на сушѣ.*

Дитя ростомъ меньше мужчины, оно не обладаетъ ни силою, ни разумомъ послѣдняго; однако видитъ и слышитъ все такъ же, или почти такъ же хорошо, какъ и онъ. У него такой же тонкій, хотя не избалованный вкусъ, какъ у взрослога; оно такъ же хорошо обоняетъ, хотя и не вноситъ въ это чувственного наслажденія. *Первыя образующіяся и развивающіяся въ насъ способности суть чувства. Потому усовершенствованіе ихъ и надо бы прежде всего имѣть въ виду; а ихъ-то именно забываютъ и запускаютъ болѣе всего. Упражняйте не только силы дѣтей, упражняйте всѣ правящія силами чувства, пользуйтесь по возможности каждымъ изъ нихъ, повѣряйте впечатлѣнія одного чувства другими. Измѣряйте,*



*считайте, взвѣшивайте, сравнивайте!* — Слѣпые обладают самымъ тонкимъ осязаніемъ. Зрячіе дѣти точно такъ же могли бы развить его, упражняясь и играя въ темнотѣ, при чемъ избавились бы сверхъ того отъ наводимаго во мракѣ дѣятельностью фантазіи страха. Концы пальцевъ должны обладать нѣжною кожею и чувствительностью; осязаніемъ многое узнается яснѣе и точнѣе, чѣмъ зрѣніемъ. А потому, хотя чрезвычайно важно закалить кожу отъ вліяній воздуха и выносить его переменны, но мнѣ все-таки не хотѣлось бы, чтобы рука вполне рабски предавалась одной и той же работѣ и затвердѣла. Ступни напротивъ того необходимо закалить для ходьбы босикомъ. Зрѣніе часто ошибается вслѣдствіе обширнаго поля своего и разнообразія обнимаемыхъ имъ предметовъ; оно увлекаетъ въ опрометчивыя сужденія. Зрѣніе необходимо долгое время сопоставлять съ осязаніемъ, чтобы пріучить глазъ передавать намъ вѣрныя свѣдѣнія о формахъ и разстояніяхъ. Безъ ощупыванья, безъ правильнаго передвиженія самые зоркіе глаза въ мірѣ не могли бы дать намъ никакого понятія о пространствѣ. Только при помощи ходьбы, ощупи, счета, измѣренія протяженій пріучаемся мы узнавать величину ихъ. Итакъ, дѣтей необходимо упражнять въ оцѣнкѣ размѣровъ и разстояній, подобно тому, какъ упражняются архитекторы, землемѣры и пр. Къ упражненіямъ такого рода оцѣнки примыкается *рисованіе* дѣтей, вполне основанное на законахъ перспективы. Но заставляйте рисовать не по рисункамъ, а съ натуры. При этомъ имѣется скорѣе въ виду, чтобы воспитанникъ научился вѣрно смотрѣть и схватывать, чѣмъ художественно рисовать. Геометрія, подобно рисованію, для дѣтей прежде всего искусство зрѣнія, основанное на наглядности. Изготовьте точныя фигуры, составляйте ихъ вмѣстѣ, накладывайте одну на другую, изслѣдывайте ихъ отношенія. Переходя отъ наблюденія къ наблюденію, вы изложите всю элементарную геометрію, не упоминая вовсе ни объ опредѣленіяхъ, ни о проблемахъ, ни о какомъ-либо лномъ способѣ доказательствъ, исключая наложенія. Пусть дитя сравниваетъ между собою одновременныя впечатлѣнія зрѣнія и *слуха*. Такъ напр. оно замѣтитъ, что всегда прежде видно молнію, а затѣмъ слышенъ громъ. *Голосъ*, какъ активный органъ, отвѣчаетъ пассивному — слуху: оба взаимно развиваютъ другъ друга. Вашъ воспитанникъ да выражается просто. Пріучайте его говорить безъ запинки,

внятно, непринужденно и громко, такъ чтобы его понимали; научите его пѣть вѣрно и благозвучно, но только не оперу; образуйте его слухъ для такта и гармоніи. У дѣтей необходимо сохранить первобытный вкусъ ихъ. Пища да будетъ обыкновенная и простая, не пикантная; мясная пища не про нихъ. При такой простой пищѣ пусть ихъ ѣдятъ, сколько хотятъ. — *Обоняніе* относится ко вкусу, какъ зрѣніе къ осязанію. У дѣтей оно не очень дѣятельно. — Изъ надлежащаго употребленія остальныхъ чувствъ вытекаетъ шестое, а именно *общее чувство*. Оно помѣщается въ мозгу; его внутреннія ощущенія называются понятіями или идеями. Количествомъ этихъ идей опредѣляется объемъ нашихъ познаній; точность и ясность ихъ называютъ человѣческимъ разумомъ. Чувственный или дѣтскій разумъ составляетъ простыя идеи совокупленіемъ многихъ чувственныхъ впечатлѣній; интеллектуальный или зрѣлый разумъ образуетъ составныя идеи изъ сліянія многихъ простыхъ понятій. Развивайте въ общемъ чувствѣ пока однѣ только простыя идеи дитяти!

При такомъ воспитаніи Эмилю исполнилось *двѣнадцать лѣтъ* отъ роду. *Какой ступени развитія достигъ онъ теперь?* — Его видъ, его жесты, его осанка обнаруживаютъ твердость и увѣренность. У него открытый и свободный, но не надменный и не суетный нравъ, онъ говоритъ наивно, просто и не болтаетъ попусту. Его понятія ограничены, но опредѣленны; онъ ничего не вытвердилъ наизусть, но знаетъ многое по опыту. Хотя онъ плохо разбираетъ наши книги, но зато тѣмъ лучше читаетъ въ книгѣ природы; умъ его не на языкѣ, но въ головѣ; у него памяти менѣе, нежели разсудка; онъ говоритъ только на одномъ языкѣ, но понимаетъ то, что говоритъ, и если выражается не такъ красно, какъ другіе, то поступаетъ все-таки лучше ихъ. Рутинны, обычая, навыка онъ знать не знаетъ; вчерашній поступокъ его не обусловливаетъ нынѣшняго; онъ никогда не сообразуется съ формальностью. Онъ не стѣсняется ни авторитетомъ, ни примѣромъ, но поступаетъ и говоритъ, какъ ему удобнѣе. Его выраженіе отвѣчаетъ его понятіямъ, его поведеніе вытекаетъ изъ его склонностей. У него мало понятій, но они отвѣчаютъ его возрасту. Поговорите съ нимъ о свободѣ, о собственности, о взаимныхъ отношеніяхъ, — и онъ пойметъ васъ; но сверхъ этого онъ ничего болѣе не знаетъ. Если вы заговорите съ нимъ о долгѣ, о по-



слушаніи, то онъ не будетъ знать, чего вы отъ него хотите; прикажите ему что-нибудь, и онъ не пойметъ васъ; но скажите ему: сдѣлай мнѣ одолженіе, я при случаѣ тебѣ отплачу тѣмъ же, — онъ тотчасъ же постарается исполнить ваше желаніе; потому что для него, какъ нельзя болѣе пріятно расширить свое господство и свои притязанія, которыя онъ считаетъ ненарушимыми. Если онъ самъ нуждается въ помощи, то обращается къ первому встрѣчному, будь то хоть царь, хоть слуга; въ его глазахъ всѣ люди равны. Но по роду и способу его просьбы можно замѣтить, что онъ самъ чувствуетъ, что никто не обязанъ исполнять его просьбу. Онъ выражается просто и сжато, ни подобострастно, ни высокомерно. Если вы исполните его просьбу, онъ не поблагодаритъ васъ, но будетъ считать себя вашимъ должникомъ; если вы откажете ему, онъ не станетъ ни жаловаться ни приставать къ вамъ, но просто помирится съ этимъ. Живой, добрый, онъ не приметъ за дѣло, превышающее его силы, которыя онъ испыталъ и знаетъ. У него внимательный, умный взглядъ: онъ не предлагаетъ пустыхъ вопросовъ обо всемъ, что видитъ, но изслѣдуетъ самъ. Занимается ли онъ чѣмъ-нибудь или играетъ, — для него и то и другое все равно: игры для него тѣ же занятія; онъ не видитъ никакой разницы между ними. Онъ мастеръ бѣгать, прыгать, узнавать разстоянія. Онъ способенъ руководить своихъ сверстниковъ своимъ дарованіемъ и опытомъ, безъ всякаго поползновенія на авторитетъ. Вовсе не желая повелѣвать, онъ станетъ во главѣ другихъ; они будутъ повиноваться ему, не замѣчая этого. Онъ зрѣлое дитя и проведетъ дѣтскую жизнь, не поступившись своимъ счастіемъ ради образованія. Если бъ смерть скосила въ немъ зародышъ нашихъ надеждъ, мы все-таки оплакивали бы только смерть его, а не его жизнь. На развившагося такимъ образомъ отрока обыкновенные люди не обращаютъ конечно вниманія; они видятъ въ немъ только повѣсу. Учитель не можетъ блеснуть имъ, выпросить его о чемъ-нибудь, а вѣдь этимъ большею частью ограничивается методъ обученія. Мой воспитанникъ не очень богатъ, ему не придется проживать имѣнья, ему нечего предъявить кромѣ самого себя. Но вѣдь ребенка, точно такъ же какъ и мужа, сразу не разгадаешь. Гдѣ тѣ наблюдатели, которые тотчасъ съ перваго взгляда схватывали бы характеристическія черты? Бываютъ такіе люди, но рѣдко, а изъ десяти

тысячъ отцовъ едва ли найдется хоть одинъ, которому далось бы это.

*На двѣнадцатомъ и тринадцатомъ году отъ роду силы отрока развиваются быстрее, нежели его похоти. Онъ находитъ вокругъ себя все, что ему нужно; его не тревожитъ еще никакая воображаемая потребность; мечты не имѣютъ надъ нимъ никакой власти; его желанія простираются лишь настолько, насколько хватается его рукъ; онъ въ состояніи удовлетворить не только самому себѣ, но у него даже болѣе силъ, чѣмъ ему нужно. Это эпоха сравнительно наибольшей его силы. Этотъ избытокъ своего теперешняго бытія онъ сложить на будущее время и сохранить этотъ добытокъ въ своихъ рукахъ, въ своей головѣ, въ самомъ себѣ. Итакъ, это пора труда, накопленія знаній и ученій. Различныя способности и силы оживляются однимъ и тѣмъ же природнымъ побудомъ. Дѣятельности тѣла, порывающагося къ развитію, отвѣчаетъ дѣятельность духа, стремящагося къ обученію. Сначала дѣтямъ нужно только перебѣситься, а потомъ они становятся любопытны. Съ этихъ поръ отрокъ руководится любопытствомъ — это вполне свойственный человѣческому духу принципъ, развитіе котораго происходитъ впрочемъ лишь по мѣрѣ нашихъ страстей и нашихъ разумѣній. Въ этотъ періодъ здоровья и силы насъ побуждаетъ потребность расширить свое существованіе, порываться наружу изъ самихъ себя. Но вѣдь намъ невѣдомъ еще духовный міръ, а потому мысль наша простирается не далѣе нашего взора; нашъ умъ расширяется заодно съ измѣряемымъ имъ пространствомъ. Изъ чувственныхъ впечатлѣній теперь должны образоваться понятія; но только не вдругъ перескакивайте отъ чувственныхъ предметовъ къ нравственному міру. Только путемъ первыхъ переходите къ послѣднему. Не требуется никакой иной книги помимо дѣйствительнаго міра; никакого иного обученія помимо фактовъ. Воспитанникъ да познаетъ все, не потому что вы ему это сказали, а потому что онъ понялъ это; пускай его не учится наукъ, но изобрѣтаетъ ее. Если вы ему станете навязывать авторитетъ вмѣсто доводовъ, — онъ не будетъ уже самъ мыслить, а сдѣлается игралищемъ чужихъ мнѣній. Начатки астрономіи передайте ему ясно и просто; обратите его вниманіе на точки восхода и заката солнца, и пусть его обдумаетъ, какимъ путемъ солнце съ запада возвращается къ во-*



стоку; наблюденіе надъ движеніемъ его по небу съ востока на западъ намекаетъ уже на отвѣтъ. *Географическое преподаваніе* начните съ вашего жилища и мѣстопробыванія. Пусть воспитанникъ чертитъ карты окрестностей, чтобы узнать, какъ составляются карты, и что онѣ изображаютъ. Дѣло не въ томъ только, чтобы обучить отрока наукамъ, а скорѣе въ томъ, чтобы внушить ему охоту къ нимъ и сообщить методъ для ихъ изученія, когда охота его разовьется еще болѣе. Въ этомъ возрастѣ надо также приучать его изслѣдовать предметъ съ настойчивымъ вниманіемъ, но отнюдь не до пресыщенія. *Если онъ изъ любознательности предлагаетъ вопросъ, то отвѣтите ему насколько нужно, чтобы подстрекнуть его любопытство, но да не докучаетъ онъ вамъ безпрестанными, пустыми вопросами.* Философія развиваетъ науки изъ принциповъ, но учебный методъ поступаетъ иначе. Тутъ какой-нибудь единичный предметъ указываетъ и ведетъ къ слѣдующему, а ужъ тамъ любознательность приковываетъ вниманіе. Обучать *физику* начните съ простѣйшихъ опытовъ, но отнюдь не съ снарядами. Послѣдніе должны скорѣе вытекать изъ самыхъ опытовъ и даже изготовляться самимъ учителемъ и его воспитанникомъ, хотя бы и весьма еще несовершенные. Такою самостоятельною дѣятельностью приобрѣтаются болѣе ясныя и вѣрныя понятія. Изыскивая законы природы, начинайте всегда съ болѣе общихъ и очевидныхъ явленій.

Упражняя сначала тѣло и чувства воспитанника, мы вмѣстѣ съ тѣмъ развили его умъ и разсудокъ. Наконецъ мы научили его употреблять свои члены въ услугу его способностей. Притомъ онъ всегда учился лишь тому, что необходимо знать въ его возрастѣ, не захватывая впередъ того, что нужно лишь для позднѣйшихъ лѣтъ. Но, возражаете вы, развѣ можно изучать необходимое лишь въ тотъ самый моментъ, когда надо примѣнять его? Не знаю; но знаю только то, что прежде его нельзя изучить, потому что наши *настоящіе наставники* — это опытъ и чувство, и только благодаря известнымъ положеніямъ, какія приходится переживать человеку, научается онъ *настоящему дѣлу*. Внушивъ воспитаннику понятіе о полезности, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приобрѣли новое средство руководить имъ; онъ постигаетъ, что это слово касается его *настоящаго благосостоянія*. *Какая польза отъ этого?* Вотъ освященное слово, которымъ съ этихъ поръ обуславливается всякое

дѣло между учителемъ и ученикомъ; этимъ вопросомъ первый отклоняетъ отъ себя много безполезныхъ вопросовъ ученика; но тотъ же вопросъ при каждомъ удобномъ случаѣ ученикъ предлагаетъ учителю. Если на вопросы ученика и учителя нѣтъ отвѣта подъ рукой, то пусть онъ такъ и скажетъ безъ околичностей. *Вообще избѣгайте всякихъ дальнихъ объясненій, даваемыхъ часто учителями лишь для того, чтобы показать себя передъ взрослыми посетителями.* Оставайтесь при дѣлѣ. Мы придаемъ слишкомъ много вѣса словамъ, и наше многоречивое воспитаніе образуетъ болтуновъ. По мѣрѣ возможности учите путемъ опыта. Лучше бы отрокъ совсѣмъ не учился тому, что усваивается имъ лишь напряженіемъ его тщеславія. Не нужно ни соперниковъ, ни соревнованія, ни даже въ бѣгъ, коль скоро отрокъ пользуется своимъ умомъ. По мнѣ во сто разъ лучше, если дитя ничему не научится, чѣмъ если оно будетъ учиться изъ ревности или честолюбія. Однако я изъ года въ годъ стану слѣдить за дѣйствительными успѣхами отрока; я сопоставлю ихъ съ успѣхами слѣдующаго затѣмъ года и скажу ему: ты выросъ на столько-то дюймовъ и пр. Я подстрекну его, не возбудивъ въ немъ зависти къ кому бы то ни было. Онъ захочетъ превзойти самого себя; и пускай его: я не вижу никакого вреда въ томъ, что онъ соревнуется самому себѣ. — Я ненавижу книги: изъ книгъ учатся говорить о вещахъ, которыхъ не понимаютъ. Одинъ только *Робинсонъ Крузо* да составляетъ всю бібліотеку воспитанника. Пусть учитель посѣщаетъ съ воспитанникомъ мастерскія, пусть заставляетъ его самого приниматься за дѣло, такимъ образомъ послѣдній научится всему гораздо лучше, нежели посредствомъ долгихъ объясненій. Онъ научится въ то же время уважать истинно-полезныхъ ремесленниковъ болѣе, нежели выше чтимыхъ въ свѣтѣ такъ-называемыхъ художниковъ. Следаря онъ да поставитъ выше золотыхъ дѣлъ мастера. Да оценитъ онъ всякій человѣческій трудъ и точно такъ же всякія естественныя произведенія по мѣрѣ того, какъ они способствуютъ къ его пользѣ, безопасности и благосостоянію. Земледѣліе, конечно, превосходнѣйшій изъ всѣхъ промысловъ; но, когда наступаютъ трудныя времена, то ремесленникъ стоитъ независимѣе. Пусть поэтому вашъ сынъ изучитъ честное, т.-е. полезное ремесло, напр. столярное, хоть бы и для того только, чтобы преодолѣть всякія предубѣжденія противъ ремесла. Но



берегитесь, какъ бы, преодолевая одну суетность, не породить новой. — До сихъ поръ я вмѣстѣ съ навыкомъ къ тѣлеснымъ упражненіямъ и ручной работѣ незамѣтно сообщилъ моему воспитаннику охоту къ размышленію и умствованію, чтобы дать противовѣсъ лѣни, могущей возникнуть въ немъ при его равнодушіи къ сужденіямъ другихъ людей и при отсутствіи въ немъ страстей. *Онъ долженъ работать какъ мужикъ, но мыслить какъ философъ, чтобы не измѣниться подобно дикарю.* Устроить все такимъ образомъ, чтобы тѣлесныя и духовныя упражненія постоянно служили отдыхомъ другъ для друга — вотъ великая *тайна воспитанія.*

Мы образовали изъ нашего воспитанника дѣятельное и мыслящее существо; чтобы довершить человѣка, намъ слѣдуетъ сдѣлать изъ него еще любящее и чувствующее, т.-е. умъ его восполнить чувствомъ. Прежде у воспитанника были только чувственные ощущенія, теперь онъ обладаетъ понятіями и разсуждаетъ. И точно, по сравненіи многихъ слѣдующихъ другъ за другомъ или одновременныхъ чувственныхъ впечатлѣній и вслѣдствіе сужденія объ нихъ возникаетъ нѣкотораго рода составное ощущеніе, понятіе. При чувственномъ впечатлѣніи разсудокъ просто бездѣйствуетъ, онъ подтверждаетъ только, что мы дѣйствительно ощущаемъ извѣстное чувство; при понятіи или идеѣ дѣйствуетъ уже разсудокъ: онъ сопоставляетъ, сравниваетъ, опредѣляетъ отношенія, которыя не опредѣляются чувствомъ. *Лучшій методъ научиться вѣрному сужденію состоитъ въ томъ, чтобы по возможности упростить наблюденія и даже совсѣмъ обходиться безъ нихъ, но не впадая оттого въ заблужденія.* Отсюда слѣдуетъ, если мы въ теченіе долгаго времени сообщаемыя намъ однимъ чувствомъ явленія подтверждали другимъ, то должны научиться также судить объ этихъ явленіяхъ, пользуясь уже однимъ только чувствомъ и не прибѣгая вовсе къ другому. Тогда каждое наше чувственное постиженіе обратится для насъ въ понятіе, и это понятіе будетъ всегда согласно съ дѣйствительностью. Вотъ цѣль, поставляемая мною для третьяго возраста человѣческой жизни.

Итакъ, на пятнадцатилѣтнемъ возрастѣ образованіе Эміля находится въ слѣдующемъ состояніи: вынужденный учиться самъ собою, онъ пользуется своимъ собственнымъ, а не чужимъ умомъ и ни во что не ставитъ авторитета. Въдѣ боль-

шая часть нашихъ заблужденій проистекаетъ не столько отъ насъ самихъ, сколько отъ постороннихъ. Благодаря такому постоянному упражненію духъ его обладаетъ крѣпостью, подобною той, какую тѣло пріобрѣтаетъ работою и трудомъ. Вслѣдствіе этого онъ и преуспѣваетъ лишь по мѣрѣ того, какъ прибываютъ его силы. Вѣдь духъ, точно такъ же, какъ и тѣло, выноситъ лишь столько, насколько хватаетъ его способностей. *Если умъ усваиваетъ себѣ предметы прежде, нежели они сданы памяти, то и все выводимое имъ изъ этого составляетъ его собственность*; тогда какъ напротивъ, если память набивается безъ соучастія ума, мы подвергаемся опасности никогда не пріобрѣсти ничего, что могли бы назвать своею собственностью. У Эмиля правда еще не много знаній, но у него нѣтъ полузнаній. Онъ знаетъ, что онъ многого еще не знаетъ; умъ у него всеобъемлющій, не относительно его познаній, но относительно способности пріобрѣтать познанія, — открытый, рѣшительный, и если еще не обученный, то способный обучаться. Во всемъ, что онъ дѣлаетъ, онъ знаетъ, къ чему оно служить; во всемъ, чему вѣрить, онъ знаетъ, почему вѣрить. Онъ подвигается медленно, но вѣрно впередъ. Онъ обладаетъ лишь естественными знаніями, но не историческими: о метафизикѣ и нравоученіи Эмиль ничего еще не знаетъ. Онъ почти не умѣетъ обобщать идеи и выводить отвлеченности; онъ подмѣчаетъ общія многимъ тѣламъ свойства, не разсуждая о сущности этихъ свойствъ. Что ему чуждо, то оцѣниваетъ онъ лишь по отношенію къ самому себѣ, но эта оцѣнка и точна, и вѣрна. Чтò полезно всего, то ставитъ онъ и выше всего и не придаетъ никакого значенія чужимъ мнѣніямъ. Эмиль трудолюбивъ, умѣренъ, терпѣливъ, твердъ и отваженъ. Его отнюдь не пылкое воображеніе никогда не преувеличиваетъ опасностей. онъ твердо переноситъ страданія, оттого что его не приучали роптать на судьбу. Онъ еще не знаетъ, чтò такое смерть; но, привыкну безпрекословно покоряться закону необходимости, когда ему придется умирать, онъ умретъ, не сѣтуя. Жить свободно, не лѣннуть сердцемъ къ человѣческимъ вещамъ, вотъ самое вѣрное средство научиться умереть. Словомъ, Эмиль по части добродѣтели обладаетъ всѣмъ, что имѣетъ отношеніе къ нему самому. Для того, чтобы пріобрѣсть также и общественныя добродѣтели, ему недостаетъ только требуемаго ими знанія условій, т.-е. одного только пониманія, для



усвоенія котораго умъ его вполнѣ подготовленъ. Онъ смотритъ на себя, не обращая вниманія на другихъ, и находитъ въ порядкѣ вещей, что другіе также объ немъ не заботятся. Онъ ни на кого не предъявляетъ никакихъ требованій и думаетъ, что никому ничѣмъ не одолженъ. Находясь одинокимъ въ обществѣ, онъ полагается только на самого себя, и можетъ дѣлать это скорѣе всякаго иного въ его возрастѣ, потому что дѣйствительно онъ вполнѣ такой, какимъ слѣдуетъ быть въ его лѣта. У него нѣтъ ни заблужденій, ни пороковъ, исключая неизбѣжныхъ. Тѣло его здоровое, члены ловкіе, умъ правильный и безъ предразсудковъ, сердце свободное и безъ страстей. Въ немъ едва только возникло себялюбіе, эта первая и самая естественная изъ страстей. Не нарушая покоя другихъ, онъ прожилъ въ счастіи, довольствѣ и свободно настолько, насколько то допускается природою. Полагаете ли вы, что вступившій такимъ образомъ въ свой пятнадцатилѣтній возрастъ отрокъ даромъ потратилъ свои ранніе годы?

*Человѣкъ не созданъ для того, чтобы вѣкъ свой оставаться ребенкомъ. Онъ выходитъ изъ этого состоянія въ положенный отъ природы срокъ. Физіономія его развивается и получаетъ выраженіе. Голосъ мѣняется. Глаза, эти зеркала души, ничего не говорившіе до сихъ поръ, пріобрѣтаютъ языкъ и выраженіе, ихъ озаряетъ возрастающій огонь, взглядъ оживляется. Эмиль чувствуетъ теперь, самъ не постигая своего чувства; онъ становится безпокойнымъ безъ причины. Когда его хладнокровіе переходитъ въ бурный порывъ, когда онъ вспылить и вслѣдъ затѣмъ опять становится нѣжнымъ, когда безъ причины проливаетъ слезы, когда близъ людей, грозящихъ ему опасностью, живѣе бьется пульсъ его, воспаляется взоръ, когда коснувшаяся его руки рука женщины возбуждаетъ въ немъ лихорадочную дрожь, когда онъ смущается и робѣетъ при ней: Улиссъ, мой мудрый Улиссъ, будь насторожѣ! Ни на мигъ не отходи отъ кормила, или все погибло! *Видь это второе рожденіе: тутъ человѣкъ дѣйствительно возрождается къ жизни, и ни что человѣческое ему не чуждо.* До сихъ поръ наша заботливость была лишь дѣтскою забавою; теперь она становится крайне важною. Въ эту эпоху обыкновенно заканчиваютъ воспитаніе, тогда какъ наше по настоящему только что начинается. Наступаетъ пора зрѣлости. Выѣстъ съ нею просыпаются страсти, источникъ которыхъ въ себялюбіи. Это*

чувство побуждаетъ всякаго печься о самосохраненіи. Мы добиваемся вслѣдствіе этого всего, что намъ полезно; мы любимъ все, что служить въ нашу пользу; мы избѣгаемъ того, что вредитъ намъ; мы ненавидимъ, что угрожаетъ намъ бѣдою. Первое чувство ребенка — любовь къ самому себѣ. Второе, вызываемое первымъ, — любовь къ близкимъ ему людямъ; потому что въ состояніи безсилія, въ которомъ онъ находится, его знаніе свѣта ограничивается лицами лишь настолько, насколько они оказываютъ ему помощь и попеченіе. Теперь же наступаетъ его отношеніе къ роду: всякія ощущенія души его порождаются съ этою потребностью. Теперь настала пора ознакомить его съ сущностью его рода: слѣдуетъ конечно не ускорять, но замедлять эту эпоху. Итакъ, заботьтесь о томъ, чтобы дитя не сдѣлалось довременно любопытнымъ. Но если оно любопытствуетъ и спрашиваетъ, то отвѣчайте ему серьезно, коротко, точно, отнюдь не колеблясь, и пуще всего правдиво. Не облыгайте его; скажите ему все, чего и такъ не утаишь навсегда. Когда въ Эмиль пробудилось самолюбіе, то онъ сравниваетъ себя съ сверстниками и старается занять между ними первое мѣсто. Теперь пора ознакомить его съ соціальными условіями, съ естественнымъ и гражданскимъ неравенствомъ людей. Пусть онъ узнаетъ людей въ ихъ общественной личинѣ и подъ нею, жалѣетъ ихъ, но не ненавидитъ. Эмиль да знаетъ, что люди отъ природы добры; но да пойметъ онъ также, какъ они опошляются и извращаются обществомъ. Въ ихъ предубѣжденіяхъ да видитъ онъ источникъ всѣхъ ихъ пороковъ; онъ да побуждается дорожить каждымъ единичнымъ лицомъ, но презирать толпу; пусть замѣчаетъ онъ, что всякій носитъ почти одну и ту же личину, но пусть же и знаетъ, что бываютъ фizioноміи гораздо лучше ихъ личины. Чтобы по мѣрѣ способностей ознакомить его съ человѣческимъ сердцемъ, не подвергая опасности его собственнаго, я показаль бы ему людей издали; я представилъ бы ихъ изъ чуждыхъ эпохъ и поясовъ, словомъ такъ, чтобы онъ видѣлъ передъ собою поприще, не думая о томъ, что онъ самъ когда-нибудь выступитъ на него дѣятелемъ. Настала пора для *исторіи*. Чтобы узнать людей, надо видѣть ихъ на дѣлѣ. Въ сношеніяхъ съ людьми мы только слышимъ, что они говорятъ; они обнаруживаютъ лишь слова, но скрываютъ дѣйствія. Въ исторіи же они разоблачаются передъ нами, и мы въ со-



стояніи судить объ ихъ дѣлахъ. Изъ исторіи давайте факты молодому человѣку. Пускай онъ самъ обсудить ихъ. Только такимъ путемъ онъ пріобрѣтетъ знаніе людей. Если онъ на каждомъ шагу руководится сужденіемъ автора, то смотритъ лишь сквозь чужое стекло, а безъ него онъ ужъ ничего и не видитъ болѣе. Изъ всѣхъ древнихъ историковъ Плутархъ лучше всего пригоденъ для юности, особенно также и потому, что онъ не пренебрегаетъ описаніемъ мелкихъ, какъ кажется, чертъ великихъ матерей. Эмиль, какъ человѣкъ природы, не долженъ увлекаться тревоженіями общественной жизни, ни вслѣдствіе страстей, ни вслѣдствіе безумія толпы. Онъ долженъ видѣть все собственными глазами, прочувствовать собственнымъ сердцемъ; никакой авторитетъ не долженъ господствовать надъ нимъ, кромѣ авторитета его разума. Теперь необходимо также ввести его въ міръ религіи. Предоставленные сначала чувственному міру, мы едва воспринимаемъ отвлеченное, чисто интеллектуальное. Богъ недоступенъ нашимъ внѣшнимъ чувствамъ, слово духъ имѣетъ смыслъ только для философа. Единобожіе вышло путемъ обобщенія изъ чувственнаго многобожія. Пятнадцати лѣтъ отъ роду Эмиль еще не знаетъ, есть ли у него душа; пожалуй, что на восемнадцатомъ ему еще слишкомъ рано знать это. Если ему придется провѣдать о душѣ прежде настоящей поры, то чего добраго онъ никогда и не будетъ знать ея. Говорятъ, дѣтей слѣдуетъ воспитывать въ вѣрѣ ихъ отцовъ и доказывать, будто она одна истинная, а другія нелѣпы. Но если сила этого довода зависить лишь отъ страны, гдѣ онъ приводится, лишь отъ авторитета, который Эмиль ни во что вѣдь не ставитъ — что тогда? Въ какой вѣрѣ воспитать его въ такомъ случаѣ? Вотъ простой отвѣтъ на это: ни въ какой; мы хотимъ только привести его въ состояніе избрать ту, которую укажутъ ему лучшіе выводы его разума. Эмиль не созданъ для того, чтобы всю жизнь свою провести въ одиночествѣ; онъ членъ общества и долженъ исполнить свои обязанности къ нему. Предназначенный жить съ людьми, онъ долженъ знать ихъ. Онъ знаетъ уже человѣка вообще; а теперь пусть ознакомится съ личностями. Онъ знаетъ, что дѣлается въ свѣтѣ: теперь ему пора узнать, какъ въ немъ живутъ. Пора показать ему наружность этой обширной сцены, съ тайными пружинами которой онъ уже знакомъ. Находясь за кулисами, онъ видитъ актеровъ, какъ они пересодѣваются,

онъ видитъ, какими грубыми искусственными средствами ослѣпляютъ зрителей. Его возмутитъ, когда онъ узнаетъ, какъ родъ человѣческій издѣвается самъ надъ собою. Выросши на свободѣ, онъ пожалѣетъ о бѣдныхъ владыкахъ, этихъ рабахъ повинующихся имъ людей, о мнимыхъ мудрецахъ, скованныхъ суетными почестями, о богатыхъ глупцахъ, этихъ мученикахъ роскоши. Онъ, чего добраго, сочтетъ себя мудрымъ, а всѣхъ другихъ дураками. Одни лишь озадачивающіе житейскіе опыты могутъ убересть его отъ такого тщеславія. *Эмиль теперь вжигается въ свѣтъ.* Хотя онъ и не уважаетъ людей, но все-таки не станетъ и выказывать къ нимъ презрѣнія, потому именно, что сожалѣетъ о нихъ и соболѣзвуетъ имъ. Такъ какъ онъ не въ состояніи внушить имъ любовь къ истиннымъ благамъ, то и предоставляетъ имъ наслаждаться воображаемыми. Онъ не діалектикъ, не спорщикъ. Также не угодникъ и не льстецъ. Онъ высказываетъ свое мнѣніе, не оспаривая никого, оттого что больше всего любитъ свободу и считаетъ искренность однимъ изъ высшихъ правъ. Онъ говоритъ мало, оттого что не стремится заинтересовать собою другихъ. У Эмиля слишкомъ много знанія, для того чтобы сдѣлаться болтуномъ. Ему и въ голову не придетъ издѣваться надъ манерами другихъ людей: напротивъ, онъ самъ добровольно примѣняется къ нимъ, лишь бы не обратить на себя вниманія. Онъ твердъ, но не занятъ собою; у него свободныя, но не презрительныя манеры. Одни только рабы выказываютъ надменное обращеніе, тогда какъ независимость не имѣетъ въ себѣ ничего чваннаго. Никто внимательнѣе его не относится ко всему, что установлено законами природы и даже разумными учрежденіями общества; но онъ всегда первымъ отдаетъ преимущество предъ послѣдними. У Эмиля нѣжная и чувствительная душа, но онъ ничего не оцѣниваетъ по обычной таксѣ: оттого онъ и окажется скорѣе преданнымъ, нежели учтивымъ; онъ никогда не обнаружитъ надменнаго вида, его тронетъ скорѣе радушіе, нежели тысяча похвалъ. Желаніе нравиться побудитъ его относиться не совсѣмъ равнодушно къ мнѣніямъ другихъ людей; но изъ этихъ мнѣній онъ приметъ къ свѣдѣнію только то, что относится непосредственно къ его личности, ни мало не заботясь о произвольныхъ сужденіяхъ, признающихъ за правило только моду или предразсудки. Онъ любитъ людей, оттого что они ближніе его, и полюбитъ особенно тѣхъ, ко-



которые наиболее походят на него. Ему часто придется думать о томъ, что льститъ человѣческому сердцу и что противно ему — онъ станетъ философствовать о принципахъ вкуса; вотъ ученіе, которое отвѣчаетъ его возрасту. Теперь наступила также эпоха чтенія и особенно беллетристическихъ произведеній, пора ознакомить его съ построеніемъ рѣчи, внушить ему воспримчивость къ красотамъ краснорѣчія и изложенія. Изучать языки ради нихъ самихъ еще не такъ важно; но изученіе ихъ ведетъ къ теоріи языкознанія. Слѣдуетъ изучать одинъ языкъ и сравнивать его съ другимъ, чтобы усвоить себѣ правила краснорѣчія. Эмиль будетъ изучать попреимуществу древнихъ писателей, такъ какъ ихъ сочиненія нравятся ему больше нашихъ, оттого уже, что они появились раньше, слѣдовательно ближе стояли къ природѣ и обладали своеобразнымъ пошибомъ. Сверхъ того онъ будетъ посѣщать театръ, не для того чтобы изучать нравы, но чтобы изощрять вкусъ. Онъ долженъ чувствовать и понимать всякаго рода красоту, для того чтобы связать съ этимъ свои наклонности и свой вкусъ, чтобы воспрепятствовать своимъ естественнымъ побудамъ разбросаться или чтобы впослѣдствіи онъ не въ богатствѣ обрѣлъ средство къ своему счастью, а скорѣе въ самомъ себѣ.

Теперь настала пора выбрать ему подругу. Эта подруга — Софія — по возрѣвію Руссо женщина, одаренная всѣми свойствами, подобающими ея роду и полу. „Во всемъ, что не состоитъ въ связи съ ея поломъ, женщина обладаетъ такими же свойствами, какъ и мужчина: у нея тѣ же органы, тѣ же потребности, тѣ же способности. Въ томъ же, что относится къ полу, они различаются другъ отъ друга, и это различіе оказываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ вліяніе на нравственный моментъ. Совершенный мужчина и совершенная женщина душою такъ же мало походятъ другъ на друга, какъ и лицомъ; но вѣдь совершенство не можетъ быть болѣе или менѣе, а потому они вовсе не допускаютъ сравненія между собою“. Софія именно такая женщина и притомъ женственно воспитанная — болѣе заботливо, нежели кропотливо; въ воспитаніи старались болѣе образовать ея вкусъ, чѣмъ противодѣйствовать ему. У нея хорошая натура, сердце, исполненное чувства, а чрезвычайно сильная впечатлительность надѣляетъ ея воображеніе иногда живостью, которую трудно умѣрить. Умъ ея оказывается не

столько правильнымъ, но скорѣе отъ природы острымъ; она обладаетъ симпатичнымъ, но не всегда ровнымъ нравомъ. У нея обыкновенная, но пріятная наружность; лицо ея изобличаетъ душу и никогда не лжетъ. Софья не отличается красотою; но при ней мужчины забываютъ красавицъ, и послѣднія возлѣ нея сами не совсѣмъ довольны собою. Помимо отца у нея не было другого учителя пѣнія, а помимо матери другого танцмейстера: сосѣдъ органистъ обучалъ ее игрѣ на клавикордахъ, чтобы она могла аккомпанировать пѣснѣ. Ей лучше всего дались женскія работы, особенно кройка и шитье платья и т. п. Чистоту она считаетъ главною добродѣтелью. По природной склонности она любитъ поѣсть хорошо; но по привычкѣ она умѣренна. Умъ ея нравится всѣмъ съ нею бесѣдующимъ, хотя она образовалась не чтеніемъ книгъ, а просто въ сношеніяхъ съ родителями, собственнымъ размышленіемъ и наблюденіемъ надъ тѣмъ, что случалось ей видѣть въ свѣтѣ. Она до того впечатлительна, что нравъ ея не всегда можетъ оставаться ровнымъ, но у нея много сердечной доброты, такъ что впечатлительность эта не тяготитъ постороннихъ. Она не совсѣмъ свободна отъ своенравія: прихоти ея, доходя до крайности, извращаются въ упорство, и въ такомъ случаѣ ей случается иногда забыться; но дайте ей только срокъ притти опять въ себя, и тогда она исправитъ свой промахъ такъ, что это вѣнится ей въ заслугу. У Софьи есть религія, но разумная и простая; она мало знакома съ символомъ вѣры, еще того менѣе съ церковными обрядами, или точнѣе, она помимо нравственного подвига не признаетъ никакого другого существеннаго выраженія религіи, и такимъ образомъ, дѣлая добро, она всю жизнь свою посвящаетъ на служеніе Господу. Она любитъ добродѣтель; эта любовь сдѣлалась ея господствующею страстью; она любитъ ее за то, что нѣтъ ничего прекраснѣе добродѣтели, за то, что добродѣтель составляетъ славу женщины, такъ какъ добродѣтельная женщина представляется ей почти ангеломъ. У Софьи мало свѣтскаго тона; но она предупредительна, внимательна, и все, что ни дѣлаетъ, исполняетъ благопрістойно. Она соблюдаетъ молчаніе и почтеніе къ женатымъ и замужнимъ, которые гораздо старше ея. Съ молодыми людьми, если они пристойны, она находится на дружеской ногѣ взаимной довѣрчивости; но если ихъ бесѣды переходятъ въ пошлости, то она



тотчасъ же обрываетъ ихъ, потому что пуще всего ненави-  
дитъ вздорное, столь обидное для ея пола волокитство.

Подобно тому какъ въ своей „Юліи“, въ „Новой Элоизѣ“, Руссо представляетъ образецъ чисто человѣчно воспитывающей матери, такъ и въ „Софьѣ“ онъ предлагаетъ путь и свой идеаль женскаго воспитанія: это образецъ для филантропическихъ педагоговъ, которые въ послѣдствіи спеціально занялись образованіемъ дочерей и основали по началамъ Руссо школы для дѣвицъ. — Софья была для Эмиля отъ природы предназначенная жена. Оба узнали и — полюбили другъ друга. Софья стала женою Эмиля. — „По прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ Эмиль входитъ утромъ въ мою комнату и, обнявъ меня, говоритъ: пожелайте счастья вашему воспитаннику, дорогой мой учитель; скоро я надѣюсь назваться отцомъ. Сколько заботъ возлагается на насъ этимъ, и какъ мы теперь будемъ нуждаться въ васъ! Но Боже упаси, чтобы вы занялись еще воспитаніемъ сына уже воспитаннаго вами отца. Боже сохрани меня, чтобы эта священная и прекрасная обязанность исполнялась помимо меня самого кѣмъ-либо другимъ, и въ состоявіи ли я сдѣлать для своего ребенка такой выборъ, какой выпалъ на мою долю; но вы, по крайней мѣрѣ, должны остаться учителемъ юнаго наставника. Совѣтуйте намъ, руководите нами, мы будемъ васъ слушаться. Пока живъ, я буду нуждаться въ васъ. Теперь, когда подходятъ настоящія мои обязанности, я нуждаюсь въ васъ болѣе, чѣмъ когда-либо. Вы исполнили свое дѣло; я хотѣлъ бы подражать вамъ; руководите мною“.

Въ безотрадный періодъ французскаго воспитанія Руссо заявилъ въ своемъ Эмилѣ право дѣтей на грудь матери и пр., вообще право природы и естественныхъ условій жизни въ дѣлѣ образованія и противопоставилъ бездушному обществу обильный избытокъ задушевности, а всеобщей распущенности — нравственную силу воли. Для французскаго общества Эмиль и былъ поэтоту ударомъ молніи въ удушливую погоду. Это была неслыханная книга, — явно возбуждавшая къ бою на жизнь и на смерть. Парламентъ и архіепископы осудили и сожгли ее, а печать прославляла и превозносила до небесъ. Еще ни одна педагогическая книга не поразила и не возбудила такъ сильно педагоговъ, и не однихъ педагоговъ, — поэтовъ и мыслителей, ученыхъ и профановъ, мужчинъ и жен-

щинъ. Ея вліянія были неодолимы. Благодаря Эмилю воспитаніе во многихъ семьяхъ отъ крайней искусственности, пзвѣженности и пр. перешло въ другую крайность. За дѣтьми хотѣли упрочить дѣтство. вмѣсто мертвой памяти на мелочи хотѣли примѣнить къ дѣлу возбуждающую самодѣятельность. Хотѣли сдѣлать все, что было сдѣлано съ Эмилемъ. Появленіе во Франціи Эмиля Руссо было подвигомъ.

Тѣмъ же было оно и для всемірноисторическаго развитія педагогики вообще. Никогда еще такъ громко не ратовали противъ пустословія и болтовни кормилецъ и нянекъ, противъ науки, состоящей изъ однихъ только словъ, противъ многознайства дѣтей, не изъ нихъ самихъ возникшаго, противъ долбленія словъ вообще, противъ книгъ въ качествѣ учебниковъ, „этой самой поскудной домашней утвари“ для дѣтства и пр. Никогда еще съ такою самодержавною властью не предлагались взамѣнъ схоластическаго учебнаго аппарата такіа подслушанныя у самой природы воспитательныя средства, какъ въ Эмилѣ. Начало воспитанія съ самаго дня рожденія, — организація обстановки ребенка для нагляднаго, самодѣятельнаго предметнаго обученія, — самообразование путемъ опыта, — чувственное постиженіе прежде интеллектуальнаго, — любовь къ дѣтямъ и къ ихъ прелестному инстинкту, проявляющемуся въ играхъ, — необходимость видѣть мужа въ мужѣ, а ребенка въ ребенкѣ съ указаніемъ каждому его мѣста: вотъ великія истины, которыя Руссо проповѣдалъ въ вдохновенной формѣ и которыя съ тѣхъ поръ сдѣлались аксіомами въ педагогикѣ.

Но и Руссо односторонне лишь разрѣшилъ всемірноисторическую задачу педагогики. Онъ не зналъ ни человѣка, какъ члена человѣчества, ни первоначальныхъ наклонностей, ни сокровенныхъ способностей дитяти. Его предвзятый догматъ объ изначальномъ равенствѣ всѣхъ людей, — также догматъ о томъ, что всѣ пороки и пр. не что иное какъ порожденія человѣческихъ отношеній, вполнѣ противорѣчатъ свойствамъ какъ человѣка, такъ и человѣчества. Онъ ложно понимаетъ какъ природу единичнаго человѣка, такъ и природу человѣчества; онъ забываетъ, что все исторически совершившееся вмѣстѣ съ тѣмъ и естественно совершившееся, оттого что оно продуктъ естественноисторическаго развитія человѣчества. Потому-то и въ самой „природѣ“ этой и въ этомъ „естествен-



номъ развитіи Эмиля совершается все неестественно, все сдѣлано и предусмотрительно. Столь естественное съ виду развитіе возможно на самомъ дѣлѣ только потому, что воспитатель, сообразуясь съ своимъ планомъ „за кулисами“ впередъ подготавливаетъ впечатлѣнія природы, приключенія и бесѣды съ Эмилемъ. Стремленіе не предлагать воспитаннику ничего помимо добытаго собственнымъ умомъ его и какъ бы имъ самимъ пріобрѣтаемаго, ведетъ къ умственной опеке и къ театальной уловке со стороны воспитателя, который въ дѣйствительности влагаетъ только въ Эмиля свое собственное мышленіе, заставляя воспитанника (никогда не употребляющаго пустыхъ словъ) высказывать въ словахъ то, что по духу принадлежитъ не ему, а воспитателю. Даже *идея*, къ которой стремится Руссо съ своимъ воспитанникомъ, извращается въ противоположную сторону: естественное въ человѣкѣ, его духъ, даже наиболѣе въ немъ естественное, его идеалы и идеи объ истинѣ, добрѣ и красотѣ онъ низвелъ до непосредственно полезнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ до эгоистичнаго, стало-быть до того же, отъ чего хочетъ предохранить своего Эмиля. Наконецъ, отвращеніе отъ подготовки для извѣстнаго сословія и для суетной салонной болтовни дѣлаетъ изъ него, какъ справедливо замѣчаетъ Геттнеръ, безжизненный призракъ, вообще безличнаго человѣка самого по себѣ, имѣющаго, правда, вмѣстѣ въ себя возможность ко всякаго рода занятіямъ, но на самомъ дѣлѣ алчущаго лишь своего собственнаго своекорыстнаго счастья безъ всякой опредѣленной практической дѣятельности. Изъ его Эмиля выйдетъ человѣчески искусственное — вмѣсто божески естественнаго произведенія. Одаренный болѣе чувствомъ и воображеніемъ, нежели глубокимъ, проицательнымъ умомъ, Руссо самъ слишкомъ вжилъ въ извращенныя условія своего черезъ-чуръ утонченнаго вѣка, такъ что не былъ въ состояніи изслѣдовать причину этихъ превратныхъ явленій, — онъ представилъ природу и искусство какъ враждебныя другъ другу противоположности, вмѣсто того чтобы въ истинномъ искусствѣ видѣть лишь развитіе природы. Его „Эмилъ“ — платоническая республика воспитанія. А все-таки твореніе Руссо великій всемірноисторическій подвигъ, значеніе котораго Гете вполне оцѣнилъ, назвавъ эту книгу естественнымъ евангеліемъ воспитанія.

*Шмидтъ.*

## Руссо и Вольтеръ.

Плутархъ въ своихъ біографіяхъ любилъ проводить параллели. Въ настоящемъ случаѣ невольно напрашивается на перо параллель между жизнью Вольтера и Руссо, потому что та и другая совершенно противоположны другъ другу, а между тѣмъ составляютъ для французской націи одно цѣлое, точно построенное гениемъ одного писателя. Вольтеръ родился въ абсолютномъ центрѣ Франціи — Парижѣ, Руссо — въ Франціи, въ ея периферіи — Женевѣ. Вольтеръ получилъ правильное воспитаніе, Руссо — очень неправильное, очень неполное и долженъ былъ образоваться автодидактически. Вольтеръ былъ человѣкъ зажиточный, а напослѣдокъ и богатый. Руссо всю жизнь оставался бѣденъ. Вольтеръ съ молодыхъ лѣтъ вращался въ высшемъ кругу, Руссо служилъ въ дворянскихъ домахъ, но дворянство стало заносить въ немъ, какъ только онъ удалился изъ общества. Вольтеръ любилъ согрѣвать себя лучами придворнаго солнца и не пренебрегалъ ни званіями, ни орденами; Руссо тоже имѣлъ припадки подобнаго честолюбія, но отъ придворной жизни бѣжалъ уже потому, что она шла въ разрѣзъ съ его отвращеніемъ ко всякимъ стѣсненіямъ. Вольтеръ любилъ знатныхъ барынь и нашелъ въ своей божественной Эмили красавицу съ самымъ многостороннимъ, изумительнѣйшимъ образованіемъ. Руссо также влюблялся во всякую знатную даму, съ какой ему приходилось встрѣчаться, повергался предъ ними ницъ, и однако въ то же время постоянно жилъ съ своею Терезою, которая въ умственномъ отношеніи стояла на такой необычайно низкой степени развитія, что не могла даже удержать въ памяти послѣдовательный счетъ мѣсяцевъ. Вольтеръ былъ изгнанъ въ Англію и вывезъ съ собою оттуда самыя благотворныя воззрѣнія, сдѣлавшія его новымъ чело вѣкомъ; Руссо, изгнанный изъ Франціи, бѣжалъ въ Англію, но вернулся оттуда только съ озлобленіемъ въ душѣ. Вольтеръ работалъ непрерывно и постоянно занималъ европейскую публику новыми произведеніями; Руссо въ продолженіе пятнадцати лѣтъ сосредоточился въ нѣсколькихъ произведеніяхъ и затѣмъ умолкъ навсегда. Вольтеръ, какъ писатель, дѣйствовалъ на публику преимущественно драмой, Руссо — ро-



маномъ. Вольтеръ очень любилъ театръ; Руссо, послѣ нѣсколькихъ слабыхъ попытокъ въ этой области, сталъ преслѣдовать его. Идеаломъ Вольтера была культура, слѣдующая законамъ природы; идеаломъ Руссо — грубая, голая природа; поэтому первый смотритъ на исторію, какъ на ходъ усовершенствованія человѣчества, второй — какъ на ходъ его испорченности. Вольтеръ любилъ общество, Руссо предпочиталъ уходить отъ него въ лѣсное уединеніе. Вольтеръ никогда не затруднялся отвѣтомъ и острога была постоянно въ его распоряженіи; Руссо часто приходилъ въ смущеніе отъ нападокъ другихъ и съ трудомъ находилъ сносное возраженіе. Вольтеръ сохранилъ себѣ всѣхъ своихъ друзей, даже Фридриха; Руссо потерялъ ихъ всѣхъ, даже Дидро. Вольтеръ провелъ послѣднія десятилѣтія своей жизни въ сельской тиши; Руссо, любитель сельской жизни, добровольно возвратился въ Парижъ. Вольтеръ скончался окруженный шумными чествованіями парижанъ; Руссо въ это же самое время бѣжалъ изъ Парижа за городъ въ Эрменонвиль и умеръ скоропостижно скоро велѣдъ затѣмъ, послѣ утренней прогулки. Тѣло Вольтера было схоронено въ церкви аббатства, тѣло Руссо — въ саду графа эрменонвильскаго. Вольтеръ не имѣлъ дѣтей, но усыновилъ двухъ дѣвушекъ, Руссо имѣлъ пятерыхъ дѣтей, но отдалъ ихъ въ воспитательный домъ. И тотъ, и другой требовали политической свободы; но Вольтеръ желалъ ее въ формѣ монархіи, Руссо — въ формѣ республики. Вольтеръ въ теченіе всей своей жизни оставался съ формальной стороны католикомъ; Руссо изъ протестантизма перешелъ въ католицизмъ, изъ этого послѣдняго — въ кальвинизмъ и окончилъ полнымъ, индифферентизмомъ въ церковномъ отношеніи. Оба они были деисты; но Вольтеръ смотрѣлъ на религію только съ точки зрѣнія разума, а Руссо — и съ точки зрѣнія чувства. Наконецъ, Вольтеръ былъ склоненъ держаться самаго сквернаго мнѣнія о личностяхъ своихъ противниковъ и при жизни нападалъ на нихъ всевозможными способами; Руссо спряталъ свою ненависть въ страницы своей „Исповѣди“, посредствомъ которой онъ уже осыпалъ самыми отвратительными клеветами память своихъ друзей и благодѣтелей, за исключеніемъ семейства маршала Люксембургскаго.

*Розенкранцъ.*

## Монтескье.

Монтескье, какъ и Вольтеръ, подкапывалъ основанія тогдашняго французскаго политическаго и церковнаго устройства, но съ другой стороны. Вольтеръ, какъ поэтъ и философъ, нападалъ больше на суевѣріе и іерархію, — вещи, которыя больше всего мѣшали ему: Монтескье, какъ юристъ и дворянинъ, обращалъ болѣе вниманія на политическую сторону деспотизма, на неуваженіе къ закону и законнымъ формамъ. Сначала онъ писалъ въ духѣ Вольтера; но Вольтеръ остался при своей первой манерѣ до конца жизни, а Монтескье, проживъ нѣсколько времени въ Англіи, принялъ болѣе серьезный тонъ и сталъ къ своимъ современникамъ въ новое отношеніе, совершенно различное отъ того, въ какое становился въ первомъ своемъ произведеніи.

Это первое произведеніе Монтескье — „Персидскія письма“. Тутъ выведены нѣсколько персіанъ, обмѣнивающихся мыслями о французскомъ правительствѣ, о нравахъ французовъ и о положеніи Франціи. Чтобы заставить публику обратить побольше вниманія на серьезную мысль книги, Монтескье пишетъ яснымъ, занимательнымъ, легкимъ языкомъ и приплетаетъ свои замѣчанія къ восточному роману, довольно соблазнительному. Изображая состояніе Франціи въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка, Монтескье проницательно доказываетъ, что понятія и учрежденія тогдашней военно-іерархической монархіи фальшивы и несостоятельны. Съ горькою насмѣшкою онъ описываетъ послѣднее время царствованія Людовика XIV и время регентства, постоянно указывая противорѣчія тогдашняго быта съ естественнымъ, разумнымъ бытомъ, сообразнымъ духу времени. Онъ рисуется свою картину такими яркими красками, что якобинецъ временъ революціи едва ли могъ говорить рѣзче его, и уже одна смѣлость его занимала и изумляла всѣхъ въ тѣ времена, когда никто еще не отважился прямо порицать правительство и церковь. Подъ маскою ориентализма, въ сущности ничего не скрывавшею, Монтескье громко высказывалъ то, что всѣ умные люди думали молча. Конечно, такая книга должна была произвести сильное впечатлѣніе. Мы не можемъ подробно пересказывать содержаніе „Персидскихъ писемъ“; замѣтимъ только, что Монтескье нападалъ



оружіємъ сатиры на всѣ стороны французскаго правительства и администраціи, на систему вѣрованій, поддерживаемую насиліємъ, на іерархію, на монаховъ, на нетерпимость, на глупую и пустую схоластику ученыхъ, на французскую академію, занимавшуюся только лестью и набираніемъ цышнихъ словъ. Между прочимъ онъ излагаетъ и ту теорію государственнаго хозяйства, которую Вольтеръ изложилъ въ „Космополитѣ“, и которая была любимою темою XVIII вѣка.

Два другія главные сичиненія Монтескье — „Духъ законовъ“ и „Размышленія о причинахъ возвышенія и упадка римлянъ“ — написаны въ направленіи, нѣсколько отличномъ отъ „Персидскихъ писемъ“. „Письма“ были написаны имъ еще до путешествія въ Англію, а эти два сочиненія уже по возвращеніи изъ Англіи, и знакомство съ нею измѣнило его политическій взглядъ. Увидѣвъ законный порядокъ у англичанъ, — то, какъ пользуются тамъ государственною церковью и ея доходами, какая живая дѣятельность господствуетъ тамъ, какъ процвѣтаетъ эта страна, гдѣ тогда еще не было нынѣшняго рѣзкаго контраста между непомѣрнымъ богатствомъ и невыразимою нищетою, — посмотрѣвъ на все это, Монтескье примирился съ многими изъ тѣхъ вещей, на которыя нападалъ въ „Персидскихъ письмахъ“. Въ Англіи онъ живо почувствовалъ, какимъ униженіемъ платятъ народы континента за полицейскую тишину, охраняемую насиліємъ, какими дурными послѣдствіями сопровождается для нихъ отсутствіе политической жизни. Побывавъ у англичанъ, онъ полюбилъ аристократію и нѣкоторые виды іерархіи, измѣнилъ тонъ, сталъ въ слѣдующихъ своихъ сочиненіяхъ щадить религію и нравственность, идеализировать англійскія учрежденія, проповѣдывать такую политическую систему, въ которой отведено мѣсто духовенству, аристократіи и капиталу, какъ у англичанъ. Эта система понравилась мыслящей части французскаго общества. Сочиненія Монтескье располагали въ пользу англійской конституціи, располагало въ ея пользу и постоянное возрастаніе могущества, промышленности и богатства Англіи, потому что источникомъ этихъ успѣховъ считали англійскую конституцію. Такимъ образомъ, со времени Монтескье жители континента стали восхищаться англійскою конституціею и англійскимъ самоуправленіемъ, считать это устройство образцовымъ. Это вліяніе сочиненій Монтескье ощутительно еще и въ наше время.

Въ книгѣ „О причинахъ возвышенія и упадка Рима“ Монтескье излагаетъ римскую исторію также исключительно съ политической цѣлью. Основную мысль онъ вывелъ изъ размышленій объ англійской исторіи и конституціи, какъ Боссюэтъ разсматривалъ всемірную исторію съ теологической точки зрѣнія, постоянно соображая ее съ еврейскими пророками и отцами церкви. Подобно „Персидскимъ письмамъ“, книга Монтескье о римской исторіи направлена противъ порядка дѣлъ, господствовавшего во Франціи, и противъ католическаго духовенства. Онъ собственно хотѣлъ написать не историческое сочиненіе, а философскія размышленія для пробужденія міра изъ соннаго рабства. Римскою исторіею онъ только пользуется, чтобы ободрять подавленные умы своихъ соотечественниковъ примѣромъ самой великой и энергической изъ всѣхъ націй; судьбою этой націи онъ разъясняетъ имъ, что такое патриотизмъ, сознаніе собственной силы и своихъ неотъемлемыхъ правъ, объясняетъ и то, какъ деспотизмъ унижаетъ народы и ведетъ ихъ къ гибели. Историкомъ въ настоящемъ смыслѣ слова онъ не былъ; нѣтъ у него и исторической критики; но цѣли своей онъ вполне достигъ. Подобно сочиненіямъ Болинброкка, его книга о римлянахъ дала публикѣ новое понятіе объ исторіи и чрезвычайно помогла разъясненію политическихъ вопросовъ своими историческими соображеніями; ими руководились потомъ всѣ, кто стремился замѣнить новымъ порядкомъ устарѣлое духовное и свѣтское устройство, державшееся только насиліемъ.

Черезъ 15 лѣтъ послѣ книги о римлянахъ, когда новое ученіе уже сдѣлало большіе успѣхи, Монтескье издалъ свое сочиненіе „О духѣ законовъ“ (въ 1749 г.), но только во второмъ изданіи, сдѣланномъ черезъ 9 лѣтъ, оно получило свой окончательный видъ. Въ немъ излагается теорія государственнаго устройства, противорѣчащая порядку, господствовавшему на континентѣ, и Монтескье успѣлъ внушить ее высшимъ классамъ. Подобно Руссо, явившемуся послѣ него, онъ отвергаетъ основанія, которыя прежде считали коренною опорою государственнаго устройства, и подобно Руссо, считаетъ источникомъ государственнаго быта потребность общественнаго договора, которая возникла изъ первоначальной войны каждаго человѣка со всѣми прочими. Но у него нѣтъ мечты о первобытной чистотѣ естественнаго человѣка, которая была у женевского философа. По



мнѣнію Монтескье, общественный договоръ былъ не у всѣхъ націй одинаковъ. Но всѣ разницы въ его характерѣ, — продолжаетъ Монтескье, — можно подвести подъ три основныя формы государственнаго устройства, изъ которыхъ, впрочемъ, ни одна не встрѣчается совершенно чистою, а всегда бываетъ болѣе или менѣе смѣшана съ другими. Изъ этихъ трехъ основныхъ видовъ государственнаго устройства республика представляется у Монтескье недостижимымъ идеаломъ, а деспотія, — составляющая, по его словамъ, главнѣйшій элементъ въ абсолютно-монархическихъ и военныхъ государствахъ континента, — изображается у него язвою человѣчества, причиною нравственнаго искаженія и гибели людей; конституціонную монархію онъ представляетъ единственнымъ прибіжищемъ европейскихъ народовъ. Онъ съ всевозможною силою выставляетъ на видъ то обстоятельство, что въ деспотію перерождается всякое государственное устройство, въ которомъ не раздѣлены другъ отъ друга три власти, — законодательная, исполнительная и судебная. Этотъ принципъ онъ очень искусно обращаетъ на прославленіе англійской конституціи и на жестокое порицаніе правительственной системы континентальныхъ государствъ. Мы не будемъ говорить о подробностяхъ развитія этой главной мысли. разъясненію которой посвящено много мѣста въ „Духѣ законовъ“; замѣтимъ только одно: религія разсматривается въ этой книгѣ съ политической стороны, христіанство представляется религіею, соотвѣтствующею формѣ ограниченной монархіи, и церкви въ государственномъ зданіи Монтескье отведено очень доходное мѣсто.

Характеръ изложенія въ „Духѣ законовъ“ совершенно не тотъ, что въ „Персидскихъ письмахъ“. Тутъ нѣтъ никакой тѣни насмѣшливости и ироніи. Но Монтескье не вдается и въ основательную серьезность, желая, чтобы книга читалась легко. Это обстоятельство очень много содѣйствовало ея успѣху: знатные господа и даже знатныя дамы могли безъ труда приобрѣтать понятія о политикѣ, законодательствѣ, финансовыхъ вопросахъ и могли ввести эти предметы въ свой разговоръ. И дѣйствительно, благодаря „Духу законовъ“, формы правительства, государственнаго устройства, законы, сдѣлались предметомъ обыкновеннаго разговора въ салонахъ, такъ что даже люди, нисколько не заботившіеся ни о человѣчествѣ, ни о дѣлахъ, должны были теперь интересоваться этими

вещами. При томъ весь высшій классъ не могъ ждать себѣ ничего, кромѣ выгоды, отъ введенія устройства, скопированнаго съ англійскаго, въ которомъ баронамъ стараго времени обезпечивалось полное значеніе и вліяніе; поэтому политическая система Монтескье стала евангеліемъ высшихъ сословій.

Особенную важность получилъ „Духъ законовъ“ вслѣдствіе того, что надъ вторымъ его изданіемъ работали почти всѣ умѣренныя люди Франціи и Англіи, занимавшіеся исторіею и государственными науками: они присылали автору свои замѣчанія и совѣты. Поэтому во второмъ изданіи эта книга можетъ считаться до нѣкоторой степени результатомъ трудовъ всѣхъ благородныхъ друзей умѣренной свободы, которые желали переменъ существующей формы правительства, но не хотѣли ограничивать своей дѣятельности однимъ отрицаніемъ и разрушеніемъ, какъ Вольтеръ и его школа, и не хотѣли совершенно удаляться отъ историческаго и реального основанія, какъ Руссо и его приверженцы. Благодаря этому, Монтескье сдѣлался историческимъ и политическимъ оракуломъ своего времени; лучшіе изъ мыслителей, желавшихъ умѣренной свободы, стали подъ его знамя и съ замѣчательнымъ діалектическимъ искусствомъ стали развивать его мысли въ примѣненіи къ частнымъ вопросамъ. Прямое дѣйствіе „Духа законовъ“ на государственную жизнь было въ первое время, разумѣется, не такъ велико: на континентѣ слишкомъ привыкли презирать народъ и считать чуть не преступленіемъ, если кто-нибудь, не будучи должностнымъ лицомъ, занимается государственными дѣлами. Кромѣ того, во Франціи было больше раздраженія противъ аристократіи, чѣмъ противъ монархіи. Но черезъ тридцать лѣтъ послѣ своего перваго появленія, „Духъ законовъ“ сталъ для всѣхъ руководствомъ въ политическихъ дѣлахъ, а во французской революціи на каждомъ шагу видно вліяніе мыслей, высказанныхъ Монтескье. Когда феодальная аристократія увидѣла наконецъ неизбѣжную гибель себѣ, Монтескье сталъ якоремъ спасенія для преобразованнаго феодальнаго сословія во Франціи и для бывшаго имперскаго дворянства въ Германіи: феодалы, когда снисходили до спора или авторства, цитировали „Духъ законовъ“, какъ піэтисты Библію.

*Шлоссеръ.*



## Содержаніе, характеръ и слогъ Персидскихъ писемъ Монтескье.

„Персидскія письма“, несмотря на всѣ ихъ недостатки — одна изъ геніальныхъ книгъ французской литературы.

„Узбекъ и Рика, два друга, два знатные персіянина, покидаютъ свою страну и отправляются путешествовать по Европѣ. У Узбека, главнаго лица, есть гаремъ въ Испагани; уѣзжая онъ оставляетъ его подъ надзоромъ главнаго чернаго евнуха, которому, время отъ времени, напоминаетъ о своихъ строгихъ приказаніяхъ. Въ этомъ гаремѣ находятся женщины, которыхъ онъ отличаетъ и особенно любитъ. Авторъ, видимо, желаетъ заинтересовать читателя этою романическою частью, чего и достигаетъ; эти непрерывныя подробности объ евнухахъ, о страстяхъ, обычаяхъ и домашней утвари, могли увлечь общество, которое вскорѣ восторгалось романами Кребильона сына. Теперь эта часть кажется мертвою, искусственною. Что намъ нравится, и чего мы ищемъ въ этихъ письмахъ, это — самъ Монтескье, слегка дѣлящійся между своими различными лицами и, подъ прозрачною маскою, разбирающій нравы, идеи и все общество его молодости. Рика человѣкъ насмѣшливый, парижанинъ съ перваго дня, шутливо описывающій странности и смѣшныя стороны оригиналовъ, которые проходятъ передъ его глазами, и съ которыми онъ уживается. Узбекъ, болѣе серьезный, противится и разсуждаетъ; онъ приступаетъ къ разсмотрѣнію вопросовъ, ставитъ и разбираетъ ихъ въ письмахъ къ богословамъ своей страны. Искусство въ этомъ произведеніи состоитъ въ томъ, что въ кажущейся смѣси обнаруживается талантъ автора въ сочиненіи; это происходитъ отъ того, что рядомъ съ письмомъ изъ гарема идетъ другое — о свободной волѣ. Одинъ персидскій посланникъ изъ Московіи пишетъ Узбеку о татарахъ полстраницы, которая могла бы составить главу изъ „Духа законовъ“ (Письмо LXXXI); вмѣстѣ съ тѣмъ Рика даетъ тончайшую критику на болтовню французовъ и на пустыхъ говоруновъ въ обществѣ; потомъ Узбекъ разсуждаетъ о Богѣ и справедливости въ прекрасномъ письмѣ, мѣтящемъ далеко. Идея справедливости, независимая сама по себѣ, изложена тамъ по истиннымъ принципамъ социальныхъ учрежденій. Монтескье (потому что онъ здѣсь говоритъ и

будетъ говорить отъ своего имени до конца своей жизни) старается доказать тамъ, въ чемъ эта идея справедливости (правосудія) не зависитъ отъ человѣческихъ договоровъ: „А если бы она отъ нихъ зависѣла, — прибавляетъ онъ, — эта была бы страшная истина, которую слѣдовало бы скрыть отъ себя самихъ“.

Монтескьё идетъ дальше: онъ старается сдѣлать эту идею и почитаніе правосудія независимыми отъ существованія Бога; онъ доходитъ до того, что говоритъ устами Узбека: „Когда бы не было Бога, мы все-таки должны были бы любить правосудіе (справедливость), то-есть употреблять наши усилія, чтобы походить на это Существо, о которомъ мы имѣемъ такое прекрасное понятіе, и которое, если бы существовало, было бы непременно справедливымъ. Свободные отъ ига религіи, мы не должны были бы стать свободными отъ ига справедливости“.

Здѣсь мы касаемся самой глубины мысли Монтескьё и всей его обычной внутренней работы. Вотъ еще что онъ говоритъ:

„Если бы безсмертіе души было заблужденіемъ, мнѣ жаль было бы не вѣрить въ него: признаюсь, я не обладаю такимъ смиреніемъ, какъ атеисты. Не знаю, какъ они думаютъ; что касается до меня, я не желаю промѣнять идею о моемъ безсмертіи на блаженство одного дня. Я съ восторгомъ считаю себя безсмертнымъ, какъ самъ Богъ. Независимо отъ идей, данныхъ откровеніемъ, метафизическія идеи даютъ мнѣ очень твердую надежду на мое вѣчное блаженство; отъ этой надежды я не желалъ бы отказаться“.

Въ этихъ словахъ видна мѣра вѣрованій Монтескьё и его благороднаго желанія. Я не порицаю этого почитанія, этой идеализаціи человѣческой природы; но не могу не замѣтить, что Монтескьё признаетъ идеи правосудія и религіи съ политической и общественной (соціальной) стороны. По мѣрѣ того, какъ Монтескьё освобождается отъ ироніи „Персидскихъ писемъ“, онъ болѣе и болѣе вдается въ почтительный тонъ относительно предметовъ совѣсти и человѣческаго почитанія. Но среди его величественныхъ мѣстъ чувствуется какая-то сухость. Замѣтно, что у него есть идеи, но нѣтъ политическихъ чувствъ, недостаетъ жизни, связи, чувствуется сильный умъ болѣе, чѣмъ сердце.

Одна изъ его мыслей всегда поражала меня: „Фонтенель“.



говорить онъ, „настолько выше другихъ людей по своему сердцу, насколько выше людей ученыхъ по своему уму. Я читаю и перечитываю эту мысль, и, припоминая, чѣмъ былъ Фонтенель, думаю, что слѣдуетъ читать: „Фонтенель настолько *ниже* другихъ людей по своему сердцу, что...“ и пр. Но нѣтъ, кажется, что Монтескье ставить это въ похвалу Фонтенелю; въ другомъ мѣстѣ онъ признаетъ за нимъ качество, превосходное для подобнаго ему человѣка: „онъ хвалитъ другихъ безъ огорченія“. Монтескье дѣйствительно восхищался въ Фонтенелѣ ровностью, отсутствіемъ зависти, обширностью и осторожностью, даже равнодушіемъ. Изъ этого хочу вывести только то заключеніе. что Монтескье хотя много выше Фонтенеля по таланту и по манерѣ изложенія, какъ писатель, но былъ одинаковой съ нимъ нравственной религіи (придерживался одинаковыхъ съ нимъ нравственныхъ правилъ). Часто приводили это достопамятное признаніе Монтескье: „Занятія науками были для меня главнымъ средствомъ противъ огорчивій жизни; никогда не было у меня печали, которую не могло бы разсѣять чтеніе въ продолженіе часа. Утромъ я просыпаюсь, втайнѣ радуясь свѣту; я вижу свѣтъ съ какимъ-то восхищеніемъ, и весь остальной день я доволенъ. Я провожу ночь безъ пробужденія, и вечеромъ, когда ложусь въ постель, какая-то тупость не позволяетъ мнѣ размышлять“. „Я почти такъ же чувствую себя довольнымъ съ глупцами, какъ и съ умными людьми...“ и пр.

Исслѣдователь и мыслитель, рано оставшій отъ страстей и никогда не увлекаемый ими, онъ жилъ по твердымъ правиламъ разума. Въ частной жизни онъ былъ очень добрымъ, естественнымъ и простымъ, заслужилъ любовь всего окружающаго, насколько это достается генію; но даже въ его характерѣ можно найти ту же твердую, равнодушную сторону, ту же высокомерную справедливость, скорѣе чѣмъ нѣжность души.

Кому не извѣстна прекрасная черта въ его жизни, когда онъ въ Марсели, куда часто ѣздилъ навѣщать сестру, вздумалъ прокатиться въ лодкѣ внѣ гавани. Онъ встрѣчаетъ молодого человѣка, по имени Роберта, который ни по тону, ни по манерамъ не былъ похожъ на лодочника; этотъ молодой человѣкъ, гребя веслами во время прогулки, сообщаетъ ему, что онъ занимается этимъ ремесломъ только по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ. чтобы собрать денегъ на выкупъ своего

отца, взятаго въ плѣнъ однимъ корсаромъ и съ той поры находящагося невольникомъ въ Тетуанѣ. Монтескье подробно обо всемъ спрашиваетъ, разстается съ молодымъ человекомъ по возвращеніи въ портъ, а нѣсколько мѣсяцевъ спустя освобожденный изъ неволи отецъ возвращается въ свою семью, не зная, откуда явилась ему эта неожиданная помощь.

Вы проливаете слезы; остерегайтесь! Восхищайтесь, но не плачьте. Годъ или два спустя, молодой человекъ, понимающій, что освобожденіемъ своего отца онъ обязанъ незнакомцу, встрѣчается съ нимъ, бросается къ его ногамъ, изливая передъ нимъ свои чувства, благословляя его, умоляя признаться въ оказанномъ имъ благодѣяніи и пойти взглянуть на осчастливленныхъ имъ людей. Монтескье рѣзко повернулся и скрылся; онъ все отвергъ и безъ жалости ушелъ отъ выраженій такой законной признательности. Только по смерти его это благодѣяніе открылось. Въ этомъ случаѣ въ Монтескье мнѣ видится одно изъ божествъ, благодѣтелей человека, не раздѣлявшихъ его нѣжныхъ чувствъ. Такъ, въ Ипполитѣ Эврипида, Діана удаляется въ моментъ смерти юнаго героя, хотя, казалось, что она любила его; но у древнихъ, какъ бы дружелюбно божества ни относились къ людямъ, слезы были не доступны ихъ очамъ. — Богочеловекъ еще не сошелъ на землю.

Въ этомъ взглядѣ, который я позволилъ себѣ высказать на нравственную натуру Монтескье, вызванномъ его опредѣленіемъ справедливости въ Персидскихъ Письмахъ, я далекъ отъ мысли умалить строгую и человѣчную красоту его характера. Я ограничиваюсь опредѣленіемъ ея и считаю это человѣколюбіе стоическимъ, насколько оно отличается отъ любви къ ближнему и къ Богу по Паскалю и Боссюэту.

Всѣ вопросы того времени при Регентствѣ затронуты въ Персидскихъ письмахъ: споръ древнихъ съ новыми, отмѣненіе Нантскаго Эдикта и его послѣдствія, споръ о буллѣ *Unigenitus* и пр.; авторъ служитъ духу времени, соединяя съ нимъ свои мысли, проникая въ него своимъ взглядомъ; невыгодная сторона царствованія Людовика XIV тамъ сильно порицается. Въ знаменитомъ эпизодѣ о Троглодитахъ Монтескье по-своему представляетъ свой *rêve de Salente*. Въ портретахъ Фермера, Директора, Казуиста, счастливаго волокиты, женщины-игрока Монтескье, вспоминая Лабрюйера, равняется съ нимъ. Онъ походить на послѣдняго по языку, не стараясь о томъ. Его



собственный языкъ, оставаясь такимъ же новымъ, можетъ быть менѣе сложенъ; онъ отличается точностью и особенно живописностью. Казуистъ хочетъ показать, что человѣкъ его званія необходимъ нѣкоторымъ людямъ, которые, не стремясь къ совершенству, заботятся о спасеніи своей души: „такъ какъ они не честолюбивы, говоритъ онъ, то не хлопчутъ о первыхъ мѣстахъ, потому входятъ въ рай настолько, насколько могутъ войти. Имъ лишь бы тамъ быть, этого для нихъ достаточно“.

Слогъ Монтескье точенъ, колокъ, полонъ остротъ, немного тонокъ и рѣзокъ. Есть въ немъ неправильности, напр.: „самое трудное состоитъ не въ развлеченіи, а въ томъ, чтобы имъ казаться“. Но у Монтескье очень свободныя мысли о слогѣ. „Человѣкъ, хорошо пишущій, пишетъ не такъ, какъ всѣ пишутъ, но какъ онъ самъ пишетъ; и часто, говоря дурно, онъ говоритъ хорошо“. И такъ онъ пишетъ посвоему, и его манера, всегда тонкая и живая, становится сильною и гордою и растетъ подъ стать предмету рѣчи. Я говорилъ, что онъ любитъ особый родъ образовъ и живописныхъ сравненій, чтобы освѣтить свою мысль; напримѣръ, желая заставить Рикю сказать, что во Франціи мужъ хорошенькой женщины, потерпѣвшій пораженіе у себя дома, вознаграждаетъ себя, ухаживая за женами другихъ, онъ пишетъ: „этотъ титулъ хорошенькой жевщины, который такъ тщательно скрывается въ Азіи, здѣсь не причиняетъ безпокойства. Всѣ чувствуютъ себя въ состояніи сдѣлать диверсію повсюду. Государь утѣшаетъ себя въ потерѣ какого-либо мѣста взятіемъ другого: въ то время когда турки брали у насъ Багдадъ, мы не отнимали ли у монгола крѣпость Кавдагаръ?“

Такъ же точно, какъ въ „Духѣ Законовъ“, выставляя утописта англичанина, имѣющаго передъ глазами образъ истинной свободы и собирающагося придумать другую въ своей книгѣ, онъ говоритъ, „что онъ построилъ Халкедонъ, имѣя передъ глазами берегъ Византіи“.

Въ мысли Монтескье, въ ту минуту, когда этого вовсе не ожидаешь, вдругъ вершина блеснетъ позолотой.

Среди смѣлыхъ и непочтительныхъ мѣстъ въ Персидскихъ письмахъ подъ перомъ Узбека сквозитъ духъ благоразумной осторожности; разбирая такъ хорошо вопросы и пробивая ихъ, такъ сказать, насквозь (по противорѣчію, котораго, мо-

жетъ быть, не избѣгнулъ Монтескье), Узбекъ хочетъ продолжать оставаться вѣрнымъ законамъ своей страны и своей религіи. „Это правда, говоритъ онъ, что по странности, происходящей скорѣе отъ природы, чѣмъ отъ ума людей, иногда бываетъ необходимо измѣнять нѣкоторые законы: но это бываетъ рѣдко, а если это случится, то прикасаться къ нимъ слѣдуетъ *дрожащею рукою*“. Даже Рика, человѣкъ шутливый и легкомысленный, замѣчая, что въ судахъ приговоръ произносятъ по голосамъ большинства, прибавляютъ въ видѣ эпиграммы: „Но, говорятъ, по опыту дознано, что лучше было бы держаться голосовъ меньшинства: и это довольно естественно, потому что очень мало есть вѣрныхъ умовъ, и всѣ согласны, что ложныхъ умовъ безконечное количество“. Этого довольно, чтобы показать, что умъ, подсказавшій Персидскія письма, никогда не доведетъ дѣла до крайности относительно реформъ и народныхъ революцій.

Затронувъ вопросы, которые собственно составляютъ философію исторіи, и выразивъ удивленіе тому, что французы отмѣнили прежніе законы, изданные первыми королями въ національныхъ собраніяхъ, и дошли почти до порога великаго дѣла, которые онъ, безъ сомнѣнія, уже предвидѣлъ въ будущемъ, Монтескье продолжаетъ смѣяться надъ разными предметами, и, вдоволь натѣшившись, онъ вдругъ обрываетъ. Истощивъ картину современныхъ нравовъ и сатиру на нихъ, Персидскія письма обращаются къ романтическому: Узбекъ получаетъ извѣстіе, что его гаремъ, пользуясь его отсутствіемъ, произвелъ свою революцію; тамъ бунтуютъ, рѣжутъ, убиваютъ другъ друга. Это конецъ сладострастный, безумный, конецъ въ огнѣ и крови, который не представляетъ ничего трогательнаго для насъ. Вся эта трогательная часть суха и показываетъ, что Монтескье обладалъ своимъ воображеніемъ вполне только при наблюденіи исторической и нравственной стороны дѣла.

Повторяю, что въ Персидскихъ письмахъ отъ начала до конца и во всемъ ихъ объемѣ есть нѣчто, напоминающее романъ Кребильона сына.

Сентъ-Бёвзъ.



## Персидскія письма Монтескьё въ отношеніи къ идеямъ и стремленіямъ вѣка.

Людовикъ XIV только что сошелъ со сцены; онъ погасъ подобно пасмурному и величественному закату солнца. Современники не восхищаются послѣдними лучами великаго царствованія. Они охвачены радостію при своемъ освобожденіи. Никто не сожалеетъ о королѣ; онъ слишкомъ грубо положилъ на всѣхъ французовъ „эту зависимость, которая все подчинила“. „Провинціи, бывшія въ отчаяніи отъ разоренія и нищоты, вздохнули свободно и вострепнулись отъ радости, говоритъ Сень-Симонъ; парламенты и всякаго рода судейскія званія, уничтоженные эдиктами, оживились надеждой на возрожденіе. Народъ, разоренный, угнетенный, доведенный до отчаянія, въ шумномъ до неприличности взрывѣ, возблагодарилъ Бога за освобожденіе“. Въ свѣтѣ, въ которомъ вращался Монтескьё, въ средѣ остроумныхъ и вольнодумныхъ людей не подумали, такъ же какъ и въ средѣ черни, возблагодарить Бога; напротивъ, установившійся родъ свободы далъ волю невѣрію, которое сломило всѣ преграды.

Невѣріе никогда не исчезало. Оно перешло, по словамъ Сентъ-Бева, по прямому и непрерывному преданію отъ Возрожденія къ Фрондѣ, отъ Фронды къ Регентству, чрезъ Реца, Сентъ-Эвремона, Вандома, Бэла: эпикурейцевъ и пиррниковъ (скептиковъ). „Это было какъ бы подкопомъ подъ царствованіе Людовика XIV“. Этотъ государь и его государственные совѣтники по церковнымъ дѣламъ думали, что совершили чудо, уничтоживъ диссидентовъ. Гугеноты и янсенисты, все, что вѣрило по своей совѣсти и по благодати, получаемой отъ неба, было преслѣдуемо, изгнано, уничтожено. Но невѣріе осталось: оно таилось въ глубинахъ душъ, какъ самый опасный врагъ церкви со времени Льва X; оно было умиротворено, сознательное, невозмутимое, какъ мысль того времени. Невѣрующіе вносили въ свое отрицаніе полноту и учительскую увѣренность Боссюэта въ свою вѣру. „Великая ересь въ свѣтѣ, писалъ Николь, это уже не кальвинизмъ, не лютеранство; это атеизмъ“.

Реформацію и янсенизмъ раздавили, а оба они происходили отъ христіанскаго духа. Такимъ образомъ открыли болѣе широкій путь духу Возрожденія, который былъ духомъ языческой

древности. Король возобновилъ нравы Олимпа: примѣръ болѣе дѣйствительный, чѣмъ всѣ эдикты въ свѣтѣ. Политика, извлеченная Боссюэтомъ изъ священнаго Писанія, не могла пересилить эту нравственность, заимствованную Людовикомъ XIV изъ мифологіи. Состарѣвшійся, обращенный, король нашелъ противъ нея средство только въ покаяніи; соблюдая его самъ, онъ могъ подданнымъ своимъ внушить только лицемеріе. Развращенность надѣла маску или скрывалась.

Регентство освободило его отъ всякой узды. Похвальба порокомъ заняла мѣсто ханжества; сорекователи дома Жуана заняли на авансценѣ мѣсто, недавно занимавшееся послѣдователями Тартюфа. Все возведено въ вопросъ, все разбирается, все потрясено. Установленіе Unigenitus возбуждаетъ всѣхъ вѣрующихъ; внутренніе распри въ церкви открываютъ брешь для вольнодумцевъ. Дюбуа вводитъ развратъ въ политику; Лоу вводитъ его въ общественную экономію. Были игорные дома только для знатныхъ людей; съ той поры появился такой домъ для всего народа. Между тѣмъ никто не сомнѣвался, что такой разливъ идей и страстей потрясалъ старинную почву Франціи. Новое царствованіе внушало безграничную надежду; всякая дерзость становилась возможною, по той причинѣ, что ничто не казалось опаснымъ.

Такъ думалъ Монтескье, увлеченный этими движеніями вѣка. Дворянинъ и защитникъ парламента, лукавый приверженецъ Фронды, при этомъ великодушный, поддающійся иллюзіямъ, жадный до славы, желающій нравиться, мечтающій просвѣтить свою страну и блистать въ высшемъ свѣтѣ, одержимый болѣзнию сочинять книги, въ то же время осторожный относительно своей личности, щепетильный въ соблюденіи приличій по его званію, не любящій скандала, еще менѣе испытаній, онъ ищетъ для своихъ идей покрывала скромнаго, но прозрачнаго, чтобы его сочиненіе задѣло чувства любопытныхъ, не оскорбляя официальной чистоты цензоровъ. У него два персіанина, одинъ болѣе веселый и болѣе насмѣшливый, Рика, другой, болѣе размышляющій и болѣе разсудительный, Узбекъ. пріѣхали осмотрѣть Европу, обмѣниваются своими впечатлѣніями, сообщаютъ своимъ друзьямъ въ Персію свѣдѣнія объ европейскихъ порядкахъ и заставляютъ сообщать себѣ свѣдѣнія о дѣлахъ въ Персіи. Вымыселъ не вполнѣ былъ новымъ; не важно знать, заимствовалъ ли его Монтескье у Дюфрени: онъ



самъ способенъ былъ его выдумать, но во всякомъ случаѣ присвоилъ его себѣ. Мысль о Персїи пришла ему отъ Шардена. Очень милые рассказы этого путешественника были однимъ изъ любимыхъ его чтеній; онъ взялъ изъ нихъ свою теорію деспотизма и теорію о климатахъ; онъ вдохновлялся ими въ томъ романѣ, который присоединилъ къ Персидскимъ письмамъ, въ обрисовкѣ той обстановки, въ которой помѣстилъ своихъ лицъ; это наиболѣе оспоримая часть книги. Она была вполне людною.

Монтескьё очень нравились „Тысяча и одна ночь“; въ нихъ онъ нашелъ бы всѣ элементы для составленія пріятнаго подражанія восточной сказкѣ. Онъ не подумалъ объ этомъ. Его романъ напоминаетъ сочиненія Кребильона сына, — но у него менѣе сладострастной граціи, — и рассказы Гамильтона, если бы у него было болѣе легкости и милаго неправдоподобія. У него замѣтно усиліе сохранить точность, вполне неумѣстную въ этихъ неудобныхъ и, слѣдовательно, довольно неприличныхъ рассказахъ. Если бы Монтескьё ограничился передачею подробностей о нравахъ, собранныхъ Шарденомъ, эти подробности сочли бы буквально за мѣстный колоритъ. Но этого нѣтъ. Монтескьё вышиваетъ по канвѣ путешественника и вышиваетъ по-своему, какъ своевольный защитникъ парламента. Шарденъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ: „Стыдъ не позволяетъ даже вспомнить о томъ, что пришлось слышать объ этомъ предметѣ.“ Монтескьё не слыхалъ о томъ, что онъ выдумалъ, и описалъ это съ нескромностью. У него есть полная обстановка гарема, болѣе гасконскаго, чѣмъ персидскаго, многоженство, болѣе европейское, чѣмъ восточное; въ этой выставкѣ на показъ есть что-то притворное, увядшее, устарѣвшее, что раздражаетъ и леденитъ насъ.

Монтескьё доводитъ Шардена не только до непристойнаго, но даже до трагическаго. Ревность его персіанъ мрачная и безпокойная. „Какъ я несчастливъ! восклицаетъ Узбекъ. Я желаю увидать опять мое отечество, можетъ быть, затѣмъ, чтобы стать еще несчастнѣе! что буду я тамъ дѣлать!... Я войду въ сераль: я долженъ спросить отчетъ о роковомъ времени моего отсутствія... что будетъ, если мнѣ придется самому назначить наказанія, которыя будутъ вѣчнымъ знакомъ моего смущенія и моего отчаянія?“ Онъ говоритъ съ зловѣщимъ тономъ объ „этихъ роковыхъ дверяхъ, которыя открываются

для него одного.“ Охранители ихъ не тѣ „старые рабы, безобразные и причудливые,“ которыхъ замѣтилъ Шарденъ; это напыщенные жертвы роковой судьбы. Въ нихъ есть нѣчто изъ посмертнаго Абеяра и преждевременнаго Трибуле. Кажется, что эти евнухи были очень учеными и замѣняли наставниковъ для знатныхъ персіянъ. Должно быть одинъ изъ нихъ достигъ кантона Вадлиса и воспиталъ тамъ Сень-Прё (Saint-Preux).

Это слабыя стороны произведенія, и частію то, что составило его успѣхъ. Но современники Монтескьё псчезли; измѣнился и духъ времени. Остановимся на томъ, что долговѣчно. Во-первыхъ слогъ: онъ необыкновенно нервенъ, отрывистъ, „значителенъ,“ точенъ въ особенности, умѣренъ и съ восхитительнымъ свойствомъ оборотовъ и выражений; онъ живѣе, свободнѣе, рѣзче въ размахѣ, чѣмъ у Сентъ-Евремона; не такъ натянутъ и менѣе обдуманъ, чѣмъ у Лабрюйера. Монтескьё не ищетъ столько украшеній и фигуръ, какъ позднѣе, когда будетъ писать о болѣе сухихъ предметахъ; ему кажется, и это справедливо, что разнообразія мысли здѣсь достаточно для развлеченія читателя. Это чистый потокъ французскаго ума: онъ течетъ по нѣскольکو каменистому дну; но какая ясность въ водахъ, сколько радости, граціи и свѣта въ струяхъ и маленькихъ каскадахъ! Это потокъ, который течетъ къ Вольтеру и Бомарше; Стендаль и Мериме въ нашъ вѣкъ переймутъ его и обратятъ къ намъ, но не въ такомъ откровенномъ теченіи, по руслу болѣе сухому и извилистому.

Характеры и черты нравовъ изобилуютъ въ Персидскихъ письмахъ. Монтескьё, оказавшійся впоследствии такимъ проницательнымъ знатокомъ соціальнаго человѣка, оказывается въ этихъ письмахъ ироническимъ и проницательнымъ наблюдателемъ свѣтскаго человѣка. Преданіе говоритъ, что онъ описалъ себя въ Узбекѣ: Узбекъ великій разбиратель дѣлъ, великій изслѣдователь причинъ, онъ проповѣдуетъ разводъ, хвалитъ самоубійство, хвалитъ стойковъ; но онъ сильно волнуется въ своей любви, очень меланхоличенъ въ своей ревности и желченъ до свирѣпости въ просыщеніи своими удовольствіями. Этого никогда не бывало съ Гасконцемъ, очень легкимъ въ сердечныхъ дѣлахъ, который привязывался весело, разставался безъ горечи и развлекался отъ всѣхъ своихъ огорченій нѣсколькими страницами изъ Плутарха или Монтаня. Рика



почти столько же походить на Монтескьё; но въ дѣйствительности это только другое изображеніе того же лица. Эти оба персіане братья-близнецы. Узбекъ держитъ перо, когда Монтескьё читаетъ наставленія своимъ современникамъ; Рика беретъ перо, когда Монтескьё осмѣиваетъ ихъ. И какъ только онъ ихъ осмѣиваетъ!

Его галлерей смѣшныхъ лицъ стоитъ самыхъ знаменитыхъ въ этомъ родѣ: вельможа „одинъ изъ государственныхъ людей, который лучше всѣхъ себя держитъ“, который такъ высокомерно нюхаетъ щепотку табаку, сморкается такъ безжалостно громко, плюетъ съ такою флегмою, ласкаетъ свою собаку съ такими обидными для людей приемами“, что нельзя не восхищаться имъ; потомъ духовникъ; потомъ человѣкъ, назначающій въ литературѣ, который скорѣе переноситъ удары палкою по плечамъ, чѣмъ критику его сочиненій; „рѣшитель“, доставляющій мотивъ одного изъ самыхъ живыхъ очерковъ сочиненія.

„На дняхъ я былъ въ одномъ обществѣ, гдѣ видѣлъ человѣка очень довольнаго собою. Въ четверть часа онъ рѣшилъ три вопроса о нравственности, четыре историческія задачи и пять задачъ по физикѣ. Никогда не видалъ я такого всеобщаго рѣшителя; умъ его никогда не останавливался ни малѣйшимъ сомнѣніемъ. Оставили науки; стали говорить о современныхъ новостяхъ: онъ рѣшилъ и современные новости. Я хотѣлъ моймать его и подумалъ: Надо взяться за то, въ чемъ я сильнѣе; укроюсь за моей страной. Я сталъ говорить съ нимъ о Персіи; не успѣлъ я сказать четырехъ словъ, какъ онъ два раза опровергъ меня, основываясь на авторитетѣ господъ Тавернье и Шардена. Ахъ! Боже мой! подумалъ я, что это за человѣкъ? Онъ сейчасъ лучше меня будетъ знать улицы Испагана! Я тотчасъ же рѣшился молчать, далъ ему волю говорить, и онъ рѣшаетъ по сей день“.

Персіане Монтескьё строги къ женщинамъ; я разумѣю тѣхъ, у которыхъ бывалъ Монтескьё въ томъ свѣтѣ, гдѣ искалъ развлеченія; можетъ быть онъ самъ замѣтилъ ихъ слабости. Онъ осуждаетъ ихъ за то, что онѣ предаются игрѣ, для того чтобы „способствовать болѣе дорогой страсти“, пока онѣ молоды, и чтобы восполнить пустоту послѣ этой страсти, когда онѣ старѣются. Поздиѣе онъ говоритъ напрямикъ: „Каждый употребляетъ свою красоту и страсти, чтобы достигнуть своей

цѣли“. Онъ неумолимъ къ мужчинамъ, которые чего-либо достигаютъ этимъ путемъ. Онъ клеймитъ этихъ альковныхъ забіякъ, прототиповъ Ловеласа и Вальмонта, которые публично даютъ волю розврату и дерзко хвалятся своею низостью: „Что скажешь ты о странѣ, гдѣ терпятъ такихъ людей, гдѣ позволяютъ жить человѣку, занимающемуся подобнымъ ремесломъ? гдѣ невѣрность, измѣна, хищеніе, вѣроломство и несправедливость ведутъ къ почету?“ Здѣсь говоритъ не легкомысленный и не свѣтскій человѣкъ, а парламентскій дворянинъ; слѣдуетъ припомнить рѣчь донна Людовика донъ-Жуану и величественное наставленіе отца „Лгуна“ (le Menteur).

Въ постоянной сатирѣ на короля, дворъ и вельможъ сквозитъ тотъ же духъ, болѣе подходящій къ Сенъ-Симону, чѣмъ къ Вольтеру. Монтескьё съ омерзениемъ относится къ Людовику XIV, котораго видѣлъ въ его дряхлости, полного пристрастія къ своему царствованію, при подобострастіи къ нему подчиненныхъ, завидующаго турецкому султану, простотѣ его правленія. Онъ признаетъ за Людовикомъ только формы правосудія, политики и набожности; только внѣшній видъ великаго короля. Несправедливый ко владыкѣ, онъ не таковъ къ слугамъ. Я не нахожу болѣе жесткой черты у *Лабрюйера*, какъ слѣдующая: „Корпорация лакеевъ во Франціи болѣе почтена, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; это разсадникъ вельможъ; она восполняетъ пустоту въ другихъ сословіяхъ; принадлежащіе къ ней занимаютъ мѣста несчастныхъ знатныхъ людей, разорившихся чиновниковъ, дворянъ, убитыхъ на войнѣ; а если они сами не могутъ замѣнять ихъ, то поддерживаютъ всѣ большія семьи посредствомъ дочерей своихъ.

Монтескьё показываетъ намъ монарха деспота, министровъ безъ системы, правленіе непрочное, парламенты въ упадкѣ, семейныя узы ослабѣвшими, паденіе орденовъ, зависть привилегированныхъ классовъ, всѣ признаки, однимъ словомъ, близкаго крушенія режима. Какой контрастъ между Версалемъ, „гдѣ всѣ маленькіе“, и Парижемъ, гдѣ всѣ великіе, гдѣ царствуютъ „свобода и равенство“, „рвеніе къ труду“, экономія; гдѣ страсть къ обогащенію переходитъ отъ сословія къ сословію, начиная ремесленниками, кончая знатыми. Это соревнованіе происходитъ не безъ зависти; но она все-таки одно изъ побужденій къ народной дѣятельности. „Даже самые низкіе ремесленники спорятъ о превосходствѣ избраннаго ими ремесла; каждый



превозносится надъ тѣмъ, кто избралъ другую профессію, сообразно съ идеей, какую онъ себѣ составилъ о превосходствѣ своего ремесла“. II этотъ только Парижъ представитель всей націи. Во Франціи повсюду только и видно, что „работа и промышленность“. Гдѣ же, пишетъ Узбекъ своему другу, этотъ изнѣженный народъ, о которомъ ты столько говоришь?“

Это — французы; они горячо стремятся къ обогащенію и страстно любятъ равенство. Монтескьё не замѣчаетъ въ нихъ элементовъ демократіи, которая образовалась подъ сѣнію короны, и разовьетъ характеръ вполне различный отъ древней демократіи. Онъ придерживается и всегда будетъ придерживаться римской свободы и политической добродѣтели Ликурга. Онъ противопоставляетъ, по контрасту и сатирической игрѣ фигуръ, республику монархіи; но это республика древнихъ; онъ не придумываетъ другой. Лишь только касается онъ этой задачи, онъ тотчасъ теряется въ мечтаніяхъ; и видно, какъ сквозь фантазію Персидскихъ писемъ зарождаются тѣ страстные узы, которыя свяжутъ этого реформатора стараго режима съ апостолами революціи. „Монархія, говоритъ Узбекъ, сильное государство, которое всегда вырождается въ деспотизмъ... Святилище чести, репутаціи и добродѣтели, кажется, бываетъ въ республикахъ и странъ, гдѣ можно произносить слово отечество“.

„Я часто слышалъ, какъ ты говорилъ, писалъ одинъ изъ друзей Узбека, что люди рождены, чтобы быть добродѣтельными, и что справедливость — качество, которое имъ такъ же свойственно, какъ существованіе. Объясни мнѣ, прошу тебя, что ты хочешь сказать“. Монтескьё никогда не объяснилъ этого ясно. Этотъ вопросъ о происхожденіи и основѣ права находилъ его всегда въ затрудненіи, бѣглымъ и смутнымъ. За недостаткомъ лучшаго, онъ употребляетъ басню, исторію Троглодитовъ, которая доказываетъ, что можно быть счастливымъ только посредствомъ добродѣтели. Онъ строитъ Salente, но различный отъ города Фенелона. Послѣдній былъ идеаломъ будущаго правленія герцога Бургундскаго подъ управленіемъ Бовилье. Троглодиты Монтескьё предшественники города Мабли и республики Руссо.

Порицатель правительства и парадоксальный въ политикѣ, Монтескьё въ своихъ Персидскихъ письмахъ вполне вольнодумецъ въ религіи. Онъ молодъ, увѣренъ въ своемъ разумѣ,

увѣренъ въ своемъ здоровьѣ и жизни. Онъ рѣзокъ, язвительнъ, неумолимъ къ сдѣлкамъ свѣта и къ обращенію въ послѣдній часъ. Онъ дѣлаетъ это легкою рукою, которая будто едва касается кожи, но рѣжетъ безъ пощады. Вся вольтеровская полемика является въ Письмахъ въ зародышѣ объ измѣненіяхъ вселенной по доказательствамъ исламизма; но это Вольтеръ болѣе могущественный и сжатый. Монтескьё говоритъ о церкви съ проніей, о богатствахъ съ пренебреженіемъ, о монахахъ — съ презрѣніемъ. Даже миссіонеры не находятъ у него пощады: „Это прекрасный проектъ заставить двухъ капуциновъ подышать воздухомъ Casbin“.

Монтескьё не считаетъ полезнымъ ни для государства, ни для общества, чтобы распространяли новыя религіи; но онъ думаетъ, что гдѣ существуютъ различныя религіи, должно заставлять ихъ жить въ согласіи. Эта косвенная и несовершенная терпимость далека отъ свободы совѣсти; между тѣмъ современники были бы этимъ удовлетворены. Предложеніе это было большою заслугою, а публичная его поддержка — большою смѣлостью. Монтескьё краснорѣчиво требуетъ его обратно. Его письма объ аутодафе (о сожженіи еретиковъ), его взглядъ на преслѣдованіе евреевъ, его намеки на отмѣненіе Нантскаго эдикта, одни изъ страницъ болѣе всего дѣлающихъ чести его сочиненіямъ. Онѣ предвѣщаютъ автора Духа законовъ.

Этотъ авторъ открывается, по болѣе и болѣе замѣтнымъ признакамъ, по мѣрѣ продленія переписки между двумя персіянами. Романъ, условіе, ложный блескъ, пустыя восточныя прикрасы мало-по малу исчезаютъ изъ сочиненія.

Взгляды историка, намѣренія моралиста замѣняютъ разрозненныя наблюденія и злостныя остроты сатирика. Монтескьё развилъ въ этихъ письмахъ, что ему приходило на умъ, какъ онъ это понималъ. Онъ затрогиваетъ стороною и мимоходомъ большую часть задачъ, которыя вскорѣ будетъ глубже изучать. Его идеи о правѣ и завоеваніи, объ успѣхѣ наукъ, о классификаціи правленій, о феодальныхъ и германскихъ началахъ свободы, сквозятъ въ разныхъ мѣстахъ, и иногда открываются въ истинной полнотѣ сквозь легкій замыселъ его писемъ. Часто ссылаются на его сужденія о распаденіи турецкой имперіи и упадкѣ Испаніи, въ которыя онъ проникъ такимъ проникательнымъ взоромъ. Не могу удержаться, чтобы не привести нѣсколькихъ строкъ объ испанцахъ. Въ нихъ ясно видна



причина восхищенія Стендаля Персидскими письмами. Соперники Монтескье въ нашемъ вѣкѣ, конечно, не превзошли его въ умѣнн широко и мѣтко владѣть рѣзцомъ.

„Въ гаремѣ Великаго Владыки ни одна султанша не тщеславится такъ своею красотою, какъ самый старый и самый безобразный грубіянь бѣлизною (съ оливковымъ оттѣнкомъ) своего лица, когда онъ въ какомъ-нибудь мексиканскомъ городѣ сидитъ на порогѣ своего дота, со скрещенными на груди руками“.

„Такой важный человѣкъ, такое совершенное созданіе не стало бы работать ни за какія сокровища въ мірѣ и не рѣшилось бы какимъ-нибудь низкимъ механическимъ промысломъ унижать честь и достоинство своей кожи... Но хотя эти неодолимые враги труда выставляютъ на показъ философское спокойствіе, у нихъ нѣтъ его въ сердцѣ, потому что они всегда влюблены. Нѣтъ на свѣтѣ другихъ подобныхъ имъ людей, готовыхъ умереть отъ томленія подъ окномъ ихъ любовницы; ни одинъ испанецъ, если онъ не охрипъ, не можетъ считаться волокитой. Во-первыхъ, они набожны, во-вторыхъ ревнивы... Они говорятъ, что солнце восходитъ и заходитъ въ ихъ странѣ: но надо сказать и то, что въ своемъ теченіи оно встрѣчаетъ только разоренныя страны и пустынные земли“.

Прибавлю еще черту, это конечная черта книги, представляющая волю человѣка: совершенная умѣренность сужденій и мудрость желаній. Осторожность законодателя постоянно умѣряетъ у Монтескье строгость мнѣній и восторженность утопій. Это направленіе подсказываетъ Узбеку знаменитое правило: „иногда бываетъ необходимо измѣнять нѣкоторые законы. Но такіе случаи рѣдки, а когда случаются, то прикасаться къ нимъ слѣдуетъ лишь трепетною рукою“. То же направленіе внушаютъ слѣдующія выраженія, предсказывающія и резюмирующія будущее произведеніе: „Я часто изыскивалъ, какое правленіе наиболѣе согласное съ разумомъ. Мнѣ казалось самымъ совершеннымъ то, которое идетъ къ своей цѣли съ меньшими издержками; такъ что то можетъ считаться самымъ совершеннымъ, которое управляетъ людьми сообразно съ ихъ склонностями“. Вотъ въ „Персидскихъ письмахъ“ вся политика „Духа законовъ“; вотъ и вся его философія: „Природа дѣйствуетъ всегда медленно, и такъ сказать бережливо: ея дѣйствія никогда не бываютъ насильственными;

въ своихъ произведеніяхъ даже она требуетъ умѣренности; она всегда идетъ по правиламъ и въ мѣру; если торопить ее, вскорѣ впадаетъ она въ безсиліе.

*Сорель.*

Нельзя читать безъ смущенія эту смѣсь добра и зла въ первомъ гениальномъ произведеніи, въ которомъ французскій умъ возвращается къ семнадцатому вѣку; я говорю о Персидскихъ письмахъ. Это произведеніе высшаго разряда и странное, въ которомъ дурное философское направленіе безпрестанно идетъ рядомъ съ хорошимъ, и хорошее въ немъ такого рода, что лучшаго и нѣтъ.

Вотъ языкъ вновь найденный, гениальный, хотя тотъ же, на какомъ говорили за тридцать лѣтъ. Новизна въ вещахъ, а не въ словахъ. Семнадцатый вѣкъ, такой любопытный изслѣдователь человѣческаго сердца, великій изобрѣтатель человѣка, оставилъ еще нѣчто недосказаннымъ по предмету повидимому истощенному; онъ оставилъ многое недосказаннымъ о французскомъ обществѣ, о такомъ человѣкѣ, какимъ его дѣлаетъ Франція; онъ почти ничего не сказалъ о человѣкѣ общественномъ, объ экономіи человѣческихъ обществъ. Наконецъ, во всѣ эпохи, характеры получаютъ отъ времени и событій особые оттѣнки, которые обновляютъ тѣ же типы, и галерея Ла Брюйера могла обогатиться еще нѣсколькими портретами. Для этого нужна была только рука, способная взяться за его перо.

Этою рукою была рука Монтескье. Въ портретахъ, которыми онъ оживляетъ Персидскія письма, онъ поддерживаетъ языкъ великаго вѣка; всѣмъ, что онъ пишетъ новаго о французскомъ характерѣ и о человѣческихъ характерахъ, онъ развиваетъ и обогащаетъ этотъ языкъ. У Ла Брюйера ничего не отнимается въ пользу Монтескье, когда говорится, что кисть послѣдняго болѣе развязна и свободна. У него менѣе чертъ фантазіи, увлеченія или утонченностей слога. Монтескье не ищетъ оригиналовъ и не гоняется за ними; онъ очерчиваетъ встрѣчаемыхъ имъ на пути, преслѣдуя въ то же время другой предметъ; у него это какъ бы развлеченіе отъ главной работы. У Ла Брюйера предвзятое намѣреніе писать портреты склоняетъ искусство къ способу изложенія. Зато у него есть



акцентъ, котораго недостаетъ у Монтескьё. Гдѣ авторъ Персидскихъ писемъ находилъ только удовольствіе, Ла Брюйэръ находилъ и удовольствіе, и горе; въ его смѣхѣ слышится печаль, и у самыхъ честныхъ изъ своихъ читателей онъ отнимаетъ охоту тщеславиться тѣмъ, что они свободны отъ тѣхъ смѣшныхъ недостатковъ, на какія онъ указываетъ. Портреты Монтескьё то индивидуальныя, какъ откупщикъ, поэтъ, директоръ, старый воинъ, рѣшитель; то собирательныя, какъ казуисты, интригантки, охотницы до новостей, и пр. Монтескьё съ граціей соединяетъ то, что знаетъ о человѣческомъ сердцѣ, что видѣлъ въ парижскихъ нравахъ, что узналъ изъ исторіи о французскомъ характерѣ, начиная отъ галловъ времени Цезаря. Отсюда происходитъ ихъ захватывающая и популярная правдивость. Надо признаться, что съ нами онъ не хорошо обходится. Но какую цѣну придаютъ эти сатирическія истины, наброшенные такою вѣрною и легкою рукою, подобнымъ словамъ о нашихъ солдатахъ, потомкахъ тѣхъ, для покоренія которыхъ Цезарю нужно было десять лѣтъ: „Они съ наслажденіемъ поддаются ударамъ и прогоняютъ страхъ удовольствіемъ, которое выше его“.

Языкъ въ этихъ портретахъ — языкъ Ла Брюйэра, перешедшій къ достойному наслѣднику. Но отличіе въ нихъ составляетъ уже пріобрѣтеніе. Ла Брюйэръ пишетъ болѣе какъ живописецъ, Монтескьё — какъ мыслитель; не потому что первый не умѣетъ думать, или второй писать, но Ла Брюйэръ охотнѣе даетъ намъ представленіе, а Монтескьё объясняетъ причины нашихъ смѣшныхъ сторонъ. Языкъ въ Персидскихъ письмахъ выигралъ со стороны тонкости и оборотовъ, въ то же время новые оригиналы заняли мѣсто въ этой галлерей Ла Брюйэра, которую можно назвать національною.

Монтескьё, однако, какъ моралистъ и живописецъ, имѣлъ образецъ. Конечно, не малое достоинство въ геніальномъ подраженіи, но найти новое въ истинномъ, въ свою очередь быть образцомъ, которому многіе будутъ подражать, это — слава. Самая лучшая и самая прочная часть Персидскихъ писемъ, та, которая придаетъ столько вѣсу этой легкой книгѣ, это письма, въ которыхъ выражены первыя истины соціальной науки.

Монтескьё смѣлою и осторожною рукою затрогиваетъ всѣ вопросы, порождаемые духомъ анализа и потребностію при-

ложенія, которые были благородною страстью и часто опасною иллюзіей восемнадцатаго вѣка; онъ дѣлаетъ это съ такимъ искусствомъ, которое примиряетъ съ самыми смѣлыми нововведеніями самые робкіе умы, — съ самыми угрожающими переменами — классы общества, которые наиболѣе должны были потерять. Отношенія народа къ правительствамъ, законамъ и религіи; экономическій уставъ торговли; соответственность наказаній за преступленія; собраніе всѣхъ французскихъ законовъ въ одинъ сводъ; свобода, для привлеченія иностранцевъ роскошью, которая всегда за нею слѣдуетъ; равенство, чтобы внести изобиліе и жизнь во все политическое тѣло; религіозная вѣротерпимость, чтобы обезпечить власть государя и устойчивость государства: вотъ нововведенія, которыя Монтескье провозглашаетъ съ такимъ видомъ, какъ будто думаетъ о нихъ только ради удовольствія, распространяя въ то же время сомнѣнія, желанія реформъ, скрытую критику настоящаго времени, все, кромѣ опасеній о той цѣли, какою Франція должна была современемъ заплатить за эти завоеванія. Не все въ этихъ благородныхъ теоріяхъ — истина. Поднятыхъ вопросовъ больше, чѣмъ вопросовъ рѣшенныхъ, болѣе сомнѣній, чѣмъ увѣренности. Но эти вопросы и сомнѣнія полезно волнуютъ человѣческій умъ, побуждая его къ изысканіямъ и поддерживая надежду. Какъ въ XVII вѣкѣ у человека былъ свой идеалъ, такъ въ XVIII — свой, и Монтескье открываетъ это. Онъ научаетъ людей идти къ этой таинственной цѣли: пусть они не дойдутъ никогда, важно то, чтобы они не утомлялись стремиться безъ остановки и не теряя бодрости.

Съ Монтескье снова начинаются тѣ обыкновенные люди, въ которыхъ олицетворяются новыя качества и какъ бы способности, которыми обогащается французскій умъ. Это болѣе, чѣмъ гениальный человѣкъ, находящій свой путь, и великій писатель, создающій свой языкъ: это сама Франція, которая, показавъ въ Декартѣ всю свою уметвенную силу, въ Паскалѣ всю свою душу, въ Боссюэтѣ всѣ свои великія качества въ ихъ прирожденной силѣ и законченной обработкѣ, является въ Монтескье, открывающемъ главныя истины и создающемъ языкъ соціальной науки.

Персидскія письма — гениальная книга, потому что мысль гения паритъ, такъ сказать, надъ всѣмъ легкомысліемъ, и великій Монтескье виднѣется въ молодомъ президентѣ парла-



мента, который ко всѣмъ скандаламъ своего времени прибавилъ одинъ: написалъ непристойную книгу, подъ которою не смѣлъ подписать свое имя.

Слѣдуетъ ли позволить себѣ указать въ этомъ романѣ на то, что относится къ дурному направленію философскому, похвалу нравамъ регентства, на униженнаго до оскорбленія, едва сошедшаго въ могилу, Людовика XIV, на осмѣянное христіанство, на писателя, нападающаго на злоупотребленія и развращающаго нравы, призывающаго реформы и отнимающаго у души силу, при которой онѣ могутъ быть успѣшны? Къ счастью, самъ Монтескье осудилъ эту холодную жестокость къ Людовику XIV, къ которому онъ остался только строгимъ, и легкомысліе относительно христіанства, которое отомстилъ Персидскимъ письмамъ Духъ законовъ. Вольнодумства романа получили воздаяніе тѣмъ, что Монтескье не достигъ желаемого успѣха. Читая эти сладострастные описанія безъ любви, краснѣешь отъ смущенія за великаго человѣка, который унижается до описанія вмѣсто страсти тайнаго разврата. Нѣтъ ни одного живого лица. Не знаю въ чемъ различаются Узбекъ и Рика. Есть мѣсто очень смѣшное въ Персидскихъ письмахъ: гдѣ парижане говорятъ объ одномъ прохожемъ, судя по его платью: „Какъ похожъ онъ на персіанина“! Это не говорятъ о Рикѣ и Узбекѣ, хотя они выдаютъ себя за персіянъ. Они парижане 1720 года. взявшіе себѣ костюмъ у путешественника Шардона.

Говорятъ, не писатели восемнадцатаго вѣка развратили вѣкъ; испорченность вѣка развратила писателей. Я готовъ съ своей стороны признать это извиненіе хорошимъ, потому что оно слагаетъ на публику часть зла, производимаго дурными книгами, и предлагаетъ ей имѣть хорошій вкусъ, если хочетъ, чтобы для нея писали книги, въ которыхъ не оскорбляли бы его. Если писатель дѣлаетъ себя хуже въ своихъ произведеніяхъ, чѣмъ онъ есть въ своей жизни, это потому, что читатели на такомъ основаніи составляютъ ему репутацію. Онъ неправъ, я знаю; въ его власти принять или отклонить условіе. Не слѣдуетъ извинять его, но слѣдуетъ половину вины принять на себя, такъ какъ мы ему помогли развращать насъ. И если это справедливо, то къ кому лучше приложить извиненіе, какъ не къ писателю, который болѣе вѣка служитъ добрымъ совѣтникомъ образованныхъ націй,

честному человѣку, котораго частная жизнь представляет черты изъ Плутарха, гражданину, который могъ сказать про себя, не рискуя быть опровергнутымъ: „Я всегда втайнѣ радовался, когда издавалось какое-либо постановленіе для общаго блага?“

*Низаръ.*

### „Духъ законовъ“ Монтескьё.

Локкъ писалъ о правительствѣ, Монтескьё о законахъ. Знаменитое его сочиненіе *О духъ законовъ* (*De l'esprit des loix*), появившееся въ 1742 году, имѣло цѣлью изслѣдовать законы, управляющіе человѣческими обществами, и въ особенности тѣ, которыми охраняется свобода. Эта книга послужила основаніемъ конституціонному ученію въ Европѣ. Англійская конституція, выработавшаяся изъ практики, требовала теоретика, который указалъ бы на общія начала, въ ней заключающіяся, и, такимъ образомъ, сдѣлалъ бы ее образцомъ для другихъ народовъ. Такимъ теоретикомъ явился Монтескьё. Французскій публицистъ, первый въ новое время, указалъ на отношенія властей, другъ друга воздерживающихъ и уравнивающихъ, какъ на самую существенную гарантію свободы. Это было то ученіе, которое въ древности излагалъ Полибій въ своей римской исторіи; но у Монтескьё оно было развито во всей своей полнотѣ, изслѣдовано въ подробностяхъ и связано съ общими началами, управляющими жизнью народовъ. Ученіе о конституціонной монархіи, конечно, не исчерпывалось этимъ окончательно. Стоя на почвѣ индивидуализма, Монтескьё обращалъ вниманіе, главнымъ образомъ, на гарантію свободы, оставляя въ сторонѣ всѣ другія требованія государства. Но эту поправку легко было сдѣлать впослѣдствіи; она была не болѣе, какъ восполненіемъ теоріи знаменитаго писателя XVIII вѣка. Основаніе было положено имъ, и основаніе вѣрное.

Англійская конституція, въ которой Монтескьё видѣлъ свой идеалъ, не была однако точкою исхода для его изслѣдованій. Такъ же какъ и его предшественники, французскій публицистъ отправлялся не отъ наблюденія фактовъ. „Я положилъ принципы, говоритъ онъ, и увидалъ, что частные случаи сами собою къ нимъ приноравливаются... какъ скоро я открылъ свои начала, все, чего я искалъ, само пришло ко мнѣ“. Мы видимъ здѣсь чисто теоретическое построеніе системы, гдѣ



основаніемъ служатъ частные элементы жизни и вытекающія изъ нихъ отношенія. Эта точка зрѣнія опредѣляется самымъ понятіемъ о законѣ, съ котораго Монтескьё начинаетъ свое изложеніе.

Монтескьё опредѣляетъ законы, въ обширѣйшемъ значеніи, какъ *необходимыя отношенія, вытекающія изъ природы вещей*. Въ этомъ смыслѣ, всѣ существа имѣютъ свои законы, физическая природа, разумныя созданія, животныя, человѣкъ. Такъ какъ невозможно предполагать, что разумныя существа произошли отъ слѣпого случая, то надобно признать разумъ первоначальный. Законами будутъ называться отношенія этого разума къ различнымъ существамъ и отношенія существъ между собою. Эти отношенія постоянны: вездѣ въ разнообразіи проявляется единство и въ измѣненіяхъ постоянство. Различіе физической природы и разумныхъ существъ, въ этомъ отношеніи, заключается въ томъ, что первая слѣдуетъ законамъ неизмѣннымъ, вторыя же, будучи одарены свободою, а вмѣстѣ съ тѣмъ и способностью впадать въ ошибки вслѣдствіе своей ограниченности, могутъ отклоняться отъ своихъ законовъ. Поэтому человѣкъ, который, какъ физическое существо, слѣдуетъ неизмѣннымъ законамъ природы, какъ существо разумное, безпрерывно нарушаетъ законы, положенные Богомъ и установленные имъ самимъ. Чтобы удержать его отъ ошибокъ, Богъ далъ ему законъ откровенный, философы наставляютъ его посредствомъ законовъ нравственныхъ, законодатели напоминаютъ ему его обязанности посредствомъ законовъ гражданскихъ.

Признавая, что естественные законы предшествуютъ положительнымъ, онъ, подобно другимъ, изслѣдуетъ проявленіе ихъ въ состояніи природы, предшествующемъ общежитію. У первобытнаго человѣка, говоритъ онъ, не можетъ быть еще теоретическихъ идей; поэтому не можетъ быть и понятія о Богѣ. Первымъ его стремленіемъ будетъ забота о сохраненіи своего существованія. Но, чувствуя свою слабость, онъ боится всего и старается избѣгнуть всякаго столкновенія съ другими. Поэтому миръ, а не война будетъ первымъ естественнымъ закономъ. То желаніе подчинить себѣ другихъ, которое Гоббесъ приписываетъ первобытнымъ людямъ, потому неумѣстно, что понятіе о власти весьма сложно, слѣдовательно, можетъ явиться только позднѣе. Къ чувству слабости присоединяются физиче-

скія потребности; поэтому, вторымъ естественнымъ закономъ будетъ стараніе отыскать себѣ пищу. Затѣмъ третьимъ закономъ будетъ стемленіе половъ другъ къ другу. Наконецъ, когда къ чувству присоединяется познаніе, между людьми является новая связь, которая побуждаетъ ихъ жить въ обществѣ. Стремленіе къ общежитію будетъ, слѣдовательно, четвертымъ естественнымъ закономъ.

Какъ скоро люди соединяются въ общества, продолжаетъ Монтескьё, такъ каждый начинаетъ чувствовать свою силу и старается обратить въ свою пользу выгоды общежитія. Отсюда состояніе войны. То же происходитъ и между отдѣльными обществами. Невыгоды же войны, въ свою очередь, ведутъ къ потребности установить положительные законы и опредѣлить отношенія, какъ цѣлыхъ обществъ, такъ и отдѣльныхъ лицъ между собою. Перваго рода положенія образуютъ международное право, котораго основное начало состоитъ въ томъ, что народы должны дѣлать другъ другу въ мирѣ какъ можно болѣе добра, а въ войнѣ какъ можно менѣе зла, насколько это совмѣстно съ ихъ истинными интересами. Внутренніе же законы каждаго общества опять двоякаго рода: политическіе, опредѣляющіе отношенія гражданъ другъ къ другу. Какъ тѣ, такъ и другіе должны быть приноровлены къ тому народу, для котораго они издаются, такъ что учрежденія одного народа рѣдко могутъ приходиться другому. Законы должны соответствовать образу правленія, физическимъ свойствомъ страны, климату, пространству, образу жизни народа, его религіи, нравамъ, богатству, торговлѣ и т. п. Законы имѣютъ также отношенія другъ къ другу, а равно и къ цѣли законодателя и къ порядку вещей, для котораго они установлены. Изслѣдованіе всѣхъ этихъ отношеній составляетъ *Духъ законовъ*.

Монтескьё рассматриваетъ прежде всего различные образы правленія; онъ раздѣляетъ ихъ на три вида: республиконскій, монархическій и деспотическій. Первый, въ свою очередь, подраздѣляется на аристократическій и демократическій. Отличіе монархіи отъ деспотіи заключается въ томъ, что первая управляется постоянными законами, а въ послѣдней господствуетъ произволъ. Кромѣ того, во многихъ мѣстахъ сочиненія, всѣ три правленія, монархическое, аристократическое и демократическое, сводятся къ одной рубрикѣ: это правленія умѣренныя, которыя противопоставляются деспотіи. Въ этомъ противо-



положеніи правленій законныхъ и незаконныхъ заключается главная сущность мысли Монтескьё.

Каждый изъ этихъ образовъ правленія имѣетъ свою природу, опредѣляемую самымъ его составомъ. Отсюда истекаютъ основные законы, на которыхъ зиждется его политическое устройство.

Природа демократіи состоитъ въ томъ, что здѣсь верховная власть принадлежитъ всей массѣ народа. Слѣдовательно, народъ является тутъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ правителемъ, въ другихъ подданнымъ. Правителемъ онъ становится черезъ подачу голосовъ, посредствомъ которой выражается его воля. Слѣдовательно, законы должны опредѣлить, кто имѣетъ право голоса, какимъ способомъ голоса подаются и въ какихъ именно случаяхъ; то-есть, прежде всего, опредѣляются составъ и способъ дѣйствія народнаго собранія, которому принадлежитъ верховная власть. Затѣмъ необходимы другія учрежденія: для исполненія нужны министры, для совѣта и руководства сенатъ. Народъ имѣетъ удивительное чутье, чтобы разобрать достоинство лицъ, но онъ не способенъ самъ вести дѣла: у него иногда слишкомъ много дѣйствія, иногда слишкомъ мало. Какъ министры, такъ и сенатъ въ демократіи должны быть выборные. При этомъ важно устройство выборовъ, а также и способъ подачи голосовъ. Избиратели и избираемые нерѣдко дѣлятся на классы, съ цѣлью дать большія или меньшія преимущества состоящимъ болѣе зажиточнымъ. Таковы были дѣленія Солона въ Аѳинахъ и Сервія Туллія въ Римѣ. Въ этомъ всего болѣе проявляется мудрость законодателя, ибо отъ хорошаго раздѣленія зависятъ прочность и процвѣтаніе республики. Способъ избранія составляетъ также основной законъ демократіи. Выборъ принадлежитъ болѣе аристократіи, жребій народному правленію; но послѣдній требуетъ умѣренія и поправокъ, и это тоже составляетъ задачу законодателя. Основными законами опредѣляется, наконецъ, и способъ подачи голосовъ, который можетъ быть тайный или явный. Въ демократіяхъ голоса должны подаваться явно, ибо народъ нуждается въ руководствѣ со стороны образованныхъ классовъ; притомъ, здѣсь нечего опасаться происковъ партій, которыя составляютъ необходимую принадлежность демократическаго правленія. Напротивъ, партіи опасны въ аристократіи или въ сенатѣ; поэтому здѣсь подача голосовъ должна быть тайная.

Природа аристократіи состоитъ въ томъ, что верховная власть принадлежитъ здѣсь ограниченному числу лицъ. Если эти лица многочисленны, то и тутъ необходимъ сенатъ для веденія дѣлъ. Однако не такой, который бы самъ себя восполнялъ: это ведетъ къ самымъ крупнымъ злоупотребленіямъ. Еще опаснѣе ввѣрять значительную власть одному лицу; если это оказывается нужнымъ, то необходимо, по крайней мѣрѣ, уравнивать силу власти кратковременностью срока. Впрочемъ, кратковременная власть уместна только тамъ, гдѣ она обращается противъ народа, какъ въ Римѣ диктатура, ибо народъ дѣйствуетъ болѣе порывами, нежели послѣдовательными планами. Напротивъ, диктаторская власть, которую аристократія устанавливаетъ противъ собственныхъ своихъ членовъ, должна быть постоянная. Таковы въ Венеціи государственные инквизиторы. Въ аристократіи полезны также учрежденія, предоставляющія народу нѣкоторое участіе въ правленіи. Вообще, чѣмъ меньше число гражданъ, исключенныхъ изъ правительства, тѣмъ аристократія безопаснѣе и прочнѣе. Самая лучшая аристократія та, которая всего болѣе приближается къ демократіи, самая же несовершенная изъ всѣхъ та, въ которой народъ не только въ политическомъ, но и въ гражданскомъ отношеніи подчиненъ вельможамъ, на примѣръ въ Польшѣ, гдѣ крестьяне находятся въ крѣпостномъ состояніи.

Природа монархіи, гдѣ править единое лицо, руководствуясь основными законами, состоитъ въ существованіи посредствующихъ властей, подчиненныхъ и зависящихъ. Послѣдній признакъ необходимъ, потому что въ монархіи князь является источникомъ всякой политической и гражданской власти. Но дѣятельность его должна идти черезъ законные органы; иначе не будетъ ничего прочнаго, а потому не можетъ быть и основныхъ законовъ. Самая естественная посредствующая власть есть дворянство, которое составляетъ необходимую принадлежность монархіи. Тамъ, гдѣ исчезаютъ привилегіи сословій, монархическое правленіе неизбежно превращается либо въ народное, либо въ деспотическое. Поэтому въ монархіяхъ полезна и власть духовенства, которая вредна въ республикахъ. Наконецъ, здѣсь нужно особое политическое тѣло, охраняющее законы. Дворянство къ этому не способно; княжескій совѣтъ слишкомъ зависимъ; слѣдовательно, необходимо самостоятельное учрежденіе, постоянное и достаточно многочисленное.



Что касается до деспотіи, гдѣ владычествуетъ произволъ одного лица, то ея природа ведетъ къ тому, что и администрація ввѣряется здѣсь одному лицу. Самъ властитель, который считаетъ себя всѣмъ, а другихъ ставитъ ни во что, обыкновенно предается наслажденіямъ и мало заботится о дѣлахъ. Но если бы дѣла были переданы нѣсколькимъ лицамъ, то они враждовали бы между собою. Поэтому проще и удобнѣе вручить ихъ одному. Назначеніе визиря составляетъ, слѣдовательно, основной законъ деспотіи.

Послѣднее положеніе Монтескьё слишкомъ односторонне. Онъ имѣлъ въ виду то, что обыкновенно дѣлается въ восточныхъ государствахъ; но это далеко не общее правило. Многіе писатели отвергаютъ и самое установленное имъ различіе между монархіей и деспотіей. Вольтеръ, въ своихъ замѣчаніяхъ на книгу Монтескьё, говоритъ, что это два брата, которые такъ схожи между собою, что ихъ часто можно принять другъ за друга. Нѣкоторые, однако, доселѣ признаютъ деспотію за самостоятельный образъ правленія; но съ этимъ трудно согласиться. Различіе образовъ правленія опредѣляется прежде всего составомъ верховной власти, а тутъ составъ одинъ и тотъ же. Все, что можно сказать, это то, что деспотія есть извращеніе чистой монархіи, какъ училъ Аристотель. Между ними разница не родовая, а видовая. Съ этимъ ограниченіемъ мысли Монтескьё остаются глубокими и вѣрными. Существенное различіе между монархіей и деспотіей заключается именно въ томъ, что въ одной есть сдержки, по крайней мѣрѣ, въ подчиненныхъ сферахъ, а въ другой онѣ исчезаютъ. Значеніе этихъ сдержекъ, болѣе нравственныхъ, нежели юридическихъ, далеко не маловажно. Въ благоустроенной монархіи, гдѣ права сословіи освящены временемъ и укоренились въ нравахъ, монархъ не можетъ посягнуть на нихъ, не возбудивъ противъ себя ненависти высшихъ классовъ и не производя глубокаго потрясенія въ государствѣ, между тѣмъ какъ для деспота нѣтъ правъ, которыя бы онъ долженъ былъ щадить. При извѣстныхъ историческихъ обстоятельствахъ, чистой монархіи можетъ быть подчиненъ даже народъ весьма образованный, тогда какъ деспотія возможна только среди племенъ, стоящихъ на весьма низкой степени развитія. Нѣтъ сомнѣнія, что между обѣими формами могутъ быть незамѣтные переходы, такъ что иногда трудно бываетъ опредѣлить, къ какой кате-

горіи принадлежитъ то или другое правительство; но переходы бываютъ между самыми противоположными явленіями: этимъ не уничтожается различіе. Вся сущность Монтескьё заключается въ указаніи на необходимость сдержекъ во всякомъ образѣ правленія; какъ скоро онѣ исчезаютъ, такъ правленіе превращается въ деспотію. Мысль тонкая и мѣткая.

Отъ природы различныхъ политическихъ формъ Монтескьё отличаетъ ихъ начало (*principe*). Подъ этимъ словомъ онъ разумѣетъ нравственную силу, дѣйствующую въ государственномъ строѣ. Въ демократіи основное начало есть *доблесть* (*la vertu*), то-есть, любовь къ общему дѣлу. Она существуетъ и въ другихъ образахъ правленія, но въ одной демократіи она составляетъ движущую пружину всего политическаго организма, необходимое условіе его существованія. Какъ скоро она исчезаетъ, власть впадаетъ въ руки честолюбцевъ и корыстолюбцевъ, и тогда демократія клонится къ гибели. Начало аристократіи есть также добродѣтель, но другого рода; добродѣтель свойственная не цѣлому народу, который не нуждается въ ней для повиновенія, а принадлежащая одному лишь владычествующему сословію. Въ аристократіи необходимо, съ одной стороны, чтобы одно лицо не старалось возвыситься на счетъ другихъ, а съ другой стороны, чтобы злоупотребленія власти не выводили народъ изъ терпѣнія. Поэтому, здѣсь всего важнѣе умѣреніе личныхъ стремленій. *Умѣренность* составляетъ, слѣдовательно, основное начало этого образа правленія. Въ монархіи, которая зиждется на промежуточныхъ политическихъ дѣлахъ, движущее начало тоже сословное, но опять другого рода: оно коренится въ отношеніи подчиненныхъ сословій къ власти, стоящей на вершинѣ. Это то чувство, которое побуждаетъ каждого гражданина стремиться къ почестямъ, но съ сохраненіемъ своей независимости. *Честъ* есть начало монархіи. Наконецъ, деспотизмъ держится однимъ *страхомъ*. Здѣсь отъ подданныхъ не требуется ничего, кромѣ условнаго повиновенія. Такимъ образомъ въ деспотизмѣ нѣтъ того, что принадлежитъ къ существу всякаго умѣреннаго правленія — сговорчивости, осторожности, улаживанія дѣлъ, переговоровъ, возраженій, условій, однимъ словомъ, всего того, что вытекаетъ изъ уваженія къ независимымъ лицамъ.

Эти положенія Монтескьё не разъ подвергались критикѣ.



Многіе писатели отвергають ихъ, какъ произвольныя. А между тѣмъ, нигдѣ, можетъ быть, такъ не проявляется глубина его генія, какъ именно въ этихъ опредѣленіяхъ. Что гражданская доблесть составляетъ самую душу демократіи, первое и необходимое условіе всеобщей политической свободы, въ этомъ едва ли можетъ быть сомнѣніе. Какъ скоро это гражданское чувство исчезло, такъ народъ долженъ искать себѣ владыки. Несомнѣнно и то, что аристократическое правленіе прежде всего требуетъ отъ своихъ членовъ воздержанія личнаго честолюбія и умѣренности въ употребленіи власти. Изъ этого же источника вытекають уваженіе къ законамъ и обычаямъ, твердость и спокойствіе въ рѣшеніяхъ, стремленіе охранять старину въ соединеніи съ должною уступчивостью въ отношеніи къ новымъ требованіямъ, — качества, составляющія самую сущность хорошей аристократіи. Меньше всего, повидимому, можно признать, что честь составляетъ коренное начало монархіи; эта мысль кажется болѣе блестящею, нежели основательною. Но если мы задумаемся въ существо дѣла, мы увидимъ въ ней глубокий смыслъ. Монтескьё отличаетъ умѣренную монархію отъ деспотіи тѣмъ, что въ первой существуютъ сдержки, которыхъ нѣтъ во второй. Въ государствѣ, гдѣ верховная власть сосредоточена въ единомъ лицѣ, однѣ юридическія сдержки менѣе всего могутъ быть дѣйствительны, если ихъ не скрѣпляютъ сдержки нравственныя. Въ чемъ же могутъ состоять послѣднія? Именно въ томъ, что высшія сословія, которыя составляютъ здѣсь коренной и необходимый элементъ политической жизни, соблюдая вѣрность монарху, вмѣстѣ съ тѣмъ стоятъ за свои права и сохраняютъ нравственную свою независимость. А это и дается чувствомъ чести, которое побуждаетъ человѣка, съ одной стороны, исполнять свои общественныя обязанности сообразно съ своимъ положеніемъ, съ другой стороны, требовать уваженія къ нравственному достоинству своего лица. Поэтому можно безусловно согласиться съ Монтескьё, что монархія тѣмъ болѣе склоняется къ деспотизму, чѣмъ болѣе чувство чести исчезаетъ въ обществѣ.

Природа каждаго образа правленія и движущее имъ начало опредѣляютъ и характеръ законовъ, которыми управляется государство. Такъ, законы о воспитаніи имѣють цѣлью, въ монархіи, развитіе чувство и повиновеніе волѣ государя, соеди-

ненно съ личнымъ достоинствомъ и независимостью; въ республикѣ — внушить любовь къ отечеству и къ законамъ; въ деспотіи — унижить человѣческую душу и сдѣлать ее раболѣпною.

Въ демократіи, гдѣ господствуетъ равенство, законы должны устанавливать уравнительность и умѣренность состояній. Къ этому ведутъ правила, охраняющія семейныя участки и запрещающія накопленіе наслѣдствъ въ однѣхъ рукахъ. Въ торговыхъ же республикахъ полезно предупреждать скопленіе богатствъ установленіемъ равнаго наслѣдованія всѣхъ дѣтей. Къ той же цѣли ведетъ возложеніе повинностей на богатыхъ съ облегченіемъ бѣдныхъ. Но такъ какъ, вообще, уравнительное распределеніе имуществъ дѣло почти невозможное, то здѣсь необходимо прибѣгать и къ другимъ средствамъ. Всего важнѣе поддержаніе нравовъ и уваженія къ законамъ. Для этого полезно учрежденіе сената, блюстителя нравовъ, а также строгое подчиненіе гражданъ правителямъ, наконецъ, сильное развитіе отеческой власти, которая замѣняетъ недостаточную силу власти гражданской.

Въ аристократіи законъ долженъ, съ одной стороны, клониться къ тому, чтобы народъ не чувствовалъ тягости сословнаго управленія, а съ другой стороны, чтобы члены владычествующаго сословія сохраняли между собою равенство. Пбо двѣ главныя опасности, угрожающія аристократіи, заключаются именно въ излишнемъ неравенствѣ между правителями и подданными, и въ неравенствѣ между самими правителями.

Для предупрежденія перваго полезно, чтобы вельможи не отличались отъ низшихъ классовъ признаками, возбуждающими зависть, и не присвоивали себѣ слишкомъ тягостныхъ для народа привилегій. Они не должны наживаться насчетъ народа, а напротивъ, обязаны тратить часть своего состоянія на общую пользу; въ финансовомъ управленіи слѣдуетъ соблюдать крайнюю бережливость; простолюдинамъ надобно оказывать самое строгое правосудіе. Для второй цѣли, необходимо уничтоженіе всякихъ различій между членами благороднаго сословія. Поэтому права первородства и субституціи, приличныя монархіи, неумѣстны въ аристократіи. Для сохраненія единства между членами сословія требуется также быстрое рѣшеніе всѣхъ возникающихъ между ними распрей. Наконецъ, для подавленія всякихъ честолюбивыхъ стремленій, нуженъ трибуналъ, облеченный тираническою властью.



Въ монархіи законъ долженъ прежде всего клониться къ поддержанію дворянства, хранителя чести. Эта цѣль достигается установленіемъ маіоратовъ, субституцій, привилегій. Здѣсь полезна немислимая въ другихъ правленіяхъ продажа должностей, которая сообщаетъ болѣе постоянства и независимости общественнымъ корпораціямъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ устраняетъ происки придворныхъ. Преимущество монархіи передъ республикой заключается въ быстротѣ дѣйствія; но чтобы эта быстрота не обратилась въ поспѣшность, необходимо установить законныя замедленія ходу дѣлъ.

Что касается до деспотизма, то вотъ его изображеніе: когда дикіе жители Луизианы хотятъ сорвать плодъ, они рубятъ дерево и снимаютъ плодъ. Въ деспотизмѣ не нужно много законовъ, ибо здѣсь господствуетъ произволъ. Управленіе здѣсь самое простое, ибо все ограничивается приведеніемъ гражданской власти къ власти домашней. Наслѣдованіе престола опредѣляется не закономъ, а волею монарха; но этимъ самымъ открывается поприще всѣмъ интригамъ. Поэтому восточные государи, вступивъ на престолъ, стараются избавиться смертію отъ всѣхъ своихъ родственниковъ. Чтобы держать народъ въ страхѣ, деспотъ принужденъ опираться на войско, но черезъ это послѣднее становится опаснымъ для самого правительства, такъ что властитель долженъ принимать мѣры противъ собственныхъ своихъ силъ. Иногда, въ деспотическихъ странахъ, государь объявляетъ себя собственникомъ всей земли и наслѣдникомъ всѣхъ подданныхъ; но это ведетъ къ общинности земли и къ обнищанію народа. Вообще, подъ деспотическимъ правленіемъ невѣрность собственности уничтожаетъ промышленность и торговлю и, напротивъ, содѣйствуетъ лихвѣ. Здѣсь развивается и грабительство чиновниковъ, ибо несправедливое правительство нуждается въ рукахъ для исполненія неправды, а эти руки естественно не забываютъ и себя. Поэтому здѣсь, для успокоенія народа, полезны конфискаціи, которыя немислимы въ умѣренныхъ правленіяхъ, гдѣ онѣ являются посягательствомъ на собственность. Съ другой стороны, чтобы привязать къ себѣ своихъ слугъ, деспотъ долженъ давать имъ громадныя денежныя награды, что въ республикахъ и монархіяхъ служить признакомъ упадка, ибо это означаетъ, что въ народѣ изсякли чувства чести и любви къ отечеству. Вообще, говоритъ Монтескьё, деспотизмъ до

такой степени противенъ человѣческой природѣ, что можно удивляться, какимъ образомъ народы когда-либо ему подчинялись. Но дѣло въ томъ, что для установленія умѣреннаго правленія, гдѣ сочетаются различныя, уравнивающія другъ друга силы, нужно много умѣнья, тогда какъ нѣтъ ничего легче, какъ водвореніе деспотизма.

Начала различныхъ образовъ правленія имѣютъ вліяніе и на гражданскіе и уголовные законы, а также и на судебное устройство каждаго государства. Въ умѣренныхъ правленіяхъ нужны болѣе сложные законы, требуется болѣе формальностей, нежели въ деспотическихъ. Въ нихъ права гражданъ не могутъ быть предоставлены произволу судей, но должны быть твердо и точно опредѣлены законамъ и юриспруденціей. Все, что касается жизни, свободы и имущества лицъ, должно быть окружено всевозможными гарантіями, такъ чтобы каждому даны были средства защиты, и чтобы судьи не иначе могли произнести приговоръ, какъ съ величайшею осмотрительностью и съ полнымъ знаніемъ дѣла. Въ деспотическомъ правленіи все это излишне: тутъ властвуетъ произволъ судьи, который можетъ рѣшать дѣла съ величайшею быстротою, какъ это дѣлается въ Турціи. Поэтому упрощеніе законовъ служить первымъ признакомъ деспотизма. Далѣе, въ деспотическихъ правленіяхъ князь можетъ судить самъ; въ монархіяхъ это невозможно: посредствующія тѣла были бы черезъ это уничтожены, формальности отмѣнены, и произволъ заступилъ бы мѣсто закона. Судъ монарха сдѣлался бы источникомъ безконечныхъ злоупотребленій, ибо придворные всегда сумѣли бы выманить приговоры, согласные съ ихъ желаніями. Даже министры не могутъ судить въ монархіи; между совѣтомъ князя и судебными мѣстами есть коренная несовмѣстность. Наконецъ, въ умѣренныхъ правленіяхъ самыя наказанія умѣренны и соразмѣрны съ преступленіемъ. Въ деспотизмѣ, напротивъ, наказанія жестокости и соображаются только съ потребностью укротить преступниковъ. Но жестокія казни притупляютъ чувство народа и, большею частью, остаются безсильными. Даже когда онѣ достигаютъ цѣли, онѣ оставляютъ по себѣ неисправимое зло. Развращеніе народа составляетъ естественный плодъ деспотизма.

Отъ различія образовъ правленія зависитъ и отношеніе законодательства къ роскоши. Въ демократіи должны существо-



вать законы противъ роскоши, ибо послѣдняя несовмѣстна съ равенствомъ состояній; къ тому же она влечетъ за собою преобладаніе частныхъ интересовъ надъ общественными, а это противорѣчитъ существу демократіи. Въ аристократіи начало умѣренности требуетъ тоже ограниченія роскоши въ частной жизни; но такъ какъ господствующее сословіе должно быть богато, то слѣдуетъ обращать его избытокъ на общественныя издержки. Въ монархіи, напротивъ, неравенство состояній дѣлаетъ роскошь необходимою. Поэтому законы противъ роскоши здѣсь неумѣстны: каждый долженъ въ этомъ отношеніи пользоваться полною свободою. Наконецъ, въ деспотизмѣ также существуетъ роскошь, но по другой причинѣ: неизвѣстность будущаго побуждаетъ людей къ возможно большому наслажденію настоящимъ.

За роскошью слѣдуетъ свобода женщинъ, которая всего болѣе можетъ быть допущена въ монархіи. Напротивъ въ республикѣ, гдѣ необходима строгость нравовъ, она должна быть сдержана въ тѣсныхъ предѣлахъ. Что касается до деспотизма, то здѣсь женщины не что иное, какъ рабыни. Сообразно съ этимъ, приданья должны быть значительны въ монархіяхъ, умѣренны въ республикахъ, ничтожны въ деспотіяхъ.

Извращеніе началъ, господствующихъ въ томъ или другомъ образѣ правленія, ведетъ къ извращенію самого правленія.

Демократія извращается не только отклоненіемъ отъ своего начала, но и преувеличеніемъ этого начала, то-есть, чрезмѣрною любовью къ свободѣ и равенству. Тогда никто уже не хочетъ повиноваться другому; въ обществѣ исчезаетъ всякое уваженіе къ старшимъ. Народъ не терпитъ иныхъ властей, кромѣ собственной; онъ отбираетъ права у сената, у судей, у правителей, стягиваетъ къ себѣ все дѣла и самъ становится деспотомъ. Но такой порядокъ вещей, дѣлаясь все болѣе и болѣе невыносимымъ, неудержимо влечетъ государство подъ власть тирана. Въ умѣренной демократіи люди равны между собою только какъ граждане; въ необузданной демократіи начальникъ уравнивается съ подчиненнымъ, отецъ съ сыномъ, хозяинъ съ слугою. Добродѣтель естественно соединяется съ свободою, но она столь же далека отъ свободы чрезмѣрной, какъ и отъ рабства.

Аристократія извращается, когда власть ея можъ становится произвольною. Съ уваженіемъ къ закону исчезаетъ и

умѣренность, и тогда народъ управляется деспотически: только вмѣсто одного деспота у него ихъ нѣсколько. Это бываетъ, особенно, когда аристократія становится наследственной: увѣренность въ пріобрѣтеніи власти устраняетъ необходимость воздержанія.

Монархія извращается, когда уничтожаются въ ней посредствующія тѣла и отбираются привилегіи сословій: тогда власть неудержимо идетъ къ деспотизму. Она извращается также, когда монархъ хочетъ непосредственно управлять всѣмъ, когда онъ всѣ дѣла стягиваетъ ко двору, когда онъ произвольно измѣняетъ законы, когда онъ унижаетъ вельможъ, дѣлая ихъ орудіями своей личной воли, наконецъ, когда онъ уничтожаетъ чувство чести въ народѣ, облакая почестями людей недостойныхъ.

Что касается до деспотизма, то онъ, по существу своему, есть уже правленіе извращенное и извращается все болѣе и болѣе.

Извращеніе образовъ правленія можетъ, впрочемъ, произойти и отъ чисто внѣшнихъ причинъ, именно, отъ увеличенія или уменьшенія области. Вообще, республиканская форма способна держаться только въ малыхъ государствахъ. Въ большихъ водворяется слишкомъ значительное неравенство имуществъ. Притомъ, накопленіе богатства въ однѣхъ рукахъ влечетъ за собою неумѣренность въ мысляхъ. Интересы классовъ здѣсь разобщаются, и общая выгода приносится въ жертву частной. Человѣкъ чувствуетъ, что онъ можетъ имѣть значеніе и безъ отечества, а потому хочетъ возвыситься на счетъ отечества. Напротивъ, на небольшомъ пространствѣ, общій интересъ у всѣхъ на глазахъ; онъ чувствуется всѣми; надъ злоупотребленіями есть постоянный контроль. Въ независимой общинѣ трудно устроить иное правленіе, кромѣ республиканскаго. Князь явился бы здѣсь притѣснителемъ, потому что его средства были бы несоразмѣрны съ его властью, и онъ всегда могъ бы опасаться внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ. Монархія, по существу своему, должна быть средней величины. Если она слишкомъ мала, она превращается въ республику; при значительномъ же пространствѣ, вельможи, будучи удалены отъ центра и надѣясь на безнаказанность, легко могутъ уклоняться отъ повиновенія и, такимъ образомъ, привести государство къ разрушенію. Изъ всего этого слѣ-



дуетъ, что для сохраненія существующаго образа правленія надобно держать государство въ настоящихъ его предѣлахъ.

Эти соображенія приводятъ Монтескьё къ разсмотрѣнiю оборонительной и наступательной политики государствъ. Республикѣ угрожаетъ двоякая опасность: если она мала, она можетъ быть уничтожена виѣшнею силою; если она велика, она разрушается внутреннимъ порокомъ. Избѣжать того и другого можно только однимъ способомъ: союзнымъ устройствомъ, которое соединяетъ въ себѣ выгоды большихъ и малыхъ государствъ. Оно приходится болѣе республикамъ, нежели монархiямъ; притомъ здѣсь требуется, чтобы члены имѣли одинакія политическія учрежденія; иначе связь всегда будетъ непрочна. Полезно, чтобы отдѣльные члены не имѣли права заключать союзы безъ согласія другихъ; полезно также, чтобы члены имѣли голосъ и несли тяжести соразмѣрно съ своимъ значеніемъ; наконецъ, желательно, чтобы союзные судьи и правители избирались общимъ совѣтомъ, а не отъ каждаго члена особо. Очевидно, Монтескьё выставляетъ здѣсь преимущества союзаго государства передъ союзомъ государствъ. Идеалъ такого устройства онъ видитъ въ древней Ликiи. Нельзя не удивляться проницательности его взгляда, въ такую эпоху, когда Соединенные Штаты не обрѣли еще своей независимости, и когда различныя стороны федеративнаго порядка далеко еще не были такъ очевидны, какъ теперь.

Въ противоположность республикамъ, которыя держатся соединеніемъ силъ, деспотiи защищаются разобщеніемъ съ сосѣдями. Онѣ обращаютъ свои границы въ пустыни и такимъ образомъ избавляются отъ враговъ. Иногда же по границамъ устанавливаются подчиненные князья, которые служатъ орудіями защиты, а въ случаѣ нужды могутъ быть принесены въ жертву угрожающей опасности.

Наконецъ, монархiя, которая не можетъ сама себя уничтожить, какъ деспотiя, должна имѣть наготовѣ всѣ нужныя средства для защиты. Ей необходимы крѣпости и войско. Средняя величина территорiи наиболѣе благопріятна для обороны, ибо войску легче двигаться во всѣ стороны и поспѣвать повсюду навстрѣчу непріятелю. Напротивъ, въ большомъ государствѣ, если часть арміи разбита, другой трудно прійти къ ней на помощь, и тогда непріятелю легко проникнуть до самой столицы. Поэтому, монархи должны быть осто-

рожны въ увеличеніи своихъ владѣній. Стараясь избѣгнуть невыгодъ одного рода, они могутъ навлечь на себя другія, еще худшія. Воздерживаться тѣмъ болѣе необходимо, что слабость сосѣдей, составляя приманку для завоеваній, въ сущности представляетъ величайшее удобство въ политическомъ отношеніи. Покореніемъ подобнаго государства рѣдко можно выиграть, а большею частью можно потерять относительную силу.

Изъ всѣхъ образовъ правленія, завоевательная политика всего опаснѣе для республикъ. Бубуды основаны на началѣ народной власти, онѣ по необходимости должны пріобщать покоренныхъ къ правамъ гражданства; поэтому ихъ завоеванія должны ограничиваться тѣмъ количествомъ народонаселенія, которое можетъ вынести демократія. Если же республика обращаетъ покоренные народы въ подданныхъ, то она тѣмъ самымъ подрываетъ собственную свободу, ибо власть сановниковъ, управляющихъ подчиненными областями, будетъ слишкомъ велика. Къ этому присоединяется и другая невыгода: республиканское правленіе всегда жестче монархическаго; поэтому оно болѣе ненавистно покореннымъ, которые не пользуются ни выгодами свободы, ни преимуществами единовластія.

Монархія точно такъ же можетъ дѣлать завоеванія, только пока она не выступаетъ изъ свойственныхъ ей предѣловъ. Здѣсь покоренныя страны должны оставаться съ тѣми законами, учрежденіями и бытомъ, при которыхъ онѣ жили прежде; измѣняются только войско да имя государя. Обхожденіе съ ними должно быть самое мягкое. Иначе пограничныя области, разоренныя и недовольныя, всегда будутъ весьма ненадежнымъ пріобрѣтеніемъ. Во всякомъ случаѣ, завоевательная политика имѣетъ печальныя послѣдствія для монархій: успія, которыя требуются для войны, ведутъ къ истощенію собственныхъ областей, тогда какъ, напротивъ, въ столицѣ сосредоточиваются пріобрѣтенныя богатства. Поэтому завоевательная монархія обыкновенно представляетъ страшную роскошь въ центрѣ, изнуреніе въ провинціяхъ и снова обиліе въ завоеванныхъ областяхъ.

Громадныя завоеванія необходимо предполагаютъ деспотизмъ. Чтобы сохранить столь обширныя владѣнія, нужно князю вѣрное войско, всегда готовое подавить возмущенія. Однако и тутъ правители отдаленныхъ областей съ трудомъ



могутъ сдерживать подчиненные имъ народы; а съ другой стороны, самому князю не легко справиться съ назначенными имъ сановниками, которые стремятся къ самостоятельности. Поэтому и здѣсь всего полезнѣе оставлять въ завоеванныхъ странахъ прежнее ихъ правительство, поставивъ его относительно себя въ феодальную зависимость.

Общій выводъ Монтескьё относительно извращенія различныхъ образовъ правленія заключается въ томъ, что извращеніе всякаго правительства есть, въ сущности, стремленіе его къ деспотизму. Этимъ опредѣляется отношеніе образовъ правленія къ свободѣ. Свобода вообще, говоритъ Монтескьё, не заключается въ возможности дѣлать все, что угодно. Въ государствѣ, то-есть, въ обществѣ, которое управляется законами, подъ именемъ свободы разумѣется возможность дѣлать то, что должно, и не быть принужденнымъ дѣлать то, чего не должно хотѣть. Другими словами: свобода есть право дѣлать то, что законы запрещаютъ, иначе его свобода сама собою бы уничтожилась, ибо всѣ другіе имѣли бы право дѣлать то же самое. Въ этомъ смыслѣ свобода не составляетъ преимущества республики передъ монархіей; она можетъ вовсе не быть въ республикѣ извращенной, хотя бы здѣсь власть принадлежала народу. Свобода существуетъ только въ умѣренныхъ правленіяхъ, гдѣ граждане болѣе или менѣе обезпечены противъ злоупотребленій власти. Вообще, свободу можно раздѣлить на два вида: на свободу политическую, которая относится къ государственному устройству, и на свободу личную, которая прилагается къ отдѣльнымъ гражданамъ. Первая является тамъ, гдѣ одна власть задерживается другой. Вѣчный опытъ человѣческаго рода показываетъ, что всякій человѣкъ, облеченный властью, стремится ею злоупотреблять, пока онъ не находитъ ей предѣловъ. Слѣдовательно, необходимы сдержки. А отсюда ясно, что политическая свобода обезпечивается единственно учрежденіями, которыми устанавливается раздѣленіе и взаимное равновѣсіе властей. Примѣромъ такого государственнаго устройства Монтескьё выставляетъ Англію, которая одна положила себѣ цѣлью осуществленіе политической свободы. Эта знаменитая глава объ англійской конституціи послужила основаніемъ конституціонному ученію въ западной Европѣ.

Власть, говоритъ Монтескьё, раздѣляется на законодательную, исполнительную и судебную. Всякій разъ, какъ двѣ изъ

нихъ соединяются въ одиѣхъ рукахъ, свободѣ грозитъ опасность. Соединеніе власти законодательной съ исполнительною даетъ облеченному ими лицу или политическому тѣлу возможность издавать тираническіе законы и затѣмъ самому тиранически исполнять ихъ. Соединеніе судебной власти съ законодательною ведетъ къ произволу судей; ибо самъ судья здѣсь законодатель, слѣдовательно, дѣлаетъ, что хочетъ. Наконецъ, соединеніе судебной власти съ исполнительною даетъ судѣ возможность быть притѣснителемъ. Въ умѣренныхъ монархіяхъ судебная власть предоставляется независимымъ тѣламъ или лицамъ, а потому здѣсь болѣе свободы, нежели въ деспотіяхъ и въ республикахъ, гдѣ всѣ три власти сосредоточиваются въ одиѣхъ рукахъ.

Для достиженія наилучшаго равновѣсія требуется устройство слѣдующаго рода: прежде всего, судебная власть не должна быть принадлежностью постоянной коллегіи, а должна ввѣряться лицамъ, временно избираемымъ изъ народа. Такимъ образомъ она становится почти невидимою и не возбуждаетъ опасеній.

Эти судьи должны быть равные подсудимому, которому, сверхъ того, для большей гарантіи, предоставляется право отводить изъ нихъ значительное число, такъ что остальные являются какъ бы выбранными имъ самимъ. Право заключать гражданъ въ тюрьму должно вообще оставаться принадлежностью судебной власти; иначе свобода опять исчезаетъ. Только въ чрезвычайныхъ случаяхъ законодательная власть можетъ временно облечь правительство этимъ правомъ. Такія мѣры бывають полезны, ибо онѣ устраняють необходимость имѣть постоянныхъ блюстителей безопасности, въ родѣ спартанскихъ эфоровъ или венеціанскихъ инквизиторовъ. Что касается до законодательной власти, то она естественно принадлежитъ народу, ибо каждый свободный человѣкъ долженъ управляться самъ собою. Но такъ какъ въ большихъ государствахъ собраніе всѣхъ гражданъ невозможно, и притомъ народъ, который въ состояніи сдѣлать хорошій выборъ, не способенъ самъ рѣшать дѣла, то избираются представители, на которыхъ возлагается составленіе законовъ и надзоръ за ихъ исполненіемъ. Эти двѣ задачи представительное собраніе можетъ исполнить, тогда какъ къ настоящему дѣйствию оно не способно. Право голоса при выборѣ представителей должны



имѣть всѣ граждане, исключая тѣхъ, которыхъ низкое положеніе лишаетъ самостоятельной воли. Но въ государствѣ есть всегда люди, возвышающіеся надъ другими рожденіемъ, богатствомъ, почетомъ. Если бы они поглощались общею массою, то свобода была бы для нихъ рабствомъ и перестала бы возбуждать въ нихъ какой бы ни было интересъ. Поэтому, надобно дать имъ въ законодательствѣ участіе, соразмѣрное съ ихъ положеніемъ. Это достигается тѣмъ, что изъ нихъ составляется особая аристократическая палата, которая можетъ сдерживать увлеченіе народа, такъ же какъ и народъ, въ свою очередь, воздерживаетъ личныя стремленія вельможъ. Такое устройство тѣмъ болѣе необходимо, что изъ трехъ, означенныхъ выше властей, судебная почти ничтожна. Остаются, слѣдовательно, двѣ, между которыми необходима третья, умѣряющая ихъ столкновенія. Таково именно значеніе аристократической палаты. Она должна быть наследственной, 1) по самой своей природѣ; 2) потому что ей нуженъ сильный интересъ для поддержанія своихъ правъ, которыя иначе, въ свободномъ государствѣ, всегда будутъ подвергаться опасности. Но чтобы она не могла жертвовать общею пользою своимъ частнымъ выгодамъ, въ денежныхъ дѣлахъ ей дается только право останавливать рѣшенія другой палаты, а отнюдь не дѣлать собственныхъ постановленій. Наконецъ, исполнительная власть должна находиться въ рукахъ монарха, 1) потому, что исполненіе, въ противоположность законодательству, лучше, когда имъ завѣдываетъ одно лицо, нежели когда оно вручается многимъ; 2) потому, что исполнительная власть, ввѣренная лицамъ, выбраннымъ отъ законодательнаго собранія, опять ведетъ къ соединенію двухъ властей въ однѣхъ рукахъ.

Каково же должно быть отношеніе раздѣленныхъ такимъ образомъ властей? Народные представители не всегда бываютъ въ сборѣ; это излишне и затруднительно, какъ для гражданъ, такъ и для исполнительной власти. Они не могутъ однако собираться по собственному изволенію, ибо собраніе тогда только имѣетъ волю, когда оно уже собрано. Притомъ, время сѣзда зависитъ отъ требованій дѣла, которыхъ судьей можетъ быть только исполнительная власть. Послѣдней, поэтому, должно быть предоставлено право собирать и распускать законодательное собраніе, а также, останавливать его рѣшенія; иначе законодатели могли бы все забрать въ свои руки и сдѣлаться

деспотами. Въ этомъ заключается участіе исполнительной власти въ законодательствѣ. Но законодательной власти невозможно предоставить такое же участіе въ исполненіи. Если бы она имѣла право налагать запретъ на дѣйствія исполнителей, то черезъ это остановились бы всѣ дѣла. Взамѣнъ того ей должно быть предоставлено право контролировать эти дѣйствія и наблюдать за исполненіемъ законовъ. Однако собраніе не можетъ требовать къ отвѣту самое лицо, облеченное исполнительною властью. Это опять поставило бы послѣднее въ полную зависимость отъ законодателей, что ведетъ къ деспотіи. Лицо верховнаго исполнителя должно быть священо и неприкосновенно. Но такъ какъ оно не можетъ дѣйствовать иначе, какъ черезъ министровъ, то послѣдніе могутъ быть привлечены къ отвѣту и подвергнуты наказанію, въ случаѣ злоупотребленій. Однако народные представители не могутъ сами судить министровъ, ибо они здѣсь являются обвинителями, и вообще они слишкомъ заинтересованы въ дѣлѣ. Невозможно предоставить судъ и обыкновеннымъ судилищамъ, которыя стоятъ слишкомъ низко и легко могутъ подчиняться вліянію высшей власти. Поэтому судъ долженъ быть предоставленъ той части законодательной власти, которая болѣе независима и безпристрастна, и которая притомъ занимаетъ середину между монархомъ и народомъ, то-есть аристократическому собранію. Опасность со стороны исполнительной власти особенно велика тѣмъ, что она располагаетъ деньгами и войскомъ. Слѣдовательно, здѣсь требуются особенныя гарантіи. Онѣ состоятъ въ томъ, что по этимъ предметамъ законодательная власть дѣлаетъ постановленія не постоянныя, а на годовые сроки. Кромѣ того, войско должно здѣсь сливаться съ народомъ. Это достигается или посредствомъ набора его единственно изъ зажиточныхъ состояній, или системою кратковременныхъ вербовокъ; наконецъ, если необходимо держать постоянное войско, набранное изъ низшихъ классовъ, то законодательное собраніе должно всегда имѣть право его распустить. Но подчинять войско собранію невозможно, ибо назначеніе арміи — дѣйствіе, а не сужденіе. Притомъ, это можетъ имѣть вредное вліяніе на самую законодательную власть, которая или сама сдѣлается военною, или подвергнется презрѣнію солдатъ. Поэтому, во главѣ войска должна стоять исполнительная власть.



Таковы отношенія трехъ властей. Задерживая другъ друга, онѣ, повидимому, говоритъ Монтескьё, должны бы прійти къ бездѣйствию; однако, такъ какъ силою вещей онѣ должны двигаться, то онѣ будутъ двигаться согласно. Эта система, прибавляетъ онъ, ведетъ свое происхожденіе отъ древнихъ германцевъ; она была изобрѣтена въ лѣсахъ. Впрочемъ, Монтескьё не выдаетъ ее за единственное устройство, при которомъ возможна свобода. Умѣренность и середина, говоритъ онъ, вообще приходятся людямъ болѣе, нежели крайности. Но всѣ умѣренныя правленія должны болѣе или менѣе приближаться къ этому идеалу; иначе они впадаютъ въ деспотизмъ.

Эта теорія конституціонной монархіи, которую въ первый разъ въ новое время развилъ Монтескьё, въ XVIII вѣкѣ получила почти безусловное одобреніе умѣренныхъ либераловъ. Впослѣдствіи она подверглась критикѣ, которая перѣдко заходила слишкомъ далеко. Нѣтъ сомнѣнія, что это ученіе страдаетъ существенными недостатками. Оно имѣетъ въ виду единственно огражденіе свободы, которое дается раздѣленіемъ властей. Между тѣмъ государственная цѣль требуетъ единства въ управленіи; какимъ же образомъ достигается послѣднее? На это у Монтескьё нѣтъ отвѣта. Его замѣчаніе, что всѣ три власти должны двигаться согласно, потому что онѣ не могутъ стоять на мѣстѣ, болѣе остроумно, нежели серьезно. Въ дѣйствительности въ конституціонныхъ государствахъ это единство водворяется парламентскимъ правленіемъ, то-есть назначеніемъ министровъ изъ большинства народныхъ представителей. Но этотъ способъ управленія окончательно установился только въ XIX столѣтіи. Въ XVIII вѣкѣ парламентское правленіе замѣнялось въ Англіи взаимною связью знатныхъ домовъ, стоявшихъ во главѣ государства, что такъ же было упущено изъ виду Монтескьё. Слѣдуя болѣе умозрительнымъ выводамъ, нежели опыту, онъ не замѣтилъ того значенія, которое имѣлъ въ политическомъ строѣ Англіи этотъ тѣсный аристократическій кружокъ, господствовавшій въ законодательныхъ палатахъ и державшій въ своихъ рукахъ исполнительную власть. Нѣтъ сомнѣнія однако, что такое олигархическое правленіе было совмѣстно съ свободою единственно въ силу того, что аристократія находила задержки въ другихъ элементахъ. Гарантіи свободы заключались все-таки въ раз-

дѣленіи властей, и въ этомъ Монтескьё былъ совершенно правъ.

Другой важный недостатокъ этого ученія состоитъ въ неправильномъ приложеніи начала раздѣленія властей къ тройкому раздѣленію отраслей власти. Независимая судебная власть несомнѣнно доставляетъ самыя существенныя гарантіи свободъ, но гораздо болѣе личной, нежели политической. Она занимаетъ въ государствѣ подчиненное мѣсто, и ея независимость не должно смѣшивать съ раздѣленіемъ самой верховной власти. Монтескьё хотѣлъ подвести всѣ политическія гарантіи подъ одну рубрику и вслѣдствіе того неправильно смѣшалъ посредствующія, но подчиненныя тѣла, задерживающія дѣйствія власти даже въ самыхъ сосредоточенныхъ правленіяхъ, съ тѣми тѣлами, которыя образуются вслѣдствіе распредѣленія верховной власти по различнымъ органамъ. Но въ этомъ случаѣ ошибка въ приложеніи теоріи исправляется самымъ дальнѣйшимъ ея развитіемъ. Излагая устройство конституціонной монархіи, Монтескьё прямо говоритъ, что судебная власть должна быть совершенно ничтожна; онъ отрицаетъ у нея всякое политическое значеніе и ставитъ ее такъ низко, такъ мало полагается на ея независимость, что не даетъ ей права судить министровъ за злоупотребленія власти. Роль посредника при столкновеніи высшихъ властей предоставляется другому элементу, самостоятельно участвующему въ законодательствѣ и занимающему середину между монархомъ и народомъ. Такимъ образомъ, въ сущности, по ученію Монтескьё, тѣ три власти, на которыя раздѣляется правленіе, вовсе не законодательная, исполнительная и судебная, а монархическая, аристократическая и демократическая. Все, что можно сказать, это то, что одной изъ нихъ предоставляется, главнымъ образомъ, исполненіе, а другимъ преимущественно законодательство. Изъ этого ясно, что точка зрѣнія Монтескьё совершенно совпадаетъ съ ученіемъ Полибія. Основная мысль у обоихъ одна и та же: необходимость раздѣленія политической власти между независимыми, воздерживающими другъ друга тѣлами. У обоихъ основными элементами этого раздѣленія являются монархія, аристократія и демократія. Ошибка Монтескьё заключается въ не совсѣмъ вѣрномъ приложеніи этихъ началъ къ различнымъ отраслямъ верховной власти; но эта ошибка исправляется имъ самимъ. Съ другой стороны,



значительное преимущество новаго публициста передъ древнимъ состоитъ въ несравненно полнѣйшемъ развитіи общихъ основъ началъ. Въ древнихъ республикахъ монархическій элементъ если и существовалъ, то имѣлъ слишкомъ ничтожное значеніе, поэтому теорія раздѣленія властей не могла найти въ нихъ полнаго приложенія. Въ Римѣ, на который указывалъ Полибій, было въ сущности только два элемента, вѣчно враждовавшіе другъ съ другомъ. Вслѣдствіе того, ученіе Полибія являлось у него болѣе теоретическою мыслью, нежели выводомъ изъ дѣйствительности. У новыхъ народовъ, въ силу историческихъ обстоятельствъ, всѣ три элемента развились самостоятельно. Вездѣ они долго боролись другъ съ другомъ. Въ Англіи, при счастливыхъ условіяхъ жизни, они пришли, наконецъ, къ соглашенію и выработали общее устройство, въ которомъ каждый занималъ подобающее ему мѣсто. Монтескьё имѣлъ такимъ образомъ передъ глазами образецъ, въ которомъ теоретическая мысль древнихъ находила полное свое осуществленіе. Онъ описалъ этотъ образецъ, сопоставилъ его съ требованіями теоріи, указалъ на значеніе различныхъ его частей, изслѣдовалъ необходимыя ихъ отношенія, и такимъ образомъ возвелъ конституціонную монархію на степень всемірнаго идеала для огражденія свободы.

Гораздо менѣе удовлетворительны изслѣдованія его о законахъ, охраняющихъ личную свободу гражданъ. Однако и здѣсь у него разсыяно множество мѣткихъ замѣчаній. Личная свобода, по опредѣленію Монтескьё, заключается въ безопасности или въ увѣренности человѣка въ своей безопасности. Это опредѣленіе, очевидно, слишкомъ тѣсно; здѣсь берется одна только сторона личной свободы, а не вся совокупность правъ, изъ нея вытекающихъ. Этотъ видъ свободы, продолжаетъ Монтескьё, зависитъ не отъ однихъ политическихъ законовъ, но также и отъ способа ихъ приложенія, отъ законовъ гражданскихъ, отъ нравовъ, отъ примѣровъ. Конституція можетъ быть либеральная, а личной свободы можетъ не быть въ странѣ, и наоборотъ, гражданинъ можетъ чувствовать себя лично свободнымъ, даже когда нѣтъ свободы въ политическихъ учрежденіяхъ. Болѣе всего личная свобода зависитъ отъ законовъ уголовныхъ, ибо безопасность скорѣе всего нарушается произвольными обвиненіями и наказаніями. Высшее торжество свободы въ этомъ отношеніи состоитъ въ томъ, чтобы ка-

ждое наказаніе соразмѣрялось съ преступленіемъ. Тогда исчезаетъ всякій произволъ, и наказаніе зависитъ не отъ каприза власти, а отъ самой сущности вещей. Такъ, религіозныя преступленія должны подвергаться религіознымъ наказаніямъ; преступленія противъ нравовъ должны имѣть послѣдствіемъ лишеніе тѣхъ правъ и преимуществъ, которыя сопряжены съ чистотою нравовъ и т. п. Но одни помыслы, не переходящіе въ дѣйствіе, ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ преслѣдованію; иначе исчезаетъ свобода человека. Вообще, надобно быть крайне осторожнымъ въ преслѣдованіи преступленій, которыхъ опредѣленіе зависитъ отъ произвола. Таковы колдовство и ересь. Подобныя обвиненія — самыя губельныя для свободы, ибо они подають поводъ къ безчисленнымъ притѣсненіямъ. Столь же опасны и неопредѣленные законы объ оскорбленіи величія; тамъ, гдѣ они существуютъ, правленіе неизбѣжно превращается въ деспотизмъ. Всего хуже когда люди обвиняются въ оскорбленіи величія за образъ мыслей или за неосторожныя выраженія. Даже сочиненія тогда только должны подводиться подъ эти законы, когда они прямо взываютъ къ преступленіямъ этого рода. Иначе въ государствѣ водворяется произволъ, а за произволомъ слѣдуетъ деспотизмъ. Въ монархіи, въ особенности, свобода всего болѣе подвергается опасности вслѣдствіе произвольныхъ показаній. Такъ, нѣтъ ничего хуже установленія особыхъ комиссаровъ для суда надъ частными лицами; это не приноситъ пользы князю, а между тѣмъ этимъ устанавливается судебный произволъ. Въ благоразумной монархіи не слѣдуетъ прибѣгать и къ шпіонству. Гражданинъ исполнилъ свою обязанность, когда онъ сохраняетъ вѣрность закону; домъ его долженъ оставаться неприкосновеннымъ. Шпіонство тѣмъ вреднѣе, что орудіями его могутъ быть только люди самого низкаго разряда. Не слѣдуетъ допускать и тайныхъ обвиненій; когда обвиненіе дѣлается во имя общественнаго блага, оно должно быть предъявлено не князю, на котораго легко дѣйствовать, а установленнымъ судамъ. Вообще, хорошіе уголовные законы могутъ внести нѣсколько свободы даже и въ деспотическое правленіе.

Разсмотрѣвши отношенія законовъ къ политическому быту, Монтескьё переходитъ къ изслѣдованію связи ихъ съ естественными условіями страны. Здѣсь прежде всего представляется вопросъ о вліяніи климата на учрежденія. Ссылаясь



на нѣкоторыя слишкомъ поверхностныя, а иногда и странныя наблюденія, Монтескьё воздвигаетъ теорію климатовъ, въ основаніи весьма сходную съ воззрѣніями Аристотеля и Бодена. Такъ же, какъ и его предшественники, онъ утверждаетъ, что у сѣверныхъ народовъ больше силы, храбрости, но меньше впечатлительности, нежели у южныхъ; послѣдніе, напротивъ, отличаются изнѣженностью, робостью, лѣнью, но вмѣстѣ съ тѣмъ тонкостью чувствъ и силою страстей. Эти различныя свойства имѣютъ вліяніе на жизненныя потребности, на нравы, а потому и на законы. Однако, замѣчаетъ Монтескьё, хорошій законодатель не тотъ, который своими уставами поддерживаетъ дурное дѣйствіе климата, а напротивъ, тотъ, кто старается ему противоборствовать...

Въ зависимости отъ естественныхъ условій находятся нравы и духъ народа, къ которымъ законы всегда должны примѣняться; иначе они не достигнутъ своей цѣли. Для совершеннѣйшихъ законовъ необходимо, чтобы умы были къ нимъ приготовлены. Самая свобода, говоритъ Монтескьё, кажется иногда невыносимою народамъ, къ ней непривыкшимъ; такъ чистый воздухъ бываетъ вреденъ жителямъ болотныхъ странъ. Вообще, законодатель долженъ слѣдовать духу народа, ибо люди лучше дѣлаютъ то, что они дѣлаютъ добровольно. Природа сама все исправляетъ; даже пороки нерѣдко сами въ себѣ заключаютъ себѣ противодѣйствіе. Если же нужно измѣнить нравы, то лучше дѣлать это не законами, что было бы тираніей, а съ помощью другихъ нравовъ противоположнаго свойства. Особенно въ деспотическихъ правленіяхъ опасно касаться установленныхъ обычаевъ. Послѣдніе занимаютъ здѣсь мѣсто законовъ; подданные тѣмъ болѣе дорожатъ ими, что подъ правленіями этого рода люди всего менѣе склонны къ перемѣнамъ въ жизни. Но, съ другой стороны, самые нравы вырабатываются подъ вліяніемъ законовъ. Для примѣра Монтескьё чертитъ весьма тонкое изображеніе нравовъ англичанъ, выводя ихъ изъ господствующаго у нихъ начала политической свободы.

Затѣмъ онъ разсматриваетъ отношенія законовъ къ торговлѣ, къ монетѣ, къ числу жителей. Все это имѣетъ мало интереса для политики...

Наконецъ, изобразивши, въ видѣ эпизодовъ, исторію наслѣдственныхъ законовъ у римлянъ и гражданскихъ законовъ

у франковъ, Монтескьё излагаетъ свои мысли насчетъ способа составленія законовъ. Духъ законодателя, говоритъ онъ, какъ ясно изъ всего предыдущаго, долженъ быть духъ умѣренности. Политическое благо, такъ же какъ и нравственное, находится между двумя крайностями. Законы должны быть точны, ясны, отнюдь не слишкомъ утонченны или подробны безъ нужды. Не надобно мѣнять ихъ, когда нѣтъ въ томъ необходимости; наконецъ, не слѣдуетъ стремиться къ возможно-большему однообразію въ законодательствѣ. „Есть извѣстныя идеи однообразія, говоритъ Монтескьё, которыя иногда охватываютъ великіе умы, но всегда неизбѣжно поражаютъ малые. Послѣдніе находятъ въ нихъ извѣстнаго рода совершенство, которое ими признается, потому что невозможно его не видѣть: одинакіе вѣсы въ полицейской администраціи, одинакія мѣры въ торговлѣ, одинакіе законы въ государствѣ, одна и та же религія во всѣхъ его частяхъ. Но всегда ли, безъ исключенія, это умѣстно? Зло, произтекающее отъ насильственной переменъ, всегда ли меньше зла, производимаго страданіемъ? Сила генія не заключается ли скорѣе въ томъ, чтобы знать, въ какихъ случаяхъ нужно однообразіе, и въ какихъ умѣстны различія?“

Послѣднюю часть своего сочиненія, составляющую какъ бы придатокъ, Монтескьё посвящаетъ изложенію историческаго развитія феодальныхъ учрежденій, которыя, устанавливая повсюду самостоятельныя тѣла, сдѣлались источникомъ политической свободы въ западной Европѣ.

Таково содержаніе этого замѣчательнаго творенія, которое, вмѣстѣ съ произведеніями Аристотеля и Макиавелли, занимаетъ первенствующее мѣсто въ политической литературѣ всѣхъ временъ. Стоя на почвѣ индивидуализма, имѣя въ виду, главнымъ образомъ, охраненіе свободы, Монтескьё не поддавался естественному стремленію сдѣлать свободу началомъ и концомъ всего государственнаго быта. Онъ видѣлъ, что избытокъ свободы можетъ быть столь же вреденъ, какъ и недостатокъ, а потому старался возвести ее къ тѣмъ общимъ законамъ и условіямъ, которыя, сдерживая ее въ предѣлахъ умѣренности, одни въ состояніи дать ей прочность и силу. Эти условія онъ видѣлъ въ существованіи независимыхъ тѣлъ, служащихъ другъ другу задержкой. Эту мысль, которая въ древности была приложена единственно къ устройству верховной



власти, Монтескьё развилъ во всѣхъ подробностяхъ, въ при-  
мѣненіи къ различнымъ образамъ правленія. Вездѣ онъ ука-  
зывалъ на то важнѣйшее въ политикѣ правило, что излишняя  
сосредоточенность власти, въ чьихъ бы то ни было рукахъ,  
самодержца или большинства, всегда вредна для государства  
и грозитъ опасностью гражданамъ. Поэтому, въ самой мо-  
нархіи основное начало мудраго правленія состоитъ въ ува-  
женіи къ самостоятельнымъ тѣламъ и лицамъ. Всякое прави-  
тельство, старающееся чрезмѣрно усилить свое собственное  
начало и подавить другіе элементы, идетъ къ деспотизму.  
Такимъ образомъ, кореннымъ правиломъ государственной  
жизни должно быть соблюденіе умѣренности, истекающей изъ  
взаимнаго уваженія самостоятельныхъ политическихъ элемен-  
товъ. Эти глубокіе взгляды на политику должны дѣлать сочи-  
неніе Монтескьё настольною книгою всѣхъ правителей, какъ  
самодержавныхъ, такъ и демократическихъ. Никто, ни прежде  
него, ни послѣ, не указывалъ такъ тонко и отчетливо на тѣ  
поползновенія къ деспотизму, которымъ такъ легко поддаются  
власти, не знающія границъ. Отправляясь отъ теоретическихъ  
началъ, Монтескьё не всегда вѣрно подбиралъ къ нимъ факты,  
но мысль у него всегда тонкая или глубокая. Нельзя не за-  
мѣтить однако, что, обративъ вниманіе преимущественно на  
необходимость самостоятельныхъ политическихъ элементовъ,  
онъ упустилъ изъ виду то, что нужно для дружнаго ихъ дѣй-  
ствія во имя общей цѣли. Извѣстное сосредоточеніе власти  
всегда необходимо въ государствѣ, а есть эпохи и условія,  
когда оно становится преобладающею потребностью. Монтескьё  
этого не отрицалъ: проповѣдуя умѣренность, онъ одинаково  
отвергалъ крайности, какъ единодержавія, такъ и свободы.  
Но занятый исключительно извѣстною мыслью, онъ все осталь-  
ное оставилъ въ сторонѣ. Задержки и раздѣленіе властей —  
вотъ вся сущность его взглядовъ. Въ этомъ проявляется, безъ  
сомнѣнія, односторонность индивидуалистической точки зрѣнія.  
Поэтому его сочиненіе, при всѣхъ огромныхъ своихъ достоин-  
ствахъ, далеко не исчерпываетъ всего содержанія государ-  
ственной жизни.

*Чичеринъ.*

## Англійскіе деісты XVII столѣтія.

Подъ именемъ деизма разумѣютъ, какъ извѣстно, тѣ ученія, которыя утверждаютъ существованіе Бога въ противоположность къ созданному имъ міру, отрицая однакожъ всякое сверхъестественное откровеніе его людямъ и допуская, какъ единственный способъ постиженія его, изученіе его твари, т.-е. природы. Это постиженіе, слѣдовательно, не есть непосредственное, а вытекаетъ изъ приложенія къ предметнымъ явленіямъ закона причины и слѣдствія. Деизмъ такимъ образомъ составляетъ противоположность какъ пантеизму, отождествляющему творца съ тварью, такъ и атеизму, который останавливается на послѣдней и за нею не видитъ другой творческой причины. Съ другой стороны, деизмъ, отвергая откровеніе, которое лежитъ въ основаніи положительной религіи, отрицаетъ и послѣднюю. Для него всѣ тѣ формы, въ которыхъ при данныхъ историческихъ условіяхъ выработалась конкретнымъ образомъ идея божества — идея, которую онъ, взятую отвлеченно, признаетъ за продуктъ не только психологической, но и логической, или вѣрнѣе говоря, метафизической необходимости — представляютъ не что иное, какъ произволь и вымыселъ. Достигнувъ зрѣлости, человѣческій разумъ долженъ ихъ отвергнуть, долженъ освободиться отъ налагаемыхъ ими оковъ, иначе говоря, стать въ рѣшительную оппозицію. Отсюда ясно, что деизмъ, хотя по идеѣ своей стоитъ въ серединѣ между религіею и атеистическою и пантеистическою философіею, на дѣлѣ относится къ ней гораздо болѣе враждебно, чѣмъ послѣднія. Какъ атеистическія, такъ и пантеистическія воззрѣнія очень легко мирятся съ извѣстными аллегоріями, которыя въ состояніи дать достаточный матеріалъ для положительнаго вѣрованія. Доказательствомъ тому служатъ всѣ религіи, признающія многобожіе, потому что всѣ онѣ въ корнѣ своемъ могутъ быть сведены на пантеистическое или атеистическое міросозерцаніе. Для деизма же такая аккомодация, по самой идеѣ его, невозможна. Онъ составляетъ протестъ человѣческаго разсудка противъ идей, навязываемыхъ ему изъ неразумной области, все равно, служить ли источникомъ ихъ художественная фантазія, или міръ чувствъ и настроеній, или же, наконецъ, чисто внѣшній авторитетъ, напр. авторитетъ церкви.



Во главѣ энциклопедистовъ стоитъ знаменитый канцлеръ Якова I Бэконъ, мыслитель, который, какъ немногіе, можетъ считаться типичнымъ представителемъ какъ своего народа, такъ и своего времени. Утилитарность и практичность — безспорно господствующія черты въ характерѣ англосаксовъ — составляютъ отличительный признакъ и научныхъ стремленій Бэкона. Оппозиція обветшалымъ авторитетамъ, которыхъ давно уже переросло современное ему человѣчество, дѣлаетъ его представителемъ времени, къ которому онъ относится. Это время являетъ нерѣдко повторяющійся въ исторіи разладъ между наукою и практическою жизнью, но въ такой формѣ, въ какой онъ, быть можетъ, нигдѣ болѣе въ исторіи не встрѣчается. Жизнь тогда опередила науку. Промышленность, торговля, мореплаваніе сдѣлали успѣхи, которые въ практическомъ отношеніи далеко выдвинули европейскіе народы въ концѣ XII вѣка за тотъ уровень, на которомъ находились древніе. А между тѣмъ наука собственно, преподаваніе въ университетахъ, занятія записныхъ ученыхъ — все еще вращались въ тѣсномъ кругу, начертанномъ придворными академиками Птолемеями. Бэконъ созналъ эту отсталость науки, оцѣнилъ ея происшедшую отсюда безплодность и въ разсужденіи ея сдѣлалъ то, что въ разсужденіи религіи было сдѣлано реформаціею. Такъ точно, какъ Кальвинъ и Лютеръ возстали противъ авторитета недостаточно оправданныхъ преданій и, такъ сказать, апеллировали отъ нихъ къ настоящимъ источникамъ религіозной догматики, къ тексту свящ. Писанія, такъ Бэконъ вооружился противъ авторитета древней науки, требуя повѣрки ея помощью тѣхъ способовъ къ познанію, которые находятся въ распоряженіи каждаго, опыта и наблюденія. На сколько это требованіе было отнесено имъ къ доступнымъ опыту объектамъ знанія, Бэконъ болѣе чѣмъ основатель философской системы; онъ преобразователь цѣлой половины человѣческой науки, и вліяніе, имъ оказанное, продолжается и будетъ продолжаться, пока не остановится работа человѣческой мысли. Его значеніе тутъ нисколько не уменьшается тѣмъ, что онъ самъ не сумѣлъ воспользоваться собственными наставленіями, что въ тѣхъ частяхъ его *Instaurationis magnae*, которыя трактуютъ объ отдѣльныхъ явленіяхъ природы для того, чтобы представить образчикъ приложенія къ дѣлу формулированный имъ „индуктивной методы“, есть множество

промаховъ, вызвавшихъ даже прямое обвиненіе въ научной недобросовѣстности. Но Бэконъ не удовольствовался ролью реформатора положительной науки. Онъ сдѣлался кромѣ того и основателемъ, или, вѣрнѣе говоря, родоначальникомъ философской системы, раздѣлившей, конечно, участь всѣхъ другихъ системъ, т.-е. допустившей въ своихъ положеніяхъ произвольнѣе, нѣсколько не меньшій, чѣмъ тотъ, въ которомъ онъ самъ обвинялъ другихъ. Возстановленіе правъ опытнаго знанія составляетъ заслугу его; узурпація въ его пользу — ошибку, которая подъ руками менѣе осторожныхъ мыслителей должна была повести къ роковымъ послѣдствіямъ. Эта узурпація заключается въ провозглашеніи опыта единственнымъ источникомъ истины, въ положеніи, что внѣ наблюденія и индукціи нѣтъ путей къ знанію. Отсюда произошло то, что индуктивная метода была приложена и къ такимъ объектамъ знанія, въ разсужденіи коихъ она, безъ помощи другихъ пріемовъ мышленія, должна остаться безплодною. И почти можно сказать, что степень ея приложимости къ извѣстному предмету въ глазахъ Бэкона служила мѣриломъ его научнаго достоинства. Этимъ объясняется то, повидимому, странное нерасположеніе, которое онъ, естествоиспытатель, питалъ къ математикѣ, не допускающей другой обработки, кромѣ спекулятивной. Забывая о томъ, что даже нѣкоторыя естественныя науки не могутъ обойтись безъ идеи о цѣли и средствахъ, которая, конечно, не дается никакою индукціею, Бэконъ выставилъ требованіе, ему самому показавшееся смѣлымъ, разрабатывать и чисто гуманитарныя науки — мораль, политику, исторію какъ части естествовѣдѣнія и при помощи однихъ индуктивныхъ пріемовъ. Если бы это требованіе ограничилось тѣмъ, что естественно-научный взглядъ долженъ служить однимъ изъ моментовъ при построеніи названныхъ предметовъ, то это безъ всякаго сомнѣнія было бы справедливо. Труды Бокля и успѣхи современной лингвистики показываютъ, какихъ обильныхъ результатовъ можетъ достигнуть удачное пользованіе этимъ моментомъ. Но сдѣлать его исключительнымъ значить впадать въ утрировку, которая, какъ показываетъ примѣръ того же Бокля, служить сама по себѣ наказаніемъ. Въ такую утрировку впалъ и Бэконъ, настаивая на отождествленіи всѣхъ наукъ съ естествовѣдѣніемъ: въ ней должно упрекнуть его



последователей, пытавшихся исполнить на практикѣ выставленное имъ требованіе.

Итакъ, Бэкону въ исторіи человѣческаго мышленія принадлежитъ двоякое значеніе. Прежде всего онъ могучій двигатель положительныхъ знаній, потому что указалъ путь къ ихъ расширенію. Затѣмъ онъ основатель философской системы, представлявшей опытъ, какъ въ формѣ простого наблюденія, такъ и намѣреннаго эксперимента, какъ единственный источникъ вообще истины. Не трудно убѣдиться, что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ оказалъ могучее содѣйствіе деистическимъ стремленіямъ. Какъ ученый, онъ оказалъ наукѣ не меньшую услугу чрезъ свою оппозицію несостоятельнымъ авторитетамъ, чрезъ свою неумолимую полемику противъ непогрѣшительности науки древнихъ, чѣмъ чрезъ указаніе индуктивной методы: авторитеты же, къ какой бы категоріи ни принадлежали, солидарно связаны между собою; расшатать одинъ изъ нихъ — значитъ расшатать всѣ прочіе. Ратуя противъ Аристотеля, Бэконъ, быть можетъ, самъ не сознавая и не желая этого, возсталъ противъ господствовавшихъ въ его время политическихъ и религіозныхъ воззрѣній и тѣмъ прокладывалъ дорогу деизму. Но еще болѣе и непосредственнѣе служилъ онъ последнему чрезъ свое философское ученіе: „Нѣтъ знанія, кромѣ опытнаго знанія: слѣдовательно, нѣтъ и истинъ помимо тѣхъ, которыя свидѣлствуются опытомъ, слѣдовательно, нельзя принимать свидѣтельство вѣры, не основанной на не подлежащемъ никакому сомнѣнію фактѣ“. Гдѣ же при такомъ взглядѣ можетъ найтись мѣсто для какого угодно догмата?

Существованіе въ англійскомъ обществѣ тѣхъ партій, которыя мы встрѣчаемъ въ немъ въ первой половинѣ XVII вѣка, предполагаетъ въ немъ высокую степень напряженности религіознаго чувства. А это условіе наименѣе благопріятно распространенію деистическихъ воззрѣній, сущность которыхъ вѣдь именно состоитъ въ перенесеніи религіи изъ области чувства на разсудочную почву. Тѣмъ не менѣе справедливо, что если философія Бэкона можетъ быть уподоблена сѣмени, изъ котораго выросъ деизмъ XVII и XVIII столѣтій, то революція, окончившаяся изгнаніемъ Стюартовъ, составляетъ почву, гдѣ это сѣмя нашло обильную пищу для своего развитія.

Передового дѣятеля, или, это будетъ вѣрнѣе, предвозвѣст-

ника въ это время англійскій деизмъ нашелъ въ лицѣ современника и друга Бэкона, лорда Герберта Чербюрійскаго.

Чтобы составить себѣ сужденіе о религіозныхъ воззрѣніяхъ Герберта, оба его сочиненія (Объ истинѣ и О религіи язычниковъ) надобно разсматривать вмѣстѣ, какъ одно цѣлое, первая часть котораго ставитъ себѣ задачею выяснитъ нѣкоторыя общія положенія, тогда какъ вторая представляетъ какъ бы приложеніе ихъ къ болѣе частному вопросу. Въ книгѣ *De veritate* Гербертъ старается показать, чѣмъ вообще истина отличается отъ заблужденія и какъ распознать ее; въ книгѣ *De religione gentilium* — пользуется полученнымъ результатомъ для того, чтобы опредѣлить, насколько основательны, т.-е. истинны, общечеловѣческія религіозныя убѣжденія, насколько онѣ искажены вымыслами и каковы источники послѣднихъ.

Положеніе, занимаемое Гербертомъ въ религіозныхъ вопросахъ, характеризуется тѣмъ, что человѣческій разумъ выставляется имъ и въ дѣлахъ вѣры какъ высшая инстанція, отъ которой не допускается апелляція. Предписываемый разумомъ нравственный образъ жизни вполне достаточенъ для душеспасенія и избавляетъ отъ необходимости прибѣгать къ средствамъ, предписываемымъ откровеніемъ. Откровенная религія хороша для того, для кого она есть именно таковая, но она теряетъ всякую обязательность для лица, наслѣдовавшаго ее, такъ сказать, только историческимъ путемъ. Далѣе этихъ положеній не можетъ идти никакой деизмъ, такъ что уже въ первомъ представителѣ его въ Англіи мы находимъ послѣдній результатъ, до котораго вообще онъ можетъ быть доведенъ. У послѣдующихъ мыслителей того же направленія встрѣтятся отличія въ частностяхъ, въ способѣ разсужденій, въ тонѣ, въ которомъ ведутся они, — мы найдемъ, что они не пренебрегаютъ и оружіемъ насмѣшки и ироніи — но не въ послѣднихъ выводахъ. Сочиненія Герберта представляютъ намъ деизмъ уже совершенно готовымъ, родившимся, такъ сказать, въ панопліи, какъ Манерва родилась изъ головы Юпитера. О внутреннемъ развитіи его, строго говоря, не можетъ быть рѣчи.

А тѣмъ не менѣе это лишь зародышъ его. Такое обозначеніе относится къ Гербертову деизму не какъ къ философскому ученію — какъ таковое онъ, повторяю, законченъ — а какъ къ моменту въ умственной жизни англійскаго общества.



Въ послѣднемъ онъ былъ далекъ отъ того, чтобы найти тотчасъ то сочувствіе, которое обезпечило бы за нимъ большое практическое значеніе. Напротивъ общественные интересы англичанъ въ области религіи при Гербертѣ сосредоточивались на совершенно иныхъ вопросахъ. Разсужденія о мелочахъ богослуженія, объ одѣяніи священниковъ, объ употребленіи свѣчей и ладана были гораздо важнѣе, чѣмъ спекуляція, передъ которою всѣ эти подробности теряли всякое значеніе. Почва еще не была достаточно подготовлена для нея. Сѣмя брошено, но оно пока лежитъ мертвымъ, не пускаетъ корня, не приносить плода. Для роста его необходимо разрыхленіе земли, то сильное потрясеніе англійскаго общества, которое извѣстно подъ именемъ великаго мятежа — the great rebellion — та нравственная пустота, которая была плодомъ его и характеризуетъ собою весь періодъ Реставраціи.

Значеніе факта въ умственной жизни народа почти всегда опредѣляется силою вызываемыхъ имъ протестовъ. Рѣдко случается такъ, что какая-нибудь новая мысль или новое воззрѣніе находитъ общество столь подготовленнымъ, что принимаются имъ безъ возраженій. Если это бываетъ, то подобная мысль не можетъ въ строгомъ смыслѣ называться новою: новая лишь форма, въ которой она выразилась; содержаніе же ея уже было готовымъ. хотя, быть можетъ, не вполне сознательнымъ въ умахъ современниковъ. И съ этой стороны сочиненія Герберта являются мало значительными для того времени, когда они появились на свѣтъ. На нихъ почти не было обращено вниманіе. Отчасти, быть можетъ, въ этомъ виновато то, что они были написаны по-латыни и слѣдовательно недоступны массѣ; но едва ли это обстоятельство вполне объясняетъ встрѣченное ими равнодушіе. Оно не мешало напр. Бэкону сдѣлаться тотчасъ популярнымъ не только въ Англіи, но и въ цѣлой Европѣ. Къ тому же не одна масса, и люди науки едва замѣтили Герберта. по крайней мѣрѣ, не остановились на его деизмѣ. Локкъ упоминаетъ о немъ, но лишь по поводу выставленной имъ теоріи познанія и оставляя безъ вниманія тѣ положенія, которые относятся къ критикѣ вѣры. Гассанди, личный пріятель Герберта, посвятилъ оцѣнкѣ его сочиненій цѣлое посланіе, *Epistola ad librum Eduardi Herberti Angli de veritate*, но также упустилъ изъ виду положеніе, занятое имъ въ разсужденіи положительной религіи.

Предметомъ полемики собственно религіозныя воззрѣнія Герберта сдѣлались только гораздо позже, когда указанное имъ направленіе пріобрѣло силу и сдѣлалось общественнымъ двигателемъ. Не ранѣе конца XVII столѣтія цеховые защитники вѣры замѣтили опасность, угрожавшую отъ его воззрѣній, и подняли голосъ противъ нихъ. Тогда надъ ними разразились и возраженія, и опроверженія, и голословная брань, и порицанія.

Первое практическое слѣдствіе переворота, совершившагося въ Англіи въ срединѣ XVII вѣка, заключалось во всеобщемъ нерасположеніи къ виновникамъ этого переворота и къ тѣмъ идеямъ, которыя служили ихъ двигателями. Оно и понятно, потому что вся эта борьба слишкомъ дорого обошлась народу, чтобы по окончаніи ея не цѣнить выше всего миръ и спокойствіе. Всякое чрезмѣрное напряженіе силъ влечетъ за собою усталость и утомленіе, которое на время можетъ принять даже видъ настоящаго обезспленія и показаться упадкомъ поверхностному наблюдателю. Такъ послѣ февральской революціи и вызванныхъ ею политическихъ и соціальныхъ экспериментовъ, наполеоновскій *coup d'état* 2-го декабря встрѣтилъ одобреніе и сочувствіе далеко не со стороны однихъ бонапартистовъ, а со стороны большинства французскаго народа. Такъ бываетъ и вездѣ при подобныхъ обстоятельствахъ, и въ этомъ заключается весь секретъ силы и могущества, принадлежащаго на первыхъ порахъ всякой реакціи и реставраціи старыхъ, въ дѣйствительности давно пережитыхъ и не имѣющихъ корня въ обществѣ, порядковъ.

Въ Англіи же эта утомленность, возвратившая Карлу II престолъ его предковъ, выразилась въ истощеніи нравственныхъ силъ народа, которое усматривается почти во всѣхъ отрасляхъ его дѣятельности. Литература, это зеркало, въ которомъ лучше всего отражаются всѣ біенія народной жизни, представляетъ почти ту же картину упадка и внутренняго расслабленія, которую мы видимъ во французской литературѣ второй имперіи. И этотъ упадокъ усматривается не только вообще въ ней, но даже въ произведеніяхъ отдѣльныхъ личностей, въ томъ смыслѣ, что одинъ и тотъ же писатель, который сегодня создаетъ безсмертное твореніе, черезъ нѣсколько лѣтъ, хотя еще далекій по возрасту отъ предѣловъ, полагаемыхъ природою человѣческимъ способностямъ, являетъ лишь тѣнь своего прежняго творчества — явное доказательство



того, что и самая, повидимому, личная дѣятельность недѣлимаго, какова напр. поэзія, все-таки тысячею невидимыхъ нитей связана съ дѣятельностью и жизнью, окружающею его общество. — Въ то самое время, когда въ англійской исторіи разыгрался эпизодъ, который можно назвать высшею поэзіею дѣйствія, по глубинѣ затронутыхъ имъ чувствъ и силѣ возбужденныхъ страстей, Мильтонъ написалъ свой „Потерянный рай“ — поэму, которая всегда будетъ занимать почетное мѣсто въ исторіи литературы всѣхъ временъ и народовъ. Но какое громадное разстояніе между этимъ произведеніемъ и „Возвращеннымъ раемъ“ (Paradise regained) того же Мильтона, который появился менѣе, чѣмъ черезъ десять лѣтъ послѣ перваго, но уже при совершенно иныхъ обстоятельствахъ, среди совершенно измѣнившагося общества. Впрочемъ въ Paradise regained по гладкости стиха, чистотѣ языка и художественности описаній все-таки еще можно узнать творца Paradise lost, хотя и обезсиленнаго и упадшаго: зато какъ безконечно ниже его писатели собственно раставраціи, какою убійственною прозою дышатъ даже тѣ произведенія ихъ, въ коихъ онъ служилъ образцомъ, какъ напр. „Давиденда“ Коулея. Это не что иное, какъ рѣмованная (не оконченная впрочемъ) исторія Давида, не заключающая въ себѣ даже тѣхъ второстепенныхъ красотъ языка и выраженій, которыя встрѣчаются мѣстами въ мелкихъ лирическихъ произведеніяхъ того же самаго поэта. Тѣмъ не менѣе у современниковъ своихъ онъ слылъ свѣтиломъ, соединяющимъ въ себѣ достоинства Пиндара, Виргилія и Горация. Вообще оригинальности, глубины чувства, силы — однимъ словомъ того, что составляетъ поэзію, мы напрасно стали бы искать въ литературныхъ памятникахъ Англіи, относящихся къ царствованію Карла и Якова II. Изъ всей массы ихъ только и выдаются тѣ, въ которыхъ преобладаетъ отрицательная сторона поэтического творчества, иронія и насмѣшка. Правственная пустота англійскаго общества естественно вызвали сатиру, и этотъ родъ литературы дѣйствительно процвѣталъ, на сколько процвѣтаніе для него возможно безъ болѣе глубокой, положительной подкладки. Того юмора, въ которомъ изъ-подъ смѣха виднѣются слезы — свидѣтельство теплаго сочувствія къ осмѣиваемому, несмотря на насмѣшку — того юмора, который налагаетъ такую своеобразную печать на англійскую литературу XVIII столѣтія.

въ то время мы еще въ ней не находимъ; а сатира, въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ Драйдена, Рочестера и другихъ, ограничивается грубымъ комизмомъ площадного фарса и чисто личнаго пасквиля. Эти достоинства, могущія считаться таковыми, конечно, только за неимѣніемъ другихъ, отличаютъ и драму того времени, напр. многочисленныя комедіи того же Драйдена. Если въ нихъ, кромѣ того, что они возбуждали смѣхъ, не разбирая средствъ и прибѣгая часто къ самымъ площаднымъ сальностямъ, еще есть заслуга, то развѣ та, что Драйденъ перенесъ на англійскую сцену нѣкоторыя внѣшности французскаго театра, римованные стихи, упрощенное дѣйствіе, слѣдовательно отнюдь не оригинальность и самостоятельное творчество. Совершенно то же, и даже въ большей еще мѣрѣ, должно сказать о его другѣ и сотрудникѣ, Вильямѣ Давенантѣ. Однимъ словомъ, никогда англійскій парнасъ не является столь пустыннымъ и безплоднымъ, какъ въ эпоху реставраціи Стюартовъ, никогда не усматривается такое истощеніе художественнаго творчества англійскаго народа, какъ въ тридцатилѣтіе, предшествовавшее возвышенію его на степень первенствующей націи Европы. Не даромъ одинъ изъ первыхъ тогдашнихъ мыслителей его, Локкъ, относился къ поэзіи чуть не какъ къ самому позорному изъ всѣхъ занятій.

Рука объ руку съ этимъ шло и страшное развращеніе нравовъ общества. Гдѣ потрясено религіозное чувство, утрачена вѣра въ поэзію и искусство, гдѣ глубокія убѣжденія замѣнены мелочными интересами, тамъ безнравственность вторгается въ общественный бытъ съ неотразимою силою и составляетъ отличительную черту его. Въ противоположность суровому, аскетическому образу жизни, господствовавшему во времена республики и Кромвеля, царствованіе Карла II, это *mercury reign*, какъ его называютъ англичане, представляетъ намъ картину непрерывающагося кутежа и разгула. Словно англійскій народъ хотѣлъ себя вознаградить за вынужденный 15 лѣтній постъ; онъ теперь опрометью бросился въ омутъ забавъ и развлеченій. При дворѣ одни празднества смѣнялись другими; на нихъ тратились не только содержаніе, которое парламентъ щедрою рукою назначилъ для короля своего, не только суммы, которыя вымогались у публики, но и тѣ позорныя субсидіи, которыя Карль II получалъ отъ Людовика XIV,



жертвуя для нихъ первостепенными политическими интересами своего королевства. Республиканскій парламентъ въ 1657 г. издалъ законъ, коимъ во всей Англіи были запрещены публичныя представленія и закрыты всѣ театры. Однимъ изъ первыхъ дѣлъ Карла, послѣ его возвращенія въ 1660 г., было уничтоженіе эго эдикта. а упомянутый выше Давенантъ, въ качествѣ директора одного изъ лондонскихъ театровъ, обогатилъ англійскую сцену нововведеніемъ, которое при тогдашнихъ обстоятельствахъ получило истинно роковое значеніе. Прежде у англичанъ, какъ у древнихъ грековъ и римлянъ, женскія роли выполнялись мужчинами, и это объясняетъ между прочимъ возможность тѣхъ грязныхъ выходокъ, которыми изобилуютъ напр. Шекспировскія драмы. Давенантъ же первый вывелъ на сцену и актрисъ, а его примѣру послѣдовалъ и другой антрепренеръ, Киллигрю, взявшій на откупъ Друриленскій театръ и получившій для своей труппы привилегію съ титуломъ the kings servants. Теперь стоитъ только вспомнить содержаніе пьесъ, возбуждавшихъ наибольшій фуроръ въ то время, особенно же пьесъ самого Давенанта, чтобы повѣсть, что въ жескихъ роляхъ ихъ могли являться только самыя жалкія представительницы своего пола, личности безъ всякаго стыда и совѣсти, и что театръ сдѣлался почти мѣстомъ публичнаго разврата. Пьянство было всеобщимъ порокомъ, одинаково распространеннымъ между мужчинами и женщинами, и никто не считалъ нужнымъ скрывать его. Одинъ изъ первыхъ любимцевъ короля, упомянутый выше сатирикъ, графъ Рочестеръ, передъ смертію объявилъ, что онъ въ теченіи 5 лѣтъ, проведенныхъ при дворѣ, ни одной минуты не былъ трезвымъ. Эта страсть къ наслажденіямъ, конечно, вызвала потребность въ средствахъ къ удовлетворенію себѣ; отсюда всеобщая продажность. примѣръ которой, какъ уже было замѣчено выше, подавался самимъ королемъ, не стыдившимся состоять на жалованіи у чужого государя, упадокъ честности не только въ политическихъ дѣтеляхъ, но и въ частномъ быту. Представители литературы отличались не меньшею продажностью, чѣмъ царедворцы и государственные люди. Драйденъ, чтобы заслужить милость Якова II, написалъ поэму: *The Hind and the Panther*, въ которой защищаетъ католическую церковь. Самая грубая лестъ вліятельнымъ людямъ пятнить почти всѣхъ писателей того времени. „Часто

книга печаталась только для того, чтобы имѣть поводъ посвятить ее кому-нибудь. Лесть, доходившая иногда до безмысленныхъ размѣровъ, не считалась порокомъ въ поэтѣ. Независимости, правдивости, самоуваженія отъ него никто не требовалъ.

Среди этого всеобщаго упадка мы находимъ въ тогдашней умственной жизни англійскаго народа только одно оградное явленіе, одно, которое доказываетъ, что этотъ упадокъ былъ только временнымъ кризисомъ, естественною реакціею противъ предшествовавшаго ханжества сектаторовъ, а не симптомомъ коренного обезсиленія народнаго генія. Это — процвѣтаніе строгой, положительной науки, сила научнаго интереса, составляющая рѣзкій контрастъ съ ослабленіемъ всѣхъ прочихъ, насколько они не относились къ чисто матеріальнымъ условіямъ жизни. Ньютонъ къ разсматриваемому времени относится только первою половиною своей дѣятельности, но и независимо отъ него англичане своею научною дѣятельностью заняли тогда почетное мѣсто между народами Европы. Съ 1664 г. Королевское общество наукъ, первоначально образовавшееся въ Оксфордѣ еще во время междоусобной войны, но только въ 1663 г. открывшее свои дѣйствія, стало издавать свои *Philosophical transactions*, безспорно важнѣйшее періодическое изданіе по математическимъ и естественнымъ наукамъ, какое существуетъ. Въ первыхъ же томахъ его мы находимъ труды Галилея, Флемстида и достойнаго соперника Ньютона, Роберта Гука, равно какъ и Ньютонова наставника. Дорона Барроу. Въ области естественныхъ наукъ англійскіе анатомы и физиологи съ честью продолжали путь, указанный Гарвеемъ, который открылъ кровообращеніе и опровергъ мечтанія средневѣковаго естествовѣдѣнія насчетъ самопроизвольнаго зарожденія (*generatio spontanea*). Такъ Уартонъ нашелъ органы, выделяющіе слюну, и описалъ процессъ этого выдѣленія. Моррисонъ и Рей сдѣлали довольно удачную попытку искусственной классификаціи растений, Миллингтонъ нашелъ плодотворную силу тычинокъ, а Грю положилъ основаніе фязіологич. и анатоміи растений. Въ то же время Вудвардъ сталъ прилагать изученіе окаменѣлостей къ изслѣдованію пластовъ земной коры и тѣмъ положилъ основаніе геологич. Заслуги Ньютона по математической физикѣ и механикѣ слишкомъ извѣстны, чтобы здѣсь упоминать о нихъ. И вся эта



умственная работа не была только дѣломъ немногихъ избранныхъ личностей, которыя могутъ появиться и среди величайшаго, всеобщаго упадка, а напротивъ поддерживалась живѣйшимъ участіемъ всей публики и находила сочувствіе со стороны самыхъ вліятельныхъ государственныхъ дѣятелей. Даже самъ Карлъ II, несмотря на свое безпредѣльное легкомысліе и неспособность ко всякой серіозной дѣятельности, интересовался опытами Бойля, устроилъ въ своемъ дворцѣ химическую лабораторію и изъ собственныхъ средствъ далъ Флемстиду возможность въ выстроенномъ имъ Flamstead-house, ядрѣ нынѣшней Гринвической обсерваторіи, наблюдать за небесными свѣтилами. Упомянутый выше ботаникъ Моррисонъ былъ назначенъ имъ инспекторомъ королевскихъ садовъ и обезпеченъ содержаніемъ, благодаря которому свободно могъ заниматься своими научными изслѣдованіями. Это процвѣтаніе науки доказывало существованіе живой силы въ англійскомъ народѣ, доказывало, что могучій толчокъ, данный Бэкономъ его мышленію, продолжалъ свое дѣйствіе.

Итакъ, религіозное равнодушіе (борьба индепендентовъ съ пресвитеріанцами), упадокъ нравовъ, какъ въ частномъ, такъ и въ общественномъ быту и вмѣстѣ съ тѣмъ неутомимая работа мысли — вотъ что составляетъ отличительныя черты въ характерѣ англійскаго общества временъ реставраціи. Весьма естественно, что эти самыя черты свойственны и отраженію его въ отвлеченномъ, спекулятивномъ мышленіи, что мы найдемъ ихъ и въ той философской системѣ, которая была плодомъ этого общества, въ ученіи Томы Гоббеса. Это ученіе, несмотря на всѣ вызванные имъ протесты и официальные *desoris causa* опроверженія, тотчасъ по появленіи своемъ перешло въ плоть и кровь всѣхъ такъ называемыхъ „порядочныхъ людей“, потому что было собственно только плотью отъ ихъ плоти.

Изъ сочиненій Гоббеса наиболѣе обратили на себя вниманіе *De cive* и *Leviathan*. Первое изъ нихъ самъ Гоббесъ признавалъ за важнѣйшее, называя его началомъ гражданской философіи, подъ которою онъ, въ противоположность философіи природы, разумѣлъ философію права. Оба они и для насъ имѣютъ наибольшее значеніе, до такой степени, что на остальныхъ даже иѣтъ надобности останавливаться. Основная идея въ обоихъ одна и та же: разница только въ томъ, что

въ послѣднемъ она высказывается гораздо рѣзче и радикальнѣе и въ подробностяхъ ей дано гораздо больше развитія. Вслѣдствіе этого Левіаѳанъ и пользовался всегда гораздо большею извѣстностью. — Въ чемъ же заключается эта идея?

Прежде всего попытаемся разобрать ее генетически, т.-е. прослѣдить тотъ мыслительный процессъ, результатомъ котораго явилась она. Этотъ генезисъ ведетъ насъ прямо къ другу и въ извѣстномъ смыслѣ наставнику Гоббеса — къ Бэкону. Требованіе послѣдняго — всякую науку основывать на опытѣ и наблюденіи; оно прилагалось имъ не только къ изслѣдованію природы, гдѣ, конечно, безъ опыта нельзя сдѣлать ни шагу, но и къ такъ называемымъ гуманнымъ наукамъ, къ изслѣдованію человѣческаго духа и его произведеній. Но какъ же въ этомъ случаѣ, въ области морали, политики, религіи, искусства, оно можетъ быть выполнено? Очевидно только вотъ подъ какимъ условіемъ: и мораль, и политика, и религія, и искусство должны быть разсматриваемы исключительно какъ функціи (въ математическомъ смыслѣ этого слова) человѣка, безъ участія всякаго другого элемента; они — результаты, вытекающіе изъ его природы, которая сама по себѣ должна быть изучаема, какъ часть всего остального вещественнаго міра. Философъ долженъ относиться къ религіи и къ праву такъ точно, какъ естествоиспытатель относится къ общественному быту муравьевъ и пчелъ.

Таковы заключенія, къ коимъ неминуемо ведетъ Бэконовъ эмпиризмъ при послѣдовательномъ развитіи. Я замѣтилъ выше, что самъ Бэконъ не додумался до нихъ, по крайней мѣрѣ не высказалъ ихъ, вѣроятно, потому, что общественная среда, въ которой онъ жилъ, не созрѣла еще до того, чтобы безпристрастно выслушать ихъ. При Гоббесѣ положеніе дѣлъ было иное. Самыя завѣтныя убѣжденія общества успѣли расшататься; противорѣчіе съ ними не угрожало болѣе опасностью мученичества, и онъ спокойно могъ выводить самыя крайнія послѣдствія изъ мыслей Бэкона и прилагать ихъ къ практикѣ.

Итакъ, Гоббесъ смотритъ на человѣка, какъ на произведеніе природы, которое качественно нисколько не отличается отъ всей остальной твари, не составляетъ въ ней особеннаго царства, не выгораживается изъ массы вещества ненаполнимою веществомъ же пропастью. Таковымъ считаетъ его всякая позитивная философія, и насколько Гоббесъ стоитъ на почвѣ,



которую я старался опредѣлить предыдущими словами, онъ позитивистъ въ современномъ значеніи этого слова. Но онъ не остается вѣрнымъ ей, а напротивъ тотчасъ же удаляется отъ нея. Для изслѣдованія духовной области позитивная философія, оставаясь вѣрною самой себѣ, имѣетъ только одно средство — изученіе исторіи человѣчества въ самомъ обширномъ смыслѣ, или, вѣрнѣе говоря, историческое изученіе всѣхъ областей человѣческой дѣятельности. Опытъ и наблюденіе, на которые она ссылается, какъ на единственный источникъ истины, не приложимы къ человѣческому быту такъ, какъ они прилагаются къ остальной природѣ, въ формѣ одного описанія; они должны осуществиться посредствомъ историческаго изслѣдованія. Если же это изслѣдованіе покажетъ, что пониманіе человѣческаго быта не возможно безъ внесенія въ него трансцендентнаго момента, то оно вмѣстѣ съ тѣмъ докажетъ и несостоятельность позитивизма, слѣдовательно, послужитъ его коррективомъ. Отъ этого историческаго пути отказывается Гоббсезъ: онъ не наблюдаетъ за человѣкомъ, а (какъ, впрочемъ, дѣлаетъ большая часть мыслителей, называющихъ себя позитивистами) конструируетъ его. Мудрено ли, что это конструированіе, т.-е. внесеніе произвола въ наблюденіе, должно дать какіе угодно результаты, кромѣ истинныхъ. Посмотримъ однакожь на дальнѣйшій ходъ его разсужденій и полученные изъ нихъ выводы.

То положеніе, въ которомъ мы теперь находимъ человѣка, его *status civilis*, есть состояніе производное и происходитъ изъ другого, *status naturalis*. На характеристикѣ послѣдняго Гоббсезъ останавливается не долго, а прямо обращается къ вопросу, какъ могъ совершиться переходъ отъ одного къ другому. Онъ не согласенъ, слѣдовательно, съ тѣми, которые, какъ Аристотель, считаютъ человѣка общественнымъ животнымъ, т.-е. такимъ, для котораго общественность составляетъ природную форму жизни. Общественность, которая есть *status civilis*, напротивъ, по его мнѣнію, вытекаетъ изъ взаимнаго страха людей, который безпрестанно проявляется во всѣхъ житейскихъ отношеніяхъ. Этотъ страхъ же происходитъ, съ одной стороны, отъ естественнаго равенства людей, съ другой, отъ ихъ желанія вредить другъ другу. А люди равны въ томъ смыслѣ, что нѣтъ такого сильнаго между ними, которому и самый слабый не могъ бы нанести величайшаго зла, т.-е. ли-

нить его жизни. Противъ страсти cadaго вредить всѣмъ прочимъ, страсти, которая имѣетъ различные источники, но съ физическою необходимостью возникаетъ во всякомъ, очевидно. и каждому должно быть дозволено отстаивать себя всевозможными средствами. Такимъ образомъ право необходимой обороны составляетъ основаніе всего естественнаго права, и каждый человѣкъ въ естественномъ состояніи самъ судья того, при какихъ обстоятельствахъ и какими средствами онъ осуществитъ это право. Отсюда же выводится и то, что въ естественномъ состояніи каждый человѣкъ можетъ овладѣть всѣмъ, что составляетъ для него благо, или, какъ выражается Гоббесъ, что все принадлежитъ всѣмъ — *omnia sunt omnium*. А если всякій по природѣ въ правѣ хотѣть всего, значить и чужого, то естественно, что этотъ *status naturalis*, въ которомъ единственнымъ законодателемъ человѣка являются его эгоистическіе инстинкты, не можетъ быть чѣмъ-нибудь инымъ, какъ вѣчною войною cadaго недѣлимаго противъ всѣхъ прочихъ (*bellum sempiternum, bellum omnium contra omnes*).

Такое состояніе непрерывной войны, очевидно, должно быть противно интересамъ всѣхъ тѣхъ, которые, независимо отъ своей воли, по самой силѣ вещей, въ ней участвуютъ. Такимъ образомъ она, хотя прямое слѣдствіе человѣческаго эгоизма, идетъ наперекоръ этому самому эгоизму и во имя его же должна быть прекращена. Иначе говоря, сама же природа заставляетъ насъ выйти изъ состоянія природы, заставляетъ искать мира. А для того, чтобы можно было достигнуть этого вожелѣннаго мира, необходимо отречься отъ того права на все, которое въ естественномъ состояніи принадлежитъ всякому; необходимо пожертвовать нѣкоторыми правами, т.-е. перенести ихъ отъ себя на другого, чтобы тѣмъ обезпечить другія. Эта передача составляетъ *договоръ*, который, слѣдовательно, составляетъ первое условіе, или, вѣрнѣе говоря, лежитъ въ основаніи государственнаго союза. Дѣйствія людей вытекаютъ изъ ихъ воли, а воля опредѣляется страхомъ и желаніемъ, т.-е. заставляетъ насъ избѣгать зла и стремиться къ благу. И то и другое — понятія чисто субъективныя, слѣдовательно, не могутъ служить общею нормою, опредѣляющею человѣческіе поступки. Они поэтому и не въ состояніи заставить человѣка хранить тотъ договоръ, заключеніе котораго требуется во имя инстинкта самосохраненія и служить



началомъ государства. Соблюденіе его должно быть обезпечено иными ручательствами. Одно изъ таковыхъ Гоббесъ находитъ въ числѣ договаривающихся. Если ихъ мало, то одному, или нѣсколькимъ легко будетъ не исполнить принятыхъ обязательствъ, потому что остальные не будутъ въ силахъ ихъ принудить: а чѣмъ болѣе возрастетъ ихъ число, тѣмъ труднѣе будетъ возникнуть такому меньшинству, которое бы смогло уклониться отъ соблюденія договора, тѣмъ, слѣдовательно, окажется болѣе шансовъ къ сохраненію его. При всемъ томъ количество договаривающихся еще не составляетъ полного обезпеченія, потому что разногласіе можетъ возникнуть и между многими и раздробить ихъ такимъ образомъ, что ни одна партія не будетъ имѣть рѣшительнаго перевѣса надъ другою. Въ людскомъ обществѣ никакъ нельзя предположить того согласія, которое усматривается въ быту животныхъ, ведущихъ общественную жизнь, какъ напр. въ быту пчелъ или муравьевъ, потому что причины раздоровъ въ первомъ несравненно разнообразнѣе и сильнѣе. Эти животныя, гораздо скорѣе, чѣмъ человѣкъ, заслуживаютъ эпитетъ, данный Аристотелемъ послѣднему, эпитетъ общественныхъ животныхъ. Для сохраненія союза, слѣдовательно, требуется сила, могущая сдерживать всѣхъ, которые вступили въ него, съ другой стороны, повиновеніе этой силѣ или ея представителю, которымъ можетъ быть или отдѣльное лицо, или коллегія. Только въ такомъ случаѣ договоръ становится союзомъ (*unio*) и тогда возникаетъ государство — *civitas sive communitas civilis*. Послѣднее такимъ образомъ опредѣляется Гоббесомъ какъ единое лицо, воля котораго, по договору многихъ, должна считаться коллективною волею всѣхъ договаривающихся, и которое располагаетъ силами и способностями каждаго для сохраненія общаго мира и общей безопасности.

Изъ сказаннаго ясно, что свобода по принципу исключается изъ образовавшагося по указанному Гоббесомъ пути государства. Она свойственна *statui naturali* человѣка, не *statui civili*, который именно состоитъ въ отреченіи отъ нея или въ перенесеніи ея на представителя власти. Послѣдній дѣйствительно свободенъ, но онъ же зато въ отношеніяхъ къ равнымъ себѣ (въ международныхъ отношеніяхъ) и находится не *in statu civili*, а *in statu naturali*, т.-е. въ безпрестанной войнѣ, если таковая не устраниена хоть на время какимъ-нибудь договоромъ.

Если, несмотря на это, разсуждаютъ о частной свободѣ, то это — недоумѣніе, происходящее отъ смѣшенія понятія государства съ понятіемъ гражданина. Въ дѣйствительности нѣтъ ничего общаго между свободою гражданъ и формою правленія. „Если жители Лукки на воротахъ своего города поставили большими буквами надпись *Liberatas*, то они увлеклись страннымъ самообольщеніемъ; на самомъ дѣлѣ частное лицо въ этомъ городѣ нисколько не свободиѣе, чѣмъ въ Константинополѣ подѣ деспотическимъ управленіемъ султана. Будетъ ли государство управляться монархомъ, будетъ ли оно республикою — мѣра свободы членовъ его одна и та же. Эта мѣра опредѣляется недомолвками, или, какъ выражается Гоббесъ, молчаніемъ закона“. Свобода представлена намъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, насчетъ которыхъ властью (*sovereign*) не постановлены никакія правила. Такихъ случаевъ въ одной сторонѣ бываетъ больше, чѣмъ въ другой, да и въ одной и той же число ихъ зависитъ отъ времени. Сегодня извѣстное дѣйствіе оставлено безъ вниманія властью и подданные вольны въ разсужденіи его; завтра, почему бы то ни было, она постановила насчетъ его какое-нибудь правило, и воля исчезла.

Идея божества, по мнѣнію Гоббеса, продуктъ страха; страхъ же вытекаетъ изъ людского невѣжества. Насколько мы можемъ объяснить явленіе изъ его причины, настолько оно теряетъ свою ужасающую силу для насъ, потому что знаніе причины даетъ намъ возможность предупредить, или, по крайней мѣрѣ, избѣгнуть его, или, если оно благопріятно, самимъ произвести его — насколько намъ нѣтъ надобности предполагать сверхъестественнаго виновника его. Чѣмъ болѣе распространится кругъ человѣческихъ знаній, тѣмъ болѣе сузится, такъ сказать, подсудность воображаемаго Бога. Идея его есть чисто субъективное созданіе человѣческаго ума и совершенно не предполагаетъ существованіе дѣйствительнаго объекта.

Что такое нравственность! Въ естественномъ состояніи своемъ человѣкъ есть существо ни нравственное, ни безнравственное; онъ просто произведеніе природы, какъ камень, какъ дерево, и столь же невмѣняемъ, какъ послѣдніе. Чувство самосохраненія въ обширномъ смыслѣ — единственный законъ бытія его. Ради собственнаго интереса онъ такъ же въ правѣ уничтожить своего ближняго, какъ въ густомъ лѣсу одно дерево можетъ заглушать другое. Въ первобытномъ или естествен-



номъ состояніи понятія блага и зла чисто субъективныя; то, что удовлетворяетъ наши эгоистическія стремленія, будетъ благомъ, что поперечить имъ — зломъ. Общеобязательными эти понятія могутъ сдѣлаться лишь въ томъ случаѣ, когда всѣ люди согласятся съ ними. Приближеніемъ къ такому всеобщему соглашенію служатъ государственные союзы. Оно устанавливается, по крайней мѣрѣ, между членами одного и того же государства и въ силу его всѣ признаютъ за благо или зло одни и тѣ же вещи. Понятія блага и зла продолжаютъ быть субъективными, но субъектъ ихъ становится несравненно шире; онъ уже не отдѣльное лицо, а цѣлая совокупность лицъ. А это соглашеніе, въ силу котораго всѣ члены одного и того же государства измѣряютъ благость или неблагость уже не мѣркою своего личнаго эгоизма, а такою, которая есть какъ бы средній арифметическій выводъ всѣхъ этихъ мѣрокъ, выражается его законодательствомъ. Отсюда ясно, что понятіе нравственности совпадаетъ съ понятіемъ законности. Внѣ законовъ она не существуетъ.

Итакъ, что же остается за недѣлимымъ, когда оно разъ — и то не по своей волѣ, а по необходимости — сдѣлалось членомъ гражданскаго союза? Обезпеченной свободы нѣтъ; оно само располагаетъ своими дѣйствіями лишь въ тѣхъ предѣлахъ, которые заблагоразсудится указать ему верховной власти. Религіозныя убѣжденія свои оно должно почерпать изъ предписаній правительства, считать истиннымъ и должнымъ то, что таковымъ считаетъ послѣднее. Совѣсть его опять-таки не что иное, какъ кодексъ, составленный и утвержденный имъ же. Наконецъ и собственностью оно пользуется лишь настолько, насколько дозволено начальствомъ; это не *jus*, а *permissio utendi et abutendi*. Что же остается за этимъ несчастнымъ *homo civilis* такого, что бы онъ могъ назвать исключительно своимъ, не подлежащимъ никакому чужому праву? Очевидно ничего, кромѣ развѣ желаній и помысловъ его. Онъ есть нуль, атомъ, не членъ общественнаго тѣла, а развѣ какая-нибудь микроскопическая клѣточка его, да и то даже не въ настоящемъ смыслѣ; государство же въ разсужденіи его дѣйствительно тотъ всепоглощающій Левиафанъ, то чудовищное животное, именемъ котораго Гоббесъ называетъ самое капитальное изъ своихъ сочиненій.

Ученіе Гоббеса, не взирая на встрѣченную имъ официаль-

ную оппозицію, несмотря на раздававшіся со всѣхъ сторонъ опроверженія, было вѣрнымъ отраженіемъ умственной настроенности большинства мыслящихъ современниковъ его. Тѣмъ не менѣе ничего не можетъ быть менѣе согласнаго съ кореннымъ характеромъ его націи, какъ проповѣдывавшійся имъ политическій атомизмъ — я не нахожу лучшаго имени для обозначенія системы, выставляющей гражданина не какъ члена, а какъ атомъ государства и, слѣдовательно, само послѣднее не какъ органическое цѣлое, а какъ механический аггломератъ. Можетъ ли быть противоположность больше той, которая существуетъ между индивидуализмомъ англичанина, считающаго нерѣдко нестерпимымъ стѣсненіемъ со стороны власти даже то, что другому кажется благотѣльной опекою и охраною, и всепоглощающимъ Левиафаномъ Гоббеса? Что же такое значить это противорѣчіе? Мнѣ кажется, оно доказываетъ одно только, а именно, что сочиненія его появились въ эпоху умственного кризиса англійскаго народа, когда онъ временно вступилъ въ разладъ съ самимъ собою, какъ бы отрицалъ самого себя и съ жадностью бросался на все то, что могло служить выраженіемъ этого отрицанія. Такія эпохи существуютъ въ жизни каждаго недѣлимаго. Каждый человѣкъ по временамъ оглядывается, подвергаетъ критикѣ самыя задушевные убѣжденія свои и находитъ удовольствіе въ игрѣ парадоксами, которые составляютъ діаметральную противоположность съ послѣдними. Такую оглядку представляетъ для Англіи исторія второй половины XVII столѣтія, и сочувствіе, встрѣченное Гоббесомъ, есть не что иное, какъ симптомъ пережитого ею тогда кризиса. А въ этомъ заключается и значеніе его для англійскаго деизма. Разочарованіе общества религіозными вопросами, связанная съ тѣмъ расшатанность нравственныхъ убѣжденій, одностороннее направленіе мышленія къ предметамъ вещественнаго міра и зависящее отъ того процвѣтаніе положительной науки, тогда какъ искусство находится въ упадкѣ — со стороны практической; философія въ родѣ Гоббесовой — со стороны теоретической составляютъ характеристику той почвы, изъ которой вырастаютъ деистическія воззрѣнія. На основаніи этихъ чертъ можно предсказать появленіе ихъ съ такою же увѣренностью, съ какою сельскій хозяинъ предугадываетъ по дикорастущимъ травамъ своего поля, какія культурныя растенія на немъ могутъ разводиться съ наибольшимъ успѣхомъ.



Но Гоббесъ не только симптомъ въ разсужденіи англійскаго деизма, онъ въ то же время и одинъ изъ сильнѣйшихъ двигателей его. Таково уже устройство всякаго организма, что всякій симптомъ, напр. болѣзни, бываетъ не только признакомъ ея, но становится и поддерживающею ее причиною. Что самъ Гоббесъ не былъ деистомъ, очевидно изъ приведенныхъ отрывковъ его ученія. Философія его матеріалистическая, и въ ней нѣтъ мѣста для идеи божества. Въ разсужденіи религіи она вполне атеистическая. Но она показала, что къ религіи можно относиться совершенно объективно и, несмотря на то, что отрицала свободу, представила въ себѣ фактическій образчикъ ея. Гоббесъ былъ едва ли не самымъ свободнымъ мыслителемъ XVII столѣтія, хотя, конечно, не по содержанію своей спекуляціи, а фактомъ существованія ея. Этотъ фактъ заключается въ попыткѣ разсуждать о томъ, что прежде было изъято изъ разсужденія, чѣмъ, разумѣется, была открыта дорога и для другихъ. Важность Гоббеса въ этомъ отношеніи нисколько не умаляется предшествовавшими сочиненіями Герберта, которые были написаны по-латыни и уже въ этомъ обстоятельствѣ должны были встрѣтить препятствіе къ тому, чтобы оказать непосредственное дѣйствіе на массу англійскаго общества. Такимъ образомъ собственно Гоббесъ первый указалъ ему, что можно на религію смотрѣть съ точки зрѣнія, взятой внѣ ея.

*Изъ Зап. Новорос. Университета.*

### Исторія Энциклопедіи.

Тѣ, которые считаютъ „культурную борьбу“ какъ особенное слово, означающее понятіе, будто бы изобрѣтенное въ новѣйшее время Фалькомъ, едва подозрѣваютъ, что за 120 уже лѣтъ въ католической Франціи подобная борьба велась съ такимъ же ожесточеніемъ. Булла Unigenitus, равно и догматъ о непогрѣшимости стали исходомъ борьбы; янсенисты играли роль старо-католиковъ, Парижскій университетъ, какъ въ Германіи Мюнхенскій, составлялъ средоточіе направленныхъ противъ Рима нападеній; архіепископъ Парижскій довольствовался невыносимымъ положеніемъ какого-нибудь Рейнке, возсталъ противъ папы, издалъ интердиктъ противъ ордена Іисуса, не выходя однако изъ католической церкви. Французское правительство, пока оно находилось въ рукахъ регента и его

фаворита Дюбуа, изыскивало средство къ примѣренію враждующихъ и придумывало формы ученія, не соотвѣтствовавшія ни іезуитско-римскимъ, ни янсенистскимъ мнѣніямъ. Только съ совершеннолѣтіемъ Людовика XV строго-церковное на-правленіе достигаетъ господства, янсенистская ересь подавляется, но съ нею обходятся снисходительно. Янсенисты изъ за охранительныхъ стѣнъ парижскаго госпиталя могли въ газетахъ и брошюрахъ безпрепятственно изливать свою злобу противъ папы и іезуитовъ; еретическій архіепископъ получилъ возможность снова обратиться къ Риму. Съ рѣшимостію, напоминающею періодъ культурной борьбы при Фалькѣ, парламентъ вступается за преслѣдуемыхъ янсенистовъ и ихъ священниковъ, когда по указу фанатическаго архіепископа парижскаго, Бомона, отказано было въ святыхъ Дарахъ всѣмъ, кто не былъ въ послѣдній разъ на исповѣди у православнаго духовнаго лица. Въ этомъ, конечно, парламентъ не нашелъ поддержки въ правительствѣ, но долженъ былъ искупить свой отважный поступокъ изгнаніемъ изъ Парижа въ 1753 году. Какъ во время и нашей культурной борьбы, общественное мнѣніе было всецѣло на сторонѣ преслѣдуемыхъ и ихъ защитниковъ. Въ самомъ католическомъ духовенствѣ наиболѣе ученые и образованные, наравнѣ съ угнетеннымъ низшимъ духовенствомъ, сочли дѣло янсенизма безусловно за свое, а нѣкоторые епископы составили оппозиціонную партію, на подобіе Фульдской конференціи, затѣмъ вскорѣ опять склонились подъ римскимъ игомъ. Культурная борьба въ наше время приносила только вредъ въ политическомъ отношеніи тѣмъ, что создала центръ, подкрѣпила могущество Рима и іезуитовъ, и въ литературномъ отношеніи вызвала немного значительныхъ спорныхъ сочиненій противъ католицизма; культурная же борьба XVIII столѣтія кончилась покровительствомъ энциклопедіи и уничижительнымъ нападеніемъ Вольтера; результатомъ ея было паденіе ордена іезуитовъ, полное уничтоженіе церковной партіи и побѣда парламентаризма надъ самодержавіемъ, которая стала исходною точкою великой революціи 1789 года и разрушенія всего государственнаго и церковнаго строя.

Обратимъ только взоръ на оба враждебные лагеря, энциклопедистовъ и іезуитовъ, между которыми Вольтеръ, въ соединеніи съ первыми, высматриваетъ, какъ бы въ рѣшительную минуту ударить колеблющагося врага и довершить его паденіе.



Очень разнородно было общество сотрудниковъ, которые раздѣлили между собою исполнское произведеніе, подъ управленіемъ Дидро и Д'Аламбера. Энциклопедія была предпринята обществомъ парижскихъ книгопродавцевъ, какъ конкуренція съ появившеюся въ 1728 г. въ Дублинѣ „Циклопедіей“; по предположенному плану она должна была служить дополненіемъ къ несвоевременному уже лексикону Бэля. Мы находимъ тамъ рядомъ со свободными мыслителями, какъ Вольтеръ и аббатъ де Прадъ, и іезуитовъ, которые удалились позднѣе, когда обнаружилось разрушительное направленіе, опасное и для ихъ ордена; рядомъ съ матеріалистами, какъ Дидро, также полу-вѣрующихъ духовныхъ лицъ обопхъ вѣроисповѣданій, какъ пасторъ Вернъ въ Женевѣ, Поллье и Боттенсъ въ Лозаннѣ; рядомъ съ первоклассными писателями — множество героевъ пера безъ призванія, старавшихся вышнейю длиннотою замѣнить недостатокъ содержанія статей и тѣмъ возбуждавшихъ неудовольствіе Гримма и въ особенности Вольтера. Къ этому присоединилась противоположность между обоими редакторами: Д'Аламберъ, который редактировалъ математическій отдѣлъ въ Энциклопедіи, до своего отступленія былъ настоящимъ вожатымъ и старался дѣлать всевозможныя уступки какъ сотрудникамъ, такъ и богословскимъ цензорамъ философскихъ статей; между тѣмъ болѣе смѣлый Дидро, не заботясь ни о цензорахъ, ни о покровителяхъ, ни о сотрудникахъ и издателяхъ, проводилъ самые крайніе выводы своего міровоззрѣнія. Въ принципѣ присоединился къ нему Вольтеръ, съ самаго начала какъ самый ревностный, хотя анонимный сотрудникъ. Въ перепискѣ съ Д'Аламберомъ Вольтеръ порицалъ его хорошо рассчитанныя разсужденія, между тѣмъ, на практикѣ, онъ не только публично опровергалъ свое участіе въ еретическомъ словарѣ, но и требовалъ обратно статьи, казавшіяся ему опасными, несмотря на то, что онѣ выходили подъ анонимомъ.

Система, которую по необходимости должны были ввести оба издателя, должна была нравиться такому хитрому притворщику. Чтобы ввести въ заблужденіе цензоровъ, самыя злобныя еретическія мысли помѣщались въ статьи, въ которыхъ никто не могъ подозрѣвать ихъ, а въ спеціальному богословско-философскому отдѣлѣ придерживались во всемъ церковнаго ученія. Цѣль не была достигнута: по выходѣ первыхъ двухъ томовъ, поднялось сопротивленіе со стороны Сорбонны, возбужденной

ея янсенистскими сочленами; іезуитскій, отличившійся не меньшею нетерпимостію, архіепископъ парижскій (преслѣдователь янсенистовъ) увлекся этимъ споромъ и издалъ горячее пастырское посланіе противъ Энциклопедіи.

Счастіемъ для послѣдней было то, что ни правительство, бывшее въ то время въ натянутыхъ отношеніяхъ съ духовенствомъ, старавшемся защитить свои земли и капиталы отъ податей, ни, хотя янсенистскій, но враждебный парижскому архіепископу, парламентъ не могли предпринять серьезнаго преслѣдованія. Потому конфисковали только для вида вышедшіе въ Парижѣ томы, но позволили безпрепятственно распространять и продавать ихъ въ провинціяхъ, а позднѣе возвратили даже Дидро конфискованныя рукописи. Конфискація сдѣлала Энциклопедію самою популярною, всѣми читаемою книгою, которую ревностно желали имѣть всѣ даже мелочныя и ветошныя лавочки.

По робости и недостатку знанія свѣта Д'Аламберъ уже готовъ былъ теперь же бросить дѣло, и сталъ серьезно думать о перенесеніи предпріятія въ прусскую столицу. Знавшій свѣтъ Вольтеръ, по счастью, энергично отсовѣтовалъ это поспѣшное рѣшеніе и содѣйствовалъ продолженію Энциклопедіи, третій томъ которой вышелъ въ октябрѣ 1753 года. По увѣренію Гримма, правительство поощряло даже Дидро и Д'Аламбера продолжать ихъ дѣло, и въ самомъ дѣлѣ придворный Малербъ, какъ оберъ-цензоръ, оказывалъ ему величайшее расположеніе. Такъ до конца 1757 года могли выйти еще четыре тома далѣе, въ которыхъ Вольтеръ принималъ живѣйшее участіе, несмотря на многія другія заботы и дѣла и на недостатокъ книгъ въ его швейцарскомъ помѣстьи.

Цѣль его жизни — ниспровергнуть церковное міровоззрѣніе достигалась распространеніемъ всѣмъ понятнаго словаря. Какъ ни осторожно старался онъ обезпечить себя, но въ декабрѣ 1755 года онъ пишетъ съ неподдѣльнымъ воодушевленіемъ: „*Tant que j'aurai un souffle de vie je suis au service des éditeurs de l'Encyclopédie*“. Пока Д'Аламберъ направлялъ предпріятіе, онъ не много беспокоился объ ушедшихъ впередъ выводахъ Дидро; но Д'Аламберъ скоро совсѣмъ удался, несмотря на упрашиванія Вольтера. Причины такого, несчастнаго для Энциклопедіи, рѣшенія были разнообразны и частію основательны. Несмотря на досаду, какую причинила ему статья о Женеvѣ, онъ увидѣлъ, что на него напали всѣ тѣсно спло-



ченныя янсенистскіе и іезуитскіе писатели, что въ двухъ, пользовавшихся уваженіемъ газетахъ — „Journal de Trévoux“ (рѣзко принявшимъ уже вступительную рѣчь Энциклопедіи) и „Année littéraire“ — его заклеили какъ еретика, что Формей, прежній сотрудникъ, угрожаетъ изданіемъ дешеваго сочиненія въ видахъ конкуренціи, что литературный мародеръ, какъ Палиссо, осмѣиваетъ его въ цѣломъ рядѣ открытыхъ посланій (Petites lettres à de grands philosophes) и въ неприличныхъ комедіяхъ. Правительство уже не могло и не хотѣло защищать его, потому что графъ д'Аржансонъ, тайный покровитель Энциклопедіи, былъ отставленъ и изгнанъ, Помпадуръ и Берни въ рукахъ іезуитовъ, а Малербъ не имѣлъ ни вліянія, ни достаточно мужества, чтобы оказать дѣйствительную помощь. Издатели, руководимые единственно денежнымъ интересомъ, не только получали выгоду отъ редакторовъ и сотрудниковъ, но, безъ всякой отвѣтственности, самовольно и тайно измѣняли слишкомъ рѣзкія статьи.

Наконецъ Д'Аламберъ со скорбію увидѣлъ, что другъ его, Вольтеръ, изъ усердія къ Энциклопедіи (его очень хорошо знали, несмотря на его отговорки), впалъ въ непріятную борьбу съ французскими іезуитскими листками и женевскимъ православіемъ, что, далѣе, неосторожность другихъ, какъ книга Гельвеція „De l'esprit“, была приписана ему и Энциклопедіи. Тогда исполнилъ онъ ранѣе задуманное рѣшеніе предоставить продолженіе дѣла своему болѣе энергичному другу Дидро и, освободившись отъ волненій и борьбы, опять вести тихую жизнь ученаго въ своей узкой, уединенной улицѣ. На этотъ разъ краснорѣчіе Вольтера не помогло. Его совѣты, чтобы редакторы и сотрудники Энциклопедіи потребовали отъ Малерба удовлетворенія за полицейское слѣдствіе надъ произведеніемъ, чтобы Дидро тоже притворно удалился вмѣстѣ съ Д'Аламберомъ и вынудили бы такимъ образомъ у правительства просьбу снова принять Энциклопедію, чтобы, наконецъ, все предпріятіе перенести въ Лозанну и тамъ продолжать его подъ покровительствомъ и на деньги Вольтера, — всѣ эти совѣты остались безъ дѣйствія. Спустя около года послѣ оставленія знамени Д'Аламберомъ, по рѣшенію государственнаго совѣта, привилегія, данная Энциклопедіи, была отнята и продажа уже вышедшихъ и имѣющихъ выйти томовъ воспрещена. Неутомимая энергія Дидро довела произведеніе до конца; онъ былъ

поддержанъ въ своемъ предпріятіи простодушіемъ короля и тщеславіемъ его любимицы Дюбарри. Послѣдніе десять томовъ, вышедшіе въ 1766 году, хотя доставили издателямъ восьмидневный арестъ въ Бастиліи, но, несмотря на всѣ интриги духовныхъ, были проданы почти безпрепятственно. По возвращеніи Д'Аламбера, отношеніе Вольтера къ Энциклопедіи стало совсѣмъ другимъ. Какъ мало ему нравился матеріалистическій и атеистическій взглядъ Дидро, объ этомъ мы уже говорили, притомъ ему противна была естественная, вполнѣ непридворная, или безтактная, манера Дидро. Возвращеніе Д'Аламбера заставила его потребовать у Дидро свои рукописи, назначенныя для Энциклопедіи, и, конечно, его нерасположеніе къ тогдашнему редактору не могло уменьшиться отъ того, что онъ не получилъ ни рукописей, ни отвѣта. Хотя послѣ умилюющаго письма и принятія Д'Аламберомъ веденія математической части Вольтеръ согласился принять участіе въ общемъ трудѣ, но обезпечилъ себѣ безусловную тайну. Послѣ того, какъ вскорѣ Энциклопедія была временно пріостановлена и существованію ея грозила опасность, задумалъ онъ взять въ свои руки просвѣщеніе народа посредствомъ популярнаго словаря, и при этомъ искусно обходить опасные выводы философіи и естествовѣдѣнія. По этой мысли возникъ впослѣдствіи его „Dictionnaire philosophique“, какъ дополненіе ко временно обезсиленной Энциклопедіи.

Немногое остается еще рассказать о направленіи Энциклопедіи подъ руководствомъ Дидро. Насколько кротко и осторожно Д'Аламберъ развивалъ вопросы вѣры и знанія, настолько рѣзко продолжалъ Дидро. Его вліянію можно было приписать безпощадную форму нѣкоторыхъ статей 7 тома; въ послѣднихъ 10 томахъ онъ разрываетъ со всѣми традиціями богословско-философскаго и историческаго изслѣдованія и развиваетъ полные выводы своей матеріалистической системы. Если онъ, слѣдуя правиламъ благоразумія, притупилъ самыя колкія мѣста, или уклонялся отъ нихъ тамъ, гдѣ они должны были чувствительнѣе всего задѣть читателя (какъ въ богословско-философскихъ статьяхъ), то статьи по естественнымъ наукамъ, торговлѣ и ремесламъ, по государственному устройству, искусствамъ и поэзіи содержали самую безпощадную критику прежнихъ преданій и робкихъ опытовъ реформъ древняго и новаго направленія. Если многое въ этихъ частяхъ Энциклопедіи не



кажется намъ такимъ чуждымъ и еретическимъ, какъ вѣрующимъ и полупросвѣщеннымъ того времени, то это служитъ наилучшимъ доказательствомъ полнаго переворота въ міровоззрѣніи, произведенномъ Энциклопедіею. Черезъ нее проникли во всѣ слои гражданства результаты изслѣдованій по естественнымъ наукамъ, по философскому мышленію, по успѣхамъ въ искусствахъ; до того времени они были преимуществомъ только образованныхъ. Если Энциклопедія высказала только то, что было общимъ достояніемъ просвѣщенія, то все же она перешла отъ теоріи къ практикѣ, объяснила все до подробностей, посредствомъ образовъ, въ ясной привлекательной формѣ и живомъ изложеніи сдѣлала все нагляднымъ и доступнымъ и не вполнѣ просвѣщеннымъ людямъ. При этомъ всемірно-историческомъ значеніи Энциклопедіи безцѣльно судить о недостаткахъ и ошибкахъ исполнскаго произведенія, объ односторонности и заблужденіяхъ Дидро, о грубыхъ ошибкахъ и литературныхъ подлогахъ второстепенныхъ сотрудниковъ, о непослѣдовательности, которая вкралась при участіи духовныхъ лицъ, сожалѣть о ея вліяніи на народъ или возвеличивать его. Она развилась изъ философскаго и естественно-научнаго направленія XVIII столѣтія по тому самому естественному закону, по какому французская революція развилась изъ политическихъ теорій Монтескьё и Руссо.

*Мареномъ.*

### Общественное значеніе энциклопедіи.

Было бы не трудно доказать, что у энциклопедистовъ не было непоколебимой научной основы для ихъ философіи. Теперь уже всякому ясно, что ихъ метафизика и психологія, несмотря на всѣ свои несовершенства, были приспособлены къ тому, чтобъ внушать сильное влеченіе къ общественнымъ вопросамъ, такъ какъ онѣ были пропитаны чувствами челоуколюбія. Выдавать Энциклопедію за евангеліе отрицанія значило бы упускать изъ виду четыре пятыхъ доли ея содержанія. Конечно, тотъ, кому это нравится, могъ бы относиться къ ней какъ къ произведенію, написанному съ одними отрицательными цѣлями, и сослаться, напримѣръ, на то, что въ ней высказывается протестъ противъ допросовъ и наказаній посредствомъ пытки (см. Question, Peine); но въ такомъ случаѣ мы спросили бы его: какое евангеліе, написанное съ положительными

цѣлями, могло бы доставить человѣку болѣе цѣнныя блага? Если бы метафизика этихъ писателей была еще въ тысячу разъ болѣе поверхностна, какое было бы намъ до этого дѣло, если бы при этомъ они постоянно имѣли въ виду всѣ тѣ великія общественныя улучшенія, отъ которыхъ зависитъ не только развитіе, но даже существованіе націй. Не подлежитъ сомнѣнію, что было бы неосновательно утверждать, будто сознательное стремленіе къ общественнымъ улучшеніямъ несовмѣстимо съ спиритуалистической доктриной; но мы считаемъ себя въ правѣ утверждать, что энергическая увѣренность въ возможности общественныхъ улучшеній впервые возникла, благодаря той философіи, которая приняла за основу чувственныя ощущенія и опытъ.

Когда мы говоримъ, что стремленія энциклопедистовъ, между прочимъ, клонились къ усиленію сочувствія къ политическимъ вопросамъ подъ господствующимъ вліяніемъ гуманной философіи, мы употребляемъ слово политическій въ самомъ широкомъ его значеніи. Экономическія условія страны и способъ примѣненія дѣйствующихъ въ ней законовъ имѣютъ гораздо болѣе существенное значеніе для ея благосостоянія, нежели форма ея правленія. Въ сущности форма правленія есть вопросъ первостепенной важности, но она въ значительной степени обязана этой важностью тому вліянію, которое она можетъ оказывать на два другихъ разряда основъ національной жизни. Поэтому говоря, что энциклопедисты предприняли политическое дѣло, мы хотимъ этимъ сказать, что они освѣтили свѣтомъ новыхъ идей цѣлыя группы учреждений, обычаевъ и порядковъ, вліявшихъ такъ же сильно на благосостояніе и счастье Франціи, какъ питаніе вліяетъ на здоровье и силу cadaго отдѣльнаго француза. Энциклопедисты первые возбудили общественное мнѣніе Франціи противъ злоупотребленій тиранической колониальной системы управленія и противъ гнусной торговли невольниками. Они доказали безразсудство, разорительность и безчеловѣчіе той системы налоговъ, которая истощала жизненныя силы страны. Они и кстати и некстати протестовали противъ такихъ порядковъ, при которыхъ отправленіе правосудія превращалось въ сдѣлку между продавцами и покупателями. Они горячо нападали на отвратительныя жестокости устарѣлаго уголовного законодательства. Не высшее дворянство, толпившееся вокругъ Людовика XV, и



не духовенство, служившее обѣднѣ, а кучка этихъ писателей, руководимая не знавшимъ покоя литераторомъ, — вотъ кто впервые проникся великимъ принципомъ новѣйшаго общества — уваженіемъ къ производительной дѣятельности. Они горячо ратовали за величіе мирныхъ подвиговъ и страстно нападали на подвиги военные.

Мы вовсе не утверждаемъ, что Энциклопедія создала какіе-либо новые методы или новыя соціальныя идеи. Такъ, напри-мѣръ, возвышенная любовь къ миру, столь свойственная нашему собственному времени, была внушена сочиненіями аббата Сень-Пьера (1658—1743), одного изъ самыхъ оригинальныхъ мыслителей своего вѣка, заслуживающаго, чтобъ имя его не предавалось забвенію, между прочимъ, и потому, что онъ изобрѣлъ слово *bienfaisance*. Затѣмъ, пробѣгая массу политиче-скихъ статей, вы чувствуете, какую сильную склонность къ соціологическимъ изслѣдованіямъ возбудило сочиненіе Мон-тескье *Esprit des Lois*. Въ этихъ статьяхъ обсуждается очень мало такихъ вопросовъ, которые не были подняты Монтескье, и ни одинъ вопросъ не обсуждается безъ указаній на тѣ ар-гументы, на которые ссылается Монтескье. Переходя отъ *Esprit des Lois* къ Энциклопедіи, мы замѣчаемъ только ту перемену, что политическими идеями стали пользоваться какъ средствами для достиженія извѣстной цѣли. Философія превра-тилась въ патріотизмъ. Энциклопедисты стали съ серьезной заботливостью вникать въ общественные недуги, къ которымъ версальскіе тунеядцы съ красными каблуками оставались без-стыдно и неисправимо равнодушными.

Такъ, напри-мѣръ, статьи о земледѣліи превосходны по пол-нотѣ и точности, съ которыми въ нихъ описано тогдашнее положеніе Франціи, по ясности, съ которой они объясняютъ, въ какой мѣрѣ это положеніе не соотвѣтствуетъ своимъ перво-начальнымъ источникамъ, и по сильному сочувствію къ изда-гаемому предмету, которое онѣ въ одно и то же время и сами выражаютъ, и внушаютъ читателямъ. Если мѣстами тонъ ста-тей слишкомъ идиллическій, зато онѣ доставили огромную пользу странѣ, познакомивши ее съ тѣмъ ясно доказаннымъ фактомъ, что изъ пятидесяти милліоновъ десятинъ пахотной земли въ королевствѣ болѣе чѣмъ одна четверть или никогда не обрабатывалась, или заброшена. Принесло огромную пользу и то, что было обращено вниманіе общества на причины

упадка французскаго земледѣлія, какъ-то: на стѣсненіе хлѣбной торговли, на произвольное обложеніе налогами и на переселеніе деревенскихъ жителей въ большіе города. Затѣмъ однимъ изъ самыхъ полезныхъ уроковъ, какіе когда-либо приходилось выслушивать французамъ, было то указаніе на поощреніе, доставляемое земледѣлію англійской системой свободной внѣшней торговли, которое подкрѣплялось въ Энциклопедіи ссылками на не въ мѣру патріотическое самохвальство современныхъ англійскихъ писателей.

Слѣдуетъ замѣтить, что существуютъ и такія злоупотребленія, которыя всего удобнѣе разоблачать путемъ простаго изложенія фактовъ въ самыхъ ясныхъ выраженіяхъ, безъ всякой аргументаціи. Исторія такого налога, какъ налогъ на соль (*Gabelle*), и смѣлое описаніе произвольныхъ и безсмысленныхъ способовъ его взиманія были равносильны формальному обвинительному акту. Не было надобности ни въ реторикѣ, ни въ аргументаціи, чтобъ доказать, какъ возмутительно несправедливо слѣдующее узаконеніе: „всякій, перемѣнившій мѣсто своего жительства, продолжаетъ въ теченіе нѣкотораго времени уплачивать налоги въ мѣстѣ своего прежняго пребыванія, а именно фермеры и земледѣльцы въ теченіе одного года, а всѣ другіе плательщики налоговъ въ теченіе двухъ лѣтъ, если приходъ, въ который они перешли, находится въ томъ же самомъ округѣ; если же нѣтъ,—то фермеры должны платить въ теченіе двухъ лѣтъ, а прочіе трехъ лѣтъ“ (*Taille*). Такимъ образомъ инымъ приходилось уплачивать въ теченіе трехъ лѣтъ двойные налоги въ наказаніе за перемѣну мѣста жительства. Намъ уже слышится ропотъ, выразившійся черезъ двадцать пять лѣтъ послѣ того въ такъ называемыхъ *cahiers*, когда мы читаемъ разсказъ о томъ, съ какимъ восторгомъ привѣтствовали граждане города Лизье введеніе *taille proportionnelle* (1718), и сколько другихъ городовъ стали просить о ниспосланіи имъ такого же благодѣянія. „Эти просьбы не были уважены по причинамъ, которыя объяснять не наше дѣло; такъ не легко сдѣлать доброе дѣло, о которомъ всѣ толкуютъ болѣе для того, чтобы выказать къ нему свое сочувствіе, чѣмъ изъ желанія совершить его на дѣлѣ... Доказательствомъ выгоды этой мѣры служить тотъ фактъ, что налоги 1718 года вмѣстѣ со всѣми недоимками за пять лѣтъ были уплачены въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ безъ всякихъ бесполез-



ныхъ тратъ или пререканій. Но вслѣдствіе безразсудства, болѣе чѣмъ что-либо другое унижающаго человѣчество, общее благополучіе вызвало недовольство въ томъ самомъ классѣ, благосостояніе котораго основано на чужой нищетѣ — въ классѣ привилегированномъ.

Страстная любовь къ гражданскому равенству развила въ современной намъ Франціи вовсе не вслѣдствіе врожденной склонности къ мятежу, какъ то увѣряютъ нѣкоторые легкомысленные критики. Корень этого чувства кроется въ неизгладимомъ воспоминаніи о нравственномъ и матеріальномъ вредѣ, который былъ причиненъ ея гражданамъ несправедливымъ распредѣленіемъ налоговъ при старомъ режимѣ. Статья *Privilége* доказываетъ, какъ было бы желательно, чтобъ правительство разслѣдовало причины многочисленныхъ изъятій изъ податного обложенія, и чтобъ оно отмѣнило всѣ тѣ налоги, съ уплатой которыхъ не соединяется исполненіе какихъ-нибудь существенныхъ и полезныхъ обязанностей. Авторъ статьи, заявляя тотъ самый протестъ, который вскорѣ послѣ того раздавался по всей странѣ, говоритъ: „Какой-нибудь буржуа, находящійся въ достаткѣ и способный уплачивать половину *taille* за цѣлый приходъ, если бы эта подать была наложена въ своемъ надлежащемъ размѣрѣ, вноситъ свои налоги за одинъ или за два года, а нерѣдко и менѣе, и затѣмъ, несмотря на низкое происхожденіе, на недостатокъ воспитанія и способностей, покупаетъ мѣсто въ мѣстномъ соляномъ бюро или какую-нибудь безполезную придворную должность, или какое-нибудь положеніе при одномъ изъ принцевъ... Этотъ человѣкъ открыто пользуется всѣми податными облегченіями, на которыя имѣютъ право высшее дворянство и высшія лица судебного званія... Изъ такого злоупотребленія привилегіями происходитъ двойной весьма значительный вредъ: бѣднѣйшая часть населенія постоянно обременена налогами не по силамъ, несмотря на то, что она самая полезная для государства, такъ какъ этотъ классъ состоитъ изъ тѣхъ, кто обрабатываетъ землю и доставляетъ пропитаніе для высшихъ классовъ; другой происходящій отсюда вредъ заключается въ томъ, что привилегіи внушаютъ образованнымъ и талантливымъ людямъ отвращеніе къ судебнымъ должностямъ и ко всѣмъ другимъ профессіямъ, требующимъ трудолюбія и прилежанія, и заставляютъ ихъ предпочитать ничтожныя занятія и пустыя

должности“. Вся статья написана въ серьезномъ и умѣренномъ тонѣ, которымъ въ то время отличались во Франціи вообще всѣ политическіе споры. Но этотъ тонъ мало-по-малу исчезъ въ теченіе 1789 года, когда оказалось, что даже въ то время привилегированныя сословія настоятельно требовали въ своихъ cahiers сохраненія въ силѣ cadaго изъ своихъ самыхъ отвратительныхъ и самыхъ несправедливыхъ правъ. Поэтому въ отвѣтъ на утвержденія, будто Энциклопедія сознательно расчищала путь для политическаго переворота, мы замѣтимъ, что въ дѣйствительности она лишь пролила свѣтъ раціональной критики на такіа злоупотребленія въ практической жизни, о возстановленіи которыхъ теперь уже не мечтаютъ даже самые слабоумные изъ французскихъ консерваторовъ.

Остановимся еще на двухъ изъ числа самыхъ отяготительныхъ установленій, служившихъ въ то время бичемъ для Франціи, — во-первыхъ, на такъ называемой *Corvée*, то-есть на томъ же феодальномъ установленіи, которое возлагало на cadaго непривилегированнаго фермера или крестьянина обязанность отработать извѣстное число дней для поддержанія большихъ проѣзжихъ дорогъ. По словамъ Артура Юнга, подтверждаемымъ оставшимися послѣ Тюрго въ Лимузенѣ (1765), и она дала превосходные результаты. Авторъ заканчиваетъ статью въ высшей степени гуманнымъ замѣчаніемъ, что мы должны подумать о томъ, не представляютъ ли благосостояніе сельскаго населенія, обработка земли и просвѣщеніе ея жителей болѣе достойныхъ цѣлей для того, кто ищетъ славы, чѣмъ снаряженіе громадныхъ армій по примѣру Ксеркса. Къ сожалѣнію, всякому, кто изучаетъ исторію, приходится встрѣчаться съ самыми гуманными идеями, высказанными сто или двѣсти лѣтъ назадъ, и убѣдиться, что онѣ и теперь такъ же полезны и такъ же мало обращаютъ на себя вниманія, какъ и въ то время, когда онѣ были высказаны въ первый разъ.

Такое же размышленіе возникаетъ при чтеніи статьи *Fondations*. Это тщательно написанная и толковая статья до сихъ поръ представляетъ самую мастерскую оцѣнку того, какія хорошіа и какія дурныа стороны стипендій. Даже въ наше время, въ нашей собственной странѣ, самымъ плодотворнымъ и благотѣльнымъ дѣломъ, на которое могъ бы посвятить себя энергическій и отважный государственный дѣятель, было бы примѣненіе къ практикѣ тѣхъ здравыхъ принциповъ, ко-



торые изложены въ Энциклопедіи. Перейдя въ томъ же томѣ отъ статьи *Fondations* къ статьѣ *Foire*, вышедшей также изъ подъ пера Тюрго, мы находимъ новый поразительный образчикъ экономической мудрости энциклопедистовъ. Провинціальныя ярмарки съ своими привилегіями, ограниченіями и исключеніями, были нагляднымъ свидѣтельствомъ вреда, проистекавшаго отъ „замашки все регулировать и всѣмъ руководить“, которою была заражена въ то время торговая администрація, и которая прерывала естественное развитіе торговли путемъ безразсудныхъ притѣсненій со стороны полиціи. Другое вредное примѣненіе того же самого принципа указано въ статьѣ *Maitrises*. Читая ее, всякій, кто способенъ стать выше „священныхъ законовъ предразсудка“, долженъ убѣдиться, въ какой мѣрѣ недобросовѣстность, лѣнь, безпорядочность и всѣ другія вредныя послѣдствія монополіи усиливались, благодаря системѣ завидовавшихъ одна другой торговыхъ гильдій, которыя доводили обязательное подраздѣленіе и стѣсненіе всякаго ремесленного труда до такой степени, что все это было бы очень смѣшно, если бы было менѣе вредно.

Однимъ изъ самыхъ настоятельныхъ требованій, всего громче высказывавшихся въ 1789 г., было требованіе объ уничтоженіи дикихъ животныхъ и о прекращеніи барскихъ охотъ (*capitaineries*). Подъ словомъ „дикія животныя“, говоритъ Артуръ Юнгъ, „слѣдуетъ разумѣть цѣлыя стада кабановъ и оленей, которыя не содержались въ мѣстахъ, обнесенныхъ стѣнами или какой-нибудь оградой, а свободно разгуливали по всей странѣ, уничтожая хлѣбъ на корню и населяя галеры несчастными крестьянами, дерзавшими убивать ихъ для того, чтобъ сберечь пропитаніе для своихъ безпомощныхъ дѣтей“. Въ томъ же самомъ мѣстѣ авторъ перечисляетъ гнусныя и невѣроятныя постановленія, разорявшія земледѣліе на пространствахъ цѣлыхъ сотенъ льѣ съ цѣлью доставить дворянству удобства для занятій спорта. Въ семи томахъ Энциклопедіи, вышедшихъ въ свѣтъ въ 1657 г., относительно многихъ предметовъ болѣе сдержанности, чѣмъ въ тѣхъ десяти томахъ, которые издавались Дидро послѣ великаго раздора, происшедшаго въ 1759 году. Впрочемъ, что касается спорта, авторъ статьи *Chasse* приводитъ всѣ соображенія, какія всякій патріотическій министръ желалъ бы видѣть господствующимъ въ общественномъ мнѣніи. Статья мѣстами поражаетъ насъ откоро-

венностью и смѣлостью обвиненій, и даже самымъ хладнокровнымъ читателемъ овладѣваетъ то чувство негодованія, которое при слѣдующемъ поколѣніи кипѣло въ груди нашего проникательнаго и разсудительнаго Артура Юнга (1787 г.). „Пріѣзжайте“, говоритъ онъ, „къ кому-нибудь изъ этихъ знатныхъ дворянъ, и вы, вѣроятно, застанете его въ лѣсу, густо населенномъ оленями, кабанами и волками. О! если бъ я былъ хоть въ теченіе одного дня законодателемъ Франціи, у меня наплясались бы эти баричи!“

Это приводитъ насъ къ тому, что составляетъ едва ли не самую выдающуюся изъ всѣхъ руководящихъ идей книги. Въ Георгикахъ Виргилія многіе видѣли восхваленіе трудолюбія. Мысль объ Энциклопедіи, повидимому, зародилась изъ того же мотива — изъ такого же сильнаго сочувствія ко всѣмъ цѣлямъ, интересамъ и мелкимъ подробностямъ производительной дѣятельности. Дидро, — какъ кто-то основательно замѣтилъ, — былъ сынъ ножевщика, и потому съ его стороны было естественно желаніе возвысить въ мнѣніи общества тѣхъ, кто занимался какимъ-нибудь ремесломъ; понятно, что изъ мастерской своего добраго отца онъ долженъ былъ вынести чувство симпатіи и уваженія къ ловкости и трудолюбію. Объяснительные рисунки, за изданіемъ которыхъ Дидро слѣдилъ съ напряженнымъ вниманіемъ въ теченіе почти тридцати лѣтъ, замѣчательны по своему богатству, по своей ясности и законченности и во всѣхъ отношеніяхъ поистинѣ превосходны. Но въ нихъ еще болѣе поражаетъ насъ что-то въ родѣ поэтическаго чувства, которое превращаетъ простое изображеніе какого-нибудь занятія въ одушевленную картину человѣческой жизни, возбуждающую въ насъ сочувствіе и дѣйствующую на наше воображеніе, какъ будто передъ нашими глазами какая-нибудь драматическая сцена. Живость, ловкость и проворство рабочихъ въ плавильнѣ, у печи, гдѣ льютъ стекло, на пороховомъ заводѣ, на фабрикѣ шелковыхъ матерій изображены съ такимъ же искусствомъ, какъ и болѣе спокойныя занятія молочницы, швеи, кондитера, наборщика, аптекаря или чеканщика. Рисунки напоминаютъ намъ то живое сочувствіе къ своей работѣ, ту всегдашнюю къ ней готовность, которыя составляютъ такую привлекательную черту характера въ лучшихъ французскихъ мастеровыхъ. Трудно себѣ представить, какое одушевленіе господствуетъ въ этихъ огром-



ныхъ фоліантахъ. Они производятъ на васъ такое же впечатлѣніе, какъ если бы вы съ возвышенностей Монмартра окинули взоромъ Парижъ. Перелистывая одинъ за другимъ эти томы, вы точно будто разсматриваете великолѣпную панораму всей дѣловой жизни того времени. Въ нихъ мелкія подробности поражаютъ васъ столько же своей тщательной отдѣлкой, сколько своей удобоповѣстностью. Самый мелкій рабочій инструментъ, узелокъ на ниткѣ, сгибъ на веревкѣ, изгибъ ручной кисти или пальца, — все это изображено съ замѣчательной точностью. Читатель улыбается при видѣ полного и тщательнаго подбора выкроекъ портного. Онъ содрагается, когда доходитъ до ножей, зондовъ, бандажей и когда видитъ, въ какомъ положеніи должны лежать несчастный больной, надъ которымъ будетъ производиться одна изъ самыхъ опасныхъ хирургическихъ операцій. Для всѣхъ главныхъ отраслей промышленности есть гравюры, достаточно хорошо объясняющія и практическія особенности дѣла и вышнюю его обстановку. Намъ уже приходилось говорить о томъ, что Дидро самъ посѣщалъ мастерскія, наблюдалъ за ходомъ работъ, задавалъ тысячи вопросовъ, садился за ткацкій станокъ, приказывалъ разобрать всю машину по частямъ и въ его присутствіи снова ее собрать, бралъ на себя какую-нибудь тяжелую работу, исполняемую подмастерьями и работалъ плохо съ цѣлью, какъ онъ самъ говорилъ, сдѣлаться способнымъ научить другихъ, какъ слѣдуетъ хорошо работать. То не была пустая риторическая фраза, когда онъ воскликнулъ, что Энциклопедія должна сдѣлаться святилищемъ, въ которомъ человѣческія знанія могли бы укрыться отъ разрушительнаго вліянія времени и революцій. Онъ, дѣйствительно, постарался сдѣлать изъ нея полный складъ практическихъ знаній, столь удовлетворительный во всѣхъ своихъ подробностяхъ, что можно бы было разомъ возстановить всѣ эти знанія въ томъ случаѣ, если бы потопъ уничтожилъ все, кромѣ одного экземпляра Энциклопедіи. Такія подробности, говоритъ Д'Аламберъ, можетъ быть, покажутся крайне неумѣстными для тѣхъ ученыхъ педантовъ, которые нашли бы въ высшей степени интересными и цѣнными длинныя диссертаціи о поваренномъ искусствѣ или о причeskѣ у древнихъ, о мѣстоположеніи какой-нибудь давно разрушившейся деревушки, о томъ, какое имя получилъ при крещеніи какой-нибудь малоизвѣстный писатель десятаго столѣтія. Онъ

утверждаетъ, что подробности, касающіяся государственнаго хозяйства, ремесль и торговли имѣютъ не менѣ права на вниманіе, чѣмъ схоластическая философія или какая-нибудь еще не вышедшая изъ употребленія риторическая система, или таинства геральдики. Однако и изъ этихъ послѣднихъ предметовъ ни одинъ не былъ упущенъ изъ виду.

*Морлей.*

## Энциклопедисты и матеріалисты.

Дидро принадлежалъ къ такъ называемымъ *esprits forts*, „сильнымъ умамъ“, которые съ величайшею смѣлостью нападали на всѣ повятія, полученныя нами по преданію, и въ особенности на христіанство и даже вообще на всякую религію. Эту отважную карьеру Дидро началъ подъ эгидою англичанина: въ 1745 году онъ передѣлалъ сочиненіе Шефтсбери; его передѣлка была гораздо смѣлѣе и рѣзче оригинала. Но все-таки онъ дѣйствовалъ тутъ еще осмотрительно и осторожно. Черезъ шесть лѣтъ въ своихъ „Философскихъ мысляхъ“, *Pensées philosophiques*, онъ уже совершенно порѣшилъ съ господствовавшею системою и началъ смертоносную войну противъ всего, во что искренно вѣрилъ народъ. Самое заглавіе показываетъ, что *Pensées philosophiques* написаны противъ *Pensées* Паскаля. Паскаль рядомъ мыслей, которыхъ нельзя, по его мнѣнію, ни доказать, ни опровергнуть, показываетъ слабость человѣческаго ума и выводитъ изъ этого необходимость откровенія; Дидро точно такимъ же методомъ идетъ къ противоположной цѣли, доказывая, что человѣкъ ни собственнымъ мышленіемъ, ни откровеніемъ никогда не достигаетъ такого знанія, которое было бы выше силъ его разсудка. Онъ беретъ дѣло не съ одной только философской стороны; онъ нападаетъ и вообще на христіанство, и въ частности на важнѣйшія его стороны; эти нападенія отличаются рѣзкостью и опредѣлительностью.

Еще дальше пошелъ Дидро въ своей смѣлой борьбѣ противъ господствующаго ученія, издавъ „Письма слѣпому на пользу зрячимъ“; книга эта вышла черезъ три года послѣ „Философскихъ мыслей“. Въ ней уже видимъ первые слѣды его атеистическаго фанатизма и краснорѣчія, внушаемаго ему этимъ энтузіазмомъ; но въ ней Дидро еще воздерживается отъ



грубаго матеріалізма п совершеннаго отрицанія Бога. За это сочиненіе его заперли въ Венсенскій замокъ; но преслѣдованіемъ, какъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, достигли лишь того результата, что публика стала считать автора мученикомъ и съ удвоеннымъ усердіемъ принялась читать его сочиненія.

Освободившись отъ ареста, Дидро составилъ планъ большаго сочиненія, которое излагало бы всѣ знанія, заслуживающія изложенія; для такого изданія, конечно, должно было работать цѣлое общество людей, и необходимо было, чтобы то были люди одинаковаго образа мыслей, чтобы изданіе соответствовало своей цѣли. Цѣль состояла въ томъ, чтобы это изданіе, замѣняя собою всякія другія ученые книги, изложило въ духѣ новаго ученія всѣ отрасли знанія и ознакомило съ новымъ ученіемъ, противоположнымъ старой философій и религій, всѣ сословія и классы общества. Это была знаменитая „Энциклопедія“. Сотрудники ея, получившіе имя *энциклопедистовъ*, именно и есть тѣ люди, которыхъ обыкновенно называютъ „философами XVIII вѣка“, которые долго были предметомъ чрезмѣрныхъ похвалъ, а теперь стали предметомъ такой же чрезмѣрной брани. Во время семилѣтней войны они образовали родъ академіи или ученой корпораціи, которая дѣйствовала въ то самое время, когда іезуитскій орденъ былъ уничтоженъ папою. Самое значительное лицо между ними былъ Д'Аламберъ, который сначала раздѣлялъ съ Дидро общую редакцію изданія и написалъ знаменитое „Введеніе“ въ „Энциклопедію“. Дидро писалъ статьи по искусствамъ и технологіи и по древней философій. Онъ очень вредилъ успѣху изданія своимъ грубымъ матеріалізмомъ и нападеніями на христіанство въ своихъ статьяхъ. Ихъ рѣзкость заставила многихъ сотрудниковъ удалиться, въ томъ числѣ и Д'Аламбера, такъ что Дидро становилось все труднѣе продолжать изданіе, и наконецъ его поддерживалъ только Вольтеръ, не уступавшій ему въ фанатизмъ. Дидро перессорился со всѣми умѣренными людьми, съ правительствомъ, которое то запрещало, то опять позволяло продолжать „Энциклопедію“, съ издателемъ и даже съ публикою. Онъ выказалъ въ этомъ дѣлѣ изумительную непоколебимость, но не имѣлъ достаточныхъ силъ, чтобы самому завѣдывать всѣмъ, и былъ принужденъ дать участіе въ дѣлѣ людямъ, работавшимъ по заказу; разумѣется, и товаръ ихъ былъ не выше фабричныхъ издѣлій.

Замѣтимъ, что дю-Деффанъ и Жоффренъ перестали принимать въ свои салоны Дидро и его друзей, что даже Фридрихъ Великій отшатнулся отъ него въ 1773 г. Но его покровительницею сдѣлалась императрица Екатерина II, для которой былъ нуженъ, чѣмъ для Фридриха, такой европейскій глашатай ея славы; она щедро поддерживала его деньгами.

Нѣкоторые изъ энциклопедистовъ съ нѣсколькими другими писателями составляли Гольбаховское общество, которое съ истиннымъ фанатизмомъ проповѣдывало чисто матеріалистическую систему эгоизма и наслажденія. Знаменитѣйшіе изъ членовъ этого круга, называемыхъ *матеріалистами*, были самъ *Гольбахъ*, *Дидро*, *Гельвецій*, *Гриммъ*, *Мармонтель*, *Кондорсе* и *Реналь*. Это была партія, прямо стремившаяся къ уничтоженію господствующей религіи и моральной системы своими многочисленными сочиненіями. Въ собраніяхъ у Гольбаха, какъ на конгрессѣ, шли правильныя пренія о томъ, что надобно писать по какому вопросу и какія сочиненія надобно издавать. Самая смѣлая и извѣстная книга, вышедшая изъ этого кружка, похожаго на литературную фабрику, была „Система природы“ (*Système de la nature*); природа изображалась въ ней не болѣе, какъ машиною, религія объявлялась пустою мечтою, нравственность — предразсудкомъ или привычкою, — словомъ сказать, все, неподводимое подъ физическіе законы и неслужащее наслажденію, называлось нелѣпостью. Противъ такой крайности отрицанія возсталъ самъ Вольтеръ. Непонятно, какъ Гельвецій, человѣкъ честный и хорошій, бывшій легкомысленнымъ только по желанію славы, могъ участвовать въ такой дѣятельности. Можно до нѣкоторой степени объяснить это развѣ тѣмъ, что тогда считалось дѣломъ чести выказывать свободу мыслей и отвагу среди всеобщаго рабства и лицемерія.

Этимъ надобно объяснить и то, что Гельвецій написалъ свою безотрадную книгу „О духѣ“, въ которой открыто систематизировалъ принципы тогдашняго большого свѣта. Какъ человѣкъ свѣтскій, онъ стремился къ тому, что считалось въ его время славою, и тѣмъ легче достигъ славы своею книгою, что ему много помогало и личное его положеніе. Онъ въ молодости получилъ долю въ государственномъ откупѣ (онъ сдѣлался откупщикомъ съ 23 года), рано пріобрѣлъ княжеское богатство, сдѣлался поэтому однимъ изъ первыхъ лицъ въ па-



рижскихъ салонахъ, имѣлъ знакомство со всѣмъ высшимъ кругомъ цѣлой Европы и сдѣлалъ свой домъ сборищемъ его. Этими обстоятельствами нѣсколько оправдывается и содержаніе его книги; кромѣ высшаго круга, онъ никогда не зналъ другихъ классовъ общества; потому натурально было, что онъ не могъ смотрѣть на умственную и нравственную жизнь иначе, какъ съ точки зрѣнія высшаго круга. Когда вышла его книга, дю-Деффанъ сказала (по крайней мѣрѣ, такъ говорятъ): „онъ выдалъ тайну всякаго“; — иными словами, это значило, что книга Гельвецій публично высказываетъ ту практическую философію, которая до той поры оставалась исключительнымъ секретомъ хорошаго общества. Когда явилась эта книга, весь высшей европейскій свѣтъ громко восхвалилъ ее за то, что она превосходно привела въ систему тѣ понятія, которыхъ держится каждый; потому, даже несмотря на сухость изложенія, всѣ такъ удивлялись автору, что каждый государь или вельможа, пріѣзжавшій въ Парижъ, искалъ его знакомства. Только Фридрихъ Великій понялъ, что высшему кругу должно сдѣлаться гибельно это обнародованіе принципа, на которомъ основана его жизнь. Но и Фридрихъ содѣйствовалъ успѣху книги чрезвычайнымъ почетомъ, съ какимъ принялъ Гельвецій въ своемъ дворцѣ, когда онъ пріѣхалъ въ Берлинъ, — пріѣхалъ, впрочемъ, не какъ писатель, а какъ откупщикъ, вводить въ Пруссію откупную систему. Разумѣется, примѣру Фридриха послѣдовали всѣ нѣмецкіе государи французскаго образованія. Даже усердный приверженецъ протестантской стороны, король Георгъ III англійскій, вѣроятно, и не читавшій книгу Гельвецій, съ почетомъ принялъ ее автора, когда онъ пріѣхалъ въ Англію.

Мы не можемъ подробно рассказывать здѣсь содержаніе книги Гельвецій; сдѣлаемъ лишь нѣсколько замѣтокъ о ней. Гельвеціусъ выводитъ всѣ наши представленія изъ чувственныхъ впечатлѣній, всю дѣятельность человѣческаго ума ставитъ въ томъ, что онъ замѣчаетъ эти впечатлѣнія и ихъ отношенія. Такимъ образомъ у него является система чистаго матеріализма, и его философскіе, нравственные, практическіе выводы имѣютъ такой характеръ, что вовсе не странно, что книга такъ понравилась знатному свѣту. Гельвецій допускаетъ только одно побужденіе для всѣхъ дѣйствій — эгоизмъ; онъ не признаетъ нравственной свободы; такъ называемый

нравственный или духовный міръ считаетъ только однимъ изъ отдѣловъ физическаго міра; понятіе добродѣтели сводить къ понятію привычки дѣлать то, что приноситъ постоянную пользу; мудрость и знаніе Аристотеля кажется ему не болѣе великимъ и почтеннымъ, чѣмъ искусство отличной актрисы или кокетки. Онъ самъ по себѣ былъ благородный человѣкъ, имѣлъ богатый запасъ глубокихъ наблюденій, поэтому высказываетъ много благороднаго; но даже и въ этихъ мѣстахъ своей книги онъ не скрываетъ презрѣнія къ нравственному принципу, — презрѣнія, бывшаго не его личной особенностью, а принадлежностью тогдашней великосвѣтскости. Изъ этого мы дѣлаемъ одинъ выводъ: притязанія высшихъ сословій доходили тогда до такого размѣра, что неизбѣжнымъ слѣдствіемъ ихъ была полная реформа существующаго порядка. И дѣйствительно, тамъ гдѣ Гельвецій говоритъ о государствѣ, правительствѣ, законодательствѣ и воспитаніи, онъ приходитъ къ такому же результату, какъ Монтескье и Руссо, хотя принципъ его вовсе не похожъ ни на солидность Монтескье, ни на энтузіазмъ Руссо къ естественному состоянію человѣка. Мы говорили о той сторонѣ книги Гельвецій, которая раскрываетъ испорченность высшихъ сословій; но въ ней есть и другая сторона, показывающая намъ, что при всей испорченности этихъ сословій, даже и въ нихъ была тогда искренняя любовь къ человѣчеству, умственное движеніе, которое одушевляло тогда всѣхъ лучшихъ людей, былъ энтузіазмъ къ прогрессу человѣчества. Слѣпота вѣры и суевѣрія, произвольная власть, схоластика людей, защищавшихъ византійскія и римскія понятія, и желѣзное иго военнаго владычества — все это сокрушается у Гельвеціуса подъ ударами рѣчи.

Гельвецій, хотя другимъ путемъ, но шелъ къ той же цѣли, какъ Монтескье и Руссо, но шелъ къ ней сознательно: — это ясно изъ второго его сочиненія, „De l'homme“ — „О человѣкѣ“, вышедшаго въ 1771 г. Въ сущности здѣсь излагается то же самое ученіе, какъ и въ книгѣ „О духѣ“; но радикальные политическіе принципы, которые лишь едва обозначаются въ первомъ сочиненіи, высказываются въ этомъ второмъ уже такъ опредѣленно и открыто, что Фридрихъ Великій возненавидѣлъ эту книгу. Фридрихъ тогда же понялъ, что въ литературѣ новаго направленія владычествуетъ демократическій духъ.



Обращаемся наконецъ къ Д'Аламберу; отчасти по своему со-трудничеству въ „Энциклопедіи“, а еще больше потому, что былъ другомъ Вольтера и его представителемъ въ Парижѣ, онъ игралъ въ парижской литературѣ важную роль, важнѣе, чѣмъ самъ Дидро; онъ былъ осторожнѣе, тоньше, благоразумнѣе Дидро, хотя имѣлъ такія же чувства къ господствующей религіи, какъ Гельвеціусъ. Подобно Вольтеру, Монтескье и Руссо, онъ имѣлъ большое вліяніе на образъ мыслей высшаго круга; но еще важнѣе онъ тѣмъ, что вносилъ принципы новаго ученія въ науку, хотѣлъ пересоздать въ его духѣ даже записную ученость. Началомъ своей извѣстности Д'Аламберъ былъ обязанъ математическимъ трудамъ, потомъ получилъ репутацію, какъ другъ Вольтера и какъ свѣтскій человѣкъ. Онъ игралъ большую роль въ свѣтскомъ обществѣ и въ литературныхъ салонахъ, сталъ близкимъ другомъ Фридриха Великаго, который велъ съ нимъ постоянную переписку, и долго исполнялъ въ академіи должность составителя похвальныхъ рѣчей, комплименты которыхъ цѣнились тогда многими тщеславными людьми выше орденовъ.

„Введеніе въ Энциклопедію“ было первымъ изъ тѣхъ сочиненій Д'Аламбера, которыя важны для исторіи тогдашняго умственнаго развитія. Это Введеніе можно назвать манифестомъ тогдашнихъ доктринеровъ. До сихъ поръ оно считается во Франціи образцомъ ученаго изложенія и, дѣйствительно, заслуживаетъ величайшихъ похвалъ спокойствіемъ и выдержанностью тона, ясностью, искуснымъ распредѣленіемъ частей; заслуживаетъ удивленія и чрезвычайною ловкостью, съ которою старая система понятій и прежнее распредѣленіе наукъ испровергается въ немъ такъ, что читатель почти не замѣчаетъ, какъ это сдѣлалось въ его мысляхъ. Это сочиненіе Д'Аламбера — логическое развитіе принципа Локка, что все человѣческое знаніе основано на чувственномъ опытѣ, — не то, чтобы только начиналось съ него, а все основано только на немъ. Выходя изъ этого принципа, Д'Аламберъ сводитъ всю науку къ рефлексіи, сравненію чувственныхъ впечатлѣній и къ наблюденію того, что полезно намъ, что вредно. Такимъ образомъ Д'Аламберъ говоритъ, что умственная жизнь обусловливается животною жизнью, которая служитъ ей единственнымъ основаніемъ, отвергаетъ непосредственное воззрѣніе, творческую силу фантазіи, всякое абстрактное мышленіе, находитъ, что

даже понятіе справедливости и чувство добраго основаны на физической природѣ человѣка. Натурально, что при такомъ взглядѣ Д'Аламберъ даетъ первое мѣсто въ ряду наукъ естествознанію и математикѣ. Понятно также, что въ поэзіи и въ искусствѣ онъ не признаетъ творчества, а видитъ только способность подражанія, и что техническія искусства онъ ставитъ гораздо выше созерцательной науки. Неудивительны и смѣлыя его слова, что средніе вѣка не имѣли въ себѣ ничего, кромѣ варварства и варварской литературы; неудивительно и то, что онъ предвѣренно осмѣиваетъ и унижаетъ даже великихъ ученыхъ того дивнаго вѣка Италіи, который можно сравнивать только съ вѣкомъ процвѣтанія Аѳинъ.

Изъ множество другихъ сочиненій Д'Аламбера упомянемъ только о его памфлетѣ противъ Руссо. Изъ памфлета Д'Аламбера и изъ возраженія Руссо на его статью можно видѣть разницу въ характерѣ дѣятельности этихъ двухъ главныхъ философовъ той поры; можно видѣть и то, что при всей разницѣ направленій они совершенно сходились во мнѣніи, что мораль, поддерживаемая полицейскими мѣрами, и правительственная система, опирающаяся на солдатъ, — вещи одинаково губительныя. Споръ между Д'Аламберомъ и Руссо возникъ по поводу статьи Д'Аламбера „Женева“, „въ Энциклопедіи“. Д'Аламберъ до чрезвычайности превознесъ женеvскую республику, чтобы похвалами ей косвенно выказать недостатки французской монархіи и несостоятельность системы, господствовавшей во Франціи. Онъ дѣлалъ это очень тонко и осторожно, вовсе не въ тонѣ дерзкихъ сарказмовъ Гольбаха и Дидро. Между прочимъ онъ прославлялъ терпимость, господствующую въ Женевѣ, и кстати приглашалъ женеvцевъ уничтожить послѣдній остатокъ прежней нетерпимости въ ихъ городѣ, — запрещеніе театра. Статья вызвала протестъ съ стороны женеvскаго духовенства, но, главное, вызвала также возраженіе со стороны Руссо. Женевское духовенство было очень смущено и раздражено, что Д'Аламберъ хвалитъ его за то, что оно не придаетъ никакой важности догматикѣ и учитъ только нравственности. Руссо воспользовался статьей Д'Аламбера защитить свою демократическую философію противъ аристократической философіи энциклопедистовъ. На протестъ женеvскаго духовенства мы не будемъ останавливаться, а займемся возраженіемъ Руссо.

Руссо разсуждаетъ, повидимому, только о вредѣ или пользѣ



театра; но главная цѣль его — разоблачить модныхъ софистовъ, которые хотѣли обратить на пользу себѣ и богатымъ сословіямъ новую, свободнѣйшую жизнь, пробуждавшуюся во всѣхъ классахъ общества, т.-е. хотѣли заковать міръ въ новыя цѣпи. Рѣзко говоритъ онъ противъ тогдашнихъ модныхъ академиковъ, противъ софистовъ, бывшихъ паразитами у богатыхъ и знатныхъ, защищавшихъ ихъ пороки и придумавшихъ особую систему добродѣтели, соотвѣтствующую ихъ чувственности. По вопросу о театрѣ Руссо, въ негодованіи на фальшивую цивилизацію, разбираетъ драматическую поэзію не съ эстетической, а съ нравственной стороны. Разборомъ нѣсколькихъ знаменитыхъ трагедій онъ доказываетъ, что величіе и блескъ, съ какими являются въ нихъ злодѣи, должны вредно дѣйствовать на нравственность, хотя эти лица и наказываются поэтическимъ правосудіемъ. Потомъ онъ прилагаетъ ту же мѣрку къ комедіямъ. Съ особенною подробностью разбираетъ онъ Мольерова „Мизантропа“ и тутъ развиваетъ свою теорію жизни, противоположную господствующимъ правамъ и цивилизаціи. По его словамъ, Мольеръ вообще выводитъ на сцену слабыя и смѣшныя стороны тѣхъ людей, которые не принадлежатъ къ такъ называемому хорошему обществу, а въ „Мизантропѣ“ осмѣялъ то, чего никогда не прощаютъ люди хорошаго тона, — добродѣтель; онъ осмѣялъ ее въ особенности тѣмъ, что въ контрастъ прямодушному, благородному человѣку, выведенному на увеселеніе публики, выставилъ въ лицѣ Филинта идеаль спокойнаго и холоднаго свѣтскаго человѣка, который не увлекается ничѣмъ, кромѣ собственныхъ выгодъ: Руссо превосходно характеризуетъ Филинтовъ всѣхъ странъ и временъ, — онъ удивительно обрисовываетъ подъ этимъ именемъ людей придворной и свѣтской философіи, которая по-аристократически прикрашиваетъ всѣ пороки гибкой софистикой; тутъ рисуется система дѣйствій, которой держались энциклопедисты и держатся подобные имъ доктринеры и оптимисты большого свѣта, — люди, практическая философія которыхъ, по выраженію Руссо, чрезвычайно сходна съ философіей мошенниковъ. Онъ дѣлаетъ нѣсколько такихъ рѣзкихъ выходовъ въ своемъ негодованіи на жизнь людей, принципы которыхъ распространялись Д'Аламберомъ и его друзьями, и уже только послѣ всего этого переходитъ къ вопросу о введеніи театра въ Женеву. Отыѣчая на него, онъ показываетъ, какое вред-

ное вліяніе на нравы города, сохранившаго простоту, имѣлъ бы образъ жизни актеровъ и актрисъ, распространяемый театромъ вкусъ къ нарядамъ и къ разсѣянной жизни и т. д.

Какъ въ „Новой Элоизѣ“, такъ и тутъ главною цѣлью Руссо было выставить презрѣнность парижской жизни и той цивилизаціи, которую рекомендовали энциклопедисты. Это его возраженіе на статью Д'Аламбера надѣлало такого шума, что Д'Аламберъ не могъ молчать. Онъ написалъ отвѣтъ, но отвѣтъ былъ тривиаленъ, и авторъ, по гнусной манерѣ салонныхъ людей, впледелъ личность своего противника въ споръ о предметѣ. Той стороны, которая была дѣйствительно слаба у Руссо, такой человекъ какъ Д'Аламберъ не могъ замѣтить. Эта слабая сторона состояла въ томъ, что Руссо не понималъ истинной поэзіи; онъ видѣлъ въ поэзіи только то, что принадлежитъ въ ней чувству и разсудку, но не видѣлъ того, что создается поэтическимъ творчествомъ. На сторонѣ Д'Аламбера былъ перевѣсъ тамъ, гдѣ дѣло касалось частнаго вопроса о театрѣ; онъ говоритъ о нравахъ артистовъ и о вліяніи театра съ большимъ знаніемъ человѣческой жизни, чѣмъ Руссо, и безъ ипохондріи, которою увлекся его противникъ. Какъ человекъ, имѣвшій большую свѣтскую опытность, онъ умѣлъ замѣтить еще одну ошибку у Руссо: Руссо предлагалъ женевамъ вмѣсто театра развлеченіе собственнаго изобрѣтенія, и Д'Аламберъ умѣлъ посмѣяться надъ этою фантазіею.

*Шлоссеръ.*

### Характеристика Дидро.

Смерть Дидро не только не возбудила ничьего вниманія, но даже была скоро забыта. Приближалась революція. „Correspondance“ Гримма въ 1783 году пророчила близкую смерть Д'Аламбера и Дидро, но ни одному изъ нихъ, по ихъ смерти, не посвятила ни прощальнаго привѣта, ни некролога, какъ то дѣлалось раньше по отношенію къ другимъ знаменитостямъ. Только въ 1786 году, въ ноябрьской книжкѣ, появилась статья сотрудника Гримма, Мейстера: „A la mémoire de Diderot“, которую я здѣсь привожу цѣликомъ, потому что она, по моему мнѣнію, до сихъ поръ наилучшая изъ всѣхъ тѣхъ, которыя имѣютъ значеніе для общей характеристики Дидро. Въ ней Дидро изображенъ вѣрно, безпристрастно и сердечно, потому что Мейстеръ зналъ его лично довольно долго. Онъ говорилъ:



„О Дидро! сколько протекло уже дней съ тѣхъ поръ, какъ угасъ твой духъ, какъ мракъ могилы скрылъ твой безжизненный прахъ! И изъ столькихъ друзей, съ которыми ты проводилъ ночи, которымъ оказывалъ помощь своимъ талантомъ и которымъ расточалъ богатства твоей фантазіи, ни одинъ не далъ себѣ труда воздвигнуть тебѣ памятникъ, достойный благодарности, которою тебѣ обязаны дружба, твой вѣкъ и будущее.

„Между тѣмъ что можетъ быть для ученаго увлекательнѣе славы, перешедшей въ послѣдующіе вѣка? Правда, онъ не сдѣлалъ никакого открытія, которое расширило бы сферу нашихъ знаній; можетъ быть, онъ не оставилъ произведенія, которое ставило бы его на ряду съ нашими лучшими ораторами, философами, поэтами; но я спрашиваю всѣхъ, кто имѣлъ счастье его знать, не былъ ли онъ тѣмъ не менѣе однимъ изъ удивительнѣйшихъ явленій могущества генія?

„Если есть люди, сохранить вѣрную память о которыхъ важно для славы человѣческаго ума, то это тѣ, которые имѣли несомнѣнные права на общее уваженіе и удивленіе, по которымъ обстоятельства, извѣстная неизбѣжность судьбы не позволили развить всѣ ихъ силы, весь кругъ ихъ способностей. Что можно прибавить къ славѣ *Виргилія*, оставившаго намъ о себѣ представленіе въ *Энеидѣ*, или къ славѣ *Расина*, котораго мы знаемъ по его „*Федръ*“ и „*Гюолинъ*“? Но какъ легко было бы изгладить ихъ, чтимыхъ, какъ въ тѣ вѣка, когда они родились, такъ равно и въ послѣдующіе, изъ нашей памяти, если бы она не освящалась благоговѣніемъ ихъ современниковъ? Не превознести тебя осмѣливаюсь я, о Дидро! Мои слабые силы едва льстятъ себя надеждой собрать здѣсь нѣсколько цвѣтковъ, достойныхъ украсить твою гробовую урну. Но я часто имѣлъ счастье посѣщать твое скромное жилище; часто я также раздѣлялъ драгоцѣнные дары, которые твой геній расточалъ съ такимъ легкимъ и великодушнымъ самоотверженіемъ, съ такою нѣжною и увлекательною сердечностью. Не въ тщеславныхъ похвалахъ должна излиться моя благодарность, но я постараюсь по крайней мѣрѣ выразить то, что я видѣлъ, что я чувствовалъ, и тѣ изъ твоихъ друзей, которымъ попадутся эти бѣглые очерки, найдутъ въ нихъ, можетъ быть, нѣкоторыя вѣрно переданныя черты твоего образа.

„Если бы художникъ хотѣлъ изобразить *Аристотеля* и *Платона*, врядъ ли онъ нашелъ бы современный образъ для мо-

дели лучшій, чѣмъ Дидро. Его широкій, открытый и мягко закругленный лобъ носилъ величественную печать обширнаго свѣтскаго и плодотворнаго ума. Великій фізіономистъ Лафатеръ усматривалъ въ этомъ нѣкоторые слѣды застѣнчиваго, мало предпріимчиваго характера. Такъ какъ онъ могъ судить только по нѣкоторымъ портретамъ, то намъ кажется, что такое пониманіе обнаруживаетъ очень тонкаго наблюдателя. Его носъ былъ мужественной красоты; очертаніе его верхнихъ вѣкъ вѣжно, выраженіе глазъ кротко и полно чувства, но, какъ только голова его начинала работать, глаза метали искры; ротъ его дышалъ привлекательной смѣсью смѣлости, пріятности и добродушія. Несмотря на то, что онъ вообще былъ небреженъ, все-таки отъ природы онъ имѣлъ въ поворотѣ головы и въ особености въ жестахъ, которыми онъ сопровождалъ свою рѣчь, много благородства, энергіи и достоинства. Кажется, что энтузіазмъ сталъ самымъ естественнымъ свойствомъ его голоса, души и всѣхъ его поступковъ. Въ хладнокровномъ и равнодушномъ состояніи въ немъ можно было подмѣтить часто принужденность, безпомощность, боязливость, даже нѣчто въ родѣ чопорности. Онъ былъ настоящимъ Дидро, дѣйствительно самимъ собою, когда его мысли выводили его изъ этого состоянія.

..Чтобы составить себѣ нѣкоторое понятіе объ объемѣ и плодovitости его духа, достаточно бросить быстрый взглядъ, я не скажу на все, что онъ написалъ, но только на тѣ произведенія, которыя извѣстны публикѣ. Тотъ самый человѣкъ, который создалъ планъ прекраснѣйшаго памятника, когда-либо воздвигнутаго вѣкомъ славы и просвѣщенію человѣческаго рода, человѣкъ, самъ осуществившій большую его часть, — написалъ двѣ театральныя піесы совершенно въ новомъ родѣ, въ которыхъ самый разборчивый вкусъ не можетъ отрицать, по крайней мѣрѣ, большихъ драматическихъ эффектовъ и стиля, полнаго теплоты и страсти, — тотъ самый человѣкъ, которому мы обязаны столькими набросками тончайшей метафизики въ его письмахъ о слѣпыхъ и глухонѣмыхъ, въ его философскихъ мысляхъ, въ его толкованіи природы, въ столькихъ энциклопедическихъ статьяхъ о прежней философіи, составилъ подробнѣйшее, точнѣйшее и вполнѣ законченное описаніе всѣхъ нашихъ ремеслъ. Всякій знаетъ, какъ это дѣло съ тѣхъ поръ усовершенствовано, но можно ли забыть, что до Дидро



объ этомъ предметѣ не было написано ни одной строчки? Тотъ же самый человѣкъ, который намъ оставилъ столько полныхъ свѣдѣніями философскихъ и ученыхъ произведеній, даже сочиненій по математикѣ, о которыхъ, какъ я часто слышалъ, отзывались лучшіе изъ нашихъ геометровъ съ большимъ уваженіемъ, написалъ еще рассказы и романы, писалъ шутливыя вещи, полныя оригинальности, замысла и юмора, и однимъ изъ лучшихъ нравственныхъ сочиненій на французскомъ языкѣ, своимъ „Очеркомъ царствованій Клавдія и Нерона“ („Essai sur les règnes de Claude et de Néron“) закончилъ свою литературную дѣятельность на всеобщую пользу. Если подумать, что многочисленныя и по своему роду разнообразныя произведенія принадлежатъ человѣку, которому хватало только времени для ихъ созданія, а не для заботъ объ обезпеченіи своего существованія и существованія своей семьи, который въ послѣдствіи могъ удѣлять имъ только нѣсколько минутъ, оставшихся свободными отъ навязчивости чужихъ и нескромности друзей, и прежде всего если взять въ соображеніе чрезвычайную безпечность его характера, то, безъ сомнѣнія, надо будетъ допустить, что немного людей были одарены болѣе обширнымъ умомъ, искусствомъ болѣе рѣдкаго и плодovitаго таланта.

„Геній Дидро походилъ на тѣхъ сыновей, которые вырастаютъ въ средѣ зажиточной семьи, считаютъ неисчерпаемымъ источникъ своего богатства и потому не полагаютъ границъ своимъ требованіямъ и не соблюдаютъ никакого порядка въ ихъ расходахъ. До какой степени совершенства достигъ бы этотъ геній, для какого предпріятія были бы достаточны его силы, если бы онъ направлялъ ихъ на одинъ предметъ, если бы онъ, по крайней мѣрѣ, время и труды, которые онъ постоянно отдавалъ каждому, кто прибѣгалъ къ его помощи, совѣту, благоусмотрѣнію, приберегъ для усовершенствованія своихъ собственныхъ произведеній! То, что сначала онъ дѣлалъ изъ добродушія, по привычкѣ, по извѣстной склонности характера, то потомъ онъ дѣлалъ по необходимости, по принципу, и онъ самъ выразилъ объ этомъ очень наивно: у меня не крадутъ мою жизнь. я ее отдаю. Что могу я сдѣлать лучшаго, какъ отдать часть ея тому, кто оказываетъ мнѣ уваженіе, прося объ этомъ? Дѣло не въ томъ, чтобы вещь была сдѣлана кѣмъ другимъ или мною, но чтобы она была сдѣлана и хорошо сдѣ-

лана, все равно дурнымъ или хорошимъ человѣкомъ. За это меня не похвалятъ ни теперь, ни послѣ моей смерти, но я тѣмъ болѣе самъ себя стану уважать и меня тѣмъ болѣе станутъ любить. Обмѣвъ добродѣтели, награда за которую обезпечена, на извѣстность, которую не всегда и не безъ неудобства приоб- рѣтають, не дуренъ. Можетъ быть я импонирую на призрач- ныхъ основаніяхъ и трачу мое время даромъ, потому что я мало дорожу имъ; я расточаю только то, что презираю; отъ меня его требуютъ, какъ ничто, и я на это соглашаюсь. — Какъ ничто въ родѣ угрызенія совѣсти ученаго прибавлялъ онъ: Вотъ было бы хорошо, если бы я въ другомъ сталъ порицать то, что одобряю въ себѣ самомъ.

„Обстоятельства и привычка имѣють, конечно, большое вліяніе на характеръ, объемъ или границы нашихъ силъ; но если природа часто опредѣляетъ ихъ особеннымъ образомъ, то напрасно было бы искать для такихъ странностей другой при- чины. Если у кого-либо существовала способность овладѣть всѣми человѣческими знаніями и умножить ихъ, то это было у Дидро. Отъ природы это былъ энциклопедическій умъ. Тонкая метафизика, глубокомысленныя вычисленія, ученые изысканія, поэтическая воспріимчивость, вкусъ къ искусствамъ и древ- ности, — на всѣ эти такіе различные предметы устремлялось его вниманіе съ одинаковой энергіей, съ тѣмъ же интересомъ, съ той же легкостью; но онъ вдохновлялся попеременно сво- ими мыслями такъ страстно, что скорѣе онъ овладѣвали его душой, чѣмъ онъ ими. Его идеи были сильнѣе его; онъ увле- кади его за собою, такъ что ему было невозможно ихъ оста- новить или направить ихъ теченіе. Когда я вспоминаю беско- нечное разнообразіе его идей, удивительную многосторонность его знаній, быстрый порывъ, горячность, бурное стремленіе его фантазіи, всю прелесть и всю безпорядочность его бесѣдъ, то я осмѣливаюсь сравнивать его душу съ природой, какъ онъ ее самъ понималъ, богатой, плодотворной, полной безчислен- ныхъ зародышей всякаго рода, кроткой и дикой, простой и величественной, доброй и возвышенной, только безъ господ- ствующаго принципа, безъ господина и безъ Бога.

„Я не хочу здѣсь сокрушаться о безвѣріи моего вѣка. Сув- ерѣіе причинило такъ много зла человѣчеству, что надо быть благодарнымъ разуму, наконецъ свергнувшему его иго; но какъ ни охотно извиняю я людямъ ихъ невѣріе, я все-таки



считаю славой Дидро, можетъ быть даже честью его вѣка, считаю желательнымъ, чтобы онъ не былъ атеистомъ или, по крайней мѣрѣ, не въ такой степени усерднымъ. Упорная борьба, изъ которой онъ мыслилъ создать себѣ бога, заставило его потерять драгоцѣннѣйшія минуты его жизни, часто отвлекала его отъ занятій науками и искусствами, а главное, заставила его пренебречь талантомъ, который вѣриѣ всего установилъ бы его славу. Онъ сдѣлался философомъ, между тѣмъ какъ природа предназначила ему быть ораторомъ или поэтомъ. Кто станетъ опровергать, что въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ, изъ него не вышелъ бы учитель церкви? Ему не менѣе было бы свойственно пойти по слѣдамъ Кальвина или Лютера, если бы онъ былъ способенъ къ болѣе строгой выдержкѣ или не былъ бы такъ слабъ характеромъ, какъ силенъ и крѣпокъ умомъ.

„Всѣ добродѣтели, всѣ драгоцѣнныя качества, которыя не требуютъ ни большой послѣдовательности идей, ни большого постоянства наклонностей, были свойственны Дидро Онъ имѣлъ привычку забывать о себѣ, какъ у многихъ есть обыкновеніе думать только о себѣ. Ему нравилось быть полезнымъ другимъ, какъ правится пріятное и полезное упражненіе. Всю тонкость, всю дѣятельность ума, которыми обыкновенно пользуются для составленія собственнаго счастія, онъ отдавалъ первому встрѣчному и переходилъ часто въ этомъ всякую мѣру; очень запутанная интрига, которая, казалось, вела къ цѣли, имѣла для него новую предель въ удовольствіи самопожертвованія. Боязливый и неловкій въ собственныхъ дѣлахъ, онъ никогда не былъ такимъ въ чужихъ. „Добръ онъ, золъ онъ“? вотъ названіе одной маленькой комедіи, въ которой онъ хотѣлъ изобразить самого себя. На самомъ дѣлѣ въ немъ было больше кротости, чѣмъ дѣйствительной доброты; иногда имъ овладѣвала злость и ребяческій гнѣвъ, но прежде всего онъ обладалъ неисчерпаемымъ запасомъ добродушія. Съ искреннимъ довѣріемъ любилъ онъ всѣхъ, пока не было сильныхъ основаній ихъ презирать или ненавидѣть. Даже если онъ имѣлъ уже весьма справедливыя причины быть недовольнымъ, то легко могъ забыть это. Какъ только онъ считалъ себя серьезно обязаннымъ вспомнить объ этомъ, онъ непременно записывалъ это на маленькихъ листочкахъ; но эти листочки оставались въ углу его бюро и рѣдко являлось у него желаніе совѣщаться

съ этимъ реестромъ; единственный только разъ былъ я свидѣтелемъ того, что онъ собирался рассказать о проступкахъ, содѣянныхъ противъ него несчастнымъ Руссо.

„Дидро менѣе занимался людьми, чѣмъ своими собственными идеями. Хотя онъ былъ и страстнымъ защитникомъ материализма, тѣмъ не менѣе можно сказать утвердительно, что, по своимъ чувствамъ и по образу жизни, онъ былъ рѣшительнѣйшимъ идеалистомъ; онъ былъ имъ, противъ воли, по непреодолимому влеченію своего характера и фантазіи. Общество, среди котораго онъ обыкновенно жилъ, привлекало его болѣе всего тѣмъ, что оно было для него ареной, на которой онъ могъ вполне отдаваться свойственному ему одушевленію и проявлять всю выпренность своего ума. Когда старость охладила его голову, казалось, онъ сталъ довольно равнодушенъ къ обществу; часто даже оно вызывало въ немъ скорѣе досаду, чѣмъ удовольствіе, и онъ возвращался съ отрадой въ свое уединеніе. Его книги, послужившія поводомъ для благодарній Екатерины, уединенныя прогулки, душевная бесѣда, въ особенности съ его дочерью, были для него пріятнѣйшимъ отдыхомъ. Эта дочь, которую онъ такъ иѣжно любилъ и которая была такъ достойна этой любви, осталась до послѣдней минуты отрадой и утѣшеніемъ его жизни. Она съ неизмѣннымъ терпѣніемъ и кротостью облегчала ему переносить продолжительныя страданія и томительную скуку болѣзни, исхода которой онъ долго ожидалъ безбоязненно и бодро“.

Это давнее Мейстеромъ пзображеніе Дидро, не утаивающее даже его худыхъ сторонъ, такъ превосходно, что его нечего исправлять, а можно только пополнить. Постараюсь сдѣлать это въ слѣдующихъ чертахъ.

То, что наиболѣе поражаетъ въ Дидро, какъ характерное, это извѣстная пассивность, всегда требующая только толчка извнѣ, чтобы придти въ движеніе и затѣмъ проявить часто въ высшей степени напряженную, достойную удивленія дѣятельность. Эта форма его развитія не обнаруживаетъ недостатка въ силѣ или дѣятельности, но въ опредѣленности. Онъ былъ постоянно занятъ внутренней работой и, чтобы отвлечь его отъ этого, нужна была внѣшняя побудительная причина. Какъ въ Парижѣ онъ сочинялъ тотчасъ нужные стихи товарищу по школѣ, который никакъ не могъ уладить рассказъ о томъ, чѣмъ змій соблазнилъ Еву, такимъ остался онъ на всю жизнь. Онъ



писалъ много не по внутреннему призванію, а вслѣдствіе внѣшнихъ побужденій. Онъ самъ довольно часто изображаетъ себя совершенно правильно мечтателемъ, который на свободѣ охотно предается игрѣ воображенія. Онъ жилъ въ постоянномъ броженіи идей, которыя, чтобы кристаллизироваться, должны были извнѣ быть сосредоточены на одномъ пунктѣ. Эта безпечность, которая какъ будто ожидала предлога, чтобы обнаружиться, есть безспорно настоящая причина безграничной услужливости, съ которой онъ относился къ другимъ и жертвовалъ имъ свое время, ходатайство, работу, деньги, смотря по ихъ просьбѣ, не щадя себя. Если бы онъ носилъ въ себѣ болѣе крупныя задачи, или, по своему праву своей индивидуальности, создалъ бы художественныя или научныя проблемы, для рѣшенія которыхъ ему дорога была бы каждая минута, онъ не былъ бы такъ доступенъ постороннимъ, не отдавалъ бы имъ такъ много времени и былъ бы дальше замкнутъ въ себѣ. Онъ ассимилируетъ, критикуетъ, переводитъ, подражаетъ и изумляется въ ходѣ своей дѣятельности проявленіями собственнаго гевія, которыхъ онъ самъ вначалѣ еще не подозревалъ. Главною чертою его производительности была импровизация, которая проявлялась болѣе блестяще, по своей свѣжести, искренности, плодовитости, въ бесѣдѣ съ глазу на глазъ, чѣмъ въ его сочиненіяхъ. Въ этомъ согласны между собою всѣ журналисты, которые знали его лично, Мореллетъ, Мармонтель, Сюаръ, Гарать и др. Послѣдній оставилъ намъ въ своихъ мемуарахъ очень подробное описаніе возбужденія и порывовъ Дидро при бесѣдѣ. Безусловное увлеченіе своимъ предметомъ. энтузіазмъ были наиболѣе согласнымъ съ его правомъ настроеніемъ. Гжа Неккеръ не могла достаточно наслушаться его и хотѣла, чтобы секретарь, незамѣтно для Дидро, записывалъ все, что бы онъ ни сказалъ. Его порывистый умъ былъ охваченъ неутолимимымъ преобразованіемъ существующаго. Ничто такъ хорошо не характеризуетъ его состоянія, какъ анекдотъ, что онъ однажды одному знакомому особенно расхваливалъ книгу и излагалъ ему интересныя идеи, которыя онъ въ ней нашелъ. „Но, г. Дидро, я тоже читалъ эту книгу и не нашелъ въ ней ничего изъ всѣхъ тѣхъ прекрасныхъ свойствъ, которыя вы мнѣ излагаете“. Дидро отвѣчалъ: „Какъ? Объ этомъ тамъ ничего не написано? Отлично, такъ я вамъ скажу, что объ этомъ, по крайней мѣрѣ, должно быть тамъ написано“. Какъ ни высоко,

слѣдовательно, должны мы ставить мыслительную дѣятельность Дидро все же съ этой стороны онъ является только талантомъ, а не гениемъ. Это была гениальная натура, но по роду своего развитія она предоставляетъ только синтезисъ сильно отличающихся другъ отъ друга талантовъ, изъ которыхъ каждый въ отдѣльности ставитъ его, какъ философа, поэта, математика, историка, во второй разрядъ писателей. Монтескье снискалъ себѣ величіе идеей о государственномъ строѣ; Вольтеръ — поэзіей во всемъ ея объемѣ и какъ историкъ, Руссо — даромъ изображенія и критикой общественныхъ нравовъ, Бюффонъ — занятіями естественными науками, Д'Аламберъ — математикой, Тюрго — политической экономіей. Дидро не чуждъ ни одной изъ этихъ областей науки, но онъ разбросался по всѣмъ и, за исключеніемъ техники и драмы, ни одной не предался съ рѣшительной настойчивостью. Ни въ какой наукѣ не открылъ онъ новаго закона, ни въ какомъ искусствѣ не создалъ идеала. Когда онъ сталъ старше, то пристрастился къ экспромтамъ, творческаго дыханія которыхъ нельзя отрицать. Но такъ какъ эти произведенія онъ набрасывалъ только для своего собственнаго удовлетворенія и сначала не предназначалъ ихъ для общаго свѣдѣнія, то въ нихъ господствуетъ что-то незаконченное, частное, слишкомъ индивидуальное, даже странное, что намъ мѣшаетъ признать ихъ, при всемъ удивленіи, которое они возбуждаютъ въ насъ, за полноѣ образцовыя произведенія.

Дидро былъ одаренъ сильнымъ умомъ, но и не менѣе сильнымъ воображеніемъ. Умъ его съ проникательностью и ясностью понималъ явленія природы, спокойно подчинялся имъ и былъ даже склоненъ къ самой сухой отвлеченности, къ самому запутанному математическому вычисленію. Воображеніе его, напротивъ, забавлялось этими явленіями, погружалось въ богатство ихъ комбинацій, смѣло возносилось до небесъ и погружалось безбоязненно въ мрачныя бездны. Отсюда происходила въ немъ извѣстная двойственность между сужденіями и фантастическимъ изображеніемъ. Онъ обыкновенно перескакивалъ отъ понятія къ воззрѣнію, отъ воззрѣнія къ понятію. Онъ ненавидѣлъ аллегорію въ образовательныхъ наукахъ за ея тусклость, неопредѣленность, безжизненность, однако въ своей „Прогулкѣ скептика“, въ „Грезахъ Монгогуля и Мирцоцы“, въ „Бѣлой птицѣ“ онъ преклонился передъ ней самой.



Дидро знаетъ очень хорошо, что каждое опредѣленіе должно быть результатомъ наблюденія, но обыкновенно онъ довольствуется, какъ дидактикъ, непосредственнымъ предложеніемъ опредѣленій и выводомъ изъ нихъ ближайшихъ слѣдствій. Но порой примѣшиваетъ онъ къ ряду умозаключеній примѣры, которыхъ въ его распоряженіи постоянно очень много. Детали это его сила. Захочетъ онъ сдѣлать выводъ, а часто получается просто картина или анекдотъ, который онъ умѣетъ превосходно рассказать. Поэтому онъ занимателенъ, какъ никто, и вмѣстѣ съ тѣмъ поучителенъ гораздо болѣе, чѣмъ какое-нибудь ничтожное руководство, хотя его произведенія и не имѣютъ строго удовлетворительнаго, научнаго достоинства. Всегда будемъ мы ему благодарны за сильное впечатлѣніе, но рѣдко онъ дастъ намъ основаніе для глубокаго убѣжденія. Фантазія его также не достигаетъ вполне свободнаго развитія. Ему надо было опираться на фактъ, тенденцію, чтобы руководить игрой воображенія въ опредѣленномъ направленіи. У него нѣтъ большого, дѣйствительно идеальнаго произведенія въ стихахъ. Философъ и поэтъ хотя и совмѣщаются въ немъ до извѣстной степени, но они и мѣшаютъ также другъ другу стать самостоятельной величиной. Философъ заимствуетъ у поэта умѣніе быть занимательнымъ; поэтъ подъ вліяніемъ философа становится поучительнымъ, т.-е. прозаичнымъ, и Дидро, этотъ исполнѣ мысли, эта мощная фантазія, не сдѣлался ни великимъ философомъ, ни великимъ поэтомъ, не сталъ образцовой величиной, но показалъ только, что онъ могъ бы ею сдѣлаться. Многосторонность его произведеній и блестящее устроуміе, свойственное имъ всѣмъ, не позволяютъ намъ ошибаться относительно ихъ абсолютнаго достоинства, такъ важно ихъ относительное значеніе. Послѣ того, какъ Дидро узналъ изъ отдѣльныхъ, для самого себя неожиданныхъ фактовъ объ огромной, дремлющей въ немъ силѣ, имъ овладѣло прискорбное сознаніе, что хотя онъ много работалъ, но не создалъ ничего великаго, совершеннаго. „До сихъ поръ, говорилъ онъ самъ еще въ 1767 г., я не воспользовался и половиной моихъ силъ; я только бездѣльничалъ (*je n'ai que vaguement*)“. Въ томъ, что онъ не создалъ ничего великаго, онъ винилъ обстоятельства, или утѣшался тѣмъ, что то доброе, что онъ сдѣлалъ другимъ, лучше, чѣмъ прекрасныя произведенія, какія онъ могъ бы написать. Форма діалога или

письма была поэтому действительно наиболее соответствующей его свойствамъ, колеблющимся между философией и поэзией, потому что она допускала при величайшей живости выражения и наибольшую свободу переходовъ отъ одного къ другому.

Друзья Дидро называли его просто философомъ. Онъ самъ себя называлъ такъ же. И онъ былъ на самомъ дѣлѣ философомъ, но находящимся въ непонятномъ противорѣчii съ самимъ собою. Онъ переходилъ отъ сенсуализма къ матеріализму, отъ деизма къ безбожію и вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ охранять нравственность. Это и есть противорѣчіе, потому что матеріализмъ, признающій только физическую причинность, долженъ слѣдовательно исключать всякую свободу. Когда Дидро философствуетъ, занимается метафизикой, онъ такъ и поступаетъ. Но когда онъ морализируетъ, пишетъ эстетическую критику или вообще занятъ поэзіей, онъ забываетъ эту послѣдовательность своей точки зрѣнія и требуетъ свободы.

Дидро былъ двойствененъ во всѣмъ. Въ своемъ способѣ выражений онъ былъ то сантименталенъ, то циниченъ. Это былъ самый чувствительный человекъ изъ всего своего общества. Пылкость его чувствъ была такъ же велика, какъ измѣнчива. Его легко было растрогать; при малѣйшемъ поводѣ проливалъ онъ слезы, какъ всѣ его современники. Какую роль играютъ слезы и у Вольтера, и у Руссо! Но Дидро легко переходилъ отъ слезливости къ смѣху. Онъ былъ расположенъ къ юмору и могъ отнестись къ самому себѣ съ проіей и сатирой. Его цинизмъ можно разсматривать, какъ реакцію его ума противъ излишка чувствительности. Онъ возстановлялъ въ немъ цѣльнаго человека и мѣшалъ ему впасть въ сантиментальность. Онъ смѣялся надъ противорѣчіями, которыя замѣчалъ въ себѣ и въ другихъ, и не пренебрегалъ даже непристойностями, чтобы противопоставить болѣзненной изнѣженности чувствъ крайности голаго натурализма. Очень много способствовало проявленію цинизма и то обстоятельство, что онъ многія и именно лучшія вещи писалъ только для себя и для своихъ друзей, почему и позволялъ себѣ краткость. Иногда у него являются угрызенія совѣсти относительно предполагаемой имъ въ читателѣ распущенности; онъ увѣряетъ тогда: *lasciva nobis pagina, vita proba*; однако онъ могъ бы достигъ того же самаго при помощи какой-нибудь остроты, не оскорбляя нашего эстетическаго и этическаго чувства.



Какъ человѣкъ, онъ былъ, несмотря на свои слабости, конечно, однимъ изъ самыхъ любезнѣйшихъ, какіе когда-либо существовали. Относительно этого мнѣнія всѣ единодушны. Онъ принадлежитъ къ тѣмъ рѣдкимъ писателямъ, которые оказывали въ своихъ общественныхъ сношеніяхъ болѣе вліяніе своею личностью, чѣмъ своими произведеніями. Онъ былъ хорошимъ сыномъ, нѣжно любящимъ своихъ родителей. Онъ былъ хорошимъ братомъ. Онъ былъ вѣрнымъ другомъ и въ дружбѣ настолько же искрененъ, насколько чутокъ. Мы находимъ его все въ тѣхъ же отношеніяхъ съ Дюкло, Буланже, Райналемъ, Мармонтелемъ, Гриммомъ, Нэжономъ, Сэдэномъ, Фальконетомъ и другими, хотя послѣ длиннаго ряда лѣтъ естественно явились нѣкоторыя мимолетныя разстройства и разногласія. Онъ обладалъ мягкимъ и любвеобильнымъ сердцемъ. Объ нѣкоторыхъ его дружескихъ отношеніяхъ съ подчиненными лицами узнаемъ мы только случайно, какъ напр. объ нѣкомъ Белле, на дачѣ котораго онъ прожилъ нѣсколько недѣль незадолго до своей смерти, и о которомъ рассказываетъ его дочь, что онъ въ продолженіе 40 лѣтъ былъ вѣрнымъ, испытаннымъ другомъ Дидро и ухаживалъ за больнымъ съ сердечною любовью. Часто говорили объ его отношеніяхъ къ Д'Аламберу. Они были въ юные годы самыя теплыя. Они нѣсколько охладились послѣ того, какъ Д'Аламберъ уклонился отъ редакціи Энциклопедіи, но не потому, что Дидро сердился на него, а совершенно естественно, такъ какъ такимъ образомъ прекратились нескончаемые поводы къ столкновенію, чему еще содѣйствовало то обстоятельство, что какъ разъ съ этого времени Дидро все болѣе сближался съ семьей Во-ландъ. Изъ всѣхъ его друзей намъ извѣстенъ только Руссо, съ которымъ онъ разошелся, но поводъ къ отчужденію, какъ мы въ этомъ убѣдились, былъ не съ его стороны. Также женщинамъ, которымъ удалось пріобрѣсти его уваженіе, расположеніе или даже любовь, оставался онъ преданнымъ продолжительное время, какъ напр. г-жѣ Эне, г-жѣ Эпинэ, г-жѣ Жоффрэнъ, г-жѣ Неккеръ и другимъ.

Въ своихъ сношеніяхъ съ посторонними онъ былъ чрезвычайно справедливый человѣкъ. Онъ, правда, иногда позволялъ себѣ мистификаціи въ интересахъ своихъ друзей и пріятельницъ, но онъ былъ человѣкъ правдивый и несвоекорыстный; правда, онъ забывалъ вслѣдствіе разсѣянности своей много-

занятой жизни о многих назначенных свиданіяхъ, что Руссо вмѣняетъ ему въ большой проступокъ; но что касается серьезныхъ вещей, то онъ былъ всегда добросовѣстенъ. Онъ былъ вѣренъ дому, трудолюбивъ, надеженъ, и мы видѣли, чѣмъ обременяли его не только друзья, но и посторонніе люди, потому что довѣряли ему. Когда Д'Аламберъ оставилъ Энциклопедію, и Дидро предложили переселиться или въ Берлинъ, или въ Петербургъ, чтобы закончить ея изданіе, онъ возсталъ противъ заманчиваго предложенія, такъ какъ считалъ себя связаннымъ контрактомъ съ парижскими издателями. Онъ въ разное время всегда одинаково не соглашался относительно этого ни съ Вольтеромъ, ни съ Фальконетомъ, ни съ Софи Воландъ. Чтобы исполнить данное обѣщаніе, онъ могъ цѣлыми недѣлями работать безъ отдыха. Почти не было ни одного изъ его друзей, которому бы онъ не оказалъ совершенно безкорыстно содѣйствія. Чего онъ только не писалъ для Гримма? Какъ его занимали рукописи Райналя, Гальяни, Лемонье и другихъ.

Онъ былъ готовъ помочь всякому, почти безъ разбора, какъ солнце освѣщаетъ своимъ согрѣвающимъ лучомъ и доброе, и злое. Мы знаемъ только самое ничтожное изъ того, что онъ сдѣлалъ другимъ совѣтомъ и дѣломъ, деньгами и добромъ, но и изъ этого малаго мы можемъ вывести заключеніе объ остальномъ. Онъ давалъ какому-то неизвѣстному намъ г. Л., которому онъ помогалъ сообщая съ Дюкло, съ своей стороны 100 франковъ пенсіи; а престарѣлой Лавассэръ, о которой заботился вмѣстѣ съ Гриммомъ, 200 франковъ; онъ сдѣлалъ денежный вкладъ для свадьбы Жана Рамо; онъ заботился о совершенствованіи актрисы Юдинъ и о выгоднѣйшемъ помѣщеніи ея сбереженій; онъ настойчиво ходатайствовалъ за молодого музыканта Беметцридера и т. д. и т. д. Его дочь говоритъ, что комната ея отца, все время, что она его знала, походила на купеческую лавку, куда всякій безъ околичностей входилъ и также уходилъ; что когда онъ пишетъ Софи, въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль ради работы совсѣмъ не выходитъ, то это скоро дѣлается извѣстнымъ, и всѣ безстыжіе и навязчивые люди тѣмъ болѣе докучаютъ ему своими просьбами.

Къ Дидро присылалось безчисленное количество лицъ, какъ къ своего рода неизсякаемому источнику, по всевозможнымъ дѣламъ, не только изъ Парижа, изъ провинціи, но даже изъ-за границы. Они прибывали въ Парижъ съ рекомендаціями



къ Дидро. Мы узнаемъ напр., изъ его писемъ къ Софи, что его посѣтили два молодые нѣмца, Николай и г. Якоби, что онъ въ теченіе нѣсколькихъ дней показываетъ Парижъ двумъ молодымъ англичанамъ, которые ему рекомендованы и т. д.

Не безъ грусти можно разсматривать такую большую умственную силу, какъ Дидро, въ ея раздробленности, нецѣльности и недодѣланности. Даже то, что онъ сдѣлалъ для исторіи философіи, для занятій которой онъ такъ подходилъ по классической изящности своего ума, разносторонности своихъ знаній и по своему критическому такту, все то, что изъ его работъ цѣнилось друзьями и имъ самимъ, въ общей совокупности не стоитъ выше посредственности. Но подобное же чувство грусти является въ насъ, когда мы разсматриваемъ Дидро, какъ человѣка. Какъ онъ богато одаренъ пріятнѣйшими качествами, которыя насъ непреодолимо плѣняютъ, какая полнота доброты, дружелюбія, состраданія, преданности, самопожертвованія! Какая честность, искренность, мужество! Но и какія слабости! Дидро обладалъ не только чувствительностью, но и чувственностью, не только наивностью, но и легкомысліемъ; его добродушіе часто не столько дѣйствительная доброта, сколько снисходительность; его благоразуміе не пренебрегало мистификаціей, если нужно было достигнуть цѣли, которая ему казалась дозволенною; его благотворительность иногда отзывается фарисействомъ; онъ легко увлекался женщинами; онъ краснорѣчивъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ болтушъ, проводящій въ пустой болтовнѣ цѣлые часы; онъ никого не избѣгаетъ по своей снисходительности, но онъ уживается въ весьма обыкновенномъ обществѣ и тратитъ на это слишкомъ много времени. Ему пришлось терпѣть много гонимій, но онъ не испыталъ такой участи, какъ Руссо. Онъ держался середины. Если бы не его женитьба, ни арестъ въ Вэнсенѣ и не путешествіе въ Петербургъ, жизнь его не была бы интересна.

Но считать Дидро обыкновеннымъ человѣкомъ, посредственнымъ авторомъ, простымъ софистомъ было бы ошибочно, потому что и въ его слабостяхъ, и въ его наброскахъ, и въ двусмысленныхъ преувеличеніяхъ поражаетъ насъ врожденное благородство его души, гениальность его изобрѣтенія, сила краснорѣчія.

*Розенкранцъ.*

## Дидро съ литературной и нравственной точки зрѣнія.

Въ послѣднихъ изслѣдованіяхъ о Дидро замѣчается та общая черта, что они стремятся опредѣлить его мѣсто въ ряду писателей, отдавая ему справедливость, не увлекаясь ни негодованіемъ, ни излишнимъ поклоненіемъ. Блестящія качества его таланта, его сердца, его богатой интеллектуальной природы въ нихъ оцѣнены: его заблужденія не признаны или объяснены, и объясненіе, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, ослабляетъ ихъ значеніе. Г. Женэнъ показалъ, что нѣкоторыми мѣстами изъ сочиненій Дидро, по которымъ мы его считали положительнымъ атеистомъ, мы обязаны пылкому издателю Дидро, Нэжону, который, думая оказать этимъ услугу своему учителю, безъ церемоніи вставилъ въ текстъ свои собственные комментаріи. Г. Берсо, рассматривая съ философской точки зрѣнія антирелигіозныя доктрины Дидро, задался цѣлью доказать, что философъ былъ ближе къ извѣстному возвышенному понятію о Богѣ, чѣмъ самъ думалъ. Въ самомъ дѣлѣ, часто кажется, что ему недостаетъ только освѣщенія, чтобы все стало ясно, и хотѣлось бы сказать объ атеизмѣ Дидро то, что онъ сказалъ о тѣхъ двухъ картинахъ Вернэ, изображающихъ сумерки, на которыхъ всѣ предметы неясны и темны: „До завтра, когда взойдетъ солнце“. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Дидро никогда не будетъ признанъ за вѣрующаго, который самъ того не подозреваетъ, или за что-то въ родѣ денста въ точномъ значеніи этого слова; впрочемъ, разбирать Дидро съ этой точки зрѣнія было бы здѣсь слишкомъ щекотливо и затруднительно, чтобы я приступилъ къ этому такъ или иначе. Но я воспользуюсь съ удовольствіемъ случаемъ, чтобы повторить мое сужденіе о Дидро съ литературной и нравственной точки зрѣнія, какую мы признаемъ.

Дидро, родившійся въ Лангрѣ въ 1713 году, былъ сынъ ножещика (какъ и Роллэнъ); съ дѣтства онъ былъ въ высшей степени привязанъ къ семьѣ, и наследовалъ это чувство отъ своихъ: это была семья честныхъ людей. Онъ былъ старшимъ; у него была сестра оригинальнаго характера, съ превосходнымъ сердцемъ, честная дѣвушка, которая не вышла замужъ, чтобы быть полезна отцу, „живая, дѣятельная, веселая, рѣ-



шительная, вспыльчивая, медленно склоняющаяся на мнѣніе другого, безъ заботы о настоящемъ и о будущемъ, не преклоняющаяся ни передъ чѣмъ и ни передъ кѣмъ; свободная въ своихъ дѣйствіяхъ и еще болѣе того въ своихъ рѣчахъ: родъ „*Диогена въ юбкѣ*“. Можно видѣть, въ чемъ Дидро походилъ на нее и чѣмъ отъ нея отличался: она была шероховатое, дикое деревцо, онъ — привитое, воздѣланное, выхоленное, распустившееся. У Дидро еще былъ братъ, съ которымъ было меньше сходства, человѣкъ своеобразнаго нрава, замкнутый и сдержанный, немного страннаго ума и характера, каноникъ Лангскаго собора, человѣкъ очень набожный и имѣющій большое вліяніе въ епархіи. Происходя изъ этой здоровой мѣщанской среды, но получивъ отъ природы самыя широкія склонности, Дидро былъ *mauvais sujet* семьи и сталъ ея славой. Сначала онъ учился у іезуитовъ роднаго города, которые очень бы хотѣли удержать его у себя; потомъ отецъ отдалъ его въ Парижъ въ школу Гаркура. По выходѣ оттуда онъ жилъ въ Парижѣ того времени (1733—1743 г.) жизнью молодого человѣка, не знающаго, за что ухватиться, пробующаго заниматься и тѣмъ и другимъ, но не останавливающагося ни на чемъ, берущаго охотно всякую работу, читающаго, изучающаго, проглатывающаго съ жадностью все, дающаго уроки математики, которую онъ изучилъ мимоходомъ; гуляющаго по Люксембургу лѣтомъ „въ сертукѣ изъ сѣраго плиса, съ разорванной манжетой и въ черныхъ шерстяныхъ чулкахъ, зашитыхъ сзади бѣлой ниткой“; входящаго къ m<sup>lle</sup> Бабюти, хорошенькой книгопродавицѣ на *quai des Augustins* (ставшей потомъ m<sup>me</sup> Грѣзъ), съ тѣмъ оживленнымъ, пылкимъ и шутливымъ видомъ, какой ему былъ тогда свойственъ, говоря ей: „Сударыня *Розскани* Лафонтена, пожалуйста, ии *Pétrone...*“ и остальное. Вотъ дурная его сторона, къ которой мы не разъ вернемся. Однимъ словомъ, и до женитьбы (онъ женился по любви тридцати лѣтъ), и послѣ женитьбы Дидро продолжалъ вести жизнь слишкомъ легкомысленную, неосновательную, жизнь, полную приключеній, труда и непрерывной импровизаціи. Его геній, — онъ имъ обладалъ несомнѣнно, и мы не сумѣли бы иначе назвать такое богатство и силу разнообразныхъ дарованій, — такъ хорошо сроднился съ этимъ, что трудно сказать, былъ ли бы онъ способенъ къ другому образу жизни, и думается, что, разбрасываясь такимъ образомъ и увлекаясь

всѣмъ и всѣмнѣ, онъ наилучшимъ образомъ исполнилъ свое назначеніе.

Его самое важное произведеніе, такъ сказать лично ему принадлежащее дѣло, была „Энциклопедія“. Какъ только книгопродавцы, возымѣвшіе мысль объ ней, завладѣли имъ для этой цѣли, они почувствовали, что это именно такой человекъ, какого имъ нужно: эта идея тотчасъ расширилась, воплотилась и воодушевилась. Дидро овладѣлъ ею такъ живо и представилъ её въ такомъ прекрасномъ свѣтѣ, что сумѣлъ снискать одобреніе набожнаго канцлера Дагессо и вынудить у него согласіе и покровительство предпріятію: Дагессо былъ ея первымъ покровителемъ. Почти въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ (1748—1772) Дидро, сначала вмѣстѣ въ Д'Аламберомъ а потомъ одинъ, былъ поддержкой, опорой, какъ бы атлантомъ этого огромнаго предпріятія, подъ тяжестію котораго онъ согнулся и сгорбился, но остался яснымъ и веселымъ. Исторія философій, о которой онъ трактуетъ правда изъ вторыхъ рукъ, описаніе ремеслъ, гдѣ онъ является можетъ быть оригинальнѣе, отъ трехъ до четырехъ тысячъ гравюръ, исполненныхъ подъ его наблюденіемъ, бремя всего и управленіе всѣмъ никогда не могли поглотить его или ослабить живость его творческаго воображенія. Бросая взглядъ назадъ, онъ вздыхалъ къ концу своей жизни съ сожалѣніемъ и говорилъ: „Сказать по правдѣ, я знаю довольно много, но почти нѣтъ человека, который бы не зналъ свое дѣло гораздо лучше меня. Эта посредственность во всемъ есть слѣдствіе необузданнаго любопытства и такихъ ограниченныхъ средствъ, что мнѣ никогда нельзя было отдаться всецѣло какой-нибудь одной отрасли человѣческаго знанія. Я былъ принужденъ всю жизнь заниматься тѣмъ, къ чему я не былъ способенъ, и пренебрегать тѣмъ, къ чему влекли меня мои наклонности...“ Не знаю, не ошибался ли онъ, говоря такъ, и не соотвѣтствовало ли это безпрестанно обновляющееся разнообразіе предметовъ именно его наклонностямъ. Онъ замѣтилъ, что на его родинѣ измѣнчивость атмосферы такова, что въ теченіе двадцати четырехъ часовъ наблюдаютъ переходы отъ холода къ жару, отъ затишья къ бурѣ, отъ ясной погоды къ дождливой, и что врядъ ли такое непостоянство климата не оказываетъ вліянія на души обитателей: „Онѣ пріучаются, съ самаго нѣжнаго возраста, примѣняться къ обстоятельствамъ. Голова обитателя



Лангра на его плечахъ, какъ церковный флюгеръ на колокольнѣ; она никогда не бываетъ неподвижна въ одной точкѣ; а если и принимаетъ прежнее положеніе, то не для того, чтобы остаться въ немъ. При поразительной быстротѣ движеній, измѣнчивости желаній, намѣреній, фантазій, идей, рѣчь ихъ медленна. Я *сынъ своей страны*; только пребываніе въ столицѣ и усидчивое стараніе немного исправили меня. Я постоялецъ въ моихъ наклонностяхъ...“ Постоялецъ въ своихъ наклонностяхъ, съ этимъ я согласенъ; но конечно, чрезвычайно измѣнчивъ въ своихъ впечатлѣніяхъ.

Если *Энциклопедія* была общественнымъ и выдающимся произведеніемъ Дидро въ то время и при его жизни, то въ нынѣшнее время слава его, по нашему мнѣнію, заключается въ томъ, что онъ былъ творцомъ критики, производящей сильное впечатлѣніе, отличающейся живостью и краснорѣчіемъ: съ этой-то стороны онъ и не забытъ до сихъ поръ и долженъ быть дорогъ намъ всѣмъ, журналистамъ и импровизаторамъ по всѣмъ отраслямъ. Почтимъ его какъ нашего отца и какъ первый образецъ этого жанра.

До Дидро критика во Франціи была точная, занимательная и тонкая въ лицѣ Байля, изящная и изысканная у Фенелона, благообразная и полезная у Роллена; я изъ скромности пропускаю Фрероновъ и Фонтеновъ. Но ни у кого изъ нихъ она не была живая, плодотворная, убѣдительная. и, позволю себѣ сказать, въ ней не чувствовалось души ея творца. Дидро первый вдохнулъ ее. По природѣ склонный не обращать вниманія на недостатки и приходитъ въ восторгъ отъ достоинствъ, онъ говорилъ: „На меня производитъ болѣе сильное впечатлѣніе очарованіе добродѣтели, чѣмъ гнусность порока: я потихоньку отворачиваюсь отъ дурныхъ людей и *стремительно направляюсь къ хорошимъ*. Если въ произведеніи, въ характерѣ, въ картинѣ, въ статуѣ есть прекрасная сторона, на ней-то я и останавливаюсь; я вижу только ее, вспоминаю только о ней и почти забываю обо всемъ остальномъ. Что же бываетъ со мною, когда все прекрасно!...“ Эта склонность все допускать, ко всему относиться снисходительно и энтузіазмъ имѣли, безъ сомнѣнія, свои невыгодныя стороны. Объ немъ говорили, что онъ былъ удивительно счастливъ въ двухъ отношеніяхъ. „въ томъ, что никогда не встрѣчалъ ни дурного человека, ни плохой книги“. Если книга была плоха, онъ ее

передѣлывалъ и приписывалъ автору, самъ того не замѣчая, свои собственныя измышленія. Онъ находилъ достоинства вездѣ, какъ алхимикъ находить золото въ плавильномъ горшкѣ, потому что онъ его туда положилъ. Я отмѣчаю несообразность и заблужденіе. Тѣмъ не менѣе ему принадлежитъ честь первому создать у насъ плодотворную критику *прекраснаго*, которою онъ замѣнилъ критику *недостатковъ*; и въ этомъ смыслѣ самъ Шатобріанъ, въ той части *Духа христіанства*, гдѣ онъ краснорѣчиво трактуетъ о литературной критикѣ, только слѣдуетъ по стопамъ Дидро.

Аббатъ Арно говорилъ Дидро: „У васъ извращеніе драматическаго таланта: вашъ талантъ долженъ видоизмѣняться въ лицахъ вашихъ драмъ, а вы ихъ видоизмѣняете въ самомъ себѣ“. Но если Дидро былъ менѣе всего драматическій поэтъ, если онъ совсѣмъ не былъ способенъ къ этому роду возвышенныхъ произведеній и вполне объективному творчеству, взамѣнъ этого онъ обладалъ въ самой высокой степени способностью къ полупревращенію, которая составляетъ игру и торжество критики и состоитъ въ томъ, чтобы умѣть поставить себя на мѣсто автора и на точку зрѣнія разсматриваемаго предмета и умѣть понимать написанное *въ томъ духѣ, въ какомъ оно было изложено*. Онъ отличался тѣмъ, что заимствовалъ, на время и когда являлась охота, мысль другого, вдохновлялся ею и часто лучше, чѣмъ этотъ другой, воспламенялся не одной только головой, но и сердцемъ; и тогда онъ становился великимъ современнымъ журналистомъ, Гомеромъ въ своемъ родѣ, свѣдущимъ, пылкимъ, чистосердечнымъ, краснорѣчивымъ, никогда не погруженнымъ въ самого себя, а всегда интересующимся другими; если же онъ и посвящалъ другихъ въ свои личныя идеи, то всегда являлся однимъ изъ самыхъ откровенныхъ и доступныхъ умовъ, дружески относясь ко всѣмъ и ко всему и давая всѣмъ, какъ читателямъ, такъ равно и авторамъ или артистамъ, не урокъ, а какъ бы праздникъ.

Такимъ онъ является въ восхитительныхъ „Salons de Peinture“. Однажды Гриммъ, писавшій многимъ сѣвернымъ государямъ о новостяхъ литературы и изящныхъ искусствъ, просилъ Дидро сдѣлать ему подробный отчетъ о художественной выставкѣ 1761 года. Дидро до тѣхъ поръ занимался многимъ, но искусствами никогда исключительно. Направляемый своимъ другомъ, онъ въ первый разъ рѣшился разсмотрѣть, изслѣдо-



вать то, что до сихъ поръ онъ видѣлъ только мимоходомъ; и результатомъ его наблюденія и размышленій явились страницы дивныхъ бесѣдъ, которыя дѣйствительно создали во Франціи критику изящныхъ искусствъ.

Я знаю возраженіе, которое обыкновенно дѣлаютъ относительно этихъ прекрасныхъ рѣчей объ искусствѣ и которое вызываютъ въ особенности „Salons“ Дидро. Это то, что они *въ сторонѣ* отъ предмета, что они трактуютъ о немъ съ точки зрѣнія литературной, драматической, съ той точки зрѣнія, которая такъ дорога французамъ. Г-жа Неккеръ писала Дидро: „Я продолжаю безконечно наслаждаться чтеніемъ вашего „Salon“: я люблю живопись только *въ поэзіи*; и вы сумѣли именно такъ передать намъ всѣ произведенія нашихъ современныхъ художниковъ, даже самыя посредственныя“. Вотъ похвала, а можетъ быть и величайшая критика, по мнѣнію нѣкоторыхъ людей со вкусомъ. „Въ самомъ дѣлѣ, говорятъ эти послѣдніе, французамъ свойственно обо всемъ судить умомъ, даже о формахъ и краскахъ. Правда, такъ какъ нѣтъ словъ, которыя могли бы выразить тонкость формы, или разнообразіе оттѣнковъ цвѣтовъ, поэтому, когда хотятъ разсуждать о нихъ, вынуждены, за неимѣніемъ возможности выразить то, что чувствуешь, описать другія ощущенія, которыя могутъ быть доступны пониманію каждаго“. Дидро болѣе чѣмъ кто-либо заслуживаетъ этотъ упрекъ, и картины, которыя онъ видитъ, чаще всего служатъ только предлогомъ и поводомъ для тѣхъ, которыя онъ возсоздаетъ и воображаетъ. Каждая его статья почти неизмѣнно состоитъ изъ двухъ частей: въ первой, онъ описываетъ картину, которая передъ глазами, во второй предлагаетъ свою. Тѣмъ не менѣе такіе болтуны, когда они проникнуты подобно ему, содержаніемъ своей рѣчи, охвачены живымъ пониманіемъ искусства и того, о чемъ они говорятъ, одновременно и полезны, и интересны: они васъ направляютъ, возбуждаютъ ваше вниманіе, и въ то время, какъ вы за ними слѣдите, слушаете ихъ, соглашаетесь съ ними или нѣтъ, чувство формы и красокъ, если вы имъ одарены, пробуждается въ васъ, складывается и пзощряется: мало-по-малу становившись, въ свою очередь, хорошимъ цѣнителемъ и знатокомъ, по причинамъ скрытымъ, которыхъ не сумѣешь уловить, и которыя недоступны слову.

До какой степени Дидро литераторъ по своей манерѣ су-

дить о картинахъ, мы увидимъ это тотчасъ. Одинъ живописецъ изобразилъ *Телемака у Калипсо*: сцена происходитъ за столомъ; молодой герой рассказываетъ о своихъ приключеніяхъ, а Калипсо предлагаетъ ему персикъ. Дидро находитъ, что этотъ персикъ, предложенный Калипсо, *нелѣпость*, и что у Телемака гораздо болѣе смысла, чѣмъ у нимфы и у художника, такъ какъ онъ продолжаетъ рассказъ о своихъ приключеніяхъ, не принимая персика, который ему предлагаютъ. Но если бы этотъ персикъ былъ хорошо предложенъ, если бы свѣтъ на него падалъ извѣстнымъ образомъ, если бы выраженіе нимфы соотвѣтствовало тому, если бы, однимъ словомъ, картина была Тиціановская или Веронезовская, этотъ персикъ могъ бы быть *chef-d'œuvre* омъ, несмотря на *нелѣпость*, какую въ этомъ усматриваетъ разумъ; потому что здѣсь, на картинѣ, рассказъ о приключеніяхъ, котораго мы не слышимъ и который чуть было не прервался предложеніемъ персика, дѣло второстепенное; намъ нечего дѣлать ушами, и мы всѣ обращаемся въ зрѣніе.

Въ большинствѣ случаевъ, однакоже, Дидро высказываетъ справедливыя замѣчанія, поразительныя по своей вѣрности, и скорѣе какъ художникъ, а не какъ критикъ. Относительно напр. г. Віенъ, написавшаго Психею, держащую лампу въ рукѣ и застающую Амура спящимъ, онъ говоритъ:

„О, какъ у нашихъ живописцевъ мало смысла! какъ мало знаютъ они природу! Голова Психеи должна бы быть наклонена къ Амуру, а туловище податься назадъ, какъ бываетъ всегда, когда подходятъ къ мѣсту, куда боятся войти и откуда готовы убѣжать; одна нога должна стоять твердо, другая едва касаться земли. А эта лампа, развѣ свѣтъ изъ нея долженъ падать на глаза Амуру? Не должна ли Психея держать ее въ сторонѣ и заслонить рукой, чтобы ослабить свѣтъ? Къ тому же это дало бы возможность освѣтить очень пикантно картину. Эти люди не знаютъ, что вѣки какъ бы прозрачны; они никогда не видали матери, которая идетъ ночью, съ лампой въ рукѣ, взглянуть на своего ребенка въ колыбели и боится его разбудить“.

Но въ чемъ Дидро въ особенности поучителенъ, даже для живописцевъ, это, когда онъ настаиваетъ на силѣ единства въ композиціи, на гармоніи и впечатлѣніи ансамбля, на *общемъ согласованіи движеній*; онъ инстинктивно понимаетъ это все-



объемлющее единство, онъ возвращается къ нему постоянно; онъ требуетъ соотвѣтствія тоновъ и выраженій, свободной связи аксессуаровъ съ цѣлымъ, естественнаго соотношенія. По поводу картины Deshay's'a, причащеніе умирающаго святого Венедикта, онъ указываетъ, что если бы художникъ изобразилъ святого болѣе близкимъ къ кончинѣ „съ немного вытянутыми руками, закинутой назадъ головой, со смертью на устахъ и восторгомъ въ лицѣ“, то въ силу только одного этого измѣненія въ выраженіи главной фигуры, слѣдовало бы измѣнить всѣ фізіономіи, въ нихъ должно быть выражено болѣе состраданія, разлито болѣе трогательнаго умиленія: „Вотъ образчикъ живописи, прибавляетъ онъ, на которомъ ясно показали бы молодымъ ученикамъ, что измѣняя одно обстоятельство, измѣняютъ всѣ другія, иначе правда нарушается. Изъ этого вышла бы превосходная глава о *силѣ единства*“. Дидро во всемъ этомъ великій критикъ и такого рода, что отъ его всесторонней критики не можетъ, подъ видомъ техники, ускользнуть ни одно искусство: „Мнѣ кажется, говоритъ онъ, что слѣдовало бы браться за кисть тогда, когда является какая-нибудь сильная идея, остроумная, возвышенная или пикаптная и предполагается нѣкоторый эффектъ, впечатлѣніе... Очень мало художниковъ, у которыхъ есть идеи, и нѣтъ почти ни одного, который могъ бы довольствоваться ими. Средины нѣтъ: или интересныя идеи, оригинальный сюжетъ, или изумительное мастерство“.

Когда Дидро встрѣчаетъ въ комъ-нибудь изъ художниковъ это *изумительное мастерство*, условіе, безъ котораго сама идея, со всѣмъ тѣмъ, не можетъ существовать, это особое и высшее исполненіе, печать всякаго великаго художника, то онъ первый ихъ распознаетъ и передаетъ намъ въ выраженіяхъ тоже изумительныхъ, необыкновенныхъ, взятыхъ изъ совершенно новаго словаря, котораго онъ является какъ бы изобрѣтателемъ въ нашемъ языкѣ. Въ его слогѣ чувствуется отраженіе этого. И вообще, всѣ способности къ импровизаціи, живому и быстрому выраженію, которымъ онъ былъ одаренъ; всѣ сокровища идей глубокихъ, остроумныхъ и смѣлыхъ, любовь къ природѣ, къ мѣстности и къ семьѣ; даже его чувственность, его рѣшительная склонность изображать и описывать формы, пониманіе красокъ, ощущеніе тѣла, жизни, крови, „что составляетъ отчаяніе колористовъ“, и что онъ

находилъ на кончикѣ своего пера, всѣ эти драгоценныя качества Дидро нашли себѣ примѣненіе въ *Летунихъ листкахъ*, которые навсегда останутся въ потомствѣ связанными съ его именемъ.

Онъ самъ себя превосходилъ всякій разъ, когда говорилъ о Вернѣ и Грѣзѣ. Грѣзь — идеаль Дидро, какъ художникъ; это живописецъ искренній, сердечный, изображающій семью и драму, трогательный и честный, слегка чувственный и вмѣстѣ съ тѣмъ нравственный. Поэтому, когда Дидро натапливается на него, онъ ухватывается за него, передаетъ содержаніе его картинъ, истолковываетъ, объясняетъ, дополняетъ и не выпускаетъ его болѣе: „Я, можетъ быть, немножечко длиненъ, говорилъ онъ, но если бы вы знали, какъ я забавляюсь, докучая вамъ! Вирочемъ, какъ всѣ докучливые люди на свѣтѣ“. Сдѣланный Дидро анализъ или скорѣе описаніе *Деревенской невесты*, *Молодой дѣвушки, оплакивающей умершую птичку*, *Нужно любимой матери*, и т. д. — это все образцовыя произведенія, маленькія поэмы, написанныя по поводу и относительно картинъ. Дидро, говоря о живописцахъ, охотно употребляетъ выраженія: „Онъ пишетъ широкой кистью; онъ рисуетъ широкой кистью“; самъ онъ поступаетъ такъ же въ критикѣ: онъ распространяется въ широкихъ размѣрахъ. Его критика полна изліяній. Даже описывая намъ съ наслажденіемъ каждую семейную пидллію Грѣза, онъ находитъ возможность примѣшать къ этому что-либо свое собственное. Разбирая „Плачущую“, онъ дѣлаетъ еще лучше, онъ вводитъ цѣлую элегію своего изобрѣтенія. Этотъ ребенокъ, который, кажется, плачетъ о птичкѣ, имѣетъ свой секретъ и плачетъ еще по другому поводу: О! чудная рука! восклицаетъ, рассматривая ее, упоенный критикъ, прекрасная рука! красивыя руки! Посмотрите на правдивость деталей въ этихъ пальцахъ, на эти ямочки, эту мягкость, этотъ оттѣнокъ красноты, въ который окрасились отъ тяжести головы кончики ея нѣжныхъ пальцевъ, и прелесть всего. Вы подошли бы, чтобы поцѣловать эту руку, если бы не уважали этого ребенка и его печаль“. И говоря объ уваженіи печали этого ребенка, онъ подходитъ, начинаетъ говорить съ нимъ, приподнимаетъ, на сколько можетъ, осторожно завѣсу тайны: „Но, крошка, ваша печаль глубока, обдуманна. Что значитъ этотъ задумчивый и меланхолическій видъ? Какъ? О птичкѣ? Вы плачете,



вы огорчены; и дума сопутствуетъ вашей печали. Ну же, крошка, откройте мнѣ ваше сердце: скажитѣ по правдѣ; ну развѣ только смерть птички заставляетъ васъ такъ сильно и такъ печально задуматься? И онъ продолжаетъ, и ведетъ свою элегію черезъ всю идиллію. Такимъ образомъ картина для него только предлогъ для мечты, для поэзіи. Дидро царь и богъ этихъ полупоэтовъ, которые становятся, кажутся всѣмъ поэтами въ критикѣ: для этого имъ нужно только вышнюю точку опоры и возбужденія. Анализируя эту и также другія картины Грёза, Дидро, замѣтите это, нравится подмѣчать въ нихъ и провести въ нихъ легкую жилку чувственности сквозь нравственность, жилку, которая тамъ, можетъ быть, и есть, но которую онъ любитъ прослѣдить, подчеркнуть, и которую онъ старается, скорѣе, усилить и преувеличить, чѣмъ оставить незамѣченной. Изгибъ груди, мягкость контуровъ, даже въ этихъ семейныхъ картинахъ, даже въ изображеніяхъ женъ и матерей, онъ возвращается къ нимъ постоянно, устремляетъ на нихъ свой взглядъ и описываетъ ихъ съ готовностію, не какъ критикъ или художникъ, еще менѣе какъ утонченный развратникъ (Дидро вовсе не развратникъ), но какъ человѣкъ непринужденный и матеріальный, иногда нѣсколько грубый. Это его слабая сторона, вульгарная и даже немного низкая. Этотъ превосходный человѣкъ, сердечный, возвышенный, пылкій, этотъ критикъ, такой оживленный, такой остроумный, такой тонкій и сверхъ всего обладающій страстью проповѣдовать нравственность, не умѣетъ въ присутствіи предмета искусства довольствоваться тѣмъ, что облагораживаетъ, направляетъ нашу идею о прекрасномъ, или удовлетворяетъ нашей чувствительности: онъ дѣлаетъ больше, онъ волнуетъ немного наши чувства. Поэтому, когда вы видите на челѣ его отблескъ мыслей Платона, не довѣряйтесь этому, взгляните хорошенько, тамъ всегда скрывается сатиръ.

Кто прочтетъ Дидро, сумѣетъ распознать то, на что мы хотимъ указать, и чему трудно представить доказательства. Вотъ примѣръ, одинъ изъ тысячи, однако, и такой, который можетъ быть приведенъ. Дидро говоритъ о молодомъ пейзажистѣ, Лутербургѣ, который начинаетъ свою дѣятельность сельскими произведеніями, полными свѣжести: „Мужайся, юноша! говоритъ онъ ему; ты зашелъ дальше, чѣмъ дозволено

въ твои годы... У тебя прелестная подруга, которая должна направить тебя. Уходи изъ твоей мастерской только для совѣщаній съ природой...“ Спрашивается, къ чему тутъ эта *подруга* молодого Лутербурга. Но Дидро настаиваетъ на этомъ и не упускаетъ случая вернуться къ тому же: „Живи съ нею среди полей, продолжаетъ онъ; наблюдай восходъ и заходъ солнца... Вставай рано утромъ, несмотря на молодую и очаровательную женщину, подлѣ которой ты отдыхаешь...“ Продолженіе описаніе пейзажа можетъ быть восхитительно по чистотѣ, какъ бы освѣженное росой и свѣтомъ, тѣмъ не менѣе чувствуется, какъ этотъ полуоткрытый уголъ супружескаго алькова, повторяющійся черезъ двѣ—три фразы, не у мѣста и непристоенъ. А у Дидро всегда такъ. У него среди его очаровательныхъ, восхитительныхъ и пріятныхъ качествъ есть привычка къ неделикатности, чувственному направленію, нестѣсняющейся мѣщанской распущенности, чѣмъ онъ много ниже другого великаго критика искусствъ, Лессинга.

Но было бы несправедливо слишкомъ настаивать на этомъ, такъ какъ у него столько другихъ преимуществъ! То, что онъ такъ хорошо выразилъ относительно эскизовъ, можетъ быть примѣнено къ нему и къ его летучимъ листкамъ: „Эскизы вообще стличаются живостью, которой нѣтъ въ картинѣ. Это минута вдохновенія художника, чистое творчество, безъ примѣси изысканности, которую размышленіе сообщаетъ всему, это душа художника, выливающаяся свободно на полотно. Перо поэта, карандашъ искуснаго рисовальщика, какъ бы бѣгаютъ и забавляются. Быстрая мысль характеризуется одной чертою. Итакъ, чѣмъ проявленіе искусства безпредѣльнѣе, тѣмъ свободнѣе воображеніе.“ Вотъ Дидро критикъ и художникъ, пойманный на дѣлѣ въ его живыхъ наброскахъ. Онъ гдѣ то сказалъ о пастельной живописи де-Ла-Тура, „что достаточно дуновенія времени, чтобы развѣять ея пыль“ и чтобы отъ художника осталось только имя. Много прошло лѣтъ, а пастели де-Ла-Тура еще живы; эскизы Дидро тоже.

О Вернѣ и его семи картинахъ, выставленныхъ художникомъ на художественной выставкѣ 1767 года, Дидро написалъ цѣлую поэму, другого имени я не знаю. Онъ дѣлаетъ предположеніе, что когда онъ началъ писать разборъ „видовъ“ и „морскихъ



картинъ<sup>4</sup> Вернэ, онъ былъ вынужденъ уѣхать въ деревню, по сосѣдству съ моремъ, и что тамъ, созерцая разныя сцены дѣйствительности, онъ вознаграждаетъ себя за то, чего не могъ видѣть на выставкѣ. И онъ намъ рассказываетъ объ этихъ сценахъ, онъ ихъ описываетъ, передавая подробности разговоровъ, прогулокъ, споровъ всякаго рода, которые при этомъ возбуждались между различными собесѣдниками. Тамъ говорятъ о природѣ, искусствѣ, и объ ихъ тонкихъ отношеніяхъ; тамъ говорятъ объ обществѣ, объ общемъ строѣ и о точкѣ зрѣнія по отношенію къ человѣческой перспективѣ. Дидро щедро расточаетъ тысячи зародышей идей, которыми онъ полонъ. Потомъ вдругъ, въ концѣ, секретъ его, который, однако, два-три раза былъ на кончикѣ его пера, срывается съ языка, и эти виды природы, которыми мы любовались, оказываются просто картинами Вернэ, которыя ему угодно было такъ воспроизвести въ своемъ воображеніи и реализовать, ставя себя въ положеніе художника, писавшаго картины и даже проникаясь его вдохновеніемъ. Въ такомъ способѣ критики цѣлое творчество.

Дидро, въ своихъ *Salons*, сумѣлъ найти единственный и вѣрный способъ говорить съ французами объ искусствахъ, посвящать ихъ въ это новое чувство, умомъ, бесѣдой, заставить ихъ посредствомъ идей выскнуть въ краски. До знакомства съ Дидро многіе могли бы сказать вмѣстѣ съ г-жей Неккеръ: „Я всегда видѣла въ картинахъ только пошлыя, бездушныя краски; его воображеніе создало въ нихъ для меня блескъ и жизнь; я обязана его генію почти новымъ чувствомъ.“ Это новопріобрѣтенное чувство сильно развилось въ насъ съ тѣхъ поръ; будемъ надѣяться, что оно стало въ насъ совершенно естественнымъ теперь<sup>\*)</sup>).

Дидро былъ по отношенію къ художникамъ не менѣе услужливъ и полезенъ, чѣмъ по отношенію къ публикѣ. Мыѣ рассказали, что Давидъ, глава школы, если не великій живописецъ, говорилъ о Дидро не иначе, какъ съ благодарностью. Первые

---

<sup>\*)</sup> *Salons* Дидро не появлялись при его жизни и были напечатаны въ первый разъ въ *Собраніи* его сочиненій, изданномъ Пажономъ (1798); но они были извѣстны въ обществѣ и обращались въ рукописяхъ, какъ видно изъ письма г-жи Неккеръ.

шаги Давида были трудны, первые два-три раза онъ не имѣлъ успѣха въ борьбѣ. Дидро, посѣщавшій мастерскія, зашелъ къ Давиду; онъ видитъ картину, которую доканчивалъ художникъ; восхищается ею, объясняетъ ее, находитъ въ ней мысль, грандіозные замыслы. Давидъ слушаетъ его и признается, что у него не было всѣхъ этихъ прекрасныхъ идей. „Какъ! восклицаетъ Дидро, вы дѣйствовали въ невѣдѣніи, инстинктивно; тѣмъ лучше!“ И онъ снова указываетъ на причины, вызвавшія его восхищеніе. Эта горячность приѣма со стороны знаменитаго человѣка придала смѣлости Давиду и была благотельна для развитія его таланта.

Отъ Дидро остались маленькія отдѣльныя сочиненія, небольшіе рассказы, сказки, шутки, которые привыкли называть образцовыми произведеніями. Образцовое произведеніе! Употребляя это выраженіе по отношенію къ Дидро, дѣлаютъ ему всегда маленькую любезность. Образцовое произведеніе въ настоящемъ смыслѣ слова, въ смыслѣ сочиненія законченнаго, опредѣленнаго и полнаго, гдѣ вкусъ предписываетъ мѣру движенію и чувству, не его дѣло: высшее качество, повсюду встрѣчающееся у него, нигдѣ не сосредоточено, нигдѣ не заключено въ рамку и нигдѣ не лучезарно. Онъ скорѣе способенъ, какъ мы видѣли, къ эскизу. Въ маленькихъ отрывкахъ, написанныхъ по какому-нибудь поводу, каковы *Похвальное слово Ричардсону* или *Сожалѣніе о моемъ старомъ халатѣ*, много граціи, счастливыхъ мыслей, удачныхъ выраженій; но мѣстами пробивается высокопарность, ораторскія обращенія нарушаютъ простоту. Кое-гдѣ встрѣчаются порывы напыщенности. Съ этой стороны онъ легко даетъ поводъ къ насмѣшкамъ, и не мало было его портретовъ въ карикатурѣ. Но Дидро достигаетъ полного успѣха и безъ всякаго усилія, когда онъ совсѣмъ не готовится, ничего не добивается, когда мысли сами выливаются у него на бумагу, когда издатель ждетъ его и тороитъ; или когда долженъ прійти посыльный, и онъ пишетъ наскоро, за столомъ въ гостиницѣ, письмо своей пріятельницѣ. Вотъ въ этой-то *корреспонденціи* съ его пріятельницей, г-жей Воландъ, въ *Salons*, написанныхъ для Гримма, можно найти его восхитительнѣйшія страницы, откровенные и быстрые очерки, въ которыхъ онъ совсѣмъ перерождается.



И не думайте, что, чтобы писать скоро, онъ пишетъ какъ-нибудь. Его слогъ, при самыхъ быстрыхъ переходахъ, наученъ. плавенъ, полонъ тѣхъ гармоничныхъ эффектовъ, которые соответствуютъ самымъ сокровеннымъ оттенкамъ чувства и мысли. Онъ полонъ отблесковъ природы и зелени; онъ безконечно богаче ими, чѣмъ стиль Бюффона и Жанъ-Жака. Дидро сдѣлалъ нововведеніе въ языкъ, онъ ввелъ въ него краски палитры и радуги: онъ смотрѣлъ ужъ на природу изъ мастерской и сквозь очки художника. Я бы восхвалялъ его за это еще болѣе, если бы этимъ такъ не злоупотребляли впослѣдствіи.

Сильно хвалили *Племянника Рамо*. Гёте, всегда полный возвышенныхъ мыслей и требованій, пытался найти въ немъ планъ, композицію, нравоученіе: признаюсь, что мнѣ трудно уловить въ немъ эту возвышенность цѣли и эту связь. Я нахожу въ немъ тысячу идей смѣлыхъ, глубокихъ, можетъ быть вѣрныхъ, шутиливыхъ и часто вольныхъ, и никакого заключенія, или, самое худшее, конечное впечатлѣніе двусмысленности. Мнѣ кажется, здѣсь, или нигдѣ, мѣсто примѣнить выраженіе кавалера Шателлю (*Chastellux*), сказанное по поводу другого произведенія Дидро, и которое можетъ быть болѣе или менѣе примѣнимо почти ко всѣмъ его произведеніямъ: „Это идеи въ упоеніи вызываютъ одна другую“.

Старѣющій Дидро спрашивалъ себя, хорошо ли онъ употребилъ свою жизнь, не растратилъ ли ее даромъ. Читая въ Сенека трактатъ о *Скоротечности жизни*, ту третью главу, гдѣ читатель призванъ на судъ такъ живо: „Ну, окни въ взглядомъ дни и года твоей жизни, дай себѣ въ нихъ отчетъ! Скажи намъ, сколько людей предавали твою жизнь на разграбленіе, между тѣмъ какъ ты даже не чувствовалъ, что ты теряешь!“ Дидро, вынужденный этимъ допросить свою совѣсть, написалъ въ видѣ комментарія: „Никогда не могъ я читать эту главу, не краснѣя, *это моя исторія*“. За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ онъ говорилъ про себя: „По совѣсти я не воспользовался даже половиной моихъ силъ; до сихъ поръ я только занимался *пустяками*“. Онъ могъ повторить то же самое, умирая. Но, какъ бы въ смягченіе и облегченіе этихъ плохо подавленныхъ сожалѣній писателя и художника, онъ, какъ философъ и нравственный человѣкъ, говорилъ: „У меня не крадутъ жизнь, я

ее отдаю; и что могу я лучше сдѣлать. какъ не отдать часть ея тому, кто меня достаточно уважаетъ, помогаясь этого дара“. Въ подобномъ же настроеніи онъ написалъ гдѣ-то эти чудныя и человѣчныя слова:

„Удовольствіе, доставляемое только мнѣ, меня мало трогаетъ и не долго длится. Не для одного себя, но и для моихъ друзей, я читаю, размышляю, пишу, обдумываю, слышу, смотрю, чувствую. Въ ихъ отсутствіе моя преданность имѣетъ всегда ихъ въ виду. Я постоянно думаю о ихъ счастьѣ. Поражаетъ ли меня прекрасное мѣсто въ книгѣ, они его узнаютъ. Встрѣтилъ ли я прекрасную черту, я обѣщаю себѣ сообщить имъ объ этомъ. Вижу ли какое-нибудь восхитительное зрѣлище, самъ не замѣчая того, я обдумываю рассказъ объ немъ для нихъ. Я имъ посвятилъ всѣ мои чувства и всѣ мои способности; это и есть, можетъ быть, причина, почему все преувеличивается, обогащается въ моемъ воображеніи и въ моей рѣчи, и они меня еще упрекаютъ въ этомъ, неблагодарные!“

Мы, его друзья, тѣ, о комъ онъ вообще думалъ издалека, для кого онъ писалъ, мы не будемъ неблагодарны. Для всѣхъ насъ Дидро человѣкъ, какого утѣшительно видѣть и уважать. Онъ первый великій писатель по счету, рѣшительно принадлежащій къ современному демократическому обществу. Онъ намъ показываетъ дорогу и примѣръ: быть или не быть въ числѣ академиковъ, но писать для народа, имѣть въ виду всѣхъ, импровизировать, всегда спѣшить, заниматься дѣйствительностью, фактами, хотя бы поклонялся мечтѣ; давать, давать, постоянно давать, не рассчитывая что либо получить; *скорѣй износиться, чѣмъ заржаветь* было его девизомъ. Вотъ что онъ дѣлалъ до самой смерти, съ энергіей, самоотверженіемъ, иногда съ скорбнымъ чувствомъ объ этой постоянной убыли силъ. Однакоже, при всемъ томъ, и безъ особенныхъ усилій, онъ сумѣлъ изъ всей этой разбросанности создать нѣчто прочное, и показать намъ, при какихъ условіяхъ не исчезаютъ безслѣдно для будущаго и потомства, а добираются до гавани, хотя бы и въ обломкахъ, послѣ повседнежнаго крушенія.

Сентъ-Бёвъ.



## „О духъ“ Гельвеція.

Главное сочиненіе Гельвеція есть *O духъ* (De l'esprit). Оно составляетъ одно изъ звеньевъ въ общемъ развитіи философіи XVIII вѣка, начиная отъ Локкова эмпиризма до самаго крайняго матеріализма, выразившагося въ *Системъ природы*. Локкъ, хотя и пытался объяснить происхожденіе представленій и понятій посредствомъ чувственныхъ представленій, однакоже допускалъ еще вышнее (reflection), какъ слабый остатокъ самодѣятельности души. Кондильякъ сводитъ эти два отправления къ одному, рассматривая всю познавательную дѣятельность души только видоизмѣненіемъ ощущенія; такимъ образомъ, онъ сообщилъ эмпиризму Локка однохарактерное направление и преобразовалъ его въ сенсуализмъ. Но Кондильякъ въ своемъ сенсуализмѣ не выступалъ еще изъ предѣловъ теоріи познанія, не примѣнялъ психологическихъ началъ къ практической дѣятельности и даже готовъ былъ допустить въ насъ духовную, независимую отъ тѣла субстанцію. Гельвецій уже рѣшительнѣе пользуется началами эмпиризма и сенсуализма и даетъ имъ обширное значеніе, примѣняя ихъ къ содержанію метафизики и правоученія. Подобное направленіе философіи было уже отчасти и въ Англіи; но оно не имѣло тамъ такого послѣдовательнаго и широкаго развитія, какъ во Франціи, и по недостатку увлекательнаго изложенія, свойственнаго французскимъ писателямъ, а еще болѣе по малоизвѣстности англійскаго языка — на континентѣ Европы, не могло имѣть такого обширнаго вліянія, какъ французское направленіе умовъ XVIII вѣка.

Сочиненіе Гельвеція *O духъ* раздѣляется на четыре части. Сначала онъ доказываетъ, что человѣкъ есть существо только чувственное, тѣлесное, и что вся его жизнь сплетается и движется только ощущеніями. Все различіе между человѣкомъ и низшими животными зависитъ отъ степени ихъ ощущеній, отъ совершенства органовъ. Какъ ни важно это положеніе по огромнымъ слѣдствіямъ и по множеству недоумѣній и противорѣчій, требующихъ самаго внимательнаго изслѣдованія, однакоже Гельвецій не заботился объ основательныхъ доказательствахъ. Онъ высказываетъ эту общую мысль съ тою же

легкостию, которою отличалась вся вообще философія и особенно французская XVIII вѣка. Когда чувствительность возбуждена до такой степени, что пачинаеть уже побуждать къ дѣятельности, тогда она принимаетъ характеръ страсти и всѣ свойственныя ей видоизмѣненія. На страсти, по Гельвецію, должно смотрѣть только, какъ на развитіе тѣлесной чувствительности во всей ея полнотѣ. А потому воля, какъ дѣятельная способность, совсѣмъ не составляетъ чего-нибудь отличнаго отъ чувствительности и чувственного возбужденія; она выражаетъ только отвлеченное названіе, которымъ объединяются для нашего представленія различныя движенія страстей. Такимъ образомъ, воля есть также физическая чувствительность, представляемая отвлеченно въ видѣ нашихъ нравственныхъ поступковъ. Если такъ, то и свобода, въ томъ смыслѣ какъ ее представляетъ общее разумѣніе, не имѣетъ значенія, есть слово безъ мысли. Отсюда вытекаетъ уже прямо практическое или правоучительное начало у Гельвеція. Если чувственность или страсти служатъ единственнымъ движительнымъ началомъ дѣятельности, и чувственности или страстямъ свойственно стремиться къ чему-нибудь по испытываемому чувству удовольствія и отвращаться отъ чего-нибудь вслѣдствіе непріятнаго ощущенія, то единственнымъ руководительнымъ началомъ дѣятельности можетъ быть только чувство удовольствія и неудовольствія.

Установивъ такое начало практической дѣятельности, Гельвецій старается потомъ подтвердить и объяснить ихъ показаніями опыта. Всѣ народы вообще и каждый человѣкъ въ частности, говоритъ онъ, во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются этимъ чувствомъ удовольствія, выгоды и корысти, будетъ ли то по непосредственному влеченію страстей, или по соображенію разсудка. По этимъ же пріятнымъ или непріятнымъ чувствамъ, обѣщающимъ или не обѣщающимъ выгоды, люди и оцѣниваютъ поступки не только свои, но и другихъ. Слѣдовательно, добродѣтель, разсматриваемая отвлеченно отъ этихъ слѣдствій, не имѣетъ никакого значенія и составляетъ только особенное выраженіе для обозначенія пріятныхъ, или непріятныхъ качествъ дѣянія. Чтобы доказать это понятіе о добродѣтели, Гельвецій считаетъ достаточнымъ



анализъ нѣсколькихъ примѣровъ изъ людской жизни, въ томъ предположеніи, что и вся остальная сфера дѣятельности происходитъ именно такъ, какъ онъ полагаетъ. Разсматривая эти дѣянія, Гельвецій усиливается объяснить самыя высокія обнаруженія воли, не нарушая ихъ качествъ, личными и корыстными побужденіями. Люди, напр., часто дѣлаютъ добро ближнимъ, жертвуютъ отечеству своими трудами и силами; родители заботятся о дѣтяхъ, дѣти часто оказываютъ самыя высокіе подвиги любви къ родителямъ; но всѣ, сколько бы ни было героизма въ ихъ дѣяніяхъ, поступаютъ такъ, а не иначе потому, что дѣла ихъ доставляютъ имъ удовольствіе, и что это удовольствіе подавляетъ всѣ сопряженные съ ними труды и горести. Кто не чувствуетъ особеннаго удовольствія отъ добра, сдѣланнаго другимъ, тотъ не способенъ къ добродѣтельнымъ поступкамъ. Такимъ образомъ, всѣ добродѣтели — любовь къ ближнему, къ отечеству, милосердіе, кротость, воздержаніе и проч., заключаютъ въ себѣ только искусный расчетъ, въ которомъ мы угождаемъ только своему личному преобладающему влеченію, не обращая вниманіе на другое. Если наше стремленіе къ удовольствію бываетъ, кромѣ того, и другимъ полезно, тогда наши поступки бываютъ нравственны и добродѣтельны. На этомъ основаніи, нравственное совершенство состоитъ въ возможно-лучшемъ согласованіи нашихъ удовольствій и выгодъ съ выгодами и удовольствіями другихъ. Зло же и неправда происходятъ единственно отъ противорѣчія нашихъ поступковъ благу другихъ. „Добродѣтельнымъ, по словамъ Гельвеція, должно назвать не того, кто жертвуетъ своими удовольствіями, своими наклонностями, страстями общему благу, но того, чьи наклонности и страсти до такой степени сходятся съ общимъ благомъ, что онъ по необходимости становится добродѣтельнымъ“.

Если въ страстяхъ, говоритъ Гельвецій, заключается единственный движитель нашихъ дѣйствій, то рождается вопросъ: что же именно должно руководить ими въ жизни? — Какъ именно примѣнять ихъ къ разнымъ обстоятельствамъ, въ сношеніяхъ съ людьми? Мы должны не подавлять наши страсти, но удовлетворять ихъ; даже если онѣ слабы, мы должны возбудить ихъ всѣми средствами; потому что безъ страстей не-

возможно совершить ничего добраго, прекраснаго и высокаго. Единственное же средство для гармоническаго ихъ направленія заключается въ воспитаніи: оно должно управлять страстями и развивать ихъ совмѣстно въ надлежащей гармоніи. Причина такого могущества воспитанія заключается, по мнѣнію Гельвеція, въ томъ, что способности у всѣхъ людей совершенно одинаковы, такъ какъ у всѣхъ одинаково ощущеніе — источникъ способностей, и у всѣхъ одинаковы органы чувствъ. Различіе въ способностяхъ, во вкусахъ, въ настроеніи происходитъ единственно отъ той среды, подъ вліяніемъ которой человекъ проводитъ жизнь, особенно младенчество, отрочество и юность. Къ числу впечатлѣній, дѣйствующихъ на человека, нужно отнести не одни только дѣйствія педагогическія, но и образъ правленія, законодательство, просвѣщеніе, словомъ, всѣ оттѣнки народной жизни. Какъ скоро все окружающее питомца научаетъ его удерживать свои самолюбивыя стремленія въ гармоніи съ выгодами другихъ, съ общою пользою, тогда исчезнутъ всѣ роды нравственныхъ золъ, неправды и преступленія. Гельвецій думаетъ даже, что всѣ люди въ равной степени способны къ высшимъ идеямъ, прославляющимъ великихъ людей, и что мудрые правители и законодатели могутъ двигать по своимъ видамъ характеромъ, убѣжденіями и наклонностями народовъ.

Главная несообразность Гельвеціева нравоученія состоитъ въ томъ, что основаніе добродѣтелей онъ полагаетъ въ чувствѣ удовольствія, потому разумѣется, что добродѣтель сопровождается этимъ чувствомъ. Но объяснять такимъ образомъ сущность добродѣтели значитъ неправильно понимать какъ характеръ удовольствія, такъ и отношеніе чувства удовольствія къ нравственнымъ дѣяніямъ. Есть удовольствіе чувственное, слитое съ самымъ дѣяніемъ чисто-физическимъ, не имѣющимъ никакого смысла и значенія безъ самаго удовольствія; таково, напримѣръ, удовольствіе отъ сладкой пищи. Далѣе, есть удовольствіе, отдѣльное отъ процесса дѣянія или занятія, получаемое вслѣдствіе соображеній и расчета; таково, напримѣръ, удовольствіе отъ удачной продажи товара. Это удовольствіе можетъ быть, можетъ и не быть, завися отъ многихъ совершенно случайныхъ обстоятельствъ. Но есть удовольствіе — высшее обоимъ предыдущимъ. По неразрывности съ самымъ дѣяніемъ оно сходно



съ первымъ; но отлично отъ него и сходно со вторымъ потому, что зависитъ отъ значенія, смысла и духа дѣянія. А потому, изъ того, что нравственное дѣянiе сопровождается удовольствiемъ, вовсе еще не слѣдуетъ, что стремленiе къ добрымъ дѣянiямъ произошло именно изъ-за ожиданiя отъ нихъ удовольствiя. Гораздо правильнѣе думать наоборотъ, что самое удовольствiе отъ дѣянiя, и точнѣе, отъ того, что всѣмъ обнаруженiямъ нашей воли мы дали направленiе, согласное съ общими всѣмъ намъ разумными и чистыми началами дѣятельности. Не нравственное дѣянiе здѣсь зависитъ отъ удовольствiя, а наоборотъ, самое удовольствiе опредѣляется пониманiемъ смысла и духа дѣянiя. Изъ предыдущаго понятно, почему удовольствiе не можетъ быть началомъ правоученiя и нравственной дѣятельности. Какъ результатъ, а не начало дѣянiя, какъ проистекающее не изъ своекорыстнаго расчета, но отъ сочувствiя общимъ интересамъ, какъ не нуждающееся въ патологическихъ прiятныхъ намъ впечатлѣнiяхъ и перѣдко неразлучное съ чувственными лишенiями и страданiями, нравственное удовольствiе отличается идеальнымъ характеромъ отъ всякаго другого удовольствiя. Для обозначенiя его необходимо бы даже другое выраженiе. Такова же несообразность въ понятiи Гельвеція о страстяхъ. Иное дѣло страсть какъ сильное чувство чего-нибудь недостающаго нашему эгоистическому требованiю съ постояннымъ восполненiемъ этого недостатка, а иное — страсть какъ чувство недостатка въ соотвѣтствiи нашей личности всеобщимъ требованiямъ разума и стремленiе къ устраненiю этого недостатка, къ водворенiю во всѣхъ обнаруженiяхъ нашей воли гармонiи съ требованiями разума.

Вообще, въ ученiи Гельвеція преобладаетъ довольно утонченный матеріализмъ; его психологическiя понятiя проникнуты сенсуализмомъ, а правоученiе — эгоизмомъ и фатализмомъ. Въ этомъ направленiи Гельвеція нѣтъ ничего оригинальнаго, оно у него — общее съ преобладавшимъ въ то время направленiемъ умовъ во Францiи. Гельвецій отличается только особеннымъ взглядомъ на такъ-называемыя способности души. По его мнѣнiю, природа надѣляетъ людей способностями въ одинаковой степени, а различiе ихъ происходитъ только въ послѣдствiи времени, отъ различныхъ впечатлѣнiй воспитанiя.

Но это положеніе рѣшительно противорѣчитъ опыту. Въ XIX вѣкѣ отрицали природное различіе способностей у людей Брауды и Бенеке. Но послѣдній отрицалъ только прирожденность различныхъ способностей не по степени, но по формамъ ихъ, на примѣръ, воображенія, разсудка, разума и такъ далѣе, допуская, впрочемъ, различную отъ природы степень общей внутренней жизненности въ людяхъ. Нельзя согласиться также съ преувеличеннымъ мнѣніемъ Гельвеція, что законодатели могутъ по своему произволу возбуждать какія угодно страсти въ людяхъ и что различныя формы правленія обнаруживаютъ почти всемогущее вліяніе на характеры. Гораздо болѣе имѣетъ вліянія на развитіе и направленіе характеровъ воспитаніе и образованіе. Но каково бы ни было вліяніе многосложной среды, окружающей человѣка, оно не отрицаетъ въ немъ возможности самосознанія и самообладанія.

Сочиненіе Гельвеція О духѣ не имѣетъ научнаго значенія; оно обязано успѣхомъ общему настроенію умовъ и особенной ясности изложенія, которая скрываетъ трудныя стороны вопросовъ и, по крайшей мѣрѣ повидимому, дѣлаетъ ихъ понятными.

*Гогоцкій.*

### „Система природы“ Гольбаха.

„Система природы“ распадается на двѣ части, изъ которыхъ первая заключаетъ въ себѣ общія основы и антропологию, а вторая, — насколько можно употребить это выраженіе, — теологию. Уже въ предисловіи указывается, что стремленіе дѣйствовать для блага человѣчества есть истинный исходный пунктъ автора.

„Человѣкъ несчастливъ“, такъ начпнается предисловіе, „только потому, что онъ дурно знаетъ природу. Его умъ такъ зараженъ предрасудками, что можно бы думать, что онъ навѣки осужденъ на заблужденіе; узы предубѣжденія, которыми опутываютъ его съ дѣтства, такъ срослись съ нимъ, что только съ величайшимъ трудомъ можно снять ихъ опять“. Къ своему несчастію, онъ стремится возвыситься надъ видимымъ міромъ, и жестокіе опыты постоянно убѣждаютъ его въ ничтожествѣ его попытокъ. Человѣкъ презираетъ изученіе природы и гонялся



за призраками, которые, подобно блуждающимъ огнямъ, ослѣпляли его и отклоняли отъ простой стези истины, безъ которой онъ не можетъ достигнуть счастья. Время, поэтому, искать въ природѣ цѣлебнаго средства противъ зла, въ которое повергла насъ мечтательность. Существуетъ лишь одна истина, и она никогда не можетъ вредить. — Отъ заблужденія происходятъ позорныя оковы, которыя тираны и жрецы сумѣли повсюду наложить на націю; отъ заблужденія произошло рабство, которымъ удручены были нации; отъ заблужденія — ужасы религій, которые обуславливаютъ то, что люди тупѣли въ страхѣ, или въ фанатизмѣ убивали другъ друга изъ-за химеръ. Отъ заблужденія происходятъ вкоренившаяся злоба и жестокия преслѣдованія, постоянное кровопролитіе и возмутительныя трагедіи, сценою которыхъ должна была стать земля во имя интересовъ неба.

Попытаемся, поэтому, разсѣять туманъ предрасудковъ и внушить человѣку мужество и уваженіе къ своему разуму. Кто не можетъ отречься отъ грезъ, тотъ можетъ, по крайней мѣрѣ, позволить другимъ создавать себѣ взгляды на свой ладъ и питать убѣжденія, что для обитателей земли главное дѣло въ томъ, чтобы быть справедливыми, благотѣтельными и миролюбивыми.

Въ пяти главахъ разсматриваются общія основы пониманія природы. Природа, движеніе, вещество, закономерность всего происходящаго и сущность порядка и случая, — вотъ предметы, къ изслѣдованію которыхъ Гольбахъ примыкаетъ свои основныя положенія. Между этими главами въ особенности послѣдняя своимъ рѣзкимъ устраниеніемъ всякой теологіи навсегда отдѣлила деистовъ отъ матеріалистовъ, и она именно побудила Вольтера къ сильнымъ нападеніямъ на „Систему природы“.

*Природа* есть великое цѣлое; чѣловѣкъ есть часть ея и находится подъ ея вліяніемъ. Существа, которыя полагаются въ природы, суть всегда созданія воображенія, о сущности которыхъ мы такъ же мало можемъ составить представленіе, какъ объ ихъ мѣстопробываніи и объ ихъ образѣ дѣйствія. Не существуетъ ничего и не можетъ ничего существовать за предѣлами круга, который заключаетъ всѣ существа. Человѣкъ

есть физическое существо, и его моральное существование есть лишь особая сторона физическаго, — известный, изъ его особенной организаціи выводимый, модусъ дѣйствія.

Все, что человѣческій умъ выдумалъ для улучшенія нашего положенія, было лишь слѣдствіемъ взаимодѣйствія между вложенными въ него потребностями и окружающею природою. И животное переходитъ отъ простыхъ потребностей и формъ къ болѣе и болѣе сложнымъ; подобнымъ образомъ и растеніе. Незамѣтно растеть алоэ рядъ годовъ, пока не принесетъ, наконецъ, цвѣтовъ, которые суть предвѣстники его близкой смерти. Человѣкъ, какъ физическое существо, дѣйствуетъ по явнымъ чувственнымъ вліяніямъ; какъ существо моральное — по вліяніямъ, которыхъ наши предразсудки не позволяютъ намъ распознать. Образование есть развитіе, какъ уже Цицеронъ сказалъ: „*Est autem virtus nihil aliud quam in se perfecta et ad summum perducta natura*“. Во всѣхъ недостаткахъ нашихъ понятій виноваты недостатокъ опыта, а каждое заблужденіе непосредственно связано со вредомъ. По недостатку знанія природы человѣкъ создалъ себѣ божества, которыя стали единственнымъ предметомъ его надеждъ и опасеній, не соображая, что природа не знаетъ ни ненависти, ни любви, и непрерывно, творя, то добро, то зло, дѣйствуетъ по неизмѣннымъ законамъ. Міръ повсюду не представляетъ намъ ничего, кромѣ матеріи и движенія. Онъ есть безконечная цѣпь причинъ и дѣйствій; разнообразнѣйшія вещества находятся въ постоянномъ взаимодѣйствіи, и ихъ различныя свойства и составъ образуютъ для насъ сущность отдѣльныхъ вещей. Природа въ широкомъ смыслѣ есть, слѣдовательно, совокупность различныхъ веществъ во всѣхъ отдѣльныхъ вещахъ вообще; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ природа вещи есть совокупность ея свойствъ и формъ дѣйствія. Поэтому, если говорить, что природа производитъ дѣйствіе, то тутъ не олицетворяется природа, какъ абстрактъ; говорится лишь то, что разсматриваемое дѣйствіе есть необходимый результатъ свойствъ одного изъ существъ, образующихъ видимое нами великое цѣлое.

Въ ученіи о движеніи Гольбахъ стоитъ совершенно на томъ базисѣ, который Толандъ принялъ въ разсужденіи, упомяну-



томъ нами выше. Онъ, правда, дурно опредѣляетъ движеніе, но рассматриваетъ его всесторонне и основательно, совершенно, однако, не пускаясь въ математическія теоріи, какъ и вообще во всемъ сочиненіи, — сообразно его практической цѣли, — положительное и частное отступаетъ на задній планъ передъ разсужденіями и абстракціями.

Каждая вещь въ силу своей особенной природы способна къ извѣстнымъ движеніямъ. Такъ наши чувства способны принимать впечатлѣнія отъ извѣстныхъ объектовъ. Мы не можемъ знать чего-либо ни о какомъ тѣлѣ, если оно не производитъ въ насъ, прямо или косвенно, измѣненія. Всякое движеніе, которое мы воспринимаемъ, или перемѣщаетъ какое-нибудь тѣло на другое мѣсто. или оно совершается между мельчайшими частицами этого тѣла и производитъ нарушенія и измѣненія, которыя мы замѣчаемъ лишь по измѣненнымъ свойствамъ тѣла. Движенія такого вида лежатъ въ основаніи роста растенія и животнаго и интеллектуальнаго возбужденія человека.

Перенесенными называются движенія, когда они даются тѣлу извнѣ; самостоятельными, когда причина движенія находится въ самомъ тѣлѣ. Сюда причисляютъ въ человѣкѣ хожденіе, говореніе, мышленіе, хотя при болѣе точномъ разсмотрѣніи мы можемъ найти, что въ строгомъ смыслѣ самостоятельныхъ движеній не существуетъ. Человѣческая воля опредѣляется внѣшними причинами.

Сообщеніе движенія однимъ тѣломъ другому совершается по необходимымъ законамъ. Все во вселенной находится въ постоянномъ движеніи, и всякій покой есть лишь кажущійся. Даже то, что физика назвала „*visus*“, слѣдуетъ объяснять только посредствомъ движенія. Если камень въ 500 фунтовъ лежитъ на землѣ, то онъ давитъ каждое мгновеніе всею своею тяжестью и испытываетъ противодавленіе земли. Стоитъ только положить между ними руку, чтобы увидѣть, что камень развиваетъ достаточно силы, чтобы раздавить ее, несмотря на свой кажущійся покой. Дѣйствія никогда не бываетъ безъ противо-дѣйствія. Такъ называемыя мертвыя и живыя силы суть, по-этому, силы одного и того же рода и лишь развиваются при различныхъ обстоятельствахъ. И самыя прочныя тѣла подвер-

жены постояннымъ измѣненіямъ. Матерія и движеніе вѣчны, и твореніе изъ ничего — пустое слово. Желать дойти до начала вещей значитъ только отодвигать затрудненія и удалять ихъ отъ изслѣдованія нашихъ чувствъ.

Что касается матеріи, то Гольбахъ не строгій атомистъ. Онъ принимаетъ, правда, элементарныя частицы, но считаетъ, однако, сущность веществъ неизвѣстностью. Мы знаемъ лишь нѣкоторыя ихъ свойства. Всѣ модификаціи матеріи суть слѣдствія движенія; оно измѣняетъ фигуру предметовъ, раздѣляетъ ихъ на составныя части и принуждаетъ ихъ содѣйствовать возникновенію или сохраненію существъ совершенно другого рода.

Между такъ называемыми тремя царствами природы существуетъ постоянный обмѣнъ и круговоротъ частицъ матеріи. Животное пріобрѣтаетъ новыя силы, съѣдая растенія и другихъ животныхъ; воздухъ; вода, земля и огонь служатъ для его поддержанія. Но тѣ же элементы при другихъ формахъ соединенія становятся причиною его разрушенія, и затѣмъ тѣ же самыя составныя части перерабатываются въ новыя образованія или дѣйствуютъ въ новыхъ разрушеніяхъ.

Таковъ неизмѣнный ходъ природы; таковъ вѣчный круговоротъ, который должно проходить все, что существуетъ. Такимъ путемъ движеніе заставляетъ возникать части вселенной, сохраняетъ ихъ нѣкоторое время и постепенно ихъ разрушаетъ, одни посредствомъ другихъ; между тѣмъ сумма существующаго остается всегда одна и та-же. Природа своею соединяющею дѣятельностью производитъ солнца, изъ которыхъ каждое дѣлается центромъ особой системы; она производитъ планеты, которыя тяготѣютъ по ихъ собственной сущности и описываютъ свои пути около солнца. Совершенно постепенно движеніе измѣняетъ какъ тѣ, такъ и другія, и можетъ быть, когда-нибудь оно снова разсѣетъ частицы, изъ которыхъ образовало чудесныя массы, лишь мимоходомъ видимыя человѣкомъ въ короткій срокъ его существованія.

Впрочемъ, между тѣмъ какъ Гольбахъ въ общихъ положеніяхъ вполне сходится съ внѣшнимъ матеріализмомъ, въ своихъ взглядахъ на обмѣнъ веществъ — доказательство, какъ далеко лежали эти абстракціи отъ настоящаго пути естественныхъ



наукъ — онъ стоитъ еще вполнѣ на почвѣ стараго времени. Для него огонь есть еще жизненное начало вещей. Какъ у Эпикура, какъ у Лукреція и Гассенди, такъ и у него еще при всѣхъ явленіяхъ жизни играютъ роль частички огненнаго свойства и вызываютъ, то видимо, то скрываясь между прочею матеріею, множество явленій. Четыре года спустя послѣ появленія „Системы природы“, Пристлей открылъ кислородъ; между тѣмъ какъ Гольбахъ еще излагалъ или обсуждалъ со своими друзьями свои основоположенія, Лавуазье уже работалъ надъ тѣмъ величественнымъ рядомъ опытовъ, которому мы обязаны истиннымъ ученіемъ о горѣніи, а вмѣстѣ съ этимъ совершенно новою основою той науки, которую изучалъ и Гольбахъ. Одинъ довольствовался, какъ Эпикуръ, логическими и нравственными результатами существовавшаго дотолѣ изслѣдованія; другой былъ проникнутъ научною идеею, которой онъ посвятилъ свою жизнь.

Въ изученіи о законмѣрности всего происходящаго Гольбахъ обращается къ основнымъ силамъ природы. Притяженіе и отталкиваніе суть силы, отъ которыхъ зависитъ всякое соединеніе и раздѣленіе частицъ въ тѣлахъ; они относятся, какъ это видѣлъ уже Эмпедоклъ, какъ любовь и ненависть въ нравственномъ мірѣ. Это соединеніе и раздѣленіе совершается также по строгимъ законамъ. Нѣкоторыя тѣла, которыя, взятые сами по себѣ, не допускаютъ никакого соединенія, могутъ быть приведены къ этому посредствующими тѣлами. Быть — значитъ не что иное, какъ двигаться нѣкоторымъ индивидуальнымъ образомъ; сохраняться — значитъ сообщать или получать такія движенія, которыя обусловливаютъ продолженіе индивидуальнаго существованія. Камень сопротивляется разрушенію простою связью своихъ частицъ; организованные существа — болѣе сложными средствами. Стремленіе къ сохраненію физика называетъ инерціею, мораль — себялюбіемъ.

Между причиною и дѣйствіемъ господствуетъ необходимость какъ въ моральномъ, такъ и въ физическомъ мірѣ. Частицы пыли и воды при бурѣ и вихрѣ двигаются съ тою же необходимостью, какъ отдѣльный индивидуумъ въ бурныхъ движеніяхъ революціи.

..Въ ужасныхъ потрясеніяхъ, которыя охватываютъ иногда

политическія общества и нерѣдко причипяють ниспроверженіе государства, не существуетъ ни одного движенія воли, ни одной страсти въ дѣйствующихъ лицахъ, участвующихъ въ революціи какъ въ роли разрушителей, такъ и въ роли жертвы, — которыя не были бы необходимы, которыя не дѣйствовали бы, какъ они должны дѣйствовать, которыя не производили бы неминуемо слѣдствій, которыя они должны произвести согласно положенію. занимаемому дѣйствующими лицами въ этой правственной бурѣ. Это было бы ясно такому уму, который былъ бы въ состояніи понять и оцѣнить каждое дѣйствіе и противо-дѣйствіе, происходящее въ духѣ и тѣлѣ участниковъ“.

*Ланге.*

### Отрицательное направленіе французской литературы въ XVIII столѣтіи.

Россія вошла уже въ общую жизнь Европы, вошла недавно и потому необходимо все вниманіе ея было обращено на Западъ, къ народамъ старшимъ по цивилизаціи, слѣдовательно, русская мысль и ея выраженія не могли остаться бесъ сильнаго вліянія умственной жизни на Западѣ. Западная умственная жизнь, какъ при Елизаветѣ, такъ и при Екатеринѣ, находилась въ одинакихъ условіяхъ, находилась подъ вліяніемъ французской литературы, слѣдовательно, это же вліяніе должно было замѣтнымъ образомъ отразиться и въ русской умственной жизни, а потому намъ нельзя оставлять безъ вниманія важнѣйшихъ явленій французской литературы описываемаго времени. Мы приступаемъ къ исторіи русскаго просвѣщенія въ десятилѣтіе отъ основанія Московскаго университета до смерти Ломоносова; но именно въ это десятилѣтіе почти завершилось то движеніе во французской литературѣ, которое имѣло такое рѣшительное вліяніе на умственную жизнь въ цѣлой Европѣ.

Вліяніе французскаго языка и литературы, столь сильное при „великомъ королѣ“, Людовикѣ XIV-мъ, и такъ много обязанное ему своею силою, нисколько не ослабѣло, но еще болѣе увеличилось въ царствованіе слабаго преемника его, Людовика XV-го. При великомъ королѣ французская литература подчинялась его вліянію, сдерживалась имъ и приспособлялась къ нему; при Людовикѣ XV-мъ она не находила для себя болѣе сдержки ни въ государственной власти, ни въ обществѣ, а напротивъ



и здѣсь, и тамъ было много условій, которыя съ одной стороны заставили внимательно вглядѣться въ окружающія явленія, указать на многія темныя стороны существующаго порядка, потребовать соблюденія важныхъ общественныхъ интересовъ, сдѣлать полезныя, прямо „просвѣтительныя“ выводы; а съ другой стороны позволили ей до того увлечься отрицательнымъ направленіемъ, что она стала враждебно не только къ существующимъ формамъ государственной власти, но и къ общественнымъ основамъ. Усиленіе королевской власти при Людовикѣ XIV было необходимою реакціею смутъ, извѣстной подъ именемъ фронды, показавшей несостоятельность людей и цѣлыхъ учрежденій, которые хотѣли произвести какой-то переворотъ, при чемъ англійская революція не осталась безъ вліянія на воспріимчивыхъ французовъ. Но въ Англіи смута кончилась сильною и тяжелою властью лорда-протектора, а потомъ возстановленіемъ Стюартовъ; и въ Англіи отнеслись къ революціи, какъ явленію печальному, какъ бунту; тѣмъ болѣе Франція, изнуренная безплодною фрондою, должна была желать сильной королевской власти. Людовикъ XIV удовлетворилъ этому желанію и сначала оправдалъ его, давши много блеска и славы народу, страстному къ блеску и славѣ. Но Людовикъ XIV, въ свою очередь, перешелъ границы въ стремленіи усилить свою власть, что опять вызывало реакцію, тѣмъ болѣе, что великій король оставилъ Францію въ крайне печальномъ положеніи, возбуждавшемъ недовѣріе къ началамъ, которыми руководился Людовикъ. Естественнo возбуждался вопросъ о необходимости исканія новыхъ началъ для болѣе удовлетворительной установки народной жизни.

При такомъ положеніи дѣлъ, разумѣется, важное значеніе должна была имѣть личность новаго короля. Вмѣсто Людовика XIV, который умѣлъ такъ несравненно представлять короля, играть роль государя и этимъ очаровывать свой народъ, страстный къ великолѣпнымъ представленіямъ, къ искусному разыгрыванію ролей, — вмѣсто короля, который оставилъ много блеска, много славы, много памятниковъ искусствъ и литературы, который если не успѣлъ дать Франціи политическую гегемонію въ Европѣ, то удержалъ за нею гегемонію языка и литературы, гегемонію обычая французской общественной жизни, — вмѣсто такого короля явился король, соединявшій въ своей личности всѣ условія для того, чтобъ уронить верховную власть,

явился человекъ, отличавшійся необыкновеннымъ правдивымъ безспіемъ. У Людовика XV не было недостатка въ ясности ума; но безспіе воли было таково, что, при полномъ сознаніи необходимости какого-нибудь рѣшенія, онъ соглашался съ рѣшеніемъ противоположнымъ, какого хотѣли министры. Отсутствіе воли сдѣлало изъ неограниченнаго монарха притворщика и обманщика, интригана, любящаго мелкія средства и извилистыя дороги.

Сознавая безспіе своей воли, Людовикъ XV-й не передалъ правленіе энергическому министру, въ родѣ кардинала Ришелье; онъ, какъ лѣнивый султанъ, заперся въ гаремѣ, оставивъ судьбы государства на произволъ интригамъ любимыхъ женщинъ и кліентовъ ихъ; вмѣсто короля, похожаго на послѣднихъ Меровинговъ, не управлялъ никто, похожій на Мартедла. Подлѣ своихъ королей Франція привыкла видѣть блестящую аристократію; какъ великолѣпный король Франціи служилъ образцомъ для государей Европы, такъ блестящее дворянство Франціи служило образцомъ для дворянства остальной Европы. Воинственная и славолубивая нація достойно представлялась своимъ дворянствомъ, которое выставило столько героевъ, прославившихъ французское оружіе, и пріобрѣло значеніе перваго войска въ мірѣ. Но, по замѣчательному соотвѣтствію, паденіе монархическаго начала во Франціи вслѣдствіе слабости преемника Людовика XIV послѣдовало одновременно съ нравственнымъ паденіемъ французскаго дворянства, съ помраченіемъ славы французскаго войска. Людовикъ XIV, который наслѣдовалъ своимъ знаменитыхъ полководцевъ отъ времени предшествовавшаго, не воспиталъ новыхъ, несмотря на свои частыя войны: доказательство, что война можетъ служить школою для существующихъ талантовъ, но не создаетъ талантовъ, когда кругъ, изъ котораго они могутъ явиться, ограниченъ и потому легко истощается частыми войнами. Такимъ образомъ двѣ силы, дѣйствовавшія постоянно въ челѣ народа и достойно его представлявшія, отказываются отъ своей дѣятельности. Отказывается отъ своей дѣятельности и духовенство, которое не выставляетъ болѣе изъ своей среды. Боссюэтовъ и Фенелоновъ, не можетъ нравственными средствами бороться противъ враговъ религіи, старается употреблять противъ нихъ только матеріальныя средства, что, разумѣется, могло только содѣйствовать паденію духовнаго авторитета.



Но какъ скоро дѣйствовавшія прежде на первомъ планѣ силы отказываются отъ своей дѣятельности, являются несостоятельными, то и начинается приготовляться болѣзненный переворотъ, перестановка силъ, называемая революціей. Это приготовленіе обнаруживается въ отрицательномъ отношеніи къ тому, что имѣло авторитетъ и что представлялось теперь формою безъ содержанія, безъ духа, безъ силы. Въ организмъ французскаго общества въ это время происходило то, что происходитъ во всякомъ организмѣ, гдѣ извѣстный органъ омертвѣетъ или въ организмѣ втиснется какое нибудь чуждое, бесполезное тѣло: въ организмѣ тогда чувствуется тоскливое желаніе освободиться отъ такого омертвѣвшаго органа или чуждаго тѣла, не участвующихъ въ общей жизни, ничего не дающихъ ей.

Это отрицательное отношеніе къ старымъ авторитетамъ необходимо должно было отразиться въ общественномъ словѣ, разговорѣ, который становился все громче и громче. Прежде высоко поднимался дворъ, блестящій, несравненный дворъ Людовика XIV: здѣсь было дѣйствительное величіе, внушавшее уваженіе, сила, съ которою каждому должно было считаться; въ этомъ храмѣ дѣйствительно обитало божество, предъ которымъ каждый преклонялся.

Вниманіе всѣхъ было обращено туда, къ этому дѣйствительному средоточію силы и власти. Но послѣ Людовика XIV дворъ потерялъ прежнее значеніе, прежнее обаяніе, которое давалъ ему великій король; духъ исчезалъ, оставалось одно внѣшнее, и само значеніе переходитъ въ другіе частные круги, гдѣ сходятся пожить общественною жизнью, а для француза это значило играть роль, блистать, овладѣвать вниманіемъ, правиться. Но чѣмъ же блистать, возбуждать вниманіе, правиться? Движеніе прекратилось: нѣтъ больше религіозной борьбы; нѣтъ больше борьбы партій, происходившей отъ честолюбивыхъ стремленій принцевъ крови, могущественныхъ вельможъ; нѣтъ болѣе такихъ сильныхъ лицъ, которыя, привязавшись къ народному неудовольствію, могли поднять движеніе въ родѣ фронды; нѣтъ болѣе того сильнаго внутренняго и особенно военнаго движенія, какое было поднято великимъ королемъ и такъ поразило воображеніе народа, такъ заняло его вниманіе; нѣтъ и тѣхъ начальныхъ, страшныхъ минутъ, какія пережила Франція въ послѣднее время Людовика XIV. Нѣтъ движенія, дѣятельности, остается одинъ разговоръ; но въ чемъ же онъ

могъ состоять? Сочувственно относиться было не къ чему, и относились отрицательно, враждебно. Но и здѣсь серьезное отношеніе, вдумываніе въ причины зла и придумываніе средствъ къ его уничтоженію возможны были лишь для немногихъ; у большинства же непріязненное отношеніе къ настоящему должно было выражаться въ насмѣшкѣ надъ нимъ, которой помогаль и складъ французскаго ума, и самая постановка окружающихъ явленій, гдѣ форма не соотвѣтствовала болѣе содержанію, дѣла не соотвѣтствовали значенію лицъ, ихъ совершавшихъ, а такое несоотвѣтствіе именно и возбуждаетъ насмѣшку.

Насмѣшка не щадила ничего. Уже шель третій вѣкъ, какъ западно европейскіе народы переступили изъ своей древней исторіи, когда у нихъ преобладало чувство, въ новую, которая знаменуется развитіемъ ума на счетъ чувства. Какъ обыкновенно бываетъ при этомъ переходѣ въ жизни народовъ, умъ западныхъ народовъ, возбужденный къ дѣятельности расширеніемъ сферы знанія, знакомствомъ съ новыми народами и странами посредствомъ мореплаванія, открытія путей и земель, возбужденный изученіемъ древняго классическаго міра, сталъ критически относиться къ тому, чѣмъ до сихъ поръ жилось, во что вѣрилось; съ этого времени, времени поклоненія чуждому гевію, гевію классической древности, столь могущественному, такъ поразившему воображеніе памятниками искусства и мысли, начинается отрицательное отношеніе къ своему прошедшему, къ своей древней исторіи или къ такъ называемымъ Среднимъ вѣкамъ, къ религіозному чувству, господствовавшему въ эти вѣка, и ко всѣмъ послѣдствіямъ этого господства. Враждебность начала, стремившагося теперь господствовать, къ прежде господствовавшему началу, мысли къ чувству, высказывалась очевидно: все, что напоминало чувство, основывалось на немъ, происходило отъ него, все это было объявлено предразсудкомъ. Исполненнымъ предразсудковъ являлся прежній бытъ и потому подлежалъ кореннымъ измѣненіямъ, послѣ чего долженъ явиться новый міръ отношеній человѣческихъ, основанный на законахъ и требованіяхъ одного разума человѣческаго. Это стремленіе обозначилось въ самомъ началѣ новой исторіи и постепенно прокладывало себѣ все болѣе и болѣе широкую дорогу, встрѣчая въ разныхъ странахъ болѣе или менѣе сильныя препятствія, притаи-



ваясь на время при невзгодѣ и вырываясь наружу при первомъ благопріятномъ обстоятельстве. Въ сферѣ религіозной оно высказывалось въ возстаніи противъ авторитета римской церкви, въ ученіяхъ крайнихъ протестантскихъ сектъ; но вслѣдъ за тѣмъ явились ученія, которыя совершенно покончили съ положительною и даже со всякою религіею. Разумѣется, сначала эти ученія подвергались преслѣдованіямъ отъ церкви и государства, должны были скрываться, но не исчезали. Во Франціи въ XVII вѣкѣ эти ученія встрѣтили сопротивленіе въ яansenизмѣ, въ сильномъ церковно-литературномъ движеніи при Людовикѣ XIV, въ поддержкѣ, которую церковь нашла у великаго короля, встрѣтили сопротивленіе, но продолжили жить втихомолку, дожидаясь своего времени. Это время пришло, когда умеръ Людовикъ XIV, когда вслѣдствіе слабости и недостойнства его преемника началось высказываться отрицательное отношеніе народной мысли къ существующему порядку. Воздемъ этого новаго литературнаго движенія является Вольтеръ. Онъ начинаетъ легкими сатирическими стишками, но подозрѣнію сидитъ въ Бастиліи и 24 лѣтъ ставитъ на театрѣ свою первую пьесу „Эдипъ“, возбуждившую сильное вниманіе и начавшую новую эпоху во французской и европейской континентальной литературѣ. Время чистаго искусства, время Корнеля и Расина прошло для Франціи. Въ Англіи, вслѣдствіе ранняго начала политическихъ движеній, политическія идеи вторглись въ область искусства: здѣсь политическія партіи въ стихахъ поэта, произносимыхъ со сцены, въ рѣчахъ римлянъ, выведенныхъ имъ въ своей пьесѣ, видѣли указанія на борьбу политическихъ партій въ Англіи. Теперь во Франціи въ литературу вторгаются идеи, обозначающія начало борьбы съ существующимъ порядкомъ, отрицательное отношеніе общества къ нему. Мысли, которыя занимаютъ общество, которыя составляютъ любимый предметъ разговоровъ въ гостинныхъ, входятъ въ литературу, въ публичное слово; разумѣется, въ публичномъ словѣ онѣ не могли высказываться въ тогдашней Франціи свободно, онѣ должны были являться въ видѣ намековъ; сочиненія же, въ которыхъ онѣ высказывались съ полною свободою, или ходили въ рукописяхъ, или печатались за границею. То сочиненіе могло рассчитывать на вѣрный успѣхъ, гдѣ общество встрѣчало мысли, которыя его занимали, и сочиненія Вольтера, появлявшіеся безпрестанно

въ разныхъ формахъ — трагедіи, повѣсти, исторической монографіи, полемической статьи, — всѣ были наполнены этими мыслями или намеками на нихъ. То, что въ гостиныхъ и кафе, вошедшихъ тогда въ моду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый авторъ обрабатывалъ въ стройное цѣлое, поясняя примѣрами, излагалъ увлекательно, съ необыкновеннымъ остроуміемъ, не глубоко, но легко, общедоступно. Что было предметомъ сильныхъ желаній, что могло откровенно высказываться только въ своемъ кружкѣ, въ четырехъ стѣнахъ гостиной, то вдругъ слышали произносимымъ въ звучномъ стихѣ, при многочисленной публикѣ, на театральной сценѣ. Впечатленіе было могущественное, и авторъ пріобрѣталъ чрезвычайную популярность: общество было благодарно своему вѣрному слугѣ, глашатаю своихъ мыслей и желаній, удивлялось его смѣлости, геройству, рѣшимости публично высказывать то, о чемъ другіе говорили только втихомолку. Успѣхъ Вольтера былъ обезпеченъ тѣмъ, что онъ явился вѣрнымъ слугою направленія, которое брало верхъ, для большинства было моднымъ, явился проповѣдникомъ царства разума человеческого и потому заклятымъ врагомъ, порицателемъ того времени, когда господствовало чувство, заклятымъ врагомъ церкви, христіанства, всякой положительной религіи, опредѣляющей отношенія къ высшему, духовному міру, предъ которыми разумъ человѣческій несостоятеленъ и долженъ преклоняться предъ высшимъ авторитетомъ, предъ таинственными, недоступными для него явленіями. Въ „Эдипѣ“ поклонники разума уже рукоплескали знаменитымъ стихамъ, которые вовсе не шли ко времени Эдипа, но въ которыхъ подъ языческими жрецами выставлялось современное духовенство; „наши жрецы вовсе не то, что простой народъ о нихъ думаетъ, наше легковѣріе составляетъ всю ихъ мудрость“.

При господствѣ французскаго языка и литературы въ Европѣ, слава Вольтера скоро перешла границы Франціи. Каждое произведеніе увлекательнаго автора, — а произведенія эти появлялись часто, — борьба съ многочисленными литературными противниками увеличивала только славу Вольтера, потому что онъ постоянно выходилъ изъ борьбы побѣдителемъ; гибельно было подпасть подъ удары ловкаго и неутомимаго бойца, лестно и выгодно стало быть въ союзѣ съ владыкою общественнаго мнѣнія, царя моднаго направленія въ литера-



турѣ и наукѣ; обиженный, за котораго заступался Вольтеръ, могъ быть увѣренъ въ успѣхѣ своего дѣла, и долженъ былъ трепетать судья, на несправедливый приговоръ котораго была принесена жалоба Вольтеру. Было въ Европѣ время также сильнаго умственного движенія въ началѣ ея новой исторіи, и это движеніе вынесло знаменитаго учено-литературнаго дѣятеля, Эразма Роттердамскаго; но важное значеніе Эразма много уступало значенію Вольтера. Коронованныя главы и члены владѣтельныхъ домовъ признали новое могущество, что обнаружилось въ исканіи союза и дружбы; выгоды дружбы и невыгоды вражды Вольтера были ими испытаны. Надобно прибавить, что могущественному положенію Вольтера способствовала независимость, которую обезпечивало за нимъ большое состояніе, пріобрѣтенное литературнымъ трудомъ и выгодными оборотами: въ 1749 году Вольтеръ уже получалъ слишкомъ 70.000 ливровъ дохода; сумму эту надобно утроить или учетверить, чтобъ сдѣлать равною нынѣшней.

Меньшею извѣстностью въ толпѣ, но не меньшимъ, если не большимъ значеніемъ среди людей, внимательныхъ къ движеніямъ мысли о человѣкѣ и обществѣ, пользовался современникъ Вольтера, Монтескьё. Отдавши дань модному отрицательному или обличительному направленію въ „Персидскихъ письмахъ“, Монтескьё обнаружилъ счастливый переходъ своей умственной дѣятельности въ „Разсужденіи о причинахъ величія и паденія римлянъ“, и въ 1748 г. издалъ свое знаменитое сочиненіе „Духъ законовъ“, быстро получившее важное значеніе во всей образованной Европѣ. Книга заслуживала свою репутацію тѣмъ, что впервые съ такою подробностью представила различныя формы государственнаго устройства, причины ихъ происхожденія, ихъ исторію у разныхъ народовъ, древнихъ и новыхъ, христіанскихъ и нехристіанскихъ; прибавимъ къ тому легкость, доступность изложенія, умѣренность, сдержанность, научно-историческое уваженіе къ общественнымъ формамъ, какъ происшедшимъ не случайно, не произвольно, стремленіе извѣстными объясненіями, извѣстными указаніями привести къ правильному пониманію человѣческихъ отношеній и содѣйствовать благополучію человѣческихъ обществъ, какія бы формы для нихъ ни выработала исторія. Книга Монтескьё небывалою широтою плана, возбужденіемъ важныхъ историческихъ и юридическихъ вопросовъ произво-

дила могущественное вліяніе на умы современниковъ, порождала цѣлую литературу и въ то же время имѣла важное практическое значеніе, измѣняя взгляды на существующія отношенія, измѣняя ихъ ко благу народовъ и достигая этого указанною выше умѣренностью, сдержанностью, не пугая правительства революціонными требованіями, но указывая имъ средства содѣйствовать благосостоянію подданныхъ и при существующихъ основныхъ формахъ; ибо ничто такъ не вредитъ правильности свободнаго развитія человѣческихъ обществъ, какъ революціонныя требованія, пугающія не только правительства, но и народное большинство, заставляющія его опасаться за самые существенные интересы общества: человѣкъ убѣжденъ въ необходимости выйти изъ дому подышать чистымъ воздухомъ; но, испуганный ревомъ бури, ливнемъ и холодомъ, спѣшитъ затворить окна и предпочитаетъ остаться въ душной атмосферѣ своей тѣсной комнаты.

Понятно, что „Духъ законовъ“ не понравился ярымъ приверженцамъ отрицательнаго направленія. Они твердили толпѣ постоянно одно, что настоящее положеніе есть произведеніе предразсудковъ, заблужденій, неправдъ и потому должно быть разрушено, дать мѣсто новому общественному зданію, построенному на законахъ разума: а тутъ авторъ „Персидскихъ писемъ“ съ обширной ученостью и необыкновенною силою мысли показываетъ, какъ то, что было объявлено произведеніемъ невѣжества и предразсудковъ, создавалось разумно, по извѣстнымъ законамъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ условій, показывалъ причины, почему извѣстная государственная форма измѣняется, крѣпнеть или слабѣетъ, разрушается. Одинъ изъ самыхъ ярыхъ проводниковъ отрицательнаго направленія, Гельвецій, писалъ Монтескьё по поводу его книги: „Вы намъ говорите: вотъ міръ, какъ онъ управлялся... Вы часто приписываете ему разумъ и мудрость, которыя въ сущности принадлежатъ вамъ самимъ... Вы позволяете себѣ сдѣлку съ предразсудкомъ, какъ молодой человѣкъ, вступающій въ свѣтъ, позволяетъ себѣ сдѣлки съ старыми женщинами, которыя еще не отказались отъ претензій. Писатель, желающій быть полезенъ человѣку, долженъ заниматься уясненіемъ истинныхъ началъ для лучшаго порядка вещей въ будущемъ, а не освѣщать опасныя начала... Идея прогресса только забавляетъ нашихъ современниковъ, но она вразумляетъ молодежь и слу-



жить потомству“. — Но проводники отрицательнаго направленія, начиная съ Вольтера, должны были сдержаться въ своихъ публичныхъ отзывахъ о книгѣ Монтескьё въ виду ея громаднаго успѣха: менѣе чѣмъ въ полтора года появилось 22 изданія и переводы почти на всѣ языки.

Но, отдѣлавшись холоднымъ поклономъ предъ знаменитымъ твореніемъ, которое пришлось не по ихъ вкусу и разумѣнію, проводники отрицательнаго направленія продолжали идти все дальше и дальше по своей дорогѣ. Съ именъ Вольтера тѣсно соединены еще имена двоихъ проводниковъ отрицательнаго направленія — Дидро и Д'Аламбера. Дидро по своему характеру былъ драгоцѣнный человѣкъ въ распространеніи какого бы то ни было ученія, драгоцѣнный членъ партіи. Своею вдохновенною рѣчью онъ производилъ сильное обаяніе; кромѣ того трудно было сыскать человѣка, съ которымъ было бы такъ легко ужиться, человѣка болѣе снисходительнаго; его преимущества никого не стѣсняли, всякій чувствовалъ себя при немъ свободнымъ. Только немногіе, признавая за Дидро достоинства и пользуясь ими, могли замѣтить, что въ его мысляхъ нѣтъ послѣдовательности, въ его чувствахъ нѣтъ постоянства, что онъ могъ написать прекрасныя страницы, но никакъ не могъ написать книги. Какъ проводникъ отрицательнаго направленія онъ заявилъ себя въ „Философскихъ мысляхъ“; парижскій парламентъ въ 1746 году осудилъ книгу на сожженіе, но въ томъ же году она была переиздана въ Парижѣ, Лондонѣ и Гагѣ, и книга стала модною во всей Европѣ. Въ „Письмѣ о слѣпыхъ въ пользу зрячихъ“ Дидро пошелъ еще дальше, чѣмъ въ философскихъ письмахъ; денсъ Вольтеръ вооружился противъ атеизма Дидро, но когда послѣдняго посадили въ крѣпость за „Письмо о слѣпыхъ“, Вольтеръ заступился за собрата, за философа: „Философы, говорилъ Вольтеръ, составляютъ малое стадо, которое нельзя отдавать на бойню. Они имѣютъ свои недостатки, какъ и другіе люди, они не всегда пишутъ отличныя сочиненія; но если бъ они могли соединиться всѣ противъ общаго врага, это было бы доброе дѣло для рода человѣческаго. Чудовища, называемыя яansenистами и молинистами, куснувъ другъ друга, лаютъ вмѣстѣ на бѣдныхъ приверженцевъ разума человѣчества; послѣдніе должны, по крайней мѣрѣ, защищаться противъ нихъ“. Философы, по мнѣнію Вольтера, должны были составлять тѣсно

сомкнутое общество, дѣйствовать тайно, и въ случаѣ, когда надобно было отстоять своего, храбро отречься и лгать: „Надобно, писалъ онъ однажды, лгать какъ дьяволъ, не робко, не случайно только, но смѣло и всегда. Лгите, друзья мои, лгите, я вамъ заплачу за это при случаѣ. Тайнства Митры не должны быть открываемы, хотя бы это были тайнства свѣта; нѣтъ нужды, откуда приходитъ истина, лишь бы приходила“.

Это тайное общество начало дѣйствовать явною стѣнобитною машиною, когда Дидро вмѣстѣ съ извѣстнымъ математикомъ Д'Аламберомъ начали съ 1751 года издавать знаменитую Энциклопедію. Священная книга откровеній разума человеческого, разумѣется, должна была начинаться изложеніемъ блестящихъ успѣховъ разума во Франціи и Европѣ съ XVI вѣка; это изложеніе написано было Д'Аламберомъ.

Но что такое разумъ? Сначала проповѣдники его царствія разумѣли подъ нимъ высшее духовное начало въ природѣ человеческой; но начала матеріалистическихъ ученій уже давно высказались въ сочиненіяхъ англійскаго философа Локка и въ 1734 году были распространены во Франціи, а слѣдовательно и по всему континенту, тѣмъ же Вольтеромъ въ его „Англійскихъ письмахъ“. Аббатъ Кондильякъ развилъ Локковы начала въ „Опытѣ о происхожденіи познаній человеческихъ“ (1746) и въ „Трактатѣ объ ощущеніяхъ“ (1754); но и Кондильякъ остановился на дорогѣ, не сдѣлался матеріалистомъ. Дойти до крайнихъ результатовъ въ этомъ ученіи суждено было Гельвецію. Гельвецій смолоду сталъ участвовать въ выгодной дѣятельности по откупамъ податей, нажилъ большое состояніе и, обезпеченный въ этомъ отношеніи, сталъ думать, какъ бы пріобрѣсти и славу, сначала славу друга и покровителя литераторовъ и ученыхъ, а потомъ и самому занять видное мѣсто въ средѣ ихъ. Сначала сталъ писать стихи; но видя, что на этомъ поприщѣ прославиться трудно, сталъ заниматься, какъ тогда говорили, философіею и въ 1758 году выдалъ книгу: „De l'esprit“. Какъ обыкновенно бываетъ въ движеніяхъ, подходящихъ въ извѣстное время подъ требованія и вкусъ общества, люди посредственныхъ способностей, желая обратить на себя вниманіе и пробиться впередъ, стремятся отличиться мыслями и требованіями во что бы то ни стало новыми и смѣлыми, забѣгать впередъ, наддавать на аукціонѣ. Такъ поступилъ и Гельвецій и дошелъ въ своей книгѣ до



крайнихъ матеріалистическихъ выводовъ, отвергнувъ духовное начало въ человѣкѣ и поставивши корысть, стремленіе къ удовольствію единственнымъ побужденіемъ дѣятельности человѣческой. Книга Гельвеція была строго запрещена во Франціи; авторъ, чтобъ остаться въ покоѣ, принесъ повинную, объявилъ, что поставляетъ свою славу въ подчиненіе христіанству всѣхъ своихъ мыслей, мнѣній и способностей своего существа. Но другого рода слава была приобрѣтена. Строгое запрещеніе распалило любопытство, и книга Гельвеція четыре раза была перепечатана въ Амстердамѣ, хотя для потомства остался въ силѣ разговоръ знаменитаго Тюрго, что книга Гельвеція есть произведеніе философское, но безъ логики, литературное, но безъ вкуса, въ ней толкуется о нравственности, но не честно. Патріархъ отрицательной литературы, Вольтеръ говорилъ, что не одобряетъ ни заблужденій книги Гельвеція, ни пошлыхъ истинъ, которыя онъ съ торжествомъ повторяетъ; но онъ заступился за Гельвеція, какъ за солдата изъ своего отряда, укоряя его только за неосторожность — зачѣмъ вырѣзалъ свое имя на книжалѣ, которымъ поражалъ общаго врага. зачѣмъ выставилъ на книгѣ свое имя, зачѣмъ напечаталъ во Франціи.

Книга Гельвеція произвела тяжелое впечатлѣніе на Ж. Ж. Руссо: онъ хотѣлъ было писать возраженія на нее, но остановился въ виду правительственнаго гоненія на нее. Ж. Ж. Руссо стоялъ поодаль отъ той группы писателей, которою мы до сихъ поръ занимались, но тѣмъ не менѣе имѣлъ могущественное вліяніе на умы современниковъ. Въ то время, когда литература проповѣдывала царство разума человѣческаго, когда съ торжествомъ указывала на великія и благодѣтельные явленія, начавшіеся съ того времени, когда разумъ сталъ освобождаться изъ оковъ темныхъ силъ, господствовавшихъ въ Средніе вѣка. изъ оковъ фанатизма, суевѣрія и предрассудковъ, когда съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждали того великаго времени, когда свѣтъ разума возсіяетъ въ полномъ блескѣ и вслѣдствіе этого блаженство водворится на землѣ, когда признавалось безспорною истиною, что золотой вѣкъ не назади, какъ думали древніе, а впереди, — въ это самое время писатель, особенно способный овладѣвать вниманіемъ, душою читателя, объявляетъ, что вѣра въ прогрессъ напрасна, что движеніе общества по пути цивилизаціи, какъ можно боль-

шое удаленіе его отъ того состоянія, которое называется дикимъ и варварскимъ, вовсе не ведетъ къ увеличенію благосостоянія человѣчества, къ нравственному улучшенію. Въ 1749 г. Дижонская академія объявила тему на конкурсъ для будущаго 1750 года: „Возстановленіе наукъ и искусствъ способствовало ли къ очищенію нравовъ?“ Явился отвѣтъ отрицательный, и авторомъ его былъ Руссо. Вліянію наукъ и искусствъ приписаны были всѣ пороки общества, всѣ добродѣтели были найдены у народовъ дикихъ. Блестящее сочиненіе имѣло громаднѣйшій успѣхъ, возбудило всеобщее вниманіе и сильныя споры. До сихъ поръ вожди отрицательнаго направленія въ литературѣ имѣли преимущественно въ виду борьбу съ религіознымъ авторитетомъ, ограничивавшимъ свободу разума, предполагавшимъ несостоятельность послѣдняго; борьба противъ политическихъ учрежденій была на второмъ планѣ. Эти вожди пользовались выгоднымъ положеніемъ въ обществѣ, были его любимцами, оракулами, имѣли обезпеченное, нѣкоторыя обширное состояніе, слѣдовательно, имѣли возможность наслаждаться прелестями утонченной жизни, по своему воспитанію, по своему обращенію, привычкамъ принадлежали къ отборному обществу, чувствовали себя въ немъ легко, свободно: поэтому они не имѣли никакихъ побужденій проповѣдывать общественную перестройку, ихъ требованія отъ богатыхъ и сильныхъ ограничивались тѣмъ, чтобъ они относились къ бѣднымъ и слабымъ съ большимъ человѣколюбіемъ и правдою. Но вотъ по силѣ своего таланта между этими такъ называемыми философами получаетъ мѣсто человѣкъ на нихъ не похожій. Руссо былъ сынъ женеваго часовщика; послѣ разныхъ тревожныхъ жизней судьба привела его въ Парижъ; но съ своимъ новымъ отечествомъ онъ имѣлъ общаго только языкъ, во всемъ другомъ онъ былъ ему чуждъ, и, несмотря на оторванность отъ прежняго отечества, въ немъ подчасъ рѣзко сказывался гражданинъ кальвинистской республики. Онъ вытерпѣлъ много униженія и лишеній; онъ очутился въ кругу вельможъ, богатей и модныхъ писателей; но въ этомъ кругу ему было неловко, онъ не могъ быть здѣсь такъ свободенъ и развязенъ, какъ Вольтеръ съ товарищами; приладиться къ обществу, принять его обращеніе, стараться нравиться, начать играть роль онъ не могъ, потому что не былъ французъ, не имѣлъ поэтому природной способности быть салоннымъ человѣ-



комъ. Сознаніе своей несправимой неловкости, невозможности играть ту роль, какую играли другіе вокругъ него, сознаніе, что постоянно затмевается другими, это сознаніе въ соединеніи съ крайнимъ самолюбіемъ и болѣзненностью, чрезвычайно раздражительностью нервовъ заставили Руссо вести себя такъ, что объ немъ начали отзываться сначала какъ о чудака, дикаря, а потомъ какъ о человѣкѣ сумасшедшемъ и невозможномъ для общества. Такая неловкость и унижительность положенія, нужда, особенно въ сравненіи съ довольствомъ другихъ писателей, которыхъ онъ не считалъ выше себя, содѣйствовали тому, что Руссо отрицательно, враждебно отнесся къ основному общественному строю, нашелъ его чрезмѣрно сложнымъ и извращеннымъ, отступившимъ отъ первоначальной простоты, которая одна давала человѣку возможность сохранять чистоту нравовъ. Та же Дижонская академія въ 1753 году предложила на конкурсъ другую тему: „Отчего произошло неравенство между людьми и основывается ли оно на естественномъ законѣ?“ Руссо отвѣчалъ и на этотъ вопросъ: первый кто огородилъ извѣстный участокъ земли и сказалъ: „это мое“! былъ истиннымъ основателемъ гражданскаго общества. Въ такомъ основаніи Руссо видѣлъ общественное грѣхопаденіе, отъ котораго проистекли все бѣдствія для рода человѣческаго. Руссо остался вѣренъ этой основной мысли и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ: воспитаніе и политическія учрежденія должны имѣть цѣлью возвращеніе человѣка къ первобытной простотѣ отношеній.

Кромѣ вліянія, какое имѣли сочиненія Руссо на послѣдующія явленія французской исторіи, кромѣ вліянія, какое имѣли его мысли о воспитаніи на все европейское общество, сочиненія Руссо имѣютъ то важное историческое значеніе, что въ нихъ рѣзко высказалась реакція господствовавшему стремленію достигнуть торжества разума человѣческаго, отрѣшиться какъ можно скорѣе и безвозвратно отъ первой половины народной жизни, въ которой преобладаетъ чувство надъ разумомъ. Руссо, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ реакціяхъ, перегнулъ дугу въ противоположную сторону, утверждая, что состояніе размышленія противоестественно, и человѣкъ размышляющій есть человѣкъ испорченный. Но, несмотря на справедливыя возраженія противъ Руссо, противъ его крайностей, софизмовъ, искусственнаго, фантастическаго

объясненія общественныхъ явленій, искусственнаго, невозможнаго построенія человѣческихъ отношеній, несмотря на стремленія приблизиться къ естественнымъ отношеніямъ, — несмотря на все это, Руссо совершенно справедливо указалъ въ извѣстномъ отношеніи на односторонность господствовавшего стремленія. Человѣку пріятно увлекаться мыслию о прогрессѣ, но внимательный взглядъ на явленія въ природѣ и обществѣ заставляетъ убѣдиться, что абсолютнаго прогресса нѣтъ, нѣтъ золотого вѣка впереди, а есть извѣстное движеніе, которое мы называемъ развитіемъ, при чемъ все, переходя въ извѣстный возрастъ или моментъ развитія, можетъ пріобрѣтать выгодныя стороны, но вмѣстѣ съ тѣмъ утрачиваетъ выгодныя стороны оставленнаго позади возраста. Пріобрѣтается плодъ, теряется цвѣтъ; лѣто, несмотря на свои выгодныя стороны, лишено прелестей весны; человѣкъ вполне развитой, въ полномъ обладаніи умственныхъ силъ и крѣпкій опытомъ жизни, жалуется о прелестяхъ юности и даже дѣтства, прелестяхъ для него невозвратимыхъ. Вотъ почему подлѣ похвалы успѣхамъ настоящаго времени, при надеждахъ на большіе успѣхи въ будущемъ, законно существуетъ похвала доброму старому времени. Обѣ эти похвалы ведутъ обыкновенно къ безконечному и ожесточенному спору, потому что обѣ основаны на односторонности, примиреніе заключается въ признаніи развитія и его законовъ; а возможно здоровое состояніе общества зависитъ отъ умѣнья, при переходѣ въ извѣстный возрастъ, не отдаваться безотчетно господствующему въ этомъ возрастѣ началу, а умѣрять его другими необходимыми для жизненнаго равновѣсія началами, не утверждать, вмѣстѣ съ Руссо, что состояніе размышленія есть состояніе противоестественное для человѣка, и въ то же время признавать основное, зиждительное значеніе чувства.

Но Руссо, при господствѣ въ его характерѣ страстности и фантазіи, не могъ хотя сколько-нибудь сдержать отрицательное направленіе литературы, напротивъ подкатилъ къ стѣнамъ полуразрушенной крѣпости новый опасный таранъ. Успѣхи осаждающихъ условливались, впрочемъ, не ихъ стѣнобитными орудіями, а преимущественно плохою защитою гарнизона. Духовенство оказывалось несостоятельнымъ въ борьбѣ словомъ и дѣломъ, представляя противоположность между своимъ поведеніемъ и тѣмъ нравственнымъ идеаломъ, который былъ вы-



ставленъ христіанствомъ. Государство, въ сильныхъ финансовыхъ затрудненіяхъ, обратилось къ духовенству, владѣвшему громадными имѣніями и доходами, и потребовало свѣдѣнія обо всѣхъ имуществѣхъ и доходахъ церковныхъ. Духовенство отказалось дать эти свѣдѣнія, при чемъ обратилось къ королю съ такими словами; „Самомалѣйшія новизны въ правилахъ и обычаяхъ религіозныхъ подвергаютъ религію великой опасности; сосѣднія государства представляютъ гибельныя тому доказательства, и никогда эти примѣры не могли насъ болѣе утѣшить, какъ въ настоящее время. Гнусная философія распространилась какъ смертельный ядъ и изсушила корень вѣры почти во всѣхъ сердцахъ; скандалъ нечестія, гордаго числомъ и качествомъ своихъ приверженцевъ, не знаетъ болѣе мѣры. Государь, вы должны оказать теперь религіи самое сильное покровительство, потому что она никогда еще не подвергалась такимъ сильнымъ нападеніямъ“. Вольтеръ не остался въ долгу; онъ нанесъ духовенству ударъ, прикрывшись щитомъ свѣтской власти: „Правительство тогда только хорошо, когда оно едино; не должно быть двухъ властей въ одномъ государствѣ. Употребляютъ во зло различіе между властью духовною и свѣтскою. У меня въ домѣ развѣ признаютъ двоихъ хозяевъ: меня и наставника моихъ дѣтей, которому я плачу жалованье? Я желаю, чтобъ уважали наставника моихъ дѣтей, но я вовсе не желаю, чтобъ онъ имѣлъ хотя малѣйшую власть въ моемъ домѣ. Во Франціи, гдѣ разумъ усиливается съ каждымъ днемъ, этотъ разумъ научаетъ насъ, что церковь должна участвовать въ государственныхъ тяжестяхъ по соразмѣрности съ своими доходами, и что сословіе, долженствующее особенно учить справедливости, должно первое подать примѣръ справедливости. Такое правительство будетъ готтентотское, при которомъ можно будетъ извѣстному числу людей сказать: кто работаетъ, тотъ пусть и платитъ, мы не должны ничего платить, потому что мы ничего не дѣлаемъ. То правительство оскорбитъ Бога и людей, при которомъ граждане могли бы сказать: государство намъ дало все, а мы должны за него только молиться. Разумъ внушаетъ намъ, что когда государь захочетъ уничтожить какое-нибудь злоупотребленіе, народъ долженъ ему въ этомъ содѣйствовать, хотя бы злоупотребленіе считало за собою давность 4000 лѣтъ. Разумъ насъ научаетъ, что государь долженъ быть полновластнымъ распо-

рядителемъ всей церковной полиціи. Великое счастье для государя, когда много философовъ, ибо философы, не имѣя частнаго интереса, могутъ говорить только въ пользу разума и блага общественнаго. Величайшее счастье для людей, когда государь философъ: государь-философъ знаетъ, что чѣмъ болѣе силы беретъ въ его государствѣ разумъ, тѣмъ менѣе производятъ зло суевѣріе, споры и ссоры богословскія<sup>4</sup>.

„Гнусная философія изсушила корень вѣры почти во всѣхъ сердцахъ“, говорило французское духовенство; но было много людей во Франціи, въ сердцахъ которыхъ корень вѣры не былъ изсушенъ; доказательствомъ служило то, что они за отцовскую вѣру терпѣли страшныя притѣсненія, работали на галерахъ, покидали отечество: то были протестанты. Католическое духовенство, неспособное предохранить сердца своей паствы отъ вліянія философіи, поддерживало гоненіе на протестантовъ и тѣмъ давало врагамъ своимъ, философамъ, лучший случай вооружаться противъ религіи, во имя которой производилось гоненіе. Католическое духовенство оказывалось несостоятельнымъ въ борьбѣ съ философіею, отъ него не было слова и дѣла назиданія, и люди, въ сердцахъ которыхъ корень вѣры не былъ изсушенъ философіею, для того чтобъ дать питаніе этому корню, обращались къ мнимо-религіознымъ явленіямъ, которыя прямо переносили въ браминскую Индію и не имѣли ничего общаго съ христіанствомъ. Въ великую пятницу 1759 года публика сходилась смотрѣть, какъ распинали сестру Франциску, начальницу конвульзіонерокъ, какъ желѣзными гвоздями прибивали ко кресту ея руки и ноги, какъ пронзали копьемъ лѣвый бокъ... Какъ обыкновенно бываетъ, зрители раздѣлялись во мнѣніяхъ: одни вполне вѣрили въ дѣйствительность явленія; другіе утверждали, что это ловкое фокусничество; третьи говорили, что хотя тутъ и есть обманъ, но есть и явленія необъяснимыя. Во всякомъ случаѣ представленія конвульзіонерокъ служили новымъ предлогомъ къ нападкамъ на христіанство.

Съ другой стороны, народъ былъ свидѣтелемъ страшныхъ зрѣлищъ: во Франціи, считавшейся центромъ европейской цивилизаціи, преступника разрывали шестью лошадьми. Исполнители приговора заботились объ одномъ, чтобъ какъ-нибудь не сократить мученій; отецъ, жена, дѣти преступника изгонялись изъ отечества. Легко понять, какую силу получили голоса,



возстававшіе противъ такихъ ужасовъ, требовавшіе уничтоженія всѣхъ этихъ обычаевъ добраго стараго времени; легко понять, какъ эти голоса являлись благовѣстіемъ будущаго золотого вѣка.

Страна изнемогала подъ тяжестью налоговъ; а между тѣмъ у Людовика XV шелъ однажды такой разговоръ съ министромъ герцогомъ Шуазелемъ. Король: „Какъ вы думаете, сколько стоитъ моя карета?“ Шуазель: Я бы заплатилъ за нее 5 или 6000 франковъ; но такъ какъ ваше величество платите по королевски, то она можетъ стоитъ и 8000. — Король: Вы жестоко ошиблись: карета стоитъ мнѣ 30.000 франковъ. — Шуазель: Такія возмутительныя злоупотребленія невыносимы, необходимо положить имъ предѣлъ, и я вызываюсь на это, если вашему величеству угодно будетъ поддержать меня. — Король: Любезный другъ! воровство въ моемъ домѣ громадное, но нѣтъ никакой возможности прекратить его: слишкомъ много людей, и главное слишкомъ много людей сильныхъ здѣсь заинтересовано; всѣ мои министры мечтали привести въ порядокъ расходы двора, но, испуганные препятствіями при исполненіи, бросали дѣло. Кардиналъ Флери былъ очень силенъ, былъ полновластнымъ хозяиномъ Франціи, и умеръ, не успѣвши привести въ исполненіе ни одной изъ идей, какія имѣлъ относительно этого предмета. И потому успокойтесь и не трогайте порока неизлѣчимаго“. Легко понять, какъ подобныя явленія усиливали отрицательное направленіе въ обществѣ и литературѣ, съ какимъ нетерпѣніемъ ждали царства разума. Но среди побѣдныхъ кликовъ въ честь разума, имѣющаго избавить отъ всѣхъ золъ, наслѣдникъ Людовика XV, заплатившій преждевременною смертію за тяжкую жизнь, проведенную въ мысляхъ о будущемъ, писалъ: „новая философія, оправдывая своеволие народовъ, даетъ въ то же время государямъ право торжествовать, если они захотятъ ею руководствоваться. ибо если интересъ настоящей минуты и личный интересъ считаются единственнымъ правиломъ всѣхъ нашихъ дѣйствій. государь будетъ имѣть не меньшее искушеніе употреблять во зло свою власть, какъ и народы свергнуть его авторитета. Что страсти только внушаютъ, тому наши философы учатъ. Если законъ интереса будетъ принятъ и заставить забыть законъ Божій, тогда всѣ идеи справедливаго и несправедливаго, добродѣтели и порока, нравственнаго добра и зла унич-

тожатся, троны поколеблются, подданные станут непослушны и мятежны, государи немилостивы и нечеловѣколюбивы. Народы будутъ всегда или въ возмущеніи или подъ гнетомъ<sup>4</sup>. Французскіе историки, указывая, на свои революціи и царствованіе Наполеоновъ, говорятъ, что дофинъ былъ пророкомъ.

*Соловьевъ.*

## **Вольномысленное просвѣщеніе и салоны во Франціи.**

Примыкая къ образцу англійской, вольнодумно-просвѣтительная литература во Франціи, полная отваги и надеждъ, хочетъ отворить людскому роду двери лучшей будущности. Стремленіе искусства творить изъ-за красоты отступаетъ передъ воинственнымъ пыломъ ума и сердца биться противъ предразсудковъ, снять съ плечъ народа тяжкій гнетъ, найти для государства и религіи новыя, спасительныя основы въ естественномъ правѣ и въ разумѣ. Мысль становится во главѣ современнаго движенія; переворотъ въ литературѣ, въ воззрѣніяхъ людей, предшествуетъ политической революціи и прямо ее подготавливаетъ. Что она придетъ, это предвидятъ всѣ писатели; но еще не разочаровавшись ужасами подобнаго переворота и недочетами затѣваемаго ими новаго зданія, работаютъ они съ полною вѣрою въ быстрое и прочное торжество челоуѣчности. Они сильнѣе въ отрицаніи, чѣмъ въ положительномъ утвержденіи, часто вмѣстѣ съ шелухой откидываютъ они и зерно, вмѣстѣ съ выродившимся или поддѣльнымъ и самое существо дѣла. Плохо дался имъ историческій смыслъ, мало вникли они въ потребности сердца и въ могучую силу души; такъ какъ главная способность у нихъ рассудокъ, то они готовы предполагать расчетъ и ухищреніе вездѣ, или недостатокъ разума между прочимъ и тамъ, гдѣ властвовалъ инстинктивный побудъ челоуѣчества и гдѣ идеальное содержаніе предчувственно вырабатывалось воображеніемъ народа. Они легкомысленны въ двоякомъ смыслѣ слова. Выросши въ такую пору, когда расшатался всякій общественный урядъ, а Кантъ, среди распаденія внѣшнихъ авторитетовъ, не провозгласилъ еще ученія о безусловной обязанности, о категорическомъ императивѣ долга, большая часть изъ нихъ платитъ дань безнравственности и ставитъ себя выше строгаго закона; вопросы самыя глубокіе и трудныя, требующія основательнѣй-



шаго научнаго изслѣдованія для того, чтобы ихъ напередъ уяснить, они рѣшаютъ смѣло однимъ бойкимъ словомъ, блистательной остротой или внезапною геніальною затѣей. Они смѣются и мутятъ, не щадя при этомъ и священнаго, если оно предстанетъ имъ въ злоупотребленіи или въ превратномъ видѣ. Но тайна силы ихъ лежитъ въ томъ энтузіазмѣ, какимъ пламенѣютъ они къ благу человѣчества, и который, даже въ легкомысленныхъ или ошибочныхъ и непомѣрныхъ стремленіяхъ этихъ людей, является одушевляющимъ и управомочивающимъ ихъ внутреннимъ побудомъ. Превосходно выразился объ нихъ уже Гегель: „съ одной стороны лицемеріе, ханжество и тиравія, видя, что добыча отнята у нихъ навѣкъ, — съ другой слабоуміе (совсѣмъ ужъ ничего не видя) могутъ теперь толковать, что французскіе эти писатели нападали на религію, на государство и на нравы. Но какая это религія! не та, которую очистилъ Лютеръ, а постыднѣйшее суевѣріе, поповство, глупость, низость чувствъ, въ особенности раздольный кутежъ временными благами въ виду крайней общей нищеты. Какое это государство! Слѣпой произволъ министровъ; такъ что цѣлое полчище мелкихъ тирановъ и шелопаевъ считало какимъ-то божественныхъ правомъ грабежъ государственныхъ доходовъ и потового народнаго труда. Безстыдство и несправедливость доходили до невѣроятнаго, а нравы отвѣчали гнусному состоянію учреждений. Мы видимъ полную безправность единичныхъ лицъ и въ судебномъ и въ политическомъ отношеніи, полную безправность въ отношеніи къ совѣсти и мысли. Съ геніальнымъ, пламеннымъ, мужественнымъ талантомъ геройски отвоевали эти писатели великое человѣческое право личнаго изслѣдованія и убѣжденія“.

Они были заступниками, словомолвцами всеобщаго образованія, они создали общественное мнѣніе и вполнѣ имъ управляли. Отсутствіе глубины именно и дѣлало ихъ понятными для средняго сословія, а ихъ занимательный остроумный тонъ привлекалъ къ нимъ также людей изъ высшей знати. Вольтеръ и Руссо были оба деисты, одинъ деистъ здраваго разсудка, другой — сердца; Дидро держался натуралистическаго пантеизма. Гольбахъ былъ матеріалистъ и атеистъ: такимъ образомъ нашли себѣ здѣсь представителей различныя воззрѣнія, и, благодаря своей жилкѣ неудержнаго вольномыслія, Вольтеръ сдѣлался кумиромъ великосвѣтскихъ людей, тогда какъ

Руссо пробуждалъ благородныя чувства въ массѣ народа, ставилъ естественность и свободу лозунгомъ человѣчества. Такъ большая часть дворянства и многія тысячи аббатовъ (этихъ духовно-мірскихъ лицъ) незамѣтно перешли къ новому направленію; лучшіе изъ нихъ радовались успѣхамъ самостоятельной мысли, а дрянъ, позатвердивъ кой-какія ходячія шуточки, старалась отбоярится ими отъ нравственнаго закона; привилегированные классы взглянули и на свободу ума, какъ на своего рода привилегію, и не замѣчали, какъ приносимое образованіемъ равенство, вскорѣ должно было преобразовать и государственную жизнь. Напрасно деспотизмъ сыпалъ на писателей приказами сажать провинившихся въ тюрьму, напрасно цензура вычеркивала изъ книгъ все предосудительное, опасное; чего нельзя было напечатать въ Парижѣ, то появлялось въ Голландіи, или на заглавномъ листѣ только для вида показывалось чужеземное мѣсто печати; сочинители выпускали свои труды безъ имени и отпирались передъ судомъ отъ того самаго авторства, которымъ хвастали въ гостиныхъ. Шла непрерывная война хитрости противъ силы, и сами государственные сановники не могли уклониться отъ новаго направленія, которое какъ пропитанный заразительными веществами воздухъ, охватывало вѣдь и ихъ. Начальникъ книгопечатнаго управленія, Мальзербъ, сказалъ самъ въ рѣчи, произнесенной при вступленіи въ академію: „литература и философія теперь опять завоевали себѣ ту свободу, какою онѣ пользовались въ Греціи; онѣ даютъ законодателей народамъ; всѣми умами овладѣло благородное одушевленіе; пришло такое время, когда всякій, способный мыслитель и писатель, чувствуетъ себя обязаннымъ направлять свои мысли къ общему благу“.

Чѣмъ менѣе дворъ заботился о литературѣ, тѣмъ независимѣе отъ него становился образованный свѣтъ. Парижъ сдѣлался очагомъ оппозиціи, и остроумныя дамы, отличавшіяся кто богатствомъ, кто любезностью, собирали вокругъ себя такихъ мужчинъ, которые могли быть первыми говорунами въ ихъ обществѣ.

Парижскіе салоны имѣютъ свое значеніе для исторіи культуры. Ихъ называли *bureaux d'esprit*, „умственныхъ дѣлъ приказами“, они задавали тонъ Парижу, а черезъ Парижъ и всей Европѣ вообще. Государи, вельможи другихъ странъ, пріѣзжая во Францію, смотрѣли на эти салоны, какъ на выс-



шую школу вкуса и образованія, и старались туда проникнуть; дворы петербургскій и варшавскій, крупныя и мелкія столицы Германіи держали тамъ своихъ корреспондентовъ, которые извѣщали ихъ о томъ, что происходитъ въ парижскихъ салонахъ, что принято ими съ одобреніемъ и что нѣтъ; благодаря этому, переписка Гримма, сына одного нѣмецкаго пастора, сдѣлалась источникомъ свѣдѣній для знакомства съ 18-мъ столѣтіемъ. Это въ своемъ родѣ бойкій фельетонъ. Счастливые словцо, блестящая острота разносились по всему свѣту. Самымъ извѣстнымъ былъ въ началѣ домъ г-жи де-Тансенъ (de Tencin), матери Д'Аламбера, котораго она однажды подкинула, такъ что жена одного стекольщика приняла его на воспитаніе. Г-жа де-Тансенъ бѣжала изъ монастыря еще молодой дѣвушкой и успѣла обогатиться во время финансовыхъ спекуляцій Ло. Монтескье и Болинброкъ были блестящими свѣтилами собраній у этой дамы. По смерти ея г-жа Жофренъ взяла къ себѣ на руки „ея звѣринецъ“. Кто изъ образованныхъ и знатныхъ посѣщалъ Парижъ, тотъ непременно ужъ бывалъ и здѣсь. Утонченная вѣжливость была высшею ея наукой, и доступъ къ маленькимъ ея ужинамъ считали за рѣдкостное счастье, за приманчивую цѣль честолюбія, сами государи и знаменитые писатели. Соперничать съ нею старалась г-жа дю-Деффанъ (du Deffand); привлекая больше своимъ остроуміемъ, нежели молодостью и красотою, она взяла на житье къ себѣ очаровательную Л'Эспинасъ; но эта вскорѣ эманципировалась, тѣсно сблизилась съ Д'Аламберомъ и принимала у себя друзей его отъ 5-ти до 9-ти часовъ. Баронъ Гольбахъ слылъ тутъ метрдотелемъ философіи. По воскресеньямъ и четвергамъ былъ готовъ обѣдъ челоувѣкъ на 10, на 20; за превосходнѣйшими винами гости распускались въ остроумныхъ разговорахъ, иногда же просто читали цѣлыя лекціи или затѣвали формальные словопренія. Здѣсь-то англичанинъ Юмъ заявилъ однажды сомнѣніе, есть ли на свѣтѣ атеисты въ самомъ дѣлѣ, а хозяинъ Д'Аламберъ пустился увѣрять, что съ семнадцатью отъявленными атеистами онъ сидитъ именно теперь за этимъ столомъ. У Гельвеціуса былъ пріемъ по вторникамъ. Такъ блистательнѣйшіе умы Франціи чередовались между собою въ разныхъ кружкахъ, гдѣ послѣ урочной работы они оказывали еще вліяніе и среди общественныхъ удовольствій. Вольнодумство стало рѣшительно модою: дворяне говорили въ пользу

человѣческихъ правъ, духовныя лица подтрунивали надъ христіанствомъ. При крайнемъ возбужденіи, тутъ мало сосредоточивались и углублялись; всего касались поверхностно, и ничего не исчерпывали до конца. Прекрасно замѣчаетъ уже Геттнеръ: „Словоохотливость и непринужденность рѣчи порхають съ шаловливою рѣзвостью надъ самымъ многотруднымъ и святымъ; бесѣдующіе стремятся перещеголять одинъ другого бойкостью выходокъ и дерзкой смѣлостью своихъ мыслей. Тотъ сверкающій попрыгунъ-чортикъ, который у французовъ слыветъ умомъ, здѣсь полный властелинъ и хозяинъ. Все тутъ мигомъ оттачивается въ остроту. Важнѣйшіе вопросы порѣшаются однимъ блестящимъ словомъ“. Если французская литература вольномысленнаго просвѣщенія блистательнѣй, но зато и легковѣснѣ англійской и потомъ нѣмецкой, — это отчасти зависѣло отъ того, что въ Парижѣ тонъ давался салономъ, въ Лондонѣ — парламентомъ, въ Германіи — церковною и университетскою кафедрою.

*Каррьеръ.*

## Французскіе философы и Екатерина II.

Отъ Петра Великаго до Елизаветы, на первыхъ порахъ своего знакомства съ Западною Европою, собственно въ школьное время русскіе учились тамъ въ разныхъ мѣстахъ, перенимали то или другое нужное знаніе, какъ дѣти по заданному уроку, иногда, часто поневолѣ. Со временъ Елизаветы отношенія русскихъ людей къ Западной Европѣ стали болѣе сочувственны, болѣе пристрастны, въ то же время отношенія къ просвѣщенію вообще стали болѣе свободны и самостоятельны; русскіе люди съ жадностью бросаются не на то или другое знаніе, сщеціально имъ нужное, не на европейскую литературу, которая представлялась тогда французскою литературою, упиваются новымъ, широкимъ міромъ идей, легкостью французской мысли, съ какою она перелетала отъ одного предмета на другой, вскрывала новыя отношенія между ними; восхищаются ея остротою, съ какою она подтачивала такъ называемые предрасудки; русскіе люди читали, переводили, создавали свою литературу, которая не могла не находиться подъ сильнымъ вліяніемъ образцовой литературы французской. Страсть къ чтенію, которая овладѣла въ это время русскими



людьми, видна изъ всѣхъ мемуаровъ времени. Чтеніе это, какъ обыкновенно бываетъ, производило различное впечатлѣніе на читающихъ. Въ однихъ вліяніе прочитаннаго не было сильно; знакомство съ литературою служило имъ для внѣшнихъ только цѣлей, для наведенія лоска; обычное въ переходныя времена двувѣріе, поклоненіе новымъ богамъ безъ покинутія старыхъ видимъ и здѣсь; въ другихъ отрицательное направленіе модной французской литературы поколебало религіозныя и нравственныя убѣжденія; въ третьихъ, произошла борьба, окончившаяся рано или поздно торжествомъ религіозныхъ убѣждений; четвертые съ наслажденіемъ читали блестящія остроуміемъ произведенія отрицательной литературы, не слѣпо имъ вѣрили, но находили много правды и успокоивались тѣмъ, что отрицалось не свое, а чужое, нападки сыпались на католицизмъ, католическое духовенство. Наконецъ, какъ обыкновенно бываетъ при господствѣ извѣстнаго направленія, переходящемъ большею частью въ деспотизмъ и употребляющемъ своего рода терроръ, мало находится людей, которые бы прямо высказали свои убѣжденія, свое неодобреніе господствующему направленію, неодобреніе тому или другому его представителю: такъ и въ Россіи въ описываемое время люди и не сочувствующіе, напримѣръ, Гельвецію, съ уваженіемъ отзывались о его книгѣ; не хотѣлось явиться обскурантомъ, казалось, что давши неодобрительный отзывъ о знаменитой книгѣ, тѣмъ самымъ дѣлають выходку вообще противъ просвѣщенія.

При Елизаветѣ между даровитыми и чуткими къ общественнымъ явленіямъ людьми, которые упивались чтеніемъ произведеній французской литературы, находилась и великая княгиня Екатерина. Сильный умъ молодой женщины высказался здѣсь въ томъ, что она отдала свое предпочтеніе Монтескьё, вполне того заслуживавшему. Но слишкомъ ученый, серьезный и охранительный Монтескьё сіялъ вдали спокойнымъ свѣтомъ; болѣе близкія, доступныя свѣтила блистали ярче, производили большее впечатлѣніе, раздраженіе, и между ними царилъ Вольтеръ. Съ этимъ новымъ могуществомъ считали нужнымъ завести сношеніе и представители старыхъ государствъ, но которые хотѣли прославиться новою дѣятельностью, сообразною съ провозглашенными потребностями времени. Еще въ началѣ царствованія Елизаветы, въ 1745 году Вольтеръ, жадный къ извѣстности, почестямъ и отличіямъ

всякаго рода, чрезъ извѣстнаго французскаго министра въ Петербургѣ, Дальона, началъ добиваться, чтобъ Петербургская академія наукъ избрала его въ свои почетные члены. Дальонъ хлопоталъ въ академіи, хлопоталъ у канцлера Бестужева, и Вольтеръ былъ избранъ. Но въ то же время Вольтеръ предложилъ русскому правительству написать исторію Петра Великаго, прося сообщенія источниковъ. Побужденія понятны: при своей впечатлительности Вольтеръ не могъ не быть пораженъ величіемъ преобразователя Россіи и, главное, его просвѣтительною дѣятельностью. Въ памяти Вольтера и его современниковъ запечатлѣлись три царственныхъ образа, стоявшіе на первомъ планѣ въ первой четверти столѣтія, и подобныхъ которымъ послѣдующее время не представляло: Людовикъ XIV, Карлъ XII, Петръ Великій, и Вольтеръ хотѣлъ быть историкомъ всѣхъ троихъ, что ему и удалось исполнить. Но начало царствованія Елизаветы было неблагопріятно для его попытки получить согласіе и помощь русскаго правительства: литературное движеніе, знакомство съ французскою литературою только еще начинались; канцлеръ Бестужевъ принадлежалъ къ поколѣнію, которое не могло быть подъ обаяніемъ Вольтера, а вражда къ Франціи не могла расположить его въ пользу французскаго писателя, за котораго хлопоталъ Дальонъ. Бестужевъ отозвался, что написаніе исторіи Петра Великаго лучше поручить петербургской академіи наукъ, чѣмъ иностранцу. Обратились къ президенту академіи наукъ; Вольтеръ изъявилъ желаніе самъ пріѣхать въ Петербургъ; но Разумовскій отклонилъ и то и другое.

Вольтеръ не долго дожидался. Вліяніе литературы, во главѣ которой стоялъ онъ, усиливалось все болѣе и болѣе въ Россіи, и одинъ изъ самыхъ горячихъ приверженцевъ литературнаго движенія сталъ самымъ вліятельнымъ лицомъ при дворѣ Елизаветы: то былъ Ив. Ив. Шуваловъ. При его посредствѣ дѣло скоро уладилось (1757). Вольтеръ сталъ писать Исторію Петра Великаго; изъ Россіи обязались доставлять ему матеріалы...

Въ 1759 году вышла первая часть Исторіи Петра Великаго. Въ Петербургѣ она не удовлетворила ожиданія, потому что эти ожиданія были очень велики. Упрекали автора въ краткости изложенія, указывая на количество извѣстій, ему пересланныхъ; упрекали за то, что онъ не воспользовался многими



изъ этихъ извѣстій, и вмѣсто того внесъ свои мнѣнія и сужденія. Но Мюллеръ справедливо замѣтилъ, что несообразно было съ геніемъ Вольтера писать громадныя фоліанты. Вольтеръ сдѣлалъ все, что могъ и, несмотря на всѣ недостатки, ошибки и промахи, книга его въ свое время была вовсе нелишняя не только на Западѣ, но и въ Россіи, и стоила тѣхъ шубъ, которыя были отправлены за то автору. Фридрихъ II былъ страшно раздраженъ тѣмъ, что первый писатель времени посвятилъ свой талантъ прославленію великаго русскаго царя; раздраженіе понятное; Фридрихъ сладилъ бы и съ австрійцами и съ французами, но Россія приводила его на край гибели, и средства ей для этого даны были Петромъ. „Скажите мнѣ, пожалуйста“, писалъ онъ Вольтеру, „съ чего это вы вздумали писать исторію волковъ и медвѣдей сибирскихъ? И что вы еще можете рассказать о царѣ, чего нѣтъ въ жизни Карла XII? Я не буду читать исторію этихъ варваровъ; мнѣ бы даже хотѣлось вовсе не знать, что они живутъ на нашемъ полушаріи“. Вольтеръ по поводу этого наивнаго письма писалъ Д'Аламберу: „Люкъ (Luc, — такъ Вольтеръ звалъ Фридриха II въ насмѣшку) мнѣ пишетъ, что онъ немножко скандализованъ, что я, по его выраженію, пишу исторію волковъ и медвѣдей: впрочемъ, они вели себя въ Берлинѣ медвѣдями очень благовоспитанными“. Но Вольтеръ не обращалъ большаго вниманія на выходки Фридриха и былъ очень доволенъ, что заслужилъ благосклонность русской государыни. Нѣтъ сомнѣнія, что у него при этомъ были особыя виды: при союзѣ Россіи съ Франціей, Елизавета могла упросить Людовика XV снять опалу съ Вольтера, позволить ему возвратиться въ Парижъ, по которомъ Вольтеръ не переставалъ тосковать. Вотъ почему смерть Елизаветы сильно его огорчила: „моя императрица русская умерла, писалъ онъ племянницѣ (Флоріанѣ), и по странности моей звѣзды выходятъ, что я потерпѣлъ чрезвычайно большую потерю“.

Черезъ полгода въ Петербургѣ опять переменна. Екатерина давно уже сознавала важное значеніе, пріобрѣтенное литературою, то руководительное значеніе, какое получили литературные вожди и патріархъ ихъ Вольтеръ. Теперь она вступила на престолъ при такихъ обстоятельствахъ, которыя заставляли ее внутри и вѣнискать союзниковъ, приверженцевъ, оправдателей, хвалителей. Понятно, что обращаясь на Западъ,

желая тамъ внушить уваженіе къ себѣ, довѣріе къ своей силѣ и прочности своего престола, она не могла не остановиться на Вольтерѣ; понятно ея раздраженіе, когда ей шепнули, что Ив. Ив. Шуваловъ, находившійся въ перепискѣ съ Вольтеромъ, внушаетъ царю философовъ невыгодное о ней представленіе. Какъ только Бретейль возвратился въ Петербургъ, императрица велѣла спросить его, знакомъ ли онъ съ Вольтеромъ, и не можетъ ли внушить ему болѣе правильныя представленія о роли, которую играла кн. Дашкова въ событіяхъ 28-го іюня. А между тѣмъ изъ петербургскаго дворца уже шли къ Вольтеру письма съ оправданіями этихъ событій: ихъ писалъ его знакомый, женевецъ Пиктэ, принятый Екатериною для иностранной переписки. Вольтеръ, не имѣвшій ни малѣйшихъ побужденій жалѣть о Петрѣ III-мъ, въ письмахъ къ Шувалову выражалъ свое удовольствіе относительно переменъ 28 іюня, называя Екатерину Семирамидою. Сначала Екатерина и Вольтеръ обмѣнивались комплиментами въ письмахъ Пиктэ, а потомъ, неизвѣстно съ точностью когда, начинается между ними и непосредственная переписка. По крайней мѣрѣ, въ іюлѣ 1763 г., въ письмѣ къ одному пріятелю, Вольтеръ обнаруживаетъ сильное сочувствіе къ императрицѣ и заботу о ея участи: „Неужели правда, что огонь тлѣетъ подъ пепломъ въ Россіи, что существуетъ большая партія въ пользу императора Ивана? что моя дорогая императрица будетъ низвергнута и у насъ будетъ новый предметъ для трагедіи?“ Опасенія скоро разсѣялись, и Екатерина пріобрѣла въ патріархѣ философовъ самого ревностнаго приверженца, готоваго защищать ее противъ всѣхъ, противъ турокъ и поляковъ, готоваго указывать ей самыя блестящія цѣли: едва ли Вольтеръ не первый сталъ толковать о томъ, что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и возсоздать отечество Софокла и Алкивиада, такъ что Екатерина должна была сдерживать его слишкомъ разыгравшуюся фантазію.

Но кромѣ желанія пріобрѣсти такихъ сильныхъ союзниковъ, кромѣ желанія пріобрѣсти высокое мѣсто покровительницы европейскаго просвѣщенія, кромѣ этихъ собственно *политическихъ* цѣлей, у Екатерины были и другія побужденія, заставлявшія ее сближаться съ самыми видными изъ философовъ. Она была дочь своего вѣка; чуткая въ сильной степени къ высшимъ интересамъ человѣка, она страстно слѣдила за ум-



ственнымъ движеніемъ столѣтія и, не сочувствуя здѣсь всему, преклонялась однако вообще предъ движеніемъ, и, ставши самовластно государынею, хотѣла примѣнить его результаты къ устройству народной жизни. Въ одномъ изъ первыхъ писемъ къ Вольтеру Екатерина писала: „Правда, что мы много не понимаемъ изъ того, что къ намъ приходитъ съ юга. Мы изумляемся, читая произведенія, дѣлающія честь роду человѣческому и видя, съ другой стороны, какъ мало пользуются ими. Мой девизъ — пчела, которая летая съ растенія на растеніе, собираетъ медъ для своего улья, и надпись: *полезное*. У васъ низшіе научаютъ, и легко высшимъ пользоваться этимъ наставленіемъ; у насъ наоборотъ“. Въ другомъ письмѣ читаемъ: „я должна отдать справедливость своему народу: эта превосходная почва, на которой хорошее сѣмя быстро возрастаетъ; но намъ также нужны аксіомы, неоспоримо признанныя за истинныя; благодаря этимъ аксіомамъ, правила, долженствующія служить основаніемъ новымъ законамъ, получили одобреніе тѣхъ, для кого они были составлены. Я думаю, вамъ бы понравилось сидѣть за столомъ, гдѣ сидятъ вмѣстѣ православный, еретикъ и мусульманинъ, спокойно слушаютъ голосъ идолопоклонника и всѣ четверо совѣщаются о томъ, чтобъ ихъ мнѣніе могло быть принято всѣми. Они такъ хорошо забыли обычай поджаривать другъ друга, что если бы кто-нибудь предложилъ депутату сжечь своего сосѣда въ угоду Высшему Существо, то отвѣчаю, что не было бы ни одного, который бы не отвѣтилъ: онъ человѣкъ, какъ и я, а по первому параграфу инструкціи ея императорскаго величества мы должны дѣлать другъ другу какъ можно больше добра и никакого зла. Увѣряю васъ, что дѣла идутъ буквально такъ, какъ я вамъ говорю: если бы понадобилось подтвержденіе, у меня бы нашлось 640 подписей съ подписью епископа впереди. На югѣ быть можетъ скажутъ: какія времена, какіе нравы! но сѣверъ поступитъ какъ луна, которая идетъ своей дорогой“. Вольтеръ въ своемъ письмѣ выражалъ удивленіе предъ государынею, которая умѣла сдѣлать духовенство полезнымъ и послушнымъ.

Еще прежде, чѣмъ началась переписка съ Вольтеромъ, Екатерина обратилась къ Д'Аламберу съ приглашеніемъ пріѣхать въ Россію для содѣйствія воспитанію наследника престола, цесаревича Павла Петровича. Д'Аламберъ отказался; Екате-

рина продолжала настаивать; она писала ему: „Я понимаю, что вамъ, какъ философу, не стоитъ ничего презрѣть величіе и почести міра сего; вы рождены или призваны содѣйствовать счастью и даже просвѣщенію цѣлаго народа, и отказаться отъ этого, по моему мнѣнію, значитъ отказаться дѣлать добро, которому вы такъ преданы; ваша философія основана на человѣколюбіи, такъ позвольте же мнѣ вамъ сказать, что не отдать себя ему въ служеніе, когда это возможно, значитъ уклониться отъ своей цѣли. Я знаю вашу высокую честность, и потому не могу приписать вашего отказа тщеславію: я знаю, что причина заключается въ любви къ спокойствію, въ желаніи посвятить все свое время литературѣ и дружбѣ; но что же мѣшаетъ? Пріѣзжайте со всѣми вашими друзьями, я общаю вамъ и имъ всѣ удовольствія и удобства, отъ меня зависящія, и быть можетъ вы найдете здѣсь больше свободы и спокойствія, чѣмъ у васъ“. Но Д’Аламберъ рѣшительно отказался. „Если бы дѣло шло о томъ только, чтобъ сдѣлать изъ велякаго князя хорошаго геометра, писаль онъ, порядочнаго литератора, быть можетъ посредственнаго философа, то я бы не отчаялся въ этомъ успѣть; но дѣло идетъ вовсе не о геометрѣ, литераторѣ, философѣ, а о великомъ государѣ, а такого лучше васъ, государыня, никто не можетъ воспитать“. Нѣтъ сомнѣнія, что одна изъ главныхъ причинъ отказа заключалась въ томъ, что не было увѣренности въ прочности положенія Екатерины.

Отказъ не повелъ къ ссорѣ; переписка продолжалась; Д’Аламберъ жаловался на гоненія, жаловался, что за сочиненіе его объ „Уничтоженіи іезуитовъ“, сочиненіе одинаково полезное религіи и государству, у него отняли пенсію, которая слѣдовала ему отъ академіи наукъ; при этомъ, писалъ Д’Аламберъ, утѣшеніемъ служило ему то, что король не зналъ объ этой несправедливости. Екатерина отвѣчала: „У васъ во Франціи должно быть большое количество великихъ людей, если ваше правительство не считаетъ себя обязаннымъ покровительствовать тѣмъ, которыхъ генію удивляются въ странахъ самыхъ отдаленныхъ. Вы находите для себя утѣшеніе въ томъ, что король французскій не знаетъ объ оказанной вамъ несправедливости: я нахожу, что это вовсе неутѣшительно для него; вѣроятно, окружающія его по деликатности не даютъ ему знать объ этомъ. На сѣверѣ (безъ сомнѣнія климатъ тому при-



чною, здѣсь чувства не такъ утонченны), на сѣверѣ государямъ не позволяютъ не знать объ отличныхъ умахъ, имѣющихъ право на ихъ милости. Они обязаны поощрять таланты, иначе заподозрять, что у нихъ самихъ нѣтъ талантовъ.

Не забытъ былъ третій знаменитый философъ, имя котораго неразлучно съ именемъ Вольтера и Д'Аламбера, Дидро. Екатерина купила у Дидро его библіотеку за 15.000 ливровъ, оставила ее у него въ пожизненное пользованіе и назначила ему еще 1.000 франковъ, какъ хранителю ея книгъ. Вольтеръ писалъ въ восторгѣ: „Кто бы могъ вообразить, 50 лѣтъ тому назадъ, что придетъ время, когда скпны будутъ такъ благородно вознаграждать въ Парижѣ добродѣтель, знаніе, философію, съ которыми такъ недостойно поступаютъ у насъ“. — „Вся литературная Европа рукоплещетъ отличному знаку уваженія и милости, какой ваше императорское величество оказали Дидро; онъ достоинъ его во всѣхъ отношеніяхъ по своимъ добродѣтелямъ, талантамъ, сочиненіямъ и положенію“, писалъ Д'Аламберъ императрицѣ. Екатерина отвѣчала: „Я не предвидѣла, что покупкою библіотеки Дидро пріобрѣту себѣ столько похвалъ. Было бы жестоко разлучить ученаго съ его книгами; мнѣ часто случалось бояться, чтобъ меня не разлучили съ моими книгами, поэтому встарину было у меня правило никогда не говорить о моихъ чтеніяхъ. Мой собственный опытъ запретилъ мнѣ доставлять это огорченіе другому“. Мы не знаемъ, насколько справедливо, что Екатерина, будучи великою княгинею, могла опасаться, что ее разлучатъ съ книгами; по крайней мѣрѣ, она не говоритъ объ этомъ въ своихъ мемуарахъ.

Новая литературная сила была привлечена; но одновременно съ этою силою въ Парижѣ явилась другая сила. Литераторы имѣли нужду собираться вмѣстѣ; кромѣ того явилась надобность въ посредствующихъ мѣстахъ, гдѣ бы литераторы могли сходиться съ представителями старой силы, представителями знати, высшаго общества. Человѣкъ, могшій, умѣвшій собирать въ своей гостиной отборное по уму, талантамъ и положенію общество, естественно получалъ большую силу, важное значеніе, и нѣтъ ничего удивительнаго, что это значеніе было пріобрѣтено тремя женщинами, записавшими свои имена въ исторіи умственного движенія XVIII столѣтія; эти имена: дю-Дефанъ, Л'Еспинасъ и Жофренъ. Преимущественно послѣдняя обладала въ высшей степени способностью „держатъ ли-

тературную гостиную. Выдающийся талант, обширная ученость могли только мѣшать въ этомъ дѣлѣ, они давили бы общество, не давали ему простора, а между тѣмъ хозяйну литературной гостиной нельзя также исчезнуть нравственно; онъ долженъ держать связь, посредничать, онъ долженъ разгадать извѣстную трудную загадку — царствовать, а не управлять. Г-жа Жофренъ разгадала эту загадку. Она вовсе не была ученая женщина и имѣла тактъ нисколько не скрывать недостатковъ своего образованія, доходившихъ до незнанія орѳографіи; но своимъ здравымъ смысломъ и вмѣстѣ женскою мягкостью умѣла внушать своимъ даровитымъ и ученымъ посѣтителямъ чрезвычайное къ себѣ уваженіе и привязанность; между ними и ею устанавливались родственныя отношенія; она становилась матерью, готовая помочь каждому и словомъ и дѣломъ. а извѣстно, что дѣти съ большею охотою обращаются за помощью къ матерямъ, чѣмъ къ отцамъ. Благодаря этимъ качествамъ, г-жа Жофренъ стала знаменитою держательницей литературной гостиной, стала силой; ни одинъ значительный путешественникъ не оставлялъ Парижа, не добившись чести быть представленнымъ г-жѣ Жофренъ, вслѣдствіе чего извѣстность ея скоро перешла границы Франціи; съ одинакимъ уваженіемъ относились къ ней при вѣнскомъ и петербургскомъ дворахъ, и Екатерина сочла нужнымъ войти съ нею въ непосредственную переписку.

Мы знаемъ, въ какомъ непріятномъ положеніи находилась Екатерина лѣтомъ и осенью 1764 г. по поводу шлиссельбургскаго происшествія. Когда прошло первое безпокойство относительно важности и обширности заговора, являлся неотвязчивый и мучительный вопросъ: что скажутъ? особенно, что скажутъ на этомъ Западѣ, гдѣ о русскихъ дѣлахъ имѣютъ такъ мало понятія, не хотятъ и не могутъ выискать въ ихъ подробности, судятъ по первому впечатлѣнію и судятъ обыкновенно криво, зложелательно? Повѣрятъ ли, что Мировичъ дѣйствовалъ по собственному побужденію? Дѣйствительно, на Западѣ поспѣшили засудить безъ суда, и пошли недоброжелательные толки насчетъ участія Екатерины въ дѣлѣ. Вольтеръ и Д'Аламберъ толковали въ этомъ же смыслѣ: первый горячился, второй отзывался цинически. Но когда эти господа позволяли себѣ относиться къ дѣлу съ женскою легкостью и страстью къ сплетнѣ, Жофренъ отнеслась къ нему съ муж-



скою серьезностью и спокойствіемъ: она желала одного, чтобы дѣлу была дана полная гласность. Екатерина писала ей: „Мое дурное расположеніе духа прошло; извиняюсь, что писала вамъ въ эти мннуты, когда это гнусное дѣло такъ меня печалило и давило. Я исполнила ваши желанія, велѣла вести дѣло со всевозможною обстоятельностью, разборъ процесса былъ сдѣланъ публично, приговоръ произнесенъ открыто, въ которомъ я ничего не перемѣнила; все будетъ напечатано. Завистники мои воспользуются случаемъ, чтобъ позлословить; но я успокоиваюсь на искренности и правдивости моего поведения и презираю тѣхъ, которые ошибутся относительно моей души“. Но Жофренъ была недовольна тѣмъ, зачѣмъ Екатерина издала манифестъ съ изложеніемъ дѣла; она писала Станиславу Понятовскому: „оставляя въ сторонѣ факты, находятъ, что она (Екатерина) издала смѣшные манифесты, особенно манифестъ о смерти Ивана: она вовсе не была обязана что-нибудь говорить объ этомъ; процессъ Мировича былъ совершенно достаточенъ, въ немъ дѣло являлось просто и ясно. Думаю, что я ее хорошо знаю, и думаю, что она нуждается въ руководителѣ. Боюсь, чтобъ ея умъ и страсть къ остроумію не увлекли бы ее когда-нибудь“. Сама Екатерина сознавала въ себѣ эту страстность, заставлявшую ее принимать слишкомъ быстрыя рѣшенія; сама сознавала необходимость человека, который бы ее сдерживалъ.

Жофренъ написала самой Екатеринѣ свое мнѣніе о манифестѣ. Та разгорячилась и въ горячности написала неудачную защиту, не удержавшись и отъ нѣкоторыхъ рѣзкостей: „Вы рассуждаете о манифестѣ, какъ слѣпой о цвѣтахъ. Онъ былъ сочиненъ вовсе не для иностранныхъ державъ, а для того, чтобъ увѣдомить російскую имперію о смерти Ивана; надобно было сказать, какъ онъ умеръ, болѣе ста человекъ были свидѣтелями его смерти и покушенія измѣнника, не было поэтому возможности не написать обстоятельнаго извѣстія; не сдѣлать этого — значило подтвердить злонамѣренные слухи, распускаемые министрами дворовъ завистливыхъ и враждебныхъ ко мнѣ; шагъ былъ деликатный; я думала, что всего лучше сказать правду. У васъ болтаютъ о манифестѣ, но у васъ болтали и о Господѣ Богѣ, и здѣсь также болтаютъ иногда о французахъ. Вѣрно то, что здѣсь этотъ манифестъ и голова преступника прекратили всякую болтовню. Слѣдова-

тельно цѣль была достигнута манифестомъ, *ergo* онъ былъ хорошъ“.

Императрица описывала Жофренъ свой день, свои занятія: „Я встаю въ 6 часовъ постоянно, читаю и пишу одна до восьми“. Екатерина открыла Жофренъ, что она писала отъ 6 до 8 часовъ утра: эта была знаменитая законодательная работа, изданная потомъ подъ именемъ „Наказа комиссіи объ Уложеніи“. Постоянно работая головою, питая ее обильною пищею посредствомъ чтенія, Екатерина рано начала записывать свои мысли; но это записываніе не было безцѣльнымъ занятіемъ. „Я желаю только добра странѣ, куда Богъ меня привелъ“, писала Екатерина, будучи великою княгинею: „Богъ мнѣ въ этомъ свидѣтель. Слава страны составляетъ мою собственную. Вотъ мой принципъ; была бы я очень счастлива, если бѣ мои идеи могли этому способствовать“. Приведемъ нѣкоторыя изъ этихъ идей, которыя записала Екатерина: „Противно христіанской религіи и правосудію обращать въ рабство людей (которые всѣ рождаются свободными). Церковный соборъ освободилъ всѣхъ крестьянъ въ Германіи, Франціи, Испаніи и т. д. Такой переворотъ теперь въ Россіи не былъ бы средствомъ пріобрѣсти любовь землевладѣльцевъ, исполненныхъ упорства и предразсудковъ. Но вотъ легкій способъ: постановить, чтобъ впредь при продажѣ имѣнія крестьяне освобождались; въ теченіе ста лѣтъ всѣ или, по крайней мѣрѣ, большая часть земель мѣняетъ господъ — и вотъ народъ свободный. — Свобода — душа всѣхъ вещей! безъ тебя все мертво. Я хочу, чтобъ повиновались законамъ, а не рабовъ. Хочу общей цѣли — сдѣлать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости. Когда правда и разумъ на нашей сторонѣ, должно выставить ихъ предъ глаза народу, сказать: такая-то причина привела меня къ тому-то, разумъ долженъ говорить за необходимость. Будьте увѣрены, что онъ возьметъ верхъ въ глазахъ толпы: сдаются истинѣ, но рѣдко сдаются рѣчамъ тщеславнымъ. Миръ необходимъ этой обширной имперіи; мы нуждаемся въ населеніи, а не въ опустошеніяхъ; наполните жителями наши обширныя пустыни, если возможно. Вотъ правила для внутренней политики. Относительно внѣшней — миръ доставитъ намъ больше значенія, чѣмъ случайности войны, всегда разорительной. Власть безъ довѣрія народнаго ничего не значитъ для того, кто хочетъ быть любимымъ и слав-



нымъ; этого легко достигнуть: примите за правило вашихъ дѣйствій и уставовъ благо народное и правосудіе, неразлучныя другъ съ другомъ. Изданіе новаго закона есть дѣло, сопряженное со множествомъ неудобствъ, оно требуетъ самого напряженнаго размышленія и благоразумія; единственное средство узнать — хорошо или дурно ваше постановленіе — это распространить о немъ слухъ на рынкѣ и велѣть доносить вамъ, что объ немъ говорятъ; но кто вамъ донесетъ о послѣдствіяхъ въ будущемъ? — Больше всего остерегайтесь издать законъ и потомъ отмѣнить его; въ этомъ обнаружится ваше неблагоразуміе и слабость, и вы лишитесь довѣрія народнаго, если только это не будетъ законъ временный: въ такомъ случаѣ объявить сначала объ этомъ, обозначить причины и срокъ, по истеченіи котораго можно возобновить его или отмѣнить. Я желаю ввести, чтобъ изъ лести мнѣ говорили истину; даже придворный пойдетъ на это, когда увидитъ, что вы это любите и что это путь къ милости. Кто не уважаетъ заслугъ, самъ ихъ не имѣетъ; кто не старается отыскать заслуги и не открываетъ ее, тотъ недостоенъ и неспособенъ царствовать. Самый варварскій и достойный турокъ обычай — сначала наказать, а потомъ производить слѣдствіе. Если вы найдете человѣка виновнымъ, что вы будете дѣлать? онъ уже наказанъ. Будете ли вы имѣть жестокость наказать его два раза? А если онъ невиненъ, то чѣмъ вознаградите его за несправедливый арестъ, за безчестіе, лишеніе должности и проч.? Всего больше ненавижу я конфискацію имущества виновныхъ; ибо кто на землѣ можетъ отнять у дѣтей и всѣхъ нисходящихъ наслѣдство, которое они получаютъ отъ самого Бога; Не знаю, мнѣ кажется, всю мою жизнь я буду чувствовать отвращеніе къ чрезвычайнымъ суднымъ комиссіямъ, особенно секретнымъ. Зачѣмъ отнимать у обыкновенныхъ судовъ дѣла, подлежащія ихъ вѣдѣнію? Быть *стороною* и назначать еще судей — значитъ показывать, что боишься имѣть правосудіе и законы противъ себя. Пускай знатный человѣкъ судится сенатомъ, какъ въ Англіи; во Франціи перъ судится перами. Не будетъ больше опасности позволить нашимъ молодымъ людямъ заграничное путешествіе (часто боятся, чтобъ они не ушли совсѣмъ), когда сдѣлаютъ имъ отечество *любезнымъ*; я заключаю великій смыслъ въ этомъ словѣ. Государство не много потеряетъ, если лишится двухъ или трехъ пустыхъ головъ, и если отечество будетъ таково,

какимъ я желаю его видѣть, то мы будемъ имѣть больше *новобранцевъ*, чѣмъ *блудцовъ*; издалика приходили бы за нашими дѣвушками и приводили бы своихъ къ намъ; разъ дѣло пойдетъ такимъ образомъ, то просвѣщеніе распространится нѣсколькими поколѣніями ранѣе и тамъ, гдѣ его теперь нѣтъ. Снисхожденіе, примирительный духъ государя сдѣлають болѣе, чѣмъ милліоны законовъ, и политическая свобода дастъ душу всему. Часто лучше внушать преобразованія, чѣмъ вводить ихъ властью“. Изъ этихъ замѣтокъ видно, какъ мысль Екатерины давно уже работала надъ законодательными вопросами, подъ вліяніемъ прочитаннаго изъ западной современной литературы, и преимущественно подъ вліяніемъ книги Монтескьё. Въ письмахъ къ Д'Аламберу и г-жѣ Жофренъ видно, какъ Екатерина относится къ этой книгѣ. Обѣщая прислать свой Наказъ, Екатерина пишетъ Д'Аламберу: „Вы увидите, какъ для пользы своей имперіи я обобрада президента Монтескьё, не называя его; надѣюсь, что если съ того свѣта онъ видитъ мою работу, то проститъ этотъ литературный грабежъ для блага двадцати милліоновъ людей, какое изъ того должно послѣдовать. Онъ такъ любилъ человѣчество, что не будетъ формализировать, его книга — это мой молитвенникъ“. Упрекая Жофренъ въ странномъ мнѣніи, что въ Россіи дѣти наследуютъ отцамъ только съ соизволенія государя, Екатерина писала: „Правда, что до меня конфискація производилась слишкомъ легко, но я это уничтожила во многихъ случаяхъ, и законодательство въ этомъ отношеніи будетъ совершенно измѣнено. Имя президента Монтескьё, упомянутое въ вашемъ письмѣ, вырвало у меня вздохъ; если бъ онъ былъ живъ, я бы не пощадила... Но нѣтъ, онъ бы отказался какъ и... (Д'Аламберъ). Его Духъ Законовъ есть молитвенникъ государей, если только они имѣють здравый смыслъ“.

Въ одномъ изъ писемъ къ Жофренъ Екатерина говоритъ вообще о вліяніи новой философской литературы на сочиненіе Наказа; „Прошу васъ сказать Д'Аламберу, что я скоро пришлю ему тетрадь, изъ которой онъ увидитъ, къ чему могутъ служить сочиненія гениальныхъ людей, когда хотятъ дѣлать изъ нихъ употребленіе; надѣюсь, что онъ будетъ доволенъ этимъ трудомъ; хотя онъ и написанъ перомъ новичка, но я отвѣчаю за исполненіе на практикѣ“. Въ іюнѣ Екатерина писала той же Жофренъ: „64 страницы о законахъ готовы, осталь-



ное явится по возможности; я отошлю эту тетрадь г. Д'Аламберу; я все здѣсь сказала и послѣ этого не скажу ни слова всю жизнь; всѣ тѣ, которые видѣли мою работу, единодушно говорятъ, что это верхъ совершенства, но мнѣ кажется, что еще надобно почистить; я не хотѣла, чтобъ кто-нибудь мнѣ помогаль, боюсь, чтобъ помощники не нарушили единства". Сходно съ этимъ Екатерина говоритъ о Наказѣ въ своей запискѣ о томъ, въ какомъ состояніи она нашла Россію при своемъ воцареніи: „Всѣ требовали и желали, чтобъ законодательство было приведено въ лучшій порядокъ. Я начала читать, потомъ писать Наказъ комиссіи Уложенія. Два года я и читала и писала, не говоря о томъ полтора года ни слова, но слѣдуя единственно уму и сердцу своему съ ревностнѣйшимъ желаніемъ пользы, чести и счастья имперіи и чтобъ довести до высшей степени благополучія всякаго рода живущихъ въ ней, какъ всѣхъ вообще, такъ и cadaго особенно. Предуспѣвъ, по мнѣнію моему, довольно въ сей работѣ, я начала казать по частямъ статьи мною заготовленныя людямъ разнымъ, всякому по его способностямъ и, между прочими, князю Орлову и графу Никитѣ Панину. Сей послѣдній мнѣ сказалъ: „Ce sont des axiomes à renverser des murailles“ (это аксіомы, способныя разрушить стѣны). Князь Орловъ цѣны не ставилъ моей работѣ и требовалъ часто, чтобъ тому или другому оную показать. Но я болѣе одного листа или двухъ не показывала вдругъ“.

Соловьевъ.

## Мотивы сношеній Екатерины II съ французскими философами.

XVIII вѣкъ не безъ основанія называется по преимуществу вѣкомъ *философскимъ*, вѣкомъ *просвѣщенія* (Aufklärung), потому что ни въ какую другую эпоху идеи философовъ не пользовались въ массѣ такимъ широкимъ распространеніемъ и непосредственнымъ приложеніемъ къ жизни. Такъ называемыхъ *философовъ* въ XVIII столѣтіи было много, и идеи ихъ были разнообразныя. Но всѣ они сходились въ одномъ — въ отрицаніи положительной религіи, господствующей морали и существующаго политическаго и общественнаго устройства.

Положительная религія на взглядъ философовъ XVIII вѣка есть результатъ своекорыстія правительствъ, невѣжества массы

и обмановъ духовенства, и съ этой точки зрѣнія находить себѣ объясненіе. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, говорилъ Вольтеръ. Такъ какъ положительная религія держится на двухъ столбахъ — на признаніи бытія Бога-міроправителя и безсмертія души человѣческой, то слѣдовало отнять эти столбы или, говоря въ духѣ философовъ XVIII вѣка, уничтожить эти пугалы. Поэтому философы утверждали, что или существуетъ Богъ, не заботящійся о мірѣ, который пустилъ людей, какъ куколъ по столу, — такъ думали деисты и въ особенности Вольтеръ, возстававшій противъ оптимистовъ и указывавшій всюду въ мірѣ слѣды безпорядка, несовмѣстимые съ бытіемъ живаго Бога (см. Кандидъ, поэма на разрушеніе Лиссабона), — или что вовсе нѣтъ Бога, а есть только матерія, объемлющая собою все сущее, — такъ думали Кондильякъ, Гельвецій, авторъ *Système de la nature* и др. Что же касается до безсмертія души, то нѣкоторые философы совершенно отрицали его, утверждая, что всѣ живыя существа — отъ человѣка до скота — умираютъ и разлагаются по однимъ законамъ; а другіе, напр. Вольтеръ, хотя и допускали безсмертіе души, но относительно загробнаго существованія имѣли идеи очень смутныя и неопредѣленныя и во всякомъ случаѣ не согласныя съ церковнымъ вѣроученіемъ.

Вмѣсто господствующей морали, основанной на идеяхъ долга и самоотверженія, философы XVIII вѣка ставили новую мораль, основывавшуюся на эгоизмѣ и удовольствіи, и съ фанатическимъ ожесточеніемъ отрицавшую аскетизмъ и религіозную нетерпимость. Мораль была легкая и искренняя и потому привлекательная, особенно по сравненію съ сухою и строгою средне-вѣковою моралью, какую проповѣдывали на западѣ католическіе духовные, сами плохо сочувствуя своимъ проповѣдямъ.

Существующее политическое и общественное устройство, состоящее въ господствѣ привилегированныхъ классовъ, казалось философамъ XVIII вѣка вопіющимъ злоупотребленіемъ. Идеаломъ общественнаго устройства для однихъ (напр. для Вольтера) были республики — Греція и Римъ; для другихъ (напр. для Руссо см. *Contrat social*) — первобытное дикое состояніе людей. Но во всякомъ случаѣ философы крѣпко вѣрили въ возможность лучшей жизни для людей, если только человечество станетъ жить по ихъ указаніямъ.

„Главная черта, — говоритъ Гизо, — отличающая состояніе



человѣческаго разума въ XVIII в. — это всеобщность, все-объемлемость свободнаго изслѣдованія. Религія, политика, чистая философія, общество и человѣкъ, нравственная и вещественная природа — все становится въ одно и то же время предметомъ изученія, сомнѣнія, системы; древнія науки преобразовываются, рядомъ съ ними возникаютъ новыя. Движеніе распространяется по всѣмъ направленіямъ, хотя и происходитъ изъ одного и того же побужденія. Кромѣ того, движеніе это запечатлѣно особымъ страннымъ характеромъ, не имѣющимъ, можетъ быть, ничего подобнаго во всемірной исторіи — характеромъ отвлеченнымъ, чисто созерцательнымъ. Никогда философія не стремилась такъ упорно къ обладанію надъ міромъ и вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не была такъ чужда ему. Можно ли послѣ того удивляться другой отличительной чертѣ тогдашняго состоянія человѣческаго духа — чрезвычайной смѣлости его? Въ XVIII вѣкѣ совсѣмъ не было, кажется, внѣшнихъ фактовъ, предъ которыми склонялся бы человѣческій разумъ, которымъ бы онъ сколько-нибудь подчинялся: онъ ненавидѣлъ или презиралъ все общественное устройство. Отсюда родилось въ немъ убѣжденіе, что онъ призванъ преобразовать все существующее въ мірѣ; онъ сталъ приписывать себѣ нѣкоторымъ образомъ творческую силу; учрежденія, мѣнія, нравы, общество и самъ человѣкъ — все представлялось ему подлежащимъ передѣлкѣ, и человѣческій разумъ принялъ на себя исполненіе подобной задачи. Доходилъ ли онъ когда-нибудь до болѣе смѣлой мысли?

Великое движеніе умовъ, охватившее всю Европу, не могло не отразиться и въ Россіи, умственная жизнь которой со времени Петра Великаго неразрывно связана съ обще-европейскою жизнью.

Въ Россіи во 2-й половинѣ прошлаго столѣтія царствовала великая государыня Екатерина II, обладавшая замѣчательною способностью чутко прислушиваться къ современному настроенію умовъ и наблюдать знаменія времени. Она не могла оставить безъ вниманія совершавшагося передъ ея глазами на Западѣ великаго умственнаго движенія. Какъ же она относилась къ вождямъ этого движенія, — къ моднымъ философамъ? Очень благосклонно. Мы имѣемъ довольно фактовъ этой благосклонности...

Отношеніе императрицы къ моднымъ философамъ XVIII вѣка съ перваго взгляда представляется очень страннымъ. Кажется

монархиня налагала руку сама на себя, покровительствуя философамъ, съ ожесточеніемъ подрывавшимъ *statu quo* и всѣ основы общественнаго порядка. Въ объясненіе этого можно сказать слѣдующее:

1) Екатерина начала свое знакомство съ философами XVIII вѣка въ ту печальную эпоху своей жизни, когда, по ея словамъ, ея *учителями были несчастье и уединеніе*. Тогда она по цѣлымъ суткамъ зачитывалась этихъ блестящихъ, изящныхъ, смѣлыхъ и злыхъ твореній, гармонировавшихъ съ ея острымъ и смѣлымъ умомъ и тогдашнимъ настроеніемъ духа. „Могу васъ увѣрить“, писала въ послѣдствіи Екатерина къ Вольтеру, „что съ 1746 года, т.-е. съ тѣхъ поръ, какъ я начала сама располагать своимъ временемъ, весьма много вамъ обязана. Прежде сей эпохи не читала я другихъ книгъ, кромѣ романовъ; а какъ по случаю попались мнѣ въ руки сочиненія ваши, то съ тѣхъ поръ не переставала ихъ читать и не желала читать никакихъ другихъ книгъ, которыя не столь хорошо писавы, и изъ которыхъ менѣе пользы почерпнуть можно“ (I, 5).

2) Такимъ образомъ она взошла на престолъ уже вѣнчанною философкою. По воцареніи она брала кое-что изъ философскаго арсенала и даже многое и важное, конечно пріурочивая къ мѣстнымъ и временнымъ условіямъ. Таковъ ея знаменитый *Наказъ*, основныя идеи котораго заимствованы изъ Монтескье и Беккариа. Кому не извѣстны эти идеи — отмѣненіе религіозныхъ преслѣдованій и казней за оскорбленіе величества, уничтоженіе пытокъ и смертной казни, смягченіе наказаній и, наконецъ, знаменитый афоризмъ: *лучше простить десять виновныхъ, нежели наказать одного невиннаго?* и кто не скажетъ, что эти идеи внушены духомъ чистаго человѣколюбія? Для русскаго общества XVIII вѣка, воспитаннаго въ грубыхъ и варварскихъ преданіяхъ, помниваго безчеловѣчныя пытки и казни Петровской и Бироновской эпохи, подобныя идеи должны были казаться лучомъ небеснаго свѣта, проникающимъ сквозь ночную тьму. Будемъ ли винить великую монархиню за то, что она зажгла свой свѣточъ у дымнаго очага невѣрующихъ мыслителей XVIII вѣка? Нѣтъ, вѣря, что *сердце царево въ рукахъ Божіей*, мы должны допустить, что свѣтъ человѣколюбивыхъ идей, озарившій душу великой государыни, откуда бы онъ ни былъ заимствованъ, былъ все-таки божественный свѣтъ. Здѣсь намъ припоминается то, что сказано Маколеемъ о философяхъ



XVIII вѣка. „Отдавая должное Вольтеру и его родниѣ“, говоритъ Маколей, „мы должны сказать, что эти люди при всѣхъ своихъ недостаткахъ и заблужденіяхъ нравственныхъ и умственныхъ искренно и горячо желали улучшить состояніе человѣческаго рода, что они объявили и вели войну всѣми бывшими въ ихъ распоряженіи средствами противъ всего, что они считали злоупотребленіемъ, и во многихъ значительныхъ случаяхъ доблестно ставили себя между сильными и притѣсняемыми: вотъ гдѣ тайна ихъ силы и вліянія! Въ то время, когда они нападали на христіанство съ злобою и ожесточеніемъ, неприличными и безчестными для людей, называвшихъ себя философами, они въ своихъ сочиненіяхъ проповѣдывали именно ту любовь къ людямъ всѣхъ классовъ и состояній, которой недоставало у ихъ противниковъ и которой требуетъ истинное христіанство“. И нужно прибавить, что философія XVIII вѣка привлекала сочувствіе императрицы не отрицательною, а именно своею положительною, гуманною стороною. Въ одномъ письмѣ къ Вольтеру Екатерина такъ высказала причины своего уваженія къ нему. „Быть ходатаемъ за родъ человѣческій и защитникомъ угнетаемой невинности, — это такія рѣдкія дѣянія, которыя заслуживаютъ бессмертное імя и рождаютъ къ вамъ неизъяснимое почтеніе. Вы противоборствовали всѣмъ совокупившимся врагамъ человѣковъ: суевѣрію, изступленію, невѣжеству, ябедѣ, безсовѣстнымъ судьямъ и той власти, которая раздроблена по разнымъ рукамъ. Для преодоленія сихъ препонъ многія качества и добродѣтели потребны; и вы доказали, что ихъ имѣете, поелику побѣдили“ (I, 17).

3) Не мѣшаетъ припомнить также, что въ эпоху Екатерины была мода на философію. „Помню“, пишетъ Екатерина къ Циммерману, „что въ 1740 году головы менѣе всего философскія хотѣли быть философами“ (Переп. съ Цимм. 97). Въ частности была мода на государей философовъ. Слова Платона: *счастливы тѣ народы, у которыхъ философъ становится государемъ или государь — философомъ* — обратились въ сентенцію. Ихъ повторяли и директоръ С.-Петербургской академіи наукъ Домашневъ въ рѣчи Густаву III-му, и Херасковъ въ заключеніи поэмы: *Нума Помпилій*, и профессоръ Забѣлинъ въ похвальномъ словѣ Екатеринѣ II-й по случаю 25-лѣтія ея царствованія. Въ вѣкъ философскаго броженія умовъ, для вождей народа, независимо отъ личнаго сочувствія къ философін, гораздо расчетливѣе

было присоединиться къ общему умственному движенію и, по возможности, заправлять имъ, чѣмъ, оставаясь позади, подвергаться опасности быть подавлену общимъ потокомъ. Это очень хорошо понимали и сообразно съ этимъ дѣйствовали наиболѣе проницательные государи XVIII вѣка, подвергавшіеся иногда, и, быть можетъ, несовсѣмъ безосновательно, со стороны философовъ упреку въ лицемеріи. Фридрихъ Великій гордился именемъ *вѣнчаннаго философа*. Таковъ же былъ и Густавъ, король шведскій. Противъ этой моды на философію не могла устоять и императрица Екатерина тѣмъ болѣе, что переписка съ философами давала ей поводъ къ обнаруженію своихъ убѣжденій въ самомъ лучшемъ свѣтѣ и, если смѣемъ такъ выразиться, къ восхитительному кокетству. Въ этомъ отношеніи обращаютъ на себя наше вниманіе особенно два мѣста изъ ея переписки съ Вольтеромъ и Циммерманомъ. „Поелику между нами рѣчь зашла о гордости“, пишетъ императрица къ Вольтеру отъ 22 іюля 1771 года, „то я по сей статьѣ намѣрена учинить предъ вами подробное исповѣданіе. Въ продолженіе сей войны (1-ой турецкой) пріобрѣла я великіе успѣхи и весьма естественно, что сіе приносило мнѣ много радости; но я при томъ сама себѣ говорила: Россія сдѣлается чрезъ сію войну извѣстною; узнаютъ, что сей народъ неутомимъ, что между ними обрѣтаются мужи со всѣми превосходными дарованіями и качествами героевъ; усмотрятъ, что Россія не имѣетъ недостатка въ пособіяхъ, и что она въ состояніи себя защищать и тѣхъ съ жестокостью попирать, кто учинитъ на нее нападеніе. Сими разсужденіями будучи занята, никогда я о Екатеринѣ не помышляла, которая, имѣя отъ роду уже 42 года, ни въ умѣ, ни въ тѣлесныхъ качествахъ не можетъ болѣе пріобрѣсть приращенія; но по уставу природы должна пребыть и пребудетъ въ одинаковыхъ положеніяхъ. Хорошо идутъ дѣла ея? тѣмъ лучше говоритъ она. Если же бы они съ меньшимъ успѣхомъ производились, то она употребила бы всѣ свои способности на приведеніе ихъ по возможности въ лучшее положеніе. Вотъ въ чемъ состоитъ мое честолюбіе; и кромѣ сего ни къ чему другому онаго не простираю. Все мною сказанное объявлено по самой справедливости“ (Переп. съ Вольт. V, 29).

„Мой вѣкъ напрасно меня боялся“, писала императрица къ Циммерману отъ 29 января 1879 года, „я никогда не хотѣла кого-либо пугать, а желала быть любимой и почитаемой, если



того стою, и болѣе ничего. Всегда я думала, что всѣ клеветы на меня происходятъ отъ того, что меня не понимали. Я знала весьма многихъ людей, кои были гораздо меня умнѣе; но никогда ни противъ кого не имѣла злобы и никому не завидовала. Мое желаніе и удовольствіе состояло въ томъ, чтобы дѣлать всѣхъ счастливыми, но какъ всякій хочетъ быть счастливымъ по своимъ способностямъ, то желанія мои часто находили въ томъ препятствія, въ коихъ я ничего не понимала. Конечно, не было злости въ моемъ славолубіи, но можетъ быть я слишкомъ много предпринимала, полагая, что люди способны сдѣлаться разсудительными, справедливыми и счастливыми. Родъ человѣческій вообще наклоненъ къ безразсудству и несправедливости, съ коими никакъ не можно быть счастливымъ. Если бы онъ слушался разсудка и справедливости, тогда бы и въ насъ нужды не было; что же касается до счастья, то всякій, какъ я выше сказала, понимаетъ его по-своему. Я уважала философію, потому что въ душѣ моей была всегда отмѣнною республиканкою; признаюсь, что такое расположеніе души съ моею неограниченною властью покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ; однакожъ въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою во зло употребляла. Люблю художества по одной склонности. Собственные мои сочиненія почитаю бездѣлкою. Я писала въ разныхъ родахъ, и все написанное мною кажется мнѣ посредственнымъ, почему и не придавала ему никакой важности; ибо оно служило для меня только забавою. Въ политическомъ моемъ поведеніи старалась слѣдовать начертанію, которое казалось мнѣ полезнѣйшимъ для моего государства и сноснѣйшимъ для другихъ; если бъ я знала лучшее, конечно предпочла бы оное; Европа напрасно опасалась моихъ намѣреній, кои напротивъ того были для нея совершенно полезны. Мнѣ часто платили неблагодарностью, но никто не скажетъ, чтобы я была неблагодарна. Я нерѣдко мстила моимъ непріятелямъ, дѣлая имъ добро, или прощая ихъ. Вообще человечество имѣло во мнѣ друга, который не измѣнялъ ему ни въ какомъ случаѣ. Теперь кончимъ разговоръ въ царствѣ мертвыхъ и возвратимся къ живымъ“ (Переп. съ Цимм. 146—149). Гдѣ, какъ не въ перепискѣ съ философами можно было вести подобные разговоры въ царствѣ мертвыхъ? *Императрица-философка*, какъ называлъ Екатерину Вольтеръ, въ бесѣдѣ съ своими собратьями по мысли могла забывать, что она

императрица, или дѣлать видъ, что забываетъ это, могла своимъ объясненіямъ придавать характеръ полнѣйшей искренности и задушевности, могла, отлагая въ сторону величіе монархини, являться просто въ образѣ прекрасной, благородно-мыслящей женщины, — и въ этомъ видѣ она еще болѣе выигрывала въ общественномъ мнѣніи Европы, потому что переписка ея съ философами вовсе не была тайною для свѣта.

Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается новая причина благосклонности императрицы къ моднымъ философамъ XVIII вѣка. Вольтеръ и его собратія были оракулами общественнаго мнѣнія Европы. Сознавая силу и значеніе общественнаго мнѣнія, императрица естественно старалась закупить ихъ въ свою пользу и въ пользу своего государства. Ей, конечно, очень пріятно было читать въ сочиненіяхъ либеральныхъ мыслителей похвалы своему управленію, какія напр. встрѣчаются въ заключеніи сочиненія Вольтера: *Человѣкъ въ 40 талеровъ* и въ *Энциклопедіи*. Осыпанные милостями императрицы были дѣйствительно усердными ея хвалителями.

Голосъ философовъ былъ надежнымъ противодѣйствіемъ иностраннымъ газетчикамъ, которые и тогда, такъ же какъ и теперь, сообщали извѣстія, пропитанныя ядомъ зависти и недоброжелательства къ Россіи. „Каждое письмо“, писалъ Вольтеръ къ Екатеринѣ отъ 11 августа 1770 года, „которое удостоиваюсь я получить отъ вашего императорскаго величества, выдѣчиваетъ меня отъ причиняемой парижскими вѣдомостями лихорадки. Въ нихъ говорено было, будто войска ваши повсюду претерпѣваютъ уронъ; будто они принуждены совершенно оставить Морею и Валахію, будто моровое повѣтріе заразило ваши арміи и будто послѣ вашихъ успѣховъ послѣдовали всякаго рода проигрыши. Но ваше величество дѣлаетесь моимъ врачомъ. Вы совершенно возвращаете мнѣ здоровье. Какъ скоро получаю я отъ васъ извѣстія, тотчасъ стараюсь описывать дѣла въ настоящемъ видѣ, а чрезъ то заставляю въ свою очередь морщиться тѣхъ, кои меня печаливали.... Еще разъ повторяю, всемилостивѣйшая государыня, мою просьбу увѣдомить изъ милосердія о пяти или шести взятыхъ городахъ и о пяти или шести выигранныхъ сраженіяхъ, хотя для того только, чтобы заставить умолкнуть ненависть“ (Переп. I, 125—128). Во время 2-й турецкой войны императрица вела переписку съ Циммерманомъ, между прочимъ съ тою же



цѣлью, т.-е. чтобы возстановлять истину, искажаемую западными газетчиками, злонамѣренность и лживость которыхъ была видна для нея слишкомъ ясно. „Если происшествія, бывшія въ теченіе XVIII столѣтія“, писала императрица къ Циммерману отъ 26 января 1791 г., „доставили Россіи славу, если, по вашимъ словамъ, завистники часто были поражаемы оными отъ удивленія, то не надобно тому искать другой причины, кромѣ ухищреній и козней враговъ имперіи, которые, желая причинить ей великія бѣдствія, принудили ее открыть способы, о коихъ никто не думалъ... Войны, на насъ воздвигнутыя, никогда не имѣли другого дѣйствія, какъ только дѣлали наши войска побѣдоносными... Не взирая на все это, говорили тогда, какъ говорятъ и теперь, что у насъ нѣтъ ни денегъ, ни войскъ, ни пособій. И тогда платили, и теперь платимъ газетчикамъ, чтобы они писали безразсудныя затѣи, приписывая ихъ Россіи, будто она старается разрушить всѣ правительства кознями, деньгами или силою. Здѣсь они сами себѣ противорѣчатъ, ибо у кого нѣтъ ни денегъ, ни силы, тотъ не можетъ давать первыхъ, ниже употреблять послѣдней... Вражда къ Россіи въ нѣкоторыхъ людяхъ столь далеко простирается, что они ненавидятъ даже и частныхъ людей. Наслышась ихъ рѣчей и сочиненій, скажетъ иной, что у насъ нѣтъ людей ни въ какомъ родѣ, даже и военныхъ. Однакожъ кажется, что наши генералы должны бы имѣть нѣкоторое право на ихъ почтеніе, служивъ въ толикихъ войнахъ, выигравъ столько сраженій, взявъ столько городовъ, побивъ столько войскъ въ Европѣ и Азій, завоевавъ столько областей, что на свѣтѣ много цѣлыхъ поколѣній, которыя сдѣлали и видѣли меньше, нежели у насъ одинъ человекъ... Можетъ быть для того считаютъ насъ безъ денегъ, что мы вынимаемъ оныя изъ сундуковъ своихъ, безъ всякихъ при томъ обрядовъ, кои бы придавали тому важность. И то еще правда, что казначейства помѣщены не въ самыхъ погребахъ моихъ покоевъ, а какъ сіи, думаю, пусты, то и говорятъ, что они не наполнены, и въ семъ случаѣ говорятъ правду. Но до сихъ поръ, слава Богу, когда надобны были деньги, мы давали ихъ безостановочно“ (Переп. съ Циммерм. 170—171). Императрица знала, что ея письма къ философамъ произведутъ преднамѣренное ею дѣйствіе еще прежде, чѣмъ попадутъ въ руки ея корреспондентовъ. Въ дневникъ статсъ-секретаря императрицы Храповицкаго подъ 26 января 1791 г.

помѣчено: „Читано миѣ письмо на французскомъ языкѣ, собственноручно къ Циммерману писанное, которое нарочно чрезъ Берлинъ по почтѣ отправится, чтобы тамъ увидѣли, что всѣ усилія враговъ Россіи произвели ея славу и побѣды. *Хочу доказать пруссакамъ* (говорила императрица), что ихъ не боимся, *А qu'ils penseront deux fois, avant d'entreprendre quelque chose*“ (пусть они подумаютъ два раза прежде, чѣмъ рѣшиться на что-нибудь). Подобная же помѣтка есть и при отсылкѣ письма Циммерману 6 іюня того же года. Въ другой разъ императрица говорила Храповицкому, что ей удалось чрезъ переписку съ Вольтеромъ смѣнить французскаго министра Шуазеля.

Пользу для Россіи, извлекаемую изъ сношеній съ модными философами, сама императрица выставяла какъ важнѣйшее для себя оправданіе противъ людей, которые порицали ее за такія сношенія. Сохранилось одно ея письмо къ кому-то (отъ 17 сентября 1789 г.), заключающее въ себѣ оправданіе ея прежней переписки съ Вольтеромъ. Императрицу упрекало за это какое-то третье лицо, судя по обстоятельствамъ — митр. московскій Платонъ, какъ извѣстно очень не расположенный къ Вольтеру и энциклопедистамъ. Императрица старается доказать, что въ перепискѣ не было ничего предосудительнаго, и что здѣсь она заботилась всего болѣе о славѣ Россіи. „Вы можете ствѣтствовать“, читаемъ въ этомъ любопытномъ письмѣ, „что менѣе всего ожидать надлежало благотворительной рукѣ отъ святительской особы осыпанной, отличенной и возведенной щедростью и щедротами, — безразсудной толкѣ извѣстной переписки, которой одно злобою наполненное сердце лишь можетъ дать кривое толкованіе; понеже само собою та переписка весьма невинна, въ такое время, когда 80-ти-лѣтній старикъ старался своими по всей Европѣ жадно читаемыми сочиненіями прославить Россію, унижить враговъ ея и удержать дѣятельную вражду своихъ соотчичей, кои тогда старались распространить повсюду язвительную злобу противу дѣлъ нашего отечества, въ чемъ и предупѣлъ. Въ такомъ виду и намѣреніи письма, писанныя къ безбожнику, кажется, не нанесли вреда ни церкви, ни отечеству“ (Русск. Архивъ 1866 г. № 1, стр. 71—72).

Къ чести императрицы нужно сказать, что пламенная забота о славѣ Россіи проглядываетъ чуть не на каждой страницѣ



переписки. Каждое укоризненное для Россіи замѣчаніе сейчасъ же вызывало возраженіе и опроверженіе со стороны императрицы. Извѣстно, что Екатерина сама писала возраженіе противъ книги аббата Шаппа *Voyage en Sibirie* подъ заглавіемъ: *Antidote*. На ту же тему Екатерина разсуждаетъ и въ перепискѣ съ Вольтеромъ. „Я нашла, государь мой (пишетъ она), въ энциклопедическихъ предложеніяхъ, наполненныхъ сколько новыми, столько и преизящными мыслями, въ статьѣ о общенародномъ хозяйствѣ 5 тома на 16 стр. слѣд. слова: пусть дастся Сибирь, соединенной съ Камчаткою....  
...Киръ самодержцемъ, Солонъ законодателемъ, герцогъ Сюлли и Колбертъ главными казначеями, герцогъ Шоазель министромъ надъ военными и мирными дѣлами, а Ансонъ адмираломъ, то они тамъ со всѣми великими ихъ талантами умрутъ съ голоду. Я не говорю ни слова о всѣхъ странахъ сибирскихъ и камчатскихъ, далѣе 63 градуса лежащихъ, но позвольте мнѣ вступить за тѣ земли, которыя находятся между 63 и 45 градусами... Урожай хлѣба бываетъ тамъ столь великъ, что кромѣ того, что прокармливаетъ всѣхъ тамошнихъ жителей, тамъ есть еще множество винокуренныхъ заводовъ, но и за тѣмъ еще остается очень довольно хлѣба для развозу въ зимнее время сухимъ путемъ, и въ лѣтнее время по рѣкамъ на судахъ къ Архангельску, откуда потомъ отправляется хлѣбъ въ иностранныя государства. Можетъ быть во многихъ мѣстахъ, питавшихся тамошнимъ хлѣбомъ, говорили, что въ Сибири хлѣбъ никогда не поспѣваетъ“. Затѣмъ императрица распространяется о другихъ произведеніяхъ природы, какими богата Сибирь, о животныхъ, минералахъ, кедровыхъ лѣсахъ, мамонтовыхъ костяхъ, — вообще, — говоря ея словами, — употребляетъ предъ Вольтеромъ за *Сибирь* свое *ходатайство* (Переп. II, 53—56). Замѣчательно, что императрица вступилась не только за природу своей страны, но вопреки вольнодумнымъ воззрѣніямъ Вольтера поднимала голосъ въ защиту русской церкви и русскаго духовенства. „Дмитрій, митрополитъ новгородскій“, писала императрица Вольтеру, „не есть ни гонитель, ни суевѣръ“ (Переп. I, 11). „Нѣкто, переведши книгу, представилъ сему архіерею; онъ, прочитавъ, сказалъ переводчику: *совѣтую вамъ не выпускать ее въ свѣтъ; ибо она содержитъ въ себѣ такія правила, кои основываютъ двѣ власти*“ (Ibid. I, 23). Также съ хорошей стороны хотѣла Екатерина откомендовать Воль-

теру и Платона (впослѣдствіи митр. московскаго), препроводивъ къ Вольтеру его проповѣдь по случаю чесменской побѣды. Рассказывая о бунтѣ московской черни во время чумы, императрица называетъ убитаго черныю архіепископа Амвросія человѣкомъ умнымъ и почтеннымъ (Ibid. II, 51). Вотъ, — какъ бы такъ хотѣла сказать Екатерина Вольтеру, — каковы въ Россіи духовныя лица; не то, что на Западѣ суевѣры и фанатики! Вольтеръ, впрочемъ, довольно холодно принималъ подобныя рекомендаціи. Всего замѣчательнѣе полемика между императрицею и Вольтеромъ по вопросу о цѣлованіи священническихъ рукъ. Вольтеръ съ обыкновенною своею беззаастѣнчивостью писалъ слѣдующее: „Умоляю васъ, всемилостивѣйшая государыня, внести въ уложеніе ваше особливый законъ, который бы не позволялъ никому у поповъ цѣловать руки... Правда, что Христосъ позволялъ Магдалинѣ цѣловать Его ноги, но ни наши попы, ни ваши ничего общаго съ Христомъ не имѣютъ“ (Ibid. II, 200)... Отказываемся выписывать дальнѣйшія строки, полныя грубаго цинизма. Императрица сумѣла рѣшить вопросъ съ кротостью и достоинствомъ и, не оскорбляя Вольтера, защититъ русское духовенство. „Что принадлежитъ до сдѣланнаго вами вопроса о цѣлованіи священническихъ рукъ, то я вамъ скажу, что это принятое греческою церковью обыкновеніе, которое установлено, какъ я думаю, почти въ одно время съ нею... Я съ 14 году соображалась сему обыкновенію. Если вы сами, пріѣхавъ сюда, сдѣлаетесь здѣсь священникомъ, то я буду у васъ просить благословенія, по полученіи же онаго охотно поцѣлую ту руку, которая столь много хорошаго, столь много полезныхъ истинъ написала“ (Ibid. II, 198). Очень часто желаніе представить Россію въ лучшемъ свѣтѣ доводило императрицу до неправдоподобныхъ преувеличеній. „Въ Россіи подати столь умѣренны“, пишетъ императрица, „что нѣтъ у насъ ни одного крестьянина, который бы, когда ему вздумается, не ѣлъ курицы, а въ иныхъ провинціяхъ съ нѣкотораго времени предпочитаютъ курицамъ индѣйскихъ пѣтуховъ... Равномѣрно и размноженіе народа чувствительно; въ нѣкоторыхъ провинціяхъ въ семь лѣтъ стало быть десятою долею болѣе прежняго числа обитателей“ (Ibid. I, 56). Стоитъ только прочесть описаніе московскаго бунта во время чумы (Ibid. II, 51 и слѣд.), чтобы видѣть, какъ императрица, смѣемъ сказать, искажала факты, чтобы представить



ихъ въ благопріятнѣйшемъ для Россіи свѣтѣ. Но для русскаго сердца умилительно видѣть горячій патріотизмъ великой монархини, который самъ по себѣ служитъ достаточнымъ оправданіемъ ея сношеній съ философами XVIII вѣка.

Къ чести императрицы нужно прибавить еще, что она, пользуясь для прославленія Россіи модными философами, какъ органами общественнаго мнѣнія, не увлекалась ихъ утопіями, не становилась безусловно подъ ихъ вліяніе, но съ здравымъ практическимъ тактомъ умѣла отличать въ ихъ идеяхъ полезное отъ бесполезнаго и неприложимаго. Это открывается изъ исторіи ея отношеній къ ла-Ривьеру, котораго Вольтеръ называлъ въ шутку бѣднымъ Солономъ, пріѣхавшимъ давать уроки сѣверной монархинѣ (Переп. II, 199). Мерсье де-ла-Ривьеръ былъ авторъ сочиненія *О естественномъ и существенномъ порядкѣ политическихъ обществъ*, пользовавшагося блестящимъ успѣхомъ между политико-экономами. Императрица, желавшая познакомиться съ политической экономіею, пригласила ла-Ривьера въ 1767 г. въ Россію и предложила ему пріѣхать прямо въ Москву, гдѣ собиралась въ то время комиссія депутатовъ для составленія новаго Уложенія. „Г. де-ла-Ривьеръ“, рассказывала впослѣдствіи императрица французскому посланнику г. Сегюру, „недолго собирался и по пріѣздѣ своемъ немедленно нанялъ три смежныхъ дома, тотчасъ же передѣлалъ ихъ совершенно и изъ парадныхъ покоевъ подѣлалъ пріемныя залы, а изъ прочихъ — комнаты для присутствія. Философъ вообразилъ себѣ, что я призвала его въ помощь мнѣ для управленія имперіей и для того, чтобы онъ сообщилъ намъ свои познанія и извелъ насъ изъ тьмы невѣжества. Онъ надъ всѣми этими комнатами прибилъ надписи пребольшими буквами: *департаментъ внутреннихъ дѣлъ, департаментъ торговли, департаментъ юстиціи, департаментъ финансовъ, отдѣленіе для сбора податей* и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приглашалъ многихъ жителей изъ столицы, русскихъ и иностранцевъ, которыхъ ему представили какъ людей свѣдущихъ, явиться къ нему для занятія различныхъ должностей соотвѣтственно ихъ способностямъ. Все это надѣлало шуму въ Москвѣ, и такъ какъ всѣ знали, что онъ пріѣхалъ по моей волѣ, то нашлись до-вѣрчивые люди, которые уже заранѣе старались къ нему поддѣлаться. Между тѣмъ я пріѣхала и прекратила эту комедію. Я вывела законодателя изъ заблужденія. Нѣсколько разъ

поговорила я съ нимъ о его сочиненіи, и разсужденія его, признаюсь, мнѣ понравились, потому что онъ былъ не глупъ, но только честолюбіе немного помутило его разумъ. Я, какъ слѣдуетъ, заплатила за всѣ его издержки, и мы разстались довольны другъ другомъ. Онъ оставилъ намѣреніе быть первымъ министромъ и уѣхалъ довольный, какъ писатель, но нѣсколько пристыженный, какъ философъ, котораго честолюбіе завело слишкомъ далеко“.

*Терновскій.*

## **Екатерина II въ ея сношеніяхъ съ французскими философами.**

Екатерина — нѣмка проводитъ въ политикѣ чисто русскіе интересы; лютеранка является защитницей православія; мелкая нѣмецкая принцесса широко раздвигаетъ предѣлы Россійской имперіи и продолжаетъ внутреннюю политику Петра I въ смыслъ распространенія европейской образованности среди полуазіатскаго русскаго общества. Она пишетъ законы, создаетъ промыслы, развиваетъ торговлю, организуетъ войско, просвѣщаетъ народъ и, минуя свою родину, протягиваетъ обѣ руки къ французскимъ философамъ, „обкрадывая“ Монтескьё, переписываясь съ Вольтеромъ и призывая Дидро въ Петербургъ для личнаго знакомства съ представителемъ энциклопедистовъ.

„У меня умъ отъ природы философскій“, пишетъ Екатерина, будучи великою княгиней. Это направленіе ея ума предугадалъ въ ней, еще въ ребенкѣ, графъ Гюлленборгъ. Посѣтивъ въ Гамбургѣ родителей Екатерины, онъ укорялъ ея мать за то, что она „мало или вовсе“ не занимается дочерью, и тогда же замѣтилъ, что это „ребенокъ развитой не по лѣтамъ“ и что у него „складъ ума очень философскій“. Нѣсколько лѣтъ позже, уже въ Россіи, тотъ же графъ Гюлленборгъ назвалъ Екатерину „философкой въ пятнадцать лѣтъ“ и посовѣтовалъ обратиться къ серьезному чтенію. Она перечла на своемъ вѣку Платона, Цицерона, Тацита, Монтескьё, много философскихъ трактатовъ, при чемъ ставила себѣ за образецъ Вольтера: „въ юности моей я хотѣла во всемъ слѣдовать духу и писаніямъ Вольтера“. Въ 1778 году, получивъ извѣстіе о его смерти,



Екатерина пишетъ Гримму: „Вольтеръ — мой учитель. Онъ, вѣрнѣе его произведенія, образовали мой умъ, мою голову. Я ужъ говорила вамъ не разъ, думаю, что я его ученица (*je suis son écolière*); когда я была моложе, я любила нравиться ему; мнѣ самой нравились только тѣ мои дѣянія, которыя были достойны быть сообщенными Вольтеру, и я его тотчасъ же увѣдомляла о нихъ; онъ такъ привыкъ къ этому, что бранилъ меня (*il me grondait*), когда я забывала увѣдомлять его о новостяхъ и онъ узнавалъ ихъ стороною. Моя аккуратность въ этомъ отношеніи ослабѣла лишь въ послѣдніе годы, вслѣдствіе быстрого хода событій“.

Ни философскій складъ ума, ни чтеніе древнихъ авторовъ, ни переписка съ Вольтеромъ не заслонили въ Екатеринѣ II женщины. Даже сухой и методическій англичанинъ Димедэль, пріѣзжавшій въ Петербургъ въ 1768 году для привитія императорской фамиліи оспы, такъ описываетъ Екатерину: „Екатерина II, императрица всероссійская, росту выше средняго; въ ней много граціи и величія, такъ что даже если бъ можно было забыть о ея высокомъ санѣ, то и тутъ ее признали бы за одну изъ самыхъ любезныхъ особъ ея пола. Къ природнымъ ея прелестямъ прибавьте вѣжливость, ласковость и благодушіе, и все это въ высшей степени; притомъ столько разсудительности, что она проявляется на каждомъ шагу, такъ что ей нельзя не удивляться“.

Знала о своихъ „природныхъ прелестяхъ“ Екатерина и пользовалась ими. Она умѣла повеселиться, охотно танцевала, любила наряды. Она съ удовольствіемъ передаетъ комплиментъ по поводу прически „*en Moïse*“, сказанный ей маркизомъ де-ла-Шетарди, вспоминаетъ свое бѣлое платье, *juste-au-corps*, такъ всѣхъ плѣнившее на балу. „Моя наружность была привлекательна, въ обращеніи я была предупредительна; всякій, поговоривъ со мною четверть часа, чувствовалъ себя какъ бы старымъ знакомымъ“. Всякія условныя приличія стѣсняли ее, и она не любила сдерживать себя въ этомъ отношеніи. Она ненавидѣла визиты королей, „потому что обыкновенно это личности скучныя, нелѣпыя (*insipides*), при нихъ нужно быть на вытяжкѣ“. Во время свиданія съ шведскимъ королемъ Густавомъ III она пишетъ Гримму; „Вотъ я опять въ роли простушки при дворѣ; моя неловкость и обычная застѣнчивость снова проявятся во всемъ блескѣ. Помолитесь за меня“. При

свиданіи съ Іосифомъ II, въ Могилевѣ, она чувствовала себя сперва очень неловко. Ее стѣсняли даже и „знаменитости“ (les personnages renommés), такъ какъ ихъ нужно слушать, а она сама любила поболтать за четверыхъ (jaser comme quatre).

Рядомъ съ особенностями чисто женскими, въ ней уживались, и въ иныхъ случаяхъ даже преобладали, черты мужескаго характера. Еще дѣвочкой, во время переѣзда изъ Цербста въ Москву, она пишетъ изъ Либавы своему отцу, что на дорогѣ прихворнула, въ чемъ, какъ сознается, сама виновата, — „уничтоживъ все пиво, случившееся на дорогѣ“. Будучи великою княгиней и услышавъ совѣтъ, подаанный ея мужу, что „всѣхъ раненыхъ слѣдуетъ убивать“, она шепнула своему сосѣду: „я начала бы съ того, что пустила пулю въ лобъ такому совѣтнику“. Въ своихъ „запискахъ“ она пишетъ: „я была прямымъ и честнымъ рыцаремъ, съ душою болѣе мужскою, чѣмъ женскою; всѣ находили во мнѣ, рядомъ съ характеромъ мужчины, привлекательность весьма любезной женщины“. Въ письмѣ къ г-жѣ Бьельке, пріятельницѣ своей матери, Екатерина сознается, что можетъ „хорошо вести разговоръ только съ мужчинами“. Она съ негодованіемъ говоритъ, что мужчины „не могли себѣ представить, чтобъ послѣдовательный образъ дѣйствій могъ быть плодомъ женскаго ума“.

Въ февралѣ 1778 года Екатерина все еще любившая повеселиться, потанцовать, несмотря на свои 49 лѣтъ, имѣла въ виду, въ теченіе двухъ недѣль, одиннадцать маскарадовъ, „не считая обѣдовъ и ужиновъ, на которыя я приглашена“. Сообщая объ этомъ Гримму, въ Парижѣ, она шутя прибавляетъ: „опасаясь умереть, я заказала вчера свою эпитафію; я сказала, чтобъ торопились, такъ какъ хочу имѣть удовольствіе самой исправить ее; въ ожиданіи я для забавы сама начала составлять свою эпитафію“. Эта эпитафія-шутка сохранилась въ государственномъ архивѣ. Вотъ какъ рисуетъ въ ней свой образъ сама Екатерина:

„Здѣсь лежитъ Екатерина Вторая, родившаяся въ Штетинѣ 21-го апрѣля (2-го мая) 1729 года. Въ 1744 г. она прибыла въ Россію, чтобъ выйти замужъ за Петра III. Будучи 14 лѣтъ, она составила себѣ тройной проектъ — понравиться мужу, Елизаветѣ и націи. Она ничего не упустила, чтобъ имѣть



успѣхъ. Восемнадцать лѣтъ скуки и уединенія доставили ей возможность прочесть много книгъ. Достигнувъ трона, она стремилась къ добру и старалась доставить своимъ подданнымъ счастье, свободу и достатокъ. Она охотно всѣмъ прощала и никого не ненавидѣла; снисходительная, съ которою легко жилось, веселая по природѣ, республиканской души и добраго сердца, она имѣла друзей; трудъ былъ ей легокъ; общество и искусство ей нравились“.

Благодаря трудамъ русскаго историческаго общества, издавашаго уже нѣсколько томовъ „бумагъ императрицы Екатерины II“, мы можемъ составить довольно полное представленіе о внутренней личности Екатерины, какою она является въ своей перепискѣ; мы можемъ начертанный ею образъ провѣрить ея же собственными словами.

Екатерина II писала много, писала охотно и, конечно, не для препровожденія времени, не для забавы. На ея замѣчаніе: „le lire et l'écrire de vient amusement, quand on y est accoutumé“ менѣе всего можно полагаться. По мѣткому выраженію Зибеля, Екатерина хорошо умѣла употреблять перо на служеніе своимъ цѣлямъ; она видѣла въ немъ довольно вѣрное средство, когда небрежно набрасывала на бумагу довѣрчивыя строчки къ другу и когда писала остроумныя письма къ Вольтеру и энциклопедистамъ, которые должны были расточать ей похвалы по всей Европѣ, когда компоновала небольшую пьеску для своего придворнаго театра и когда составляла государственные проекты, которые должны были создать ей славу законодательницы. Екатерина II была слишкомъ умна, чтобы быть искреннею въ письмахъ къ Вольтеру, Д'Аламберу и всѣмъ „знаменитостямъ“ вѣка, имѣвшимъ большое вліяніе на общественное мнѣніе; она была честолюбива, много перенесла въ жизни, хорошо знала людей и не могла, конечно, не быть осторожною въ своихъ сношеніяхъ съ ними, особенно же письменныхъ. Она умѣла молчать, когда видѣла, что ее хотятъ вызвать на разговоръ, тѣмъ болѣе она умѣла писать, чтобы заставить говорить о себѣ то, что ей было нужно или желательно. Не подлежитъ сомнѣнію, что изъ всѣхъ писаній Екатерины письма всего болѣе могутъ служить матеріаломъ для обрисовки ея внутренняго существа. Но письма письмамъ рознь. Иное значеніе, напримѣръ, имѣетъ письмо къ Д'Аламберу съ увѣреніемъ, что въ Россіи болѣе свободы

(plus de liberté), чѣмъ во Франціи, или къ Вольтеру съ категорическимъ увѣдомленіемъ, что Россія пользуется полною терпимостью, иное значеніе имѣютъ письма къ Гримму, въ которыхъ она, почти день за днемъ, записываетъ, рядомъ съ отзывами о серьезныхъ дѣлахъ, всякія мелочи, до извѣстій о рубашонкѣ своего внука, великаго князя Александра Павловича, и о здоровьи monsieur Thomas, своей комнатной собачонки, включительно. Какъ произведенія Вольтера Екатерина „читала, перечитывала и изучала“, такъ и свои письма къ нему она писала, переписывала и обдумывала въ нихъ каждое слово; письма же къ Гримму — черновые наброски безъ предвзятой цѣли, во всякомъ случаѣ, безъ задней мысли. Въ письмахъ Екатерины къ Вольтеру ему предлагается матеріалъ для составленія „Siècle de Catherine II“, какъ pendant къ „Siècle de Louis XIV“; въ письмахъ же къ Гримму выражается потребность высказаться, подѣлиться радостью и выплакать горе, иногда просто поболтать съ умнымъ человѣкомъ, рѣдко, впрочемъ, забывая, что этотъ умный человѣкъ, своею „Correspondance littéraire“, нормировалъ взгляды многихъ дворовъ на произведенія искусства и на явленія литературы.

Издавая Русскимъ историческимъ Обществомъ переписка далеко не полна. Въ ней нѣтъ, между прочимъ, ни одного письма Екатерины къ Дидро. Переписка эта не предназначалась къ печати. „Боюсь печати, какъ огня. Никакой копіи ни одной живой душѣ“ — вотъ припѣвъ, безпрестанно встрѣчающійся въ письмахъ Екатерины. Было бы, однако, большою ошибкою принимать этотъ припѣвъ въ буквальномъ смыслѣ. Екатеринѣ было пріятно всякое превознесеніе ея въ печати, откуда оно ни исходило бы; она всегда щедро вознаграждала за такія похвалы и никогда не высказывала серьезнаго неудовольствія за обнародованіе ея писемъ. Она просто желала, чтобъ письма служили только матеріаломъ для хвалебныхъ статей, къ которымъ она была чутка. „Le gazetier de Cologne en fera de bruit“ — магическій доводъ, всегда склонявшій Екатерину къ уступчивости...

Исторія отношеній Екатерины къ современнымъ ей философамъ еще не составлена; даже матеріалъ, потребный для этого труда, еще не собранъ. Будущій историкъ отмѣтитъ, вѣроятно, двѣ рѣзко выразившіяся особенности этихъ отношеній: во-пер-



выхъ, философскія начала, даже удостоившіяся наибольшихъ похвалъ со стороны Екатерины, не получили практическаго примѣненія и, тѣмъ не менѣе, этими отношеніями достигались наиболѣе практическія цѣли, и, во-вторыхъ, чѣмъ менѣе Екатерина готова слѣдовать указаніямъ философовъ, тѣмъ болѣе высказываетъ она приверженности къ философамъ.

Изъ всѣхъ современныхъ философовъ Екатерина особенно отличала двухъ; не сочувствовала Руссо и плѣнялась Монтескьё. Изъ бумагъ Екатерины не видны причины ея нелюбви къ Руссо. Быть можетъ, Екатеринѣ не нравился его идеализмъ, его реторическое изложеніе, но можетъ быть также, что своимъ проицательнымъ умомъ Екатерина понимала, куда ведетъ то равенство, которое проповѣдывалъ Руссо, и предугадывала возможность постановленій знаменитой ночи 4-го августа 1789 года. Хотя Руссо не касался вопроса о собственности и, кажется, не раздѣлялъ взглядовъ Морелли, высказанныхъ въ „Code de la nature“, Екатерина, тѣмъ не менѣе, признавала выставленный имъ принципъ равенства настолько вреднымъ, что, вскорѣ же по вступленіи на престолъ, въ высочайшемъ повеленіи отъ 6-го сентября 1763 года, выражалась такъ: „Слышно, что въ академіи наукъ продаютъ такіа книги, которыя противъ закона, добраго нрава, и которыя во всемъ свѣтѣ запрещены, какъ напримѣръ Эмилъ Руссо... надлежитъ приказать накрѣпчайшимъ образомъ академіи наукъ имѣть смотрѣніе, дабы въ ея книжной лавкѣ такіе непорядки не происходили“. Упоминая объ умершемъ Руссо, Екатерина прибавляетъ „de douteuse mémoire“; но, когда ей то выгодно, она приводитъ слова Руссо въ защиту своего мнѣнія: къ письму отъ 12-го мая 1791 года она приложила длинную выписку изъ сочиненія Руссо, въ которой говорится, что „les lois de liberté sont plus austères que n'est dur le joug des tyrans“. Произведенія Монтескьё Екатерина изучала особенно старательно. „Два уже года мои главные занятія заключаются въ перепискѣ и оцѣнкѣ началъ Монтескьё. Я стараюсь понять его и уничтожаю сегодня то, что находила вчера очень хорошимъ“. Эти начала Монтескьё были ей необходимы при составленіи „Наказа комиссіи о сочиненіи проекта новаго уложенія“: приходилось касаться общихъ положеній государственнаго права, давать юридическія опредѣленія, высказывать

политическія тенденціи — Екатерина брала ихъ у Монтескье, передѣлывая и толкуя его „начала“ иногда такъ, что не легко было бы узнать оригиналъ, съ котораго они списывались. Она писала Д'Аламберу въ 1765 году: „Вы увидите изъ „Наказа“, какъ я на пользу моей имперіи обобрала президента Монтескье, не называя его. Черезъ годъ, въ 1766 г., Екатерина извѣщаетъ Вольтера, что включила въ „Наказъ“ свой излеченіе изъ „L'esprit des lois“, именно о волшебствѣ. Въ устахъ Екатерины не было лучшей похвалы, какъ признать какое-либо произведеніе достойнымъ пера Монтескье. Но и съ Монтескье, какъ и съ Руссо, Екатерина не была въ перепискѣ: Монтескье умеръ въ 1755 г., когда она ни съ кѣмъ не могла еще переписываться; Руссо былъ для нея невыносимъ.

Только ставъ императрицею, Екатерина входитъ въ непосредственныя сношенія съ философами и, прежде всего, съ Дидро. „Черезъ десять дней по восшествіи своемъ на престолъ“, 6-го іюля 1762 года, Екатерина предлагаетъ уже Дидро пріѣхать въ Петербургъ для окончанія „Энциклопедіи“, изданіе которой встрѣчало много затрудненій въ Парижѣ. На практическую Екатерину „Энциклопедія“ произвела большое впечатлѣніе. Она читала ее, держала постоянно подъ рукою и никогда не разставалась съ нею, то заимствуя изъ нея общія начала для своихъ преобразовательныхъ плановъ, то выбирая сюжеты для театральныхъ пьесъ, то отыскивая смыслъ словъ, то провѣряя отдѣльныя выраженія. По „Энциклопедіи“ составила себѣ Екатерина понятіе о Дидро, за нее она полюбила его, и воспользовалась представившимся случаемъ впервые обратить на себя вниманіе, заставить говорить о себѣ: она купила библіотеку Дидро, при чемъ оставила ее ему въ пожизненное пользованіе, пригласивъ его же быть библіотекаремъ съ извѣстнымъ ежегоднымъ содержаніемъ. Это былъ практически-умный ходъ съ ея стороны, и она вполнѣ достигла своей цѣли: Вольтеръ, Д'Аламберъ, Гриммъ, друзья Дидро, прокричали объ Екатеринѣ по всей Европѣ. Соблазненная успѣхомъ перваго своего хода, она, черезъ два года, дѣлаетъ второй: выплачиваетъ Дидро его жалованье за 50 лѣтъ впередъ. Конечно, и второй ходъ удался вполнѣ. За первыми ходами были сдѣланы и послѣдующіе. Въ угоду Вольтеру, Екатерина осыпаетъ своими благодѣяніями лицъ, которымъ онъ покровительствуетъ, и удостоивается отъ него похвалъ, установив-



шихъ ея репутацію въ Европѣ, какъ женщины просвѣщенной и добродѣтельной, какъ примѣрной государыни, способной осчастливить страну.

Можно только удивляться уму и такту, съ которыми Екатерина завязывала и поддерживала свои сношенія съ философами. Въ ея перепискѣ съ Вольтеромъ и Д'Аламберомъ, съ Дидро и Гриммомъ, въ ея отзывахъ о Метастазіо и Беккаріи, объ Эйлерѣ и Галлерѣ виденъ свободный мыслитель и гуманистъ, предъ которымъ даже такой государь, какъ Фридрихъ II, если не остается въ тѣни, то отходитъ на второй планъ, и, въ то же время, виденъ человѣкъ вполне практическій, у котораго личный интересъ возведенъ какъ бы въ философскій принципъ. Екатерина ни предъ чѣмъ не останавливается для достиженія преднамѣренной цѣли, ни даже предъ обманомъ и ложью. Такъ въ письмѣ отъ 1771 г. она пишетъ Вольтеру: „Что же касается записокъ объ исповѣди, то мы не знаемъ даже ихъ названія“. И что же? Въ томъ же самомъ году, быть можетъ въ тотъ же самый день, она подписала „высочайшій выговоръ“ тобольскому губернатору Чичерину за нерадѣніе въ составленіи „исповѣдныхъ росписей“. Екатерина такъ умно и ловко поставила себя относительно философовъ, что они являлись добровольными ея защитниками рѣшительно во всѣхъ ея предпріятіяхъ; она такъ хорошо знала, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, что всѣ „князи философіи“ были за Екатерину даже въ польскомъ вопросѣ. Польскихъ конфедератовъ они называли „сволочью“, а въ Екатерину видѣли чуть ли не апостола вѣро-терпимости и піонера цивилизаціи по отношенію къ Польшѣ!..

Читая письма Екатерины къ Вольтеру и о Вольтерѣ, не трудно убѣдиться, что она ставила его выше всѣхъ современныхъ философовъ, на ряду съ Монтескьё. Вольтера называетъ она своимъ учителемъ, его ставитъ себѣ въ образецъ; въ отвѣтъ на извѣстіе о смерти Вольтера она подписывается на сто экземпляровъ его произведеній: „Дайте мнѣ сто полныхъ экземпляровъ произведеній моего учителя, чтобъ я могла размѣстить ихъ повсюду. Хочу, чтобъ они служили образцомъ, хочу, чтобъ ихъ изучали, чтобъ выучивали наизусть, чтобъ души питались ими; это образуетъ гражданъ, геніевъ, героевъ и авторовъ; это разовьетъ сто тысячъ талантовъ, которые безъ того потеряются во мракѣ невѣжества“. Какова тирада? Дѣйствительно, было бы большою ошибкою видѣть въ этихъ

строкахъ что-либо иное, кромѣ тирады. Когда было объявлено объ изданіи полнаго собранія сочиненій Вольтера, Екатерина писала Гримму: „Но, послушайте, кто же въ силахъ прочесть пятьдесятъ два тома сочиненій Вольтера? Когда изданіе выйдетъ въ свѣтъ, купите за мой счетъ два экземпляра для Ваньера, отправьте ихъ ему отъ моего имени и скажите ему, чтобъ онъ отмѣтилъ въ одномъ изъ экземпляровъ, что справедливо и что несправедливо, и переслалъ бы мнѣ этотъ экземпляръ“. Получивъ просмотрѣнные уже Ваньеромъ томы, она даже не раскрывала ихъ. Мало того: въ 1767 году, при жизни Вольтера, отправляя графовъ Ольденбургскихъ за границу путешествовать, Екатерина воспретила имъ посѣщать Лозанну или Женеву, „чтобъ не быть въ близости отъ Вольтера“.

Въ перепискѣ съ философами Екатерина является женщиной въ высшей степени умной, провицательной и практической; она эксплуатируетъ ихъ насколько возможно, беретъ отъ нихъ все, что они дать могутъ, пользуется ихъ знаніями, ихъ вліяніемъ на общественное мнѣніе, но сама не подчиняется ихъ вліянію, дѣйствуетъ самостоятельно, какъ истый философъ. Приобрѣтя довѣріе и „заслуживъ“ похвалы знаменитыхъ „князей философій“, Екатерина ведетъ съ ними переписку, задаетъ имъ вопросы, приглашаетъ, по ихъ указанію, въ Россію ученыхъ, техниковъ, артистовъ. Екатерина была занята цѣлымъ рядомъ законодательныхъ работъ, заботилась объ учрежденіи образовательныхъ заведеній, поощряла промышленность, создавала новые рынки для торговли, проводила новые пути сообщенія, дѣлала грандіозныя постройки. По поводу всѣхъ этихъ трудовъ она хотѣла слышать мнѣніе философовъ, желала получить ихъ одобреніе. Екатерина не довольствовалась перепиской и постоянно желала имѣть около себя одного изъ „князей философій“, прежде всего, конечно, Монтескье, для непосредственнаго, живого обмѣна мыслями. Вскорѣ по вступленіи на престолъ она приглашаетъ Д'Аламбера пріѣхать въ Петербургъ и приглашаетъ весьма настоятельно. „Пріѣзжайте со всѣми вашими друзьями; я обѣщаю вамъ, а также и имъ, всѣ удовольствія и удобства, какія только могутъ отъ меня зависѣть, и, можетъ быть, вы найдете здѣсь болѣе свободы и спокойствія, чѣмъ у себя“. Д'Аламберъ не пріѣхалъ. Тогда, по рекомендаціи Дидро, Екатерина приглашаетъ Мерсье-де-ла-Ривьера, автора „De l'ordre naturel et essentiel des sociétés



polices“. „Убѣждаю васъ, — пишетъ она Панину, — написать Штакельбергу, а если онъ уже не во Франціи, то князю Голицыну, чтобъ онъ вошелъ въ переговоры съ г. де-ла-Ривьеромъ о поѣздкѣ его въ Россію. Будучи долгое время на службѣ въ Мартиникѣ, онъ высказалъ очень здравыя идеи въ своемъ трактатѣ. Онъ намъ будетъ полезенъ“. Де-ла-Ривьеръ пріѣхалъ въ Петербургъ; Екатерина старалась исполнить всѣ его желанія; но вскорѣ онъ потерялъ всякое значеніе въ ея глазахъ. Онъ пріѣхалъ въ сентябрѣ 1767 года; въ ноябрѣ Екатерина говоритъ уже, что „сочинитель существеннаго порядка *мелетъ вздоръ*“, а въ январѣ 1768 года пишетъ Панину: „Иванъ Ѳедоровичъ Глѣбовъ сказываетъ, что де-ла-Ривьеръ убавилъ маленько спеси: только говоритъ и много о себѣ думаетъ, а похожъ онъ на доктора“. Четыре года спустя, въ сентябрѣ 1773 года, въ свитѣ ландграфини гессенъ-дармштадтской прибылъ въ Петербургъ Гриммъ и привезъ Екатеринѣ радостную вѣсть: еще въ концѣ мая Дидро выѣхалъ изъ Парижа и вскорѣ долженъ прибыть въ Петербургъ. Съ восторгомъ извѣщая Вольтера о пріѣздѣ Гримма, Екатерина прибавляетъ: „съ минуты на минуту ожидаю Дидро...“

*Бильбасовъ.*

## Дидро и Екатерина II.

Начало отношеній Дидро къ Екатеринѣ восходитъ къ самому началу царствованія Екатерины.

Съ 1751 года Дидро, соединившись съ математикомъ Д'Аламберомъ, при содѣйствіи лучшихъ умовъ Франціи, началъ изданіе знаменитой Энциклопедіи, изданіе, которому онъ главнымъ образомъ обязанъ славою своего имени, и которое, несмотря на яростныя крики духовенства, особенно іезуитовъ, шло безпрепятственно до 1757 года, когда появился седьмой томъ со статьей Д'Аламбера „Genève“. Эта статья подняла на ноги не только католиковъ, но и протестантовъ: авторъ ея позволилъ себѣ осуждать женевское духовенство, обвинять его въ социніанизмъ и предлагать городу Женева построить театр! Множество брошюръ и журнальныхъ статей посыпалось теперь на Энциклопедію и ея сотрудниковъ, которыхъ старались представить вредною для государства и церкви пар-

тією. Огорченный этими нападками, слабохарактерный Д'Аламберъ устранился отъ редакціи Энциклопедіи, и весь трудъ и отвѣтственность по изданію ея понесъ теперь на своихъ плечахъ одинъ Дидро. 23 февраля 1759 года послѣдовало формальное обвиненіе энциклопедистовъ, сдѣланное генеральнымъ адвокатомъ парижскаго парламента, Омеромъ: онъ объявилъ ихъ депстами и атеистами, бунтовщиками и развратителями юношества, и сослался при этомъ на свидѣтельство противъ нихъ Авраама Шоме, который прежде торговалъ уксусомъ, потомъ былъ янсенистомъ и послѣ разныхъ похощеній сдѣлался наконецъ школьнымъ учителемъ въ Москвѣ, откуда возвратился въ Парижъ, чтобы заняться ремесломъ литературнаго доносчика. Парламентъ осудилъ Энциклопедію: продажа уже вышедшихъ и имѣющихъ еще выйти томовъ была запрещена. Съ другой стороны, журналистика не переставала преслѣдовать Дидро многочисленными статьями. Положеніе его было очень трудное и даже опасное, и надобно удивляться тому, какъ онъ въ это время не палъ духомъ, подобно Д'Аламберу, не опустилъ рукъ, не бросилъ своего „великаго предпріятія“. Изъ письма его къ Вольтеру, отъ 28 ноября 1760 года, видно, что онъ продолжалъ горячо работать надъ Энциклопедіей. „Рукопись ея будетъ непременно окончена, — писалъ онъ, — доски будутъ вырѣзаны — и мы бросимъ нашимъ врагамъ одиннадцать томовъ“.

Между тѣмъ какъ Дидро трудился надъ рукописью Энциклопедіи и обдумывалъ средства, какъ бы удобнѣе было бросить своимъ врагамъ недостающіе томы ея, 28 іюня 1762 года возшла на престолъ Екатерина II и предложила ему бросить ихъ *изъ Россіи*. Она живо интересовалась этимъ изданіемъ, съ которымъ хорошо познакомилась, будучи еще великой княгиней. Въ Энциклопедіи, которая какъ нельзя болѣе пришлась по ея вкусу, она находила полное удовлетвореніе для своей любознательности. Она возмущалась безчестнымъ поступкомъ Шоме — и теперь, въ самомъ началѣ своего царствованія, предложила Дидро перенести печатаніе Энциклопедіи въ Ригу. Предложеніе, отъ имени императрицы, сдѣлано было И. И. Шуваловымъ чрезъ Вольтера, съ которымъ онъ давно уже находился въ перепискѣ. Розенкранцъ говоритъ, что Вольтеръ сообщилъ Дидро объ этомъ предложеніи въ письмѣ отъ 25 сентября 1763 года, и вслѣдъ за этимъ замѣчаетъ: „Но уже 3



октября 1762 года Дидро писалъ объ этомъ дѣвицѣ Волянъ“. Отвѣтное письмо Дидро къ Вольтеру, приведенное у Розенкранца, помѣчено 29 сентября 1763 года. Но это едва ли вѣрно. Кажется, оба письма надобно отнести къ тому же 1762 году, къ которому относится и письмо Дидро къ дѣвицѣ Волянъ. По крайней мѣрѣ, въ *сочиненіяхъ* Вольтера, какъ письмо его къ Дидро о предложеніи русской императрицы, такъ и отвѣтное письмо къ Шувалову, помѣщены подъ 1762 годомъ (оба отъ 25 сентября). Предложеніе Екатерины привело въ восторгъ Вольтера и его друзей. „Милостивый государь!“ писалъ онъ изъ Фернея къ Шувалову: „Я получилъ ваше письмо за столомъ, и мы всѣ позволили себѣ выпить за здоровье ея императорскаго величества и пожелать ей долгоденствія и счастья, котораго она вполне заслуживаетъ. Первый поднялъ бокалъ герцогу Вилляръ, сынъ знаменитаго маршала, имя котораго, безъ сомнѣнія, извѣстно у васъ при дворѣ. Съ нами было нѣсколько философовъ, интересующихся *Энциклопедіей*. Мы всѣ пришли въ восхищеніе отъ великодушія вашей августѣйшей государыни. Мы послали вамъ свое благословеніе и, сохраняя все уваженіе наше къ ея величеству, позволили себѣ, милостивый государь, присоединить имя ваше къ ея имени, какъ прежде имя Мецената присоединялось къ имени Августа. Я сомнѣваюсь, чтобы ученые, предпринявшіе изданіе *Энциклопедіи*, въ виду заключенныхъ ими во Франціи обязательствъ, могли воспользоваться милостью ея императорскаго величества; но предложеніе, которое ваше превосходительство дѣлаете имъ, будетъ для нихъ, конечно, самымъ достойнымъ вознагражденіемъ за ихъ труды, и ваше имя справедливо будетъ прославлено ими. Надо признаться, что въ этомъ полезномъ словарѣ есть много статей, которыя недостойны Д'Аламбера и Дидро, потому что не ими составлены. Ихъ непременно надо будетъ передѣлать во второмъ изданіи, и я полагаю, что это второе изданіе можно было бы тиснуть у васъ въ Россіи. Это было бы великолѣпной услугой для литературы и — осмѣлюсь прибавить — не умалило бы славы вашей знаменитой государыни. Только великіе люди способствовали процвѣтанію свободныхъ искусствъ. Императрица пріобрѣтетъ право на имя великаго человѣка. Я пишу къ Дидро и убѣдительно совѣтую ему окончить первое изданіе подъ вашимъ покровительствомъ“.

Вольтеръ сомнѣвался, чтобы Дидро принялъ предложеніе

русской императрицы; но отъ души радовался за Дидро. Отъ того же 25 сентябрю онъ писалъ къ нему: „Ну, славный философъ! Что скажете объ русской императрицѣ? Не правда ли, что ея предложеніе есть самая жестокая пощечина, какую только можно было отвѣсить господамъ, въ родѣ Омера? Въ какое время живемъ мы? Франція преслѣдуетъ философію, а снѣны ей покровительствуютъ! Господинъ Шуваловъ поручилъ мнѣ испросить у васъ позволенія на печатаніе вашей *Энциклопедіи* въ Россіи...“

Довольно значительный гонораръ, который получилъ Дидро за свои труды по редакціи *Энциклопедіи*, далеко не могъ обезпечить его будущности. Нельзя сказать, чтобы Дидро былъ расточителемъ, но онъ былъ крайне нерасчетливъ и проживалъ много. Что оставалось у него отъ издержекъ на содержаніе семьи, состоявшей изъ жены и дочери, то уходило на покупку новыхъ или рѣдкихъ книгъ, прекрасныхъ гравюръ, къ которымъ онъ всегда чувствовалъ маленькую слабость; на фіакры, потому что, при огромныхъ разстояніяхъ Парижа, онъ иначе не могъ бы поддерживать своихъ знакомствъ; на театры и концерты, хотя онъ и умѣренно посѣщалъ ихъ и т. п. Дидро рѣшился продать свою библіотеку. „Гриммъ, продолжаемъ словами его дочери, познакомилъ отца моего съ княземъ Голицынымъ, тогдашнимъ русскимъ посломъ, и дѣло было устроено. Императрица купила библіотеку за 15.000 франковъ, оставила ее отцу моему и назначила ему въ пенсію 1.000 франковъ въ должности библіотекаря. Пенсія, съ умысломъ забытая, два года не была высылаема. Князь Голицынъ спросилъ отца моего, исправно ли онъ получаетъ ее: тотъ отвѣчалъ, что онъ и не думалъ о ней, почитая за особенное счастье, что ея императорскому величеству угодно было купить лавку его, оставляя ему инструменты. Князь увѣрилъ его, что, конечно, не таково намѣреніе государыни, и что онъ обязывается предупредить на будущее время подобный безпорядокъ. Въ самомъ дѣлѣ, вскорѣ послѣ того, отецъ мой получилъ 50.000 франковъ впередъ за пятьдесятъ лѣтъ“.

Благодѣяніе, которое императрица Екатерина оказала Дидро покупкою его библіотеки, привело въ восторгъ Вольтера. Онъ писалъ къ Екатеринѣ (письмо, впрочемъ, безъ даты): „Я счастливъ еще и тѣмъ, что всѣ, кого ваше величество осыпаете милостями, мои друзья. Я много обязанъ вамъ за то, что вы



сдѣлали для Дидро, Д'Аламберовъ и Каласовъ. Всѣ европейскіе литераторы должны повергнуться къ стопамъ вашимъ“. Екатерина отвѣчала Вольтеру письмомъ изъ Петербурга, отъ 17—28 ноября 1765 года: „Никогда я не думала, что пріобрѣтеніе библіотеки доставитъ мнѣ такія похвалы, какими всѣ осыпаютъ меня по случаю покупки книгъ Дидро. Но вы, кому человѣчество обязано защитой невинности и добродѣтели въ лицѣ Каласовъ, согласитесь, что было бы жестоко и несправедливо разлучать ученаго съ его книгами...“

Но если нельзя сомнѣваться въ искренности того чувства, которое побуждало ихъ создать алтари Екатерины, то еще менѣе можно сомнѣваться въ искренности расположенія самой императрицы къ тѣмъ просвѣтительнымъ идеямъ вѣка, которыхъ носителями были тогдашніе философы, и которыя нашли себѣ такое полное выраженіе въ Энциклопедіи. То „философское расположеніе ума“, которое графъ Гюлленбургъ замѣтилъ у Екатерины еще въ дѣтствѣ, когда она жила съ матерью въ Гамбургѣ, въ послѣдствіи развилось и окрѣпло у нея подъ вліяніемъ чтенія Платона, Тацита (его лѣтописей), Бейля (историческаго и критическаго словаря), Монтескьё, Вольтера и энциклопедистовъ, чтенія, которому она предавалась, будучи еще великой княгиней, и которымъ опредѣлился характеръ и направленіе философскихъ симпатій будущей императрицы. Ими-то и вызвано было то покровительство, которое оказывала Екатерина тогдашнимъ философамъ оппозиціи вообще и Дидро въ особенности, хотя и нельзя отрицать, чтобы къ нему не примѣшивалось нѣкотораго политическаго расчета.

„Екатерина, — говоритъ профессоръ Розенкранцъ по поводу покупки ею библіотеки Дидро, — Екатерина хорошо знала, что дѣлала. Покупкою библіотеки Дидро она не только сдѣлала хорошее пріобрѣтеніе, но и увижала французскій дворъ и представляла всѣхъ друзей тогдашняго революціоннаго движенія, и во главѣ ихъ Вольтера, громко восхвалять ея великодушіе. Фридрихъ былъ Соломономъ, Екатерина — Семипрамой Сѣвера. Однажды послала она въ подарокъ французскимъ академикамъ прекрасныя шубы. Это было весьма практично, но Гриммъ пришелъ въ восторгъ отъ этого поступка Екатерины, какъ будто бы онъ былъ самымъ добродѣтельнымъ подвигомъ. Самъ Дидро писалъ въ Петербургъ, отъ 29 декабря 1767 года, что Екатерина не только тамъ, но и въ Парижѣ пользуется

великою славою, которую раздѣляютъ съ нею самые просвѣщенные и передовые мужи націи, его друзья. Если Моренъ („Essai sur la vie et le caractère de Rousseau“, 1851 годъ, стр. 73) упрекаетъ Дидро въ томъ, что онъ, философъ оппозиціи, чуть не демократъ, унизился предъ Екатериной и принялъ отъ нея пенсію, что онъ забываетъ, что философы видѣли въ Екатеринѣ также философа. Тогдашніе государи, наравнѣ съ нами, были друзьями просвѣщенія. Освобожденіе отъ предразсудковъ, уничтоженіе злоупотребленій, ограниченіе власти духовенства, утвержденіе терпимости, распространеніе благотворительности, покровительство промышленности — все это было и ихъ лозунгомъ, и въ отношеніи къ нимъ философы умѣли держать себя съ большимъ достоинствомъ, въ чемъ легко убѣдиться, прочтя переписку не только Вольтера, но и Д'Аржанса, Д'Аламбера и Гримма. *Sensiblerie déclamatoire* просвѣщенія была тогда общею страстью. Когда госпожа Жофренъ, женщина мѣщанскаго происхожденія, въ 1766 году, на пути въ Варшаву, пріѣхала въ Вѣну, то ее приняли съ величайшею предупредительностью; но, съ своей стороны, она вела себя съ такимъ тонкимъ тактомъ, что блистательно оправдала сдѣланный ей блистательный пріемъ. Во время пребыванія своего въ Петербургѣ, Дидро такъ свободно говорилъ съ императрицей въ ея кабинетѣ, что потомъ самъ удивлялся своей смѣлости. Когда же случалось ему останавливаться, она сама просила его продолжать, не стѣсняясь“.

Мысль о поѣздкѣ въ Петербургъ была вызвана въ Дидро чувствомъ глубокой признательности къ Екатеринѣ за оказанное ему благодареніе, къ которому она присоединила новое предложеніе о перенесеніи изданія Энциклопедіи въ Петербургъ, не зная еще, какъ видно, что печатаніе текста словаря было уже окончено, и что вскорѣ долженъ онъ былъ выйти въ свѣтъ. Самъ Дидро смотрѣлъ на предстоящую ему поѣздку, какъ на исполненіе долга благодарнаго сердца въ отношеніи къ его благодѣтельницѣ. Этотъ долгъ сердца онъ исполнилъ въ 1773—1774 годахъ, будучи уже шестидесятилѣтнимъ старцемъ.

Въ сочиненіи Розенкранца мы находимъ нѣсколько страницъ, посвященныхъ описанію путешествія Дидро въ Петербургъ. Въ самомъ началѣ авторъ представляетъ легкій очеркъ предшествовавшихъ отношеній Дидро къ императрицѣ Екатеринѣ и къ княгинѣ Дашковой. „Дидро, — говоритъ онъ, — по-



чти уже свелъ свои счеты съ жизнью. Онъ окончилъ изданіе Энциклопедіи и обѣщанныхъ къ ней, въ видѣ приложенія, гравюръ. Послѣ своихъ драмъ онъ уже ничего болѣе не хотѣлъ печатать. Онъ раздѣлился съ братомъ и сестрою, и въ 1770 году видѣлся съ ними въ послѣдній разъ. Онъ ограничилъ кругъ своихъ общественныхъ отношеній и, что особенно было для него важно, выдалъ замужъ свою дочь. Когда полученный имъ за Энциклопедію гонораръ пересталъ покрывать собою его домашнія издержки, благоволеніе русской императрицы обезпечило его старость въ средствахъ пропитанія. Засвидѣтельствовавъ уже письменно свою благодарность Екатеринѣ и въ прозѣ, и въ восторженныхъ стихахъ, онъ передъ смертію хотѣлъ исполнить еще одинъ долгъ — принести ей личную благодарность. Съ 1765 года онъ вошелъ къ ней въ ближайшія отношенія и исполнялъ нѣкоторыя небольшія ея порученія. Онъ купилъ для нея картинную галерею Геньята (Goignat); онъ склонилъ Фальконета къ поѣздкѣ въ Петербургъ для изваянія статуи Петра Великаго; въ интересахъ императрицы, онъ уговорилъ Рюльера не издавать своего сочиненія о русскомъ переворотѣ 1762 года, гдѣ не была пощажена Екатерина и пр. Въ 1770 году онъ познакомился съ княгинею Дашковою, которая, во время перваго пребыванія своего въ Парижѣ, продолжавшагося всего три недѣли, „избѣгала всякихъ знакомствъ, исключая знаменитаго Дидро“. Она путешествовала тогда инкогнито, подъ именемъ госпожи Михалковой. Послѣ своихъ утреннихъ прогулокъ, продолжавшихся отъ восьми до трехъ часовъ пополудни, она обыкновенно сама подѣзжала къ его квартирѣ, брала его съ собою обѣдать и часто заговаривалась съ нимъ за полночь. Въ своихъ *Запискахъ* она очень живо передала намъ содержаніе этихъ бесѣдъ, между прочимъ, разговоръ объ освобожденіи крестьянъ, на которомъ сильно настаивалъ Дидро въ интересахъ образованія ихъ и развитія народнаго богатства въ Россіи. Въ обращеніи съ княгиней онъ не сдерживалъ живыхъ движеній своего чувства и порой руководилъ ею, какъ ребенкомъ. Такъ онъ не допустилъ ея до личнаго знакомства съ госпожею Жофренъ, потому что послѣдняя, — какъ онъ объяснялъ ей потомъ, — по краткости времени не могла бы хорошо узнать ее, а между тѣмъ, будучи парижскою трубою, могла бы, не понявъ ее, разнести про нее дурную славу. Онъ не допустилъ

ее также принять пріѣхавшаго къ ней съ визитомъ Рюльера, потому что этимъ пріемомъ, — какъ говорилъ онъ ей, — она могла бы придать значеніе его книгѣ, въ высшей степени не-пріятной императрицѣ, и съ которой онъ успѣлъ снять три копіи и передать ихъ — одну въ кабинетъ министерства иностранныхъ дѣлъ, другую госпожѣ Граммонъ, а третью архі-епископу Парижскому. Впослѣдствіи она благодарила его за этотъ добрый и умный совѣтъ. Вотъ что говоритъ она о Дидро: „Искренность и правдивость его характера, блескъ генія, вмѣстѣ со вниманіемъ и уваженіемъ, которое онъ оказывалъ мнѣ при всякомъ случаѣ, привязали меня къ нему на всю его жизнь, и даже въ настоящую минуту я свято чту его память. Міръ не зналъ хорошо этого необыкновеннаго человѣка. Добродѣтель и простота проникали каждое дѣйствіе его, и главною задачею всей его жизни было способствовать благу своихъ ближнихъ. Если онъ, по чрезмѣрной живости своего характера, и впадалъ иногда въ заблужденія, то все-таки былъ искрененъ, потому что самъ всегда оставался въ накладѣ. Впрочемъ, не мнѣ превозносить его рѣдкія качества; это было дѣломъ болѣе достойныхъ меня лицъ.

Десять лѣтъ спустя княгиня Дашкова опять была въ Парижѣ, на этотъ разъ уже подъ настоящимъ своимъ именемъ. „Съ необыкновеннымъ удовольствіемъ, — говоритъ она, — я опять увидѣлась съ Дидро, который принялъ меня съ прежнимъ радушіемъ. Дидро, несмотря на упадокъ своего здоровья, каждый день проводилъ со мною. Утреннее время мы обыкновенно посвящали изученію произведеній лучшихъ художниковъ“.

Въ 1770 году Дидро написалъ превосходную характеристику княгини Дашковой, „Portrait de la princesse D'Aschkof“, начинающуюся слѣдующими словами: „Княгиня Дашкова прожила здѣсь (въ Парижѣ) двѣ недѣли. Я провелъ съ ней въ это время четыре вечера, отъ пяти часовъ пополудни до полуночи; имѣлъ честь съ нею обѣдать и ужинать, и былъ почти единственнымъ французомъ, котораго она у себя принимала“. Онъ изображаетъ ее истую русскою женщиною, русской съ головы до ногъ („intus et in cute“), полною удивленія къ императрицѣ, о которой она всегда говорила съ уваженіемъ и почтеніемъ. Онъ заключаетъ слѣдующими словами: „Она (княгиня) величала меня самымъ пріятнымъ собесѣдникомъ, человѣкомъ вездѣ и всегда неизмѣннымъ въ своемъ характерѣ...“



Въ такихъ чертахъ профессоръ Розенкранцъ изображаетъ отношенія Дидро къ императрицѣ Екатеринѣ и въ особенности къ княгинѣ Дашковой, съ которой такъ близко сошелся онъ еще во время первой поѣздки ея за границу, и которую могъ надѣяться встрѣтить теперь въ Петербургѣ. Дидро отправился въ дорогу, черезъ Гагу, гдѣ болѣе трехъ мѣсяцевъ лучшаго времени года прожилъ въ семействѣ русскаго посла, князя Голицына, и только къ осени пустился въ далекій и трудный путь.

„Путешествіе изъ Парижа въ Петербургъ, — продолжаетъ Розенкранцъ, — было сопряжено тогда съ немалыми опасностями, и потому Дидро, прежде чѣмъ предпринять его, сдѣлалъ распоряженіе о своемъ литературномъ наслѣдствѣ: онъ поручилъ его заботамъ своего друга Нэжона... Въ завѣщаніи своему семейству онъ обязалъ Нэжона условіемъ не обнародовать изъ его бумагъ ничего такого, что могло бы повредить его чести или благу другихъ. Въ маѣ 1773 года онъ отправился въ путь и прибылъ въ Гагу, гдѣ остановился въ домѣ князя Голицына, съ которымъ былъ весьма друженъ еще съ Парижа. Онъ очень любилъ также и общество жены князя Голицына, которая, благодаря Гемстергюйсу, Якоби, Гаманну и Гете, приобрѣла громкую извѣстность въ нѣмецкой литературѣ. Онъ хвалитъ ея познанія, ея умѣнье свободно говорить на разныхъ языкахъ, ея музыкальное образованіе, ея умъ, и говорить, что она диспутируетъ какъ львенокъ; можетъ быть только, — прибавляетъ онъ, — она слишкомъ чувствительна, чтобы быть вполне счастливою. „Съ княземъ и его женой, — писалъ онъ, — я живу какъ добрый братъ ихъ; сижу дома и много работаю; если выхожу иногда, такъ только на берегъ моря, которое настраиваетъ меня къ мечтамъ“. Его интересовали республиканскіе приемы, республиканскій тонъ голландцевъ; оба Бентинка казались ему двумя древними римлянами“.

Много сердечной теплоты вносилъ Дидро въ свои привязанности. Вообще онъ былъ одаренъ нѣжнымъ и глубокимъ чувствомъ дружбы, которая составляла насущную потребность его прекраснаго сердца. Отъ природы застѣнчивый, онъ не любилъ большихъ собраний и предпочиталъ имъ тѣсный кругъ добрыхъ друзей, съ которыми могъ говорить свободно. Особенное удовольствіе доставляло ему это *tête-à-tête* съ уважаемыми и любимыми имъ лицами, когда оно было оживлено присутствіемъ

женщины. Женщина всегда имѣла для него большую привлекательность. Онъ не могъ обойтись безъ ея общества. Такимъ образомъ пребываніе его въ Гагѣ у Голицыныхъ было для него особенно пріятно. Онъ жилъ у нихъ, какъ родной. Онъ могъ говорить съ ними не стѣсняясь. Участіе, которое принимала въ этихъ задушевныхъ бесѣдахъ княгиня Голицына, возвышало для него ихъ прелесть.

Дидро зажилъ у Голицыныхъ, какъ надобно думать, въ ожиданіи Нарышкина, который долженъ былъ сопровождать его въ Петербургъ, — и только въ концѣ августа пустился въ дорогу. Прежде чѣмъ послѣдовать за нимъ, мы замѣтимъ, что сообщаемыя Розенкранцемъ данныя о путешествіи Дидро извлечены, главнымъ образомъ, изъ собственныхъ его писемъ, и потому точнѣе тѣхъ, которыя обыкновенно приводятся, точнѣе даже тѣхъ, которыя находимъ въ разсказѣ его дочери.

„22 августа, — разсказываетъ Розенкранцъ, — Дидро, въ сопровожденіи императорскаго камергера Нарышкина, отправился въ Петербургъ. Въ Дюссельдорфѣ, на который лежалъ его путь, онъ осматривалъ картинную галерею. Время прібытія его въ Петербургъ неизвѣстно. Онъ думалъ остановиться у друга своего Фальконета, который такъ часто приглашалъ его въ Петербургъ; но тотъ принялъ его довольно холодно и отказалъ ему въ помѣщеніи у себя, извиняясь тѣмъ, что у него нѣтъ свободной комнаты, а та, которая была для него приготовлена, занята теперь его сыномъ, недавно къ нему пріѣхавшимъ. Это очень огорчило Дидро и на нѣкоторое время произвело между ними охлажденіе. Онъ переѣхалъ къ Нарышкину, который во все время пребыванія его въ Петербургѣ оказывалъ ему величайшее вниманіе. Увидѣвъ въ мастерской Фальконета модель конной статуи Петра Великаго, онъ написалъ къ нему теплое письмо (отъ 6 декабря), въ которомъ выражалъ свое удивленіе его созданію“.

„Императрица, — продолжаемъ разсказъ Розенкранца, — дозволила Дидро свободный входъ къ себѣ ежедневно, отъ трехъ часовъ пополудни до шести. Много часовъ провелъ онъ у нея въ кабинетѣ, свободно бесѣдуя съ ней обо всѣхъ возможныхъ предметахъ, особенно о законодательствѣ и образованіи Россіи. Порой, въ пылу оживленнаго разговора, онъ трепалъ ее по колѣнямъ, и она вовсе не оскорблялась этимъ. Она совершенно очаровала его, и онъ увѣрялъ, что у нея душа



Брута въ образѣ Клеопатры. Онъ далеко не былъ созданъ для жизни въ кругу придворныхъ, и они, естественно, столько же завидовали ему, сколько и подсмѣивались надъ нимъ. Они ожидали отъ него не болѣе, какъ легкихъ, остроумныхъ рѣчей — и нашли въ немъ слишкомъ много серьезности и разсудительности. Впрочемъ онъ не далъ имъ замѣтить въ себѣ ни одной слабости. Онъ явился къ императрицѣ въ простомъ черномъ платьѣ. Она подарила ему цвѣтной, подбитый мѣхомъ, нарядный кафтанъ и муфту. Изъ ученыхъ, съ которыми ему случалось встрѣчаться въ Петербургѣ, онъ упоминаетъ только о „добромъ и почтенномъ Эйлерѣ“. Онъ довольно хорошо переносилъ петербургскій климатъ, только сильный холодъ причинялъ ему жестокую боль въ груди. Пріѣздъ Гримма въ Петербургъ доставилъ ему большое удовольствіе“.

Иностранные дипломаты при русскомъ дворѣ никакъ не могли понять этихъ простыхъ, человѣческихъ отношеній между великою государынею и великимъ писателемъ и объясняли ихъ по-своему. Такъ лордъ Каткартъ, незадолго до выѣзда своего изъ Петербурга, писалъ въ своей депешѣ отъ 3 декабря 1773 года: „Дидро теперь съ императрицей въ Царскомъ Селѣ, гдѣ продолжаетъ вести политическія интриги. Всѣ письма его исполнены восторженныхъ похвалъ императрицѣ, которую онъ изображаетъ существомъ необыкновеннымъ. Не менѣе грубо льститъ онъ и великому князю; но этотъ молодой принцъ — къ чести его — высказалъ столько же презрѣнія къ низкому ласкательству, сколько и отвращенія къ пагубнымъ началамъ этого мнимаго философа“.

Дидро не засталъ въ Петербургѣ княгини Дашковой, которая, незадолго до его прибытія, выѣхала въ Москву. Но онъ часто и съ удовольствіемъ вспоминалъ объ ней, и въ разговорахъ съ императрицею, и въ разговорахъ съ Фальконетомъ и его воспитанницей; онъ хлопоталъ объ исполненіи какого-то важнаго ея порученія, для чего ему надо было видаться съ ея братомъ. Онъ даже думалъ было побывать у нея въ Москвѣ; но „бѣдная машина, разстроенная утомительнымъ путешествіемъ, окутанная отъ холода шубой въ пятьдесятъ фунтовъ вѣсомъ, разбитая, исковерканная, дрожащая, поистинѣ достойная состраданія, шатающаяся, сморщившаяся и укоротившаяся въ половину своего размѣра“ — эта жалкая машина не позволила ему исполнить его намѣренія. Обо всемъ этомъ

мы узнаемъ изъ двухъ писемъ Дидро къ княгини Дашковой, которая издательница ея *Записокъ*, госпожа Брандфордъ, помѣстила между приложеніями къ нимъ, въ англійскомъ переводѣ. Оба письма изъ Петербурга: одно отъ 24 декабря, нов. ст. (1773), другое отъ 23 января 1774 года. Первое изъ нихъ имѣетъ для насъ особенный интересъ, потому что сообщаетъ нѣсколько данныхъ о пребываніи Дидро въ Петербургѣ. „Ничего не можетъ быть вѣрнѣе — пишетъ онъ къ княгинѣ въ Москву, — я дѣйствительно въ Петербургѣ. На шестидесятомъ году возраста я проѣхалъ восемь или девять сотенъ миль (*lieues*), покинулъ жену, дочь, родныхъ, друзей, знакомыхъ, чтобы засвидѣтельствовать уваженіе великой государынѣ, моей благодѣтельницѣ. Что вы скажете обо мнѣ? Хорошо я поступилъ? Я увѣренъ, что вашъ отвѣтъ будетъ отвѣтомъ женщины съ душой, съ чувствомъ и сверхъ того съ порядочнымъ запасомъ того качества, безъ котораго ни въ чемъ нельзя стать выше посредственности, и которое называется *энтузіазмомъ*. Со всѣмъ тѣмъ, во время моего путешествія, я дважды рисковалъ жизнью, хотя жизнь въ разлукѣ съ тѣми, кого мы любимъ, и кто насъ любитъ, не много стоитъ. Можетъ быть, вернувшись домой, я перестану хвалиться моею неустрашимостью“.

„Я имѣлъ честь очень часто бывать у ея императорскаго величества, гораздо чаще, чѣмъ смѣлъ надѣяться. Я нашелъ ее совершенно такою, какъ вы описывали мнѣ ее въ Парижѣ. Никто не обладаетъ такимъ умѣньемъ дѣлать людей непринужденными, какъ она. Такою же свободою, какъ бывало у васъ, я пользуюсь и во дворцѣ ея императорскаго величества: говорю все, что ни придетъ въ голову — умно, можетъ быть, что мнѣ самому кажется глупымъ, а можетъ быть — и очень глупо, что мнѣ самому кажется умнымъ. Вѣрно то, что идеи, перенесенныя изъ Парижа въ Петербургѣ, принимаютъ совсѣмъ другой цвѣтъ“.

Тотъ энтузіазмъ, съ какимъ Дидро говорилъ объ Екатеринѣ въ письмахъ своихъ изъ Петербурга, подъ живымъ, непосредственнымъ впечатлѣніемъ ея личности, нисколько не охладѣлъ и по выѣздѣ его изъ Петербурга: стоитъ только прочесть отзывъ его объ ней въ письмѣ изъ Гаги, отъ 15 іюня 1774 года, чтобы убѣдиться въ этомъ: „Ахъ, друзья мои! — писалъ онъ въ Парижъ: — что за государыня! что за необыкновенная



женщина! Нельзя заподозрить похвалу мою, ибо я обвелъ щедрость ея самыми тѣсными границами; надобно же будетъ вѣрить мнѣ, когда опишу ее собственными ея рѣчами; надобно же будетъ признаться вамъ всѣмъ, что это душа Брута въ образѣ Клеопатры: мужество одного и прелести послѣдней“.

Каково же было впечатлѣніе, произведенное на Екатерину знаменитымъ энциклопедистомъ? Что думала и говорила она объ немъ? Еще во время пребыванія его въ Петербургѣ она не разъ высказывала свое мнѣніе объ немъ въ письмахъ къ Вольтеру. Такъ отъ 27 декабря 1773 года (7 января 1774), она писала къ нему: „Я нахожу въ Дидро неистощимое воображеніе и считаю его однимъ изъ необыкновенныхъ, когда-либо существовавшихъ людей. Если онъ и не жалуется Мустафы, какъ вы пишете мнѣ, то все же не хочетъ ему зла: для этого у него слишкомъ много доброты сердца, при всей силѣ его ума и желаніи мнѣ успѣха“. Черезъ нѣсколько дней по отъѣздѣ Дидро изъ Петербурга императрица писала Вольтеру (отъ 4/13 марта): „Дидро отправился въ Парижъ. Бесѣды наши были очень часты, и его пребываніе въ Петербургѣ доставило мнѣ величайшее удовольствіе. Такіе люди рѣдки. Ему не легко было разставаться съ нами; насъ разлучила только привязанность его къ семейству“.

Изъ этихъ отзывовъ видно, что Екатерина хорошо поняла и вѣрно оцѣнила всѣ прекрасныя стороны въ личности Дидро; но она не высказалась вполне передъ его пріятелемъ. Она находила величайшее наслажденіе въ бесѣдѣ съ Дидро, который, по единогласному свидѣтельству всѣхъ современниковъ, лично знавшихъ его, обладалъ даромъ блестящей, необыкновенно увлекательной рѣчи. У него, у самого былъ порядочный запасъ того качества, котораго онъ требовалъ отъ княгини Дашковой, и безъ котораго, по его замѣчанію, ни въ чемъ нельзя стать выше посредственности: энтузіазмъ составлялъ существенное свойство его натуры. Онъ говорилъ съ энтузіазмомъ, весь отдаваясь предмету рѣчи, особенно въ небольшомъ кругу, съ глазу на глазъ — и рѣчь его была живой, могучей импровизаціей: госпожа Неккеръ не могла наслушаться его и желала, чтобы секретарь, за спиной его, записывалъ все, что онъ говоритъ. Понятно восхищеніе Екатерины, слушавшей Дидро. По словамъ ея, она не устала бы говорить съ нимъ всю жизнь; но какъ далеко она готова была слѣдовать его идеямъ?

Германъ. въ своей „Исторіи русскаго государства“, коснувшись отношеній Екатерины къ Дидро, говоритъ слѣдующее: „Въ концѣ 1773 года Дидро и Гриммъ, которыхъ императрица не разъ приглашала къ себѣ, пріѣхали въ Петербургъ. Оба приняты были отлично. Съ первымъ она бесѣдовала ежедневно, послѣ обѣда. Обычнымъ предметомъ ихъ разговоровъ были философія, законодательство и политика. Дидро, съ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ, развивалъ основныя мысли свои о свободѣ и народномъ правѣ. Казалось, императрица была въ восхищеніи отъ его словъ, однакожъ не выказала ни малѣйшаго расположенія дѣйствовать въ ихъ смыслѣ. Дидро, — говорила она, — разсуждаетъ иногда какъ столѣтній старецъ, а иногда какъ десятилѣтній ребенокъ“.

Много лѣтъ спустя по выѣздѣ Дидро изъ Петербурга, когда его уже не было въ живыхъ, Екатерина еще яснѣе высказалась насчетъ практической приложимости идей, которыя онъ развивалъ передъ нею съ такимъ энтузіазмомъ. Въ 1787 году, во время таврическаго путешествія, она вспомнила о Дидро и рассказала Сегюру слѣдующее: „Я долго и часто съ нимъ бесѣдовала, но болѣе съ любопытствомъ, чѣмъ съ пользою. Если бы я послушалась его, то пришлось бы все перевернуть въ моемъ государствѣ: законы, администрацію, политику, финансы — уничтожить все и замѣнить несбыточными теоріями. При всемъ томъ, такъ какъ я болѣе слушала его, чѣмъ говорила, то, взглянувъ на насъ со стороны, можно было бы принять его за строгаго наставника, а меня за покорную его ученицу. По всей вѣроятности, и ему самому такъ думалось; ибо, по прошествіи нѣкотораго времени, замѣтивъ, что въ управленіи моемъ не послѣдовало никакихъ великихъ нововведеній, которыя онъ мнѣ совѣтовалъ, онъ съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ оскорбленной гордости выразилъ мнѣ свое удивленіе. Тогда я откровенно сказала ему: „Господинъ Дидро! Я съ большимъ удовольствіемъ слушала все, что вы говорили мнѣ по внушенію вашего блестящаго ума; но со всѣми вашими великими началами, которыя я понимаю отлично, хорошо писать книги, а плохо дѣйствовать. Во всѣхъ своихъ планахъ преобразованій вы забываете различіе нашихъ положеній. Вы имѣете дѣло съ бумагой, которая все терпитъ: она гладка, послушна вамъ и не представляетъ препятствій ни воображенію, ни перу вашему; между тѣмъ какъ я, бѣдная императрица, имѣю дѣло



съ людьми, которые чувствительнѣе и щекотливѣе бумаги“. Я увѣрена, что съ тѣхъ поръ онъ началъ смотрѣть на меня съ сожалѣніемъ, считая меня женщиной простой и ограниченной. Съ того времени онъ говорилъ со мною только о литературѣ: политика исчезла изъ нашихъ бесѣдъ“.

Екатерина ошиблась. И послѣ этого разговора Дидро не измѣнилъ своего высокаго мнѣнія объ ней: съ тѣмъ же энтузіазмомъ, какъ въ Петербургѣ, онъ, какъ мы видѣли, отзывался объ ней и мѣсяца три спустя по выѣздѣ изъ Петербурга. Онъ только долженъ былъ убѣдиться въ неприложимости своихъ началъ къ русской почвѣ, которой вовсе не зналъ, и которую такъ хорошо знала императрица — убѣжденіе грустное; но онъ могъ успокоиться на мысли, высказанной имъ княгинѣ Дашковой, вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ только что приведеннаго разговора, что „идеи, перенесенныя изъ Парижа въ Петербургъ, принимаютъ совсѣмъ другой цвѣтъ“.

Дѣло въ томъ, что Дидро скучалъ по дому и въ февралѣ собрался въ дорогу. „Екатерина осыпала бы его щедрыми милостями“, говоритъ профессоръ Розенкранцъ, „если бы только онъ пожелалъ ихъ... Но онъ испросилъ себѣ у императрицы только свободного отъ путевыхъ расходовъ возвращенія въ отечество и на память отъ нея — какой-нибудь бездѣлки, которую бы она сама носила. Она подарила ему перстень съ рѣзнымъ камнемъ: онъ дорожилъ имъ болѣе всего на свѣтѣ.“

4 марта (нов. стиля) 1774 года, послѣ пятимѣсячнаго пребыванія, онъ выѣхалъ изъ Петербурга, въ каретѣ, которая, по приказанію императрицы, была изготовлена собственно для него — такимъ образомъ, чтобы онъ могъ въ ней дорогою и ѣсть и спать. Она дала ему въ провожатые любезнаго и расторопнаго челоуѣка, котораго звали *Бага*. При переѣздѣ черезъ Двинну, въ Ригѣ, онъ чуть было не утонулъ въ рѣкѣ, которая готова уже была тронуться. На поромѣ, въ Митавѣ, ему едва не переломило руки и плеча, и тридцать челоуѣкъ съ величайшими усиліями могли поставить на поромъ его карету.

Онъ ѣхалъ почти безостановочно до самой Гаги, гдѣ съ радостнымъ нетерпѣніемъ ожидали его князь Голицынъ и его жена. Фридрихъ приглашалъ его заѣхать къ нему въ Берлинъ, но онъ не принялъ этого приглашенія, боясь, вѣроятно, подвергнуться чрезмѣрному напряженію силъ въ сферѣ берлин-

ской придворной жизни, а, можетъ быть, и не желая дѣлать чувствъ своего обожанія между Екатериною и Фридрихомъ.

Впрочемъ послѣдній, въ письмѣ своемъ къ Д'Аламберу, отъ 7 января 1774 года, отзывается объ немъ не совсѣмъ благосклонно: „Я слыхалъ, что Дидро въ Петербургѣ наводитъ на всѣхъ скуку, потому что пережевываетъ все одно и то же. Я самъ, такой терпѣливый читатель, не могу осплить его сочиненій, потому что въ нихъ звучитъ самодовольный, высокомѣрный топъ, возмущающій инстинктъ моей свободы“. Прежде Фридрихъ интересовался Энциклопедіей, и еще до Екатерины предложилъ ей редакторамъ перенести продолженіе этого изданія къ нему въ Берлинъ. Предложеніе было отклонено благодарственнымъ письмомъ Д'Аламбера. Очень можетъ быть, что и Дидро, съ своей стороны, также опасался, чтобы такая могущественная личность, какова была личность Фридриха, не стѣснила инстинкта его свободы.

5 апрѣля, ровно черезъ мѣсяць по выѣздѣ изъ Петербурга, Дидро, черезъ Гамбургъ, прибылъ въ Гагу, здоровый, — какъ писалъ онъ своимъ роднымъ, — и менѣе утомленный этимъ далекимъ путемъ, нежели бывалъ иногда отъ прогулки. Въ самомъ дѣлѣ, кромѣ несчастнаго паденія на поромѣ, въ Митавѣ, дорога во все время его переѣзда была благопріятная; погода, какъ нарочно, стояла отличная: тѣмъ не менѣе на пути онъ побросалъ четыре изломанные кареты.

Можно представить себѣ, какъ обрадовались Голицыны пріѣзду Дидро. Онъ опять поселился у нихъ и провелъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, окруженный заботливостью и любовью этого семейства.

Мы приведемъ здѣсь нѣсколько строкъ изъ письма его, отъ 15 іюня 1774 года, изъ Гаги, которыя живо характеризуютъ его отношенія къ Голицынымъ и ближе знакомятъ насъ съ привлекательною личностью самой княгини. „Не опасайтесь за меня“, писалъ Дидро: „мы ложимся спать рано, почти не ужинаемъ. Не имѣю еще духа приняться за работу, надобно дать время окрѣпнуть развинтившимся членамъ моимъ; это дѣло сна, и я, съ возвращенія моего, сплю часовъ восемь и девять безпросыпа. Князь занятъ своими политическими дѣлами; княгиня ведетъ жизнь, едва ли сродную съ ея молодостью, легкостью ума и веселыми свойствами: она выѣзжаетъ мало, рѣдко принимаетъ у себя гостей, имѣетъ учителей исторіи,



математики, языковъ; охотно оставляетъ придворный пиръ, чтобы во-время пріѣхать домой къ назначенному уроку, старается нравиться мужу, заботится сама о воспитаніи дѣтей, отказалась отъ богатыхъ нарядовъ, встаетъ и ложится спать рано, и жизнь моя размѣрена на ихъ домашній ладъ. Мы охотно споримъ до бѣшенства; я не всегда соглашаюсь съ мнѣніями княгини; хотя мы оба заражены страстью къ древности, но князь будто обязался намъ во всемъ противорѣчить: Гомеръ — дурачокъ, Плиній — отъявленный глупецъ, китайцы честнѣйшіе люди въ свѣтѣ, и такъ далѣе. Весь этотъ народъ намъ не братья и не закадычные пріатели, и потому въ споры наши вмѣшивается одна веселость и живость, и частица самолюбія для приправы. Князь, который пріобрѣлъ такъ много картинъ, охотнѣе соглашается, что онъ въ нихъ толку не знаетъ, нежели сознается въ знаніи другого любителя...“

Спѣша домой, Дидро располагалъ оставаться въ Гагѣ весьма недолго, а между тѣмъ прожилъ въ ней до начала сентября! Впрочемъ — не безъ дѣла. Есть основаніе думать, что, во время этого второго пребыванія въ Голландіи, онъ занимался сочиненіемъ очень подробнаго описанія этой страны („Voyage de Hollande“). Кромѣ того, у него было и другое дѣло, требовавшее его присутствія въ Голландіи. Изъ писемъ его въ Парижъ видно, что ему поручено было императрицею изданіе „Плановъ и уставовъ различныхъ заведеній, основанныхъ въ имперіи государынею для образованія юношества и блага всѣхъ ея подданныхъ“. На немъ лежалъ трудъ стилистической отдѣлки и корректуры этихъ „Плановъ и уставовъ“, вышедшихъ въ Амстердамѣ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Les plans et les status des différens établissemens ordonnés par sa majesté impériale Catherine II pour l'éducation de la jeunesse et l'utilité générale de son empire, écrits en langue russe par Monsieur Betzky, et traduits en langue française d'après les originaux par Monsieur Clerc. Un bon prince est semblable à la divinité à qui l'on ne peut rien offrir. qui ne fasse partie de ses bienfaits“ (2 тома, Амстердамъ, 1775).

По окончаніи этихъ трудовъ Дидро могъ наконецъ оставить Гагу, и съ какимъ чувствомъ онъ долженъ былъ подъѣзжать къ Парижу, послѣ отсутствія, продолжавшагося почти полтора года. Наконецъ онъ возвратился въ Парижъ — и могъ обнять дорогихъ его сердцу жену и дочь. Дочь нашла, что

онъ похудѣлъ, но былъ все такъ же веселъ, чувствителенъ и добрѣ.

Кромѣ изданія труда Бецкаго, Екатерина поручила Дидро еще другое дѣло, исполненіе котораго онъ долженъ былъ отложить до возвращенія своего въ Парижъ, такъ какъ въ Гагѣ, за другими занятіями, онъ не могъ посвятить ему достаточно времени и вниманія. Мы видѣли, что главнымъ предметомъ бесѣдъ его съ императрицею, кромѣ литературы и философіи, было законодательство и образованіе Россіи. Мы знаемъ, что предложенныя имъ реформы должны были измѣнить или, скорѣе, уничтожить весь существующій порядокъ вещей въ государствѣ и построить общество на новыхъ началахъ, на тѣхъ великихъ началахъ свободы и народнаго права, которыя съ такимъ краснорѣчіемъ развивалъ онъ предъ Екатериною. Мы имѣемъ основаніе думать, что въ числѣ этихъ реформъ была и крестьянская, на необходимости которой Дидро сильно настаивалъ еще въ 1770 году, въ разговорѣ съ княгинею Дашковой — и долженъ былъ еще сильнѣе настаивать въ 1773 — 1774 годахъ, въ эпоху пугачевщины, въ разговорѣ съ Екатериной.

Императрица отступила предъ „несбыточными теоріями“ Дидро; но мыслямъ его о народномъ образованіи она придавала, кажется, болѣе практическаго значенія. По крайней мѣрѣ, она поручила ему составить проектъ организаціи народнаго образованія въ Россіи. Этотъ проектъ написанъ былъ имъ въ Парижѣ, въ 1774 году, подъ слѣдующимъ заглавіемъ „Plan d'une université pour le gouvernement de Russie, ou d'une éducation publique dans toutes les sciences“.

Перейдемъ теперь къ содержанію плана.

Планъ распадается на двѣ главныя части. Въ первой Дидро совѣтуетъ императрицѣ, при организаціи учебныхъ заведеній въ Россіи, принять въ образецъ систему нѣмецкихъ учебныхъ заведеній, состоящихъ изъ *народныхъ школъ, гимназій и университетовъ*. Такимъ образомъ Дидро первый указалъ Екатеринѣ на эту систему, начало осуществленія которой она положила въ послѣдствіи учрежденіямъ главныхъ и малыхъ народныхъ училищъ и который полное осуществленіе принадлежитъ уже позднѣйшему времени. Онъ довольно вѣрно описываетъ нѣмецкія учебныя заведенія, при чемъ выставляетъ на видъ выгоды такихъ порядковъ, которые на первый взглядъ



могутъ поразить своею странностью. Сильное пристрастіе его къ протестантскимъ учебнымъ заведеніямъ, удивительное во французѣ, надо объяснить вліяніемъ нѣмецкихъ друзей его, особенно Гримма, которые могли внушить ему высокое объ нихъ понятіе. Какъ человѣка весьма опытнаго въ педагогикѣ, онъ рекомендуетъ императрицѣ лейпцигскаго профессора Эрнести: пусть только она обратится къ нему и скажетъ, что дѣлаетъ это по его рекомендаціи.

Во второй части своего труда Дидро набрасываетъ планъ *университета* — въ нѣмецкомъ смыслѣ — со всѣми четырьмя факультетами. Первое мѣсто однако даетъ онъ факультету философскому, за которымъ слѣдуетъ у него — юридическій, богословскій и медицинскій. Въ заключеніе онъ дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній объ университетской полиціи. Онъ предвидитъ наступленіе того времени, когда учреждены будутъ въ удобныхъ для того мѣстностяхъ особые заведенія — *земледѣльческія* и *ремесленныя школы*. Преимущественно занимается онъ факультетомъ *философскимъ*, который называетъ *Faculté des arts*.

*Шугуровъ.*

## Екатерина II и Жакъ-Жанъ Руссо.

Отношенія императрицы Екатерины II и нѣкоторыхъ изъ ея приближенныхъ къ представителямъ французской литературы заключаютъ въ себѣ не мало интересныхъ сторонъ. Большинство такъ называемыхъ энциклопедистовъ, Вольтеръ, Гальяни, Гриммъ, Д'Аламберъ, Дидро, Мармонтель, пользовались великими и богатыми милостями, посылаемыми имъ изъ Россіи, и на разные лады и тоны прославляли сѣверную Семирамиду и ея дѣянія. Но и между французскими писателями были люди независимые, которые держали себя въ сторонѣ отъ этого выгоднаго, но не всегда искренняго каждаго. Къ числу таковыхъ принадлежалъ Руссо.

Вынужденный покинуть, въ 1762 году, вслѣдъ за запрещеніемъ его Эмиля, Францію и лишенный убѣжища въ родной своей Женевѣ, Руссо перебрался въ Невшательскій кантонъ. Но и тамъ не удалось прожить ему покойно. Черезъ Страсбургъ отправился онъ, въ 1765 году, въ Англію.

Въ это время въ Страсбургскомъ университетѣ слушалъ лекціи В. А. Подѣновъ, впоследствии почтенный русскій законо-

вѣдѣ. „Очень радъ буду опять съ вами увидѣться“, писалъ онъ 28 ноября 1865 года своему пріятелю Заутерсгейму въ Парижъ, „и вѣроятно буду этимъ обязанъ вашему знаменитому другу Руссо. По пріѣздѣ Руссо въ Страсбургъ, всѣ любопытствовали его видѣть, и всякій судилъ о немъ по себѣ. Про него много говорили глупостей и неправды. Одни считали его философомъ, другіе глупцомъ, нѣкоторые — мизантропомъ. Народъ принималъ его за колдуна, и это больше по его одеждѣ. На дняхъ давали его комедію съ музыкой его же сочиненія\*) Онъ самъ былъ на этомъ представленіи. Я узналъ автора по пьесѣ. Въ ней много чувствъ, достойныхъ человека добродѣтельнаго и любящаго человечество. Но, къ несчастью, въ наше время надъ всѣмъ этимъ смѣются. Въ настоящую минуту стремленіе къ нему уже прошло и его оставляютъ въ покоѣ. Я видѣлъ его нѣсколько разъ, и если вы сюда пріѣдете, то я надѣюсь, что по дружбѣ вашей доставите мнѣ случай поговорить съ нимъ, что я почту себѣ за особенную честь“.

Этого случая не встрѣтилось. Полѣновъ и не познакомился съ Руссо.

Въ концѣ того же 1765 года пріѣхалъ въ Страсбургъ графъ К. Г. Разумовскій, президентъ Петербургской академіи наукъ, для свиданія съ сыновьями, тамъ воспитывавшимися. Узнавъ, что Руссо еще въ Страсбургѣ, Разумовскій хотѣлъ на другой же день своего пріѣзда посѣтить его. Говорили, что онъ имѣлъ намѣреніе предложить ему въ подарокъ свою бібліотеку, дать ему пенсію и мѣстопробываніе въ любомъ изъ своихъ многочисленныхъ помѣстьевъ въ Малороссіи. Это намѣреніе Разумовскаго не исполнилось: Руссо выѣхалъ изъ Страсбурга въ тотъ самый день, какъ Разумовскій туда пріѣхалъ.

Оставивъ Страсбургъ, Руссо поселился въ Англіи и тамъ въ началѣ 1767 года получилъ приглашеніе другого русскаго барича, графа Орлова.

„Зная, что люди склонны къ странностямъ, вы не удивитесь, что я пишу вамъ“, говоритъ Орловъ Руссо. У васъ есть свои странности, у меня свои, и причина, побудившая меня писать вамъ, да будетъ одною изъ таковыхъ“. Выразивъ затѣмъ сожалѣніе видѣть Руссо давно странствующимъ съ мѣста на мѣсто, описавъ положеніе своего имѣнія близъ Петербурга,

---

\*) Le devin du village.



графъ Орловъ предложилъ Руссо свое гостепріимство. Въ отвѣтъ Руссо на это приглашеніе сквозитъ едва скрытая пронія. „Вы говорите о своихъ странностяхъ“, пишетъ онъ, „и дѣйствительно странно благотворить такъ издалека, и человѣку, котораго совершенно не знаешь“. Руссо отказался отъ убѣжища у графа Орлова.

До сихъ поръ не выяснено еще, которымъ именно изъ пяти братьевъ Орловыхъ сдѣлано было это приглашеніе Руссо. Хотя его приписываютъ Григорію Орлову, но гораздо вѣроятнѣе, что оно принадлежитъ младшему изъ братьевъ — графу Владиміру. Тотъ, тогда еще молодой человѣкъ (р. въ 1743 г.), впоследствии преемникъ графа Разумовскаго въ Академіи наукъ, былъ большимъ почитателемъ Руссо. Княгиня Дашкова свидѣтельствуешь, что Владиміръ Орловъ, человѣкъ ограниченный, вынесъ изъ своего пребыванія въ германскихъ университетахъ лишь увѣренность, совершенно, впрочемъ, лишнюю основанія, въ томъ, что изучилъ тамъ всю премудрость. Это убѣжденіе придало ему необыкновенное самомнѣніе и педантическій тонъ: не было ни единого софизма Руссо, котораго онъ не принялъ бы за истину, усвоивъ себѣ всѣ рапсодіи этого писателя.

Вернувшись, послѣ пребыванія въ Англіи, во Францію, Руссо, съ 1770 года, вновь поселился въ Парижѣ. Здѣсь познакомился съ нимъ графъ В. Г. Орловъ. По словамъ графа, онъ, въ маѣ 1772 г., видѣлъ Руссо раза четыре или пять; Руссо любилъ его, просилъ ходить къ нему почаще и много ласки оказывалъ. Возвратясь въ Россію, графъ Орловъ вспомнилъ Руссо и послалъ ему какія-то сѣмена.

Вслѣдъ за тѣмъ, въ 1775 году, посѣтилъ Руссо И. И. Шуваловъ. Отдавая отчетъ объ этомъ посѣщеніи, Шуваловъ замѣтилъ, что Руссо былъ одѣтъ франтомъ и находился въ прекраснѣйшемъ расположеніи духа.

Наконецъ, въ сношеніяхъ съ Руссо находился и князь А. М. Бѣлосельскій, тогда еще восемнадцатилѣтній юноша, вздвигшій, для окончанія своего образованія, въ Парижъ и Ферней. Между ними была одна общая черта — любовь къ итальянской музыкѣ, о которой князь Бѣлосельскій издалъ небольшую брошюру. Къ сожалѣнію не сохранилось ближайшихъ свѣдѣній о сношеніяхъ ихъ между собою, кромѣ письма Руссо къ Бѣлосельскому, 27-го мая 1775 года, въ которомъ первый благодарить князя

за память о немъ, но просить, однако, болѣе не писать къ нему, выражая надежду побесѣдовать съ нимъ въ случаѣ вторичнаго прїѣзда его въ Парижъ.

Любитель французской литературы, знакомый Вольтера, Мармонтеля, Делиля, самъ писавшій французскіе стихи, Бѣлосельскій былъ впослѣдствіи русскимъ посланникомъ въ Туринъ. Здѣсь онъ навлекъ на себя неблаговоленіе за то, что писалъ пидлическія депеши о событіяхъ во Франціи, за что, разумѣется, и былъ лишенъ должности.

Между тѣмъ, Руссо приступилъ (въ 1772 году), по приглашенію графа Михаила Вельгорскаго, прибывшаго въ Парижъ искать покровительства Франціи въ пользу Польши, къ составленію проекта государственнаго ея переустройства. Вельгорскій, болѣе извѣстный какъ музыкантъ-любитель, чѣмъ какъ госудаственный человѣкъ, успѣлъ испросить денежное пособіе для Руссо, за совѣтами котораго обратился послѣ того, какъ его не удовлетворила работа, сдѣланная аббатомъ Мабли.

Занимаясь своимъ сочиненіемъ, Руссо изучалъ исторію польскаго народа и старался узнать его обычаи и нравы; въ продолженіе этихъ занятій онъ пріобрѣлъ доброе, полное сочувствія, мнѣніе о полякахъ и высказалъ, что скорѣе согласился бы жить въ Польшѣ, чѣмъ въ испорченномъ Парижѣ. Антоній Тизенгаузь, подскарбій литовскій, услышавъ объ этомъ отзывѣ Руссо, вздумалъ, во время бытности своей въ Парижѣ, въ 1778 году, уговорить Руссо переѣхать въ Польшу. Зная о его ненависти къ обществу и любви къ уединенію, Тизенгаузь предложилъ для будущаго пребыванія Руссо бѣловѣжскій лѣсъ, какъ мѣсто самое уединенное во всей Европѣ. Тизенгаузь обязывался выстроить въ кушѣ домъ, по плану составленному Руссо, предоставляя ему всѣ удобства обыденной жизни, прислугу, экипажъ, безъ всякихъ обязательствъ со стороны Руссо. Извѣстный въ польской литературѣ Ксаверій Богушъ, прелатъ виленской кафедры, находившійся въ Парижѣ при Тизенгаузѣ, былъ употребленъ для переговоровъ объ этомъ дѣлѣ. Въ началѣ это предложеніе понравилось Руссо; казалось, онъ уже готовъ былъ принять его, какъ неожиданный случай разстроилъ планы и старанія Тизенгауза. Къ несчастью его соотечественниковъ, въ Парижѣ явился польскій авантюристъ Вяжевичъ, который, рѣшившись воспользоваться странностями Руссо, познакомился съ нимъ, возбудилъ къ себѣ его сочув-



ствіе вымышленнымъ несчастіемъ и обманулъ его, послѣ того, наглымъ образомъ. Руссо, разсердясь, что полякъ обманулъ его довѣріе, прогнѣвался вмѣстѣ съ тѣмъ на всѣхъ поляковъ и оставилъ намѣреніе переселиться въ Польшу.

Не слѣдуетъ придавать особаго значенія этимъ попыткамъ приглашенія Руссо въ Россію и Польшу. Лица, ихъ дѣлавшія, слѣдовали указаніямъ моды. Мода того времени требовала являться на поклонъ къ Вольтеру въ Ферней, — та же мода предписывала предлагать Руссо гостепріимство. Этотъ скиталецъ былъ осаждаемъ подобнаго рода предложеніями, и тѣ, о которыхъ мы упоминали, составляютъ лишь малую долю въ числѣ другихъ, иногда даже, если такъ можно выразиться, „куріозныхъ“ приглашеній, которыми преслѣдовали женевскаго философа...

Извѣстно, что многія царственныя особы XVIII-го вѣка считали въ числѣ своихъ обязанностей оказывать вниманіе выдающимся французскимъ писателямъ. То же было и съ Руссо. Фридрихъ II-й далъ ему убѣжище въ Невшательскомъ кантонѣ, король Англіи предлагалъ ему пенсію, герцогиня Саксенъ-Готская уговаривала его поселиться въ Готѣ, принцъ Евгений-Людвигъ Вюртембергскій велъ съ нимъ переписку о воспитаніи своихъ дочерей, изъ которыхъ принцесса Софія-Доротея — императрица Марія Ѳеодоровна — прославила себя въ послѣдствіи трудами по воспитанію и благотворительности; лица, коимъ поручено было воспитаніе датскаго принца, въ послѣдствіи короля, обращались къ нему за совѣтами. Какъ же смотрѣла на него Екатерина, покровительница такъ называемыхъ философовъ?...

Немедленно по воцареніи Екатерина выразила свое сочувствіе энциклопедистамъ, державшимъ въ то время въ своихъ рукахъ общественное мнѣніе Европы. Она предложила издателямъ Энциклопедіи, тогда запрещенной во Франціи, продолжать печатаніе ея въ Россіи и пригласила Д'Аламбера быть воспитателемъ ея сына, цесаревича Павла Петровича. Но, несмотря на очень выгодныя условія и на настоянія Екатерины, Д'Аламберъ отказался отъ этого приглашенія.

Заботы объ образованіи сына обратили вниманіе Екатерины на общій вопросъ воспитанія, — вопросъ, вновь подвергшійся горячему обсужденію по случаю появленія „Эмпля“. И вотъ секретарь французскаго посольства въ Петербургѣ, Рюльеръ, ждетъ — не дождется присылки этой книги, жалуясь на отсут-

ствіе книгопродавцевъ и на слабость книжной торговли въ Россіи. Наконецъ три экземпляра „Эмиля“ привезены въ Москву „по случаю“, но ихъ должны прежде всѣхъ прочесть сановники. — *des grands de l'empire* — и Рюльеръ успѣваетъ лишь пробѣжать эту книгу, почти что украдкою. Вѣроятно, больше трехъ ея экземпляровъ и не проникло въ Россію, и никто, кромѣ сановниковъ, ее не читалъ, потому что, ознакомившись съ нею, Екатерина запретила привозъ ея въ Россію.

Въ „Эмилѣ“ видѣла она причину дурного воспитанія, полученнаго датскимъ принцемъ. „Когда молодые люди дѣлаютъ глупости, — говоритъ она, — въ этомъ нѣтъ ничего необыкновеннаго, но когда всюду встрѣчаются слѣды дурного сердца, — легко рождается отсюда общественное негодованіе. Признаюсь, я очень этимъ огорчена. Особенно не люблю я Эмильевскаго воспитанія: — не такъ думали въ наше доброе старое время, а какъ и между нами есть однакоже удавшіеся люди, то я и держусь этого опыта и никогда не подвергну драгоценные отпрыски (*des rejetons précieux*) сомнительнымъ или недоказаннымъ опытамъ“.

Такъ же неодобрительно отзывается Екатерина и о другомъ сочиненіи Руссо — *Contrat social*. Извѣстно, что въ сочиненіи этомъ Руссо высказалъ мысль, что реформа Петра была реформою слишкомъ крутою и вывелъ изъ этого довольно странное заключеніе о будущемъ развитіи Россіи. На эту фразу обратилъ вниманіе недругъ Руссо — Вольтеръ. Онъ опровергаетъ ее въ письмахъ къ своему петербургскому пріятелю Пиктэ. И Екатерина, которой это письмо Вольтера было представлено, задѣта была за живое мнѣніемъ Руссо. „Я отвѣчу на предсказаніе Жанъ-Жака Руссо, давая ему, доколѣ буду жива, очень невѣжливое опроверженіе“, писала она Вольтеру. „Не такъ давно“, писала она въ другомъ письмѣ къ нему же, „новый Сень-Бернаръ проповѣдывалъ у васъ во Франціи духовный крестовый походъ противъ меня, — самъ, какъ я думаю, хорошенько не зная за что. Но этотъ Сень-Бернаръ ошибся въ своихъ пророчествахъ, совершенно такъ же, какъ и первый. Изъ того, что онъ предсказывалъ, ничто не оправдалось; онъ только ожесточилъ умы. Если въ этомъ и заключалась его цѣль, то, надобно признаться, что онъ имѣлъ успѣхъ, но цѣль эта кажется очень мелочною (*mesquin*)“.

Наконецъ, когда аббатъ Шаппъ, въ описаніи своего путе-



шествія по Россіи, сослался, въ подтвержденіе своихъ взглядовъ на будущность Россіи, на мнѣніе Руссо, Екатерина не оставила безъ возраженія и это мѣсто въ книгѣ Шаппа, разобранной ею въ извѣстномъ ея Антидотѣ. „Вопреки ссылкѣ на Руссо, сказавшаго, что быть можетъ было бы желательно, чтобы русскаго народа никогда не коснулось просвѣщеніе, и вопреки аббату Шаппу, я, говоритъ Екатерина, рѣшаю, не боясь ошибиться, что онъ пошелъ бы и поидетъ далеко“.

Литературной дѣятельности Руссо Екатерина предоставляла большую долю участія въ революціонномъ движеніи. Жалуясь на упадокъ словесности во Франціи (не до нея было въ эпоху великаго переворота), она желала знать, „что сдѣлають французы съ лучшими своими писателями, которые всѣ, и самъ Вольтеръ, были реалистами; всѣ проповѣдывали порядокъ, спокойствіе, все противоположное системѣ гидры съ тысяча двумя стами головами; не сожгутъ ли они ихъ творенія на площади, потому что произведенія эти нейдутъ къ глупостямъ, которые они теперь дѣлають, — Руссо сдѣлалъ ихъ четвероногими“.

Даже драматическая смерть Руссо не внушила Екатерину. несмотря на извѣстную ея „чувствительность“, сожалѣнія. „Съ вашими опасеніями насчетъ потери писемъ, писала она Гримму, вы походите на покойнаго Жанъ-Жака, сомнительной памяти, который воображалъ, что вся Европа занималась изобрѣтеніемъ противу него преслѣдованій, — тогда какъ никто объ этомъ и не думалъ“. Только мѣсто могилы Руссо, на острову, среди озера, понравилось Екатерину, и послѣ того какъ герцогъ Готскій похоронилъ такимъ же образомъ своего сына, она даже пожелала, чтобы подобный способъ погребенія вошелъ въ моду \*).

И несмотря однако на эту нелюбовь къ Руссо, Екатерина нашла нужнымъ приобрѣсти его бюстъ, сдѣланный Гудономъ. Бюстъ этотъ до сихъ поръ украшаетъ одну изъ залъ Эрмитажа.

Понятно, что, когда Екатерина обратилась къ педагогической дѣятельности, принявъ на себя заботы объ образованіи двухъ старшихъ внуковъ, идеи Руссо о воспитаніи остались безъ всякаго вліянія на эту въ высшей степени практическую

---

\*) Письма къ Гримму, стр. 167; письмо 2 января 1780 года.

женщину. Мы думаемъ, говоритъ г. Лавровскій, въ своей рѣчи о педагогическомъ значеніи сочиненій Екатерины, что воспитательная теорія Руссо, „какъ ни замѣчательна она по остроумію и оригинальности, противорѣча главнымъ началамъ общественной и частной жизни, не могла возбудить къ себѣ сочувствіе императрицы“. Скажемъ болѣе: разстояніе между взглядами самодержавной Екатерины и республиканца Руссо было такъ велико, что первая и не могла понимать второго.

*Кобеко.*

## Екатерина II и Д'Аламберъ.

Со времени прибытія своего въ Россію до вступленія на престолъ, Екатерина II прилагала особенное стараніе къ самообразованію. Она ознакомилась съ лучшими сочиненіями иностранныхъ писателей и, слѣдуя направленію вѣка, увлекалась произведеніями той группы французскихъ литературныхъ дѣятелей, которая извѣстна подъ именемъ энциклопедистовъ. Своимъ государственнымъ умомъ она, ранѣе многихъ, поняла, что эта литературная партія представляла силу, которую слѣдовало привлечь на свою сторону, и которою должно было воспользоваться, и соотвѣтственно этому начертала себѣ планъ дѣйствій. Плану этому она слѣдовала неуклонно въ теченіе первой половины своего царствованія.

Немедленно по воцареніи, она сдѣлала въ этомъ направленіи шагъ, который хотя и не увѣнчался успѣхомъ, но тѣмъ не менѣе стяжалъ ей громкія хвалы энциклопедистовъ. Воспитателемъ къ своему сыну и наслѣднику, восьмилѣтнему цесаревичу Павлу Петровичу, она пригласила Д'Аламбера.

Первоначальныя, если можно такъ выразиться, офиціозныя, предложенія сдѣланы были Д'Аламберу чрезъ посредство двухъ проживавшихъ въ Петербургѣ иностранцевъ, Одара и Пиктэ.

Одаръ (Michel Odar) происхожденіемъ изъ Піємонта, прибылъ въ Россію при Елизаветѣ Петровнѣ и, благодаря покровительству канцлера Воронцова, получилъ чинъ надворнаго совѣтника и должность совѣтника въ коммерцъ-коллегіи. Затѣмъ племянница Воронцова, княгиня Е. Р. Дашкова, которой Одаръ сдѣлался необходимымъ своими литературными познаніями, исходатайствовала ему мѣсто управляющаго небольшою дачею, которою владѣла великая княгиня Екатерина Алексѣевна.



„Одаръ бѣденъ и мнѣ кажется, что ему надоѣло быть бѣднымъ“, такъ характеризовалъ его французскій посланникъ баронъ Бретель. Отсюда проистекли побужденія, заставившія его принять участіе въ заговорѣ противъ Петра III. Всѣ современники единогласно свидѣтельствуютъ, что за деньги Одаръ готовъ былъ совершить всякое преступленіе. Онъ былъ посредникомъ въ переговорахъ между Екатериною и Бретелемъ, когда первая обратилась къ Бретелю о ссудѣ ей 60.000 руб. Привыкнувъ получать деньги отъ англійскаго посланника Вилліамса, Екатерина вѣроятно рассчитывала на удовлетвореніе своей просьбы и на этотъ разъ, но Бретель отказалъ ей въ просимой ссудѣ, ссылаясь на недостаточность своихъ инструкцій и обѣщалъ лишь испросить на разрѣшеніе это короля. Но дѣло не терпѣло отсрочекъ, и государственный переворотъ 28 іюня 1762 г. совершился на этотъ разъ безъ помощи французскихъ денегъ. Одаръ наблюдалъ за всѣми участниками въ заговорѣ, расточалъ имъ разныя обѣщанія, хранилъ въ своей квартирѣ манифестъ о вступленіи на престолъ Екатерины, и въ самый день переворота сопровождалъ ее въ походѣ въ Петергофъ. Во всякомъ случаѣ, участіе его въ этомъ дѣлѣ было довольно значительно, хотя княгиня Дашкова, приписывавшая себѣ успѣхъ предпріятія, утверждаетъ, что въ послѣдніе три дня до переворота Одаръ принималъ въ немъ такъ мало участія, что находился за городомъ у графа А. С. Строганова. Дѣятельность его, кажется, довольно вѣрно характеризовалъ тогдашній австрійскій посланникъ Мерси д'Аржанто, говоря, что онъ былъ секретаремъ заговора.

Затѣмъ Одаръ поступилъ на службу въ кабинетъ императрицы, ея бібліотекаремъ, и, послѣ кратковременной отлучки въ Италію, вернулся въ Россію. Сохранилось извѣстіе, что онъ былъ доносителемъ на Хитрово и другихъ лицъ, составившихъ заговоръ противъ Екатерины, въ бытность ея, въ 1763 году, послѣ коронаціи, въ Москвѣ. Въ награду за эту услугу онъ, отказавшись отъ всякихъ отличій, потребовалъ денегъ.

Послѣ этого, указами 8-го декабря 1763 года и 31-го марта 1764 г., Одаръ назначенъ былъ членомъ комиссіи для разсмотрѣнія коммерціи россійскаго государства и особаго при ней собранія для разсмотрѣнія проектовъ, касающихся до торговли, и былъ употребляемъ для составленія соображеній по

предполагавшемуся торговому трактату съ Англіей. Въ томъ же 1764 году онъ оставилъ Россію, вернулся на родину и умеръ въ Ниццѣ около 1773 года отъ удара молніи.

Другая личность, принявшая участіе въ перепискѣ о приглашеніи Д'Аламбера въ Россію, женевецъ Пиктэ (Pictet de Vogembé) былъ своимъ человѣкомъ у Вольтера, который, въслѣдствіе его большого роста, называлъ его „великаномъ“. Онъ принадлежалъ къ труппѣ любителей, разыгрывавшихъ пьесы Вольтера на его домашнемъ театрѣ въ Делисахъ. Тамъ же познакомился онъ и съ Д'Аламберомъ, проводшимъ въ гостяхъ у Вольтера августъ 1756 года.

Первоначально Пиктэ поступилъ къ графу А. Р. Воронцову, при которомъ былъ въ качествѣ секретаря, а затѣмъ, незадолго до переворота 28-го іюня 1762 года, пріѣхалъ въ Россію. Однажды гулялъ онъ въ саду лѣтняго дворца, когда пришелъ туда императоръ Петръ III, въ сопровожденіи свиты и адъютантовъ. Пиктэ прошелъ мимо императора, не снялъ шляпы и даже не постороился. Императоръ, которому онъ нагло смотрѣлъ въ глаза, спросилъ окружавшихъ, что это за человѣкъ? Никто не зналъ его. Когда онъ отошелъ на нѣкоторое разстояніе, Петръ послалъ флигель-адъютанта остановить его и спросить, кто онъ такой? Тотъ, все еще не снимая шляпы, отвѣчалъ, что онъ французъ. Тогда Петръ сказалъ: „вотъ какой негодный французъ зашелъ къ намъ въ садъ“ и приказалъ адъютанту дать ему 20 фухтелей и сказать: „такъ его величество учитъ вѣжливости невоспитанныхъ французовъ“ и чтобъ онъ сейчасъ убирался изъ сада.

Послѣ паденія Петра III, первое явившееся сочиненіе о переворотѣ было помѣщенное въ парижскомъ *Journal Encyclopedique* 1-го ноября 1762 года анонимное письмо одного иностранца къ своему другу, которому онъ рассказываетъ, какъ очевидецъ, это событіе и осуждаетъ падшаго императора. Письмо это написалъ къ Вольтеру „длинный, худой и косой“ Пиктэ, чрезъ котораго и началась, затѣмъ, переписка Екатерины съ Вольтеромъ.

Какую именно должность занималъ въ 1762 году Пиктэ въ Петербургѣ, мы сказать не можемъ; въ послѣдствіи же онъ сдѣлался французскимъ учителемъ у графа Г. Г. Орлова и состоялъ въ канцеляріи опекунства иностранныхъ колонистовъ, которой Орловъ былъ президентомъ. Въ 1765 году онъ отпра-



вленъ былъ во Францію, для приглашенія французскихъ переселенцевъ, но, по возвращеніи оттуда, въ маѣ того же года, былъ уличенъ въ контрабандѣ, и хотя Екатерина, помня прежнія его услуги, смягчила слѣдовавшее ему наказаніе, но онъ долженъ былъ покинуть Россію. Дальнѣйшая судьба Пиктэ не вполне ясна. Въ 1785—1794 годахъ онъ проживалъ въ Лондонѣ, гдѣ занимался литературными трудами.

Эти краткія свѣдѣнія объ Одарѣ и Пиктэ показываютъ, что они принадлежали къ числу тѣхъ полу-авантюристовъ, которые во множествѣ начали являться въ Россію, еще со времени Елизаветы Петровны. Къ совершенно иному роду людей принадлежало третье лицо, принявшее также участіе въ предварительной перепискѣ о приглашеніи Д'Аламбера въ Россію, — Николай.

Генрихъ-Людвигъ Николай родился въ Страсбургѣ и, по окончаніи курса въ тамошнемъ университетѣ, отправился въ Парижъ, гдѣ посѣщалъ литературное общество дѣвицы Л'Эспинасъ, постоянными гостями которой были Д'Аламберъ и Дидро. Тутъ же познакомился онъ съ княземъ Д. М. Голицынымъ. Назначенный, въ маѣ 1761 года, посломъ въ Вѣну, князь Голицынъ желалъ имѣть при себѣ, въ качествѣ секретаря, молодого человѣка, который соединялъ бы съ хорошимъ происхожденіемъ общее научное образованіе и знаніе языковъ. Онъ остановился на Николай, который принялъ его предложеніе. Пробывъ въ Вѣнѣ два года, Николай въ 1763 году возвратился на родину, гдѣ остался недолго и совершилъ путешествіе по Франціи. Вновь вернувшись въ Страсбургъ, Николай сдѣлался профессоромъ въ тамошнемъ университетѣ, куда поступили сыновья президента петербургской академіи наукъ графа К. І. Разумовскаго. Въ 1766 году, Разумовскій пригласилъ Николая воспитателемъ къ своему сыну Алексѣю, съ которымъ Николай совершилъ путешествіе по Европѣ и пріѣхалъ въ Россію въ 1796 году.

Еще въ бытность свою за границею, Николай получилъ отъ графа Н. И. Панина предложеніе принять участіе при воспитаніи цесаревича Павла Петровича и съ тѣхъ поръ безотлучно состоялъ при немъ во все время его великокняжества, а въ царствованіе его занималъ должность президента Академіи Наукъ. Совершенно отдавшись новому своему отечеству, Николай умеръ въ глубокой старости, снискавъ общее къ себѣ уваженіе.

На первоначальныя предложенія пріѣхать въ Россію, сдѣланныя Д'Аламберу чрезъ Одара и поддержанныя чрезъ Пиктэ, Д'Аламберъ отвѣчалъ отказомъ (письмо IV), но это дало поводъ самой императрицѣ написать ему, въ ноябрѣ 1762 года, письмо, пересланное Д'Аламберу и Панинымъ и тотчасъ же повсюду оглашенное, — въ которомъ она, между прочимъ, утверждаетъ, что воспитаніе сына такъ близко ея сердцу и Д'Аламберъ такъ ей нуженъ, что, быть можетъ, она слишкомъ настаиваетъ на своемъ предложеніи и приглашаетъ его пріѣхать въ Россію со всѣми его друзьями. Несмотря однако и на это письмо и на всѣ выгодныя условія, предложенныя ему чрезъ русскаго посланника въ Парижѣ, С. В. Салтыкова, Д'Аламберъ рѣшительно отказался отъ предложенной ему чести.

Трудно сказать, могъ ли бы Д'Аламберъ быть пригоденъ къ дѣлу воспитанія наследника русскаго престола. Самъ онъ, повидимому, не очень серьезно смотрѣлъ на сдѣланное ему предложеніе и шутливо писалъ Вольтеру: „знаете ли вы, что мнѣ предложили, хотя и не имѣю чести быть іезуитомъ, воспитаніе великаго князя въ Россіи. Но я очень подверженъ гемороидальнымъ коликамъ, а онѣ слишкомъ опасны въ этой странѣ“. Литературный врагъ Д'Аламбера, Ж. Ж. Руссо находилъ, что, отказываясь отъ этого приглашенія, Д'Аламберъ поступилъ хорошо, потому, что онъ не сдѣлалъ бы изъ Павла Петровича ни завоевателя, ни мудреца, а сдѣлалъ бы только арлекина. Какъ ни рѣзко это мнѣніе Руссо, но въ тогдашнемъ французскомъ обществѣ многіе выражали сомнѣніе въ пригодности Д'Аламбера къ педагогической дѣятельности. „Д'Аламберъ — это Діогенъ, котораго слѣдуетъ оставить въ его бочкѣ“, записалъ въ своемъ дневникѣ литературный хроникеръ того времени Бошомонъ, повторяя, вѣроятно, отзывъ современнаго ему общества. Напротивъ того, нѣкоторые изъ друзей Д'Аламбера горячо совѣтывали принять сдѣланное ему императрицею приглашеніе, указывая на его практическія выгоды.

Несмотря на отказъ Д'Аламбера, ближайшая цѣль, которую, приглашая его, имѣла въ виду Екатерина, была ею достигнута. Французская академія занесла въ свои протоколы предложеніе, сдѣланное ея члену, Вольтеръ патетически поздравилъ своего друга, и газеты разнесли по всѣму свѣту вѣсть объ этомъ просвѣщенномъ дѣйствіи Екатерины. Первый шагъ по пути



къ популярности былъ сдѣланъ ею удачно, а что вызовъ Д'Аламбера не былъ ни искреннимъ, ни серьезнымъ дѣломъ, видно изъ того, что, получивъ его отказъ, Екатерина на этомъ успокоилась и не продолжала искать своему сыну другого воспитателя. Въ парижскомъ литературномъ кругѣ распушенъ былъ слухъ, что Екатерина намѣревалась обратиться съ подобнымъ же предложеніемъ или къ Дидро, или къ Мармонтелю, или къ Сорену (Saurin), но ничего подобнаго не послѣдовало.

Одновременно съ предложеніемъ принять на себя воспитаніе цесаревича, сдѣлано было Д'Аламберу, чрезъ И. И. Шувалова, другое предложеніе — перенести въ Россію печатаніе Энциклопедіи, которую онъ издавалъ вмѣстѣ съ Дидро и, которая подверглась тогда запрещенію во Франціи. Предположеніе это также не осуществилось.

Начатая такимъ образомъ переписка Екатерины съ Д'Аламберомъ продолжалась до 1767 года, довольно дѣлательно, касаясь исключительно литературныхъ предметовъ, трудовъ Д'Аламбера и занятій Екатерины по сочиненію наказа комиссіи объ уложеніи.

Занимаясь составленіемъ Наказа, Екатерина встрѣтила сомнѣніе въ томъ, дѣйствительно ли отъ накопленія хорошихъ правилъ, примѣненныхъ на практикѣ, произойдетъ хорошій и полезный результатъ? и вопросъ этотъ предложила Д'Аламберу, чрезъ посредство г-жи Жофренъ, съ которою состояла также въ перепискѣ.

Перечитывая письма Д'Аламбера къ императрицѣ, нельзя не замѣтить, что въ нихъ слышна какая-то принужденность, торжественность и напыщенность. Онъ доказываетъ, декламируетъ, рассыпается въ безконечныхъ выраженіяхъ уваженія. Самый независимый изъ такъ называемыхъ философовъ XVIII вѣка похожъ на придворнаго, но придворнаго неловкаго, не искуснаго; это доказываетъ, какъ несвойственна ему подобная роль. Сколько извѣстно, Екатерина не сдѣлала ему никакихъ благодарностей, но онъ такъ неловко жалуется на свои денежные затрудненія и хвалитъ императрицу за ея щедрость къ Дидро, что какъ будто бы самъ выпрашиваетъ милостей. Дидро, помня оказанныя ему благодаренія, навсегда остался горячимъ сторонникомъ Екатерины; Вольтеръ поддерживалъ съ нею переписку какъ потому, что это удовлетворяло его непомѣрному самолюбію, такъ и по расчету, сочиняя статьи по заказу

русскаго правительства; для Д'Аламбера не существовало этихъ побужденій, а вести чисто литературную переписку было для него совершенно безцѣльно.

Вѣроятно, поэтому онъ и прекратилъ эту корреспонденцію и возобновилъ ее только въ 1772 году, по слѣдующему поводу. Преслѣдуя польскихъ конфедератовъ, русскіе войска заняли Краковъ и взяли въ плѣнъ нѣсколькихъ французскихъ офицеровъ, служившихъ въ польской арміи. „Во имя философіи“ Д'Аламберъ обратился къ Екатериנѣ съ просьбою объ ихъ освобожденіи, но получилъ въ этомъ отказъ; онъ повторилъ свою просьбу, но императрица осталась неумолимою, обѣщавъ только освободить плѣнниковъ „въ свое время“.

Екатерина не сомнѣвалась, что просьба Д'Аламбера была ему внушена тогдашнимъ французскимъ министерствомъ и это повліяло, можетъ быть, на ея рѣшеніе, потому что отношенія Россіи къ Франціи были въ то время натянуты. Тѣмъ не менѣе, Д'Аламберъ крайне оскорбился тѣмъ, что Екатерина, сообщивъ о своемъ отказѣ въ его ходатайствѣ Вольтеру, прибавила, что ей хотѣлось написать Д'Аламберу, что плѣнные французы нужны ей для введенія въ Россіи изящныхъ манеръ. Д'Аламберъ не безъ основанія увидѣлъ въ этихъ словахъ насмѣшку.

Впрочемъ, хотя императрица и отказала Д'Аламберу, но тѣмъ не менѣе просьба его, кажется, повліяла на судьбу французскихъ плѣнныхъ. По крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ. Тесьби де-Белькуръ, рассказываетъ въ своихъ запискахъ о пребываніи въ Россіи, что свобода объявлена была ему и его товарищамъ по ссылкѣ въ Тобольскъ, 24 сентября 1773 года, и что онъ не зналъ, кому обязанъ былъ своимъ освобожденіемъ, такъ какъ французскій посланникъ въ Петербургъ, Дюранъ, къ которому онъ обратился съ просьбою о пособіи уже по прибытіи своемъ изъ Тобольска въ Москву, отвѣтилъ, что онъ не получилъ насчетъ его никакихъ инструкцій.

Послѣ обмѣна, въ 1772 году, писемъ Екатерины и Д'Аламбера, переписка ихъ прекратилась окончательно, и Д'Аламберъ сталъ чрезвычайно сдержанъ и холоденъ въ отзывахъ своихъ объ императрицѣ (письмо XXII). Скажемъ болѣе, онъ сдѣлался защитникомъ турокъ и недругомъ Россіи.

Быть можетъ на это повліяли и тѣсныя сношенія Д'Аламбера съ Фридрихомъ II, который также охладѣлъ къ своей



союзницѣ. Д'Аламберъ, много обязанный Фридриху, питалъ къ нему глубокое уваженіе и, какъ не безъ пропіи замѣтилъ одинъ изъ лучшихъ русскихъ людей того времени, графъ С. Р. Воронцовъ, „съ тѣмъ умеръ, что нѣтъ государя добродѣтелиѣе, какъ король прусскій“.

Кромѣ непосредственной переписки съ императрицею, Д'Аламберъ былъ въ корреспонденціи съ Бецкимъ и графомъ Разумовскимъ (письма XV и XVII). Сверхъ того, многіе русскіе, посѣщавшіе Парижъ, были въ личныхъ съ нимъ сношеніяхъ.

Такъ съ нимъ знакомъ былъ графъ А. Р. Воронцовъ; въ 1772 году посѣтилъ его бывший въ Парижѣ директоръ Академіи Наукъ графъ В. Г. Орловъ; въ 1774 году — графъ Чернышевъ, а въ 1778 году видался съ нимъ извѣстный Фонъ-Визинъ. Выражаясь очень неблагоклонно о французскомъ обществѣ вообще и о французскихъ писателяхъ въ особенности, Фонъ-Визинъ говоритъ, что „изъ всѣхъ ученыхъ удивилъ меня Д'Аламберъ. Я воображалъ лицо важное, почтенное, а нашелъ премерзкую фигуру и преподленную физиогномію“. Наконецъ, въ 1782 году, посѣтилъ Д'Аламбера цесаревичъ Павелъ Петровичъ, путешествовавшій подъ именемъ графа Сѣвернаго. Отдавая отчетъ объ этомъ посѣщеніи, Д'Аламберъ писалъ, что Павелъ Петровичъ наговорилъ ему очень много любезнаго о желаніи, которое имѣли видѣть его въ Петербургѣ, и о сожалѣніи, которое въ особенности онъ испыталъ, убѣдившись въ невозможности этого. „Я очень тронутъ его сожалѣніемъ, прибавилъ Д'Аламберъ, но вовсе не раскаиваюсь и даже, можетъ быть, менѣе чѣмъ когда-либо“.

Эти слова Д'Аламбера показываютъ, насколько измѣнился его взглядъ на дѣятельность императрицы Екатерины. Такая же переменна произошла, въ свою очередь, и въ ея мнѣніи о Д'Аламберѣ. Получивъ извѣстіе о его смерти (29-го декабря 1783 года), Екатерина писала Гримму: „прискорбно, что Д'Аламберъ умеръ, не издавъ и не читавъ нашего оправданія по дѣлу о Крымѣ; по крайней мѣрѣ слѣдовало бы выслушать обѣ стороны и судить уже послѣ того; вмѣсто этого онъ говорилъ намъ оскорбленія; мнѣ это неперіятно, какъ и то малодушіе, которое онъ выказалъ во время своей болѣзни; вѣроятно силы тѣлесныя превозмогли силы душевныя. Но эти люди часто судили иначе, чѣмъ они проповѣдывали; очень давно я была у него въ немилости, и вы знаете, что насъ поссорилъ Вольтеръ“.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ, и надъ Франціей разразились ужасы практическаго примѣненія тѣхъ началъ, въ теоретической разработкѣ которыхъ энциклопедисты принимали такое дѣятельное участіе. Тогда Екатерина, забывъ о покровительствѣ, которое она нѣкогда оказывала имъ и ихъ Энциклопедіи, печатаніе которой предлагала перенести въ Россію, писала Гримму, что она „ожидаетъ отъ него оправданія въ ея умѣ философовъ и ихъ учениковъ, въ томъ, что они имѣли долю участія въ революціи и въ Энциклопедіи, ибо Гельвецій и Д'Аламберъ признавались оба Фридриху II, что въ этой книгѣ было два лишь предмета: первый, уничтоженіе христіанской религіи, второй — уничтоженіе царской власти“.

*Кобеко.*

## Русское вольнодумство при Екатеринѣ II.

По слѣдамъ императрицы Екатерины II шли въ сочувствіи къ философамъ XVIII вѣка и ея подданные, не оказавшіе, впрочемъ, при этомъ ни того патріотизма, ни того пракческаго такта, какими отличалась великая монархиня. Духъ подражанія прежде всего коснулся вельможъ и придворныхъ, для которыхъ было почти немыслимо путешествовать за границею и не съѣздить на поклоненіе знаменитому фернейскому философу. Въ письмахъ Вольтера упоминается о посѣщеніяхъ кн. Голицына, кн. Дашковой, гр. Орлова, кн. Козловскаго и другихъ. Отъ 10 марта 1770 г. Вольтеръ пишетъ: „думаю, что я (отправившись на тотъ свѣтъ) перескажу Петру Великому о молодомъ князѣ Голицынѣ, препроводившемъ сію ночь въ моей фернейской хижинѣ. Я всегда плѣняюсь чрезвычайною вѣжливостью вашихъ подданныхъ; сколько они отличаются разумомъ, столько исполнены храбростью (Переп. I, 95). Отъ 15 мая 1771 г. Вольтеръ пишетъ: „я имѣлъ честь видѣть у себя въ пустынѣ княгиню Дашкову. Лишь только вошла она въ залъ, тотчасъ узнала вашъ портретъ, по атласу вытканый и гирляндами украшенный. Изображеніе ваше видно имѣетъ особенную сокровенную силу. Ибо я видѣлъ, что когда кн. Дашкова смотрѣла на сіе тканье, то глаза ея орошались слезами. Она говорила мнѣ четыре часа сряду о вашемъ императорскомъ величествѣ, и мнѣ время показалось не болѣе, какъ за четыре минуты“ (Ibid. I, 218). „Наконецъ“, пишетъ Вольтеръ отъ



27 мая 1772 г., „я имѣлъ честь видѣть одного изъ пяти Орловыхъ. Героевъ, извѣстныхъ подъ именемъ дѣтей Емоновыхъ, тѣхъ было только четверо, а сихъ пять. Я видѣлъ изъ нихъ того, который ни во что не вступается и живетъ философомъ: онъ меня удивилъ и заставилъ еще болѣе сожалѣть, что я не имѣлъ чести видѣть прочихъ четырехъ“ (Ibid. II, 111). Не пропускали своими визитами русскіе вельможи и другихъ модныхъ философовъ; извѣстно напр., что княгиня Дашкова посѣщала Дидро и имѣла съ нимъ знаменитый разговоръ о крѣпостномъ правѣ, доказывая необходимость его для русскаго крестьянина. Циммерманъ хвастался своею дружбою съ кн. Григоріемъ Орловымъ. „Не успѣлъ я видѣться съ нимъ четверть часа“, писалъ Циммерманъ государынѣ, „какъ уже сердце мое было ему предано. Я былъ его другомъ, прежде нежели онъ оставилъ Ганноверъ, а въ Ембсѣ, гдѣ былъ я у него съ утра до вечера цѣлыя четыре недѣли, онъ сдѣлался моимъ. Я видѣлъ, какъ сей великій человѣкъ плакалъ, обнимая меня, когда я ему сказалъ, что не могу по его желанію препроводить съ нимъ жизнь мою“ (Переп. Циммерм. 12). Извѣстно также, что князя Голицынъ и Долгорукій. русскіе посланники при французскомъ и прусскомъ дворахъ. состояли въ самыхъ живыхъ сношеніяхъ съ энциклопедистами.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ русскіе вельможи, обладая въ совершенствѣ французскимъ языкомъ и зная его лучше своего природнаго, читали въ подлинникъ сочиненія модныхъ философовъ или, по крайней мѣрѣ, чтобы не отстать отъ вѣка, держали ихъ въ своихъ библіотекахъ. Извѣстно, что императрица, покровительствовавшая распространенію книгъ, нерѣдко говорила тому или другому вельможѣ: „Я слышала, что у васъ прекрасная библіотека; я собираюсь сама побывать у васъ и осмотрѣть ее“. Вельможа, до того времени мало заботившійся о книгахъ, понималъ намекъ: тотчасъ въ его домѣ отдѣлялась для библіотеки огромная зала, уставлялась шкафами, выписывалось множество книгъ и въ изящныхъ переплетахъ размѣщалось по полкамъ въ ожиданіи высокой посѣтительницы. Какія же книги красовались на полкахъ вельможеской библіотеки? Разумѣется прежде всего тѣ, которыя любила и читала сама императрица: сочиненія Вольтера, Дидро, Д'Аламбера, Руссо и др. занимали самое почетное мѣсто. Наступала свободная пора, и вельможа снималъ съ полки и читалъ какого-

нибудь изъ многотомныхъ философовъ; а если самому ему не удавалось, зато съ жадностью зачитывалось модныхъ книгъ его молодое поколѣніе.

Тѣ изъ нашихъ соотечественниковъ, которые не могли читать философскихъ сочиненій въ подлинникѣ, знакомились съ ними посредствомъ многочисленныхъ переводовъ. Пр. Евгений (впослѣдствіи м. кіевскій) въ предисловіи къ изданной имъ книгѣ: *Вольтеровы заблужденія*, соч. аббата Нонота (переводъ студ. воронежской сем.), замѣчаетъ, что по печатнымъ переводамъ нельзя еще опредѣлить всю сумму вліянія Вольтера на русское общество, потому что множество переводовъ ходило въ рукописяхъ. Но мы находимъ, что и печатныхъ переводовъ Вольтера во время Екатерины было очень достаточно...

Не говоря о переводахъ, модныя идеи проникали на Русь и чрезъ оригинальную литературу, отражаясь въ самостоятельныхъ произведеніяхъ русскихъ писателей. II — что всего замѣчательнѣе — не мало вольнодумныхъ сужденій можно найти у писателей весьма почтенныхъ, консервативныхъ и вовсе не расположенныхъ къ вольнодумству, каковы напр. Щербатовъ, Болтинъ, Державинъ, Фонъ-Визинъ; — что и служитъ яснѣйшимъ доказательствомъ того, что модная философія была тогда, такъ сказать, въ воздухѣ, усвоялась такъ или иначе всѣми образованными людьми Екатерининскаго времени, и передавалась ими даже почти безсознательно. Князь Щербатовъ, русскій исторіографъ при импер. Екатеринѣ, былъ человѣкъ набожный и религіозный, большой любитель русской старины и, можно сказать, славянофилъ Екатерининскихъ временъ; генералъ Болтинъ, другой знатокъ русской исторіи и апологетъ ея противъ нападеній француза Леклерка, былъ также по крайней мѣрѣ горячій патріотъ: тѣмъ не менѣе ихъ историческіе труды представляютъ собою не что иное, какъ приложеніе ходячихъ на западѣ отрицательныхъ идей къ фактамъ русской исторіи.

Модные философы XVIII вѣка не признавали никакихъ чудесъ. Такъ же разсуждаютъ Болтинъ и Щербатовъ. Болтинъ прямо высказываетъ, что историкъ, рассказывающій о чудесныхъ событіяхъ, теряетъ въ его глазахъ всякое довѣріе. „Если вѣрить“, говоритъ онъ, „чудесамъ въ родѣ того, напр., чтобы могъ получить зрѣніе тотъ, у кого глазные яблоки исторгнуты, то не остается ни малыхъ свободы разуму къ разсужденію; все



будеть возможнымъ и естественнымъ и не будетъ различія между глаза и зуба, который выдернувъ можно на мѣсто его новый вставить“. Щербатовъ также о чудесахъ русскихъ лѣтописей говоритъ, что „въ нынѣшнія просвѣщенные времена, когда всѣ чудеса измѣряютъ мѣриломъ здраваго разсудка и истиннаго любомудрія, имъ никто не повѣритъ“. Философы XVIII вѣка яростно нападаютъ на суевѣріе прежнихъ временъ, при чемъ нерѣдко задѣваютъ и истинную религію. Тѣ же самыя нападки на суевѣріе мы находимъ и въ трудахъ Болтина и Щербатова. Вотъ отзывъ Болтина о религіозномъ состояніи Россіи въ концѣ XVII вѣка: „Вѣкъ тогдашній благовремененъ былъ пустосвятству, обману и подлогамъ. Ханжи и лицемѣры чудесамъ не вѣрили, но пользу свою обрѣтали; большая часть народа вѣрила и обманщиковъ обогащала; нѣкоторые видѣли обманъ, но говорить не смѣли, и таковыхъ было не много. Сколько вещей обыкновенныхъ, простыхъ, ничего не значащихъ, принято было за святыню, за предметъ почтенія и уваженія! Отъ Петра Великаго престоли сѣ чудотворенія, перевелся плутовства и плуты при духовенствѣ просвѣщенномъ“. Не менѣе сильно вооружается Щербатовъ противъ суевѣрія или, какъ онъ выражается, бѣсновѣрія. „Нѣсть столь великаго ига“, говоритъ онъ, „которое бѣсновѣріемъ налагается, и нѣтъ такого преступленія, котораго бы не отважились сдѣлать тѣ, которые, неправо разумѣя правила вѣры, лестнымъ усердіемъ подвигаемы, во зло ее будутъ употреблять“.

Философы XVIII вѣка придавали религіи значеніе только во имя политическихъ цѣлей. Также и русскіе историки. Болтинъ жалѣетъ объ упадкѣ отеческой вѣры, потому что она уже слишкомъ скоро пала и ничего не осталось взамѣнъ ея. „Мы старое позабыли, а новаго не переняли, и ставъ непохожими на себя, не сдѣлались тѣмъ, чѣмъ бы желали быть“. Щербатовъ цѣнитъ набожность нашихъ предковъ по ея значенію для политическаго могущества Россіи, и нерѣдко приписываетъ побѣды русскихъ воиновъ удвоенному чрезъ законъ мужеству ихъ.

Философы XVIII вѣка жестоко нападали на духовенство, считая его носителемъ обскурантизма, корыстолюбія и обмановъ. Въ томъ же духѣ высказываются и русскіе историки временъ Екатерины. Болтинъ нашелъ возможнымъ поставить

въ похвалу русскому духовенству только его необразованность. „Лучше, говоритъ онъ, быть народу суевѣрному при непросвѣщенномъ духовенствѣ, нежели быть рабами просвѣщеннаго. Скорѣе можетъ быть просвѣщенъ народъ, пасомый непросвѣщеннымъ духовенствомъ, нежели сущій подъ властью просвѣщеннаго; понеже корысть, любоначалие и гордость заставляютъ его всѣ способы употреблять къ недопущенію онаго до просвѣщенія. Богъ насъ сохранилъ отъ просвѣщеннаго духовенства; въ противномъ случаѣ и въ Россіи власть его не меньше была бѣ, какъ и въ областяхъ римскаго исповѣданія“. „Вождь слѣпой“ — продолжаетъ Болтинъ — „есть образъ стариннаго русскаго попа; а вождь зрячій есть образъ католицкаго духовенства. Губя слѣпой народъ, слѣпой вождь по крайней мѣрѣ и самъ гибнетъ въ той же ямѣ; вождь зрячій, толкая слѣпого въ яму, остается невредимъ“. Итакъ старое русское духовенство, на взглядъ Болтина, хорошо только тѣмъ, что составляетъ меньшее изъ двухъ возможныхъ и неизбѣжныхъ золъ.— Щербатовъ приписываетъ зловредному вліянію духовенства неустойчивость русскихъ предъ татарами. „Духъ неумѣренной набожности“, говоритъ онъ, „вселился въ сердце князей російскихъ и, неправо разумѣя должности закона христіанскаго, въ суевѣріе и бѣсновѣріе впади. Монахи и духовный чинъ сіи мысли паче утверждали, и вкравшись въ мірское управленіе, яко тогда видно, что во всякія дѣла епископы мѣшались, можно сказать, твердость и великодушіе отовсюду прогнали, а на мѣсто того духъ монашескій ввели“.

Отъ ученыхъ переходимъ къ беллетристамъ Екатерининскихъ временъ. И здѣсь мы встрѣчаемъ мелькающія тамъ и сямъ модныя идейки, и — къ удивленію своему — у писателей самыхъ благонамѣренныхъ. Державинъ былъ поэтъ очень благонамѣренный, но это не мѣшало ему по временамъ обмолвиться противъ безсмертія души. Очень подозрительно въ этомъ смыслѣ звучать его стихи на смерть кн. Мещерскаго:

Вотъ прахъ его; онъ здѣсь. Гдѣ духъ? Онъ тамъ.  
Гдѣ тамъ? Не знаемъ,  
Мы только плачемъ и рыдаемъ.

Или еще: Сей день иль завтра умереть,  
Перфильевъ, должно намъ конечно.  
Зачѣмъ же плакать и скорбѣть,



Что мертвый другъ жилъ намъ не вѣчно?  
*Жизнь есть небесъ мгновенный даръ,*  
*Устрой ее себѣ къ покою...*

Что это, какъ не стихотворное переложеніе словъ, влагаемыхъ апостоломъ въ уста невѣрующихъ: *да ямы и нѣмъ, утрѣ бо умремъ?*

Фонъ-Визинъ, въ своей автобіографіи увѣряющій, что его сердце всегда съ благоговѣніемъ почитало Господа, тѣмъ не менѣе увлеченъ былъ духомъ времени къ тому, чтобы написать извѣстное *Посланіе къ слугамъ: Шумилову, Ванькѣ и Петрушкѣ*, въ которомъ видно очень скептическое отношеніе къ вѣрѣ въ промыслъ Божій и въ божественное міроуправленіе...

Это остроумное, но легкомысленное стихотвореніе пользовалось въ свое время большимъ вниманіемъ общества. Намъ извѣстны нѣкоторые старожилы, знавшіе наизусть эти стихи, какъ мы знаемъ лучшія басни Крылова.

Благодаря путешествіямъ въ чужіе края, знакомству съ сочиненіями молодыхъ философовъ въ оригиналахъ и переводахъ, а также и сообщеніямъ русской литературы, модныя идеи быстро распространялись въ русскомъ обществѣ, начиная съ вельможъ и доходя до средняго класса, начиная со столицъ и достигая до провинцій.

Въ мемуарахъ людей Екатерининскаго вѣка и даже нѣсколько позднѣйшаго времени мы находимъ не мало тому свидѣтельствъ. Въ автобіографіи Фонъ-Визина, носящей заглавіе: *Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помысленіяхъ*, читаемъ слѣдующее:

„Около 1763 г., — пишетъ Фонъ-Визинъ, — вступилъ я въ тѣсную дружбу съ однимъ княземъ, молодымъ писателемъ, и вошелъ въ общество, о коемъ я донынѣ безъ ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровожденіе времени состояло въ богохуліи и кощунствѣ. Въ первомъ не принималъ я никакого участія и содрогался, слыша ругательство безбожниковъ; а въ кощунствѣ игралъ я и самъ не послѣднюю роль, ибо всего легче шутить надъ святынею и обращать въ смѣхъ то, что должно быть почтено. Въ сіе время сочинилъ я посланіе къ Шумилову, въ коемъ нѣкоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблужденіе, такъ что отъ сего сочиненія у многихъ прослылъ я безбожникомъ“.

Далѣе Фонъ-Визинъ рассказываетъ о знакомствѣ своемъ

съ однимъ старымъ вольнодумнымъ графомъ. „Сей графъ“, пишетъ Фонъ-Визинъ, „былъ человѣкъ знатный по чинамъ, почитаемый умнымъ человѣкомъ, но погрязшій въ сладострастіе. Онъ былъ уже старыхъ лѣтъ и все позволялъ себѣ, потому что ничему не вѣрилъ. Сей старый грѣшникъ отвергалъ даже бытіе Вышняго Существа. Я поѣхалъ къ нему съ княземъ, надѣясь найти въ немъ по крайней мѣрѣ разсуждающаго человѣка, но поведеніе его иное мнѣ показало. Ему вздумалось за обѣдомъ открыть свой образъ мыслей или, лучше сказать, свое безбожіе при молодыхъ людяхъ, за столомъ бывшихъ, и при слугахъ. Разсужденія его были софистическія и безуміе явное, со всѣмъ тѣмъ поколебали душу мою. Послѣ обѣда поѣхалъ я съ княземъ домой. — Что? спросилъ онъ меня, нравится ли тебѣ это общество? — Прошу меня съ него уволить, — отвѣчалъ я, — ибо не хочу слышать такихъ умствованій, кои не просвѣщаютъ, а помрачаютъ человѣка“.

Изъ разговора Фонъ-Визина съ Г. Н. Тепловымъ мы видимъ, что вольнодумство проникло и въ средній классъ русскаго общества. „Сии людишки“, честилъ Тепловъ русскихъ вольнодумцевъ, „не невѣрують, а желаютъ, чтобы ихъ считали невѣрующими, ибо вмѣняютъ себѣ въ стыдъ не быть съ Вольтеромъ одного мнѣнія. Я знаю, что Вольтеръ развратилъ множество молодыхъ людей въ Европѣ, однако вѣрьте мнѣ, что для развращенія юношества нѣтъ нужды ни въ Вольтеровомъ умѣ, ни въ его дарованіяхъ. Графъ, у котораго вы обѣдали, сдѣлалъ въ Россіи не меньше разврата Вольтерова, имѣя голову довольно ограниченную. Я знаю, что молодого слабенькаго человѣка можетъ развратить такой, кто еще ограниченнѣе графа: примѣръ сему я видѣлъ на сихъ дняхъ моими глазами. Случилось мнѣ быть у одного пріятеля, гдѣ видалъ я двухъ гвардіи унтеръ-офицеровъ. Они имѣли между собою большое преніе: одинъ утверждалъ, другой отрицалъ бытіе Божіе. Отрицающій кричалъ: *нечего пустяки молоть, а Бога нѣтъ*. Я вступился и спросилъ его: Да кто тебѣ сказывалъ, что Бога нѣтъ? — *Петръ Петровичъ вчера на гостиномъ дворѣ*, отвѣчалъ онъ. „Нашелъ и мѣсто“, замѣтилъ Фонъ-Визинъ. Изъ дальнѣйшаго хода разговора открывается вдобавокъ, что этотъ Петръ Петровичъ Чеб... былъ оберъ-прокуроромъ св. Синода.

Есть подобныя свидѣтельства и въ воспоминаніяхъ Ф. Ф. Ви-



теля. Въ XVIII вѣкѣ и даже нѣсколько позже. — по словамъ Вигеля, — „невѣріе почиталось непремѣннымъ условіемъ просвѣщенія“. „Въ печестивой Пензѣ“, пишетъ Вигель въ другомъ мѣстѣ, „услышалъ я насмѣшки надъ религіей, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу отъ такихъ людей, которые были совершенные неучи; впрочемъ, они толковали уже о Новотѣ, о Фреронѣ и объ аббатѣ Гене (т.-е. объ апологетахъ христіанства) и топтали ихъ въ грязь, превознося похвалами *Кандида* и *Бѣлаго быка*“.

Вольнодумцы не переводились на Руси даже и въ началѣ XIX столѣтія. Свидѣтельство этого находимъ во *Взглядѣ на собственную прошедшую жизнь, Измайлова*.

Здѣсь намъ кстати опредѣлить характеръ міросозерцанія, распространяемаго на Руси модною философіей XVIII вѣка. Этотъ характеръ очень удачно опредѣляется прозваніемъ *вольтерьянцевъ*, которые носили увлекавшіеся модною философіею. Дѣйствительно, для русскихъ вольнодумцевъ Вольтеръ составлялъ все. Другихъ философовъ мало знали и мало читали.

Что же было за направленіе Вольтера и *вольтерьянцевъ*? Это не былъ атеизмъ. Вольтеръ вопреки общераспространенному мнѣнію не былъ безбожникомъ. Онъ, по его выраженію, гнушался атеизмомъ, который можно считать только развратомъ разума. и въ своихъ сочиненіяхъ приводилъ всѣ возможные доказательства бытія Божія. Противъ атеистовъ, по мнѣнію Вольтера, достаточно сказать: *Vous existez, donc il y a un Dieu*. „Я существую (такъ развиваетъ Вольтеръ это доказательство, см. *Traite de Metaphysique Oeuvres de Voltaire* готск. изд. t. 32, p. 21), слѣдовательно есть вообще бытіе. Нѣчто можетъ существовать или само собой, или получаетъ свое бытіе отъ чего-либо другого. Если оно существуетъ само собой, то оно необходимо и, какъ необходимое, оно было всегда. Это есть Богъ. Но если нѣчто имѣетъ свое бытіе отъ чего-либо другого, а это другое отъ третьяго, то тѣмъ, отъ чего имѣетъ свое бытіе послѣднее, необходимо долженъ быть Богъ; потому что безъ этого предложенія мы имѣли бы вить безъ конца, т.-е. нелѣпость...“

Вольтерьянство не было и чистымъ матеріализмомъ. Вольтеръ не былъ матеріалистомъ. Скорѣе онъ былъ скептикъ во всѣхъ вопросахъ относительно духа и матеріи и въ частности относительно души человѣческой.

Тотъ же абсолютный скептицизмъ находимъ у Вольтера въ вопросъ о безсмертіи души и о загробной жизни и ту же беспощадную пропію надъ людьми, пытавшимися опредѣленно рѣшить эти вопросы.

Вольтерьянство не было и политическимъ радикализмомъ. Вольтеръ не былъ политическимъ радикаломъ въ родѣ французскихъ революціонеровъ конца прошлаго столѣтія или современныхъ соціалистовъ. Вольтеръ видитъ свои идеалы въ древнихъ республикахъ Греціи и Рима и плѣняется свободными учрежденіями Англіи; онъ постоянно говоритъ о свободѣ совѣсти, свободѣ пачати, смягченіи уголовныхъ наказаній, равномерномъ распредѣленіи налоговъ, безусловномъ подчиненіи церкви, государству и пр.

Итакъ, что же такое было это зловредное *вольтерьянство*, если оно не было ни атеизмомъ, ни матеріализмомъ, ни политическимъ радикализмомъ? Это было легкое, насмѣшливое, фривольное, кощунственное и скептическое отношеніе къ религіи, церкви и христіанству; къ важнѣйшимъ вопросамъ человѣческаго бытія, и особенно къ тому способу ихъ рѣшенія, который предлагался положительною религіею, — при отсутствіи собственныхъ положительныхъ идеаловъ.

Опасна и зловредна была не столько широта Вольтеровскаго отрицанія, сколько его фривольный и насмѣшливый тонъ, благодаря которому оно становилось достояніемъ умовъ даже самыхъ посредственныхъ и ограниченныхъ и увлекало ихъ къ подражанію. По нашему мнѣнію, отрицаніе Вольтера шло не дальше Канта критицизма; но въ то время, какъ глубокомысленныя и въ высшей степени отвлеченныя творенія кѣнигсбергскаго мыслителя мало кѣмъ читались и еще меньшимъ числомъ людей понимались, легкомысленное міросозерцаніе Вольтера, изложенное во всевозможныхъ общедоступныхъ формахъ словесныхъ произведеній, жадно усвоялось всею массою читающаго европейскаго міра. Нѣтъ ничего легче, какъ смѣяться надъ святынею и для остраго слова не щадить и Творца; это доступно для головъ самыхъ тупыхъ; поэтому Вольтеръ находилъ множество приверженцевъ во всей Европѣ и между русскими, умъ которыхъ по природѣ склоненъ къ насмѣшливости...

Вредное нравственное вліяніе *вольтерьянства* сказалось всего болѣе въ молодомъ поколѣніи Екатерининскихъ временъ, живое



изображеніе котораго представляетъ намъ тогдашняя обличительная литература. Воспитанное гувернерами-французами, поступавшими на свою профессію, по большей части, прямо изъ кучеровъ и сапожниковъ, проѣхавшееся за границею преимущественно для обозрѣнія трактировъ, игорныхъ домовъ и тому подобныхъ увеселительныхъ заведеній, молодое поколѣніе временъ Екатерины, въ худшихъ своихъ представителяхъ, отличалось замѣчательною пустотою и безсодержательностью. Оторвавшись отъ родной почвы, оно не пріурочивалось ни къ какой другой, а заражалось только французскимъ легкомысліемъ, кощунствомъ и наглою, хвастливою самоувѣренностью. Такъ создался весьма извѣстный типъ *петиметра* и *щеголихи*. Мотовство, модничанье, волокитство, страсть къ азартнымъ играмъ и въ основѣ всего пустѣйшая пустота въ рѣчахъ и поступкахъ — вотъ отличительныя черты этого типа. Очевидно, что для современной сатиры это былъ весьма благодатный типъ, и она не пренебрегла имъ воспользоваться.

Типъ петиметра является у императрицы Екатерины въ комедіи *Имянины господжи Ворчалкиной* въ лицѣ Фирлюфюшкова. Вотъ какъ объясняется этотъ герой: „Вчера послѣ ужина я всю ночь проигралъ въ карты. Легъ me coucher въ шестомъ часу après minuit. Всталъ сегодня въ часъ, и теперь такая мигрена и въ носу такъ грустно, что сказать не можно...“ (Соч. И. Екат. II, 176). „Ты думаешь, что я плачу, забирая въ долгъ у купцовъ. Никогда, mon coeur, никогда. Я не плачивалъ, не плачу и никогда платить не намѣренъ. Былъ бы я, голубушка, одѣтъ, былъ бы я веселъ; а до тѣхъ дураковъ мнѣ нужды нѣтъ, которые по глупости своей мнѣ вѣрятъ. Они могутъ и тѣмъ быть довольны, что въ тридорогà въ счетъ пишутъ“ (Ibid. 178).

Гораздо глубже и съ большимъ талантомъ раскрывается этотъ типъ въ комедіи Фонъ-Визина: *Бригадиръ*, въ лицѣ бригадирова сына Ивана. Въ его разговорахъ съ отцомъ рисуются старое и новое поколѣніе въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ.

„Тѣло мое родилось въ Россіи, разсуждаетъ сынъ, но духъ мой принадлежалъ коронѣ французской.“

*Бригадиръ*. Однако ты, все-таки, Россіи болѣе обязанъ, нежели Франціи. Вѣдь въ тѣлѣ твоемъ гораздо больше связи, нежели въ умѣ.

Сынъ. Вотъ, батюшка, теперь вы уже и льстить мнѣ начинаете, когда увидали, что строгость не удалась.

Бригадиръ. Ну, не прямой ли ты болванъ? Я тебя называлъ дуракомъ, а ты думаешь, что я льщу тебѣ: этакой осель!

Сынъ. Этакой осель! (въ сторону) *il ne me flatte pas...* Я вамъ сказываю, батюшка, *je vous le répète*, что мои уши къ такимъ терминамъ не привыкли. Я васъ прошу, *je vous en prie*, не обходиться со мною такъ, какъ вы съ вашимъ ефрейторомъ обходились. Я такой же дворянинъ, какъ и вы, *monsieur*.

Бригадиръ. Дурачина! дурачина! Что ты ни скажешь, то все врешь, какъ лошадь. Ну кстати ли отцу съ сыномъ считаться въ дворянствѣ...

Сынъ. Да какое право имѣете вы надо мной властвовать?

Бригадиръ. Дуралей! я твой отецъ.

Сынъ. Скажите мнѣ, батюшка, не всѣ ли животныя, *les animaux*, одинаковы?

Бригадиръ. Это къ чему? Конечно всѣ, отъ человѣка до скота. Да что за вздоръ ты мнѣ молоть хочешь?

Сынъ. Послушайте; ежели всѣ животныя одинаковы, то вѣдь и я могу тутъ же включить себя?

Бригадиръ. Для чего нѣтъ? Я сказалъ тебѣ: отъ человѣка до скота; такъ для чего тебѣ не помѣститъ себя тутъ же?

Сынъ. Очень хорошо; а когда щенокъ не обязанъ респектовать того пса, кто былъ его отецъ; то долженъ ли я вамъ хотя малѣйшимъ респектомъ? (Соч. Фонъ-Визина, 38—40.)

Не только чувство почтенія къ старшимъ, и долгъ супружеской вѣрности былъ сильно поколебленъ на Руси модною философіей. Супружеская вѣрность считалась признакомъ дурного тона; напротивъ того торжество моды было, если мужъ и жена жили на двѣ разныя половины и имѣли особый кругъ знакомства, если жена была окружена роемъ обожателей, а мужъ содержалъ свою метрессу (Русскіе сатирич. журналы Аѳанасьева, стр. 213). „Мужъ мой влюбленъ въ меня до безумія, — разсуждаетъ щеголиха Екатерининскихъ временъ, — а къ тому же и ревнивъ. Фуй! какъ это не ловко; мужъ растрепанъ отъ жены; это, радость, гадко!... Сказать ли чѣмъ я отвязываюсь отъ этого несноснаго человѣка? Одними обмороками. Какъ привяжется онъ ко мнѣ со своими декларасіонами и клятвами, то я сперва говорю ему: *отцѣпись!* но онъ



никакъ не отстаётъ; послѣ того резонирую, что стыдно и глупо быть мужу влюбленному въ свою жену; но онъ никакъ не вѣритъ, — и такъ остается мнѣ одно средство — взять обморокъ“. (Ibid. 206). Или вотъ какъ разсуждаютъ о вѣрныхъ супругахъ петиметръ и щеголиха Екатерининскихъ временъ на своемъ ломаномъ модномъ нарѣчїи: „Ха, ха, ха! Ахъ, монкеръ, ты уморилъ меня! Онъ живетъ три года съ женою и по сю пору ее любитъ! Перестань, мужчина; это никакъ не можетъ быть, три года имѣть въ головѣ своей вздоръ!... съ чужою женою и помахаться не смѣетъ. и за грѣхъ ставить! Прекрасно! Перестань шутить! По чести у меня отъ этого сдѣлается тѣснота въ головѣ. Ахъ, какъ это славно! Они до смерти другъ друга залюбятъ. Ахъ, мужчина, ты уморилъ меня!“ (Ibid. 204). — При такомъ превратномъ понятїи о супружествѣ естественно открывался полный просторъ волокитству и распущенности нравовъ, чѣмъ и дѣйстви-тельно отличался вѣкъ Екатерины.

Таковъ былъ тогда духъ времени, на образованіе котораго важное вліяніе оказали идеи модной философіи. Большинство всегда усвояетъ какую бы то ни было философію не столько въ ея теоретическихъ основанїяхъ, сколько въ практическихъ выводахъ. Положимъ, что Екатерининскіе петиметры и щеголихи, не любившіе читать что бы то ни было, мало читали даже творенія модныхъ философовъ, но ихъ легкую и цезы-скательную мораль усвоили легко и скоро.

*Терновскій.*

## Вольтеріанство въ вѣкъ Екатерины II.

Идеи Вольтера и вообще энциклопедистовъ, перенесенныя къ намъ, имѣли огромное значеніе у насъ въ блистательный вѣкъ императрицы Екатерины II. О силѣ вліянія этихъ идей лучше всего, можетъ быть, свидѣтельствуешь образовавшееся въ языкѣ нашемъ слово „вольтеріанецъ“; это слово показываетъ, что идеи Вольтера составили у насъ именно определенное *ученіе*, кодексъ нравственныхъ и умственныхъ правилъ; этому ученію приписывался смыслъ ученія свободы и протеста противъ пороковъ и предразсудковъ: обратившись въ бранное, это слово прилагалось пошлыми людьми ко всякому честному человѣку, возстающему противъ общественныхъ недостатковъ.

„Ахъ, окаянный вольтеріанецъ“! восклицаетъ въ комедіи „Горе отъ ума“ графиня-бабушка о Чацкомъ. Вліяніе отъ вольтеріанства у насъ было такъ сильно, что самое имя Вольтера обратилось въ имя нарицательное и отождествилось со словомъ — учитель. Въ этомъ значеніи употребляли его даже такіе люди, которые не только не читали сочиненій Вольтера, но и не знали о самомъ его существованіи. Когда Репетиловъ приглашаетъ Скалозуба поѣхать съ бала Фамусова къ князю Григорію, чтобы поучиться тамъ уму-разуму у различныхъ умниковъ, Скалозубъ отвѣчаетъ ему:

Я князь Григорію и вамъ  
Фельдфебеля въ *Вольтеры* дамъ, —

т.-е. отзвукъ значенія Вольтера какъ *учителя* дошелъ даже до 20-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія. Какимъ же благоговѣніемъ окружено было это имя въ вѣкъ Екатерины? Масса сочиненій Вольтера и вообще энциклопедистовъ переводилась тогда на русскій языкъ. И замѣчательно, что этими переводами занимались иногда люди совсѣмъ не того направленія. Отрывки изъ повѣстей Вольтера (которыя почти всѣ были переведены на нашъ языкъ, и не разъ, и выдерживали по нѣскольку изданій), отрывки изъ этихъ повѣстей переписывались любителями словесности въ тетради, какъ образцы литературныхъ произведеній, достойныхъ благоговѣйнаго уваженія, и, быть можетъ, заучивались наизусть. При невѣжествѣ нашего тогдашняго общества, изъ всѣхъ сочиненій Вольтера именно повѣсти должны были имѣть у насъ наибольшее вліяніе, какъ произведенія самыя популярныя и привлекательныя по формѣ. Да и вообще, если признавать Вольтера несомнѣтельнымъ мыслителемъ, а популяризаторомъ и распространителемъ чужихъ идей, то повѣсти, въ которыхъ онъ пользуется поэтической формой для проведенія своихъ взглядовъ, должны занимать весьма важное мѣсто въ ряду его произведеній. — Могли ли выраженные въ этихъ повѣстяхъ идеи оказать благотворное вліяніе на нашу жизнь? Конечно нѣтъ! Съ перваго взгляда можетъ показаться, что Вольтеръ въ повѣстяхъ представитель разума, что онъ является въ нихъ защитникомъ правды, свободы мысли и слова, врагомъ всякаго деспотизма и гнета, отживающихъ предрасудковъ и униженія человѣческаго достоинства, человекомъ, который



силою ума и смѣха борется съ пороками. Но все это только внѣшній видъ, личина Вольтера. Всматриваясь глубже въ его произведенія, мы замѣтимъ въ нихъ противорѣчивыя мысли, которыя онъ не только не примиряетъ, но и не хочетъ примирить. Онъ, какъ Мифистофель, играетъ сомнѣніями, — онъ можетъ съ одинаковымъ успѣхомъ и, повидимому, жаромъ говорить и *за* и *противъ*; мысль для него не дорога, — процессъ легкихъ сомнѣній и колебаній ему нравится какъ веселая и злая игра. Прибавьте къ этому, что обычная форма его доказательства есть *софизмъ*; масса этихъ софизмовъ въ повѣстяхъ подавляетъ читателя. — Мефистофелевскія противорѣчія въ убѣжденіяхъ могутъ быть замѣчены у Вольтера не только въ разновременныхъ сочиненіяхъ, но даже въ одномъ и томъ же произведеніи, даже въ одной и той же мысли. Приведу нѣсколько примѣровъ, считая нужнымъ при этомъ оговориться, что если я буду отождествлять иногда мнѣнія Вольтера съ мнѣніями *нѣкоторыхъ* героевъ его повѣстей, то это только тогда, когда такое тождество въ данныхъ случаяхъ несомнѣнно видно изъ чтенія повѣстей.

Представитель освободительной философіи 18-го вѣка, Вольтеръ во многихъ мѣстахъ своихъ рассказовъ отрицательно относится къ верховной власти. Въ повѣсти „Вавилонская принцесса“ статсъ-дама двора царя Белуса говоритъ (или лучше — ея устами говоритъ Вольтеръ), что „королей очень часто называютъ пастухами, прилагая къ нимъ это названіе на томъ основаніи, что они очень усердно стригутъ свое стадо“. Въ той же повѣсти героемъ — побѣдителемъ королей на состязаніяхъ, устроенныхъ Белусомъ для полученія руки его дочери, является простой пастухъ изъ счастливой страны пастуховъ-Гангаридовъ, которые не знаютъ царской власти и всѣ равны между собою. „Онъ не король, и я не думаю, чтобы онъ захотѣлъ унизиться до того, чтобы быть имъ“, говоритъ про пастуха-побѣдителя его другъ — птица Фениксъ. Восхищаясь въ той же повѣсти государственнымъ устройствомъ Англіи, ея парламентомъ, Вольтеръ высказываетъ такую мысль: „Всѣ видѣли... что покуда короли добивались неограниченной власти, до тѣхъ поръ не было въ странѣ порядка, до тѣхъ поръ ее разоряли междоусобныя войны, анархія и бѣдность, и что съ тѣхъ поръ, какъ они согласились ограничить свою власть, у нихъ водворилось и спокойствіе, и довольство,

и благосостояніе“. — Вольтеръ старается показать, что нѣтъ ничего привлекательнаго быть королемъ, равно какъ нѣтъ ничего привлекательнаго и въ томъ, чтобы быть близкими къ королямъ, пользоваться ихъ милостями. Философъ Мартинъ, въ повѣсти „Кандидъ“, разсуждая о несчастіяхъ людскихъ, замѣчаетъ: „дожъ имѣть свои горести, гондольеръ — свои. Правда, говоря вообще, участь гондольеровъ лучше дожеской; но разница такъ ничтожна, что и говорить не стоитъ“. Кандиду и его компаніи пришлось на опытѣ убѣдиться въ тщетѣ царскаго достоинства, когда довелось имъ ужинать съ 6 сверженными съ престоловъ королями: пятеро изъ этихъ королей подали нуждавшемуся въ помощи шестому каждый въ 100 разъ менѣе Кандида. Мартинъ при этомъ замѣтилъ: „что короли лишаются престоловъ — не рѣдкость, а что касается чести ужинать съ ними, то это пустяки, не стоящіе вниманія. Не все ли равно съ кѣмъ ужинать, лишь бы вкусно“. — Но въ тѣхъ же самыхъ повѣстяхъ мы встрѣчаемся съ совершенно другого рода идеями, принадлежащими тому же самому Вольтеру. Кандидъ попадаетъ между прочимъ въ счастливую идеальную страну Эльдорадо; въ этой странѣ наука, развитая до высшей степени, совершенно подчинена королю, ученые — какъ бы его служащіе чиновники; религія тоже находится въ царской власти: король ея начальникъ. Такимъ образомъ въ идеальной странѣ Вольтера король является полнымъ властителемъ мысли и совѣсти своихъ подданныхъ. Та же идея, проводится и въ „Вавилонской принцессѣ“. Вотъ что, напри- мѣръ говоритъ тамъ авторъ о китайскомъ государѣ: это былъ „самый справедливый, самый умный и вѣжливый государь на землѣ. Онъ первый своими царскими руками обработалъ небольшое поле, чтобы заставить свой народъ уважать земледѣліе. Онъ первый установилъ награды за добродѣтель, между тѣмъ какъ въ другихъ странахъ законы постыдно ограничивались одними наказаніями за преступленія“. — Расточая лесть императрицѣ Екатеринѣ, Вольтеръ утверждаетъ, что ея имперія 300 лѣтъ тому назадъ представляла дикую пустыню со всѣми ея ужасами; но трудами одного человѣка — Петра Великаго и одной женщины — Екатерины среди этихъ дикарей явились искусства, величіе, слава и образованность. Вообще онъ думаетъ, что отдѣльные лица, герои, могутъ по своей волѣ управлять характеромъ народа, мѣнять его убѣ-



денія, нравы, образъ жизни, религію; такъ, онъ выражаетъ желаніе, чтобы среди скиѳовъ явились подобные герои, „чтобъ дикихъ сдѣлать людьми“; законодатели, по его мнѣнію, могутъ „вводить свои обычаи и устанавливать религію“. Въ повѣсти „Задигъ“ герой ея въ одинъ день уничтожилъ существовавшій много вѣковъ обычай самосожженія вдовъ въ Аравіи, отговоривъ отъ этого одну вдову и начальниковъ племени. Короли и даже окружающіе ихъ придворные оказываются умственно и нравственно безконечно выше народа, этого стада барановъ: „за исключеніемъ двора, который иногда *возвышается надъ преобразуемами толпы*, говоритъ Вольтеръ въ „Вавилонской принцессѣ“, ни одинъ египтянинъ не согласится ѣсть изъ блюда, которое уже подавали иностранцу“. Поклонникъ равенства, существующаго у народовъ-пастуховъ, авторъ „Вавилонской принцессы“ заставляетъ ея героя Амазана ѣздить къ разнымъ дворамъ и плѣняться ихъ блескомъ и самому плѣнять ихъ своимъ богатствомъ; да и самое равенство Гангаридовъ оказывается мнимымъ: у этихъ пастуховъ есть подчиненные имъ подпастухи и воины, и братья ихъ — птицы и животныя — служатъ имъ; въ довершеніе всего самъ Амазанъ оказывается — царскаго рода, родственникомъ вавилонской принцессы. Точно такъ же и въ „Кандидѣ“ герои его, отказывающіеся сдѣлаться простыми земледѣльцами. — всѣ знатнаго рода, старуха — даже принцесса. Кажущійся демократомъ, Вольтеръ въ то же время аристократъ по убѣжденію. Его простой первобытный человѣкъ, Гуронъ, въ повѣсти „Простодушный“, говоритъ: „если бы я былъ королемъ Франціи, то вотъ какого военнаго министра я выбралъ бы: *онъ долженъ бы быть самаю высокою происхожденія*, такъ какъ ему нужно отдавать приказанія дворянству“ и т. д. Въ 18-мъ вѣкѣ былъ обычай восхищаться идилліею сельской жизни, идеализировать человѣка, близкаго къ природѣ. Мы видимъ это и у Вольтера; во имя первобытнаго человѣка онъ отрицаетъ даже цивилизацію. Герои Кандида, послѣ различныхъ приключеній и жизненныхъ опытовъ, приходятъ къ заключенію, что человѣку нужно только „обрабатывать огородъ“ и не совать носа въ политику, не справляться, что происходитъ въ Константинополѣ, не интересоваться „именами муфтіевъ и визирей“. Идеаломъ честности, прямоты и благородства является у Вольтера Гуронъ — герой повѣсти „Простодушный“: онъ удивляется, что

у цивилизованныхъ людей для заключенія брака „необходимо существованіе нотаріусовъ, священниковъ, свидѣтелей, договоровъ, разрѣшеній“; „такъ вы, значить, очень безчестные люди, говоритъ онъ, если между вами необходимы все эти предосторожности“. Понятія Гурона оказываются, по взгляду Вольтера, совершенно сходными съ евангельскими истинами: „Я каждый день замѣчаю“, говоритъ онъ, что „здѣсь дѣлаютъ множество вещей, которыхъ нѣтъ въ вашей книгѣ, и вовсе не дѣлаютъ того, о чемъ въ ней говорится: признаюсь, это меня удивляетъ и злитъ“. Попавши въ тюрьму, Гуронъ сошелся тамъ съ научнымъ ясенникомъ Гордономъ и сталъ учиться; скоро онъ превзошелъ своего учителя; онъ поразилъ его ясностью своего „научнаго природою“ ума, отвергающаго всякія богословскія и философскія тонкости. Между прочимъ онъ занялся исторіей; эти занятія „только усилили его тоску; міръ показался ему слишкомъ злымъ, слишкомъ ничтожнымъ. И дѣйствительно, прибавляетъ Вольтеръ отъ себя, — исторія не иное что, какъ лѣтопись преступленій и бѣдствій: невинные и мирные люди не замѣтны на обширной сценѣ исторіи; все дѣйствующія лица — развращенные честолюбцы“. Эти слова — почти прямое отреченіе сказавшаго ихъ отъ цивилизации. — Но мы легко найдемъ въ тѣхъ же самыхъ его произведеніяхъ инныя воззрѣнія: Гуронъ, просвѣтившій своимъ простымъ и яснымъ резумѣніемъ умъ запутавшагося въ отвлеченныя тонкости ясенника, Гуронъ, отрицающій исторію образованныхъ народовъ, въ то же время признаетъ неизмѣримое превосходство надъ собою этихъ заблудившихся образованныхъ людей: „я изъ *скота* сталъ человѣкомъ“, говоритъ онъ послѣ своихъ научныхъ занятій съ Гордономъ. Европейцы „въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ улучшили свою природу искусствами и науками“. Свое желаніе жениться на Сентъ-Пвѣ безъ всякихъ посредниковъ, нотаріусовъ, священниковъ и т. д., желаніе, которое Вольтеръ выставлялъ проявленіемъ прямоты и честности, самъ Гуронъ называетъ въ послѣдствіи неблагопристойнымъ и смѣшнымъ. Въ повѣсти „Свѣтъ какъ онъ есть“ скупъ Бабукъ говоритъ: „несмотря на упрямство людей хвалить древность насчетъ новизны, надо сознаться, что первые опыты бываютъ всегда грубы“. — На какой же сторонѣ, — на сторонѣ цивилизации или первобытной простоты жизни стоитъ Вольтеръ? Рѣшить — невозможно. — И



та же дѣйствительность и путаница въ отношеніяхъ знаменитаго писателя къ нравственности, къ добру и злу. Повидимому онъ признаетъ нравственные доблести. Въ повѣсти „Свѣтъ какъ онъ есть“ нарисованъ образъ добродѣтельной и любящей жены, которая своими энергическими объясненіями съ министромъ, нѣжными жалобами, краснорѣчивыми доводами, упреками и слезами обезпечиваетъ карьеру мужа. Въ повѣсти „Вавилонская принцесса“ Вольтеръ одобряетъ обычай пастуховъ-Гангаридовъ собираться для молитвы — мужчинамъ въ одномъ храмѣ, женщинамъ — въ другомъ, „чтобы не развлекать другъ друга“. Герой „Вавилонской принцессы“ — Амазанъ — отличается своей непоколебимой вѣрностью невѣстѣ, несмотря на всевозможные представлявшіеся ему соблазны. — Такъ, повидимому, уважаетъ Вольтеръ добрую нравственность, хорошія свойства своихъ героевъ. Но всмотритесь внимательно во всѣ случаи, гдѣ онъ прославляетъ добродѣтель, — и вы увидите, что рядомъ съ прославленіемъ идетъ ея отрицаніе и осмѣяніе. Возвеличивъ правдивость Кандида, Вольтеръ тутъ же ядовито замѣчаетъ, что „невинная ложъ была въ модѣ еще у древнихъ народовъ и была бы очень полезна новымъ“: а его правдивый Кандидъ, пріѣхавшій сражаться противъ іезуитовъ, преспокойно переходитъ въ службу къ нимъ, по совѣту своего умнаго слуги, который убѣдилъ его такимъ аргументомъ: „Пресвятой Іаковъ компостельскій! объ чемъ тутъ думать! Вы вѣхали сражаться противъ іезуитовъ, стало-быть теперь надо идти сражаться за нихъ“... По понятіямъ Вольтера женщины продать свою любовь ничего не значитъ: такъ поступаетъ идеальная героиня „Кандида“, по совѣту старухи, разсуждавшей „съ благоразуміемъ, даваемымъ лѣтами и опытностью“; „сударыня, говорила ей старуха, у васъ 72 поколѣнія предковъ, но ни гроша денегъ; стоитъ только захотѣть, вы будете женою перваго вельможи Южной Америки, притомъ съ такими прекрасными усами...“ Видно, что Вольтеръ не особенно цѣнилъ нравственность. Но онъ выражается на этотъ счетъ еще опредѣленнѣе; онъ прямо утверждаетъ, что люди не виноваты въ своихъ порокахъ, что пороки необходимое свойство ихъ природы. „Какъ вы думаете“, спрашиваетъ Кандидъ Мартина, „всегда ли люди такъ истребляли другъ друга, какъ теперь? и всегда ли они были лгуны, плуты, измѣнники, неблагодарны, злодѣи, трусы, пусты,

подлы, завистливы, обжоры, пьяницы, скряги, самолюбцы, жестоки, клеветники, развратны, фанатики, ханжи и дураки?“ „Ну, а какъ вы думаете, — сказалъ Мартинъ, — всегда ли ястреба поѣдали голубей, когда ихъ встрѣчали?“ — „Конечно“, отвѣчалъ Кандидъ. „Ну, — сказалъ Мартинъ, — если характеръ ястребовъ не измѣнился, такъ съ чего же мѣняться людскому?“ Этими словами великій писатель 18 го вѣка оправдываетъ всѣ пороки и вмѣстѣ съ тѣмъ высказываетъ свой невысокій взглядъ на человѣческую природу. Этотъ блестящій софизмъ его, вѣроятно, былъ рековымъ для многихъ лицъ изъ массъ увлекавшихся имъ людей. — Возбуждая въ читателѣ массу неразрѣшенныхъ сомнѣній, отрицая нравственность, издѣваясь надъ мыслию, Вольтеръ въ своихъ повѣстяхъ на мѣсто разрушаемаго имъ идеальнаго міра ставитъ чувственность, животную жизнь. Человѣкъ, по его взгляду, — прежде всего животное, и всѣ его радости и идеалы — въ жизни тѣлесной. Цѣль человѣка, по понятіямъ Вольтера, — удовольствіе. А удовольствіе, счастье состоитъ въ чувственной любви, въ ѣдѣ и въ роскоши.

Все это должно было разрушительно дѣйствовать на нравы нашихъ прадедовъ. Сочиненіями Вольтера и вообще энциклопедистовъ увлекались, иной разъ до какого-то почти обожанія, люди всевозможныхъ слоевъ общества: князья и ремесленники (напримѣръ, типографчикъ Селивановскій), офицеры, помѣщики, министры, писатели. Будь вольтерьянство ученіемъ отвлеченнымъ, оно не могло бы такъ скоро привиться къ жизни; отвлеченныя положенія были бы не понятны массѣ; особенно можно сказать это о нашемъ обществѣ 18-го вѣка, образованность котораго стояла на низкой степени. Но легкіе софизмы вольтеріанства, замѣняемые иной разъ простою насмѣшкою, были доступны самому неразвитому и невѣжественному человѣку; и эти софизмы породили въ нашемъ обществѣ 18-го вѣка дешевый и легкій скептицизмъ. Мораль вольтеріанства, его содержаніе, была еще доступнѣе, еще легче для усвоенія, чѣмъ его форма — софизмъ.

Религіозный скептицизмъ, навѣянный идеями Вольтера, носился въ воздухѣ русской жизни и овладѣвалъ такими людьми, которые, по даннымъ своей натуры и воспитанія, не могли, казалось, быть скептиками. Ив. Влад. Лопухинъ, извѣстный не только какъ масонъ, но и какъ человѣкъ высокихъ нравственныхъ достоинствъ, другъ Новикова, былъ одно время



очень сильно увлеченъ вольтеріанствомъ. „Никогда не былъ еще я, — говоритъ онъ, — постояннымъ вольнодумцемъ, однако, кажется, больше старался утвердить себя въ вольнодумствѣ, нежели въ его безуміи, и охотно читывалъ Вольтеровы насмѣшки надъ религіею, Руссовы опроверженія и прочія подобныя сочиненія“. Онъ даже перевелъ извлеченія изъ „*Système de la Nature*“ и намѣревался распространять ихъ въ рукописяхъ, такъ какъ нельзя было напечатать (Это намѣреніе не перешло однако въ дѣло, — онъ раскаялся и сжегъ переводъ). Даровитый Добрынинъ, о запискахъ котораго я упоминалъ выше, былъ тоже увлеченъ вольтеріанствомъ. Сынъ бѣднаго священника, пѣвчій и келейникъ Сѣвскаго архіерея, онъ не получилъ почти никакого образованія; но сильный умъ его искалъ свѣта, и онъ съ жадностью принялся за чтеніе; онъ читалъ сочиненія историческія, древнихъ авторовъ, Сумарокова и, наконецъ, сочиненія энциклопедистовъ, которыя и увлекали его болѣе всего. Онъ такъ сроднился съ поэтическими произведеніями Вольтера, что беретъ изъ нихъ сравненія, дѣлаетъ на нихъ ссылки въ своей рѣчи. Идеи Вольтера оказали вліяніе на умственный строй живой и впечатлительной души Добрынина: его сомнѣнія и его юморъ обратились на предметы, на которые любилъ обращать умъ Вольтеръ. На нравственныхъ воззрѣніяхъ Добрынина лежитъ тоже печать ученій 18-го вѣка. „Бѣдное и бѣдствующее твореніе человѣкъ! (говорится въ одномъ мѣстѣ его записокъ). Его мысль, его рѣзкая, мучительная и даже ядовитая чувствительность, такъ какъ и пріятныя иногда минуты и самая жизнь, кажутся ему не ограниченными временемъ; но, въ самомъ дѣлѣ, одна уже во мрачный ужасъ облеченная смерть достаточно его просвѣтитъ, что обитаемый нами шаръ не имѣетъ ничего прочнаго“. Къ этимъ словамъ онъ прибавляетъ такое примѣчаніе: „въ семъ мѣстѣ богословы имѣютъ вспыхнуть: чѣмъ смерть ужасна? а вѣра гдѣ? — Отвѣтствую: вѣра при миѣ и непріятность смерти и чувствованіе горестей въ жизни при миѣ и при богословахъ. — Это маловѣріе, а не вѣра! опять закричатъ. Отвѣтствую: споровъ и умствованій на свѣтѣ много, а чувствительность сердца одна, одна, и столь благородна, что она не любитъ, когда ее съ пути сбиваютъ“. Болотовъ, свидѣтельствуя о вольтеріанствѣ старика князя, отца своего начальника, а Елагинъ и Лопухинъ о своемъ собственномъ „вольнодум-

ствѣ. говорятъ, что они увлекались не одни, а, подобно многимъ тогда,плыли по общему теченію; Лопухинъ даже насильно заставлялъ себя увлекаться бывшими тогда у насъ въ великой „славѣ“ энциклопедистами, потому что и стыдно, и, можетъ быть, трудно было идти противъ общаго мнѣнія. Императрица Екатерина въ одномъ письмѣ къ Вольтеру, говоря о привитіи себѣ оспы, прибавляетъ: „я вдобавокъ къ тому малому количеству лѣкарствъ, которые даются въ продолженіе оспы, или и совсѣмъ не даются, употребляла три или четыре превосходныхъ лѣкарства, коими совѣтую всякому благомыслящему въ подобномъ случаѣ пользоваться, а именно: чтеніе Шотландки, Кандида, Добросердечнаго, Человѣка въ 40 талеровъ и Принцессы Вавилонской; послѣ сихъ лѣкарствъ нельзя чувствовать ни малѣйшей боли“. Такъ высоко цѣнились повѣсти Вольтера. — Сочиненія „философовъ“ 18-го вѣка играли, конечно, не малую роль и въ воспитаніи юношества, особенно при тогдашней страсти русскаго общества ко всему французскому вообще. Одни русскія дѣти набирались вольтеріанства отъ французскихъ гувернеровъ и учителей, которые, если по невѣжеству своему и не читали Вольтера, Гольбаха и другихъ, то на практикѣ все-таки проводили ихъ мораль и ихъ взгляды; другія дѣти вывозили эту мораль и эти взгляды изъ Парижа, куда чадолюбивые родители отправляли своихъ сынковъ обучаться и воспитываться. И не должно думать, что только худшіе изъ воспитателей, шарлатаны, проводили въ своей дѣятельности мораль Вольтера, — и лучшіе педагоги, даже наши собственные, не чуждались морали энциклопедистовъ. По счастливому стеченію обстоятельствъ воспитаніе вел. кн. Павла Петровича было обставлено очень благополучно. Д'Аламберъ отказался, по своимъ расчетамъ, отъ руководства этимъ воспитаніемъ, и вел. кн. въ дѣтствѣ окружали и руководили такіе отечественные воспитатели, какъ Никита Пв. Панинъ, от. Платонъ, Порошинъ; эти люди, развивая умъ его, внушали ему религіозныя и патріотическія чувства, говорили объ обязанностяхъ государя къ подданнымъ и т. п. Тѣмъ не менѣе, Порошинъ свидѣтельствуешь о томъ, какъ маленькій Павелъ Петровичъ спрашивалъ его о сочиненіяхъ Монтескьё, Гельвеція, Вольтера; Порошинъ удовлетворялъ его любопытство и говорилъ при этомъ, что „есть такія книги, которыя для всякаго состоянія къ просвѣщенію разума необходимы; что



въ числѣ такихъ книгъ почитаетъ онъ и сочиненія г. Монтескьё и *Esprit* Гельвеціусовъ; что такихъ книгъ не такъ много, чтобы въ нихъ очесться было можно“. Порошинъ читалъ съ вел. княземъ Генріаду Вольтера и повѣсть его „Задигъ“, стихи гр. Анд. Петр. Шувалова къ Вольтеру и отвѣтъ послѣдняго. Вольтеръ въ глазахъ маленькаго Павла Петровича былъ образецъ великаго писателя: желая съ восторгомъ отозваться о Ломоносовѣ, послѣ только что прослушанныхъ имъ послѣднихъ строфъ въ 5-й одѣ его, вел. кн. выразился: „ужасть какъ хорошо! *это нашъ Вольтеръ*“. Фонъ-Визинъ въ своемъ „Чистосердечномъ признаніи въ дѣлахъ моихъ и помышленіяхъ“ сообщаетъ намъ нѣсколько весьма интересныхъ свѣдѣній о силѣ матеріалистическихъ идей у насъ въ его времена. Онъ и самъ не свободенъ былъ отъ вліянія этихъ идей: онъ былъ нѣкоторое время „членомъ кощунственнаго общества“; разсужденія одного стараго „безбожника“ князя, который не былъ уменъ, по собственнымъ словамъ нашего писателя, смогли однако возбудить въ душѣ его сомнѣнія, сильныя колебанія. А между тѣмъ Фонъ-Визинъ былъ — коренной русскій человѣкъ, съ умомъ здоровымъ и яснымъ, онъ выросъ въ религіозной семьѣ, среди набожныхъ нравовъ и обычаевъ: въ домѣ его родителей „въ каждый церковный праздникъ отправляемо было всенощное служеніе“; за этимъ служеніемъ будущій поэтъ исполнялъ обязанности чтеца. — Вліяніе идей и морали Вольтера можно замѣтить и на поэтическихъ произведеніяхъ Фонъ-Визина, и притомъ даже на произведеніяхъ, относящихся къ періоду зрѣлости его таланта, когда онъ былъ подъ инымъ, сильнымъ и благотворнымъ вліяніемъ... На другомъ нашемъ славномъ поэтѣ 18-го столѣтія, на Державинѣ, тоже видно вліяніе мыслей и чувствъ нравственно-больного вѣка. Въ знаменитой, истинно-поэтической одѣ „На смерть кн. Мещерскаго“ поэтъ выражаетъ глубокій ужасъ отъ поразившаго его противорѣчія между безпечно-проводимою среди веселій жизнью и нежданно-пришедшею, въ земныхъ благахъ не нуждающеюся, смертию. Изъ этого трагическаго противорѣчія поэтъ могъ найти исходъ лишь въ вѣрѣ въ жизнь и значеніе человѣческаго духа; но вѣра въ духъ и его вѣчность у него и подорвана въ этой одѣ сомнѣніемъ. Гдѣ же духъ умершаго безпечнаго человѣка?

Ояъ тамъ. Гдѣ тамъ? Не знаемъ.  
Мы только плачемъ и рыдаемъ.  
О, горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

Безотрадный выводъ изъ безотрадныхъ и мрачныхъ вѣрованій невѣрующаго вѣка! — Подмѣтитъ вліяніе вольтеріанства на Фонъ-Визина и Державина — очень важно: Это — новое свидѣтельство о распространенности и силѣ у насъ этого вліянія. Оба названые писатели были личности далеко недюжинныя.

*Незеленовъ.*









**Козьминъ, К.**, Церковно-славянская хрестоматія. Пособіе для сельскихъ и городскихъ училищъ. Книга эта служитъ приложеніемъ къ „Грамматикѣ церковно-славянскаго языка“. М. 1885 г. Ц. 40 к.

— Синтаксисъ русскаго языка для среднихъ учебныхъ заведеній и городскихъ училищъ съ приложеніемъ задачника. М. 1888 г. Цѣна 50 к.

— Образцы систематическаго диктанта для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній и городскихъ училищъ. Этимологія. Сост. согласно съ руководствомъ „Русское правописаніе“ акад. Я. Грота. Изданіе 3-е. М. 1891 г. Ц. 75 к.

— Справочный словарь церковно-славянскаго языка. М. 1889 г. Ц. 5 к.

— Логико-стилистическіе разборы образцовъ прозы и поэзіи. Пособіе при практическомъ изученіи стилистики, теоріи прозы и поэзіи и при веденіи объяснительнаго чтенія на высшей его ступени. Для среднихъ классовъ гимназій, реальныхъ училищъ, учительскихъ институтовъ и семинарій и старшихъ классовъ городскихъ училищъ. Одобр. Учен. Комит. М. Н. Пр. М. 1882 г. Ц. 1 р.

— Орфографическія прописи. Пособіе при изученіи орфографіи. Тетрадь первая. М. 1885 г. Ц. 35 к.

**Козьминъ, К. и Покровский, В.** Теорія словесности. Сводъ теоретическихъ положеній, выведенныхъ изъ разборовъ образцовъ прозы и поэзіи. Изд. 2-е. Одобр. Учен. Комит. М. Н. Пр. М. 1888 г. Ц. 30 к.

— Біографіи и характеристики отечественныхъ образцовыхъ писателей, для городскихъ училищъ и учительскихъ семинарій. Изданіе 2-е. Одобрено Учен. Комит. М. Н. Пр. М. 1888 г. Ц. 50 к.

**Краткая грамматика французскаго языка** по Ноэлю, Шапсаю и др., приспособленная къ примѣрной программѣ, напечатанной въ учебныхъ планахъ предметовъ, преподаваемыхъ въ мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ М. Н. Просвѣщенія. Одобрена Ученымъ Комитетомъ Минист. Народн. Просвѣщ., какъ руководство для преподаванія французскаго языка. М. 1880 г. Ц. 60 к.

**Круловъ, А. В.** За чужимъ горбомъ. Повѣсть для дѣтей, съ рисунками въ текстѣ. Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. М. 1890 г. Ц. въ бум. — 80 к., въ палкѣ — 1 р., въ коленкор. перепл. — 1 р. 50 коп.

**Литвиненко, К. А.** Записки по грамматикѣ русскаго языка. Методическое руководство и учебное пособіе для городскихъ, приходскихъ и сельскихъ училищъ, съ приложеніемъ систематическаго свода матеріала для самостоятельныхъ и письменныхъ упражненій, статей для диктанта и разбора, алфавитнаго указателя словъ, часто употребляющихся въ разговорѣ и письмѣ и довольно затруднительныхъ въ правописаніи, и таблицами этимологическаго и синтаксическаго разбора. Курсъ 3-го и 4-го года городскихъ училищъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.

**Любутовъ.** Пособіе при изученіи теоріи словесности. М. 1883 г. Ц. 25 к.

**Млиначъ, И.**, инспекторъ Тульской гимназіи. Lucianus Samosatensis. Избранные разговоры боговъ и разговоры въ царствѣ мертвыхъ. Текстъ съ словаремъ и объясненіемъ собственныхъ именъ. Изданіе 3-е, исправленное. Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Пр., какъ учебное пособіе для V класса гимназій. М. 1890 г. Ц. 70 к.

— Этимологія греческаго языка для гимназій. Одобрена Учен. Ком. М. Н. Пр. М. 1881 г. Ц. 1 р.

— Синтаксисъ греческаго языка для гимназій. Изд. 2-е, исправленное. Одобренъ Учен. Ком. М. Н. Пр. въ видѣ руководства по греческому языку для гимназій и прогимназій. М. 1890 г. Ц. 75 к.

**Никитинъ, С.** Элементарный курсъ географіи по синтетическому методу. Для низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній и элементарныхъ школъ. Выпускъ 3-й — Отечественнѣдѣніе и выпускъ 4-й — Міровѣдѣніе. Изд. 4-е. Одобр. Уч. Ком. М. Н. Пр. М. 1889 г. Ц. 50 к.

**Покровский, Н.** Справочный словарь русскаго правописанія съ обознач. корней, указ. происх. словъ и прилож. правилъ р. право. М. 1885. 50 к.

— Русская хрест. Ч. 1, 2, 3. Одобр. Учен. Ком.



**ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ**

**М. Д. НАУМОВА,**

**ВЪ МОСКВѢ,**

на Мясницкой улицѣ, въ домѣ Духовной Консисторіи,

**находится складъ слѣдующихъ книгъ**

***В. ПОКРОВСКАГО:***

**Историческая Хрестоматія.** Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній и преподавателей. Вып. I. Цѣна 1 р. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Уч. Ком. при Св. Синодѣ, какъ учебное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній.

**То же.** Вып. II. Цѣна 1 р. 50 к. Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. и Уч. Ком. при Св. Синодѣ, какъ учебное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній.

**То же.** Вып. III. Цѣна 2 р. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Уч. Ком. при Св. Синодѣ, какъ учебное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній.

**То же.** Вып. IV. Цѣна 2 р. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Уч. Ком. при Св. Синодѣ, какъ учебное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній.

**То же.** Вып. V. Цѣна 2 р. 50 к. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учен. Ком. при Св. Синодѣ, какъ учебное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній.

**Поэзія,** какъ главный факторъ эстетическаго развитія. Цѣна 1 р.

**О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей въ младшихъ классахъ.** Цѣна 60 к.

